ISSN 0130 – 6545

7. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пейзаж Сучжоу (лак, инкрустация).

Цветные иллюстрации номера — работы китайских народных мастеров

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 июль 1986

Содержание

Стр.

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ — Камень на камень *(Роман. Перевод с польского К. Старосельской)* 3

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — Из книги «Слово о любви» *(Стихи. Перевод с сербскохорватского Маргариты Алигер)* 74

МАЙК ДЭВИДОУ — Орлы и голуби *(Повесть. Перевод с английского Е. Осеневой)* 80

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ — Победителю достанется все *(Роман. Продолжение. Перевод с немецкого М. Рудницкого и Н. Федоровой)* 105

Литературное наследие

Канте хондо, андалусская песенная поэзия *(Перевод с испанского и вступление А. Гелескула)* 157

Публицистика

АНРИ АЛЛЕГ — SOS, Америка! *(Главы из книги. Окончание Перевод с французского Валентины Жуковой)* 165

Из публицистического наследия

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Испанский закал *(Публикация и комментарии В. Попова и Б. Фрезинского)* 188

Культура и современность

А. З. — Сандино в сознании Латинской Америки 202

Антирубрика

МИКЛОШ ТОТ-МАТЭ — Рассказы *(Перевод с венгерского Павла Бондаровского)* 205

Писатель и время

УИЛЬЯМ СТАЙРОН — Безмолвный прах *(Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление А. Зверева)* 214

Советская литература за рубежом 104, 156

Из месяца в месяц 247

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы китайских народных мастеров: панно «Павлин» (перья, краски) и «Корзинка с цветами» (вышивка).

© «Иностранная литература», 1986

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ

Камень на камень

РОМАН

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Камень на камень,
На камень камень,
А на этот камень
Еще один камень.

Из народной песни

Кладбище

Построить склеп. Легко сказать. Кто не строил, тот не знает, во сколько такой склеп обходится. Все равно что дом. Хотя склеп, говорят, тоже дом, только для тамошней жизни. Вечность не вечность, а свой угол человек должен иметь.

Выплатили мне компенсацию за увечье, приличную, сколько-то там тысяч — все ушло. Часы были, серебряные, с цепочкой, память о партизанских годах — туда же. Полосу поля продал — туда же. И одни только стены поставил, а чтоб закончить, не хватило. Другое дело, что, не помри Хмель, верно бы, я закончил. Не сразу, так помаленьку. Свиней на продажу б завел. И был бы во всяком случае человек, который покоя не давал, душу из тебя тянул. Не любил Хмель, не в пример нынешним мастеровым, недоделанную работу бросать. Что начал, должен был довести до конца. Только он, как кончил крепить свод, так больше и не пришел, не спросил денег, в тот же день слег, а через неделю поминай как звали.

А что было делать, когда я ни гроша больше не смог наскрести, чтобы он, пока был жив, все закончил. Даже если и перепадало чего, более неотложные находились траты, а склеп, думал я, подождет. Никто, слава богу, не собирается помирать. К тому же налоги, налоги. Я еще и задолжал. А тут подошло время отдавать долг, а денег взять неоткуда.

© Wiesław Myśliwski, Warszawa, 1984

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ — WIESŁAW MYŚLIWSKI (род. в 1932 г.)

Польский писатель. Филолог по образованию, главный редактор журнала «Регионы» («Regiony»). Автор повестей «Голый сад» («Nagi sad», 1967), «Дворец» («Pałac», 1970), нескольких пьес. На русский язык переведена повесть «Голый сад» (М., 1978). Творчество В. Мысливского неоднократно отмечалось премиями, в том числе премией Министерства культуры и искусства.

Роман «Камень на камень» («Kamień na kamieniu». Warszawa, PIW, 1984) впервые был напечатан в журнале «Твурчость» («Twórczość», 1983). За этот роман В. Мысливский удостоен нескольких литературных премий и наград Министерства национальной обороны и Клуба крестьянской культуры.

Печатается с сокращениями; полный текст романа выйдет в издательстве «Радуга».

Кубик, сосед, чуть не каждый день приходил и прямо с порога ни тебе слава Иисусу, ни здравствуй, только когда отдашь да когда отдашь. Обещался к прошлому рождеству, а тут уже новое на носу. Парень у меня женится. Ребенка ждут. Костюм ему надо справить, рубашку, башмаки. Опять же музыка, водка. Это все должен жених. Думаешь, теперь как прежде свадьба. Костюм отцов, а рубаху мать из полотна сошьет. И только свои, деревенские, молодым на счастье. Нет, теперь и из города надо приглашать. Этим сивухи не поставишь, им подавай магазинную. И свадьба три дня: коли уж приедут, нажраться да нахлестаться должны, не то потом ославят, что у скопидомов были. Да еще, черти, так гуляют, что не успеешь оглянуться, уже трезвехонькие. Не столько и съедят, сколько выпьют. И каждому по пол-литра в дорогу давай, чтоб не поминали лихом.

Ладно, занял я у Мачёлека. И отдал Кубику. Прикинул: Мачёлек за мельницей живет, не будет каждый день приходить, как Кубик. Но и Мачёлек оказался не лучше. Приходить не приходил. Но когда ни встретит меня в деревне, издалека уже подымал крик:

— Эй, чтоб тебя, отдавай деньги! Небось, брал, не замешкался!

За хлебом в магазин страшно стало ходить — вдруг на него натknусь. В костел по воскресеньям и то страшно, иной раз не подождет, пока я за ограду выйду, орет через головы, еще на освященной земле.

В конце концов подумал я, очень надо из-за всяких там нервы трепать. Взял на веревку телку и повел на скупной пункт. Хотел корову растить, да что поделаешь. Поглядывал только, чтоб ни с кем из деревенских по пути не встретиться, а то начнут охать, жалко, мол, такую телку сдавать. По счастью, день выдался погожий, люди в поле, один старый Блах грелся под солнышком на лавочке перед хатой. Глаза закрыты, ну, думаю, дремлют на солнышке, как-нибудь проскочу. Телка ступала мягко, да и я не топал. Вдруг что-то у них в глазах сверкнуло, будто они ими из стороны в сторону повели.

— Никак к быку ведешь?

— Нет, на скуп.

— Лучше б к быку.

— Ну, лучше.

— Ой, хороша была бы корова. Вымистая. Без воды б обходилися в страду. Кислое молоко пили. Горшков только побольше накупить. Раньше на ярмарках были какие хошь: корчаги, кринки, из жести. Сырки бы делал. Поразвешал в соломенных плетенках на чердаке и пускай сохнут. Они годами могут висеть. А начнись война, у тебя сушеный сыр. Хоть с лапшой ешь, хоть с хлебом. Или кусочек в поле взять — целый день сей, коси, паши. И голода не почуешь. А то отщипнуть да грачам покрошить. До вечера бы за тобой ходили. А так зарежут твою телку и сожрут.

— Ну, корова тоже не вечная.

— Не вечная, зато млечная. А что вечно?

Я прикусил язык, чтоб не сказать старику худого слова, уж очень он меня обозлил. Я и сам знал, какая бы из нее вышла корова. Без подсказок. Шерсть — волосок к волоску. Голова небольшая, а загривок широкий. Задние ноги далеко расставленные, точно два вымени вырасти должны. К тому же, когда я собрался из хлева ее выводить, ни за что не давала веревки к рогам привязать. Нет и нет, мотает головой туда-сюда. Пришлось взять ее за морду, погладить и сказать:

— Телушка, телушка, мне склеп нужно построить.

А склеп стоит недостроенный и ветшает. Надо б его сверху досками обшить. Плиту сделать у входа, чтобы после каждого гроба заново не замуровывать. Надпись вырезать, что склеп семейства Петрушек. Может, даже позолотить буквы. Теперь все золотят. У Клониц не только что склеп семьи Клониц, но и каждый особо позолочен: Валтасар Клоница, Енджей Клоница, Аделайда Клоница, Зофья Кло-

ницова, в девичестве Холевек, родились, померли — знай, господи, что за человек пред тобой предстал. Не меньше сотни букв наберется. Да только Клоницы одним льном каждый год засевают три-четыре гектара, им есть на что золотить.

И мне они советуют сеять лен. Золотоносная культура, говорят. Морг льна — все равно что моргов пять пшеницы, семь ржи, а картофеля и не счесть. И хлопот не больше, чем с рожью, пшеницей, картофелем. Посеешь, снимешь, высушишь, обмолотишь и вези на скупной пункт. Семена для посева? Заключишь контракт, будут тебе семена. Еще и ссуду дадут, чтобы было чем расплачиваться. А сырое лето выдастся? Так оно и для ржи, и для пшеницы сырое, не говоря уже о картошке. Сырое — для всего сырое. Без разбору, пшеница ли, картофель, лен. Мое ли поле, твое. Перед богом все равны. Потоп всю землю залил. Ной один только остался и всякой твари по паре взял, и по два зернышка семян. А ржа нападет? Так разве у ржи, пшеницы, картошки своих нет хвороб? Картошка даже хуже, у нее колорадский жук. А с листоедом этим уже и фазан не справляется. Вон повыпускали в поля фазанов против колорадского жука. Краше даже стало. Косишь, а у тебя из-под ног нет-нет и выскочит фазан. Только долго ли так было? Охота за охотой, теперь фазанов днем с огнем не сыскать. Опять людей гонят в поля колорадских жуков собирать. А у брюквы, у моркови, у капусты нету, что ли, своих вредителей? Где их только нет.

Того и гляди, на вредителя свой вредитель нападет, а на вредителей тех вредителей — свои. Всё на этом свете друг с дружкой враждует и еще хуже будет враждовать. А ты сей лен, по крайней мере внакладе не останешься. Тоже, может, недолго будет так. А воробьи? Ой, дурная ты голова, как же в деревне без воробьев? Поставишь пугало, а то и пару или по штуке в каждом углу. Большое дело — две палки крест-накрест сколотить. Нацепишь старые портки, куртки, рубахи, шляпы. Мало ль у нас никчемушного барахла? Годами копится, все выбросить жаль.

Лен — это тебе и солома и семена. А рожь, пшеница — одно зерно. Пройдись по деревне. Сразу видно, где сеют лен. Или в воскресенье к поздней обедне сходи. Бумажки из рук на поднос — будто с ангелов перья летят. А звякнет где-нибудь медяк, все оборачиваются, как на виноватого. Ты пока в больнице лежал, были здесь двое, с весны до осени расписывали костел. Один как-то по пьяной лавочке свалился с лесов. Но другой свое дело сделал. Потолок теперь весь голубой, ровно небеса. А на стенах новые страсти господни. Прежде голова Христова в терновом венце, а нынче один его глаз. Людям лучше, и господь получше стал. А колокол новый на колокольне из чего? Изо льна, брат. Звонит — за горами, за лесами слыхать. Приходят оттуда люди за солью, керосином, за спичками, рассказывают. Бим-бам, бим-бам.

Но если б все сеяли лен, кто бы сеял рожь, пшеницу, из чего бы хлеб пекли? Хотя я иногда подумывал: у меня семь моргов, может выкроить один под лен? Заработаю какую малость, если выдастся урожайный год. И может, закончу наконец этот склеп, а то прямо стыд берет. С виду точно блиндаж, ни тебе святого, ни креста. Не говоря уже, сколько лет. Ставил тут один у Малиновского на могиле крест. Предлагал и у меня такой же поставить. Но мне не понравился. Точно кол от изгороди, без Иисуса Христа, что это за крест. Но и из тех, что побогаче, мне на нашем кладбище не нравится никакой. Забредешь иной раз поглядеть: может, который-нибудь для моего склепа подойдет, так они все богаче да шикарней.

Коваликов крест за три версты от кладбища видать. Почти вровень с деревьями. И сам будто дерево, обломанное бурей. И будто из двух неокоренных стволов сбит. Сучки даже на нем обрублены, как на настоящем дереве, и кора потрескалась от старости. А ведь

все вырезано из камня. Сам Иисус махонький, зато терновый венец с воронье гнездо. Стоишь под этим крестом как под виселицей, и еще голову точно на висельника задирай. И зачем так высоко? На смерть вверху долго не насмотришься. Затылок занемеет. Вверх только на погожий день хорошо глядеть или когда аисты улетают, а смерть, она книзу тянет. Даже плакать не очень-то поплачешь, задравши голову. Слезы в вытянутой шее застревают, и нет чтоб на глаза — в желудок текут.

Как-то немцы повесили одного из наших на таком высоченном кресте. Мы пока снизу на него глядели, казалось, смеется он. А потом, когда уже на земле у наших ног лежал, увидели, что лицо от боли перекошенное и язык наружу. Можно было подумать, подавился словом, в горле застряло слово, когда он его выкрикнуть хотел. Правда, в те времена в основном что-нибудь короткое в такие минуты выкрикивали и на один манер. От щелчка затвора до пули в теле — что тут успеть.

Ему б не в поля убегать, а в другую сторону, к реке, тогда, может бы, и остался жив. Река неглубокая, неширокая, обыкновенная река, в каждой деревне такая есть. Поишь лошадь, а она мордой чуть не до дна достает. Старые ведра торчат из воды, а в ведрах налимы. Бабы, когда белье полощут, на середину зайдут, а вода им не выше колен. По берегам ивы, кусты. И до реки ему ближе было, чем до этого креста. Хотя его могли аккурат в сторону креста гнать. А человек бежит туда, куда его гонят. Или крест этот мог ему показаться началом леса.

Подстрелили его, но как-то он до креста дополз. И схватился за низ изо всех сил, заноз насажал под ногти и кожа на руках была содрана до самых локтей, потому что никак они не могли его оторвать. Пальцы все повыламывали. И полумертвым уже повесили на поперечине этого креста. Мы потом не знали, как его снять,— пришлось крест срубить.

Или дочка Баранского, девчоночка еще трех лет не прожила, а Баранский ей такой склеп отгрохал, словно весь род Баранских, всех дедов-прадедов там похоронил. И Иисус Христос на этом склепе мало что великанище — то ли камень седой такой, то ли чем-то покрашенный, а выглядит господь будто целый век жил. А сколько он прожил? Тридцать три года. И в любую халупу, не наклоняя перед притолокой головы, мог зайти. Я сам не маленький, смолоду в деревне выше всех был. Редко когда на гулянке в дальней деревне попадался кто повыше меня. А в партизанском отряде нас только двоетрое таких верзил было, хоть все мужики один в одного, как дубы. Так вот, если б выстроить нас в две шеренги, Иисус куда-нибудь бы в середку попал. Говорил я даже Баранскому, что для такого младенчика больше бы ангел подошел. Но он рукой махнул. Ангел в лучшем случае заступится, но не спасет.

Стоит Иисус будто на взгорке, руки на груди сложил, голову опустил и думает. Да, подумать есть об чем. Бог ли, человек ли, каждому придет пора задуматься. А над трехлетним-то младенцем? Можно думать и думать, кем бы она выросла. Баранский хвалился, выучилась бы на докторшу. Только разве можно похваляться покойниками? Лучше за их душу молитву прочесть. А Баранский всегда был бахвал. Купил однажды коня, так хвастался, что четырехлетка. А стоило в зубы заглянуть — раза в два больше. Может, она бы портнихой стала. Либо, как другие, вышла замуж, и тянули б они с мужиком свою лямку до последних дней.

Или Партыка — поставил на своем склепе Христа, несущего на Голгофу крест. Так в плечах господь с трех Партык, а каждая стопа — почти три людских. К тому же конец креста на соседнюю могилу, к Чепеле, заходит, и вечно Партыка с Чепелей в день поминовения ругаются. И такой Иисус Христос огромный — хоть крест на

Голгофу несет, а не чувствуешь, что ему тяжело. А если б даже помочь захотел, что ты со своею силой против него? Бог должен быть как человек, чтобы видно было, страдает он от того же, от чего и человек будет страдать. Чтобы можно было и взгрустнуть, когда он невесел. И пожалеть его, как самого себя. И посочувствовать, потому что он, как и человек, ничего не может. И даже поменяться с ним. Дай мне крест, я за тебя понесу, а ты за меня помысли.

Жаль, что я не был летчиком, а то, может, поставил б себе такой пропеллер, какой на могиле у Яся Круля стоит. Ужасно мне этот пропеллер нравится. Да куда мне — как говорится, рылом не вышел. А Ясь, когда последний раз приезжал в деревню, был уже капитан. Разбился на реактивном во время подготовки к параду. Привезли его в цинковом гробу на специальной машине. А на другой сослуживцы приехали. Человек двадцать, и все офицеры. У каждого серебряный шнур через плечо, медали на груди, кортики на боку. По шестеро несли Ясека на кладбище от самого дома. Даже на подмену никого к гробу не допускали, хотя и здесь, в деревне, были у Яся друзья. Коров вместе пасли, вместе ходили в школу.

Вся деревня за гробом шла. Пожарники шли. Школьники. А два уже седых полковника вели под руки, один с одной стороны, другой с другой, родителей Яся, Круля и Крулёву. Старый Круль росточка небольшого, а тут как будто еще меньше стал, не поймешь, то ли его полковничья рука вогнала в землю, то ли смерть сына, хотя совсем не плакал старик. Люди потом говорили, никто бы не плакал при такой-то компенсации, какую выплатило Крулям государство. Но могло быть и так, что рядом с полковником и старый Круль почувствовал себя солдатом.

По Крулёвой тоже не видно было, чтоб она плакала. Зато на кладбище, когда над гробом один из этих полковников сказал, что Ясь погиб как герой, повалилась другому, который ее поддерживал, на руки, и пришлось старуху откачивать. А плакать она начала только на второй день после похорон, когда разъехались гости. И до сих пор, вон уже сколько лет, все плачет и плачет.

Потом приехали какие-то, понавезли жести, резали, гнули, сваривали, пока не получился пропеллер. Не всем понравилось, как же так, отец с матерью христиане, да и Ясь крещеный, а на могиле пропеллер вместо Иисуса Христа. Хотя, по мне, пропеллер этот печальней, чем иной Иисус Христос. Да еще сделан так хитро, что, когда ветер дует, слышится, будто по небу самолет летит. Уж не тот ли самый, на котором Ясь разбился? А подольше посмотреть, кажется, что пропеллер крутится. Но так быстро, что его даже не видно. Видна только сверкающая полоса над могилой. А кому захочется, этот пропеллер и за распятие можно принять.

Интересно, во сколько б такой пропеллер мог обойтись? Хотя бы только работа. Обычный жестянщик не справится. Одно дело — крышу покрыть, другое — такая штуковина. Те, что ставили на могиле Яся пропеллер, постоянно в какие-то бумаги заглядывали, мерили вдоль и поперек, точно землемеры, когда укрупняли участки. По государственным ценам, наверное, не так много выходит. Но тогда и умереть надо государственным человеком.

Когда я работал в гминном правлении, если кто из служащих умирал, гмина задаром хоть венок давала, из пихтовых веток, несколько цветочков вплетенных и надпись на ленте, что от гмины и товарищей по работе. И над покойником обязательно кто-нибудь скажет пару слов, что все его любили, умел ладить с людьми, прощай, да будет тебе земля пухом. Но когда человек один, он все должен сам и за свои деньги. Даже если кто взаймы даст, потом всю кровь из тебя выпьет, чтобы часом не помер, не отдавши долг.

Может даже, мне бы этот склеп не так дорого встал. Только захотел я, чтобы там еще и сенцы были. А такие сенцы — почти

треть склепа, и расходов, стало бы, на треть больше. Зато, когда сенцы, войти можно свободно и есть где повернуться. Гроб вставляешь как положено, а не как бочку с капустой. Покойника не дергаешь, не переворачиваешь, не трясешь. Потому и людей от печали не отвлекаешь. По одному уже погребению видать, что в вечность.

И перегородки я внутри поставил, чтобы были отдельные клетушки и не маленькие, потому что не терплю тесноты, даже в могиле. Не так, как у иных, где один на другом, точно бураки в яме, и только на полозьях держатся. Потом сгниют и валятся друг на дружку. У меня покойника вставляют словно хлеб в печь, замуровывают — по крайней мере, на тот свет к нему никто не заглянет. Потому как — хо-хо! — есть и такие, что заглянули бы, дай им волю. Клетушек восемь, четыре наверху, четыре внизу. Столько, я насчитал, должно быть нас, ближайшей родни. Мать, отец, Антек, Сташек с женами, Михал, ну и я.

Дедов-бабок ни с материнской, ни с отцовой стороны я не считал. Тоже, конечно, ближайшие родственники, но уж сколько лет как погребены. И обыкновенно, в земле, значит, земля их давно переварила. Вдобавок война перемешала все могилы на нашем кладбище, не отыщешь, где какая была. Небось, сейчас на ихних местах уже другие лежат.

К тому же с материнской стороны я ни деда, Лукаша, ни бабки, Розалии, даже не знал. Дед еще в прошлом веке убил управляющего, и пришлось ему бежать в Америку. Так и остался в той земле. Управляющий, кобель, вроде к бабке приставал, а дед мой и самому бы помещику не спустил. Хлопнул раз управляющий бабку по заднице в поле во время жатвы, а дед схватил его за лацканы да прижал к снопам, у того аж глаза полезли на лоб. За это управляющий на уборке ячменя срезал деду два дня. Дед считать не умел, но каждый день помнил, как на себя затраченный, вот и взбеленился, вырвал у управляющего палку, на которой тот отмечал дни, переломил об колено и забросил в жито. Вот тебе, сукин сын! Думал дед, это страшная месть. А управляющий ну хохотать, звон по полю прошел. А когда отсмеялся, деду: вон! Но дед на руку был скор, хвать его по шее косой, и покатилась голова управляющего под копыта лошадям. Лошади всполошились, перевернули телегу со снопами, одна ногу сломала, пришлось ее добить. Приехали казаки, обшарили хату, перетряхнули деревню, но дед был уже на пути в Америку.

Долго не подавал оттуда вестей, никто даже не знал, что он там. Только спустя несколько лет, когда его уже живым перестали считать, прислал бабке Розалии несколько долларов и письмо. Писал, что в деревню никогда уже не вернется, а о сделанном не жалеет, потому как одной сволочью на свете стало меньше, а свет из-за этого — чуток получше. Хотя и нелегко ему тут. Целыми днями по безлюдным местам, по жаре, в пыли гоняет скотину на бойню в город. Дорога далекая, от нас на войну ближе было добираться. А пригонит одно стадо, надо другое гнать. И так без роздыху. Иной раз, если случится засуха, собственную мочу пьют, потому что реки высохшие, а коровы мрут как мухи. Даже когда туча набежит, дождь прежде, чем до земли дойти, в воздухе высыхает. Но он бы и второй раз управляющему снес башку, если б этот пес бабку тронуть посмел. Както он буфет в тамошней корчме перевернул, потому что вдруг привиделась ему бабка с управляющим в обнимку. Преклони колени перед Иисусом Христом, Розалька, страстями господними поклянись. Может, ты хахаля завела? Да хранит тебя милосердие божье, и Фелек, шурин, пусть глядит в оба. А ты, Фелек, шурин, смотри за ней, ежели чего — встретимся на том свете и посчитаемся. И еще писал дед, что в другой раз напишет, когда бабке к нему приехать. Но не так это будет скоро, ему письмо обошлось в пять долларов, а пять долларов знаешь, Розалька, какие деньги? Портной Блюме ему это

письмо написал — дед к нему зашел штаны залатать, когда гнали скот, а он оказался христианин, хоть и еврей.

Но бабка, как и дед, шальная была. И, не дожидаясь, пока он ей снова напишет, как обещал, отдала мою мать и ее брата Сильвестра, который потом помер от кровавого поноса, а оба были еще малыми детьми, и айда за дедом в эту Америку. Отговаривали ее люди, Америка, она ж на другом краю света, дальше, чем солнце садится, и ходят там вниз головой. Вернулся вон один, из Подлесной, так у него все перемешалось, днем спал, ночью вставал, только собаки его без конца облаивали. Пахал ночью, косил ночью, однажды даже на ночь глядя отправился на ярмарку, ничего не продал, ничего не купил и домой больше не воротился. Река его после где-то вынесла на берег. Но бабка плевала на все предостережения да советы.

Люди потом говорили, господь бабку покарал, что детей бросила и за мужиком понеслась. Потому что, когда она уже на море была, поднялась страшенная буря. Набежали тяжелые тучи, и темно сделалось, как в самую темную ночь. Вихри выли, точно стая голодных волков. Зарницы одна за одной раскалывали сверху донизу небо. Никто таких молний отродясь не видал — до самого дна пробивали дыры в морской воде. А потом огромные валы как пошли на корабль и давай его что есть силы трепать. Люди волосы на себе рвали, к богу взывали, к деве Марии, ко всем святым, незнакомые с незнакомыми прощались. Был на корабле священник, одни к нему бросились — исповедоваться, а другие прямиком в море. Бабка бух на колени и кричать: Лукаш! Лукаш! Поклялась я Иисусом Христом и страстями господними, как ты наказал! Ни с кобелем этим, управляющим, ни с кем другим! Только с тобой, Лукаш! А сколько слез пролила, не счесть! Если б ксендз мог открыть тебе самую что ни есть заветную тайну, которую от меня на исповеди услыхал! А брату моему, Фелеку, не верь! Нехороший он человек, хоть и брат! Только и выспрашивал, не прислал ли ты ему долларов! И что, если не пришлешь, он тебе все напишет, и ты меня не захочешь и знать. Ключ от хаты на притолоке, над дверью, ежели б когда надумал вернуться! А детей я у сестры оставила, у Агаты, она их не обидит. Я ей корову отдала, всех кур и постель. Скажешь, что ты их отец, они тебя узнают. Столько хотела тебе рассказать, как приеду, но не приеду я, Лукаш. Господь не допустил. Так я хоть эти слова через него тебе посылаю, чтоб ты знал, как все было. В эту минуту волна высотою с дом навалилась на корабль, и корабль не выдержал, раскололся надвое и потонул, а с кораблем бабка. Говорят, у ней всегда был в голове ветер, любила весело пожить. Ни одна гулянка без нее не обходилась, ни одна свадьба, ни одни крестины, а проплясать она и три ночи кряду могла. Вот и могилки своей не заслужила, рыбы ее съели.

Хотя, по мне, в могиле тебя черви сожрут или в море рыбы, всех одно ждет. На страшный суд призовут как этих, из могил, так и тех, из моря. А насколько меньше хлопот, если в море, чем строить такой вот склеп.

Бабка со стороны отца, Паулина, померла, когда я еще маленький был, я ее едва помню. А дед, Каспер, на несколько лет ее пережил, только что это была за жизнь. По нужде выходил, так мать меня посылала за ним приглядеть.

— Поди, Шимусь, поди, детка, а то я тут стряпаю. Отведи дедушку за овин. Еще выйдут где на дорогу, стыда не оберешься перед людьми. И сорви мне штучки две петрушки!

Даже поверить трудно, что будто бы наш дед первым в деревне придумал рукоятку в косе. Придумал или подглядел, разное говорили люди. Некоторые, что подглядел, когда возвращался с войны. Где-то такими косами с рукояткой косили. И дед, вернувшись, стал так на своем поле косить. Вроде тут и придумывать было нечего. Дубовый

брусок, две дырки на косовище, всякий мог сообразить. Хотя есть вещи, которые придумывать не нужно, потому как они есть. Например, кнут. Он есть, и можно им лошадь стегнуть, если она станет упираться. Верно, вместе с лошадью появился. Или крыша на хате, колеса у телеги, подошвы у сапог.

Говорят, и пожарную команду дед основал. До того, когда у кого-нибудь случался пожар, сбегались люди, всяк со своим ведром, выплеснут воду из ведра в огонь и, кажется им, чем могли, тем помогли. Бабы причитают: о господи! господи! А мужики вытащат махорку и стоят, смолят. Тут горит, а они раздумывают, то ли бог так пожелал, то ли подпалил кто. Потому как, если бог пожелал, спасайся не спасайся — не поможет. Другое дело, что колодцев во дворах не было и за водой на реку ходили, к роднику. А тут хаты деревянные и крытые соломой. Однажды полдеревни сгорело, и наш дом среди других.

Еще получил дед какие-то бумаги на землю за то, что повстанцев укрывал. Он не помнил, сколько той земли было, но говорил — целое имение. Помещиком мог бы стать. Только бумаги эти он где-то зарыл и никак не мог припомнить где. И не диво, больше чем полвека не было нужды их показывать или признаваться, что они есть. В два счета можно было загреметь в Сибирь, вот они сами собой и вылетели из головы. Вдобавок как раз тогда сгорела половина деревни, и не только в памяти у людей все перемешалось, но и земля с землей, а теперь ищи ветра в поле — закопаны-то бумаги были еще в старой земле.

Отец заклинал деда всеми святыми, чтобы тот вспомнил; уже пошли слухи, что будет Польша, конец неволе, ну и, ясное дело, начнут расхватывать землю; кто первый урвет, у того она и останется на веки веков. Пробовали даже они вместе вспоминать. Вставали чуть свет, читали «Отче наш», а потом отец выводил деда во двор, и ходили они потихонечку, шаг за шагом, глядя в землю, и на каждом шагу отец спрашивал: может, здесь? Останавливались, дед думал, думал, у отца уже надежда начинала светиться в глазах, но дед чаще всего говорил: нет, не здесь. Хотя иногда его точно осеняло, и он отвечал: ну, надо бы тут копнуть. И отец копал. Копал, потом засыпал. Потом, обозлясь, кричал, что, видать, дьявол замутил дедову память, что дармоед он, поесть ни разу, небось, не забыл, что если б раньше столько не пил, то и памяти бы не потерял, чего не надо, он помнит. Страшный суд над дедовой памятью вершил. Пока, бывало, мать за деда не вступится: мол, чего отец лютует, не было у нас этой земли и не будет, было б здоровье. Может, бог не хочет, чтобы дед вспомнил, а на бога нечего злиться, он ведает, что творит. А дед, тихий, как мышонок, придавленный, словно тяжкой виной, этой своей беспамятностью, боялся глаза на отца поднять. Только когда отец доставал кисет с махоркой — а это значило, что его уже отпустило,— тогда и дедовы слова становились смелей:

— Черт, все помню, а это забыл. Мог бы даже тебе сказать, кто помер, когда у нас тут был мор. Ну-ка, спроси. Говорили, Болек Косел в Гурки заразу откуда-то принес. Только вернулся из армии, начал народ в Гурках хворать, а вскоре вымерла вся деревня. Из Гурок на другие перекинулось, хоть нам и запретили из деревни в деревню ходить и все побелили, хаты, изгороди, распятия, деревья. А сколько крестов понаставили! Что ни сторона света, то крест. И не как сейчас — четыре. Куда ни глянь, крест. И на каждом: господи, смилуйся, господи, смилуйся, господи, смилуйся. В нашей деревне, слава богу, только край задело. Померли Повисляки и Касперский — мельник. Повисляки людей грабили, и поделом им. А Касперский обязательно муки последнего разбора подмешает и отрубей никогда не отдаст сколько положено. На руку был нечист, леший. Но мельницы тогда не то что нынче, мало где были. У нас, а потом только в За-

водзи. Иной раз целых три дня проканителишься. И в Заводзь ездили, хотя тамошний мельник тоже обманывал, но вроде поменьше. Не было такого, чтобы на свете без обману, да и не будет. Купил я как-то на ярмарке сапоги. С виду крепкие. На подошву плюнешь — не пропускает. Думал, в них и в сушь и в мокредь, в поле и к обедне, а едва весну проносил. Поехал снова, пусть, окаянные, отдают деньги, но тех, у кого покупал, и след простыл. Были другие и тоже свой товар нахваливали: мол, у них без обману. А ты знаешь, сколько такие сапоги стоили? Ну-ка, спроси. Только про сапоги. Что тебе, трудно? Три рубля. Я помню. А хошь, всех лошадей, какие у нас были, по порядку скажу. Спроси. Самый первый — пегий жеребчик. Кличку ему дали Разбойник, потому как кусался и лягался, черт. На таком не попашешь, и отец его продал. Но покупателю не сказал, что Разбойник, а сказал — Куба, и что фамилия наша Капуста, а не Петрушка, и деревня — Олесница. А до Олесницы версты три и совсем в другую сторону. Ну, и обошлось, не приехал. Видишь, помню. Значит, и про бумаги вспомню. Пока не вспомню, не помру. Дашь закурить?

И отец, вроде бы еще злой, давал деду закурить. А на следующий день снова обходил с ним подворье. Шаг за шагом и на каждом шагу: может, здесь? Вокруг света, небось, обошли, если сосчитать все их шаги, хотя не так уж наше подворье и велико. И в загуменье, и в саду искали, в хлева заглядывали, в овин, и даже в погреб отец сносил деда, потому что погреб у нас глубокий, ступенек двадцать, деду бы самому не сойти. Но все время: нет, не здесь. Иногда только: ну, надо бы копнуть. И отец копал. Копал, потом засыпал. И опять костерил деда.

Как только отец не пробовал расшевелить дедову память. Заставлял по утрам сны рассказывать. Да на старости лет неоткуда браться снам, редко когда деду что-нибудь снилось. Снова отец начинал злиться. Так уж и ничего? Иногда, конечно, кое-что снилось, но не то, чего бы хотелось отцу. К примеру, как дед по реке бродит, вытаскивает налимов из брошенных ведер, но вода, как назло, мутная. Или как они с Каролькой Бугаювной гуляют на Каролькиной свадьбе, и Каролька гладит деда по щеке и на ухо шепчет: ой, ты, Каспер, Каспер. Чего же ты, Каспер, старый такой? Или что ходят они с отцом по двору, и отец спрашивает: может, здесь, а дед ему: ой, гляди, червячище какой из земли вылазит. Хворая земля, хворая ничего уже с нее не возьмешь.

А то перестелил отец дедову постель, вместо соломы гороховин наложил: раз уж ему ничего не снится, пускай хоть не так крепко спит. Больше будет ворочаться, чаще просыпаться, стало быть, и мыслей поприбавится в голове, авось вспомнит. А деду объяснил, что блох много развелось, надо было перестелить, а соломы осталось только-только на сечку. Поначалу дед жаловался, что все тело у него костенеет. Но помаленьку привык, и спалось ему как на соломе.

То отец где-то прослышал, вроде бы полынь возвращает память. Целое лето собирал эту полынь по межам, потом сушил, люди думали, он желудком мается, полынь и желудок лечит. Дед пить отказывался, горькая очень. Так отец ему тайком от матери купил сахару и настой подслащивал. Но дед все равно не вспомнил.

А то повел раз отец деда в корчму и напоил. Думал, может, спьяну распахнется дедова душа и откроет, где бумаги зарыты. Но дед разкуролесился, точно скинул с полсотни годков, и захотелось ему петь, гулять, и даже в драку потянуло. Кого только в корчме ни было, всем подносил — ясно, за отцовский счет. А попробовал отец его урезонить — мол, хватит, папаша, по миру нас пустите,— так дед его же и обозвал: глупый ты у меня, говорит, сын, чтоб я в другой раз такого выродил? Ну нет!

Пришлось потом отцу теленка продать, чтобы вернуть корчмарю долг. Только и было проку, что на следующий день дед, протрезвев, с больной головы пообещал отцу непременно все вспомнить, когда возродится Польша. А пока еще время не пришло. Они там еще только воюют. Все равно без Польши бумаги эти ничего не стоят, оттого он и не может припомнить, где их зарыл. Но Польша возродилась, а дед так и не вспомнил.

Тогда он обещал, что припомнит, когда настанет пора помирать, потому как в смертный час человеку вспоминается вся его жизнь. Подходит эта жизнь к постели с большущей такой книгой и говорит: я — Каспер Петрушка, видишь, все, что ты позабыл и в чем согрешил, здесь есть. Придавила тебя давным-давно телега с житом, ты забыл, а тут есть. Мерки овса соседу Дереню не отдал, а тут есть. Господу богу в вербное воскресенье пожалел пару грошей, а тут есть. И бумаги, что ты закопал, тут, вон они, на первой странице. Самыми жирными буквами записаны. Во всей книге других таких нет. Но пока книга эта закрыта была, зря и старался вспоминать. Прочитать тебе?

Отец, как пес, три дня и три ночи, не сомкнув глаза, подкарауливал дедову смерть, а дед все никак не мог помереть. Казалось даже, опять на ноги встанет — раз уже было так, он после соборования встал. Вот те на, сказал, я-то думал, что помер уже. А это мне только сон приснился такой. На третий день отец на минутку вздремнул, и тут дед отошел. Тихонечко, точно муха вылетела за окно. Отец, когда проснулся, еще у него спросил:

— Ну как, написано в этой книге, где вы бумаги зарыли?

Совестно было отцу покойника поминать лихом, но зато похоронил он деда не как родителя. Гроб из сосновых досок, даже некрашеный, только покрытый олифой. И ксендза при выносе из хаты не было, он только от костела провожал усопшего. А на кладбище всего навсего окропил святой водою гроб, родню, бросил ком земли и ушел — отец в злобе своей не захотел, чтобы ксендз несколько слов над дедом сказал. И много лет потом на дедову могилу не заглядывал, хоть лежали дед с бабкой на одном кладбище и друг от дружки невдалеке; на бабкину могилу ходил, а к деду только мы, внуки, да мать. И на молебен за упокой дедовой души ни разу не дал, приходилось матери давать тайком. И дедова имени вслух никогда не назвал. Изредка только, бывало, вздохнет, что не помешало бы побольше земли иметь, а то чем я буду вас, четверых сынов, наделять?

И продолжал копать. Наугад, где примстится, потому что некому уже было ему сказать: нет, не здесь. В овине, в закромах, в хлевах под яслями, и под сараем, и у порога хаты, а как-то даже вздумал в хате копать, да мать не позволила. А однажды приснилось ему, будто бумаги эти зарыты под собачьей конурой, так он переставил конуру в другой конец двора, потом опять на новое место и опять. Раз десять, наверное, переставлял и везде копал, точно у нас было десять собак и у каждой по конуре. А собака была одна. Из-за этих перестановок она уж и не знала, на кого лаять. И лаяла на всех без разбору, на людей, лошадей, коров, кур, уток, гусей. Даже на отца. Пока, наконец, однажды ночью не сорвалась с цепи и пропала. Вроде бы люди ее видали, взбесившуюся, где-то в полях.

А отец все копал. Иной раз найдет на него — в поле не поедет пахать, только знай копает. Началась война, самолеты над самой крышей летали, люди со скотиной, с перинами убегали в лес, а он, точно закоснел в своем упорстве, все глубже и глубже ямы рыл.

И после войны рыл, хотя как будто уже терял надежду: ходит-бродит другой раз по двору, не зная, откуда начать, и вдруг бросит лопату и пойдет молотить или рубить сечку. И когда уже старый стал, и силы начали его оставлять, все равно нет-нет, а выходил ко-

пать. Выроет, бывало, посреди двора яму по пояс здоровому мужику, а я ее за ним засыпай, иначе на телеге во двор не въедешь.

Не позволю во дворе копать, он идет в сад и там копает. От этого копанья у меня ранет засох и сливовое дерево, мирабель. Сливы на ней были с коровий глаз. В урожайный год высыпет видимо-невидимо, ветки свисали до земли. Только гляди, как бы ребятня все с листьями не оборвала. А для компота не было лучше слив.

А когда отец умирал, показал знаком, что хочет мне что-то сказать, и будто уже с того света прохрипел, чтобы я продолжал искать: ему хоть не удалось, мне беспременно удастся. О, теперь бы уж он знал, где копать. Да поздно, его время прошло.

И отца и мать я похоронил обыкновенно, в земле, там они и лежат, дожидаясь, покуда я закончу склеп. Верно, немного от них осталось, долго ли земле сделать свое дело? Отец, может, целее, он намного позже матери похороненный, мать, как Михала привезли, с полгода всего пожила, вон уже сколько получается лет, а хворать начала вскоре после войны. Небось, они думают, я про них забыл. Лежат и лежат, и земля их прибирает потихонечку, а я, может, горькую пью. Эх, Шимек, Шимек, побойся бога. Скоро от них и косточки не останется. Но я себе обещал: как только закончу склеп, справлю им новые гробы и перенесу что осталось. Будут лежать рядышком внизу, слева, так я задумал, справа мы с Михалом, а наверху Антек и Сташек с женами. Все вместе, значит, ни один не сможет сказать, что я теперь за хозяина, а проку от меня, как от козла молока. Если б не это, я бы никакой склеп строить не стал, и не израсходовался бы, и так бы не надрывался. Много ли в каменных стенах лучше, чем в земле? Кабы обо мне одном шла речь, я б выбрал землю. Чтобы холмик был лопатой выровнен, крест какой-никакой поставлен, худо-бедно пролежал бы свои тридцать лет, отпущенные по закону всякому человеку. Потом пускай кто другой на моем месте полежит. За ним еще другой, третий и так до конца, пока людям мир не сделается тесен. Зачем после смерти от земли отгораживаться стеной? Земля человека при жизни кормит, значит, и вечность свою он должен отдать земле. Ей тоже кой-чего от людей причитается.

Как-то в войну я три дня живехонький в таком бетонном склепе просидел и не скажу, чтобы очень уж мне было удобно. Даже когда вообразил себя покойником, удобней не стало. Еще кто-то от большого ума сенцы сделал с кроличью клетку — ни повернуться, ни встать. Двое нас было, я и еще один, партизанская кличка Шмель, а сидеть нам пришлось на корточках и все время лицом к лицу. Ноги у нас перепутались, его подо мною, мои под ним, будто общие — на отдельные бы не хватило места. Мы только и спрашивали друг у дружки: это твоя нога или моя? Черт, совсем затекла. А я думал, твоя. А вытянуться хотелось, залезали на отведенное покойнику место. Три клетушки еще пустовали, а в трех стояли гробы, даже незамурованные, просто так всунутые. Но и там долго было не пролежать, сейчас все тело начинало цепенеть от тесноты и бетона.

Мы тогда на разведку в одну деревню шли и нарвались на облаву. Не успели оглянуться, немцев везде, как муравьев. А тут ни леса, ни реки и деревня на равнине. К тому же осень, хлеба скошены, поля голые. Только кое-где на задворках сады, вот и все. На наше счастье, сидел возле хаты какой-то старик, увидел, что мы убегаем, и давай кричать:

— На кладбище! На кладбище! Туда! — И показал палкой на купу деревьев, будто специально выросших на этой пустой равнине, чтобы дать нам приют.

Кинулись мы в ту сторону и с лету в первый попавшийся склеп, привалили вход плитой и сидим. Там, видать, недавно кого-то захоронили, на плите еще венок из пихтовых веток лежал и куча цветов, уже подзасохших. А надо всем этим самый, наверное, красивый, ка-

кого я только видел, Иисус Христос одной рукой держался за сердце, а другую протянул вперед, словно проверял, не идет ли на свете дождь. Зато внутри темнота, вонища, но, как говорится, не до жиру. Говорить, кстати, тоже было трудно, во рту горько становилось от слов. Да и о чем говорить в склепе? Выругаешься разок-другой, и что хотел сказать, сказал. Мы даже попробовали, чтобы время убить, завести разговор, но одни только проклятия лезли на язык, точно мы позабыли все приличные слова. Правда, иногда бывает так, что приличных слов надо бы невесть сколько сказать, и то они не заменят одно крепкое словцо, пустыми покажутся, слепыми и колченогими. И слишком глупыми, хотя и не стыдными. Нормальные слова тогда хороши, когда жизнь нормальная. А нас тут вши, проклятущие, заели, хоть на стенку лезь. Так разгулялись — на теле местечка не осталось, где б не свербило. Райскую жизнь себе за наш счет устроили в этом склепе вши. К тому же как будто они у нас были общие и на общем теле. Зачешется где-нибудь у него, сразу же и у меня начинает зудеть. Почешу я себе живот или загорбок, и он те же места дерет. Да и неудивительно. Мы сидим скрючившись в три погибели, вот они и гуляют по нашей шкуре, как по райскому саду. Но даже если б и не было у нас вшей, все равно бы, небось, свербило. Когда не говоришь, не думаешь, не шевелишься, должно, по крайней мере, где-нибудь свербить.

Я еще более-менее держался, почешусь, и на время полегчает. Но он городской — верно, знать не знал, что такое вши. Как начал корябаться, только шу да шу слыхать, будто кто-то поблизости остругивает гроб.

— Прекрати,— прошу, потому что чувствую: на мне его шкура саднит. Где там — шу-шу, шу-шу. — Перестань, черт тебя побери, слышь?

А он дальше: шу-шу. Расчешется до смерти, а то еще накличет сюда кого. Я до того обозлился, что даже вытащил пистолет.

— Прекрати, не то пристрелю, гад.

— Стреляй. Все одно: от пули или от вшей.

В тот же еще день, под вечер, навестил нас старичок, который нам велел на кладбище бежать. Как он нас отыскал, как узнал, в котором мы склепе сидим, ума не приложу. Сперва мы услышали: по своду легонечко стук-стук. У нас сердца в пятки, я того малого за руки схватил, чтоб не вздумал чесаться. И тут вдруг что-то как грохнет два раза подряд, а в таком склепе все точно в барабане слыхать.

— Эй, отзовитеся! Знаю, что вы тут! Это я.

Я чуть-чуть отодвинул плиту, глянул, а это тот самый дед. Стоит на коленях, руки сложил, будто молится.

— Пришлось из-за вас перед могилой мазуриков этих, Северских, на колени стать, а у них весь род разбойный, вор на воре. Телку у меня тот, что здесь с вами лежит, увел. Туды его растуды. Натеко. Сивухи вам принес и хлебца с салом. Подкрепитеся.

— Благодарствуйте,— говорю. — А что в деревне?

— Ой, беда. Вешать будут. Согнали всех мужиков к пожарному сараю и отсчитали десятерых, что не сдали скот. Плотникам приказано виселицу ставить. Уедут, я вам подам знак.

Самогон был крепкий, нисколько не разбавленный. Для начала отхлебнули по глоточку. Шмель не хотел, непьющий, мол, но я его заставил. Потом еще по глотку. Только чтоб согреться и ото вшей. Когда тело набрякнет водкой, вши меньше едят. Но что такое два глотка? Кровь надо допьяна напоить, чтоб ни одна капелька трезвой не осталась. А от двух глотков, если б удалось измерить, самое большее палец может захмелеть. Стало быть, еще по глотку. А жратву под это дело жалко было переводить, кто знает, придет еще дед или не придет? Вот мы и цедили без закуски, под покойничков, на

пустой желудок. Шмель отказывался, невмоготу ему больше, буракаами, понимаешь ли, разит.

— Пей,— говорил я. — Видишь, вши тебя не едят. А на трезвую бы голову уже исчесался весь.

Ну и пили, он глоток, я глоток, и так по очереди до конца, до дна. Никто нас не кусал, нигде не свербило, и склеп вскоре сделался вроде бы просторней. Даже, казалось, встать можно, потянуться. Кончилось тем, что мы заснули.

Но когда проснулись, о, тут нам вши задали жару. Шмель как пошел чесаться, я думал, терпенья моего не хватит. Дал ему хлеба с салом, так он одной рукой ел, а другой шкуру драл. И еще скулил, не осталось ли хоть капли сивухи. Не осталось. Я бы сам выпил. И у меня вся кожа зудела, чтоб ее черт, но, видно, все же не так, как у него. Жаль мне сделалось парня, я выдернул из штанов ремень:

— Давай руки свяжу.

Стал он меня упрашивать: нет, не надо, так еще хуже будет свербить. И верно, думаю.

— Тогда угомонись, язви тебя в душу!

— Не могу, ужасно чешется.

— Поколупай подсолнух.

— Подсолнух? А откуда его взять?

— Не спрашивай откуда, колупай.

— Я бы рад, да как же без подсолнуха-то?

— Обыкновенно. Здесь все равно темно, ничего не видать. Представь, что он у тебя на коленях лежит, а ты выковыриваешь семечки да хрупаешь, только треск стоит. Неужто не помнишь, ты ж его в начале деревни перед одной хатой сорвал? Голубоватая такая была хата, беленая, горшки на изгороди сохли, кошка у стены грелась, куры копошились в пыли. Ты забежал в палисадник и нацелился сорвать один, а он не дается. Тут из хаты вышла девушка и говорит: я тебе принесу нож. И принесла, самый большой. Режь, сказала. А то, хочешь, все срезай. И улыбается тебе, улыбается. Или вон тот, в нем семечки покрупней. Ну как? Только шелухой в меня не плюй.

— А он зрелый, ты пробовал?

— Отчего ему незрелому быть? Осень, самая пора.

— Поколупаешь, может, со мной?

— Меня так вши не едят.

Ну и стал он колупать. Иногда только почесывался, а так колупал. Слышно было, как потрескивают семечки у него на зубах, а шелуху он то и дело сплевывал. Я уж подумал, позабудет про вшей. Меня они тоже меньше стали донимать, хоть я семечек не грыз. Вдруг он перестал хрупать и спрашивает:

— Говоришь, в начале деревни, возле голубоватой хаты, они росли?

— Грызи,— говорю. — Чего перестал?

— Пойду погляжу, может, там еще есть. — И ладится наружу лезть.

— Ты куда? Хорошо тебе и сиди.

— Принесу, и ты погрызешь.

— Сдурел? Там немцы.

— Ну и что? Говорил ведь дед, отсчитали тех, кого на виселицу. Может, уже и повесили.

— Убьют тебя,— пытался я его остановить. — Не было там подсолнухов. Я тебя обманул. Это в другой деревне.

— Не обманул. Я помню. И девушку помню. Нож мне вынесла, хотела, чтобы я тот срезал, у которого семечки покрупней. Я и срезал, да кончились семечки.

Похоронил я его на этом же кладбище, в голой земле, без гроба, без обряда. Насыпал холмик, сделал крест, перенес венок со склепа Северских, в котором мы сидели,— раз они мазурики, то и не заслу-

жили венка,— и сыграл ему на губной гармошке, потому что всегда при себе гармошку носил. Ох, глупый ты, Шмель. Грыз семечки, и дальше надо бы грызть.

Мы своих почти всегда так хоронили — там, где их смерть нашла. Без гроба, прямо в земле. А на крест срубали березку, даже кору не обдирали, только чтоб веток не было, потом пополам и накрест проволокой или ремнем, вот тебе и крест. И никакого следа не оставалось, ни имени, ни фамилии. Лежал человек и не знал, кто он. И те, что возле него останавливались, не знали. Может, даже господь бог не знал. Хотя каждый как-то назывался. Гженда, Сова, Смардз, Краковяк, Малиновский, Буда, Грушка, Микус, Нецалек, Барчик, Тамтырында, Вжосек, Май, Шумигай, Ямроз, Кудла, Врубель, Карпель, Гуз, Муха, Важоха, Червонка, Бонк, Зыга, Козея, Донца, Заёнц, Лис, Галенза, Колодзей, Ян, Юзеф, Енджей, Якуб, Миколай, Мартин, Матеуш. Целые святцы. А всем пришлось от себя отказаться и гнить, как падали.

Иногда только вешали на крест пилотку, если у кого была. И спи, друг, в темной могиле, пусть тебе приснится Польша. Но мало у кого были пилотки. В основном картузы, фуражки, береты, у некоторых шляпы, у двоих-троих конфедератки, а то и баранья папаха попадалась, и треух, и еще всякие, иной раз и не знаешь, как их назвать; кто в чем из дома пришел или раздобыл где, тот такую и носил. Микус и Лукасик ходили в вязаных шапчонках с наушниками, какие матери детям зимой надевают, под подбородком застегиваются на пуговичку. Но этим двоим еще и шестнадцати не исполнилось, мы их нашли спящими в лесу под пихтами, немцы ихнюю деревню сожгли, отцов, матерей поубивали, только им двоим изо всей деревни удалось сбежать. А кому не в чем было, тот во вражьей шапке ходил. Выстирает хорошенько, не столько даже от грязи, сколько от нечистых мыслей, чтобы часом из этой шапки не поналезли в башку. И прицепит спереди орла, а под орлом — лоскуток бело-красного флага.

Если по шапкам судить, можно было подумать, недотепы какие-то, сброд, не войско. Таким окопы рыть, валы насыпать или зверя загонять, когда баре выедут на охоту; какое уж это войско. Но в каждом черт сидел, и сердца у всех твердые как камень. Бога позабыли, разучились плакать. Даже когда своего хоронили, не было такого случая, чтобы кто-нибудь уронил слезу. Только: смирно! Слезы, они иной раз хуже, чем пули, разят. И даже в животе ни у кого не посмеет забурчать, пусть хоть три дня во рту не было ни крошки и желудок пустой, как в великий пост. Не сглотнет никто громко. Носом и то не швыркнет. И ничьи губы не имели права прошептать: аминь. Я только и поглядывал, не заблестят ли у кого глаза. У меня смирно — не просто ноги вместе, руки по швам. Это и мыслям смирно, и душе замереть, и всему, что ни есть,— смирно! Голос у меня был как набат, я пел басом в церковном хоре, даже ксендз, случалось, просил: потише, сын мой, потише, костел у нас небольшой, неужто ты хочешь, чтобы господь оглох? Ведь над самым его ухом поешь. А он не любит, когда так громко, для него важнее, кто как чувствует, а не как поет, недаром ему меньшие ближе больших. Я если крикну: «Смирно!» — и горбатый выпрямится. Назывался я тогда Орел, и жизнь от смерти для меня отличалась тем же, чем «смирно» от «вольно». Кто-то, может быть, не поверит, чтоб одно слово имело такую силу. А имеет. Как сила предназначения, от которой не уйти. Как вместе взятые силы ада и рая. Человек по команде «смирно» что угодно сделает, даже если ему этого делать не хочется или невмоготу. Как говорится, и гору своротит, и реку повернет вспять. По команде «смирно» и сердце ровнее бьется, и умом многое проще понять. Кто знает, может, по команде «смирно» и смерть примешь без сожаленья. Я иной раз думаю: откуда столько силы помещается в одном слове? Верно, тот, кто это слово выдумал, насквозь знал жизнь. Иногда, правда,

выпадают такие минуты, когда и для себя ничего лучшего не найти, кроме как скомандовать: «Смирно!»

И ребятам я приказал, чтобы, если погибну, ни один не посмел слезу пустить, только «смирно»! Самое большее, пусть кто-нибудь мне на губной гармошке сыграет: «Камень на камень, на камне камень». Потому что, если б мне сказали изо всех мелодий взять одну на тот свет, я бы эту взял. Изо всех мелодий и из жизни.

Иногда я жалею, что так не случилось. Давно б уже все было позади, не пришлось бы теперь надрываться. Взять хотя бы этот склеп. Вдобавок вечно с меня чего-то требуют: столько-то зерна продай, столько-то картошки, столько-то свеклы, того столько-то, сего, и с каждым годом все больше и больше. Нет уж, сколько уродится, столько и продам. Сука десять раз в году не станет щениться, в лучшем случае два раза. Так и земля — родит сколько может. У вас-то ни черта не купишь. Обождите, помру я, заберете себе эту землю, так и так мне ее оставлять некому. Тогда и продавайте и покупайте, хоть в десять раз больше. Но пока я живой, земля моя; хорошо еще, мне спину гнуть не лень, не то б давно непаханная стояла. Да разве таким втолкуешь? Сами земли не нюхали, а лучше всех разбираются, потому как ученые. А земле только от земли научиться можно, кем бы ты ни был.

Несколько лет назад привязались, чтоб я солому с крыши содрал и покрыл хату черепицей или толем, потому что вышло постановление насчет соломенных стрех. А у меня солома еще хорошая, на темя не каплет. Оказывается, я деревню позорю. А по мне, моя стреха красивше любой черепицы, толя и даже железа. К тому же чердак есть. Сходите посмотрите, дьяволы, небось, забыли уже, как выглядит чердак. Найдутся у вас под вашими черепицами, толем, железом такие? Ящики, а не чердаки. Сундуки. Когда жара, как в аду жарко, а когда холодно, холодней, чем на дворе. А у меня зимой тепло, летом прохладно. Зерно, мука, лук, чеснок, все может лежать, не замерзнет и не сопреет. Сырки можно сушить и одежду вешать. Или хотя бы пойти прилечь, когда умаешься или когда все опостылеет,— уютней, чем в горнице, мухи так не кусают, и белый свет словно только и начинается за стрехой. И чего вы к этим стрехам прицепились? Вон дорогу бы к мельнице лучше проложили, весной с двумя лошадьми телегу не выволочишь из грязи. Кузнец бы в деревне пригодился, а то аж в Болешицы езди лошадей ковать. Лошадям еще долго ждать, покуда на них выйдет постановление. Вы хоть слыхали, как дождь по стрехе стучит? Ни под черепицей, ни под толем, ни под железной крышей такого не услышишь — гравий барабанит, вот и все. А по стрехе — будто белешенькая манна сыплется с небес. Целый день можно лежать да слушать этот дождь. А мысли собрать — нигде лучше не соберешь, чем здесь, под стрехой. Ни в поле, ни в саду, ни над рекой, ни в костеле.

А еще у меня под печным колпаком ласточки. Выведутся птенцы, так уже спозаранку, голодные, подымают писк, а вместе с ними и я открываю глаза. Все меньше в нашей деревне этих птах с того времени, как люди стали солому с крыш сдирать. Не так-то легко ласточке снова прижиться, если крышу сменить. И не всякая крыша ей мила. Толь, к примеру, они не терпят, железо тоже. От железа, когда жара стоит, у них гнезда склеиваются, толь опять же смердит. Уж скорее аист привыкнет к новой крыше, ему лишь бы старое колесо от телеги положили или прутиков сплели. Голубей тоже можно обратно приманить, им только гороху подсыпь. О воробьях я не говорю, эти не разбирают, какая крыша, было б чего поклевать. А ласточка, даже если много лет с людьми под одной крышей живет,— вечный страх. Страх божий, человечий, осиновый лист. И без конца порхает. Без конца в полете. То она здесь, то там. Ниже, выше. Только что над землей была — и уже в поднебесье. Словно постоянно от

чего-то убегает. А от чего? Иной раз глядишь на нее, как она летает,— чисто соринка, от которой на око небесное навернулась слеза. А то вдруг тебе покажется, тесен ей белый свет и бьется она, как в клетке, захлопнутая между небом и землей. Точно разума от этого кружения лишилась. Вечно гоняется кто-то за ней. И кто? Даже когда низехонько летает промежду хат, такие острые чертит углы — как по глазам тебя режет, словно хочет, чтоб ты даже следа от нее не углядел. Не будь она наполовину черная, можно бы подумать, солнце искрится так. Только высоко, под самым небом, мало-мальски успокаивается. Хотя куда ей до степенства аиста или голубя. На дворе жара, дремотно, даже собакам неохота рычать, лежат, отупелые, в конурах. Даже куры перебираются в тенек и прячут голову под крыло. Листочек на дереве не шелохнется. Мухам кусаться лень. Одни только ласточки трепещут высоко в воздухе или носятся над самой землей. Диву даешься: и охота им, и зачем? А на другой день быть или не быть грозе. Ласточки, они не знают покоя.

Одно-два гнезда, может, у кого и сыщутся, а под моей стрехой их, небось, целый десяток. И так я со своими ласточками сжился, что даже в больнице они вместе со мной просыпались. Начиналось обычно с того, будто капля росы капала во что-то мягкое. Это просыпался первый оголодавший птенец. Я открывал глаза, смотрел в окно. Рассвет за оконным стеклом похож на пустое цинковое ведро. И сразу же за той каплей вторая, но уже как будто в ведро, поголоднее. За ней третья, четвертая, десятая, и каждая голодней прежней. И так помаленьку начинало светать. Сперва словно кто-то размыл синеву этого ведра. А погодя кто-то другой принес в том ведре молоко от утреннего удоя и поставил посреди палаты. Тотчас кровати начинали скрипеть. Кто-то что-то сказал. Кто-то господу вздох послал. Кто-то, без руки или без ноги, на другой бок перевернулся, и с ним перевернулась вся палата. И уж больше не удавалось заснуть.

Может, в такую рассветную пору я и подумал об этом склепе — что, если построить, было бы всем где лежать. Мысли-то после сна тоже оголодавшие, словно ласточки на заре. В больнице приходят мысли какие хочешь и каких не хочешь. И даже такие, которые к здоровому никогда б не пришли. Потому что у здорового мысли только на этом свете. А начнешь о том свете думать, скользят, как по стеклу. Потому что туда надо душе и телу вместе с мыслями отправляться. И навечно.

Оно и понятно, лежишь прикованный к постели, времени, как мух на навозной куче, не знаешь, куда его девать. Спать уже не хочется, да и сколько можно. Говорить тоже больше не о чем, надоело все об одном. Вот и тянется час как день, день как месяц, месяц как год. Столько времени, пожалуй, и на том свете не будет. А такое пустое время хуже, чем хворь. К тому же в палате двенадцать коек. И на каждой если не нога отрезана, так раздроблена рука, кого-то трактор придавил, у кого-то сломан крестец или трубка на месте кадыка и воздух свистит, тут полжелудка вырезано, там забинтована вся башка, а здесь даже не поймешь что. И все это вздыхает, хрипит, кряхтит и помирает каждый день. И еще без конца рассказывает, рассказывает, рассказывает о своих болячках и обо всем. И некуда от этого убежать. Так что убегаешь в свои мысли, хотя и там не лучше.

Я за всю жизнь столько не передумал, сколько за эти два года в больнице. Когда выписался, казалось, голова у меня вдвое тяжелей. И точно улей в ней без умолку жужжал. Но не думать не получалось. Даже если не хотелось, мысли сами за тебя думали. Выгонишь их из головы, так они над головой кружат, словно воронья стая, спугнутая с тополей. Каркают, верещат. И никакими силами от них не избавишься, хоть это и твои мысли.

Если бы мне кто раньше сказал, что на мою долю выпадет стро-

ить склеп, я б того человека обсмеял. Я — и склеп. И не самый младший я, и не старший. И хозяйство на себя не собирался брать. Земля меня не тянула. Делал, что отец велел, но мыслями всегда был где-нибудь в другом месте.

Из нас, четверых братьев, больше всего бы это Сташеку подошло — он с малых лет обещал стать хорошим хозяином. Отец и тот, бывало, размечтается, что Сташек, когда вырастет, построит новый дом. Даже пререкались они со Сташеком, потому что Сташек хотел каменный, с подвалами, с верандой, с широкими окнами, крытый железом и везде деревянные полы. А отец — чтоб хотя бы в кухне оставить глинобитный пол, как по деревянному-то в грязных сапогах ходить, когда придет осень? Да и сплюнуть иной раз надобно, окурок затоптать. Сташек хотел, чтобы было три комнаты. Две внизу, особо для него с женой, когда он женится, особо отцу с матерью. Третья в мансарде — если который-нибудь из нас, братьев, приедет его навестить, тоже чтоб свою имел. Кроме того, чулан, кладовка. И во все помещения отдельный вход, из сеней. Отец упрашивал Сташека, чтоб хотя бы они с матерью могли к себе через кухню входить. Всю жизнь так ходили, трудно будет наново привыкать. Но Сташек не соглашался, нет и нет, только из сеней, он видел — и в плебании [1] так, и у мельника, в каждое помещение отдельный вход. И еще башмаки надо будет снимать в сенях и шлепанцы надевать, это он тоже в плебании и у мельника видал. Правда, пока бы он этот дом построил, отец, может, и уговорил бы его, чтоб им с матерью к себе через кухню ходить. Старые они уже будут, долго не проходят. Потом пускай по-своему переделывает. А то, глядишь, сам раздумает — постареет и тоже захочет, как отец с матерью, ходить через кухню.

А построй он дом, так, небось бы, и за склеп принялся. Хороший хозяин и склеп свой должен иметь. Дом — ствол, а склеп — корни, и только дом со склепом — целое дерево. Да и помри отец с матерью, он бы их обыкновенно, в земле, хоронить не стал; на кладбище, к примеру, в день поминовения пойти — куда приятней над каменным склепом, где все вместе, стоять, чем над земляным холмиком, над каждым в отдельности. Приятней молиться, приятней свечи жечь и даже тоска по мертвым какая-то легкая. А если еще твой склеп богаче других, не просто хозяином на скольких-то там моргах себя чувствуешь, а так, будто и на том свете отхватил добрый кусок земли.

Михал, Антек, не говоря уж обо мне, ни один из нас в подметки Сташеку не годился. Михал вдобавок, когда Сташек только в школу начал ходить, уже уехал на белом свете счастья искать. Антек опять же всегда шалый был, и неизвестно, что б ему в голову могло стрельнуть. А я и не мечтал, что когда-нибудь построю новый дом, а тем более склеп. Жить мне всегда хотелось, не помирать. Жить и жить, подольше, побольше. Пусть даже и не будет ради чего. Да и так ли уж это важно: есть ради чего или нет? Может, и совсем никакой нету разницы, только любит человек себя понапрасну терзать. Кто знает, может быть, жить приказано в одиннадцатой заповеди, о которой бог позабыл нас оповестить. Или, может, для каждого в звездах или в особой книге записано, что надобно жить и жить. И хватит с нас. Не все надо знать. Лошадь не знает, а живет. А пчела, к примеру, если б знала, что для человека собирает мед, не стала бы собирать. А чем человек лучше лошади или пчелы?

Я, во всяком случае, сам не знал, так ли уж люблю жизнь или просто обязан жить, и до смерти мне даже дальше казалось, чем до рождения. Да и смерть мало что для меня значила, с жизнью не сравнить. Конечно, смерть не раз и не два ко мне подкатывалась

[1] Дом приходского ксендза. *(Здесь и далее прим. перев.)*

и, наверное, ближе чем к кому другому. Бывало, по пятам за мной ходила, а иногда и отдохнуть пристраивалась рядом, думала, авось во сне меня приберет, и даже вцеплялась костлявой рукой, но никогда ей на меня не хватало сил. Иной раз, бывало, даже заплачет от злости. Плачь, плачь, черная сука, а я еще поживу, мне жить охота. Черта с два ты меня возьмешь, когда тебе вздумается, я сам, когда отживу свое, приду и скажу: пожил всласть, теперь могу помирать.

Сам не знаю, откуда во мне столько жизни бралось. Иногда бывает, судьба так распорядится, а иногда человек уже отродясь такой, что хоть бы все против него ополчилось, а он живет. Точно сама жизнь его для себя присмотрела смерти назло.

Мне еще и трех лет не исполнилось, когда однажды к нам во двор забрался соседский индюк. Здоровенный, с теленка, и весь обвешанный красными, как вишни, бусами, точно не шея у него, а вишневая ветка. От этих бус все вокруг покраснело, как от багряного зарева. Овцы, хлев, изгородь сделались красными, земля. Собака выскочила из конуры, начала лаять на индюка и налилась красной злостью. Кот из хаты вылез, кис, кис, бурый был, а тут вдруг красный. С гусей будто кто верхнюю одежку содрал и остались они в одном только красном исподнем. И даже с косы, стоявшей у овина, красная кровь начала капать, кап, кап, кап.

Кинулся я к индюку, чтоб сорвать с него эти бусы, от которых в мире делается красно, и повесить себе на шею. А он, верно, подумал, я с ним поиграть хочу, и поначалу пустился наутек. Но вдруг остановился, нахохлился, закулдыкал и раздался вширь, точно вишня ветки раскинула, а из бус этих чуть не брызнула кровь. Я потянулся к его шее, а он как долбанет меня в руку, а потом в голову. И снова закулдыкал, и снова долбанул. Но я уже обеими руками обхватил эту шею и держусь, как за кол в изгороди. Он рванулся, подпрыгнул, но я не отпустил. Тогда принялся он меня крыльями бить, а башкой своей, зажатой у меня в руках, так мотал, словно хотел мне ее оставить и безголовым удрать. Только ничего у него не вышло, потому что я в маленьких своих ручонках чувствовал силу, не меньшую, чем в четырех руках здоровых мужиков. Протащил он меня по всему двору сначала в один конец, потом в другой. Наконец, видно, понял, что со мной не справиться. Остановился, растопырил крылья, как две тучи, и попытался взлететь. Махал, махал крыльями, дергался, вертелся, извивался, но почему-то воздух не хотел его подымать. Свалились мы с ним на землю. Пыль нас окутала. Не различить, где индюк, где я, сплошное облако пыли.

Мне казалось, в глазах у меня от этих красных бус красно, и я радовался, что они мои. А это мне моя кровь заливала глаза. Начал я слабеть. Индюк тоже еле живой, как бы насилу только крыльями шевелит. Пробовал еще меня клевать, да что сделаешь одной башкой, точно из ямы торчащей из моих крепко сжатых рук. Будто зерно на земле клевал, не сильней. А может, уже и сам не видел, что клюет,— глаза у него выпучились и стали как камушки. Только разинул широко клюв, и оттуда начало шипенье выходить, как из проколотой шины, но все слабей и слабей. Я сомлел, он повалился на меня. Выскочили из хаты отец, мать, думали, мы неживые уже. Верней, что индюк меня заклевал, а не я его придушил. Ведь я совсем маленький был. А индюк, уже ощипанный и без потрохов, потянул десять килограммов. Понес меня отец в хату, а у самого слезы ручьем текут, и весь в моей крови.

Сбежались соседи. Послали в деревню за святой водой, чтобы меня окропить, прежде чем душа отлетит и тело остынет. Кое-кто уже начал читать отходную, другие утешали мать, что господь меня обидеть не даст, может, даже в ангелочки возьмет, потому как я еще ни в чем перед миром не виноват. И все ждали эту святую

воду. Но пока ее принесли, я сам ожил. А вот когда увидел, какая орава надо мной собралась, разревелся — мать долго качала меня на руках, не могла унять.

И потом, когда мы, уже подростками, после рождества по домам ходили колядовать, то же самое, никто не хотел быть царем Иродом, ведь Ироду смерть будто бы голову должна снести, а кому охота помирать. А я всегда соглашался — по мне, чем бояться смерти, лучше было быть царем. Коса у нас была не из дерева сделанная, а настоящая, какой косят. И когда смерть замахивалась этой настоящей косой, казалось, что и смерть настоящая, а не Антек Мончка в белой простыне, переодетый смертью. Еще всякий раз острие должно было коснуться моего затылка, а не только сбросить корону с головы. Но я ни разу даже не вздрогнул. Хотя сколько мы обходили за вечер хат, столько раз смерть, саданув по загривку косой, мне сносила башку. Хозяева, у которых мы колядовали, иной раз смотреть не могли, бабы подымали визг и детям закрывали глаза. Но где сильней пугались, там потом и пирога отрезали побольше, и по куску колбасы давали, по рюмочке водки. А уж у меня непременно спрашивали: выпьешь еще одну? И проверяли, отбитая ли коса, не осталось ли царапины на шее. И надивиться не могли. Молодец, чертов сын. Ну и ну! Вот это Ирод. Как взаправдашний. Раз только Антек Мончка так маханул, что у меня кровь потекла, тогда я отобрал у него косу, надавал по заду пинков, и больше он смертью не бывал.

Или в партизанах: семь раз меня ранило. Однажды почудилось — я уже на том свете. С пулей в животе лежал. А когда открыл глаза, даже удивился, что там и лес такой же, и небо, а откуда-то сверху жаворонка слыхать. Жаворонок и на том свете мог быть, почему нет? Только поблизости горела деревня, а в пламени ревели коровы, выли собаки, плакал ребенок, кто-то вопил: Иисусе-е-е! А далеко-далеко, у самого небосклона, мужик пахал землю. Похоже было, не с этого света мужик, а мужицкая душа, потому что он на пожар не смотрел, ни рева, ни воя, ни причитаний не слышал, просто, склонивши над плугом голову, пахал. Я уж и сам не знал, в какой поверить свет, в тот или в этот. По совести говоря, на этот свет мне не очень хотелось возвращаться. А на том как бы этот дальше продолжался. Но потом я почувствовал, что весь в крови лежу и жаворонок надо мной наш, с земли. Хотя совсем меня это не обрадовало. Получилось, я на том свете помер, а жить на этот пришел.

Рассчитывал я, что только к осени выйду из больницы — хорошо бы, когда уже закончатся выкопки. Нисколько не спешил, да и куда мне было спешить? За Михала, правда, тревожился. Но меня успокаивали: мол, он там ничего, живет. То один ему поесть принесет, то другой. С жатвой помочь кооператив обещался, а если нет, так соседи. Ну а картошка, свекла — тоже кто-нибудь найдется за одну треть, потому что я столько платил.

Но пришел однажды врач, велел мне встать, пройтись в одну, в другую сторону по палате, с палками, без палок и сказал, что не мешало бы меня до осени подержать, но он знает, понимает, что мне бы хотелось к жатве дома быть. Ну и выписали, пришлось возвращаться домой. Надо было ему сказать, что торопиться мне особо некуда, а хлеб убрать поможет кооператив, если же нет, то соседи, как и до сих пор, все эти два года. А за косу я бы и так сразу не взялся. Коса здоровых ног требует, как и рук. Косари даже говорят, что на самом деле ногами косят и крестцом, а руками только машут. Но я ничего не сказал. Подумал: столько жатв пережил и теперь перед врачом от них открещиваться? Не один у нас в палате только и мечтал выйти к жатве, пусть последней перед кончиной, живою еще рукой погладить колоски, а то и на покос

еще разок выехать, на поля наглядеться, надышаться землей. Не одному и на тот свет полегче было бы отправляться, кабы знать, что и там его жатва ждет. Понятно, земля человека кормит, и к полю его должно тянуть, как кобеля к суке.

В общем, вернулся я. И на третий уже день пошел на кладбище, поглядеть, что и как. Взял рулетку, огрызок карандаша, бумаги листок, решил кое-какие склепы обмерить, посмотреть, который мне лучше всего подойдет.

Кладбище у нас сразу за деревней. Минуешь последние хаты, потом два шага влево и маленько в горку. Когда гроб из дома покойника несут, за всю дорогу меняются самое большее три-четыре раза. Хотя бы из самого дальнего конца несли, от мельницы или от школы. Я много раз носил и всегда шел в головах, а в головах, известно, куда тяжелей, чем в ногах, потому что, если от живота считать, тут тебе и крестец, и плечи, и голова, а позади только и несешь ляжки, голени да десять пальцев. Но я бы мог всю дорогу без подмены пройти, если б не то, что положено меняться несущим гроб. И потому, наверное, я посчитал, что до кладбища недалеко. А кроме того, забыл, что ноги подо мной не те, и каждый шаг — давешних сто.

Поглядывал я, не едет ли часом кто, чтобы меня хоть сколько-нибудь подвезли. Но пору выбрал неподходящую, пополудни, все в полях. Руки у меня занемели от палок, а в горку и совсем худо пошло. Так что, едва войдя в кладбищенские ворота, я плюхнулся на первый попавшийся склеп; до того умахался, что пот заливал глаза.

Склеп Козлов, прочитал я, где сижу. На взгляд небольшой. Никто б не поверил, что больше троих-четверых поместится. А там, когда несколько лет назад хоронили старого Козла, уже лежало пятеро, старик был шестой. Другое дело, что его еле смогли впихнуть. Гроб на гробе, как в подполе бочки. И чтобы гроб на полозья поставить, не войдешь. Стали самого маленького мужичонку искать, но никому самым маленьким быть не хотелось. Один на другого кивал: мол, не он, а тот. Да и как распознать в толпе, кто меньше всех? Без метра не обойтись. Наконец отыскался один — может, и не самый маленький, но влез. Влез, а обратно никак — гроб не пускает; пришлось вытащить покойника. Подхватили тогда гроб снизу, думали, поверху легче пройдет, ан нет, мешается крышка. Сняли крышку, и тут-то вышло наявь, что хоронят отца в чиненых-перечиненных башмаках. Заходил я раз в пожарный сарай поглядеть, как мужики в карты играют. Франек Козел играл, а еще Ясь Бонк, Мартиняк и Квятковский. К Бонку Ясю в аккурат фуль пришел, у Мартиняка был стрит, у Квятковского две пары, а у Франека ничего, но он больше всех надбавлял. В конце концов сорвал банк. А в банке на десять пар таких башмаков и еще на костюм, рубашку, галстук б хватило, а то и на гроб. И все Франек проиграл, потому что Ясь его проверил. А он и глазом не моргнул. Еще вытащил из кармана две сотни и послал Гвоздзя за пол-литрой.

Измерил я, наверное, с десяток склепов. И не только измерил, но и осмотрел внимательно, обстучал. И вышло у меня, что которые Хмель ставил куда солидней, чем те, которые Возняки. По сравнению с Хмелевыми у Возняков клетушки, хотя на столько же гробов. И даже самые первые, довоенные, Хмелевы склепы до сих пор стоят, словно срослись с землей. С полвека как Хмель начал склепы ставить! А Возняки только в войну, когда одному Хмелю было не управиться.

Советовал мне кое-кто Возняков нанять: мол, они помоложе и на пару работают, а Хмель старый и копотун. И что с Возняками я знать не буду забот ни с цементом, ни с известью, потому как они прямо из вагонов покупают все краденое. Только не нравилась

мне Возняков работа, к тому же они любят хорошо поесть и к каждому обеду ставь им пол-литра, не то к другому пойдут, а твое бросят. А Хмель непьющий. И опять же, чуть побольше или пожирнее поест, сразу у него живот схватывает, и должен он хоть немного на корточках посидеть, обхватив живот руками. Он рассказывал, что в ту войну переел гнилых сельдей, и с тех пор приходится вот так, скрючившись, сидеть, если поесть побольше да пожирней. Но и скрючившись можно жить.

И за Хмелем присматривать не было нужды, все он сам проверял, обо всем помнил. Я купил цемент, так ему мало показалось, что есть цемент, пришел поглядеть какой. А привередничать начал — меня аж зло взяло. Сперва сунул в этот цемент палец и облизал языком. Потом взял щепотку и, сыпля тонкой струйкой себе на ладонь, дунул, летучий ли, потом еще подсыпал из мешка в ладонь, поплевал и стал разминать. И хоть бы улыбнулся. Нет, так и остался с кислой рожей.

— Хмель, чего тут разглядывать, все на мешке написано.

— А ты, умная голова, больше верь написанному — на тебя же потом свод и обвалится. Ты не почувствуешь, а про меня скажут: никудышный мастер.

Да и на кладбище пойти — невооруженным глазом видать, который Хмеля склеп. Каждый как скала. А Возняковы ногтем ковырнуть — песок сыплется, никогда сколько надо цемента не дадут. У некоторых склепов уже все углы облупленные. А иные скособочились. Или трещина рассекла поперек плиту, и вода на покойников каплет.

В день поминовения этого не видно, потому что могилы все как есть одинаковые. Кладбище нарядное, цветы, венки, свечи, и людей полно, только и видишь печаль. Но в обычный день, когда до дня поминовения далеко, или после него, когда еще дальше и кладбище точно давно не паханная залежь, каждая трещина колет глаза, каждая щербинка будто рана под размотавшимся бинтом, и склеп на склеп не похож, как человек на человека, а все вместе они словно люди, которые, умаявшись в поле, присели отдохнуть и друг дружки стыдиться нету сил. Мужики почесываются, бабы ноги раскорячат, гляди сколько влезет, только неохота глядеть.

Поставил Хмель перед войной склеп дочке учительницы. Бася ее звали, сидела на первой парте. Была она как маргаритка, вечно мальчишки на уроке вместо того, чтоб на доску смотреть, на нее пялились, а потом стояли в углу. В шестом классе она вдруг уехала и где-то целый год пропадала. А когда вернулась, больше в школу не стала ходить, все сидела в теньке. Лето, солнце, а она в теньке, у стены, под деревом, под зонтом. И все бледней и бледней становилась, и глаза все больше и больше, а были они у нее как синие васильки.

У меня с польским не ладилось, а тут как раз у нас сука ощенилась. Я взял одного щенка и отнес ей.

— Сидишь в тени, Бася, пусть хоть у тебя щенок будет.

— Песик, песик.— Стала его к себе прижимать, целовать, словно невесть какое подвалило счастье.

А что за счастье — пес и пес, к тому же рябый, бело-черный, и слепой. Отец велел, пока не прозреют, щенят утопить. Самое большее одного оставить — на что нам столько собак? Подрастут, только и давай им жрать. А потом за суками станут гоняться, и будут их в деревне колами лупить, еще, не ровен час, калек держать придется. А посадить на цепь — это ж сколько надо цепей покупать. Вон у коровы порвалась цепь, и то некогда к кузнецу снести, чтобы как-нибудь склепал. А ежели вой подымут, столько-то собак враз? Кто выдержит? Всю ночь глаз не сомкнешь, как утром на работу вставать? Еще подумаешь: к чьей-нибудь смерти воют. Не приведи

господь, кто из родных. Лучше бы уж на луну выли, да луна на небе не всегда, а смерть всегда тут как тут.

— Песик, песик. А как его звать? — спросила Бася.

— Пока никак. Я тебе без клички принес, сама назови.

— Лучше ты,— говорит.— Хочу, чтобы ты назвал. Так и буду кликать, как ты назовешь.

— Сама называй. Я тебе его дал, он теперь твой.

— Ну, назови,— просит.

— Тоже мне, большое дело, собаку назвать. Чего на ум придет, так и назови.

— Тогда пускай будет Шимусь. Хочешь?

— Его спроси, как он хочет. Мне все равно.

— Шимусь, Шимусь.— Снова стала его к себе прижимать, а в голубых ее глазах засверкали голубые слезы.— Жаль, что я скоро умру.

В общем, в следующий класс я перешел. А она после этого сидения в теньке с полгода еще умирала. Белый ангел на ее склепе поседел весь, и склеп потрескался, точно старая стреха, а перекосу не дал. И с надписи золото уже обсыпалось, а буквы и теперь как в букваре. «Великая пустота сделалась в доме моем, дорогая Басенька, когда ты его покинула. Мать». И было-то девчонке всего двенадцать лет, а прочтешь — будто умер весь мир. Я спрашивал у Хмеля, сам он это придумал или подсказал кто.

— Кто ж станет подсказывать,— ответил он.— Со склепа на склеп переносится, так оно и идет.

А у Возняков все на один манер: родился, умер, мир праху его. Или склеп молодого помещика. Тоже довоенный. Наверное, даже раньше Баськиного. Паныч на автомобиле разбился. Гонял на этом автомобиле по деревням, по полям, пугал людей, живых тварей, а пыль, говорят, подымал! Проедет, так иной раз с полдня мгла над деревней висит, а люди кашляют, точно чахоточные. Окна в хатах закрывать приходилось, кур, гусей с дороги сгонять, а кто в поле ехал, обратно поворачивал скорей. Потому что больше всего его лошади боялись. Едва заслышат, где-то вдалеке трубит, сразу на дыбы. Ничего мужикам не оставалось, кроме как слезать с телег и брать коней под уздцы. Но если лошадь норовистая, бери не бери, все равно поломает дышло, порвет постромки, телегу перевернет и помчит куда глаза глядят. Некоторые пророчили: не миновать моровой. А паныч в кожаном шлеме, в огромных, как плошки, очках, ни дать ни взять Люцифер. Так его и называли. Люцифер едет! И всяк живой спешил с дороги ноги унести. А старики троекратно осеняли себя крестом и плевали через плечо: сгинь, пропади, нечистая сила.

Раз под вечер возвращались коровы с лугов. А в те времена известно какие были коровы — вся дорога их. К тому же сытые, медленно брели, лениво, хоть бери палку и подгоняй. Телеги б не пропустили, а уж какой-то там автомобиль и подавно. Не то что сейчас: идут по дороге, так обязательно уши навострят, и шкура дрожит. Чуть какой шум позади, впереди, сами сойдут на обочину. И даже по левой стороне научились ходить. А раньше коровы были на дорогах полные хозяйки. Только панычу казалось, он надо всем хозяин. И нет чтобы остановиться, подождать, пока стадо пройдет,— принялся гудеть, огнями мигать и даже не притормозил. А коровы только тесней сгрудились. Одну задавил, другой ноги переломал, и сам покойник.

Я проехался пальцем по надписи, как по ложбинке; имя, фамилия и трагически погиб, все можно прочитать, и перед фамилией гр.— граф. А вот усадьбы не сохранились, хотя, казалось, усадьбы куда склепов прочней.

Когда фронт через нас проходил, Хмелевы склепы тоже продержались лучше других. А нету для могил страшней испытания, чем война. Шесть недель стояли на кладбище две немецкие батареи и стреляли день и ночь на восток. А пушки одна в одну, и каждая — огнедышащий змей. К тому же до половины врытые в землю, только пасти из-за склепов торчат; от каждого выстрела бугор с кладбищем аж подскакивал, а прислуга у орудий только рты разевала, чтоб не оглохнуть. А сколько срубили деревьев, когда расчищали для этих пушек место.

И с востока опять же русские пушки, тоже шесть недель кряду, день и ночь. Казалось, бугор, на котором кладбище, сравняется с землей. И даже черви не выдержат в этом аду, не говоря уж о мертвецах. Землю точно наизнанку вывернуло, и вся вечность вывалилась наружу.

Скелеты, тела, гробы лежали, разбросанные по всему кладбищу, словно смерть взяла волю и так разгулялась, что уже живых ей мало стало, покойников принялась выволакивать из могил, чтобы наново их прибрать. Вроде бы и так они мертвые, одни уже с землей срослись, иные сгнили, обратились в прах, а пришлось вдругорядь помирать. Даже не ведая, что помирают. А когда фронт прошел, надо было их во второй раз хоронить, как настоящих покойников. И кладбище еще много лет напоминало побоище.

Ничего не осталось, одни обломки, развалины, пусто, глухо, только кое-где уцелевшее дерево, уцелевший склеп. Птиц как вымело, захудалого воробья — и того не встретишь. И долго еще потом, хотя ничего им уже не грозило, птицы огибали стороной кладбище, как зачумленное. Хоть бы какая-нибудь, пролетая мимо, присела и чирикнула. Хоть бы завернула на минутку, сбившись с пути. Или, как оно у птиц водится, навестила свое старое гнездо.

А прежде птичий рай был на кладбище. Кукушки, черные дрозды, щеглы, синички, иволги, снегири, свиристели, дятлы, вороны, горлицы. Всех не перечесть. Аж деревья тряслись. Пели наперебой, перекликались, куковали, каркали. Войдешь на кладбище, так сперва в птичий содом попадаешь, а уж потом к могилам. Молитву начнешь читать, слова теряются в этой трескотне. Франтишек-причетник, бывало, лазил по деревьям и сбрасывал самые крикливые гнезда — недостаточно печально, по его разумению, было на кладбище. Птицы не только на деревьях гнездились, но и на крестах, и на распятиях, и в травах на земле. А как фронт прошел, если и случалось которой-нибудь птахе над кладбищем пролететь, то высоко над землей, иной раз так высоко, насколько крылья могли поднять. Будто вдруг ее окружили со всех сторон и некуда стало бежать, кроме как вверх и вверх.

Причетник Франтишек, которому прежде из-за этих птиц не так печально было на кладбище, теперь сколачивал кормушки и развешивал там и сям, где только уцелело дерево или хотя бы ветка, и даже на крестах, на распятиях, на ангелах, было б за что зацепить. Глядишь, крест на могиле, а на перекладине две кормушки висят, будто господь их в прибитых к кресту руках держит и приманивает к себе птиц. Либо на месте головы ангела, которую снарядом снесло, кормушка — все равно что ангельская голова. Понавешал Франтишек этих кормушек тьму-тьмущую — смотришь и думаешь, сколько же на кладбище птиц. А там ни одной, они и кормушек сторонились.

Еще наставил Франтишек между могилами банок из-под армейской тушонки, воды налил, чтобы птицы могли напиться, когда прилетят. Вечно у него люди таскали эти банки с водой на могилы под цветы, так он новые ставил, чего-чего, а этого добра хватало. Фронт не один месяц стоял, вот солдаты и съели тушонки целую гору. На дорогах валялись банки, в канавах, в картошке, в окопах. Приспо-

сабливали их под сахар, под соль, а на худой конец такая банка и тарелкой, и кружкой могла послужить. Ребятишки даже гоняли эти жестянки вместо мяча. А то прочтет человек: свиная тушонка — и как будто поел.

Иногда чуть свет уже можно было встретить Франтишека на кладбище: бродит как неприкаянная душа, с полными карманами проса, семечек, пшеницы, муки, хлебных крошек и сыплет между могилами, взывая к пустому небу: тирли-тирли, тирли-тирли. Пройдет несколько шагов, остановится и, переведя взгляд с неба на землю, смотрит, не услышал ли его зова какой-нибудь скворец, снегирь или свиристель, не поклевывает ли где, весело подпрыгивая, зерно. А потом снова вышагивал, как сеятель, тирли-тирли, тирли-тирли.

Некоторые подозревали, что Франтишек песок сыплет, не зерно, а птицы не дураки, их песком не приманить. Это ж сколько надо зерна на такое кладбище, как наше! Людям хлеб не из чего было испечь. Поля перерытые, истоптанные, да и что под пулями соберешь? Значит, и птицам должно быть голодно. Но голодного приманишь и на песок. К тому же когда птицею по небу летишь, то с высоты не видать, что кто сыплет внизу: песок или зерно. Да еще кричит тирли-тирли и в небо глядит — отчего б ему не поверить?

Учил Франтишек ребят прислуживать при литургии. Прежние прислужники за войну подросли, им теперь интересней было неразорвавшиеся снаряды и мины разряжать. Но кто хотел стать прислужником, должен был сколотить западню для скворцов. И водил Франтишек свою команду на холмы, что у леса. Там они целыми днями ловили этих скворцов. А словив, приносили на кладбище и выпускали.

Случалось, среди своих учеников, лежа в траве и зарослях, держа в руках концы веревок от силков, забывал Франтишек про костел. Со скворцами оно не так-то просто. Можно день проканителиться и ни единого не поймать. Достаточно, один ловец другому на ухо словечко шепнет как раз, когда скворец подлетит, или вздохнет погромче — сразу птицу спугнет. Мальчишки, чего с них взять: увидят, что подлетает, сразу сердце бух, бух, а скворец и сердце может услышать, если оно громко колотится. Но кто раз спугнул скворца, того Франтишек из прислужников выгонял.

— Пошел отсюда, пустопляс. На скворца терпения не хватает, а хочешь господу богу служить?

И не помогали ни слезы, ни мольбы, ни что дома отлупят. Суров иногда Франтишек бывал. Но вообще добрая был душа. Еще когда меня прислуживать обучал, мы в основном соскребали воск с подсвечников. А стоило его спросить, что значит saecula saeculorum или Dominus vobiscum [1], отговаривался, что это тайна божья.

— Тебе надо знать, когда в служебнике страницу перевернуть. Когда вино и воду в чашу налить. Когда колокольчиком зазвонить. А слова только бормотать научись.

Приходили иной раз люди к заутрене, а в костеле духота, как в святом хлеву, потому что некому было проветрить. Тогда ксендз брал жердь и отворял окна — что поделаешь, Франтишек ловит скворцов. Либо люди уже сходятся в костел, а тут дверь заперта, потому что Франтишек с раннего утра побежал приманивать скворцов и не вернулся еще. Или пора начинать заутреню, в костеле народу полно, ксендз в ризе поминутно выглядывает из ризницы, а тут свечи не зажжены, алтарь не застелен, органист только знай играет, а Франтишека нет.

Тогда, бывало, кто-нибудь из прихожан, помнивший с грехом пополам, как прислуживают, надевал стихарь и выносил за ксендзом

---

[1] Во веки веков *(искаж. лат.)*; господь с вами *(лат.)*.

служебник. Ксендз поднимал чашу, и тут только являлся Франтишек. Весь еще взбудораженный от этих скворцов. Мало что волос седой, в голове полно травы. Башмаки, брюки мокрые от росы. И хоть бы со смиренным видом, тихонько колени преклонил. Какое там, бухнется с маху, аж пол загудит. И того, кто вместо него прислуживал, вытолкает взашей, мол, нечего его место занимать. И так затянет «et cum spiritu Tuo» [1] или хотя бы «amen», будто с самого начала на коленях перед алтарем стоял.

Но удивляться тут нечему. Скворцов лучше всего поутру ловить и в воскресенье, когда они с ночи голодные и в полях тишина. Ну, а от холма на опушке леса до костела километра два, а Франтишек уже старый был, и, может, только эти скворцы заставляли его держаться за жизнь. Или, может быть, бог ему приказал: налови, Франтишек, перед смертью скворцов. Потому и ксендз на это сквозь пальцы смотрел и никогда его не ругал. Еще спрашивал, когда Франтишек после службы снимал в ризнице стихарь:

— Ну как там сегодня скворцы, Франтишек? Прибавилось на кладбище хоть сколько-нибудь?

Да и не годился уже Франтишек для более тяжелой работы в костеле. Вот скворцов на холме у леса ловить да таскать на кладбище было самое подходящее для него дело.

Однажды принес он гнездо синичек с птенцами и пристроил на дерево. Старые, может, и улетели бы, а маленькие подросли и остались. Потом кто-то притащил ему из леса белку, он ее тоже выпустил промеж могил. Еще кто-то дятла. Кто-то снегиря. Кто-то горлицу. И так помаленьку вернулась на кладбище жизнь.

Дорога

Шла у нас через деревню дорога. Не бог весть какая, конечно, деревенская. Выбоины, рытвины. Весной и осенью грязь, летом пыль. Но народ не жаловался. Время от времени подправят там и тут, посыплют щебнем, ездить можно. И на ярмарку в город доедешь, и в любую деревню по соседству, а на войну кто отправится или поглядеть белый свет, тоже она его куда надо приведет.

А кроме того, что дорога была для всех, каждый еще от нее свою часть имел, смотря у кого какое подворье. И перед всяким воскресеньем или праздником в летнюю пору ее подметал, осенью грязь счищал, зимой, когда навалит снегу, сгребал снег и посыпал золой, чтобы кто-нибудь перед его хатой не грохнулся. А к троицыну дню всегда украшали дорогу аиром. Шли люди в костел, а под ногами у них аир похрустывал и пахло как в роще; говорили, это дорога пахнет так. И почти у каждого была при дороге своя лавочка либо камень. Можно было вечером выйти посидеть, с соседями поболтать, закурить или хотя бы в темное небо над головой поглядеть. Господа бога о том о сем поспрошать. И только светлячки мерцают вокруг.

Люди, коровы, гуси, все посередке ходили, потому что не было ни левой, ни правой стороны. Можно было лошадь с телегой на обочине бросить и зайти в корчму выпить лимонада или пивка, а если кто поставит четвертинку, то и рюмочку пропустить, а лошадь себе стоит. Или с поля возвращаешься с житом, а кто-нибудь навстречу едет, так телеги станут рядышком, словно бы плечо к плечу, и никто тебе не гудит: мол, освобождай путь. И в вечность то же самое по этой дороге уходили, потому что не было другой. Только бабы выскакивали из хат и загоняли своих кур и гусей во дворы. Мужики собак, чтоб не лаяли, из будок не выпускали. Возы съезжали на обочину. Косари косы снимали с плеч.

[1] С духом твоим *(лат.)*.

Матери выносили из домов грудных младенцев. И даже пьяный стаскивал шапку с головы и трезвел.

А по обеим сторонам дороги росли акации. Идешь, бывало, когда они цветут, дух захватывает. Окна на ночь приходилось закрывать, чтобы не просыпаться утром с больной головой. Мужики по вечерам на лавках или на камнях словно не махорку курили, а акациевый цвет. У собак нюх на воров пропадал, лежали, отупелые, каждая перед своей конурой. Остановишься с девушкой под цветущей акацией, так и слова не нужны. А теперь осталось в деревне от силы пяток акаций. Все спилили, когда стали прокладывать новую дорогу. Раньше акации для телег сажали. Есть у тебя перед хатой акация, считай, и телега есть. Ну может, без дышла и боковин. Дышла хорошо делать из молодого дубка, а боковины — из сосновых дюймовок. Зато были у тебя дроги, сиденья, подоски, сницы, подушки, вага, валек, шкворни, чеки, ну и колеса. А для колес нет лучше дерева, чем акация. Даже дубовые — и те не сравнить. Чересчур твердые они и трескаются легко. А в телеге самое главное — колесо.

Только сейчас настало время резиновых колес. И меня уговаривают, чтоб резиновые себе поставил. Лошади будет легче, и на телегу куда больше можно навалить. Или советуют: ты бы хоть лошадь перековал и резиновые чехлы на подковы надел, не будут сбиваться на асфальте. В страду мужики по четыре ряда снопов на резиновых колесах возят. Раньше б и на двух лошадях столько не свезти, а теперь одна — и тянет. Дорога сама тебя подталкивает. У некоторых земли с гулькин нос, а телега на резиновом ходу. А взять стариков: кажется, им бы только господа о вечном покое молить, а туда же, деревянные на резиновые меняют. Того и гляди, Карпель богу душу отдаст, и не останется в деревне колесников. Механиков придет черед. Кто тебе тогда хотя бы косяк в колесе заменит, когда он искрошится, кто выточит втулку? Из чего? Раньше акации были, было из чего. Но и дорога была.

Петлистая, правда. Понятно, дорога. То да се обогнуть должна. Распятие, хату, пруд. Все повыпрямляли, заасфальтировали. Повороты долгие сделали, скругленные, почти что и не поворачиваешь, прямо едешь. Не один такой поворот целое поле сожрал. У Альбина Мухи поле было у самой дороги, он на нем гречиху сеял, птиценожку, а теперь у него поворот. В иное воскресенье выйдет Муха на этот поворот и давай молотить палкой об асфальт, тут мое поле было! Загубили мне его, окаянные! Или сядет на край канавы и записывает машины, что по его полю ездят.

Ничего не скажешь, новая дорога прежней раза в три шире, и катишь по ней, как по столу. И хоть на мир с нее поглядишь. Особенно в воскресенье. Жаль только, нет у таких дорог названий, как у рек. Ведь деревня наша при этой дороге точно у разлившейся реки. Смотрят люди, а она течет и течет. И даже как бы надвое разделила нашу деревню. По ту сторону деревня и по эту. Мать ребенка в магазин не пошлет, если магазин не по их стороне. Сосед к соседу занять лошадь, плуг, косу иной раз лучше подальше пойдет, чем через эту реку переходить. Пастухи коров на пастбища гонят, так одно стадо отсюда, другое оттуда, а когда-то всех вместе пасли. На собраниях то же самое — те, что с этого края, и те, что с того, на своем стоят. Или выйдут два соседа, у которых хаты напротив, так не сойдутся, как бывало, вместе подымить, посудачить. Каждый на своей стороне курит, и каждый из своей пачки. И разговаривают точно глухой с глухим. Да и как тут поговорить, когда один на одном берегу, другой на другом, и по разговору ихнему без конца шныряют машины. Небольшие еще можно перекричать, а уж грузовики слову из глотки вырваться не дадут.

Ну и акаций жаль. Сердце сжималось от жалости, когда старые

деревья, как хворостинки, падали под пилой. Человек с ними родился, с ними вырос, вот и думал, что с ними и помрет.

Весной это началось. Холодно, мокро, грязь. Кое-где на полях еще снег лежал. Приехали с моторами, пилами и давай валить. А люди выходили и смотрели, что еще оставалось делать? Старые, молодые, ребятня, матери с младенцами так на берег выходят, когда в половодье подымается вода в реке. Или когда ночью зарево на небе, и знаешь только, что где-то горит, а помочь не поможешь — далеко. Не у одного навернулась слеза, не один господа помянул, не у одной матери дитя заплакало на руках, потому что и детям больно было смотреть, как кромсают мир.

Но потом, когда объявили, что будут эти акации продавать, все позабыли про жалость и кинулись их покупать. Не обошлось без ругани, подкупов, оговоров. Кое-кто по целым дням под акациями на страже стоял. Иные девок посылали перед пильщиками задницей вертеть. А у кого не было в доме девок, задабривали рабочих водкой, колбасой, чем бог послал. Кто-то даже образок с ангелом-хранителем на одну из акаций прибил, чтобы тот ему ее караулил. Кто-то на другую повесил кусочек красного наперника — мол, это его. А Болесь Валек собаку привязал — тоже приглядел себе дерево под платяной шкаф. Но кто-то ночью его собаку убил и той же веревкой привязал к телеграфному столбу. Или же Микус — велел своему пацану на дерево залезть и сидеть, покуда не спилят. И так раскупили самих себя.

Не скажу, я себе тоже одну присмотрел. За километр от деревни росла, я и подумал: пока до нее доберутся, успею еще купить. Но подхожу как-то, а от моей акации только пень. И остальные уже, вдоль всей дороги, проданы, спиленные и неспиленные. Механическими пилами пилили, приставят такую пилу, дрыз-з-з — и нет акации. И тут же другую, третью. А я, дурак, думал, что как обычной пилой — чах, чах. На всей дороге осталась только старая верба у мостика за костелом, которую никто не хотел покупать, потому что возле нее привидения водились. Внутри она была вся трухлявая, сплошная дыра, только снаружи ствол. Как еще у нее весной на верхушке вырастали зеленые ветки — чудеса.

Говорили, когда-то там было логово черта. Вроде он показывался людям, только не в настоящем своем обличье, а всегда кем-то переодетый — то заблудшей овцой, то всадником на коне, монахом в капюшоне, странником, который ищет ночлега или сбился с пути. А Пенте из Замлынья явился невестой в длинной белой фате, и фата эта застилала поперек всю дорогу. Хотел Пента мимо пройти, потому как сразу что-то ему не понравилось — невеста ночью и у старой вербы. Но невзначай наступил на эту фату, а фата вдруг с девицы и спади, и предстала она перед ним голехонькая, как господь сотворил. И к Пенте: мол, теперь ты на мне должен жениться. Пойдем, отведу тебя под венец. Но Пента мужик не промах, почему нет, говорит, обожди только маленько, сперва я побегу, свою бабу зарублю топором. Ну беги!

То же самое дед рассказывал, что в молодые годы возвращался однажды ночью домой, а возле вербы какой-то барин прогуливается, в цилиндре, в пальто, с тростью. Дед подумал: помещику не спится, вот и вышел пройтись. Хотя странно, почему по такой ухабистой дороге, будто у него своего парка нет. Еще ногу подвернет или вляпается в коровью лепешку, стыд-то для такого барина какой. И даже спросил его дед, поклонившись, как барину:

— Что же вы, ваша милость, не по парку прогуливаетесь? Здесь рытвины, ямы, только гляди.

Тогда тот деду:

— А, это ты, Петрушка.

А деда как маслом по сердцу — в такую темень помещик его

узнал и фамилию вспомнил. А когда еще взял под руку — мол, проводит его до хаты,— тут уж подумал дед, не настают ли для бар худые времена.

Сперва выспрашивал он у деда, что слышно в деревне, как людям живется, не жалуются ли. В общем, судачили о том о сем. Но видно, задушевный у них вышел разговор, потому как, когда к дому подошли, дед предложил, что теперь он проводит помещика до дворца. И опять чесать языком. Так и провожались полночи, то он деда до хаты, то дед его до дворца. И вдруг помещик спрашивает у деда:

— А не думает народ на поместья идти?

Дед сразу смекнул: вот об чем твоя, сукин сын, печаль — и говорит:

— А зачем?

— Ну, жечь, грабить, убивать!

— И-и-и, деревня богобоязненная, тихая, работящая. Нам усадьбы не в тягость.

— Как же так? — рассердился помещик.— Неужто вам панами не хочется быть?

— Нам и мужиками неплохо,— хитро отвечает дед.— Так установлено, видать, оно и всего лучше.

А тот еще пуще осерчал. Тростью по дороге стал колотить, что непременно должны пойти. Столько им паны причинили зла и дальше чинят. И такое понес: и пожгли бы все, и крови бы сколько пролилось, и слез — как если б не одни усадьбы рушились, а весь белый свет. У деда коленки затряслись, и со страха он возьми да перекрестись. Тут подул ветер, у помещика сорвало цилиндр, и увидел дед на его башке рога.

— Сгинь, дьявол! — крикнул дед, и в ту же минуту рядом с ним сделалось пусто.

Но не стану же я бояться чертей! Купил эту вербу. Свалил у овина, до сих пор она там лежит. Потому что, по совести говоря, ни на дрова ее порубить, ни смастерить чего. Но раз уж мне не досталась акация, пускай хоть верба будет моя. Не заметно, чтобы собака на нее ощетинивалась или кот ее обходил, а куры, те и вовсе взяли в привычку на вербе сидеть. Коли есть там черт, пусть вылазит, поглядим, кто кого. А акацию я хотел потом у Юзека Винярчика перекупить и двойную цену предлагал. Он шесть штук купил, на что тебе столько, говорю. А мне бы пригодилась на новую телегу. А не на телегу, так, может, сколотил бы стол. Стол мне даже больше нужен. Тот, что у меня, со времен фронта стоит, едва дышит уже. Ни облокотиться на него, ни тяжелого не поставить. Тронешь — качается, как на ветру, да поскрипывает. Пришлось ему недавно ногу вправлять. Собака потерлась, и отвалилась нога. А до того доску в середке заменить. Поставил я миску с капустой, а миска через стол на землю плюх. Выпилил кусок из старой боковины от телеги, тоже была трухлявая, но другого ничего не нашлось, прибил гвоздями, гвозди как в масло вошли. А ногу сделал из сливового деревца, которое уже несколько лет стояло засохшее, и все недосуг было выкопать его из земли. К другим ногам не подходит, но держится. Да и как может обыкновенная слива подойти, когда те ноги дубовые и резные. Наверху каждая словно венками оплетена, а внизу тоненькие, как лошадиные бабки, и какими-то диковинными лапами упираются в пол.

Сразу после фронта, когда я одно время за парикмахера был, соберутся, бывало, в воскресный день мужики и обязательно заведут спор из-за этих ног. Некоторые даже об заклад бились, ото львов они или от каких других чудищ. Отгадать никто не отгадал, но выпито при этом было немало. И не только из-за ног сцеплялись, но и из-за того, кто за столом сидел, что ели, что пили. Иной раз

начнут гадать да так раззадорятся, прямо тебе настоящий пир. Смех, крики, здравицы только и слыхать. И даже как пробки стреляют, как рюмки звенят. А от еды стол прямо ломится. И все новые и новые подносят кушанья. И от запахов аж свербит в носу. Пока кто-нибудь первый не опомнится вдруг и не бросит со злостью:

— Давай, Шимек, брей. Они, гады, будут жрать, а мы, как Моисей, с бородами ходить.

Но тогда еще у стола были все четыре ноги, а по столешнице точно вьюнки вились. И ящик имелся с золоченой ручкой. Было где клещи, молоток держать, разные болты, винтики, гвозди, бритвенные приборы, квитанции, материнские четки — их целых четыре штуки от нее осталось. Одни даже с того времени, когда мать, взявши меня, малолетка, с собой, ходила на поклон святым местам.

Но вернулся я из больницы, а ящика нет. Приглянулся кому-то, видать. И с той поры зияет в столе дыра, будто у него души нет. Да и со столешницы давно блеск сошел, и дырочек от короедов полно, словно на конопатой рожице веснушек. Что ж, человеку конец приходит, приходит и столу.

Нашел я его на второй же день, как вернулся из партизанского отряда домой. Отец послал меня посмотреть, не заминировано ли наше поле, а то скоро весна, пахать надо будет, сеять. Хотя до весны было далеко, еще снег не сошел. Немного не доходя до нашего поля, огляделся я просто так вокруг и вижу: что-то на господской земле в нескошенной ржи лежит — труп не труп, сверху припорошено снежком. Оказалось, столешница. Тогда начал я ноги искать. Одну сразу нашел поблизости, а две почти у самого леса. А потом и четвертую, в развороченной землянке, когда за сапогами для Сташека ходил. А из ящика как-то раз, незадолго до пасхи, вижу, сосед кормит свиней.

— Кароль,— говорю,— что-то, сдается мне, подходит этот ящик к моему столу. Взял бы ты у меня корытце. Свиньям все равно, из чего есть, а мы б с тобой еще выпили пол-литра.

— Что ж, почему нет? — отвечает.— Но корытце ты мне дашь, чтобы было из чего свиней кормить. А за ящик что?

— Как что за ящик? Я же говорю.

— Ну, говоришь. Но что дашь?

— Возьмешь себе мое корытце, и выпьем пол-литра.

— Пол-литра-то выпить можно. Но ты еще полкорца ржи накинь. Вы успели до фронта сжать, а мое поле окопами изрыто. И за ручку лошадь дашь для пахоты на денек-другой. Это тебе не простая ручка. Загажена малость. Но ты ее отчистишь золой, будет сверкать. К дверям приспособить можно. Я уж не стану считать, что на моем поле лежала. А сколько было мин. Парень мой неделю возился. Неделю мы дрожали от страха, как бы его не разорвало. Вон Щербов Болек разряжал на своем поле мины, и что? Хоронить потом было нечего. Тут рука, там нога. Ты и так почти задарма получаешь ящик.

Вот так и собрал весь стол.

Мать даже курицу зарезала, сварила бульон. Сели мы за этот стол, я против отца, Сташек с Антеком против матери, перекрестились, начинаем есть. Отец говорит:

— Ну, наконец-то как люди едим.

Мать вздыхает:

— Господи, если б еще Михась с нами был. Столько лет, и ни слова, ни весточки. Может, он и неживой уже?

— Живой, живой,— утешает ее отец.

И Сташек, словно чтобы внимание матери от Михала отвлечь, встрял:

— Хорошо бы зашел кто. И курица, и стол.

И как накаркал. Открывается дверь, и входит Матея из-за реки.

— Слава Иисусу Христу.

— Во веки веков.— Но, гляжу я, он какой-то чудной. Вроде улыбается, а у самого в глазах затаилась лиса, даже клыки видать.

— Курицу едите,— говорит.— Хорошо вам.

— Чего ж, стол есть, я и зарезала,— объясняет мать.

— Знаю, что есть. Потому и пришел.— И начинает как ни в чем не бывало осматривать стол сверху, снизу, с боков, там стукнет, тут за ножки дергает, не шатаются ли, похлопывает, точно лошадь по заду, и наконец: стол-то его.

— А метрика у тебя есть? — спрашиваю я у него.

— Какая метрика?

— Ну, что твой он.

— Да я ж вижу. На моем поле лежал.

— Где на твоем, дуростель?! На господском лежал!

— На господском, когда оно господское было. Потому я и не брал. А теперь, после раздела, поле мое, выходит, и стол мой.

— Хрен тебе! Какой у вас перед фронтом был стол? Забыл? Из досок сбитый, даже не оструганный. Вечно вы себе занозы загоняли под ногти. С обвязанными пальцами ходили, люди смеялись: ежевику, что ль, собираете? А это господский стол, и забудь про него! Вас сколько в хате? Ты, баба твоя, семеро ребятишек, дед. Ровно столько, сколько у тебя пальцев на руках. А за этот стол, знаешь, сколько садилось? Столько, сколько апостолов на Тайной вечере. Тебе и не сосчитать. А пожаловал бы тринадцатый, тоже бы место нашлось. Так какой же это твой стол, голытьба чертова?! Гляди, еще остались следы, где накапал воск. Ели, стало быть, и свечи жгли. А у тебя и на керосин не хватало никогда. Сидели в потемках, только зенки сверкали, как у волков. Ты, небось, жур[1] да картошку на таком столе собираешься есть. А они ели каплунов. Знаешь, что такое каплун? Петух без яиц. А ели, так только ножи, вилки о тарелки позванивали, как колокольчики при выносе святых даров. А вы чавкаете, на дороге слыхать. И на шею они себе платочки повязывали. А чего от них осталось? Разве что этот стол. Еще собрать было нужно, раскидала его война.

И надо же было судьбе захотеть, чтоб, когда проложили новую дорогу, первым в деревне автомобиль задавил Матею. Он с одной стороны на другую переходил, потому что вспомнил: баба велела соли купить, а магазин был по другой стороне. И не только соли не купил, а еще и получилось, что сам виноват. В своей деревне — и виноват. За солью шел — и виноват. Пожил еще немного. Оттащили его в сторонку. Вся деревня сбежалась. Пошел и я, хотя с тех пор, все эти годы, мы друг дружке забыть не могли тот стол.

— Прощаю я тебе этот стол,— прошептал он, когда меня увидел.— Твой, мой. И так все за одним будем сидеть.

Я речь сказал на его похоронах. И даже вспомнил про этот стол: не плачь, жена, не плачьте, дети, Винцентий теперь у господа бога за столом сидит.

А вскоре после Матеи задавило Потейку. В костел она шла к поздней обедне, и то же самое — надо было ей дорогу перейти, потому что костел был на другой стороне. Но она страх как этих автомобилей боялась и ждала, пока дорога станет пустой. А совсем пустой ей уже никогда не бывать. Ждала Потейка, ждала и вдруг слышит — звонят к выносу святых даров. Сорвалась она с места и дрып, дрып, а машина еще далеко была. И не посмотри Потейка вбок, перешла бы, потому что и идти-то осталось два шага. Но как она увидела, что автомобиль подъезжает, так с перепугу и выпустила палку из руки. Одни говорили, нагнулась за этой палкой, другие — на колени опустилась, чтобы не убивал. А он убил.

[1] Суп на мучной закваске.

Потом у Кацперского в хате печь треснула от этих машин. Другое дело, что теперь у него дорога под самой стеной. Они едят, а у них, когда автомобиль проезжает, ложки в руках дрожат. Густое варево еще можно с грехом пополам донести до рта, но жидкое наполовину расплескается по пути. Кацперский говорит, что уж и стоя пробовал есть, и прямо из тарелки хлебал, и в сад выходил с тарелкой. Только и наестся, когда ему жена в поле принесет обед.

Потом задавило собаку Баранского. Потом телку Валишины. А однажды в воскресенье́ мою курицу. Поехал я утром лошадь в реке поить. На небе ни облачка, река сверкает, тепло, свежо, пташки поют, кто б мог подумать, что случится беда. Потом коров покормил, свиней. Лошади сена подкинул, собаке вынес миску, кошке молока на блюдце налил. И начал бриться. Половину щетины сбрил, влетает Михалина:

— Господи! Шимек! Курицу твою убило!

Я выскочил на дорогу, одна щека намыленная, в руке бритва, рубаха поверх штанов. Вижу — на дороге кучка людей стоит, а посередке моя задавленная курица. Трепыхалась еще. Беру я ее, подымаю за ноги. Твоя? — спрашивают меня. А как же, моя. Что я, курицу свою не признаю. И чего стоит для такого автомобиля жизнь?

— Который это? — спрашиваю, не потому, что мне хотелось узнать, а только как про свою курицу и ничего не сказать?

— Уехал уже,— говорит кто-то.

— Зеленый такой,— добавляет другой.

— Не зеленый, а синий.

— Что, у меня глаз нету? Зеленый! — начинается спор.

Что было делать? Отнес курицу в хату, пришлось ее съесть.

Нет больше в нашей деревне покоя. Только машины, машины, машины. Точно для одних машин дорогу сделали, а про людей забыли. Или одни уже машины на свете живут? Может, когда-нибудь придет время, что не будет людей, а только автомобили? Тогда пускай, дьяволы, убивают друг дружку. Пускай даже войны ведут, еще страшнее людских. Друг друга ненавидят пускай, проклинают, жрут. Авось, явится какой-нибудь автомобильный бог, который разгневается и затопит все. А кого оставит, тому придется снова на своих ногах ходить. Явился же бог-человек к людям.

Теперь кто на своих ногах ходит, автомобилям этим только помеха — и на дороге, и вообще везде. Даже если по самому краю идешь, кажется: что ни машина, то через тебя проезжает. Шагаешь, а у самого душа в пятках. Не потому, что боишься смерти. Только что это за смерть от машины? И добрым словом никто не помянет. А, это тот, переехаанный. Да то же ли это самое, что помер? Есть хоть загробная жизнь после такой смерти? А они еще гудят, пальцем по лбу стучат, руками размахивают за стеклом, а иной и стекло не поленится опустить, и обложит тебя последними словами. Будто ты худший из худших, оттого что пешком идешь. Ничего уже человеческие ноги не значат. А в прежние времена целые армии пешком шли на войну. И выигрывали. И люди говорили, лучше пехоты никого нет. Или, к примеру, после дождя вода на дороге стоит, так тебя каждый второй еще и нарочно окатит. И потом смеется из-за стекла, гад. С бабой едет, так и баба смеется. С мальцами, так и мальцам потеха.

Эх, попадись такой сукин сын в мои руки — я б автомобиль этот, как сноп, схватил и зашвырнул с дороги в поле. Но разве который-нибудь остановится? Они только на лету сильные. А куда летят? Земля везде одинаковая, а от своей судьбы и на машине не удерешь.

Не знаешь уж, как и ходить. Вроде бы по левой стороне, говорят. Но в случае чего только и будет проку, что не спиной встретишь смерть, а лицом. Иначе б и неизвестно было, что ты идешь,

вот до чего низко ты пал, человек. Могут тебя увидеть, а могут и не увидеть, кому какая придет охота. Автомобильные фары не глаза. Вот ты и машешь, глупец, фонариком перед каждой машиной, точно упрашиваешь, чтобы не убивала тебя.

И подумать только, в молодые годы по той же самой дороге с гулянки домой возвращаться случалось целую ночь. Петухи раз, другой, третий пропоют. Голодные коровы начинают мычать в хлевах. Ведра позвякивают у колодцев. А ты все еще возвращаешься. Иной раз до бела света. До утра. Да и куда было спешить? В голове еще все отплясывает, музыка гремит, вот ты и притопнешь по дороге, как по дощатому полу пожарного сарая, и запоешь, что в башку взбредет. «Камень на камень, на камень камень!» И дорога словечка не скажет, не посетует, что ты ее разбудил. И подгонять тебя не посмеет. Шаг в шаг под твоими подошвами идет, с тобою вместе, как верный пес. Ты остановишься, и она остановится. В ту, в другую и в неведомо какую сторону свернешь и даже обратно на гулянку воротишься — она возвращалась с тобой. И от края до края была твоя. Как девушка под тобой на сене или под периной.

Ночь могла быть черная, хоть выколи глаз, а ты пьян как свинья. Могло и так быть: то небо у тебя над головой, то земля, а то совсем ничего, даже бога нет — разве ж богу захочется над пьяным бдеть? А дорога тебя не покинет. Пусть земля, как жеребец, взбрыкивает под тобой и со спины норовит сбросить. Раз тебя дерево поддержит, раз распятие или столб. А нет — упадешь, полежишь, встанешь и дальше пойдешь. Не на ногах, так на карачках. Либо вовсе не встанешь. И только пташки в придорожных акациях, точно ангельские хоры, будили тебя поутру. А если ты не знал, куда забрел, дорога сама, как твой ангел-хранитель, приводила тебя домой. На худой конец Шмуль, который спозаранку бидоны с молоком в город возил, подберет и отвезет в хату. Но Шмуль, как и акации, этой дороге принадлежал.

А я ни одной гулянки не пропустил, и не только в нашей деревне, во всей округе. Иной раз и в пятую, и в десятую деревню идешь, если прослышишь, что там гулянье. А я веселиться умел, как мало кто, везде меня точно дорогого гостя встречали и знали далеко. Эй! Шимек Петрушка пришел — ну, значит, не гулянка будет, огонь. Только покажешься в дверях — оркестр, стой! Все пары, стой! Эй, оркестр, марш для Шимека Петрушки! И оркестр понесло. А ты только под марш и войдешь.

И сразу через весь зал в буфет. Жених с невестой так через костел идут к алтарю. Расступись! А у буфета знакомые, незнакомые, но все закадычные дружки. Шимек, Шимусь, пришел, здорово, приятель, дружище, брат. Тот рюмку наливает, этот подносит уже налитую, тот другую, побольше, этот стакан, тот колбасу с огурцом. Пей, Шимусь! За нас, молодцов! Ох, и повеселимся! Эгей, знай наших! А если я еще цепочкой на поясе звякну, по залу аж дрожь пойдет. Эх, погуляем! Потому что я носил на цепочке нож.

Прославленный был тот мой нож. Вроде бы один черенок. Кто не знал, мог подумать, я его просто так, на счастье, ношу, как талисман. К тому ж на цепочке, будто часы,— куда уж невинней. Но стоило нажать сбоку, лезвие выскакивало, как жало у осы. С дубинками, случалось, на меня шли, а я только с этим ножом. Целым скопом и со всех сторон, а я посередке один, только с ножом. Но с ним и сабля в сравненье не шла.

Ну а после буфета — танцевать. Сперва все чинно, благородно. Для начала приглашаешь барышню, которая незанятая где-нибудь на скамейке сидит или стоит с подружкой. И в пояс ей поклонишься. И ручку поцелуешь. И особо сильно не прижимаешь, потому как выпито всего ничего, стопочка для разгону. Ну и светло еще, солнце только повернуло к закату, светит прямо в окна. И старых баб пол-

но, сидят, точно вороны, на лавках у стен и каждую пару, как кореды, сверлят глазами. И ребятня еще шныряет по залу, будто это детский приют. Еще музыканты не поужинали и одни только медленные играют. Еще все танцуют, как затейник велит. Пара за парой, в кружок, пара направо, пара налево, переплетите руки, девушки в середину, девушки выбирают! И пожарные в золотых касках еще трезвехонькие стоят у входа, как у гроба господня, и глядят, не перепился ли кто. А кто перепьется и ссоры ищет, того за шиворот и во двор. Еще и девушка могла тебе сказать: свинья.

Позже все начиналось. Когда зайдет солнце и под потолком зажгут лампы. Когда старухи из-под стен разойдутся доить на ночь коров. И матери ребятишек спать укладывать уведут. Когда музыкантов первый пот прошибет, а гулянку тряхнут первые корчи. Тогда да, тогда уже можно было девушку затащить в буфет. А в буфете рюмка, другая, третья, и — тебя как зовут? Зося, Крыся, Виктя, Ядвися. А меня Шимек. Эх ты, Зося, Крыся, Виктя, Ядвися, выпьешь с Шимеком? Я все хожу и хожу по гулянкам за тобой, как за своим счастьем. Ну и наконец настиг. А не врешь? С чего бы мне врать? Пойдем, наш танец играют. А в этом танце она уже и прижать себя позволяла. И сзади по вышивке на блузке ты рукой провести мог. А у некоторых не блузки, а сад, сплошь вишенки, розочки, малина, рябина. Иная от удовольствия зубы щерила, так ее приятно щекотали эти вишенки, розочки, малина, рябина, а иная с обидой на тебя поглядывала, словно ты их у нее со спины срывал.

А потом снова к буфету. И снова плясать. И уже не куявяк, не вальс, а оберек! Эх, оберек, оберечек! Ты и притопываешь. И кружишься все быстрей. Влево, вправо. Эгей! И девушка уже от земли оторвалась. Уже только в твоих руках. А ты ее под потолок. Юбка развевается, блузка дрожит. А коса сама вьется по залу вокруг вас. Господи! Шимек! У меня голова кругом идет! Летит тебе в объятья, запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Уже сама тебя обнимает. Уже у ней чертенята в глазах. Ой, Шимек, больше не могу. Ох ты, Шимек, Шимек. Пойдем, Зося, Крыся, Виктя, Ядвися, выйдем, проветримся чуток. Или даже она сама: пойдем, Шимусь, проветримся, жарко тут. А во дворе подальше от гулянки тянет. Не здесь, Шимек, дальше, еще увидит кто. Разговоры пойдут. И на гулянку ты то ли вернешься обратно, то ли не вернешься.

Потому что гулянка отпускала все грехи. И даже если которая-нибудь тебя спросит: а женишься ты на мне? Можно было пообещать, почему нет, только не после этой гулянки еще. Пошли, вставай, играют уже, слышь?

А если тебе какая девушка приглянулась, то с кем бы она ни плясала, берешь ее как свою, на кавалера и не смотришь. Пошли, с Шимеком станцуешь. С Шимеком только поймешь, что значит танцевать. А ты пошел отсюда, тютя! Смирный попадется, так на лавку сядет поглядеть или пойдет в буфет водку пить. А заупрямится, ты ему цепочку сунешь под нос. А мало покажется, по роже хрясть.

Не раз из-за одного этого начиналась драка. Кто-то крикнет: наших бьют! Девчонка завизжит. Кто-то на помощь кинется. Кто-то вмешается, захочет развести. Кто-то со стулом подлетит. Кто-то уже схватился за нож.

Хотя настоящие драки обычно начинались без причины. И когда гулянка уже поворачивала к концу. И когда все уже были под хмельком. И кто мог на ногах стоять, стоял. У кого еще оставались силы петь, пел. А у кого уже голос осип, тот пошатывался и хрипел. И когда девицы, как мыши, попискивали по углам. И когда все уже перемешается, изомнется. Платья и рубахи, души, тела, кровь, пот, а лампы у потолка застелет черный туман. И когда только шум и толпа перекатывается от стены к стене. И никто никого уже не

различал. И только ноги под людьми сами отплясывали, а пожарный сарай дрожал, точно яблоня, которую кто-то что есть мочи тряхнул. А пыль, как на проселочной дороге, стояла столбом. Потому что тогда уже одни огневые пляски шли. Оберек за полькой, полька за обереком.

Музыканты поужинавши, вот водка и кипела у них в крови. Куртки поснимали, играли в одних рубашках. А иные и рубашку расстегивали до пупа, и ремень распускали, и штиблеты скидывали, чтобы не давили ноги. А все ради музыки. Потому что теперь только вылезала из музыкантов душа. А играли они, эге-гей! Губ не чуяли, рук не чуяли, нутром играли, точно ничего другого не делали отродясь. Играли, будто в последний раз перед смертью. Аж громы где-то гремели. И войско шло на войну. И свадьба ехала на хмельных конях. И цепы бухали на гумне. И земля сыпалась на гроб. И не стыдно уже было девчонку облапить так, сяк и за задницу даже схватить. И под блузку рукою залезть. И ноги с ее ногами переплести. И девчонки к тебе промеж колен сами уже вспрыгивали, как куры на насест. И плясали до упаду. Отцов забывали, матерей, стыд. И даже десять господних заповедей. Потому что и ад и рай были здесь, на гулянке. И грудь прижималась к груди, и живот к животу. И, хихикая, млея, вступали девушки в рай, через платья чувствовалось, как сладко им. А в оркестр вселялся бес и наяривал смычком, точно косой прохаживался по господским башкам. И в кларнет вихрем дул. И гармонь аж обвертывал вокруг себя. И по барабану камнями лупил. А если еще на дворе душная, горячая ночь, ничего не оставалось, кроме как пустить кровь.

И тогда уж достаточно было любого пустяка. В одном углу вдруг все как собьются в кучу, точно кто-то пол наклонил. И сразу визг, крик, Иисусе, Мария, Стасеньки, Ясеньки, паразиты, чтоб вас черт! Наши, ко мне! Наших бьют! А тут еще ноги не выпутались из пляса. И девушка еще приросла к тебе, как к березе трутовик. Хоть ножом ее отрезай. Не пускает, целует, плачет, молит:

— Шимусь, уйдем! Не ходи туда! Я согласна. Хочу. Слышишь, Шимусь? Захотела уже! Хочу! Господи Иисусе, убьют ведь тебя! Шимек!

А тут уже кто-то скамейкой садит по головам. Раз, другой замахнулся, и скамейка, как подрубленная, на землю хлоп. Толпа к дверям, в окна. Кто-то в лампу бутылкой. А оркестр шпарит вовсю, уже не польки, обереки — молнии, громы. И все надсадней, громче, перекрывая крики, визги, крепкие слова.

А пол опять кто-то наклонил, в другую сторону. И потом обратно. Не поймешь, стоит зал или лежит. Девчонки за куртки, за рубахи, за руки цепляются, на шее виснут, на плечах, тянут тебя куда-то, плачут, скулят, визжат. Да не до девчонок тут, когда уже пошли в ход ножи. Где-то затейник надрывается: пара за парой! пара за парой! в кружок! все пары танцуют! И вдруг как ойкнет, одни только разноцветные ленты вьются, где затейник был. Кто-то стулом принялся махать. Раз-другой махнул и потонул в толпе. Куда там со стулом, когда здесь ножи на ножи. Кровь на кровь.

А зал уже покатился с высокой горы. Грохот, стоны, проклятья. Бутылки звенят. Уже только одна лампа болтается под потолком. Где-то другую зажгли. Вроде возле буфета. Но вот уже кто-то ее бутылкой снес. Посыпалось стекло. И снова зал взбирается в гору в темноте, в пыли. Сопение только слыхать. И ножи, шуршащие, точно косы в страду. И снова с горы. Куда-то под оркестр. У музыкантов руки немеют. Играть! Эй, оркестр, марш! Скрипач начинает марш, а тут его кто-то в бок. На белой рубашке кровь. Скрипка точно с неба на землю летит. И барабан захлебнулся, не доиграл, потому что и его кто-то пырнул в незащищенное брюхо. И гармонь

разодрана. И кларнет об голову кларнетиста разбит. Черт бы побрал оркестр! С него ведь все началось.

И нет больше оркестра. А в окнах ни единого стекла. И буфет перевернут вверх тормашками. И от лент под потолком обрывки одни. А от куртки лохмотья на плечах. Рубашку иной раз хоть выжимай от своей крови и от чужой. А еще домой возвращаешься с песней.

Раз после такой гулянки мужики на телегах нас развозили, изрезанных, как свиней. Я тогда недели три на чердаке над хлевом провалялся, потому что кого-то отправили на тот свет и полиция, разыскивая виновного, шныряла по деревням. Но это все равно что ветра в поле искать. Попробовал бы кто в драку на гулянке встрять — неужто б узнал, который виноват? На гулянке ни виновных, ни невиновных нет. Все куда ни попадя тычут ножами, один другого может и до смерти зарезать и не будет даже знать кого. Либо его зарежут, и он тоже не будет знать кто. Бог только может знать, кто виноват, но не полиция.

Во мне было три дырки, одна в боку, две в спине. На брюхе только и мог лежать. Прикладывала мне мать разные травы. Но что-то не спешили раны заживать. Видать, нож был заржавелый. Кровь все сочилась и сочилась, а мать плакала:

— Шимусь, дитятко. Пожалел бы меня. Еще убьют тебя когда. Я не переживу.

— Не убьют, не убьют. Не плачьте, мама. Не так-то просто меня убить. Вон три дырки и что, убили? Сами видите. Я еще кое с кем посчитаюсь. А если даже убьют, лучше раньше, чем позже. Нечего так уж держаться за эту жизнь, мать. От жатвы до жатвы и от жатвы до жатвы, что это за жизнь?

А как раз жатва началась, так хоть в одном повезло — из-за этих ран без меня скосили рожь и ячмень. А рожью и ячменем у нас больше половины поля было засеяно. Еще дожди в тот год зарядили, один не успеет кончиться, начинается другой, хлеба все полегли, звон сколько бы пришлось косою махать. Один морг побитых хлебов — все равно что три непобитых. Рук потом не чувствуешь, поясница разламывается, в голове камни, и ноги в хату отказываются нести. Что там три раны, пустяк.

Я давно уговаривал отца купить жнейку, потому что жатвы эти мне уже осточертели. Или это господь так человека покарал, что каждый год жатва? Неужто не могло жито как-нибудь по-другому родиться, чтоб не надо было косить, убирать, свозить, а потом еще молотить, веять, везти на мельницу и тогда только хлеб. Пусть бы хлеб сразу родился, ходи себе да собирай ковриги. Хоть небольшие, с капустный кочан. Но уж не на такие зернышки раздробленные, с которыми мученье одно.

А отец ни в какую: мол, не на что и после косы солома прямая, а после жнейки мятая. Ни крышу потом не покрыть, ни сечку нарубить и в постель не положишь. Да и Антек со Сташеком подрастают, что им тогда делать, баклуши будут бить, если купим жнейку. А когда хлеба полеглые, все одно надо косой, жнейка их не возьмет.

Встал я только, когда пришел черед пшеницы. Но пшеницей у нас засевали самое большее полморга. На куличи к пасхе, пироги к троицыну дню, к рождеству, на закваску для жура и кой-когда, в основном по воскресеньям, на лапшу. Вдобавок не очень-то и уродилась пшеница в тот год. Если не чертополох забил, полегла из-за дождей. Полиция тоже перестала уже виноватых искать. Мужики при косах, кровь в каждом горячая. А убитого все равно не воскресить. К тому же среди своих убитый, какое полиции до этого дело.

Я покосил немного, но тут в глазах у меня потемнело, и мать велела мне идти домой. Еще отца отругала, что совести у него нет,

на работу больного погнал, точно я не сын его, а пасынок или приемыш. Даже всплакнула, бедная. Потому что отец меня на третий уже день выгонял в поле. Пришел ко мне на чердак.

— Что, не встанешь? Рожь завтра пора начинать. Колосья уже осыпаются. Э, разве это раны. Шкуру только окорябало. Ножом мог, сможешь и косой. Разбойник из тебя вырастет. Еще за решетку угодишь. Не было никогда у нас в роду разбойников, теперь будет. Дед Лукаш убил, так он же за справедливость. И сбежал в Америку. А ты куда сбежишь? Вон Стах Овсянек на одной ноге и одном костыле, а как махает косой. Или Мельчарек, скрюченный, точно корень, а возьмет косу в руки — и не заметишь, что скрюченный. Прямехонько, как жердь, идет, а рожь сама перед ним ложится. На жатве забываешь, чего у тебя нет, где болит. Не зарезали ж тебя насмерть. А чтоб боль прошла, надо разойтись. Продырявили тебе спину, бок, но руки-то целехоньки. И ноги целы. А для косьбы только руки и ноги нужны. Хорошему косарю и поворачиваться нет надобности. Идет будто по дороге, а руки сами перед ним летают. Он отдельно, и руки отдельно. Только ноги за руками должны поспеть. Видал, как ксендз на ходу служебник читает? И ты так же, шаг за шагом, полегонечку. Больно, ясное дело. Но пройдешь один ряд, и утихнет боль. Пройдешь второй и забудешь, что в боку дыра. Иисус Христос тоже гвоздями пробит, а сколько тысяч лет висит на кресте? И его раны не заживают. И еще на все зло должен смотреть. Думаешь, он бы не захотел лучше косить, чем висеть на кресте? Да как спуститься, когда такое его предназначение? Самое трудное — разойтись. Даже если и не порезанный ты, после первого дня все равно что порезанный. Руки, ноги, бока, спина, живого места нет. А разойдешься, потом коса передохнуть не даст. Только и приостановишься, чтоб ее направить на оселке. Или перекреститься, когда к Ангелу Господню звонят. Сама тебя будет тянуть, все дальше и дальше. До самого конца. Такая уж она, коса. На косьбе иной раз скорей заживет, чем в костеле. Где б ни болело: на теле, в душе или у родни, в деревне и на всем белом свете. Мужики сколько веков косили, вот и меньше чуяли боль от панов, а не косивши еще бы как чуяли. Накосишься, так и вдвое больше снесешь, и куда больше простишь. И кто злой, кто добрый, прижимистый, криводушный, узнаёшь по тому, как человек косит. И даже когда смерть придет, помстится, будто она всего-навсего на жатве косу вынула у тебя из руки, когда ты притомился, и докосила вместо тебя эти морги пшеницы, ячменя, ржи. Смотря что вышел косить. Или когда в войну косишь, не так уж она и страшна. А тебя ведь не на войне продырявили, а на гулянке. Небось, гуляли, не плакали. Девок лапали, не мертвецов. Водку хлестали, не желчь.

И хоть я позволил себя продырявить, как последний дурак, но жатва прошла, раны зажили, и начал я снова по гулянкам летать. Любил я гулянки, ой, как любил! Мир не казался мне больно хорошо устроенным, но если тебя в драке даже самую малость царапнут, потом и на мир приятней глядеть, и работаешь в охотку. Подрядился я на железную дорогу насыпь под пути насыпать, купил себе коричневый в белую полоску костюм. Рыли в усадьбе пруд, платили ползлотого за кубометр. Купил габардиновое пальто, рубашку, галстук, носки. Подумывал даже часы купить и портсигар и наверняка бы купил, не начнись война. Но без часов и портсигара все равно одевался лучше иного богатого. Был у меня и носовой платок, а некоторые даже не знали, для чего он. Другого такого кавалера еще надо бы поискать. Потому и не было на гулянках девушки, которая б отказалась со мной танцевать. Я еще привередничал. Случалось, после гулянки возвращаешься домой только к вечеру следующего дня, а отец тебя встречает, точно ты прямо из пекла пришел. Гуляй, гуляй, паразит, не заметишь, как прогуляешь

жизнь. А чего господу богу скажешь, когда придет пора умирать,— что гулял?

Да что отец, он только и знал: работа и господь бог. А на билет хоть бы грош когда дал. Ну и то четверть жита тайком вынесешь с чердака и еврею за полцены. То яиц подберешь, а мать потом, что у ней куры перестали нестись. Как-то я грушу почти целиком обтряс и отнес рабочим на железную дорогу, по два гроша штучка. А раз собачник ездил по деревне и скупал собак. Отвязал я с цепи нашего Рекса и задворками, задворками, чтоб никто не видел, отвел в дальний конец деревни и там продал собачнику, когда тот уже собрался уезжать. Хороший был пес, но в воскресенье в Болешицах устраивали гулянку. Жаль было бы не пойти, хоть и кобеля жаль. Ластился к моим ногам, скулил, словно чувствовал. Стал я его утешать: много ли радости, Рекс, от твоей собачьей жизни? Теперь уж тебя никто не заставит лаять на вора. Будешь в лучшем мире служить. Собаки тоже попадают в рай. Отец потом как пришибленный ходил, все расспрашивал в деревне, не видал ли кто нашего Рекса. Потому что любил его, как ни одну собаку, и Рекс больше всех любил отца.

Молодые мы тогда были. Если уж веселились, веселились ото всей души, напропалую, словно завтра на этом свете не жить. А во мне молодости хватило бы на двоих, так и распирало всего. Не бывало ни хороших, ни худых минут, был случай повеселиться — пошло, поехало. Нутру порой ничего не хочется, а снаружи веселишься, гуляешь, пьешь — о-го-го! Нутро иной раз печаль сосет, а самого распечального можешь развеселить. А уж среди девушек в деревне я считался самым веселым кавалером.

— Эх, ты, Шимек, Шимек. Кого хошь развеселишь. Ни Блажек, ни Лукаш не умеют так. Точно в тебе черт сидит. Хи! хи! хи!

Потому что девушки любят, чтобы их сперва развеселили. Развеселить — все равно что отпустить грехи. И потом на другое легче уговорить. Встретишь которую-нибудь, когда она с обедом в поле идет, с полдороги проводишь, пошутишь, обнимешь за плечи и вечером уже лежишь рядом с ней над рекою или в саду. И она не боится, что это грех, потому что в молодости вроде и не стыдно грешить. А захочешь то да се увидать, она тебе покажет, даже, как голубя, даст в руке подержать. Или в костеле во время поздней обедни пододвинешься к девушке и шепнешь на ухо:

— Ложись сегодня, Виктя, на сеновале.

И ни собака на тебя не залает, ни ворота не заскрипят, и к сену подставлена лесенка. А сено только-только свезенное с лугов, и девушка стелилась под тобой, точно луг. И, как нагретый солнышком луг, дышала теплом. И ты словно кузнечиков слушал, положивши голову на этот луг, так в ней шумела кровь.

Черт, видать, меня дернул посеять пшеницу по той стороне дороги. Собирался я там картошку сажать, но пришел Антек Кветень взять лопату, слово за слово, что сеешь, что сажаешь, жаль, говорит, такую землю, за дорогой, под картошку. Картошку где хошь можно посадить. А там земля в самый раз под пшеницу. Ровнехонькая, не перетрудишься, и год будет для пшеницы добрый. Вон аисты и не думают улетать. Сей пшеницу. Уродится, сам увидишь — картошки пришлось бы в два раза больше сажать. И уродилась, ничего не скажу. Солома с меня ростом, колосок к колоску, каждый с мой палец, зерна крупные, налитые. Кто только мимо ни пройдет, вот это да, вот это пшеница, золото, не зерно. Приятно было косить. Да и погода стояла ясная, словно не хотела перед этой пшеницей срамиться. Раз только побрызгал дождичек, да и то самую малость. Я уж начал подсчитывать, сколько понадобится мешков, когда обмолочу, сколько себе оставлю, сколько на продажу пойдет. Да, заслужил Антек Кветень, надо ему поставить. Вот только кончу свозить.

Возил я всю субботу допоздна и в понедельник рассчитывал закончить. Лошадь за воскресенье отдохнет, овса поест, будет в понедельник как машина ходить. Да и у человека после воскресного дня работа лучше спорится.

Сварил я на обед кислые щи с грудинкой. Хорошие получились. Мы съели по две тарелки — сперва щи, потом грудинку с хлебом. Я видел, что и Михалу понравилось.

— Вкусно? — спросил у него. Но он, как всегда, ничего не ответил. Я помыл посуду. Обрядил скотину. И стал собираться к соседу на телевизор.

Но вышел во двор, гляжу: никак мужики в поле надумали ехать. Едет Стах Партыка, Баранский, Соха. Тот, другой.

— А ты что? — спрашивает у меня Генек Мащик.— Чего стоишь? Раздевайся и в поле. Не видишь, туча идет, польет скоро. Хотя бы один-два воза — и то хорошо.

Я посмотрел на небо: откуда польет? Солнышко ясное, небо, как василек. Только на западе клубится темное облачко, но это может и к вёдру быть. Или пройдет стороной.

— Откуда польет? — говорю.— Глянь на небо.

— Чего там небо, по радио передавали. Но! — И поехал.

Я постоял, подумал, жаль, если намочит. Пшеница в тот год как никогда уродилась. А тут не знаешь, покаплет только или польет. Еще зарядит на неделю. А ты смотри на небо, выглядывай в окно и сокрушайся, что пшеница не свезена. Вроде покажется — в той стороне прояснилось. Нет, опять петух у Мащика запел, значит не перестанет дождь. Куры хлопают крыльями, видать не скоро утихнет. Кот с печи не слезает, разрази его гром! А твоя пшеница там мокнет и мокнет, сердце болит.

К тому же недавно мне приснилась мать. Тесто месила на хлеб, но в какой-то чудной квашне — с полгорницы, нам не осталось где приткнуться, жались к стенкам. И мать вдвое моложе, чем когда помирала. В ночной рубашке, босиком, распаренная, пот течет в три ручья, а сама стоит возле этой квашни на коленях и руку выше локтя туда запускает. Но не хотело почему-то у нее тесто перемешиваться. Она месила, месила, а все вода отдельно, мука отдельно.

— Может, нам всем помесить,— сказал я,— скорее дело пойдет.

— Да это же мне наказание,— сказала мать.

Тут отозвался отец:

— Так уж на том свете заведено: чего здесь делал, то и там делаешь. Пойду и я коня напою.— И вышел. А у окна стоял кто-то спиной к горнице, и всем казалось, что Михал, хотя никто не видел его лица. Не понять было, старый он или молодой. В новеньком костюме, на ногах лакированные полуботинки, а на голове затрепанная шляпа, которую отец на молотьбу надевал, чтобы в волосы не набивалась труха. Только на шляпу глядя и можно было подумать, что это Михал. Но никто не осмеливался его спросить: ты Михал? И он тоже, словно бы сам не знал, что среди нас стоит, только и смотрел неотрывно в окно. Пока снова не заговорила мать:

— Сними, сынок, шляпу-то с головы. Не разрывай материнское сердце. Видишь, я хлеб пеку.

На это Антек, понизив голос:

— Спросите у него, мама, любит ли он валенцы [1]. Михал любил.

Вдруг какое-то дитя запищало в люльке. Люлька-то откуда взялась? Не было в доме люльки. Мать встала от квашни и вынула из люльки младенца, а это словно бы махонький Михал, хотя тот по-прежнему стоял у окна и, будь он Михал, должен бы повернуть голову на свой плач. Свой плач даже много лет спустя узнаешь.

— Ох, обмочился, бедненький,— сказала мать и вытащила из-под рубахи грудь, молодую, как у девушки, и сунула младенцу в рот.

[1] Лепешки, испеченные на поду *(на горячих углях)*.

А тут вошел отец и сказал:

— Ну вот и сочельник. Надо бы хлеба принесть с чердака. Сбегай-ка, Шимек.

Я запряг лошадь и — н-но!

С первым возом даже не пришлось долго ждать, чтобы с поля выбраться на дорогу. Один, другой, третий автомобиль, потом снова один, другой, третий, потом большой разрыв и только там, вдалеке, еще машины. Я огрел лошадь, взобрался на асфальт, машины, правда, гудели как оглашенные, чего я им дорогу загородил, но плевал я на вас с высокого дерева, притормозите, дорога она дорога и для лошадей, и для телег.

Со вторым так гладко не прошло. День уже стал клониться к вечеру, машин все прибывало, разрывы между ними делались все меньше, а с телегой, полной снопов, да при одной лошади с ходу не выедешь с проселка на асфальт. Дорога-то выше полей идет и сразу надо влево свернуть. Я слез с телеги, взял лошадь за узду и пошел впереди. Словно по глубокому броду, шаг за шагом и на каждом шагу: тпру! стой! А машины только шмыг, шмыг перед нами, гудят, огнями светят. Конь напружился, хочет идти, а телега его назад тянет, потому что задние колеса еще на поле, низко. А ты то придерживай его, то тащи, я весь взмок. И у лошади с морды пена прямо текла. Но в конце концов переехали. Хотя при пустой дороге я бы за это время три раза обернуться успел.

Подъезжаю с третьим возом, а тут старый Кусь со снопами у дороги стоят и ждут. А машины уже одна за другой, одна за другой, туда-сюда, и никакого между ними просвета. Словно туча с машинами сорвалась с неба и катится по дороге.

— Что, не дают проехать? — спрашиваю я у старика.

— Ну, не дают.

— Давно стоите?

— Ну, стою.

— Пробовали хоть?

— Ну, пробовал.

— И что?

— Ничего. Стою.

— Так до второго пришествия можно стоять!

— Ну, можно, а какой твой совет?

— Ехать!

— Ну и езжай.

— Черт бы их всех побрал! Хоть вынимай дышло и круши!

— Коли их терпеньем не переможешь, то и дышлом без проку махать. Вона, возьми четки, помолись, злоба и пройдет. У меня проходит. Я по какому делу в гмину или в кооператив иду, всегда четки при мне, вытащу и говорю молитвы, и хоть бы невесть сколько пришлось прождать, а вроде и не ждал совсем. Желаешь?

— Плевал я на ваши четки!

— Не кощунствуй, не то и бога от нас отвратишь. А только он нам остался.

Я больше, чем на эти машины, на Куся злился. Надо же было им первому подъехать к дороге. Сидели теперь как ни в чем не бывало на снопах, кнут, вожжи сунули между ног, а в руках перебирали четки, и, верно, казалось им, что на лавочке возле хаты сидят. А на лавочке возле хаты время, как пес, у ног человека лежит и греется или о том свете подумывает. К тому же было Кусю за восемьдесят, старуха ихняя давно померла, сыны в город уехали, куда им было спешить? А я хотел еще раз обернуться кроме этого раза, а если б можно, то и два. Воскресенье уже загублено, хоть бы поменьше осталось свозить. И, по небу судя, дело шло к дождю. С запада еще столько же повылазило облачков.

Вскоре подъехал к нам Мажец Вицек, тоже с полным возом снопов.

— Стоите?

— Стоим.

— Тпру! — Остановил лошадь, чуть не воткнувшись дышлом в мои снопы.— Ох, постоим, сдается мне. И куда, дьяволы, едут? Неймется людям. Да, похоже, воскресеньем уже не попользуешься. Надо бы какой другой день придумать под праздник.

— Тогда б и бог другой должен прийти,— возмутились Кусь.

— Ну и пусть приходит, коли надо!

Потом подъехал Генек Мащик со своей Тереней. И то же самое:

— Стоите?

— Стоим.

Нравилась мне его Тереня. Эх, родиться бы годков на двадцать позже. Прямо жаль ее было — такую красоту на жатве губить! Увидев, что мы стоим, Тереня соскользнула со снопов.

— Я пойду, Генюсь, ребенка пора кормить. А то вам тут стоять и стоять.— И пошла напрямик через поле.

А машины одна за одной. Сплошная бесконечная цепь. Потом подъехали Сыта, Баранский, Франек Ендрыс и каждый:

— Стойте?

— Стоим.

Точно — бог в помочь, а мы им: благодарствуйте.

В конце концов составилась очередь из десятка примерно возов, с Кусем, точно сторожевым охранением, впереди.

— Вы глядите, Бартоломей, глядите! Чуть чего, сразу коня по заду и — н-но!

— Дак я ж гляжу,— осерчали старый Кусь.— Не видишь, что ль? Едут. Виноват я, что им в хатах не сидится? — И через минуту добродушно: — Эй, Шимек! Не знаешь, брат, чего машины эти так раскрашены? И зеленые, и красные, и бог весть какие. Тоже разной масти, как лошади. Но лошади такие родятся. Хотя раз, брат, воры украли в поместье четырех коней и перекрасили двух в вороных, а двух в гнедых. Поехали на базар и, верно, бы продали, покупатели уже нашлись. Но тут дождь полил. Глядят люди, что за диво, кони меняют масть. Из вороных делаются буланые, а из гнедых — сивки. А ежели б, как сегодня, вёдро, то и продали бы. А завтра уже как знать. Сдается, будет дождь. Хотя в такой машине дождь не дождь, а им ладно, удобно. Катят себе по свету. Не то что человек, если и побывал где, так только на войне. Либо на ярмарку съездил. Но опять же не раньше, чем огурцы поспеют. Бывало, нарвешь огурцов, баба принарядится и — н-но! — в Карасин, там лучше платили. А продашь, прямиком в корчму. Ой, Валерка моя важная была барыня. Нет чтоб когда сивухи выпила. Подавай ей ром. Еврей уже ее знал и даже не спрашивал. А выпьет, начинает петь. Красивый у ней был голос. Иной раз все, что наторгуем, спускали. А капусту, брат, она готовила, с ложкой съешь. Накрошит редьки, чесноку, луку, насыплет тмину и туда же сальца бросит или шкурок от шпига. И как все это на плите сварится, потом зимой на мороз. Чтоб стояло целую ночь. А на другой день разведет в печи огонь и в печь. Неделю ели. А когда помирала Валерка, сказала мне: у тебя, Бартусь, все постиранное и поглаженное. Даже горницу я тебе побелила. Хотела еще капусты наварить, да не привел господь. Сам сваришь.

— Поменьше б говорили. Посматривайте,— сказал я, но так, чтобы не обидеть старика.

Они замолчали и как-то чудно скрючились, сзади не видать было, то ли на машины загляделись, то ли молятся.

— Эй, Бартоломей?! Спите?!

— Где сплю? — И повернулись сердито в мою сторону: — Дума-

ешь, я в карауле не стоял? Хо-хо! Ты еще, брат, не родился, когда я в солдатах служил.

Но уже через минуту, показывая кнутом на дорогу, чуть ли не с радостью закричали:

— Глянь, Шимек, глянь, как тот зеленый за тем красным гонится. А этот не дается. Молодец, черт. Хоть и поменьше.

Вдруг Франек Ендрыс крикнул сзади:

— Эй, там! Не зевайте! За той черной просвет! Как проедет, вы, дедусь, сразу трогайте! А ты, Шимек, за ними!

Уже даже виден был на повороте разрыв между машинами. Потому что следующая за черной только входила на поворот, а эта черная уже на нас наезжала. Я рванул вожжи, поднял кнут, только стегнуть и — н-но! — за Кусем, телега к телеге, а старику крикнул:

— Внимание, Бартоломей! Эй! Давай! Езжайте! Н-но!

Но они нет чтобы сразу натянуть вожжи, вздумали усесться поудобнее, вожжи из правой руки в левую переложить и даже не натянули их толком, так, дернули легонько, точно от хаты отъезжали, кобыла спервоначалу и не поняла, чего от нее хотят. Потом только, когда услыхала: н-но! Да и н-но! — это так плугом взрезают первый пласт: но-о-о-о! Всего-то и успела лошадка напрячься, воз дрогнул и стоп, потому что было уже поздно. Дальняя машина уже к возам подъезжала, а за ней, как змея, машины и машины, конца-краю не видать.

— Чтоб вас! — обозлился я на Куся. Тем более что я быстрей их с места стронулся и воткнулся дышлом в ихние снопы, лошади моей морду своротило набок.— Не в войске вы служили, а черт-те где! Так бы канителились, дня б не провоевали! Давно бы грызли землю! И надо же, чтоб вас вражья сила не в конец, а в самое начало занесла! Поставила б кобыла ваша передние ноги на асфальт — и хорош! Кнутом ее нужно было, не вожжами! Наподдать как следует, не жалеть! — И со злости рванул свою лошадь изо всех сил, ей чуть нашильником голову не оторвало, и еще хлестнул пару раз, потому что не так-то легко с полным возом снопов отъехать назад.

Разозлились и на других возах мужики.

— Туды его, растуды!

— Чтоб им провалиться!

— Поудобней захотелось сесть!

— Еще перекреститься забыли!

— Встанут такой раззява — и как столб! Ни обогнуть, ни проехать!

— Им бы с этим светом прощаться, а не хлеб возить!

— Или сыновей за шкирку из города, пусть помогают!

— Сами в могиле одной ногой, а за землю держатся! У вас ее полно будет, когда сверху присыплет!

— Нет чтобы государству отдать, мучают землю зазря!

— Деревня должна вперед идти! А как тут пойдешь, когда на пути такие помехи!

Проклятия, ругань, издевки обрушились на Куся. А они только съежились, голову втянули, плечи опустили и так сидели, ждали, пока пронесет. А может, где-то там, между колен, перебирали четки, словно дожидаясь своей очереди в гминном правлении или в кооперативе. Жаль мне их в конце концов стало, да и злость прошла, какой толк злиться на того, кто не виноват, и я закричал:

— Эй, Бартоломей! Может, пересядете на мой воз, а я на вашем поеду?!

Не думал я, что их за живое задену.

— Ишь чего, пересаживаться! Что мне, на своем плохо? Я дольше твоего хозяйствую. И моргов у меня побольше, чем у тебя. Никто за меня не пашет, не сеет, значит, и на возу моем никому не си-

деть. Восемьдесят два года в деревне живу, было когда кой-чему научиться, небось.

На это кто-то из мужиков:

— Восемьдесят два года и за жизнь трясутся, чтоб их леший!

А кто-то щелкнул кнутом, лошадей даже бросило в дрожь. Кусь не спеша обернулись к возам, посмотрели на нас как-то чудно и сказали:

— Не за жизнь, а за кобылу.

И всем вдруг сделалось стыдно. Ни один словечка не проронил, все как проглотили язык. Только кто-то вожжи натянул тихонечко: тпру! — и тоже не потому, что лошадь на месте не хотела стоять, а, видать, вожжи стали руки жечь. Даже за куревом в карман никто не полез. А ведь ничего нет лучше, чем закурить, когда нечего сказать или заедает стыд. А из Куся точно обида полезла наружу. Может, даже и не на мужиков, а так, вообще:

— Восемнадцать годков ей, брат, стукнуло, хорошо, хоть тянет еще. Это все равно что собаке десять, а человеку — смотря сколько кому отпущено. Во́роны только дольше живут. Но где их теперь найдешь? Воро́ны, грачи, а люди: во́роны, во́роны, на всех. Уж она у меня, брат, раз померла. Я картофельное поле пахал, гляжу, чего-то лениво идет, я ее и ткнул кнутовищем и кричу: н-но! А она, брат, бух на колени и с колен повалилась на бок. Я подскочил, может, думаю, у ней в брюхе резь. Схватил за узду и тяну, вставай. Дай-ка, думаю, я тебя кнутом. Хлестнул и тут вижу: смерть это, а не резь. Шею выгнула, а встать нету сил. Что тут делать? Дай совет, господи, кобыла у меня подыхает. Но небо молчок. Только воронье да грачи: кар! кар! Ну, присел я на корточки, положил морду ее на колени, прижал к себе и говорю: вставай, ты чего, посередь поля вздумала умирать? Давай уж вместе помрем. Недолго нам осталось. Вставай. Сколько вместе горбили, а помирать врозь? Разок-другой еще сюда приедем, и конец. Может, господь бог только это картофельное поле нам и рассудит вспахать. Вставай. И встала.

Засопели, закашляли старый Кусь, в грудь стали себя колотить — у них там чего-то застряло,— отхаркались, сплюнули, и снова повернулись к возам, и дальше продолжают:

— А раз, брат, мой дед, Миколай, рассказывал, что когда-то в стародавние времена господь богатства делил. Всех созвал, кто был на земле, потому что хотел по справедливости. А самыми первыми князья явились, судьи, купцы и иные богатые. Ехали-то на повозках, в каретах, в колясках. Да наперегонки, кучера коней нахлестывали, аж кнутовища ломались. А мужики, известное дело, даже у кого была лошадь, ее жалели, вот и шли пешком. И хоть к господу богу, а путь неблизкий. Ну и пока дошли, господь уже все пораздавал. Опечалился очень господь наш, что еще остались люди, ведь которые первые пришли, сказали, что больше никого нет. А к тому же видит — мужики и одеты худо. На ногах лапти из липового лыка, на плечах посконные рубахи, веревками перепоясанные. Шапок и то не имеют, перед господом снять. И еще сильней опечалился господь бог.

— Чего бы вам дать, золотые мои? — говорит.— Я все пораздавал. Остался только терновый венец на голове да обрывок плащаницы, что на мне видите. Я, как и вы, нищ.

И, как сидел, подбородок кулаком подпер, голову склонил и думает, думает. Мужики видят, ничего тут не придумаешь, и один говорит:

— Ну, мы пойдем, господи.

А на это господь бог:

— Погодите. Дам-ка я вам малую толику моего терпенья. Возьмете его и все выдюжите. Потому как терпение человеку нужней, чем богатство.

Задумались Кусь, засмотрелись на бегущие мимо автомобили. И на возах все следом за ними тоже на бегущие автомобили уставились. Может даже, чуть поубавилось в мужиках на эти машины злости. И тут, показав кнутом на дорогу, Кусь закричали:

— Эвон, двести!

— Что двести? — удивился я.

— Проехало столько.

— Зачем считаете? Жалко времени, и не стоят они того.

— Как же, коли больше делать нечего, надо хоть считать. Отец мой покойный, память ему небесная, всегда мне наказывал: считай, считай, сынок, пригодится, чай. Раз, брат, летом в воскресенье лежали мы в саду под яблоней, я уже кавалер был. Отец молчит, и я молчу. Отец надвинул шляпу на лоб, верно, думаю, спит. Ну и я закрыл глаза. А он вдруг говорит:

— Три тысячи пятьсот восемьдесят три.

— Что три тысячи пятьсот восемьдесят три? — спрашиваю, потому как подумал, приснилось что-то ему.

— Яблок на дереве, — говорит.

— Откуда вы знаете?

— Сосчитал. Я всегда считаю, когда муторно на душе. И ты считай. Начни с малины. Малины на кусте немного, не надсадишься. Потом попробуй ягоды на терновнике сочти. Потом разломай головку мака и пересчитай все зернышки. На взгорок подымись, сосчитай поля, луга, межи. Все считай, что ни попадя, голубей, тучи, людей на похоронах, колья в изгороди, камни в реке. Только не сиди без дела. А сумеешь когда ночью звезды на небе перечесть, знай, сносливый ты и все переможешь. Я-то не сумел, но ты попробуй, а ну как получится.

— Эй, Бартоломей! — крикнул кто-то с дальних возов. — Вроде просвет сделался, езжайте!

Хотя не видать было никакого просвета. Машины все гуще ехали. Уже тесно им становилось, гудели друг на дружку, огнями сверкали, тормозили одна перед другой.

— Жита телегу, паразиты, по-людски свезти не дадут! — крикнул Вицек Мажец у меня за спиной. — Жрать-то, небось, охочи. Только подавай!

И снова злость полыхнула от возов.

— Наплодилось их, гадов!

— Ой, не гады они, не гады, Винцентий, чума настоящая!

— Неужто и бога на них нет?!

— Что тут бог сделает?! Бог мир без машин сотворял! А их, видать, дьявол.

— Так уж и дьявол. Завалить бы дорогу дубом, пускай убиваются, разрази их гром.

Вдруг Стах Брожина встал, раскорячив ноги, на снопах, и, повернувшись к дороге, начал махать кнутом:

— Эй, вы! Остановитеся, черти! Дайте, мы только проедем, и катитесь дальше! — Даже лошади его от этих размахиваний всполошились. Рванули, и он, как стоял, упал на снопы. Все в смех. Но Стах не сдавался, снова вскочил: — Эй, вы! — Но, видя, что мало толку перекрикиваться с автомобилями, давай подзуживать мужиков: — Эй, мужики! Мы что, бараны?! А ну, выйдите который-нибудь на дорогу да помашите! Может, остановятся!

— Жди, остановятся. Все б вышли, тогда еще, может, бы запрудили дорогу!

— Это тебе не вода, запруживать! На таких только с косами, вилами, дубинами! С ними по-другому нельзя!

— Или камнями по стеклам!

Ярость прокатилась по телегам. Даже Кусь не выдержали и тоже стали кричать:

— Крест на них нужен! Крест бы остановил! Против креста не пойдешь! Сбегал бы который в костел! Далеко ль? Принести крест и с крестом выйти! Ксендз бы не отказал. Сказать, что через дорогу не переехать никак.

— Чепуху болтаете! Плевать они хотели на ваш крест!

— Тьфу, антихрист, безбожник. Крест для него чепуха! — У старого Куся даже голос сорвался.— Еще целовать будешь этот крест, охальник. Зачем у дорог кресты ставят, часовни, распятия? Чтоб тебе ничего худого не сделалось, когда будешь ехать или идти. А на перепутьях? Чтобы знал, в какую сторону свернуть, ежели заплутаешь! В ту войну, брат, шли мы раз по такой дороге, как эта. Войско шло, не гражданские. И дорога куда уже была. И не асфальт, по-нынешнему, а пыль. А навстречу покойника в гробу несли и впереди крест. Мы только услышали: упокой, господи, душу, а командир — выше ноги! Не пылить!

В эту минуту Стах Брожина, который сошел по малой нужде со своего воза, кинулся к телеге Куся, застегивая по дороге штаны.

— Проваливайте! К чертовой матери! — И, как держал в руке кнут, так и огрел Кусеву кобылу раз, другой.— Это из-за вас, из-за вас стоим! Н-но! Н-но!

Кобыла напряглась, дернула. Кусь повисли всем телом на вожжах, кобыле аж голову набок свернуло, и не пускают:

— Тпру! Стой! Она-то чем виновата, злодей!

А Стах, рассвирепев, перехватил кнут правой рукой и давай охаживать кобылу по спине, по бокам, по ногам.

— Н-но! Н-но! Ты, такая-разэдакая! Вперед! Эй!

И наверное бы, она под этими ударами пошла на машины, потому как деваться ей было некуда, но Кусь уперлись спиной в снопы, не выпуская вожжей из рук, и держали сколько было в их стариковском теле сил. И кобыла задирала голову, напирала на дышло слева, справа, задом приседала до самой земли, но с места не сдвинулась.

— Оставь ее, Стах! — крикнул я.

Но тот как сбесился. Шапка у него с головы слетела. Рубаха вылезла из портков. А он знай лупит. Вдруг кобыла рванула в сторону, дрога треснула, дышло полезло вверх, казалось, сейчас воз перевернется.

Я соскользнул со снопов, схватил Стаха за плечи и оттолкнул в поле. А он размахнулся и кнутом меня по голове, хотел еще добавить, но я увернулся и его за горло. У него глаза выпучились, язык вывалился наружу, и сам на колени упал. А люди на возах:

— Господи! Задушит его! Пусти! Шимек!

Слышу, хрипит, тогда только я его отпустил.

— Чтоб рукам больше воли не давал,— сказал я.— В другой раз не отпущу.

Кусь слезли со снопов, выпрямили дышло, поправили упряжь на кобыле и, похлопывая ее, поглаживая, стали жаловаться точно самому себе:

— Как он ее, а? Ай-ай-ай. Аж шкура дрожит. И за что? За что? Ну, будет, будет, не дрожи.

— Бартоломей,— сказал я.— Кончайте с кобылой нянькаться, залазьте на снопы. Надо будет ехать, а мы опять не успеем. Хватит, настоялись уже.

— А откуда ты знаешь, может, это господь нас в наказанье поставил, вот мы стоим и стоим. А они едут и едут. Некуда, брат, спешить. Воскресенье. И так каждый воз противу бога грех. А чем меньше возов, тем меньше грехов. В день седьмой, сказано, отдыхай. Господь бог это сказал, не человек. А он все учитывает. Не сам, так у него свои учетчики есть. Такие же псы, как у нас на земле. Жаль, я торбы с овсом кобыле не взял. Хоть бы поела пока.

И начали обратно на снопы громоздиться. С трудом это получалось у них.

— Может, слезть, помочь вам,— сказал я.

— Чего это ты будешь мне помогать? Тоже не мальчишка, небось. Я в былые годы вмиг на тополь влезал. И без ничьей помоги.

Наконец кое-как взгромоздились. Сели, взяли в руки вожжи и кнут.

— Ну, видишь, еще бы и нынче влез.

— Вы поглядывайте,— сказал я.

— А я что делаю?

Тихо снова стало на возах, даже ругаться никому не хотелось, и только машины перед нами громыхали, визжали, гудели, и иногда фыркал чей-нибудь конь.

— Чего это вас не слышно, Бартоломей? — сказал я, потому что чересчур уж сделалось тихо, показалось мне. Столько взъяривших возов, и ниоткуда ни слова.

— Ты ж мне велел глядеть, я и гляжу. И куда только, бес их в ребро, едут? Убегают, что ль? И от кого? Но вечно-то ехать не будут. Быстрей им это еханье наскучит, чем нам стоянье. Лучше бы, конечно, не стоять. Но и злиться ни к чему, не поможет. Столько разного, похуже этого стоянья, человек должен снести. И сносит. Иной раз покажется, больше не снесет. А сносит. И никогда не скажет, что худшего не снесет. Потому как хуже худшего на этом свете бывает, и хуже наихудшего, и так без конца. А у человека на все это только терпенье есть. Вот он и обязан стоять, покуда не выстоит своего. Дерево такое. Стоит и стоит. Года, века. Там, где посажено или где ветер посеял. Не выбирает места, от зачатья стоит. А изо всех деревьев дольше всего дуб. А меньше всего тополь. Потому и никудышное дерево. Даже топорища не сделаешь. А дуб, брат, скала. И на все годится. На порог, на ступицу, на бочку, на крест и на что хошь. А отчего? Оттого, что не злится, не чертыхается, стоит. Иной раз криком не помочь, плачем не помочь, косой не помочь. И ни бог, ни люди тебе не помогут, одно лишь терпенье твое. И даже когда помирать придет час, не так будет страшно, потому что смерть, брат, это тоже терпенье. Вот и мы переждем их, переждем. Много всякого пережидали, не имея ничего, кроме терпенья.

Я не думал, что делаю. Только будто кто-то ножом ткнул меня в бок. И я соскочил со снопов на землю.

— Подайте назад, мужики! — крикнул.— Я еду!

Тревога пронеслась по возам:

— Не сходи с ума, Шимек!

— Чего это на тебя нашло?

— Не проедешь!

— Машина за машиной, машина за машиной!

— Во имя отца и сына, опомнись!

Я поправил лошади нашильник, потрепал ее по загривку, проверил постромки. Ни раздражения во мне не было, ни злости.

— Шимек, побойся бога! — Кусь всем телом перегнулись со снопов.— Тогда бы уж мне надо, брат. Я самый первый стою. И до смерти мне полшага. Да и кобыле охота помереть.

Я взял в руки кнут, вожжи, но мужиков как пригвоздило к земле, вижу — стоят.

— А ну, подайте назад! Иначе мне из-за Куся не выехать!

И вдруг словно страх на всех напал, стали мужики один за одним пятить возы, задирать лошадям морды, хлестать их по спинам, покрикивая: тпру! назад! Дроги, оси трещали, сыпались проклятья, потому что не так-то легко отъехать задом телеге, полной снопов.

Я попятился, завернул лошадь вправо и поначалу съехал на поле. А потом, огибая воз Куся, хлестнул лошадь и — н-но! — к дороге.

— Господи Иисусе, на погибель едет! Стой! Остановись! Шиме-е-ек!

По небу прокатился охрипший голос Куся:

— Перекрестись хотя б!

Я привалился плечом к телеге, кнут в руке жег мне пальцы. Лошадь шла ходко, может, чувствовала, какое препятствие ее ждет. Уже дышло приблизилось к самой дороге, а она вдруг растерялась, мотнула головой. А там как раз было в горку. Я стегнул ее по хребту, по ногам. Она напружилась, уперлась задними копытами в землю. Н-но! Н-но! Уже полезла прямо на машины. Но тут воз потащил ее назад, а может, она этих машин испугалась. Я изо всех сил уперся плечом в снопы и снова огрел ее кнутом по ногам, раз, другой, она даже присела. И пошла. Уже передними копытами стукнула об асфальт. Я размахнулся и еще раз ее кнутом, точно машины эти у нее перед мордой хотел сокрушить. Уже и мои ноги ступили на асфальт.

Вдруг что-то сверкнуло мне прямо в глаза. Загудело пронзительно над самым ухом. Я услышал визг колес. Что-то с грохотом треснуло и подрубило меня, как дерево. В первую минуту я ничего не видел, словно туман меня обволок, и не чувствовал ничего, только какие-то голоса слышал, крики где-то далеко. Потом туман стал помалу редеть, и я увидел слева от себя здоровущую дыру, а в этой дыре чью-то светловолосую голову, вроде бы спящего человека, но всю окровавленную. Я попытался встать. Но точно не было у меня тела, только воля одна. Передо мной на асфальте лежали мои ноги, перекрученные, как корни, тоже все в крови. И кровь будто через них из меня вытекала, разливалась вширь. Хотя я и не чувствовал в ногах боли. В голове мелькнуло: видать, не мои. И кнут, который я держал в правой руке, тоже мне показался не моим, как и рука. Откуда кнут? Я не мог вспомнить, на что он мне понадобился. Все было словно во сне. Только дорогу я узнал, сообразил, что не снится она мне, потому что вдоль нее акации уже не росли.

Какие-то люди надо мной собрались. Я не мог понять зачем. Кричали что-то, головы у них на шеях, как у индюков, тряслись, руками махали, и все больше и больше их становилось надо мной. И все громче кричали, все быстрей махали и смотрели на меня с бешеной злобой. Кто-то эти мои ноги, лежащие на асфальте, пнул. Но я не почувствовал боли. А другой ко мне наклонился, глазенки у него были рыбьи и рубашка в клетку.

— Живой,— услышал я, да и как было не услышать, он своим криком мне уши просверлил.

И начал меня за плечи трясти. И должно быть, разбудил — я увидел, что сижу, вжавшись в снопы, и люди надо мной настоящие, не из сна. Рядом стояла моя лошадь, запутавшаяся в постромках, а дышло ей голову задирало до небес.

— И такой гад живой!

И тут я почувствовал, что это моя рука держит кнут и через кнут наливается какой-то неистовой огромной силой. И начал вслепую хлестать кнутом перед собой, по орущим ртам, рубашкам, глазам.

— Вы, сволочи! — Мне казалось, я на весь мир крикнул, хотя, возможно, этот крик застрял у меня в глотке. Потому что опять все заволокло туманом. Словно опять не стало у меня тела. Кто-то вырвал кнут из моей руки. А когда туман через минуту опал, я увидел над собой стоящего на коленях Куся.

— Живой. Слава богу, живой.

Земля

Иногда я себя спрашиваю: и какое этой земле до меня дело? Что она про меня знает? Знает хотя бы, что я есть? Знает, сколько я по ней своими ногами прошагал? Может, даже весь этот свет кругом обошел, если сосчитать каждый шаг. Или на тот уже зашел и дальше иду. По пашне, по бороздам, по целине, по жнивью, в дождь, в холод, в зной, весной, летом, осенью, за плугом, за косой, через силу. А зачем?

А еще — знает ли земля, сколько из-за нее собачился человек, ненавистью исходил? Сам себе, бывало, удивляешься, откуда в тебе столько ненависти? Неужто на свет уже с нею родился? И ненависть претворилась в землю?

Так или иначе, еще до моего рождения отец затеял с Пражухами тяжбу из-за межи. Ни в какую земную справедливость он не верил, но однажды пришел с поля весь трясущийся и сказал:

— Есть ли справедливость, нет ли, надо на разбойника этого, Пражуха, в суд подавать, потому как земля больше не стерпит.

А дело было в том, что Пражух взлущил нашу межу. С этого и пошло. То отец подавал на Пражуха, то Пражух на отца, и так по очереди, смотря чья земля к тому времени отказывалась терпеть. Годами это тянулось, потому что и суды не такие уж ретивые, чтобы с одного раза решать, да и судьям надо с чего-то жить. А может, и вообще нельзя было решить, кто прав, кто виноват. Так что и сам господь бог бы нас не рассудил. Когда земли касается, нету виновных и невиновных, только обиженные есть. А суды, что с них взять, знают одно: виновен или невиновен, а это разве мерка? Вот и шли суды своим чередом, а отец с Пражухом сами устанавливали справедливость. И что Пражух весной взлущит, то отец осенью распашет, да еще за свою обиду Пражухового поля прихватит кусок. Пусть не думает, злодей, что на него уже управы нет.

Но однажды, после какого-то там очередного суда, который снова ничего не рассудил, повстречались отец с Пражухом на поле. Отец на своем бороновал, Пражух на своем раскидывал навоз. Тот и съязви, что, если отец будет свое поле на судебные расходы продавать, он у него готов купить. А отец ему в ответ, что не бывать тому, потому как, коли не суды, так господь его по справедливости покарает, и, может, ты, супостат, наконец подохнешь. Началась между ними страшенная перепалка, за три версты было слыхать, точно две деревни между собой схватились, две усадьбы или небо с землей. Кто только ни был в поле, спину распрямлял, бросал плуг или борону, останавливался и смотрел, где это так ругаются. А они крыли друг дружку почем зря, жаворонки и те поулетали с неба. И даже само небо, до тех пор ясное, затянулось тучами и вдалеке начали зарницы сверкать.

В конце концов отец не выдержал, подлетел к Пражуху и огрел его кнутом. А Пражух, не долго думая, ткнул отца вилами. Отец упал, облился кровью, а тот еще встал над отцом, оперся на вилы и давай насмешничать:

— Ну, кто теперь подохнет, дьявол? Чья справедливость?

А отец, пока не сомлел, успел ему в ответ пригрозить:

— Погоди, сукин сын, пусть только мой Шимек подрастет.

Ну, а когда я подрос, пути назад уже не было. Как-то я пахал на этом же самом месте, а Пражух на своем поле сеял пшеницу. Воронья слетелось видимо-невидимо, что на мое поле, что на его, ну а вороны, какие их дела, ходили да клевали. Вдруг паразит этот нагнулся, схватил ком земли и бросил вроде бы в тех ворон, что ходили по его полю. Но и с моего сорвались. Я разозлился — люблю, чтоб вороны за мною шли, когда я пашу. Остановил лошадь и крикнул:

— Оставь в покое ворон, лиходей проклятый! На своем поле гоняй! А к моему лучше не приближайся!

Но тот не только не перестал кидать, а еще и каркать начал: кар! кар! кар!

— Прекрати, морду набью!

А он дальше: кар! кар! кар!

Я подскочил, врезал ему кулаком промеж глаз, он кувырнулся, зерно из рядна рассыпалось, а я ему на земле еще подбавил ногой.

— Ну, чья теперь справедливость? — спросил.

Я половину поля вспахал, а он все не мог встать, только стонал и чертыхался. Говорили даже, я ему чего-то в крестце повредил, потому что он почти до весны пролежал в постели.

Но опять настала осень, и однажды Антек пас коров в картофельной ботве, а Пражух на своем пахал. Одна корова возьми да и забреди на его поле. Антек за ней, отгонять. А Пражух оставил плуг и лошадь и на Антека с кнутом. И так мальчишку излупцевал, что тот весь был в синяках. Потом и корову, которая на его поле забралась. И еще мало ему этого показалось, на наше прилетел и отхлестал другую, ни ь чем не повинную. Вернулся Антек с плачем домой, хотя время было раннее, до полудня еще далеко, и коровы избитые, на шкуре набухли толстенные, как змеи, рубцы.

Тут уж я прямо озверел. Схватил топор и в поле, убью гада, пусть этому раз и навсегда будет конец. Пускай даже за решеткой сгнию. Но он меня издалека увидел, мигом перепряг лошадь из плуга в телегу, плуг бросил, вскочил на телегу, хлестнул конягу и по дороге мимо мельницы удрал домой. Я бросился за ним в хату, но она была на сто засовов заперта. Начал дубасить в дверь.

— Открой, сукин сын, я тебя убить должен! Открывай, слышишь?! Нам двоим на этом свете не жить!

Но хоть бы мышиный писк донесся из-за дверей, будто и не было никого в доме. А были все. Я заглянул в окно, так они на подоконник поставили оловянное распятие. Ну, и даже если стекла повыбивать, негоже как-то перелезать через распятие. Я им только малость наугольники у хаты порубал.

С тех пор Пражух от меня бегал как от чумы. Ни в деревне я его ни разу не встретил. Ни в магазине. И в поле, когда ни выеду, у него уже все обработано, точно дьявол ему ночью сеял, пахал. Повстречались мы только как-то в корчме. Должно, он меня не ожидал увидеть, потому что дело было утром, погода как стеклышко, и жатва. Он за махоркой пришел, а я стоял у буфета немного уже выпивши.

— Махорки, гад, захотелось? — сказал я. Он поджал хвост и ни словечка.— Клевер не желаешь курить? А то поруби вишневых листьев! — И еврею: — Дайте ему, Хаим, рюмочку анисовой, пусть выпьет за мое здоровье, раз уж мы встретились.

Еврей ему налил, а он точно не ему это.

— Ты что, за мое здоровье не выпьешь? — И одной рукой его за шкирку, в другую рюмку и хотел силком эту анисовую ему в глотку влить, а он как плюнет мне в лицо.— Ах, ты так, сукин сын? Я к тебе с водкой, а ты плеваться?!

Поднял его под самый потолок и грохнул об землю, корчма заходила ходуном. У него только стон вырвался, словно последний вздох. Я испугался, не убил ли ненароком мужика, он ведь уже в годах был, а ну как старые кости в нем рассыпались, с такой-то высоты. Однако кое-как очухался. Еврей ему немного помог. И выкатился из корчмы чуть ли не на карачках, смирный, как кролик. Только во дворе, когда уже взгромоздился на подводу и взял в руки вожжи и кнут, принялся меня последними словами честить:

— Ты, сволочь! Ты, ублюдок! Ты, антихрист!

Я выскочил следом за ним, но он стегнул лошадь. А когда порядочно уже отъехал, обернулся и пригрозил:

— Ну, погоди, ужо мои ребята подрастут!

Трое у него было ребят — Войтек, Ендрек и Болек. Ну и когда подросли, хотя только у старшего, Войтека, начали пробиваться усы, раз меня подкараулили. Я возвращался ночью с гулянки из Болешиц. И будто все против меня ополчилось — захотел одну девушку проводить, а она почти уже за деревней жила, ну и постоял с ней полчасика перед хатой. Но она даже поцеловать себя не позволила, чисто телка, губы сжимала и голову отворачивала. И домой идти пришлось одному, потому что дружки меня дожидаться не стали. Ночь темная, глаз выколи, на небе ни звездочки, ни хотя бы серпика луны, собаки только где-то вдалеке лают. А я еще пошел напрямик, оврагом, там сплошь кусты, боярышник, можжевельник, орешник, тропку и ту среди этих кустов почти не видать. Да мне что, не впервой было возвращаться ночью одному, и больше случалось делать концы, какой тут может быть страх. Иду, посвистываю: ох, ребята, бравые солдаты, видишь, гуси над рекой, девушка-красавица, не спускайся за водой, ой, гуси щипаются. Вдруг из кустов выскочили Пражухи и на меня с кольями. Я не успел нож вытащить — полумертвый упал на землю. Чувствовал еще, меня ногами пинают со всех сторон, но всего-то с какую-нибудь минуту, а потом уже ничего не чувствовал, не знал, то ли я живой, то ли убитый. Утром только шел по этой тропке какой-то мужик и сообщил в деревню, что в овраге лежит труп.

Недели две я не мог с кровати встать. Хоть и лежал, все у меня болело. Мать знай сменяла припарки да слезы надо мной лила:

— Господи, Шимек, сколько я тебя просила! А сколько богу молилась! В могилу хочешь меня свести? Обещай, что это в последний раз.

Но как обещать, пусть матери, когда я себе поклялся, что не прощу. Подожгу, убью, но не прощу. Только вскоре началась война, и пришлось мне идти воевать. Правда, войну мы в два счета проиграли, в деревне еще выкопки не кончились, а я уже вернулся домой. Но почему-то вся эта история с Пражухами теперь показалась мне точно случившейся на другом свете. Тошней было из-за этой проигранной войны, чем из-за Пражухов. И верно, я бы всякую обиду позабыл. Да отец, что опять нам Пражух межу взлущил, когда я был на войне, потому как, паразит, рассчитывал, что я не вернусь. Ну и сделай что-нибудь да сделай что-нибудь, земля больше этого не снесет. Сходи хотя бы в суд подай. И никак я не мог ему втолковать, что теперь подавать некуда. Ну куда? Польши нету, значит и судов нет. А он свое:

— Войну проиграли, неужель еще и Пражухам проигрывать?

И в один прекрасный день закинул я на телегу плуг и, хотя что у нас, что у Пражухов поля были уже засеяны и кое-чего даже успело взойти, снова распахал что было нашего, пусть знает, гад, что я вернулся.

На следующий год в Лисицах была ярмарка на Петра и Павла. Я бы, может, и не пошел, да негде было рожь смолоть, потому что мельницы жандармы охраняли, как цепные псы, и требовалась квитанция, что поставки сданы. Хотя, случалось, у кого и есть квитанция, все равно зерно реквизируют, да еще и рожу испишут. А в Лисицах как раз у одного, Пасенько по фамилии, был ветряк и к тому же дочь на выданье. Старая девка уже, Зоськой звали. Я ее по гулянкам знал, и она не раз приглашала, чтобы как-нибудь зашел. Но во-первых, до Лисиц от нас не близкий путь, а во-вторых, уж больно некрасивая была девка, приземистая, спина вровень с задом, зубы как у лошади, да еще смеялась когда надо и когда не надо. Но чего не сделаешь ради хлеба. Пойду, подумал я, свожу ее на ярмарку, старик наверняка хоть с четверть ржи тишком смелет. И потом немножко с ней погуляю, пусть мельник думает, я жениться хочу, может, война надолго не затянется. На худой конец куплю ей на ярмарке собаку, кошку или нитку бус, чтобы не поминала лихом.

На мое счастье, лавки были, точно соты с медом, облеплены людьми, и мы никуда не могли протиснуться. Другое дело, что мне не очень-то и хотелось протискиваться, а Зоське достаточно было, что она меня под руку держит. С таким кавалером на глазах у всей ярмарки она бы, небось, все отдала, не только собаку, кошку или нитку бус. К тому же ярмарка, хоть и война, была получше, чем иная до войны. Ряды лавок до самого кладбища тянулись. Возов точно в большой базарный день. А людей — не продохнешь, будто процессии взад-вперед ходили, и не поймешь, которая куда, потому что все лезли друг на дружку. А визгу, крику, смеху, дудок, свистков, петушков, словно никакой войны нет, один сплошной праздник на свете. А еще я сказал Зоське, что мне нравится, как она смеется, так девка смеялась не закрывая рта.

Вдруг перед нами, как три сосны, выросли трое Пражухов. И ровно разбойники, глядят на нас, насупясь. Ого, подумал я, как бы худо не обернулось. И хотел мимо пройти, потому что у меня в мыслях несмолотая рожь была, не драка. Только как на грех с правой стороны стояла лавка и перед лавкой — куча народу, а с левой — телега, с которой продавали черешни, ну а отступать-то я не стану. Пустил Зоську вперед, может, думаю, друг за дружкой проскользнем. Зоське они даже позволили пройти. Самый младший только, Болек, когда она с ним поравнялась, с издевкой прошипел ей прямо в ухо:

— Ну и коротышку себе нашел.

Все трое заржали, я уже подумал: за Зоськиной спиной и мне удастся пройти. Но тут старший, Бойтек, загородил мне рукой дорогу и: ты куда, такой-разэдакий, лезешь? Не видишь, мы стоим?

— Отчего не видеть? Вижу,— ответил я. И не раздумывая, хватил кулаком по еще смеющейся роже, он даже отстраниться не успел. Пошатнулся, я добавил с другой руки, и он полетел спиной на телегу с черешнями. А там еще приложился башкой об колесо и больше уже не встал. Подскочил тогда Болек, схватил меня за грудки, с минуту мы с ним тормошились. Вокруг заклубилось. Кое-кто пустился бежать, другие, наоборот, из любопытства стали к нам проталкиваться, а нашлись и такие, кому захотелось ввязаться в драку. Кто-то орал во всю глотку, словно созывал народ в свою лавку со сластями:

— Дерутся! Дерутся!

Кто-то другой:

— Иисусе! Мария! Мало им, окаянным, войны!

Кто-то аж зашелся от крика:

— Ксендза позовите! Пускай окропит чертей! Позовите ксендза!

Зоська схватила меня за пиджак:

— Шимек! Шимусь! Ты поумнее! Уступи дуракам!

И в ту самую минуту что-то тяжелое хрястнуло меня по затылку. Я весь обмяк. В глазах стало темно. Но на ногах кое-как удержался и в этой тьме вслепую ударил кулаком перед собой. Не попал. Меня качнуло, и, чтоб не упасть, я подался головой вперед следом за своим кулаком. Голова уткнулась в чей-то живот, кто-то охнул. И тут я прозрел. Увидел, как Болек — это его был живот — падает на прилавок. Повалил лавку. Посыпались гипсовые фигурки святых. Лавочник разразился проклятьями, схватил Болека за плечи и толкнул обратно на меня. Я выставил кулак, Болек точно в дышло носом врезался, и глаза у него сделались масленые. Но парень он был крепкий, хоть и самый младший из троих. Тряхнул только башкой, словно его ведром воды окатили. Я добавил, он зашатался, но не упал. Может, добавь я еще разок, ему был бы конец. Только тут Ендрек, самый из них высокий, растолкав народ, протянул ко мне руки, точно хотел к себе прижать и раздавить. Я пригнулся и со всего маху ударил прямо промеж этих рук. Руки разлетелись, как крылья. Он словно на них повис. Но тут же схватился левой за глаз и страшно завыл:

— Господи-и-и! — Постоял, шатаясь, не отрывая руки от глаза,

точно раздумывал, падать или не падать. Я ему помог не очень даже сильным ударом под локоть, и он повалился на землю у самых моих колен, продолжая стонать: — Глаз! Ничего не вижу! Мой глаз! Едрить твою душу!

Я заколебался, надо ли еще подбавить, больше всего мне хотелось втоптать его в землю. Но только оторвал эту его руку от лица: погляди сюда своим кровавым глазом, сукин сын, и чтоб на всю жизнь запомнил. Он решил, я его дальше бить хочу, и расплакался:

— Не бей! Пожалей! Мы ж из одной деревни!

Но пока этот пощады просил, Болек успел очухаться и подкрадывался ко мне сбоку, вытянув руку с ножом. Я бы, может, и не заметил этого ножа, но вдруг что-то сверкнуло, словно яркий солнечный луч отразился от золотого креста на колокольне костела. А к тому же какой-то добрый человек в последнюю минуту меня остерег:

— Нож! Нож!

Только поздно было выбивать у него из руки этот нож, потому что он им замахнулся уже. Но я успел увернуться и пнул его изо всех сил промеж ног. Он скрючился в три погибели, а нож, будто воробей, выпорхнул из его кулака. Я поднял обмякшее тело с земли и, придерживая левой рукой за отвороты пиджака, правой принялся в отместку за этот нож бить, не спеша, с передышками, потому что сам уже едва стоял на ногах. Хотя, может быть, мне только казалось, что я его за этот нож бью, а бил за ту проклятую, тыщу раз перепаханную межу. Подтягивал к себе, когда он оседал на землю, и бил. А он то просыпался, то засыпал, просыпался и засыпал, словно уже не чувствовал, что я его бью. Силы начали из меня уходить, но ненависти оставалось еще столько, что даже убей я его, и то б, наверное, ее не насытил. Наконец у него изо рта хлынула кровь.

— Отпусти парня. Хватит с него,— донесся до меня сбоку словно бы голос ангела. И я отпустил.

Он рухнул как колода, но и подо мной ноги подломились, и я чуть не свалился вместе с ним. С минуту стоял, точно пьяный, боясь ступить хотя бы шаг, а из глаз у меня словно кто-то искры высекал. И тут я снова услышал тот же ангельский голосок:

— Поди сюда, посиди, соколик.

Я повернул голову и прямо напротив себя увидел ларек и сидящую за прилавком торговку. Она была старая, расплывшаяся, лицо все в щербинках от оспы, но ангельский голос был ее. Улыбалась как-то странно, будто две улыбки на ее лице между собою спорили, может быть, из-за этих оспинок, или же у меня двоилось в глазах. И вдруг я вспомнил, что собирался договориться с Зоськой насчет размола ржи. Стал оглядываться, но Зоськи и след простыл.

— Нечего ее искать,— заговорила торговка своим ангельским голоском.— Попищала, попищала и удрала. Такие нынче барышни. Сядь, отдохни лучше.— Поставила мне перед ларьком табурет. Даже сняла с головы платок и этот табурет застелила.— Тебя Шимеком звать? Я слышала, как она тебя кричала. Красивое имя. Сыми пиджак, я пуговицы пришью, а то все оборваны.

Вышла из-за прилавка и сама стянула с меня пиджак. И пошла с ним по соседним лавчонкам. Через минуту вернулась с полной горстью пуговиц.

— Есть. Еще красивше, чем раньше, будет.

Взгромоздилась обратно за прилавок и начала пришивать. Я смотрел на свои распухшие, ободранные руки, когда она вдруг выхватила из лежащей на прилавке кучи связку бубликов и кинула мне на колени.

— На, подкрепись, соколик. Натрудился ты. Ой, натрудился. Есть еще в народе сила. Не так скоро нас согнут. Только тому, первому, ты мало дал, он сильней об колесо расшибся. Но последнему на всю жизнь будет наука. Было на что посмотреть. А люди улепетыва-

ли, точно их ветром сносило. Кое-кто даже свою торговлю свернул. Видно, совесть была нечиста, товару-то оставалось еще порядком, могли б до вечера торговать. Да сегодня ничего уже не наторгуешь. Но приехать стоило. Будет что вспомнить. А то пролетают эти праздники, похожие, как день на день, что тут вспоминать? Сколько бубликов продала? Ну, продала, только это еще не праздник. Праздник — когда или епископ приедет, или подерутся. Раньше больше дрались. Летось в Радзикове на святого Винцентия как начали сразу после утрени, так всю обедню дрались и еще после обедни. Люди уже к вечерне стали сходиться, а тут дерутся. Один ко мне на прилавок свалился, а рожа у него была от уха до уха ножом исполосованная, все мои бублики покрасил кровью. Пришлось потом связку за связкой осматривать и замывать. Хотя и так половину выбросила. А началось из-за пустяка. Сперва один с одним. А потом уже и не поймешь кто с кем, все со всеми дрались. И даже кто за кого, не поймешь, свои перемешались с чужими. Прямо куча мала. Вышел ксендз со святой водой и кропилом, органист, причетник с крестом, и колокол на колокольне зазвонил. Но только подошли к этой куче и дальше ни шагу. Органист попел, ксендз побрызгал святой водой, и повернули назад. А те дальше дрались. Держи.— Она бросила мне еще одну связку бубликов.— Ешь. Все равно сегодня ничего не продать. И обратно меньше останется везти. Ого, эта даже с материей вырвана. Ничего, как-нибудь заштопаю. На темном и под пуговицей не будет видать. Идет тебе этот костюм. Но еще больше пошел бы коричневый. И голубая рубашка. Галстук в горошек. А об этой твоей барышне не стоит жалеть. Хорошо, что убежала, не такая тебе суждена. Вцепилась в куртку, нет, чтобы духу поддать. Девушка должна быть как из твоего ребра сделанная, с такой не пропадешь. А эта стоит и визжит. Хоть бы в руку кого укусила или в ногу лягнула. Нет, не вышла б из нее ни жена, ни хозяйка, ни детям мать. По походке было видно, что не про тебя она. А бранчливая была б! После первого же ребенка, считай, у тебя в доме брюзгунья, а через десятка два годков ведьма или сатана. Только б и думал, куда пойти, лишь бы не сидеть в хате. К богу бы тебя не тянуло, к богу тянет только под старость, вот и пришлось бы другую завести, а не то б пристрастился пить. В корчме часом подлечишь душу, но так тоже долго не проживешь. От корчмы частенько прямая дорога в петлю. Хотя по правде сказать, такого сокола ни одна долго не удержит. Какая б ни была богатая да красивая. Запри двери, окна, закрой вьюшку в трубе, даже четками его привяжи, все равно упорхнет. А что перед господом тебе клятву давал, ему ж это как плюнуть, не приемлет его нутро никаких клятв. Таким уж он сотворен — не для счастья одной-единственной, а чтоб несчастья нашей сестре приносить. Да и куда тебе спешить. Семейная жизнь не мед. Пока весело, веселись. Оно ведь так: покуда весело, то и смерть далеко. Я свое прожила, знаю, что говорю. А было у меня трое мужей. И хорошо мне с ними бывало, и плохо, хотя со всеми по-разному. Но лучше я помню, что три раза их хоронила, чем то, что они меня три раза под венец вели. Счастье, что у меня мои бублики были,— не успею одного похоронить, другой свататься летит. Льнули ко мне, ой, льнули, словно рядом со мной легче было умирать. Но после третьего я сказала: довольно. Что я, усыпальница? Бублики при мне, то туда поедешь, то сюда. Подерутся из-за меня где-нибудь мужики, и хорошо. А дрались когда-то, соколик, дрались, иной раз от крови земля краснела, словно из нее сочилась эта кровь. И ножами и кольями. И у кого что было под рукой. Раз один другому гипсовой богородицей съездил по башке. И тот, о чью башку богоматерь разбилась, был моим первым. Мне больше другой нравился, но этого стало жаль. Он святых продавал, я — свои бублики, и всегда наши лавки стояли рядом. Но он долго не прожил. Второго, то же самое, из драки взяла. Он всю ярмарку на святую Сабину в Войцехове разогнал, и почему-то

у меня с языка сорвалось: будешь мой. Так и вышло. Пока его полицейский не застрелил, он на полицейского бросился, когда тот его в кутузку вел. А третий остановился вон тут, на этом самом месте, где ты, перед моею лавкой, и сказал: я все эти бублики куплю и еще столько же, но ты должна стать моей. Я и стала. Только он не мог снести, что у меня уже было двое до него, и напивался пьяный каждый день. А напившись, хватал топор и: прогони их, прогони, сука, не прогонишь, зарублю и их, и тебя. И все пуще пил. Пока однажды не вернулась я с ярмарки, гляжу, а третий мой под потолком висит. С тех пор отшибло у меня охоту замуж выходить.— Она снова выудила из груды бубликов одну связку и бросила мне на колени.— Ешь вдоволь. Из хорошей муки. А я уж думала, ничего не случится. Поздняя обедня кончилась, а тут только, почем связка да почем связка. И все такие обходительные, ну не мужики, а монахи переодетые. Не скажу, торговля хорошо шла, но настоящего праздника, я подумала, видать, уже не будет. А у тебя что, ножа не было? Надо б и тебе ножом, раз он с ножом на тебя. Господь бы твой грех простил, он же видел, что их трое, а ты один. А в срам ты его зря. Бей, убивай, но к этому месту, соколик, надо уважение иметь. Кабы незнамо какой был ирод, это святая вещь. Ты точно на самого бога замахнулся, который нас всех породил и приказал нам родить других. Да и он, хоть и бог, не иначе появился на свет, пусть даже от святого духа, но что бы дух без Девы Марии мог? Из этого места жизнь, из этого места смерть, все печали и радости, через него один плохой, другой хороший, этот такой, тот сякой, через него измены и войны, бродяги, святые угодники и цари. И что было, и что будет, все от этого места, соколик. А ты знаешь, где у снов логово? В самом сраме. Оттуда они ночью вылазят и тебе снятся. И что в том месте, то и в сердце, и в голове. Потому как оно над ними поставлено так же, как вечность над минутой. Без головы человек разве что глупый, без сердца — камень. Повредишь детородное место — будто другорядь его из рая изгнал. И потом уже ни грешить не хочется, ни о спасенье души думать. Редко у кого только заведется в горле соловей и запоет тоненько. Но это все равно, как если б человек сам над своим изгнаньем пел.

Я съел, наверное, десять связок этих бубликов, но она ни гроша не захотела взять. Только чтоб я приехал на успенье в Милеёв на ярмарку. Я обещал приехать. А Пражухи с тех пор точно в норы попрятались. Хотя нет-нет, кто-нибудь мне доносил, что они грозятся отомстить,— вся деревня уже знала о нашей драке. К Болеку даже пришлось врача привозить. А старый Пражух вроде сказал, что я им еще за этого врача заплачу. Но я вскоре ушел в лес, и плевать мне стало на Пражухов. Думал, с ними навсегда покончено, а межу я в крайнем случае после войны перепашу.

Но как-то пошел я ночью навестить родителей. Хорошо было идти. Тихо, пусто, нигде ни живой души, хаты спят крепким сном, ни один пес не залаял. Почти как в прежние времена, когда случалось в эту пору возвращаться от девушки. Так и хотелось небесам задать вопрос: где ж она, эта война?

Я был уже почти на середине деревни, еще только Дереня пройти, Мащика — и родительский дом. Вдруг из темноты, в каких-нибудь двух шагах: хальт! И фонарем прямо в глаза. Я, не раздумывая, отскочил вбок за Орышкину загать, мне ведь каждый закоулок был знаком. Загремели выстрелы, забухали сапоги. Я перескочил через плетень к Незгудке на подворье. Незгудкина собака как подымет лай. А за спиной у меня снова: хальт! хальт! И снова выстрелы разодрали темноту. Я от Незгудки в загуменник Кветеня. Кветенев пес, на счастье, то ли не успел проснуться, то ли такой был ленивый, что даже не зарычал. Потом через двор Гавлика и по разлогу за пожарным сараем выскочил к Баранскому. В голове мелькнуло: а не забраться ли на его сарай и там переждать. Все подальше от дороги, и Баранский

богатый, может, у него не станут искать. Еще к Ирке Баранской немецкий лейтенант ходил, а ну как и сейчас ходит. Только забыл я, что у Баранского пес — сущий дьявол. Едва я протиснулся между кустами сирени и жасмина, которые вокруг двора росли, он как бешеный с другого конца бросился ко мне. Вдобавок потянул за собой по проволоке цепь, и проволока эта, и цепь бряк, звяк, точно взбесились заодно с псом. А где-то там, на дороге, сразу затопали сапоги. Хальт! Хальт! А от садов, с противоположной стороны, очередь.

Невесело становилось. Решил я пробиться к реке — недалеко, и, может, дотуда они еще не добрались. Задами, задами, крадучись, добежал до кузницы Сюдака. Там на минутку притаился, прислушался, не доносятся ли какие-нибудь подозрительные голоса, и ползком на другую сторону дороги. Заскочил в загатье между Жмудой и Габрысем. И берегом пруда, через ольшаник, вышел на загуменник к Здуну. Подумал уже, что спасся,— между Здуном и рекой только луг, а за рекой косогор и лес, а там — ищи ветра в поле. Я даже присел, чтобы отдышаться немного. И тут в кустах что-то зашелестело, я схватился за пистолет, а из кустов словно тень вылезла махонькая собачонка и давай меня обнюхивать. У меня душа размякла, и собаки, думаю, бывают разные. Хотел ее за это погладить, а она меня цап за руку да как завизжит. Ах ты так, зараза? Дал ей пинка, она заскулила и еще громче подняла визг. Ну, думаю, делать нечего, попробую по-доброму. И стал взывать к ее собачьему разуму, чтоб она успокоилась:

— Хорошая собачка, хорошая. И не такая глупая, как другие псы. Ну хватит уж, перестань. Слышала выстрелы? Это в меня стреляют. Еще налаешься, дай окончиться войне. После войны всем будет легче — и людям, и псам. А ты сучка или кобель? Сдается мне, кобель. Сучка бы так не лаяла. У сучки щенки, она б при щенках сидела. А ты чья, не Здунов ли? Кормят хоть тебя хорошо? Они прижимистые, куска лишнего не съедят, небось и собаку голодом морят. Тебе б у Ямроза было лучше или у Стаюды. Стаюда свиньями торгует. А Ямрозы всё молятся, чтобы господь дал им ребеночка. А кличут-то тебя как? Не Шарик? Поди ко мне, Шарик, я тебя поглажу, только перестань, черт, брехать. Здуны тебя не погладят, они и ребятишек своих не больно-то гладят, всё заставляют работать. Ну, поди сюда.

Ну куда там, шавка кидалась, визжала, будто мои слова еще больше ее раззадорили.

— Ты швабская псина или польская? Гонятся за мной, как тебе, дрянь этакая, еще объяснить? Кажется, я по-польски говорю. Выдать меня хочешь? А ты знаешь, что с такими собаками делают? То же, что и с людьми. Пулю в лоб. Польский пес так бы на поляка не лаял. А ты либо помесь, либо приблуда. Ухожу я, ухожу, безмозглая тварь.

Я встал, а собачонка точно вора во мне учуяла, начала мои голенища кусать и брехать еще яростней. Вдруг сквозь этот лай я услышал, вроде по полю кто-то бежит, да не один. А за рекой фонарик сверкнул, другой.

— Видишь, паскуда, что ты натворила? Окружают меня.

Теперь у меня остался только один путь — через верхние поля. Но для этого надо было обойти деревню, чтобы не переходить снова дороги — они, небось, там меня подкарауливают. Я свернул на тропку под ивами, ведущую от мельницы. А собачонка прицепилась, как репей, и за мной, и лает не умолкая. Ну погоди, стерва. Хоть нельзя было терять ни минуты, я присел на корточки и хвать гадину за башку. Так бы я ни за что не обидел собаку, скорее уж кошку. А в детстве мне даже казалось, собака происходит от человека. Шавка кусалась, царапалась, выла. Я придавил ее к земле и каблуком, каблуком по башке, аж что-то хрястнуло. И в ту же секунду в двадцати, может быть, шагах: хальт! хальт! И очередь прожужжала над головой.

Я бросился к Ямрозу в сад. Ветки хлестали меня по лицу, по гла-

зам. Пули точно град трепали листья. Видно, и яблок посбивали немало. У меня шапку сорвало с головы. Зацепился за пень, упал. Выскочил на Микусово поле. Как назло, Микус там люцерну посеял. На беду, она у него хорошо уродилась, выше колен доставала. Я с трудом ноги из нее вытаскивал. Как во сне: бегу, а ноги будто каменные, не сторвешь от земли, а эти, кажется, уже за спиной. Я чувствовал, что теряю последние силы. Снова упал. В голове мелькнуло: может, не вставать? Пускай хватают, пускай убивают, пусть этот сон наконец окончится. Но все же я вскочил, а через полсотни шагов и люцерна кончилась. В несколько скачков я долетел до оврага и, чтобы запутать следы, взобрался по откосу наверх. Потом обогнул стороной подворье Карвацкого, чтобы ненароком не приманить пса. И от статуи святого Флориана свернул к хате Пражухов, мимо которой как раз колеина вела к верхним полям.

Я даже немного замедлил шаг. Посмотрел на окна Пражухов, но безо всякой ненависти, и обыкновенно, как думают ночью о людях, подумал, что они там, небось, дрыхнут без задних ног. Темнота уже слегка поредела, и звезд на небе поубавилось. И вдруг откуда-то спереди до меня донеслось вроде бы приглушенное лопотанье на чужом языке. Я скорей за угол Пражуховой хаты. Высунул голову. И там, где колеина спускалась вниз, увидел три фигуры, выходящие из темноты. Шли эти трое медленно, нога за ногу, но явно приближались ко мне, потому что все больше становились и все слышней делалось это лопотанье. Бежать обратно в сереющей ночи было уже поздно, я у них как на ладони. Но и спрятаться некуда. Ни изгороди у Пражухов не было, ни деревья, ни кусты поблизости не росли. Хата, овин, хлев почти что посреди чиста поля. А самое скверное, что собака ихняя могла в любую минуту меня учуять. И даже странно мне показалось, почему она еще не подняла лай. Был же у них пес. Может, куда за сукой полетел? Но того и гляди, вернется, и тогда конец.

Я подвинулся поближе к двери, стукнул легонько в окно. Прижался лицом к стеклу, пытаясь разглядеть в темноте, не шевелится ли кто внутри. Но окно было завешено какой-то тряпкой. Я опять постучал, погромче. А голоса уже приближались к хате. Наконец что-то скрипнуло за дверью, не громче мышиного писка. Я подергал ручку. Тихо. Хотя я чувствовал, кто-то в сенях стоит, потому что вся хата как будто вдруг привалилась к двери. Я снова потянул за ручку. И тут услышал опасливый шепот старика:

— Кто там?

— Свой. Откройте,— не столько сказал, сколько выдохнул я. Да и Пражух скорее бы кого-нибудь с того света мог ожидать, чем меня, вот и не признал. Отодвинул засов, высунул кудлатую голову, вылупил зенки и поскорей снова захлопнул дверь. Но я этого ждал и заранее сунул ногу за порог. И хотя старик всем телом налег на дверь, я его пересилил, он так и отлетел в глубь сеней.

— Чего? — прохрипел.

— Заприте,— бросил я.— Швабы возле хаты.

И ввалился в горницу. В нос мне ударил тяжелый дух, словно от кислой капусты. На плите стояла едва тлеющая лампа, видать, только что зажженная, потому что старший, Войтек, еще прилаживал к ней стекло. Посмотрел на меня, будто сейчас нагнется за топором, но ничего не сказал. Высунули носы из-под перин Ендрек с Болеком и глядели, не зная, вскакивать с постелей или еще полежать.

— Слава Иисусу,— сказал я, тяжело дыша.

Но ни один мне не ответил, все смотрели волками, исподлобья, ожидая чего-то страшного. Наконец Войтек кончил возиться с лампой, сел к столу, но еще весь напружинившийся, даже кулаки положил на стол, а на столе хлеб и нож. Тогда с кровати в темном углу приподнялась старуха и, словно самая из них непреклонная, сказала:

— Зачем этот дьявол сюда приперся?

— Да не хотел я его пускать. Он силком,— стал оправдываться Пражух, что не его вина. И как стоял, босиком, в подштанниках и рубахе, плюхнулся на лавку, и руки, будто сломанные, бессильно уронил на колени.

Тогда те двое на кроватях, Ендрек и Болек, как с цепи сорвались и на отца:

— Вы что, не могли хотя бы толкач схватить и по башке его садануть?! Толкач у дверей стоит!

— Надо было, прежде чем отворять, спросить стервеца, кто он!

— За мной гонятся,— сказал я.— Хотите, можете меня выдать.

Они понурились, и ни один даже полсловечка не сказал. Только Войтек вдруг схватил со стола хлеб и нож и отрезал себе здоровенный кусок. Стал рвать его зубами, точно невесть как оголодал. А тех, в кроватях, сон вдруг сморил. Завалились, натянули перины до ушей. Фитиль в лампе догорел, начал шипеть, свет, и до того тусклый, еще больше потускнел. Но никто не шелохнулся, чтобы подойти вывернуть фитиль. И как будто даже все ждали, покуда лампа погаснет и их скроет темнота. И когда уже казалось, что вот-вот, сейчас, снова отозвалась старуха из своего угла:

— Подкрути чуток, Войтек.

Войтек встал, подкрутил фитиль и снова сел за стол, отрезал себе еще кусок, но уже небольшой, какой можно сразу засунуть в рот. Стал его пальцами колупать, точно подсолнух. И тогда опять заговорила старуха:

— Садись. От обеда чуток капусты осталось. Я встану, подогрею тебе.— Спустила ноги с кровати, надела лапти и, подвязывая передник, вздохнула:— Не надобно б нам родиться, коли не умеем жить.

А вскоре после этого все трое, Войтек, Ендрек и Болек, пришли ко мне в отряд. И все трое погибли. Ендрек при налете на поезд под Дембовой Гурой. Войтека, раненного, схватили, когда мы пытались вырваться из окружения в Марушеве, и повесили у дороги в Кавенчин. А Болек прикрывал наш отход из олеховских лесов. Ноги ему прошило очередью, не смог уйти. Расстрелял все патроны до последнего, на свою долю ничего не оставил, так он себе шею ремнем от автомата обмотал и закручивал, закручивал, пока не закрутил насмерть.

Пражухова померла вскоре после войны, когда уже сомнений не осталось, что ни один не вернется. Знала она, что сыновей нет в живых. Но пока шла война, словно все еще надеялась, что вернутся. Когда погиб первый, Ендрек, у ней начало сердце болеть, и она уже мало что делала по хозяйству, все Пражух сам. А когда потом Войтек, потом Болек, да еще война без них окончилась, сердце ее не выдержало.

Зато Пражух жил и жил. И ни в уме не повредился, ни хозяйства не запустил, хотя полное право имел и никто бы его не осудил. Всегда поле вовремя вспахано, вовремя засеяно, вовремя сжато, хлеб свезен. И в горнице, когда ни зайдешь, подметено, посуда перемыта, в ведрах свежая вода и молоко в кринках киснет на сырки либо уже сырок откинут. А подушки на кроватях сверкали от белизны. И каждую весну наседка в лукошке под столом сидела на яйцах. А к пасхе не только сени и горницу белил, но и всю хату снаружи. И даже плетнем огородил подворье, хотя столько лет обходились без изгороди. А затеет стирку, так все, чистое, грязное, перестирает, что только найдет в чулане, с себя, сыновей, старухино. Развесит выстиранное по всему двору, глянешь и подумаешь, у Пражухов ни с того ни с сего сад зацвел. К тому же читать, писать выучился, тогда по хатам ходили учителя и учили старых людей читать, писать.

Придешь, бывало, его навестить, так изволь сесть и выслушать, как у него это чтенье получается, а то и проверить, не делает ли он при письме ошибок. С арифметикой у него только туго шло. Но арифметика и смолоду не каждому дается. К арифметике от рожденья та-

лант нужно иметь. И ни конь, ни корова, ни собака, ни кошка, ни какая другая тварь не могла бы пожаловаться, что им у Пражуха плохо живется или что они в навозе лежат. Да и на самого поглядишь и не скажешь, что его кроме старости что-то грызет. Хотя иногда человек с отчаянья так срастается с жизнью. И, может случиться, оттого живет дольше, чем возраст дозволяет, и дольше, чем самому хочется.

Он и за моим хозяйством взялся присматривать, когда меня после того случая на дороге увезли в больницу, и возился не меньше, чем со своим. Я мог не тревожиться, что там без меня делается. И скотина всегда накормлена. И Михал приодет, сыт. И в горнице старик нетнет подметет, уберется, натопит печку. А главное, поле было обработано. Он, конечно, не все сам делал, с одной парой рук ему бы и у меня и у себя не управиться. Но по крайней мере позаботится, приглядит, распорядится. А раз в месяц, в воскресенье или в базарный день, навещал меня в больнице. И никогда пустой не приходил. Всегда что-нибудь приносил в корзинке, то сыра кусок, то дюжину яблок, сигареты или на пасху свяченое яичко, на рождество облатку и кусок колбасы. Когда ж собрался помирать, то же самое, пришел и сказал, что не сможет больше глядеть за моим хозяйством, потому как должен помереть. Каждую ночь слышит, его сыновья зовут и старуха об нем плачет.

Было это в четверг, а в субботу он пошел к ксендзу, чтобы тот его соборовал, а то он себе назначил, что в воскресенье пополудни помрет, и не хочет ксендза своею смертью утруждать — идти-то к нему на другой конец деревни. Да и могло б ксендза на месте не оказаться. К смерти у Пражуха давно был приготовлен дубовый гроб, черный костюм, штиблеты, рубашка, галстук. Утром он обрядил скотину, покормил собаку, кошку, подмел горницу, перебил мух, слил молоко в мешочек на сырок. Потом вымылся, побрился, оделся и крикнул Стругале, чтобы тот пришел громницу[1] зажечь. А последние его слова были такие:

— Завещание, Стась, лежит за образом Христа. Все там расписано, кому что, а сырок, когда стечет, возьми себе.

Ну и осталось мое хозяйство брошенным на волю судьбы. Даже из ближайших соседей если кто им потом и занимался, то спустя рукава, лишь бы отделаться и для себя побольше урвать. Я вернулся все равно как на пепелище. Не знал, за что сперва хвататься. У телеги дрога треснута, боковины куда-то пропали. От собаки только конура осталась, даже цепь кому-то понадобилась. А зашел в овин, так в сусеках дно видать, зато воробьев тьма-тьмущая. Словно я под мельничным затвором вдруг оказался и сверху на меня хлынула вода. Писк, крик, я чуть не оглох. И не очень-то они меня испугались, до того обнаглели. Только те, что сидели на току, сорвались с места, хотя тоже словно бы до последней минуты раздумывали, стоит ли меня бояться. Я им вдогонку кинул свою палку, но разве в воробья попадешь, улетели под самую крышу. А палка ударилась об стену, упала в сусек, и пришлось еще за ней через загородку перелезать. Такое меня зло взяло, что я задрал голову и принялся этих воробьев последними словами честить, вы, такие! разэдакие! ироды! Да разве они услышат? Тут бы иерихонские трубы нужны, чтобы перекричать этот писк, крик. К тому же у воробьев и у человека наречья разные, они бы так и так не поняли. Ну погодите вы у меня, окаянные!

Вышел я поискать кнут. Но попробуй, найди, когда тебя два года не было дома. Побежал к соседу.

— Одолжи, Франек, кнут.

— Никак в поле собрался ехать? Ты ж только-только из больницы.

— Не в поле, воробьев гонять.

[1] Освященная восковая свеча, которую зажигают возле умирающих.

— А чего ты кнутом воробьям сделаешь?

Я запер ворота, встал посреди гумна и, опираясь одной рукой на палку, другой давай размахивать этим кнутом, и щелкать, и лупить, до самых стропил доставал и — уа-а! уа-а! — орал, сколько хватало воздуху в легких. Забурлило, заклубилось в овине. Словно крутень вдруг этих воробьев подхватил и начал выволакивать из сусеков, из-под стрехи, невесть откуда и сбивать в одну обалдевшую от страха тучу, шелестящую тысячами крыльев. Бывает, когда иной раз по саду пролетит вихрь, листву на деревьях так слыхать. Не воробьи, а буря, заметь. Овин затрясся. А я: уа-а! уа-а! — и кнутом. Их швыряло, гоняло туда-сюда, вверх, вниз, мне приседать приходилось, потому как и через меня тоже. То на ворота кидало, но ворота заперты, то к небу, но там крыша, то на стены. А в стенах дыры с кулак, овин-то старый и вдобавок в войну осколками изрешеченный, голубь мог бы пролететь, не то что воробей. Но в такой заварухе каждый воробей все равно что туча воробьев, а туче воробьев не протиснуться в дырку для одного. В воздухе аж смрад от нагревшихся перьев повис, мякиной так воняет, когда веют зерно. Только это не мякина, откуда тут мякине быть? Это воробьиный страх смердит мякиной, когда воробьи сбиваются в кучу и от воробьиной смерти бегут.

Палку я выронил, но — прямо чудо — ноги сами меня держали. Я даже не чувствовал, чтоб они у меня болели, вообще не чувствовал, что подо мной ноги есть. Ковылял только взад-вперед по току и — уа-а! уа-а! Горло пересохло, как колодец в сушь, и рука стала уставать от кнута. Но и воробьи там, наверху, тоже, видать, притомились, потому что вдруг начали словно бы места искать, где б хоть на минутку присесть. И ни кнут мой их больше не страшил, ни мои вопли. Ну нет, я вам не уступлю, подумал я, пусть даже замертво свалюсь. Схватил цепы, в углу возле сусека цепы стояли, и давай ими размахивать, колотить по гумну, садить по воротам, по загородкам, по столбам. И буря эта, заметь, поднялась снова. Но теперь птицы уже не метались сплошной плотной тучей, а поделились на облачка, на обрывки, на отдельных воробьев. И швыряло их теперь уже во все стороны, даже друг на дружку. Можно было сказать — не воробьи, а воробьиная пыль, воробьиный страх, воробьиная смерть мечется по овину. И в этой пыли, страхе, смерти бились птахи о стены, о стропила, стропильные схватки и шмякались наземь, точно гнилые яблоки с яблони. А то вдруг словно кто-то изо всех сил встряхивал овин, и тогда уж начинался сущий град. Хотя те, кто остался живой, еще пытались удрать, и, возможно, казалось им, что они вырвались из овина на волю, пролетели, как воробьиные призраки, сквозь крышу, стены и парят в поднебесье, все выше и выше взвиваясь, все дальше от моих цепов. Потому что и воробьям, когда они так ошалеют, может невесть чего примститься. Несколько и на меня свалились, но что такое воробей, даже если падает замертво. Комочек перьев всего. Да и зол я был, и цепами этими намахался, так что хоть бы и камни на меня сыпались, мне бы чудилось — падают воробьи.

Силы начали меня оставлять, цепы запутались, билом я хватанул себя по голове. И в эту самую минуту будто кто-то из-под меня убрал ноги — пришлось схватиться за столб, чтобы не упасть. Я дотянулся до мешка с отрубями и плюхнулся на него, измордованный, запыхавшийся, как загнанный пес. А они продолжали там, наверху, летать и убиваться, но падали реже, вроде как последние капли дождя. И когда уже совсем все затихло, еще один какой-то сорвался и шлепнулся не то на ток, не то в сусек.

Злость моя прошла, и я даже начал себя корить: чем, в конце концов, воробьи виноваты? Но что поделаешь, раз уж подвернулись под руку. Я бы мог точно так же хату вверх дном перевернуть или

схватить топор и вырубить сад. Должен был, видно, что-нибудь такое сделать, чтобы войти в согласье с самим собой. Кто я теперь? Мало, что заново учись ходить, еще и жизнь заново начинай. А как тут жить, когда все порушилось? Одна корова, ладно, хоть стельная была, но другую прямо жалко было доить. Тянешь за соски, а она голову повернет и смотрит, за что ты ее так мучаешь. И молока едва кружка на утро, кружка на вечер, вот и все. Лошадь, кабы я не знал, что моя, ни за что б не узнал. Все ребра можно пересчитать. Взял ее за узду, только тогда поднялась. И даже в пустой телеге шаталась, словно вот-вот упадет. Надо бы ее хоть с неделю овсом подкормить, может, набралась бы немного сил. Но где взять овес, когда в закромах хоть шаром покати. Пришлось ей сечку жевать, и то из одолженной соломы. А тут еще началась жатва.

Было у меня десятка два кур, их к себе Макулина брала, так это ж сколько яиц, даже если через день от каждой куры считать. Должна была за это Макулина цветы на окнах поливать. Так от цветов сухие стебли остались, а на курей, как нарочно, мор нашел, и аккурат мои посдыхали. Дала мне Макулина двух своих за моих двадцать и обещала к весне несушку.

От изгороди со стороны дороги, хотя раньше все колья были на месте, осталась половина.

Была у меня соломорезка, думал я когда-нибудь к ней мотор приладить, но кто-то ее позаимствовал. Я почти всех соседей обошел, ближних, дальних, в конце концов возле самой мельницы у Пшитулы нашел, так он еще меня как последнего дурака убедил, будто я сам соломорезку дал ему взаймы перед тем, как меня увезли в больницу. Мне уж не хотелось затевать ссору. Было так, не было, пусть так будет.

Висела коса в овине под навесом, как в воду канула. Висели рядом с косой грабли, то же самое, куда-то пропали.

Пошел я к Стаюде — он последний присматривал за моим хозяйством, мне уже ничего не нужно было, только узнать, вывез ли он навоз на мое поле, потому что навозная яма была вычерпана до дна. А как же, вывез, разбросал, запахал, божился. Но как-то странно у него глаза бегали, и сам ни разу на меня не взглянул, только все по стенам, по стенам. Пришлось поверить. Не пойду ж я у земли спрашивать: скажи, земля, унавозил тебя этот сукин сын?

А в горнице по мышиному навозу, точно по рассыпанной крупе шагаешь — шур, шур. Я схватил метлу, начал подметать. Вдруг слышу, что-то в ведре шуршит. Заглядываю — мышь. И откуда она тут взялась? Диву даешься: ведь ведро для такой мыши — все равно что для человека колодец. Без лестницы ни войти, ни выйти. И тоже пришлось поверить, что она с водой туда попала. Вода высохла, мышь осталась. Но я ее выпустил, не убивать же в отместку за все глупую мышь.

У богоматери над кроватью, глянул, стекло разбито. Под кроватью полно водочных бутылок. Лампочка под потолком вывернута. Хорошо, я днем вернулся, успел еще сходить, купить новую. Но когда ее вкрутил, оказалось, света нет, потому что некому было оплачивать счета, и электричество у нас выключили.

Были у меня часы, будильник, испорченный, правда, всегда показывал девять часов. Но по крайней мере эти девять часов были. Поглядишь и знаешь: то надо сделать, се, пойти, поехать, привезти, снять, выбросить, накормить, подоить, а время и так у всякого в себе, незачем от часов ждать подсказки. Так нет же, испорченные, а все равно кому-то понадобились.

Даже на календарь кто-то польстился, хотя был он запрошлогодний. Под распятием на стене висел и так к своему месту прирос, что рука не подымалась выбросить. К тому же нет-нет, а чего-нибудь на нем запишешь, то умер кто, то град, то корова у быка была. Может,

пословицы кому понравились, в нем на каждый день было по пословице. А кто не знает, как жить, тому пословица, глядишь, чего и присоветует.

Было у меня ведро, в котором я корм свиньям носил, тоже пропало.

Были две табуретки, осталась только одна.

А больше всего мне было жаль парикмахерский инструмент. Последними словами изругал я того, кто его взял. Чтоб ему околеть под забором. Я-то рассчитывал, может, снова начну стричь, брить мужиков, хотя парикмахер в деревне был. Жмуда Олек. Но и ко мне бы пришли, не молодые, так старые, глядишь, пару грошей для начала б и заработал.

Или пожарная каска, такой каски сейчас нигде не найти, с гребешком, с козырьком, с утыканным шишечками ремешком под подбородком, сама золотая. Висела в чулане на гвозде. И ведь на голову, сукин сын, такую не наденет, куда в ней идти? На пожар? Так все бы на него пялились, вместо того чтоб огонь заливать. А парадов теперь не бывает, и у гроба господня на пасху пожарники в карауле уже не стоят.

Или молитвенник, мне его мать дала, когда умирала. Было у нее их четыре, сколько нас, сыновей. И за каждого она по другому молилась. По одному — за Сташека, по второму — за Антека, по третьему — за Михала, а по этому — за меня, еще от своей матери она его получила. Только и всего у меня от нее осталось. Лежал в ящике стола. И какой сукин сын по краденному молитвеннику молиться сможет? Выслушает его бог?

Была у меня пила для дров, в сенях стояла, тоже кто-то взял.

Была накидка от дождя, драная, правда, но все равно то в поле поедешь в дождь, то скотину на реку погонишь поить,— тоже пропала.

Тяпка — сорняки выпалывать, совсем еще новая, весной перед тем случаем на дороге купил,— даже древка не осталось.

А про сколько вещей я погодя лишь вспомнил.

Лукошко, в котором всегда яйца святить носил,— только на пасху и вспомнилось, когда я уже наварил яиц и собрался в костел.

Или толкушка, свиньям картошку толочь. Стояла в сенях за дверью, я хорошо помнил, два раза в день оттуда ее доставал и два раза ставил обратно. И не год или два, а еще при отце с матерью. Толкушки менялись, а место оставалось прежнее, за дверью в сенях. Ну, вспомнил, а какой прок? Иногда лучше вовсе не помнить, потому что о чем помнишь, то должно быть.

А поднялся на чердак — там на жерди мешок с перьями висел, старая Михала куртка, еще кой-какая одежка, восемь связок чеснока, хомут, две постромки, так только жердь и осталась.

Был у меня почти целый мешок пеклеванной муки, пудов пять, желтехонькая, как солнышко, без яиц из нее тесто замешивал на лапшу, так ни муки, ни мешка.

Висели на стропилах два сырка в соломенных плетенках, я думал, пригодятся, когда у коровы перед отелом пропадет молоко, так кто-то ножом плетенки срезал, и остались одни охвостья.

Куда ни посмотришь, везде чего-нибудь не хватает. Так что мне уж больше и смотреть не хотелось. По пути с чердака в горницу приметил только, что нет решета, хотя оно на гвозде возле лестницы висело. Нету серпа, а висел рядом с решетом. Того нет, сего, а у лестницы две перекладины выломаны.

Плюхнулся я на кровать, чтобы хоть мысли собрать. Но это легко сказать: собрать мысли. Бывают минуты, когда больше всего хочется свои мысли разогнать на все четыре стороны. И превратиться в табуретку или в стол. И оставаться этим столом или табуреткой, пока все не утрясется. Думать — это ж как песок из одной руки

в другую пересыпать, и так по кругу, без конца. Да хоть всю жизнь пересыпай, кнута из песка не скрутишь. И даже если б скрутил, то кого стегать? Шимон, Шимон, показалось мне, кто-то меня зовет. Но не хотелось дознаваться кто. То ли я смотрел на горницу, то ли горница так на меня смотрела, но глазам моим все виделось мертвым. И тут пришел кот.

Встал на пороге, мяукнул и прыг ко мне на колени. Я о нем даже забыл. Недоставало еще о кошке помнить. К тому же, по правде сказать, не любил я нашего кота. Лоботряс был, зараза, мышей ловить силком приходилось его выгонять, редко когда по своей воле выйдет. А возвращался с охоты оголодавший, изодранный, будто его мыши обгрызли, только и ждал, чтоб ему бросили хоть корочку хлеба. Вечно бы лежал на припечке и спал. Иной раз меня зло брало: там мыши по овину разгуливают, а этот в доме спит и, может быть, еще сны видит. Но, наверное, кошки не видят снов, ведь если кошки, значит, и прочие твари должны, лошади, коровы, собаки, свиньи, куры, гуси, кролики, чем кошка лучше других? Не дай бог, если б в хозяйстве всем им каждую ночь снились сны,— мало того, что столько животин, еще ровно столько же снов, рехнуться недолго. Достаточно, что человек видит сны, и то часом чересчур много.

Наш кот иногда целый день продрыхнет, целую ночь, и еще утром просыпаться не желает, разве что я в плите разведу огонь и его начнет припекать. И то не сразу соскочит. Потягивается, выгибается, хвост то трубой поставит, то под себя подвернет, пока я не потеряю терпенье, схвачу его за шкирку и наземь. Или отнесу прямиком в овин, запру ворота, тут твое место, леший, понюхай, чуешь мышей? Вот и лови. Но, бывало, и полчаса не пройдет, уже скребется обратно в дверь. Ну и как его не впустить? Лоботряс, конечное дело, да без кошки как-то пусто в хате, все равно что без пса во дворе, без коров, без лошадей в поле, без птиц на небе. Настанет вечер, так хоть мурлычет что-то живое, тоже приятно. Прислушаешься к его урчанью и покажется тебе, кто-то на другой кровати спит или мать, забившись в дальний угол, шепчет свои молитвы.

Я думал, он пропал за те два года, что меня не было. И даже не очень бы об нем пожалел. А тут, гляжу, отъелся, разжирел. Кабы не то, что кот, а не кошка, можно бы подумать, сукотный, от котят его так разнесло. И мяукать вроде грубее стал. И хвост сделался пушистый, как у лисы. И морда почти совсем с туловищем срослась. Даже трудно было поверить, что это тот самый, прежний мой кот. Но что же я, не узнаю своего кота? Бурый, глазища зеленые, хвост наполовину белый. Ни у кого в деревне похожих нет. Погладил я его по спине, так словно по нагретой солнцем мураве провел рукой.

Лежал он у меня на коленях, будто только что вынутый из печи хлеб, и слышно было, как в нем играют мыши. Видно, он их немало сожрал, я рукой чувствовал, как они в нем гомозятся, толкаются, озорничают. А его жирное брюхо знай вздымалось и опадало, вздымалось и опадало. И мурлыканье откуда-то изнутри шло. Можно было подумать, одно это брюхо в нем живое, а остальное лежит у меня на коленях, сдохшее и счастливое. А моя рука, которой я его гладил, точно небо над его издохшим счастьем.

Он весь провонял этими мышами. Может, ради меня столько ухлопал, чтобы откупиться за годы лентяйства. И мне даже стыдно сделалось, что в больнице, когда бы кто ни спросил, есть ли у меня кошка, я отвечал, что был кот, да я его пришиб, потому как лодырь.

Хотя вообще-то о кошках там мало говорили, что за тварь кошка, чтобы о ней говорить. Серая или черная, ловит мышей или лоботрясничает, вот и все. Чаще уж о собаках или о голубях. А всего чаще о лошадях. О лошадях стоило кому-нибудь только начать, сразу все подхватывали. Такие лошади, сякие, старые, молодые, работливые, норовистые, караковые, серые, гнедые, вороные, буланые, сав-

расые, соловые, пегие, рыжие, чалые. И так, случалось, целый день. Потому что о лошадях каждый мог больше рассказать, чем о себе, и больше, чем о детях, о бабе, о хозяйстве, больше, чем о белом свете. И не важно, правда это была или неправда. Мог кто и не верить, но слушал вместе с другими. Потому что, когда человек прикован к постели, а то и уже одной ногой на том свете, ему все едино — верить или просто слушать. Не раз свет на ночь погасят, а тут, в потемках, дальше о лошадях, словно лошади эти между кроватей улеглись, каждая со своим хозяином рядом.

Лежал с нами один адвокат, остальные все были деревенские. Но и он любил послушать. И не только про лошадей, а и про всякую животину. Даже если читал, а кто-нибудь начинал рассказывать, откладывал книжку и слушал, будто это было интересней написанного. Рядом со мной, по левую от меня руку, лежал. Что-то у него было с позвоночником, угасал на глазах. Но никогда не жаловался, что чего-то там у него болит. Спать только уже много не мог и просыпался, еще не начинало светать. И поджидал, покуда и я проснусь. Стоило мне во сне вытащить руку из-под одеяла, как раздавался его приглушенный, точно из-под земли, шепот:

— Не спите, пан Шимон?

У меня еще с партизанских времен чуткий сон, ну и отдохнувший я был, мышь бы услышал. И тоже просыпался рано, когда все еще спали. Только лежал с закрытыми глазами, а в голове уже полно мыслей. И о нем даже иногда думал, что дышит легко, а это в нем смерть так дышала.

— Может, я вас разбудил?

— Какое там. Дома я б уже был на ногах.

— И что бы вы делали?

— Дела всегда найдутся. Скотине корму задать. Всяк визжит, ревет, ржет, кудахчет, не знаешь, кому вперед. А хуже других свиньи, эти еще сырого есть не станут, вари им, и самые изо всех прожорливые. В деревне, пан Казимеж,— его Казимежом звали,— день не с солнышка начинается, а с голодной скотины. Это потом уже солнце вылазит на небо, когда скотина обряжена. Здесь только баклуши бьешь. Ни живешь, ни помираешь. Неизвестно, зачем спать ложишься и зачем просыпаешься.

Я знал, что он любит слушать про скотину, и сам его часто на разговоры об этой скотине наводил, чувствовал, что ему так становится полегче.

Понедельник был, он попросил меня утром, чтоб и его побрить. Потому что понедельник — базарный день, и спозаранку все в палате готовились к приему гостей. Рассвет едва заглянул в окна, а во всех углах уже шептались, вздыхали, читали молитвы. А кое-кто куда как задолго до рассвета просыпался, словно пора уже было обряжать скотину. Так что захоти кто-нибудь подольше поспать, в понедельник бы не сумел. Где-то скрипнет кровать, и сейчас все остальные кровати начинают скрипеть. Хотя обычно тот, кто просыпался первым, сразу будил остальных:

— Эй, мужики, просыпайтесь! Понедельник сегодня!

И сразу шум, суета. И даже если кто болезнью или увечьем был прикован к постели и не вставал, в понедельник словно бы чудо с ним должно случиться: тоже наводил красоту. Все мылись, брились, причесывались, а кто не мог сам, того другой брил, причесывал, мыл. Потом я уже, когда начал подниматься, всех брил. Работы у меня по понедельникам было хоть отбавляй. Не находилось такого, которому бы чего-нибудь не потребовалось. Тому баки чуток подровняешь, этому усы подстрижешь, чтобы все вокруг знали: он тоже кого-то ждет. И хотя к некоторым никто никогда не приезжал, понедельник был такой день, что кто-нибудь мог наконец приехать. Лошадь

мог приехать покупать или поросят продавать, а заодно и навестить больного.

И только об этом в понедельник с самого утра разговор: приедет, не приедет. Приедет, не приедет. Могли б приехать, бычок у них на продажу есть, пошто его так долго держать? Сожрет больше коровы, а молока все одно не даст. Вспахали, засеяли, чего им теперь делать? И яблок не так чтобы много на деревах, ой, нет, не то что прошлый год, аж ветки ломались. Я говорил, еще разок надо опрыскать. Вот чертова тля и объела весь цвет. Приедут, верно. Ни свеклы, ни моркови нонешний год не сажали, картошку только выкопать были должны, небось, уже выкопали. Молотить самое время? Зимой обмолотят. Я вон вернусь и обмолочу. В поле на одной ноге тяжело, но молотить можно и с одной, лишь бы руки были здоровые. Ничего, сдюжим, хотя лучше б машиной. Говорил я ей, человека найми, если сама не справляешься. Наняла, наверное. Я что ни скажу, мое слово закон. Кого же вы нынче наймете? Думаете, сейчас, как до войны? Значит, не наняла. Мои сразу после дожинок [1] собирались приехать. Не было ваших в прошлый раз, и в запрошлый не было, и в позапрошлый, отколь вы здесь лежите, не приезжали. Да это земля их отпускать не хочет. Зимой бы непременно приехали. Чего зимою делать? Обряди скотину да грейся у плиты. А то вы не знаете, что такое земля? Ухватит за ноги, за руки, на шее повиснет и держит. Кабы баба моя дурьей своей башкой сообразила яиц подсобрать, сметаны, сырок хотя б небольшой, было бы с чем приехать. Лишний грош в доме всегда пригодится. Соли купить, сахару ли, уксусу. Теперь автобус ходит, дорогу заасфальтировали, кати себе да поглядывай в окошко. Может, хоть приедут сказать, бычок или телка. Посоветоваться: оставлять, не оставлять. Ксендз им ведь не посоветует, что ксендз понимает в телятах. Ой, худо дома без хозяина, худо. Говорил я, пусть только меня не станет, ужо наплачетесь. Кто вам гусей на пруд выгонит, кто за внучонком приглядит, воды согреет, когда вы вернетесь с поля? Кто? Но я вас уже не услышу. Плачьте, плачьте. Приедут, знамо, приедут. Отчего бы им не приехать? Она хотела себе обувку купить и Ясю пальто. Ой, любит наряжаться, любит. Я ее голой-босой взял, а теперь первая барыня на селе. Дом собираются новый ставить, да кровельного железа нигде недостать, может, за железом приедут. Обещаются выделить мне комнату, на окнах занавесочки, на полу ковер. И стены чтоб в цветочек хотят. Как думаете, красиво будет в цветочек? Всю жизнь в побеленной прожил, как бы теперь не прихватила грудная жаба. Может, за обручальными кольцами приедут. До рождества далеко, а они на рождество венчаться хотят. Заодно б их и поблагословил. А ну как не вернусь? А без благословения не будет в жизни счастья. Я им в тот понедельник через соседа передал: приезжайте поскорей, я-то бы мог подождать, да смерть не захочет. О-о, смерть, она как царица. Не упросишь ее, чтобы хоть недельку обождала, хоть до следующего базара, потому как их, видать, что-то задерживает. Он вроде и неплохой мужик, только пьет, ой, пьет. Если вчера не нахлестался, приедет, это уж точно. За товаром для кооператива. Его три раза уже выгоняли, да никого на замену нет. Я сказал, моя земля, моя отчина, все мое, и собачонка эта, и грабли, и аист на крыше. А ты, приблудыш, что принес в дом? Десять корявых пальцев, да и те все от левой руки. Эвон, зенки стеклянные, только бы дрых. Еще без уваженья ко мне? Ничего от меня не получишь. На церковь дам, на бедных дам, а тебе ни гроша. Так он мне же и накостылял, пес и тот надо мною скулил. Ты, старый хрен, тебе в могилу пора. Там твоя земля, твоя отчина, все твое. А она только: Метек, не бей папашу. Папаша! Папаша! Но я ему прощу, думаю, коли приедут. Почему не простить? Не забирать же свое с собой на тот свет. Может,

[1] Праздник урожая.

приедут. Господь даст знак, и приедут. Я никогда долго зла не помню. Это из-за земли все. Земля осатанела. Не та теперь земля. Видно, с нами помрет, Войцех. Будет ее у вас вволюшку в руках, в ногах, под головою, в глазах, в седине. Приснилось мне летось, будто стою я на меже, а земля на меня идет. Овсы идут, ячменя, пшеница, рожь и незасеянные поля. Мужицкие с господскими рядом. Вывалились откуда-то из-за края небес и на меня, словно полки, армии, роты, батальоны, поле за полем, пройдут мимо и дальше идут, и уходят, изчезают совсем. Соседские поля шли, шурина моего поле, мое. Я издалека узнал, как свое не узнать, синее все от васильков. Я руки раскинул. Куда? Вернись! Стой! — кричу. Хватаю пятернями колосья, а они выскальзывают, как пескари. Я на колени. Вернись! Где там, след простыл, и я проснулся. Чего бы им не приехать? Я им машину купил, тррр! — и уже тут. Кабы господь пожелал дождь послать, приехали бы. В дождь иной раз самое забытое-перезабытое вспоминаешь. Особенно когда зарядит — льет и льет, а тебе все чего-то вспоминается. Непогодица, люди говорят. Ни коров в такую непогодицу не выгонишь. Ни пахать не поедешь. Сидишь в хате, по окнам потоки бегут, хлещет, будто с неба на землю и с земли на небо. Хаты вроде рядом, а каждая отдельно, каждый человек по отдельности. Табурет, что ли, починить, а то ножка отвалилась. Или к соседу сходить. Но и там не меньше льет, потому как льет во всей деревне. И в Сонсницах льет, и в Валентицах, на всем божьем свете. Кончайте, что вы заладили про этот дождь. Выкопки, пусть люди спокойно копают. В дождь чего-то в нутре скребет, врага даже хочется простить. Раз мы так в дождь помирились с одним. Двадцать лет волками друг на дружку глядели. А тут сижу я в хате, носа во двор не высунешь — льет как из ведра, и совесть меня подстрекнула. Пойду, подумал, чего мы не поделили? Захожу, а он: и охота вам была в такую мокрядь? Я бы все равно перед смертью у вас попросил прощенья. Присаживайтесь, коли пришли. Ого, как с той-то стороны затянуло. Выгляньте, у вас получше глаза. Мои уже так не видят. В деревне я б распознал. Дым бы стлался по крышам, кости ломило. Может, это последний понедельник? Пошли, господи, дождь.

Никогда до тех пор не случалось. чтобы кто-нибудь умер в понедельник. Умирали по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам, иногда в воскресенье, но в понедельник никогда. Жили. Повернуло к вечеру. Базар заканчивался.

— Чего это вы сегодня книжку не читаете, пан Казимеж? — сказал я. Лежала у него на тумбочке какая-то книжка, раскрытая для чтенья, и странно мне показалось, отчего он до нее не дотрагивается, потому что дня не проходило, чтоб не читал. Была у него этих книжек полная тумбочка, и даже на окне три лежали. Иной раз за день целую мог прочесть. Зачитается, бывало, и не слышит, что ему говорят. Мы даже удивлялись: и охота столько читать? Потому что изо всей палаты он один читал. И не жаль ему глаз? Неужто голова не заболит? Да и зачем? Начитается человек, начитается, а потом все это с ним в могилу уйдет. С землей дело другое. На земле наработаешься, но земля-то остается. А от чтенья хоть бы одна строка или слово.

Стало смеркаться. Пришла сестра, чудно как-то на него поглядела и убежала. Через минуту пришел врач, подержал его за руку и тоже ушел. Снова пришла сестра, сделала ему укол. Спросила, не хочет ли он пить. И принесла компоту. Кто-то хотел зажечь свет, но я сказал, что не время еще. Читать никто не читает, значит, и не темно.

Ничего по нему не было заметно. Хотя говорят, когда человеку конец приходит, по нему видно уже за два дня. Но, правду сказать, чего тут можно было увидеть? Всегда он бледный, как лунный свет, бледнее быть уже нельзя. Худой как, с позволения сказать, щепка,

значит, и худей некуда. А глаза у него в сумерках на лице потерялись, если б еще над ним наклониться, тогда, может, что-нибудь и было бы видать. И только эта раскрытая книжка на тумбочке, к которой ему не хотелось руки протянуть, чтоб хотя бы ее закрыть, могла быть единственным знаком, что он умирает.

Я присел возле него на краешек кровати и даже подивился: ничего по нему не видно, а помирает ведь. Тихо сделалось в палате, хотя было нас двенадцать. Никто слова не проронил, не кашлянул, не вздохнул, и даже если у кого что болело, в себе задушил боль. Хотя не один мог сразу вслед за ним помереть. Но так уж повелось: если кто-нибудь в палате умирал, все с ним хоть самую малость умирали, откладывая собственную смерть. Кто-то где-то в углу начал шепотом молитву читать, но в такой тишине слова, как камушки, падали в палату.

— Не слушайте,— сказал я.— В деревне всегда ввечеру молятся.

И взял его за руку, как берут ребенка, чтобы перевести по мосткам через речку. И даже рука у него была, как у ребенка, исхудалая, в моей лапе такие две поместиться могли б. Вдруг он в меня так крепко, жадно вцепился, словно падал в пропасть, я даже примерно по локоть почувствовал себя умирающим вместе с ним.

— Пан Шимон,— дошел до меня его прерывчатый шепот.— Вы побывали на том свете. Как там?

— Это давно было, пан Казимеж. И война была. А в войну, может, и на том свете по-другому. Да и не разбирает война, тот свет или этот. Может быть, мне почудилось только. Давайте, я лучше про кроликов расскажу. Вам какие больше нравятся, ангорские или вислоухие? По мне, лучше ангорские. Вислоухие крупней, но это, если кто на мясо захочет разводить. А ангорские белехонькие, чистюли, и глазенки красненькие. Тронешь такого, все равно что к утренней заре прикоснулся, к туче, к небу. Я сам подумываю: не завести ли кроликов, когда вернусь из больницы. Для начала хватит одной пары. Потом они расплодятся. У одной пары бывает по три помета в год, по шесть-семь крольчат. А через год опять три помета, по шесть-семь в каждом. Через год еще столько же. Кролики, они как начнут, плодятся и плодятся. И есть все едят, траву и очистки. Приедете как-нибудь ко мне, сами увидите. А жуют — хрумкают так, будто друг с дружкой переговариваются. Хотя, когда траву по-одному, а когда очистки по-другому. Траву дробненько, как осенний ситничек, а очистки, точно крупный, теплый, майский дождь. Заслушаешься, бывало, слушал бы и слушал без конца. А получше прислушаешься, можно даже услышать, как родники бьют, пчелы собирают мед, тучи скребут о небо и земля крутится-вертится, а человек вместе с ней. Хотя вроде и ничего особенного, кролики хрумкают. Но иногда так и хочется лечь между ними, полежать, словно на сене, на лугу, над рекой, в теньке под деревом, и потерять себя в этом их хрумканье, в родниковой воде, пчелах, облаках, и позволить себя нести этой неугомонной земле. Есть что-то такое в кроликах, отчего и вокруг, и в тебе все мягчеет. Может, из-за этой их белизны. Вы когда-нибудь видали белизну, белей кроличьей шерсти? Ни сад в цвету не бывает таким белым, ни перины, когда проветриваются на солнце, ни гуси, когда плывут вниз по реке. Может почудиться, это что-то еще не родившееся, и оттого такое белехонькое, что грешного света не коснулось. Берете вы такого кролика, вытаскиваете из кучи, чтобы посадить к себе на колени, так точно из теплого лона вытащили. Дрожит, бедняжка, отбивается, а то и царапается, будто боязно ему в этот свет вступить. А погладьте его — своей рукой почувствуете страх, как бы от вашей руки белизна эта не замаралась навек. Хотя вроде бы ничего особенного, вы кролика гладите, а кролик знай дрожит. Надо только другой рукой его за уши держать, не то шмыгнет с колен, и пусто станет у вас под рукой, пустей, чем если б на

коленях только что не было никого. И больше вы его уже не поймаете. Смешается с другими кроликами, затеряется среди белизны. А белое с белым мешается, как вода с водой, песок с песком. Попробуйте среди стольких белых одного белого отличить. Отличил когда кто каплю в воде или зернышко между зерен?

Я почувствовал странный холод в своей руке, которой держал его пальцы. Ни тебе холод свежевспаханной земли, ни яблока, сорванного по росе.

— Кажется, помер,— сказал я неуверенно, точно у него хотел спросить, помер ли он. А все в палате затаили дыхание, будто вместе с ним на мгновенье умерли. А может быть, ждали, ответит ли он мне. Наконец кто-то не выдержал и вроде бы удивился:

— Помер? — И не то чтобы не поверил, нет, просто надо хоть немного удивиться смерти, такое ее право.

— Ишь ты, помер,— сказал кто-то чуть ли не с облегчением.

— Вот и помер,— вздохнул кто-то на дальней койке, как если б вздохнул: — Вот и вечер.

— И верно, вечер,— поддакнул кто-то. Что еще можно сказать смерти, как не поддакнуть: — И верно, помер.

Я осторожно высвободил руку из его пальцев и пересел на свою кровать.

— Зажгли бы свет, что ли,— кто-то словно бы вдруг испугался.— Зажгите свет.

— Зачем? Читать он уже не будет.

— Да хоть чтоб глаза ему закрыть.

— А может, не помер? Может, не помер.— С кровати в самом углу палаты сорвался старик Амброзий, никто его никогда не навещал, и нога у него была по колено отрезанная. Схватил палку и заковылял, трюх, трюх, чуть не плача, будто хотел еще эту смерть остановить.— Может, не помер. Поглядите получше. Холодные руки — это еще не смерть. Холодные ноги — еще не смерть. Смерть — это хо! хо! Мало сказать, помер. Сказать можно чего хочешь, а глядишь, оно совсем и не так. Скажешь день, а тут ночь. Господь наш Иисус тоже вроде бы умер, а не умер ведь. Ну-кась, тряхните его! Как же я теперь отплачу Столяреку за свою обиду? Эх, Столярек, Столярек. Уже, почитай, половины поля у меня нет. Кожа да кости мое поле. Ветка засохшая мое поле. Тряхните его. Адвокаты так, в одночасье, не помирают. Может, только уснул? Смерть — это и язык должен умереть, и что на совести, все умереть обязано. Ежели ты помер, то и носом даже не швыркнешь. А он обещался. Как тут сейчас лежит, обещался. Только бедному жениться — ночь коротка. Почему ты бедный? Потому что умом не вышел. Столяреково поле уже как боров раскормленное, а он, злодей, все дальше в мое впахивается. Знай себе нахлестывает лошадей, а лошади — чего с них взять. Не разбирают — его поле, мое. Еще его отец у моего по куску отхватывал. Что мой мог поделать, когда за того адвокаты стояли. А у моего только и было что полное нутро злости да полный рот молитв. Вот он вперемешку то молился, то ругался, молился и ругался, а тот его поле кромсал. К тому же у Столярекова отца пара лошадей была, а у моего — одна, на одной не запашешь обратно, что распахано на двух. Запахивал мой, запахивал, а поле все убывало. Пока однажды не взъярился и не отодрал Столярека кнутом. И что? Столярековы адвокаты как воронье набросились на отца, он после этого долго не прожил. Да и что это за жизнь — жить и смотреть, как у тебя земля убывает. Я тебе, сынок, все отпишу, только возьми как-нибудь топор, говорил отец. Не нашлось во мне силы свое отстоять. Вишь, огрел раз Столярека кнутом, и не так чтобы очень сильно — он в сермяге был, а уже пора помирать. Но ты кнутом и не пробуй, бери топор. Кнут — это только злость и ремень, и против адвокатов с кнутом не пойдешь, им кнут, что быку прутик. Мало,

что закон за них, они еще и с чертями знаются. А нет больше силы, чем когда закон заодно с чертями. Тут только хватай топор и убивай. Хоть бы и пришлось потом на каторге подохнуть. Но лучше подохнуть, чем жить противу закона и чертей. Господь бог тебя простит,— когда из-за земли грех на душу берешь, господь всегда дает прощенье. Сам на этой земле родился, на ней жил, на ней умер, знает, что такое земля. И бог-отец его тоже не барин был, а простой плотник. Такой же, как у нас в деревне Косёрек или Бзденга. Косёрек нам даже хлевы ставил, а Бзденга делал колеса. А не простит господь, так земля простит. Господь из своих высей не всегда все видит, а земля за все болеет. Хотя лучше бы без топора, кабы было на какие шиши подкупить адвокатов. Волокушу продай, корову, лошадь, в долг возьми, а подкупи. И иди, как ровня, со своими против Столярековых. Такого Столярека ты хоть насмерть заруби — сыны его подымутся, сыны сынов подымутся, внуки, правнуки и будут до второго пришествия от твоей земли урывать. Только адвоката найди, чтоб с посильней, чем Столярековы, чертями водился. У чертей, как у людей: кто побольше, кто поменьше. С малыми ты не связывайся. Малый черт что малый теленок, малая обувка, так, малосилок. Всегда держись больших. Пусть невесть сколько запросят. Хотя бы душу пришлось продать. Зачем тебе душа, коли земли не будет. Одна душа, без земли, все равно как если б тело от нее отказалось и господь изгнал. Поснимай образа со стен, распятие оббей молотком и пускай так стоит, свяченую воду вылей в ушат, напейся пьян и кляни все подряд — черт сам к тебе пожалует. Пустишь кровь из пальца, он тебе свою пустит, и тогда — держись, Столярек. Жаль, я уже не дождусь, а то бы мы с тобой вместе к нему пошли. Ты бы в окно постучал. Эй, Столярек, и у меня свой адвокат есть! Теперь померяемся! Поглядим, чей сильнее! Мы с моим как два брата, койка к койке, в больнице лежали! Он с получше, чем твои, чертями в дружбе! Люцифера знает! Вельзевула знает! Анчихриста знает! Всех наиглавнейших чертей! Все пекло! А твои черти — плюнуть и растереть! А законов он сколько знает! В сто раз больше, чем твои! Все, какие есть, до единого! И против тебя, разбойник, знает закон! Ногу мне отрезали, а я не жалею. Вторую бы дал отрезать, лишь бы только тебе отплатить. Выйди, выйди за порог, Столярек, я тебе еще побольше скажу! Он в воскресенье приедет! Загляни через окно в мою хату! Посмотришь, как мы будем водку пить, колбасу есть! Моя баба ему курицу сварит! А смеяться будем! Ха! ха! ха! Хи! хи! хи! Над тобой так будем смеяться, Столярек! Конец тебе! Бог долго ждет, да больно бьет! Знаешь, что мой мне сказал?! У какого-то там Столярека и не отсудим?! Нам, Амброзий, и черт не понадобится. Простой справедливостью обойдемся. Так он сказал. Посмеялся даже: ну и нашел Столярек адвокатов, из них такие же черти, как из блох осы. Крестом осенить — мокрого места не останется. Ха! ха! ха! Так он смеялся. Хи! хи! хи! Так смеялся. Ой, как же он смеялся. Сам на дьявола стал похож. Я спросил, может, подкупить его, я подкуплю, только пусть не смеется так. Денег у меня не густо, но я волокушу продам, лошадь, корову, в долги залезу, а подкуплю. Столярек мог, значит, и я смогу. Но пусть не смеется, а то страх берет. Эх, Столярек, одна тебе дорога — в петлю. Выбирай дерево, Столярек. Он еще у меня спрашивал: его Столярек фамилия? Столярек. И отец Столярек. И дед Столярек. Дай только отсюда выйдем. Он обещал. Но нет, видать, на Столярека закона, нету бога, нет черта. Ой, нету.

— Тихо вы, не плачьте.

И тут же двое из мертвецкой, здоровенные быки, приехали с каталкой и увезли адвоката. Потом пришла Ядзя-санитарка, перестелила постель. Вот и нет бедолаги, сказала. Заглянула туда, сюда, не оставил ли чего. Нашлись кое-какие мелочи, как от каждого покойника, она все собрала в передник. Стоял компот, который он не успел

выпить, она спросила, не выпьет ли кто. Но никто не захотел, и она вылила компот в умывальник. Сняла старый температурный лист, повесила новый. Хотела и книжки забрать, но я сказал, чтоб не забирала, может, я почитаю.

Как-то даже взял ту, что он оставил открытой на тумбочке, и начал читать. Было там про одного такого, который все ходил и спрашивал, где плотник. Вроде даже и не особо ему этот плотник был нужен, только он не знал, об чем спрашивать, вот и спрашивал про плотника. Тронутый, что ли? Люди плотника ищут, когда хотят дверь сделать, стол, сундук. Пришел бы в нашу деревню, ему бы каждый малец показал, где плотник. Калембаса Юзек, у дороги на мельницу, третья хата за распятием, акация во дворе.

Я страниц пять всего прочитал, дальше не получилось. На адвокатову койку положили какого-то сопляка, который с ходу стал набиваться ко мне в приятели и с утра до вечера трещал над ухом. Башка вся перебинтованная, обе ноги сломаны, по пьянке разбился на мотоцикле, и еще радовался, что теперь отец не заставит работать. Рта не закрывал, неважно, слушал его кто или не слушал. А больше всего про своих подружек любил рассказывать, в основном разные пакости. С кем, где, когда, как. Лежа, стоя, спереди, сзади, на коленях, на корточках, с головы, с ног. Жаль становилось этих подружек.

Как-то одна его навестила, симпатичная, красивая. Принесла корзинку яблок, нас всех угостила, меня даже заставила два взять, а одно сама положила на мою тумбочку. И вообще, казалось, она отца, деда, дядю пришла навестить, а не этого похабника. Ходила со своей корзинкой от койки к койке, но словно бы стеснялась, что одна среди стольких мужиков. Хотя какие из нас мужики, морщинистые, дряхлые, седые, лысые, зубов раз-два и обчелся, глаза не видят, а кое-кто уже одной ногой в могиле. Но тоже как бы ее стеснялись, вроде брали у ней эти яблоки, но всякий глаза опускал, чтобы не смотреть на ее наготу — она будто не яблоки, а груди свои раздавала, столько раз ее этот сукин сын передо всеми тут раздевал.

И мало того, что раздевал своих подружек, еще над ними смеялся. Иной раз со смеху по ногам себя колотил, по гипсу. Как дурак хохотал-заливался, сам с собой. И хоть никто не без греха, все на него пялились, будто он за собственным гробом шел. Где ж это видано — смеяться так на кровати, еще не остывшей от смерти? Может, он даже не понимал по глупости, что с этим своим смехом, посреди голых подружек, тоже умирает вслед за тем, кто на его месте лежал. А старые мужики видят все насквозь, они и это видели.

Да и вправду ли так по-разному можно? Ни жеребец с кобылой, ни кобель с сукой ничего такого не делают. Неужто человек станет? И зачем? В конце концов так ли, сяк ли, одно на одно выходит. Я тоже молодой был и, может, больше его девок перепробовал, но всегда по-людски.

Иногда только в углу у двери старый Альбин повизгивал от удовольствия, когда или срамник этот какой-нибудь из своих подружек руку между ног совал, или она ему. Но у Альбина был крестец сломанный, и лежал он как бревно, а руки-ноги рядом лежали, как обрубленные ветки. Вот и было у него только одно желание — перед смертью переспать с бабой. Вечно сетовал на свою жизнь, на свое увечье, на своих детей и вообще на все. И санитарке Ягусе морг земли обещал отписать, если она разок сунет ему руку под одеяло, пускай хоть перед смертью, когда совсем будет помирать. А санитарка Ядзя смеялась, что, небось, смерть слаще, чем ее рука, натруженная, потрескавшаяся да и не молодая. Потому что санитарка Ядзя умела смеяться даже над самыми печальными вещами. Другая бы к черту все посылала, а она смеялась. Другая бы заплакала, а она смеялась. Иной раз в палате, как в склепе, а войдет санитарка Ядзя, скажет что-нибудь, и все в смех.

И нечего удивляться, столько лет среди несчастий, боли, смертей, стонов, и только и знай, выноси горшки, убирай, перестилай, уноси, приноси, тут из-за чего угодно смеяться научишься. А вдобавок еще все наперебой ее сватали — старики, молодые, вдовцы, женатые, хотя каждого уже караулила смерть. Этот сам подняться не мог, тот на бок повернуться, без ног, без рук, под себя ходили, рожи корявые и души корявые, тут болит, там болит, но стоило Ядзе появиться в палате, всякий хоть сейчас жениться готов. Некоторые вроде бы сегодня на ней женились, а назавтра умирали. А она никому не отказывала, никому не говорила нет, только смеялась.

Иной, случалось, раззадорится — со своей бабой бы так не посмел, та б его измордасила. А санитарка Ядзя каждому давала волю и с каждым смеялась точно со своим мужиком. Никогда ей не бывало грустно, никогда плохо. Только как соберется кто ее под венец вести, она у того спрашивала:

— А на чем повезете венчаться? Может, на простой телеге, заляпанной навозом? Я иначе чем в карете да с четверкою белых коней не поеду.

А если который-нибудь обещал, что она у него будет большой барыней:

— Так это вам сперва большим барином надо стать.

А начнет который-нибудь божиться, что ей у него только птичьего молока будет недоставать:

— Птичье-то молоко — ладно, а как насчет всего прочего?

А соблазнял который-нибудь, что у него золотые рубли в сусеке зарыты, он, как вернется, их выкопает, и все будут ее:

— Сперва подите выкопайте, может, сыны ваши уже давно все повыкапывали.

А другой ее донимал, чтоб под утро, когда все спят:

— Под утро луны уже нет и изо рта воняет.

А вздыхал который-нибудь, чтобы ему господь дозволил хоть на минутку с ней про свою немочь забыть, он бы колокол для костела купил:

— Сперва купите, надо ж мне послушать, как он звонит.

А хвалился который-нибудь, что хоть и старый он, но с ней бы ему припомнилась молодость:

— Пусть спервоначалу припомнится, а то потом вдруг будет поздно, стыда ведь не оберемся.

А хотел который-нибудь, чтоб она хотя бы грудь дала потискать:

— А какой вам с этого прибыток? Дитём вам уже не бывать, и молоко из нее не потечет.

А пожалуется который-нибудь, что все его нутро к ней рвется, а ни рукой, ни ногой уже не может шевельнуть:

— Ну вот, сами видите. А без шевеленья какая любовь.

А который-нибудь начнет к ней подкатываться, когда она ему утку подставит, а сам капли из себя выдавить не может:

— Перво-наперво облегчитесь, а то как же мы с вами потом?

А умирал который-нибудь, так она рядом с ним садилась и выговаривала:

— Вы жениться на мне обещали, а сами помираете. Смеялась я, конечно, но смех смехом, а с вами бы поехала даже на простой телеге, заляпанной навозом.

Может, потому она и замуж не вышла, что вечно ее всякие в жены брали, а потом умирали, и она словно бы все время была вдова. Я тоже, случалось, смеялся, что, кабы не ноги или кабы раньше панну Ядзю встретил, пришлось бы ей стать моею женой. Я не какой-нибудь ветропляс, панна Ядзя тоже женщина степенная, чем мы не пара. Но еще не все потеряно, дай только вернусь домой, а там как-нибудь ее навещу, принесу курицу, яиц, сырок, тогда и по-

говорим. В доме бы хозяйка была, у меня жена, а то и братья замучили, отчего не женюсь. Теперь, с такими ногами, не об чем говорить, может, я никогда больше не буду ходить, не таскать же панне Ядзе меня на себе, хоть руки у ней и сильные.

Как-то, еще в самом начале, она меня одевала и, увидев на теле рубцы от ран, всплеснула руками:

— О господи! Кто ж вас, пан Шимек, изувечил так?!

— Всякое бывало, панна Ядзя, тут и о гулянках память, и о партизанщине.

— И живой остались?! Боже милостивый! — И чтоб хотя бы про одну из этих ран ей рассказать.

— Выбирайте сами, панна Ядзя, про которую,— сказал я шутки ради. И она выбрала, на плече, рана была небольшая, но шрам разползся с тех пор, за все эти годы. Ну и рассказывай ей, как оно было.

Прятался я у одного знакомого в Емельнице, дело было зимой. Деревня в стороне от дорог. С юга леса. Еще и зима не установилась, а кругом уже все замело, только на санях и проедешь. Зверь из леса к самым домам подходил. Выйдешь за порог, а тут косуля во дворе мордой в снег тычется, заяц скок-поскок, и куропатки фьють! точно снег вдруг осыпался с крыш. Чего бояться? Я даже с чердака перебрался спать в чулан. А тут однажды ночью бух! бух! в дверь — открывай! Но прежде чем им эту дверь открыли, они ее сами вышибли прикладами. И взяли меня тепленького, чуть ли не из постели. Штаны едва успел натянуть, они меня с ходу прикладами этими по спине, по голове и — вперед! Будто страшно спешили.

На двух санях приехали. Но трое только остались, чтоб меня вести, а другие на этих санях покатили вперед. Даже сапог не дали надеть, потому как, верно, я для них уже покойником был. Босиком, в одних портках и рубахе гнали меня и гнали за санями следом.

У меня пятки к снегу примерзали. Только остановлюсь подошву о подошву потереть, тут же который-нибудь хрясть меня сзади. Хоть и без того били, холодно было, видать, для согрева. Они, может, еще сильней меня промерзли, что ни шаг хлопали руками по бокам. Вроде в шинелях, в сапогах, в башлыках под касками, в рукавицах, но, если кто непривычный, так и без мороза мерзнет. Еще руки все время на железе держали, а от железа хуже тянет, чем от земли.

Сперва я шагал, как по раскаленным углям, и чувствовал, что далеко не уйду. Отойдем за деревню, думал, там брошусь на них и пусть убивают, где я пожелаю, а не где им захочется, да еще неизвестно где. Стоит ли дальше идти, когда все равно конец один. Но за деревней чего-то мне обидно стало помирать, поживу, подумал, еще чуток. Ноги жалеть нечего, так и так они неживые, а хоть немножко еще пройду. Сани с теми все больше отдалялись, казалось, они в снег проваливаются и вот-вот исчезнут. А эти, сзади, все меня дубасили, слишком медленно, мол, иду.

В конце концов, чтоб не чувствовать, что по снегу шагаю, стал я про себя думать, будто иду по стерне. По стерне так же колко и больно, но по крайней мере ногам тепло. Хотя умеючи и по стерне идти невелика штука. Надо только ноги тянуть, а не наступать сверху. Тогда можно бежать, догонять и удирать, если за тобой гонятся. И стал я помалу забывать, что иду по снегу, все больше чувствовал под ногами стерню, землю чувствовал, нагретую солнцем, иссохшую в пыль. И даже косы где-то звенели об оселки. И дух от раскаленных хлебов нутро обжигал. И жаворонка я вдруг услышал вверху над собой. Но, видать, кто-то из этих сволочей тоже его услыхал, потому что выстрелил поверх моей головы, и жаворонок смолк.

В горле у меня пересохло, точно от жаркого духа хлебов и земли, и я нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть снега. И тут какой-то из

них со всей силы ударил меня сзади по голове. Я свалился как подкошенный и подумал, что уже не встану. И даже захотел, чтобы меня добили. Но с ними не так-то просто. Не любят они, когда человек сам себе выбирает смерть. Должны доставить туда, где они ему предназначили умереть. Пускай такой же самой смертью. Завыли, как волки, принялись пинать меня, бить, и я встал. Но идти становилось все тяжелей. Ноги подламывались в лодыжках. И на каждом шагу будто гвозди впивались в подошвы. Тогда я стал думать, что, верно, в жите полно было чертополоху, и из-за чертополоха по этой проклятой стерне так колко и больно идти. Или, может, серпом жали. После серпа идешь по стерне, а она точно гвоздями утыкана. Или же, думал, меня отец откуда-то с другого конца позвал, чтобы я ему оселок принес, и я к нему иду. А то будто мои коровы на помещичье поле забрели и жрут свеклу, а у меня душа в пятки, и я лечу сломя голову к ним по этой стерне, чтобы их прогнать. А кто в такие минуты замечает, что подошвам колко и больно, тут страх сжимает горло, как бы управляющий не угнал коров, пока я добегу. Или же будто мы с ребятами наперегонки носимся по этой стерне, кто быстрей добежит до межи. Ну и я добежал первый.

А они, сволочи, верно, уже думали, я едва дышу, откуда бы им могло прийти в голову, что я все время по стерне иду, в разгар лета, в разгар страды, раз они меня по снегу гонят. Под конец, видно, сами здорово закоченели, потому что начали себя руками бить, на ладони дуть, притопывать ногами. А прямо перед нами с левой стороны был косогор, поросший можжевельником, а внизу, под косогором, глубокий крутой овраг. Они были уже настолько уверены, что я без пинков шага не сделаю, что один даже вытащил фляжку, и все по очереди стали к ней прикладываться. И при этом, верно, говорили какие-то мерзости, потому что вдруг как по команде загоготали. А один даже расстегнул ширинку и пустил струю. И в эту самую минуту я прыгнул в сторону того косогора. Прежде чем загремели выстрелы, я уже катился среди можжевеловых кустов. Потом, как мешок, свалился в овраг. А им слишком круто было, чтоб меня догонять. Они только стояли и стреляли. Но одна всего пуля вот сюда попала, в плечо, а так всё в снег, в можжевельник, в деревья. Но я даже ничего не почувствовал, потом только, когда уже был далеко.

С тех пор начала Ядзя меня подкармливать. То мяса побольше кусок принесет в обед. То побольше картошки. То вторую тарелку супа. И когда ни придет в палату, всегда у меня спросит, не проголодался ли я, не хочется ли мне пить, или, может, у меня сигарет нет, так она сбегает и принесет. Иной раз на свои покупала и приносила. А иногда вроде бы за чем-нибудь заскакивала в палату и заодно поправляла мне одеяло, что ж оно у вас, пан Шимек, на пол сползло, подушку взбивала, не дай бог, еще у вас, пан Шимек, голова разболится, на твердом-то лежать. И всегда что-нибудь из еды тайком под эту подушку засовывала.

— Только ночью съешьте, когда другие уснут,— шептала вроде бы подушке.— И того, что у окна, стерегитесь, он спит, как заяц.

Или, нагнувшись под кровать за уткой, шептала мне на ухо:

— Завтра на обед котлеты. У вас одна будет сверху, как у всех, а вторая в картошке спрятана. Только вы поаккуратней, а то заметят. У того старика в углу глазищи как у ястреба. Ногу ему отрезали, но видеть все видит. Свое съест и еще в чужую тарелку заглядывает. Но ему и это не поможет. А вы, пан Шимек, должны жить, значит и есть должны. К воскресенью я пирог со сливами испеку, сестра ко мне приедет, я и вам принесу кусок.

А раз принесла мне апельсин. Я впервые в жизни ел апельсин. Так что и от моих ран вышел прок.

(Продолжение следует)

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

Из книги «Слово о любви»

■

Перевод с сербскохорватского **МАРГАРИТЫ АЛИГЕР**

Случайный гость

К одинокому человеку явился гость и застал его дома.
Было похоже: он послан судьбой.
Что-то в нем было давно, хорошо знакомо,
о далекой молодости напоминая,
он посидел
и ушел домой.

Он говорил о своих любимых поэтах,
о книгах, которые помнятся, на всю нашу жизнь пленяя.
Казалось, что сам он с собой разговор продолжает этот,
путешествуя по былому, прошлое вспоминая.

Он говорил о белой весне, о весне в родном краю,
которая звонко ломает корочки мелких луж
и крутые сугробы листвы пробивает лбом.
О жизни, о смерти говорил —
посидел
и ушел.

Он говорил, что любит, когда воздух становится влажным,
когда солнце едва пробивается, скрытое облаками.
И что-то совсем неважное вдруг становится важным,
и не стихи становились стихами.

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (род. в 1898 г.)

Югославская писательница — поэт и прозаик. Член Сербской академии наук и искусств, лауреат многих литературных премий страны; народный поэт Югославии. Автор многочисленных книг стихов, в том числе «Стихи» («Песме», 1924), «Новые стихи» («Нове песме», 1936), «Запах земли» («Мирис земље», 1955), «Пленник снов» («Заробљеник снова» 1959), «Говори тихо» (1963), «Требую помилования» («Тражим помиловање», 1963), «Нет больше времени» («Не мам више времена», 1973), «Летопись потомков Перуна» («Летопис потомака Перуна», 1976), «Ничья земля» («Ничија земља», 1979), «Часовые памяти» («Мећаши сепања», 1983).

Перу Д. Максимович принадлежит также несколько романов, сборников рассказов и путевых очерков. Переводила произведения Тургенева, Достоевского, Чехова. В 1963 году в ее переводе был издан сборник «15 советских поэтесс». В СССР вышел сборник Д. Максимович «Избранное» (1977), стихи ее неоднократно публиковались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемые стихи взяты из книги «Слово о любви» («Слово о љубави», Београд, Српска књижевна задруга, 1983).

После короткого пребывания
остались лишь пустота и печаль,
как будто бы ветром цветы оборвало ранние,
но как было бы сказано в старой сказке:
кто знает, может быть, это и лучше,
что его привел неведомый случай,
что он заглянул по пути —
посидел
и ушел.

Тайна

Я не умею без тайны.
Стихи выдают меня самую малость,
ну, как цветок выдает
то, что глубоко в земле осталось,
или как облако, над нами скользя,
выдает те глубины, которых увидеть нельзя.

Я не умею без тайны.
Во мне года и года
теплится тайная скрытая горечь.
Я исповедуюсь лишь как земля,
буйством цветов и трав.
Я людей допускаю только на паперть сердца,
но в алтарь — никогда.

За щитом поэзии

Слова, которые я таила,
не смея их произнести
с глазу на глаз, на перекрестке пути,
потому что мешали мне стыд и страх,
стоят непреложно в моих стихах.

Они прошли сквозь чистилище
поэзии и страдания,
в воде не потонув и в огне не горя,
с них сняты грехи,
как будто они оглашены с престола
или сказаны с алтаря.

Они в стихах, как в заколдованном саду,
куда заходят лишь искатели мечты, искатели волшебной чаши.
Слова стоят в стихах, как мед в лесных сотах,
принадлежащие всем и ничьи,
твои, и мои, и наши.

Слова в стихах звучат наивно,
как будто их сказали в первый раз,
похожи на признание в любви
на ярмарочном прянике-сердечке.
Так и читай их, если вдруг склонишься
над небольшой тетрадкою стихов.

Слово о любви

Если вы любите и ваша любовь
вырастает, когда вы вдали друг от друга,
и, пожалуй, она больше снится, чем сознается,
вы и расставшись будете дрожать от испуга:
неужели нам больше увидеться не доведется?

Вы, любящие друг друга, словно два заключенных,
и, опасаясь греха,
как птица о клетку ломаете крылья,
вы будете помнить друг друга всегда,
после разлуки
не умрут желания, которые вы усмирили.

Если ты от любви не смыкаешь глаз,
и бродишь по саду без сна
долгие ночи весенние,
неутоленная жажда навек остается в нас,
память о ней навсегда, и нет от нее спасения.

Те, с которыми мы играем возле огня,
опасаясь к ним прикоснуться,
с которыми мы проходим над бездной,
необнявшиеся и немые,
мы будем помнить их долго-долго,
даже когда полюбим других
и нас полюбят другие.

Если ты мечтаешь о ней и границ у мечты твоей нету,
а сидишь с ней рядом, не молвя ни слова,
слушая сказку, какая рождается в вас
подобно рассвету,
ты будешь помнить о ней и когда зима
вокруг забелеет сурово.

Если ты думаешь рядом с ней,
что любовь — это нечто вроде цветочного пуха,
который стряхнуть не стоит труда,
если мечту и ребенка ты любишь в ней
и без нее тебе пусто и глухо,
мысль о ней будет будить тебя
и после разлуки, в тоске одиноких ночей.

Навсегда остаются в памяти те,
кого мы ни разу не обнимали,
чьи губы неведомы нам навсегда,
которым мы только весной и во сне
любовные письма писали.

Те, что, как реки, не могут слиться,
меж которыми нет кровеносных сосудов
и крови горячей,
а сердца их зовут друг друга оттуда
и они не забудут друг друга,
даже когда поседеют души, тоскуя, ропща и плача.

Если любовь твоя — нож в сердце
и ты не решаешься вытащить этот нож,
боясь, что тотчас умрешь,
он будет помнить тебя,
умирая.

Те, из-за которых сердце мы ощущаем как рану,
рану, ради какой нужно жить, с какой мы сильны и богаты,
вернутся к нам, вспомнятся нам, поздно или рано,
и когда мы полюбим других,
мы почувствуем, сколь мы несчастны и виноваты.

Обманы

Кто-то хотел подарить другому
то, что казалось ему всего прекраснее и дороже,—
утро, встающее издалека,
утро с запахом молока
и детской кожи.
А солнце с утра припекало до боли.

Кто-то хотел подарить другому
то, что трудно достать в подарок,—
два облака с неба, белых, красивых,
похожих на ветку цветущей сливы,
а облака принялись клубиться
и превратились в ночную птицу.

Кто-то хотел подарить другому
то, что трудно достать в подарок,—
безумство блеска воды и вихря,
открытое море в шторм при сирокко,
а волны ему со дна океана
выбросили вдруг почему-то
древний, как вечность,
камешек серый,
лежавший глубоко-глубоко.

Фата-моргана

Было все волшебно,
как фата-моргана,
будто в самом деле и не в самом деле.
Мы друг друга слушали,
друг на друга глядели,
глаз не отводили, словно вызывая духов издалека,
страстно, напряженно, упоенно веря.

В это время где-то скрипнули двери,
кто-то на пол уронил ключи,
где-то вспыхнуло пламя свечи,
и волшебство исчезло,
как исчезает вспугнутый дух,
сердитый, что вызван непосвященными,
несчастный оттого, что приоткрыл
краешек тайны —
которая, как человек,
и существует и не существует.

Я буду дружить с солнцем

Раз уж так,
буду с солнцем дружить.
Буду долго идти ему навстречу,
Я в гору, оно — по небу.
Я тороплюсь, а оно замедляет шаг,
наслаждаясь необъятным простором.
Когда остановится в полдень его дорога,
я на земле посижу немного;
когда оно станет спускаться по голубому откосу,
и я пойду под гору, рядом
с пастухами и стадом.
Когда оно на ночь простится со мной,
во сне я пойду за ним следом
его вечным путем, который мне невидим и неведом.

Призрачные огни

Мысли, бабочки ночные,
на какой мой огонь вы спешите?
Сколько из них погасло давно.
А мысли ночные стаей
налетают в ночи и вьются, покоя не зная.

Может быть, вас обманывают
фосфорические мерцания,
воспоминания какого-то давнего дня,
словно путника в чаще —
свечение дряхлого пня.

А может быть, загорелись живые огни
под сугробами лет,
может быть, в закутке каком-то
разгорелся огонь, неустанно пылая,
и понеслась, понеслась на него ваша стая.

Весеннее головокружение

Я видела вчера в лесу,
вблизи недавно срубленных деревьев,
на хорошо известном мне пути,
на склоне, обращенном к Колубаре,
прекрасное и странное дерево
и не могу теперь никак его найти.

Среди других деревьев, единственное, это,
шумело, шелестело как-то странно.
Так отличается, пожалуй, речь поэта
от тех, среди кого живет он постоянно.

Я видела вчера его воочию,
я слышала наплывы странных звуков.
Куда оно исчезло этой ночью?
Нет ни у Тамновы его, ни среди буков.

Все было наяву и не могло присниться,
ведь я стояла под его ветвями,
ведь это было дерево, не птица,
не человек, давно забытый нами.

А может, это дерево сокрыто
во мне самой, на дне ума, в глубинах жажды,
в чащобе снов, во всем, что позабыто,
и лес воспроизвел его однажды.

Утро после бдения

Как дивно после бдения ночного,
невыспавшимся, словно старый сыч,
пройти по росам, утренней дорогой,
которая светла и широка,
в тумане, что белее молока,
и ты один, и только где-то близко
бормочет что-то сонная река.
И приближаются к тебе лугами
две-три еще дремотные тропинки,
и месяц, побледневший от тревоги,
что вот его заря еще застала в небе.
И ты один — и смутное волненье,
еще тебе неведомо о чем.

Десанка Максимович и Маргарита Алигер

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА

Советский поэт, переводчик, публицист. Лауреат Государственной премии СССР. Начала печататься в тридцатые годы. Первая поэтическая книга «Год рождения» вышла в 1938 году. Автор многих книг, в том числе «Синий час» (1970), «Стихи и проза» (в 2-х томах, 1975), «Тропинка во ржи. Книга воспоминаний и статей» (1980), «Четверть века. Книга лирики» (1981). В 1985 г. вышло собрание сочинений в 3-х томах. Переводила стихи Десанки Максимович, Елисаветы Багряны, Валерия Петрова, Луи Арагона, Пабло Неруды, Филипа Ларкина и др.

МАЙК ДЭВИДОУ

Орлы и голуби

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского Е. ОСЕНЕВОЙ

Майк Дэвидоу приоткрыл нам окошко в свою жизнь. Он художник и потому, рисуя частность, освещает и общее.

Его мать — это мать Майка Голда, Шона О'Кейси, мать Горького и Дюбуа, мать всех униженных и оскорбленных. Это Мать с большой буквы — она согревает и заботится, учит и направляет. Дэвидоу знакомит нас с нею, равно как и с Мишенькой, Джорджи, Карлом; мы разделяем с автором страх одиночества и вдохновение битвы и вместе с ним решаем один из главнейших вопросов революционной борьбы: как уподобиться орлу, не уподобляясь ястребу, как бороться за справедливость в мире несправедливости, как чистить клоаку, не мараясь в грязи.

Мысль эта — о необходимости быть сильным и вместе с тем сохранить доброту голубя — не раз возникает в стихах Брехта.

Карл Сэндберг завершает биографию Линкольна следующими словами: «За всю историю человеческого рода не часто являлся на землю... человек, в чьем сердце и уме парадоксально уживались бушующий ураган и ничем не омраченное спокойствие»

Но такие люди рождались, и Линкольн был одним из них; а когда разразилась буря грознее, чем та, что довелось испытать Линкольну, революционное движение нашего времени породило еще одного — Ленина.

Майк Дэвидоу не предлагает легких решений — их попросту нет. Но весь его американский опыт борца, все многолетние наблюдения, прекрасным полем для которых явились его жизнь и работа в Советском Союзе, доказали ему, что история вовсе не является школой безверия и цинизма. Наоборот, защитники эксплуатируемых — те, что не только размышляют, но и действуют,— уверены: борьба их нелегка, но прогресс неодолим.

Центральное место в сюжете занимает борьба против выселений, проводимых алчными домовладельцами и их полицейскими пособниками. Действие происходит во времена юности Майка, более пятидесяти лет назад. Но Майку и его жене Гейл пришлось еще раз столкнуться с подобными явлениями в Сан-Франциско, благословенном городе благословенного края, и не во времена кризиса 30-х годов, а во время так называемого «спада» 80-х [1]. Чета Дэвидоу вступает в сражение за неотъемлемое человеческое право на жилище, и поскольку закон в стране, на словах ратующей за права человека, всегда на стороне хозяев, сражение это вовсе не шуточное и не о юридических тонкостях тут идет спор.

Итак, в повествовании Майка Дэвидоу — все правда, и не только с точки зрения искусства или истории, но и с точки зрения самой жизни, времени и места, ставших основой этого произведения.

Советский читатель найдет здесь кусочек Америки, увиденный с великой любовью, нежностью и состраданием к людям,— ведь именно таким взглядом смотрят на жизнь «орлоголуби».

ГЕРБЕРТ АПТЕКЕР

[1] См. очерк М. Дэвидоу «В пути. Из американского дневника». «ИЛ», 1984, № 4. *(Прим. ред.)*

МАЙК ДЭВИДОУ — MIKE DAVIDOW (род. в 1913 г.)

Американский журналист, драматург, театральный критик. Автор пьес «Долгая жизнь» («The Long Life», премия Всеамериканского национального конкурса), «Ближайшее поле битвы» («The Closest Battlefield»), книг «Московский дневник» («Moscow Diary», 1980), «Третье советское поколение» («Third Soviet Generation», 1983) и др. В «Иностранной литературе» напечатан его очерк «В пути. Из американского дневника» (1984, № 4).

Автобиографическая повесть «Орлы и голуби» («The Eagle-Doves») получена от автора в рукописи.

Мама так и не узнала, сколько мучительных страданий принесла мне в детские годы обуревавшая ее любовь к людям. Понял я маму гораздо позже, когда прочел горьковский гимн русской женщине-матери.

Первое, что я запомнил, были мамины слова: «Будь добрым, Мишенька, люби людей». Этими пятью словами выражала она суть десяти заповедей. Ее героями были похожие на Христа праведники, добром побеждающие зло. Горькая память о погромах, погнавших ее во время первой мировой войны вслед за отцом в Америку, заставляла ее лишь сожалеть о недостойных деяниях заблудших наивных душ.

Ведя счет моим добрым поступкам, она укрепляла во мне желание творить добро. В ее рассказах я выглядел каким-то толстовцем. Не знаю, что было раньше — ее рассказы или сами эти добрые поступки. Порою казалось, что это одно и то же.

Встретившая ребенка Америка не имела ничего общего с материнскими рассказами о движимом любовью человечестве. Но я восхищенно внимал этим рассказам и верил им. Они были моими детскими сказками, а что тогда могло быть реальнее для меня, доброго принца из этих сказок?

— Ты еще совсем несмышленышем был, Мишенька, а уже так всех любил,— заводила свой рассказ мама, и я переносился в наводненную беженцами Россию времен первой мировой войны. Моя мать проехала из конца в конец растерзанной войною страны с четырьмя детьми — позднее их осталось трое. Отец еще перед войной, до моего рождения, уехал в Америку, «чтобы там осмотреться».

Мама часто вспоминала, как вместе с нами очутилась на железнодорожной станции, запруженной толпами отчаявшихся беженцев.

— ...Люди предлагали деньги, семейные реликвии здоровякам-крестьянам, чтоб те помогли им влезть в поезд. А у меня ничего не было. И я заплакала, и вы все заплакали вместе со мной. Ко мне подошел мужик, старый, но еще крепкий. Я ему говорю: «Мне нечего вам дать». А он в ответ просто взял да подхватил тебя на руки. Я с девочками сразу же за ним. Он всех растолкал да как гаркнет: «И не стыдно вам! Пожалели бы бедную женщину с ребятишками! Бога вы не боитесь!» — Тут мама делала паузу, глаза ее загорались.— И людям стало совестно, его доброта и сила заставили их расступиться! — Наверное, если б я смог в ту минуту представить себе господа бога, он был бы похож на этого мужика из маминого рассказа.— Мужик посадил нас на поезд. А ты глядел на него такими глазами, с такой любовью, что он опять подхватил тебя на руки и расцеловал... Ночью в теплушке я уложила вас на полу. Но ты никак не мог заснуть и вдруг сказал: «Мама,— а голос у тебя был тоненький-тоненький,— мама, мы будем теперь всегда любить того дедушку!» И сразу же уснул. А утром одна курсистка, которая ехала с нами, взяла тебя на колени, обняла и говорит: «Молодец, малыш! Ты умеешь быть благодарным. Не дай очерстветь своему сердцу, слышишь?» А ты ей так серьезно отвечаешь: «Ладно, тетя!» И ты не дал ему очерстветь.

И в подтверждение своих слов мама начинала новый рассказ. Ах, как хорошо быть хорошим!

— По пути в Америку, в Китае, я наняла рикшу. Твои сестры сразу же впрыгнули в коляску. А ты — нет! Ты закричал: «Это же не лошадь, мама, это человек!» Рикша улыбнулся, показывая, что ему совсем не тяжело, и только тогда ты тоже влез в коляску.

Первому испытанию мамино кредо любви подверглось на улицах Бруклина [1].

Однажды я наткнулся там на ватагу ребят — они загнали в угол кошку и кидали в нее камнями. Это была бездомная кошка, многоопытная одноглазая участница бесчисленных уличных баталий.

Из очередной передряги она бы выпуталась и без моей помощи. Но я храбро подошел к ребятам и спросил у Мойше, их коновода:

— Зачем вы бьете бедную киску?

Он остолбенело уставился на меня. Ободренный молчанием Мойше, я продолжал, надеясь, что мальчишки раскаются:

— Ну пожалуйста, отпустите ее домой, к котятам...

Новых камней кошка благодаря мне избежала. В два прыжка она перелетела через забор. Зато вместо нее досталось мне. Я вернулся домой в синяках и в полном отчаянии. При виде мамы я разрыдался. И дело тут было вовсе не в боли! Я столк-

[1] Район Нью-Йорка, где издавна селились иммигранты. *(Прим. перев.)*

нулся с жестокостью там, где, судя по маминым рассказам, должна царить сама чистота,— в детях! На этот раз материнские объятия утешили меня не так быстро.

Но беды мои только начинались.

— Эй, чудик,— вскоре окликнул меня Мойше, подмигнув при этом своим дружкам. Я просиял от радости. Значит, мама права! Они и в самом деле раскаиваются.

— Я не Чудик, а Миша,— серьезно поправил я. В ответ послышался гогот. У меня екнуло сердце.

— Ты ведь из России? — Я кивнул.— Ну тогда ты самый настоящий Чудик и есть. Ясно? — И впервые я устыдился своей родины.— А здесь-то тебе нравится? — Я с готовностью кивнул.— Тогда погости еще с недельку! — издевательски протянул он. И все хором подхватили:

— Эй, Чудик, погости еще с недельку!

Уж лучше бы побили!

И я твердо решил стать американцем. В моем возрасте это нетрудно! Дома я отказался говорить по-русски. Поначалу мама огорчалась, но не слишком долго — она ведь уже всерьез занялась изучением языка и обычаев этой незнакомой страны. Мамина доброта грозила мне на улице опасностью. Ее нежное «Мишенька», от которого перед сном мне было так уютно, здесь делало меня изгоем. Покидая дом, я бежал от любви. Возвращаясь, я с жадностью припадал к ее источнику.

Я стал стыдиться доброты. Теперь рассказы матери обо мне звучали для меня иначе. Я не хотел больше слушать их. Доброта — это слабость, а я хотел быть сильным. В Америке это значит быть грубым. Я решил стать грубым.

Моим идеалом сделался Мойше. Подражая ему, я сплевывал сквозь зубы, важничал и разговаривал нарочито громким голосом.

— Что с тобой? — горестно изумлялась мама. Как ей было понять это! Она пересекла океан, но по-прежнему жила в своей толстовской России. А где жил я? Я этого еще не знал. Но я твердо решил, что буду жить в Америке. Америку воплощал Мойше.

Однако Мойше относился ко мне с презрением. Для него я по-прежнему был «чудиком», хуже того — «слабаком». Моя бравада и сквернословие его не обманывали. Я страдал. Любовь теперь не приносила утешения. А грубость мне не давалась.

Спасение принесла крыса. В один прекрасный день она пробралась в наши законные владения — на нашу улицу. Углядел ее Мойше.

— Крыса! — заорал он. Это означало смертный приговор. Крысу оттеснили к стене. Но и обреченная, она бросала вызов смерти. Зрелище было отвратительное и зловещее. Но для меня оно означало борьбу жизни со смертью. Раз так, никто не имеет права становиться на сторону смерти. Смерть отвратительнее, чем крыса.

Однако Мойше эта истина не казалась столь бесспорной. Приходилось выбирать — крыса или Мойше.

Я поднял камень. Я принял сторону Мойше. Только бы крыса улизнула! Но бежать ей было некуда. Я зажмурился и швырнул камень.

Раздались восторженные вопли.

— Решился-таки! — похвалил меня Мойше. Я посмотрел на свою жертву, дергавшуюся в предсмертных судорогах. Мойше похлопал меня по плечу, а за ним и все остальные.

— Не зови его больше Чудиком. Хватит с него! — заступился за меня какой-то сопливый мальчишка. Мойше великодушно кивнул.

— Да, теперь хватит!

Я отвернулся, глотая слезы. Потом вынул платок и громко высморкался.

— Как тебя звать по-американски? — осведомился Мойше. Я побоялся, что голос выдаст меня, и потому лишь пожал плечами. Мойше минутку подумал.— Ладно. Будем звать тебя Моу.

Я кивнул в знак согласия. Он посмотрел на меня испытующе.

— Чего это ты, Моу? — Я показал на свой глаз.— В глаз попало? — Я опять кивнул и направился домой.— До скорого, Моу! — В голосе его теперь звучали уважительные нотки.

Чтобы стать Моу, надо было приложить много усилий. Я избегал мамы, страшился маминой расслабляющей любви. Раньше ее любовь обезоруживала меня, но больше этому не бывать. Моему самовоспитанию помогла внезапная болезнь отца. Маме, разрывавшейся между работой и больным мужем, было теперь не до сына.

Мойше оказался хорошим учителем, а наша улица — превосходной школой. В какой-то степени Мойше теперь чувствовал ответственность за меня: ведь это он превратил Чудика в Моу. Он хорошо освоил науку властвовать, внушая страх. Грубый, задиристый, жестокий, он был полной противоположностью мне. Общение с ним вызывало у меня внутренний протест. Но пути назад уже не было. Выбор Мойше пал на меня. Я убеждал себя — и чуть было не убедил,— что мне льстит его внимание, что он мне нравится. Грубость его я считал проявлением силы, задиристость принимал за отвагу, а жестокость... ну, разве возможна сила и отвага без жестокости! Вот что ценится в жизни, а вовсе не те качества, которые прививала мне мать. Приходилось учиться любить то, что мне претило, и превращаться в какого-то совсем другого, непохожего на меня человека.

Но главное испытание было впереди. Мойше объявил наконец, что я «парень крепкий», поскольку я давно уже служил ему боксерской грушей; самые жестокие его удары я принимал не морщась, а иной раз даже парировал. И вот теперь Мойше это оценил и пришел к заключению, что я созрел для настоящего испытания — драки.

— Надо тебе кого-нибудь отколошматить,— объявил он однажды. Я кивнул с притворным безразличием, но внутренне содрогнулся. Драк я боялся больше всего на свете и всячески избегал. Я потому и терпел удары Мойше, что надеялся таким образом уклониться от настоящей драки.

Я делал вид, что забыл о нашем разговоре; может, тогда на мое счастье мой непрошеный импресарио тоже о нем забудет. Однако Мойше в это время уже подбирал для меня «жертву». Когда он стал называть возможных противников — один страшней другого, я ужаснулся и сам занялся поисками.

Наконец я сделал выбор. Я выбрал Сиднея, застенчивого, тощего паренька, жившего по соседству. Мы с ним и двух слов не сказали. Сидней всегда находился под надежной защитой матери, которой все боялись как огня. Маленькая, невероятно свирепая, однажды она несколько кварталов гналась за Мойше со шваброй в руках. Поэтому, когда я сказал Мойше, что собираюсь поколотить Сиднея, он, восхищенный моей отвагой, даже присвистнул.

Расчет мой строился на том, что мать Сиднея защитит не только своего сына, но и меня. С сына она глаз не спускала. Вечно торчала в окне, как бдительный и грозный страж. Гулял Сидней обычно поблизости от дома. Улица в эти часы напоминала укрепленный средневековый город. Я поздравил себя с удачным выбором. Мысль о том, что драться, может, и вовсе не придется, придала мне воинственности и отваги. На время таким положением удовольствовался даже Мойше. В конце концов, ведь это ему когда-то пришлось улепетывать от свирепой защитницы Сиднея.

Но как-то раз, собравшись возле дешевой кондитерской лавочки, мы вдруг увидали, что к нам приближается Сидней. Он шел один. Трудно сказать, кто больше испугался — я или Сидней. Но Мойше запрыгал от радости:

— Ну вот он, случай, Моу, лучше не придумаешь!

Я проглотил комок в горле и кивнул. Сама мысль о том, чтобы просто так, без всякого повода ударить человека, вызывала у меня отвращение. Будь это не Сидней, а кто-нибудь другой, я бы, наверное, не так терзался. Но я смотрел в добродушное перепуганное лицо Сиднея и думал только об одном: ободрить, успокоить, сказать, что бояться нечего.

Должно быть, Сидней по моему лицу сразу все понял: он улыбнулся и приветливо помахал мне рукой. Я ответил ему тем же. Понадеявшись, что все кончится миром, мы оба приободрились. Но злобный, негодующий окрик Мойше развеял эти надежды.

Раньше мне пришлось сделать выбор между Мойше и крысой, теперь — между Мойше и Сиднеем. Улыбка на лице Сиднея сменилась выражением робости и тревоги. Его глаза молили меня. Они словно спрашивали: «Что я тебе сделал?» И мое сердце отвечало: «Ничего, только предложил мне дружбу». Мойше нетерпеливо, грубо подтолкнул меня к Сиднею:

— Вдарь ему, Моу, тогда дело будет! Он же трус!

— Вдарь ему! Вдарь! — подхватили дружки.

Я подошел к Сиднею и нехотя толкнул его. Он не защищался. Я повернулся к Мойше и остальным и с притворной досадой сказал:

— Он не хочет драться. Надо подыскать кого-нибудь похрабрее!

Мысленно я заклинал Мойше согласиться. Однако мой импресарио решил не разочаровывать публику.

— А ну двинь ему как следует! Бей в нос,— посоветовал он.

Кольцо вокруг нас с Сиднеем стягивалось как петля. Выхода уже не было. Я заглянул в доброе испуганное лицо Сиднея — наверное, такое же испуганное, как у меня. И опять я зажмурился и ударил. И опять раздались восторженные вопли. Я заставил себя открыть глаза и увидел, что у Сиднея рассечена губа. Но он по-прежнему не желал драться. Он глядел на меня с упреком, пытаясь побороть слезы унижения, и это было больнее любого мастерского удара. Я поднял руку на маминого Мишеньку.

Но скупые слезы Сиднея для Мойше означали сигнал к началу решительной атаки.

— Дай в нос ему! Дай в нос! — радостно вопил он. Зажмурившись, я нанес новый удар. На этот раз Сидней мне ответил. Я почувствовал скорее удивление, чем боль. За первым ударом последовал второй, достаточно чувствительный. Теперь не дал сдачи я. Мойше воспринял такой поворот дела как личное оскорбление.

— Ты что, Чудик? Хочешь, чтоб этот маменькин сынок ушел без единой царапины?

«Чудик» подхлестнул меня куда сильнее, чем все удары Сиднея. Нет уж, быть Чудиком я больше не желаю! Теперь я дрался не жмурясь. Мойше и мои дружки были в восторге. Впервые я вкусил пьянящую сладость одержанной в бою победы. Как, оказывается, прекрасен мир Мойше! Страх в глазах Сиднея сейчас вызывал во мне не жалость, а ликование. Я взглянул на Мойше, ожидая одобрения, и понял по его лицу, что отныне могу себя уважать.

Но тут из разбитого носа моего противника хлынула кровь. Она текла по его лицу, заливала белую рубашку. Мы сразу примолкли. Кровь, которой все так жаждали, наконец пролилась, но никто не радовался, даже Мойше.

Кровь Сиднея возродила во мне Мишеньку. Страх перед Мойше, перед Чудиком на время отступил. Для меня кровопролитие было сродни смерти. Надо остановить кровь! Я прижал к носу Сиднея платок, но он тут же превратился в окровавленную тряпку. Я обнял Сиднея, и мои слезы смешались с его кровью.

— Я же не хотел этого! — твердил я.— Я теперь всегда буду твоим другом!

Сидней судорожно цеплялся за меня. Я ловил его взгляд, надеясь увидеть в нем прощение. Но в глазах Сиднея застыл ужас. Он был слишком напуган, чтобы простить.

Нас выручил боевой опыт Мойше.

— Нос разбил, велика важность...— Это было сказано с нескрываемым презрением и явно адресовалось мне: ведь Сидней не плакал. Мойше оттеснил меня в сторону, запрокинул голову Сиднею и промокнул ему нос своим грязным платком.

— Выше нос, Сид!

Сидней с готовностью повиновался. «Средство» Мойше сработало безотказно. Вскоре о пережитых нами страшных минутах напоминало лишь пятнышко запекшейся крови у Сиднея возле носа.

— Вот и прошло все, видишь?

И опять мир Мойше был прекрасен.

Минутное прозрение забылось. Крови больше не было. Мойше обнял Сиднея за плечи:

— Ты молодчага, Сид!.. Парень что надо!

Центром всеобщего внимания стал теперь Сидней. Он выдержал испытание кровью. А я, победитель, пролил непростительные слезы. После такого позора о признании и речи быть не могло. Даже новый кумир, еще недавно в страхе жавшийся ко мне, теперь меня презирал.

Что же до Мойше, то симпатии его уже были на стороне Сиднея — какой жестокий и неожиданный удар по моему самолюбию!

— Знаешь, Сид,— доверительно сообщил он,— сдается мне, ты можешь из Чудика кишки вытрясти!

И мои недавние приверженцы тут же горячо поддержали его. Неожиданная льстивая похвала совершенно преобразила Сиднея.

— Ясно, могу, Мойш,— с важным видом подтвердил он,— просто Чудик врасплох меня застал.

Мойше кивнул. В глазах его зажегся злобный огонек.

— А теперь ты должен расквасить ему нос — надо же вам поквитаться!

Мальчишки радостно загудели.

— Давай поквитайся с Чудиком, Сид! — подзуживали они.

Но до новой драки дело не дошло. Я был побежден силой более сокрушительной, чем физическая. Ребята смеялись и поддразнивали меня, но я ничего не слышал. Мне было страшно и больно. Плакать я не мог. Когда такое случается — не до слез.

Кем же мне быть? Остаться прежним Мишенькой я не смог, превратиться в Моу — тоже. Тогда — в Мойше? Я содрогнулся. Неужто придется уподобиться человеку, которого я ненавидел и боялся больше всех на свете? Почему так трудно быть добрым? Где в Америке эти герои маминых историй, победители с отзывчивым сердцем? Встретить бы того старика крестьянина, который посадил нас в поезд,— сильного и в то же время доброго. Нет, таких здесь не бывает. Здесь нужно быть либо сильным, либо добрым. Здесь правит Мойше. Я мечтал о мире, каким он представлялся маме: полном доброты и любви. Но почему, почему так трудно быть добрым?

— Неужели в Америке тоже? — горестно вопрошала мама.

— Да что ты знаешь об Америке? — презрительно отозвался отец. Он приехал сюда раньше нас на четыре года и уже понимал, что от этой удивительной, чудесной, юной, но жестокой страны можно ожидать чего угодно.

— Но убивать невиновных? Здесь, где есть свобода слова и избирательное право, где люди свободны? И здесь тоже?

Мое сердце разрывалось от жалости к двум оклеветанным незнакомцам с такими странными для американцев фамилиями: Сакко и Ванцетти. А как определить, что такое истинный американец? Задача не из легких! Кругом столько людей, которых истинными американцами никак не назовешь. Среди них немало пожилых людей; они долгие годы жили в Америке, трудились здесь не покладая рук, но Америка так и не стала для них домом Да и не могла стать — вот что хуже всего. Сакко и Ванцетти — я это чувствовал — были из числа таких американцев. И мой отец — тоже.

Маме только что приоткрылась эта жестокая истина, и она не хотела с нею примириться. В отличие от отца мама с первого взгляда полюбила эту «бессердечную страну».

— Да, курятина в Америке жирная, и едят ее вдоволь, точно хлеб. Но если хочешь, Маня, жить здесь припеваючи, сердце твое должно сделаться каменным,— сказал маме отец вскоре после нашего прибытия.

Но мамина наивность и толстовская вера в людей согревала ее в нашем новом доме, хотя отец и твердил ей о холоде. Согревала не только ее, но и многих наших соседей, истосковавшихся по душевному теплу. Миссис Пожарски изливала маме свои горести по-польски. А миссис Левин — «уже двадцать лет здесь пролетело!» — могла часами не шелохнувшись, как зачарованная слушать «эту новенькую», укреплявшую ее веру в Америку.

Мамино открытое лицо рождало у отца невыносимую тоску по родине.

— Ты пахнешь свежестью, как русская зима! — восхищенно говорил он. Потом печально добавлял: — Скоро и ты станешь как все мы, и от тебя будет нести холодом, и никакое паровое отопление тут не поможет!

Мама не соглашалась с ним и ежечасно опровергала его мрачные предсказания. Еще не успев научиться языку этой «бессердечной страны», она открыла для себя ее сердце.

Папино сердце навсегда осталось в краю, им покинутом. Мамино же сердце было большое, его хватало и на Россию и на Америку. Папа воспринимал происходящее как чудовищную несправедливость, творимую в чужой стране. Мама, совсем недавно приехавшая в Америку, была оскорблена за всех своих новых соотечественников.

Я стоял на стороне матери Ведь отец меня предал! Разве не он ввел меня в мир Толстого, Горького, Гюго и Марка Твена, говоривших то же, что и мама, только более красноречиво? Я был слишком молод и не находил объяснения этой странной забывчивости.

Я все время думал о судьбе двух людей, так похожих на героев маминых историй Особенно о Ванцетти Когда мама рассказывала о нем, мне казалось, что это не его, а ее, маму, ждет электрический стул.

День казни приближался — приближался к каждому из нас. Отец, узнав о готовящемся преступлении, обрушивал на головы преступников яростные проклятия. С юридической стороны все было сделано очень ловко и без грубости, обычной для цар-

ского правосудия. Но что может быть ужаснее, чем убийство, совершаемое с молчаливого согласия «свободных людей»! Подобно многим другим чистым душам, искренне возмущенным несправедливостью и не слишком верящим в порядочность простых людей, он именно на них обрушил свой гнев, облекая его в выражения, достойные библейских пророков:

— Америка, Америка! Хитер дьявол, измысливший тебя! Ты богата и злокозненна, ты свободна и жестока! Ты страна, где добрейшие сердца сковывает лед, и нет второй такой в мире!

Я сочувствовал отцу. Он страдал и физически и нравственно. Еврей, бежавший от погромов, он всем сердцем любил Россию.

— Маня, что я наделал? — не раз говорил он.— Бежал из России, когда она обрела великую душу! И куда бежал? В страну, у которой нет души!

— Иосиф, здесь ведь люди тоже страдают, хотя и едят жирную курятину и греются возле парового отопления. Ну да, они не говорят по-русски и не поют наших песен, зато они поют свои песни. Тебе надо научиться слушать. Вслушайся, Иосиф! Подумай, разве может человек жить один — дома ли, в другой ли стране. Такая жизнь — сплошное горе.

Но мамины призывы были тщетны. Отец не хотел или не мог никого слушать там, где он чувствовал себя изгоем. Потом я встречал множество коренных американцев, таких же одиноких в своей стране, как и мой отец — в чужой.

Есть деревья, которые нельзя пересаживать — они не приживаются. А сколько их сохнет на чужбине! Отец был похож на такое пересаженное дерево. Больной, снедаемый чахоткой, он жадно искал родственную душу. Этой родственной душой ему виделся я.

Я понимал и разделял его тоску. Но неужели добро всегда и всюду терпит поражение? Где-то оно должно же идти рука об руку с силой. Где?

— В России,— отвечал отец.— Однако русские дорого за это заплатили. Каждый их шаг был оплачен кровью.

Отец радовался победам русских из своего далека — на большее прав у него не осталось.

Я радовался вместе с ним. Как хорошо знать, что где-то, пусть далеко отсюда, добро восторжествовало. Все же это ближе к жизни, чем красивые мамины сказки!

А здесь, в Америке, добру грозит опасность. Кто защитит его? В стране, где славят успех, мой отец в успех не верил.

— Ах, Маня, знаешь, каким ужасным бывает этот успех? Помнишь моего любимого двоюродного брата Абрама? В России он был мне как родной, помнишь? А теперь и глаз не кажет. Почему? Боится, и все тут. Боится, что ему придется пожертвовать капелькой своего американского успеха. Абрам, Абрам... помнишь, как он пел с нами «Варшавянку»? Успех — это чудище пострашнее Николая. Оно захватило в плен нашего Абрама, убило его душу!

Отец оплакивал Абрама, оплакивал старую дружбу.

— Какой прок в паровом отоплении и жирной курятине, если голодает душа?

— А за душу надо бороться,— возражала мама.— Голодное брюхо не такая уж добродетель, иначе людям пришлось бы вечно голодать, чтобы оставаться добрыми!

Отец отмалчивался. Страшная пустота терзала его сильнее, чем чахотка. Он завидовал матери, восхищался ею и в то же время сердился на нее. Почему она не чувствует себя несчастной, как он? Он никак не мог простить ей этого.

До процесса Сакко и Ванцетти мне не приходилось решать, на чьей я стороне. Но мамино негодование заразило и меня. А потом я узнал, что и в Америке есть люди, разделяющие ее чувства. Мальчик из моего класса однажды выкрикнул на уроке:

— Все это подстроено!

Учительница возмутилась, но возмутило ее не готовящееся убийство двух невинно осужденных, а школьник, усомнившийся в «справедливости старших». Она глядела на него с такой яростью, что я в страхе подумал: «Папа прав».

Но тут вскочил Галахер, коренастый, курносый, решительный.

— Они невиновны! — убежденно заявил он. Мисс Копке попыталась его припугнуть, но мой ирландский однокашник стоял на своем.— Они невиновны, это убийство! — твердил он, к ужасу всего класса.

На перемене мы все окружили Галахера. Для большинства это была всего лишь

детективная история с убийством. Но некоторых услышанное задело. То, чему учат в школе, оказалось ложью! Галахер знал все подробности этой истории. Мы слушали, потрясенные. Убийство в Америке, и совершают его не преступники, а самые непогрешимые из всех — судьи!

— В пятницу на Юнион-сквер состоится демонстрация,— объявил Галахер.

— А что такое демонстрация? — поинтересовался я. Галахер снисходительно поглядел на меня. Я смутился и в то же время разозлился. Имею я право не знать, в самом-то деле?!

— Люди соберутся на площади, чтобы помешать им убить Сакко и Ванцетти,— пояснил он.

— А как помешать? Как? — спросил я, надеясь услышать какие-нибудь магические слова, но он ответил лишь уклончивым:

— Увидишь, увидишь.

И я решил увидеть. Более того, решил помочь. Как на крыльях летел я домой и всю дорогу, точно заклинание, твердил это необыкновенное слово «демонстрация».

Я ворвался в дом, желая поскорее сообщить радостную весть.

— Мама,— задыхаясь, вымолвил я,— Сакко и Ванцетти не казнят.

— Кто тебе сказал?

Мама была вне себя от счастья. Но папа отнесся к моим словам скептически. Не поторопился ли я с выводами? Тогда я выложил секрет, о котором проведал в школе:

— В пятницу будет демонстрация, мама, слышишь? Демонстрация!

У мамы вытянулось лицо. Она-то ожидала чуда! Но тут же она приободрилась. Демонстрация! Американцы, совсем как русские, не желают мириться с несправедливостью!

— Где, Миша? — спросила она.

— На Юнион-сквер! В пятницу. Так сказал Галахер.

— Галахер... Галахер...— повторила мама и бросила на отца многозначительный взгляд.— Ирландский мальчик... Видишь, Иосиф? Ирландский мальчик!

Неужели папа и теперь не поверит, что сердце Америки живо?

Но на папу это не произвело впечатления. Более того, он упрекнул маму:

— Маня, зачем ты забиваешь ему голову бреднями? — И обернулся ко мне, словно желая оградить меня от горькой правды.— Погляди на него, Маня. Он готов отдать свою коротенькую жизнь человечеству. Ради кого? Ради людей, которые поклоняются всемогущему доллару! «Я», «мне» — вот они, американские местоимения. Боже, помоги ему, если он забудет «я» ради «мы»!

Глаза у отца были такие печальные, что я даже обиделся. Ну чего он так волнуется? Сейчас не волноваться надо, а радоваться, как мама.

И мама поняла главное.

— Радоваться надо, Иосиф! — И она с нежностью посмотрела на меня.— У мальчика есть сердце! Иметь сердце и бездействовать — что может быть ужаснее! Это медленная смерть! — Она замолчала, по-прежнему не сводя с меня взгляда.— Я хочу, чтобы наш сын не просто жил, а жил как человек.— Мама укоризненно поглядела на отца: — Ты же знаешь, как холодно в Америке, Иосиф. А чтобы согреть других, надо загореться самому! — Она помолчала.— Я не меньше твоего желаю Мишеньке добра и счастья. Но я хочу любить его не только как сына, но и как хорошего человека. Понимаешь, Иосиф?

Отец ничего не сказал, но я чувствовал, что он не согласен. Почему их любовь такая разная? Почему существует такая пропасть между знанием и действием? Дело тут не в добре и зле. Ведь они оба добрые. Но не могут же оба быть правы!

Тогда кто из них прав? Хорошо бы мама! От отцовского «мира как он есть» я в испуге отшатывался. Сколько ни нагревай батареи, его не согреешь!

В пятницу, когда я вернулся из школы, мама встретила меня с заговорщическим видом.

— Мы идем на Юнион-сквер,— решительно заявила она. Глаза ее сияли.

Юнион-сквер! Какое хорошее название для площади, где произойдет это великое сражение! Туда стекаются, соединяясь, реки добра! Интересно, сколько нас соберется на площади? Сколько Галахеров там будет?

Пока мы ехали в подземке, мама преобразилась, помолодела, она словно вновь очутилась в России. С гордостью рассказывала она о других демонстрациях, о чу-

лесной, вдохновенной молодежи, что боролась за правду и справедливость и бестрепетно встречала царских казаков.

— Люди, Мишенька, везде одинаковы, особенно рабочие люди. Когда делается или допускается что-то дурное, причина только одна: они не понимают. Но когда они поймут — о-о, когда они поймут!..— Глаза ее светились уверенностью и любовью. Как непохоже это было на папину растерянность! Вспомнив о нем, я приуныл, хотя перед этим настроение у меня было приподнятое.

— Почему папа такой печальный? Почему он так трусит?

— Потому, что он любит тебя,— ответила мама.— И потому что боится жизни. Нет, нет, он не трус. В России он не боялся. А в Америке боится! Он болен, устал, телом он здесь, но душой все еще в России.— Глаза ее увлажнились.— Есть люди, для которых домом может быть только родная земля.— Лицо ее стало грустным, отрешенным.— Покидать родину ужасно, даже если натерпелся там несправедливостей. Когда расстанешься с родиной, что-то в тебе умирает. Оживаешь лишь тогда, когда слушаешь родные песни и вспоминаешь счастливое прошлое.

Значит, мама тоже тоскует по земле своей юности!

Но внезапно ее лицо просветлело.

— Нельзя жить одними воспоминаниями, это не жизнь. А здесь, в Америке, жизнь так и кипит.

После этих ее слов я тоже повеселел.

— Это еще не Юнион-сквер? — спросила она так, словно на Юнион-сквер должна была решиться ее судьба.

Прочитав название станции «Юнион-сквер», я разочарованно вздохнул. Обычная станция! А я-то ожидал неоновых огней, чего-нибудь отличающего это историческое место. Но хоть неоновых огней там и не оказалось, мы почувствовали, как наэлектризована толпа, валом валившая из поездов подземки. Люди собирались вокруг красных знамен и транспарантов с надписями на разных языках, в том числе и на русском — мама сразу же это углядела.

— Видишь, русские не позволят им убить Сакко и Ванцетти. Здесь, в Америке, они тоже борются за справедливость, как и у себя дома.

Она кинулась к красивому кудрявому юноше, державшему знамя, обняла его, что-то восклицая по-русски. Он ответил ей — тепло, приветливо.

И вдруг зазвучала песня. Ее запели мама и юноша со знаменем. Эту русскую песню я слышал дома — мама с папой называли ее «Дубинушкой» Наши колонны двинулись от Юнион-сквер. Мы плохо держали строй, но мы пели! Здесь, в Америке, я шел плечом к плечу с маминым русскими. Вот если бы и папа был вместе с нами!

Юнион-сквер звенела лозунгами и песнями. Как хорошо нам пелось!

Среди нас были и итальянцы — они воспринимали происходящее особенно остро.

— Sacco, Vanzetti, dove vivre! [1] — гневно выкрикивали они. Это звучало как призыв. Потом они запели. Нет ничего правдивей песни, идущей от сердца. Все, что можно было поведать о судьбе Сакко и Ванцетти, вылилось в этой песне, хотя я не понимал ни слова.

В лицах итальянцев была та же открытость, а в голосах та же одухотворенность, что у моей мамы. Значит, не только русские такие. А американцы? Посмотрим.

Внезапно зазвучал гимн — боевой гимн, родившийся в недрах толпы. Ни одна из песен не волновала так, как эта. Итальянцы, русские, янки — все слились в едином мощном порыве.

— Вот она, душа Америки! — радостно воскликнула мама.— Я нашла ее! Пой, пой, сыночек! — настойчиво повторяла она.

Мне и самому хотелось подхватить песню, но я разобрал только два слова: «Солидарность навсегда». Я не знал, что такое «солидарность», но, как и другие, готов был поклясться, что она — навсегда.

Я огляделся. Всюду, куда хватал глаз, стояли сомкнутые ряды поборников добра. И мускулы мои наливались силой, а сердце наполнялось гордостью.

— Мама! — воскликнул я.— Ведь добро — это тоже сила, правда?

Мама обняла меня.

— Да, Миша, да!

---

[1] Жизнь Сакко и Ванцетти! *(итал.).*

Меня разбудил чахоточный кашель отца. Кашель продолжался дольше обычного. По испуганному маминому шепоту я понял, что это не просто очередной приступ.

Папа кашлял и пел. Я разобрал лишь два русских слова: «Черный ворон». В песне была та хватающая за душу грусть и красота, которые так характерны для русских народных песен.

Тусклый голос отца преобразился, в нем зазвучал смелый, гордый вызов. Но этот голос, печальный и слабый, словно одинокая скрипичная струна, не в силах был передать весь трагизм и всю тоску песни. И вдруг мама подхватила песню, вплела в нее свой голос...

Не понимая ни единого слова, я понял все и заплакал. Я кусал зубами подушку, чтобы они не услыхали — ведь тогда они не допоют до конца.

В песне их голоса сплетались теснее, чем в обычном разговоре. Мама, папа, вам всегда надо петь, думал я. Против черного ворона, кто бы он ни был, они объединились. Я его не знал, но чувствовал, что это и мой враг.

Они вдохновенно парили на крыльях гармонии, и казалось, победа уже близка. Черный ворон, мы тебя одолели! — мысленно восклицал я.

Я хотел, чтобы песня длилась бесконечно. Но она закончилась — нотой тихой и прекрасной. У меня оборвалось сердце. Ты победил, черный ворон! Одной красоты тебе мало. Чего же еще ты хочешь? Папа с мамой как будто знали ответ. Вот почему пение закончилось такой грустной нотой.

Песня отзвучала, чары рассеялись. Мама опять превратилась в сиделку. В ход теперь пошли холодные компрессы. Борьба началась не на шутку.

Из комнаты отца показалась мама, ее халат был запачкан кровью. Обессиленная, она беззвучно плакала. Но новый приступ кашля сразу высушил ее слезы. Она вернулась воевать с «черным вороном». Я был в ужасе и не знал, что делать. Мне хотелось пойти туда и помочь матери, но я чувствовал, что буду лишним. До сих пор мне не позволяли быть свидетелем приступов кровохарканья и либо выпроваживали из дома, либо не пускали в комнату больного.

Мама сказала, что сбегает за доктором. Но отец лишь горестно усмехнулся:

— Не за доктором надо бежать...

— Иосиф, не смей так говорить! — снова заплакала мама.

Отец не выносил маминых слез.

— Прости, Маня. Я эгоист. Только и думаю что о своей несчастной половине легкого.— Я услышал ласковый поцелуй.— Превратил дом в лазарет.— Папа тоже заплакал.— Только там мне и место.

— Твое место здесь, с нами,— решительно заявила мама.— Но все-таки можно я позову доктора Денниса?

На этот раз отец не сопротивлялся.

Я не выдержал и открыл дверь. По лицу отца я понял, что мое присутствие оскорбляет его, словно я застал его голым. Но вышло гораздо хуже — я застал его в час борьбы со смертью.

Мама укоризненно поглядела на меня и тут же спрятала компрессы и полотенца в пятнах крови. Однако спрятать самого папу было некуда. Кругом краснела кровь, и на этом алом фоне выделялись лишь его белые, бескровные губы. Взглядом он умолял меня: «Не замечай того, что видишь!»

Мама заботливо укрыла отца простыней — так, чтобы я не видел этого взгляда,— ласково погладила его по лбу, и я вспомнил ту удивительную минуту, когда ее голос зазвучал вместе с отцовским...

На следующий день отцу стало намного лучше. Мама тихонько напевала.

Мне захотелось как-то отметить этот день. Я решил сделать отцу подарок — в память о его победе. Что же ему подарить? Ну конечно! Пластинку с «Черным вороном»!

Но найти «Черного ворона» оказалось не так-то просто. Никто и слыхом не слыхал об этой песне. А хозяин одного магазинчика опасливо спросил:

— Песня иностранная?

— Русская,— простодушно ответил я.

— Русская...— Голос его стал ледяным.— Зачем тебе, американскому мальчику, русская песня?

— Это для папы,— умолял я его, но он отрезал:

— Я большевистских песен не держу.

Я совсем пал духом. Видно, «Черный ворон», так много значивший для мамы и папы, для других ничего не значит.

Одиссея моя завершилась в крошечном захламленном магазине музыкальных товаров. Едва завидя добродушного седоватого хозяина, дожевывающего свой ужин, я повеселел.

— «Черный ворон»? — недоверчиво переспросил он.— Это чудесная печальная русская песня... Тебе она нужна? Зачем? — Он глядел на меня с любопытством, но беззлобно, и я сразу почувствовал к нему симпатию.

— Для папы... Это его любимая песня.

— Папа из России?

Я кивнул.

— Нелегко русскому в Америке, ой как нелегко! — Глаза старика увлажнились. Мне стало жаль его. Он напомнил мне отца.

— У вас нет этой песни? — спросил я.

— А тебе она очень нужна для папы, да?

— Мне она тоже нравится,— отвечал я.

— Нравится? — Как же он обрадовался! — Боже мой, русская душа! — воскликнул он и бережно достал пластинку.— Есть у меня эта песня, ну конечно же есть!

— А сейчас послушать можно? — робко попросил я.

Он улыбнулся и кивнул.

— Пойдем.

Он привел меня в тесную каморку.

— Слушай, как поет русская душа здесь, в Америке!

Кажется, и ему самому хотелось послушать эту песню. Из патефонного ящика полились звуки, полные тоски и боли.

— Русская душа,— с нежностью повторял старик, вытирая слезы.— Одиноко, ох как одиноко в этой стране русскому!

— А детей у вас нет? — спросил я.

— Есть, как же...— пробормотал он.— Но они «Черного ворона» не слушают — не нужен он им...

И такая тоска прозвучала в этих словах, что я положил руку ему на плечо. Старик тихонько потрепал меня по руке.

— Можно еще разок поставить пластинку?

Он с радостью согласился.

— Пожалуйста, переведите мне, о чем там поется,— попросил я.

— Ты и так понимаешь ее, сердцем понимаешь, но я переведу.

Звучала песня, а старик говорил мне:

— Солдат умирает, а над ним кружит черный ворон. Ворон ждет его смерти. Нет, говорит солдат, не время еще. А ворон все кружит, выжидает. Солдат чувствует, что конец его близок. Он вспоминает о своих родных, о матери, жене.— Я словно видел перед собой этого умирающего солдата.— Он говорит ворону: «Лети и передай привет матери, а жене скажи, что пуля обручила меня с другою».

Он поглядел на меня.

— Ты плачешь? Полно, мальчик, полно, это ведь только песня, хотя и печальная.

— Так жалко солдата,— сказал я, вытирая слезы.

— Ах, солдата! — Старик обнял меня за плечи.

— Сколько стоит пластинка? — Я сунул руку в карман, вытащил мелочь, пересчитал.— У меня здесь доллар и пятьдесят центов... и еще пять центов. Этого хватит? — Я умоляюще посмотрел на него.

— Хватит с лихвой...— Он собрал монетки и протянул их мне обратно.— Купи на них что тебе нравится. Пусть это будет подарком от старика тому, кто полюбил чудесную русскую песню!

Я забрал монетки и робко поцеловал его.

— Счастливчик твой папа! — пробормотал он. Я ушел, прижимая к груди «Черного ворона», а старик грустно смотрел мне вслед.

Нет, папа не был счастливчиком: придя домой, я узнал, что ворон все-таки настиг свою жертву.

В коридоре я услыхал плач и грубый мужской голос. Плакала наша соседка миссис Ривкин, а какой-то мужчина говорил:

— Я ведь только выполняю свои обязанности.

— Но где мне уложить детей? — горестно сетовала миссис Ривкин.

Мы с мамой бросились к двери. Миссис Ривкин, в окружении перепуганных ребятишек, стояла перед краснолицым рябым человеком в синей рубахе и умоляла не выселять их.

Сколько таких сцен я видел, проходя по улицам! И как стыдился своей беспомощности! Лица «опозоренных», сгрудившихся вокруг жалкого домашнего скарба, тоже выражали глубокий стыд. Бедняки стыдились своей бедности, хотя вокруг все были такими же бедняками. А домовладельцы не испытывали никакого стыда.

— Какое им дело до того, что муж миссис Ривкин потерял работу? — втолковывал несчастной женщине сердитый шериф. Раньше подобные объяснения казались разумными. Но теперь против них восставала сама человечность.

Я приблизился к шерифу. Вид у него суровый, но он ведь тоже человек. Надо пробуждать в людях доброту. Я заговорил языком толстовских персонажей:

— И вам не совестно? Неужели у вас достанет жестокости выгнать ее на улицу?

Шериф растерялся. Он ожидал угроз, возмущения, а тут вдруг кто-то взывает к его совести. Он не знал, что я начитался Толстого.

— Умничаешь, парень, а? У меня, может, жалости побольше твоего, ясно? Побольше! Так что лучше помалкивай!

Миссис Ривкин глядела на меня с благодарностью, но без всякой надежды. Мама же сияла от гордости. Вот она, истинно русская отзывчивость! Я не смутился. Перед моим мысленным взором проходили все оставшиеся без крова люди, которых я встречал на улицах,— я был их заступником и защитником.

— Я не допущу, чтобы вы ее выгнали,— сказал я непререкаемым тоном.

— А, так ты коммунист! — обрадовался шериф.

Брошено это было как страшное оскорбление, как угроза. Но ни угрозы, ни оскорбления я не ощутил. Коммунист был для меня кем-то вроде Робин Гуда. Как и все прочие, я знал, в какой стране не выбрасывают людей на улицу.

— Конечно, коммунист! — солгал я.

Шериф испугался. Он поверил! Мама тоже приняла услышанное за чистую монету. Я назвался коммунистом — значит, это правда!

Я и сам думал так же. Подобными признаниями не бросаются. Я не раз видел, как храбро и самоотверженно действуют коммунисты.

Похоже, они знали виновников, знали, с кем бороться. Кто виноват? Кто? Все искали ответа на этот вопрос. И прежде всего надо было всем растолковать, что сами несчастные в своем позоре неповинны. Эта простая истина превращала пристыженных потерпевших в грозных обвинителей.

Я наблюдал эти превращения, происходившие словно по волшебству, и восхищался волшебниками. В них жила человечность толстовских героев, но она не делала их слабыми. Что же придает доброте силу? Что делает мягких крепче стали? Мягкость мне приелась. Не раз я задавался вопросом: «А готов ли я стать коммунистом?» Иными словами: «Хватит ли у меня мужества делать то, что нужно?» Я понимал, как велика пропасть между «знать» и «делать». Самые благородные намерения она превращает в пустые мечты. «Делать» означает не давать спуску сердитым шерифам. Я знал, кто стоит за такими шерифами, и боялся этих блюстителей закона и порядка. Мне случалось видеть их за работой. Толстого они не читали.

Хмурым сентябрьским днем я потерпел свое первое поражение. Чахлые деревья в Бруклине сбрасывали листву. Мне было грустно, но это была не просто печаль осенних дней. На улице я стал свидетелем новой бередящей душу сцены. Я неожиданно заметил нескольких своих школьных товарищей рядом с родителями, которых я видел впервые.

Люди остались без крыши над головой. Они стояли в беззащитной обнаженности, все секреты их домашнего быта оказались выставлены на всеобщее обозрение, здесь же стояла мебель — громоздкая, чиненая-перечиненная. Кресла и кушетка были покрыты прозрачной, блестящей пленкой, и я понял — это для того, чтоб на них не садились. На них и правда не садились.

Пройти мимо школьных товарищей было труднее всего. Я проходил мимо каж-

дого, не смея поднять глаз, сгорая от стыда, зная, что и они в эту минуту сгорают от стыда. Случайно я поднял глаза раньше времени. Взгляд упал на перепуганного Солли Гросса — тот, видя, что я не смотрю, и считая себя в безопасности, исподтишка следил за мной. В его глазах я прочел не только стыд, но и возмущение моей жестокой изменой. Мгновение мы стояли молча и сверлили друг друга взглядами.

— Привет, Солли,— наконец выдавил я. Солли не смог даже ответить. Неожиданно какой-то тщедушный человечек взбунтовался. Он поднял громоздкое, уродливое кресло и, пошатываясь под своей ношей, потащил его обратно в дом. Выселенное семейство глядело на человечка с робкой благодарностью. Здоровенный полицейский без труда подавил это детское сопротивление. Кресло с легкостью было возвращено на тротуар. Последовало наказание — оно было не просто жестоким, оно было публичным. Дубинка и бицепсы показали свое решительное превосходство над тихим и беспомощным человеком. Впервые в жизни я увидел, как взрослый мужчина плачет и просит прощения, словно ребенок. И это было страшнее, чем кровь, струившаяся по его лицу. Выселенное семейство и зеваки вокруг — все отводили от него взгляд. Как же слабо и беспомощно добро!

Меня преследовал страх поражения. Я завидовал тем, кто действовал, не предаваясь мучительным размышлениям о добре и зле. Уличные мальчишки, которые и книг-то в жизни не читали, бесстрашно бросали вызов полиции, инстинктивно восставали против зла. И я хотел стать таким же.

Я винил мать, винил Толстого. Довольно! Во имя любви к миссис Ривкин я должен научиться ненависти. Значит, добрые должны уподобиться орлам? Да, но в то же время оставаться и голубями. Орлоголубь? Есть ли на свете такая птица? Может ли быть?

Сейчас наступило орлиное время.

Двое взмокших от пота грузчиков неуклюже волокли гордость миссис Ривкин — ее любимую двухспальную кровать. Грузчики никак не могли с ней справиться. Чистейшие накрахмаленные простыни свисали на землю, и ботинки грузчиков оставляли на них грязные следы. Вылинявший, старый матрац обнажился, выставив напоказ все свои безобразные пятна.

Худое, до времени состарившееся лицо миссис Ривкин залила краска стыда. Она зажмурилась, словно стирая в памяти эту сцену. В маминых глазах блестели слезы.

Матрац упал с глухим стуком. Широкогрудый крепыш-грузчик, раздраженно выругавшись, пнул его ногой, матрац съехал по ступенькам и застрял.

— Моя кровать! Моя кровать! — причитала миссис Ривкин, словно, расставаясь с этой кроватью, она расставалась с самой жизнью.

— Бессовестные,— закричала мама. Милые черты ее исказились от гнева и отчаяния. Неужели прав был папа? Неужели в этой бессердечной Америке даже бедные враждуют с бедными?

— Вы рабочие, почему же вы так поступаете? Разве вы не видите, что это ваша мать, ваши дети?

Нет, они не видели.

Стоны миссис Ривкин, хныканье детей подхлестнули меня. Я кинулся к соседям, я звонил во все звонки. Я кричал:

— Соседи, помогите! Смотрите, что они делают с миссис Ривкин и ее детьми!

Двери в отдельные конурки, по которым пряталась общая беда, приотворились. На меня глядели испуганные женщины. Они уже знали, что произошло, и все же в глазах их читался вопрос — вопрос, предназначенный лишь мне одному. Я не стал еще взрослым мужчиной, но в событиях этих мне уготована была мужская роль.

Я не мог забыть того тихого человечка с креслом. Как он просил прощения, когда его бил полицейский! Но больше, чем побоев, боялся я позора и бесчестья. Мысль о них сковывала волю. К действительности меня вернул пронзительный крик миссис Ривкин, которую наконец удалось оторвать от кровати. Из-под ногтей ее сочилась кровь.

Я смело ринулся вперед, вступив в неравный бой за кровать миссис Ривкин. Я отчаянно цеплялся за эту кровать, но грузчики презрительно смерили меня взглядом и грубо отшвырнули к стене. Раздались горестные женские вопли.

— Мама,— сказал я,— позови-ка сюда коммунистов.— Мама ответила мне испуганным, но горделивым взглядом. Теперь это была не просто моя мама, это была

горьковская Мать, а я был Павел, бесстрашно несущий первомайское знамя на глазах у царских казаков. Чудесный мир моих книг внезапно ожил.

Мама поцеловала меня в лоб, губы ее дрожали. На этот раз я не стыдился публичного выражения чувств.

— Будь осторожен,— прошептала она и неверными шагами стала спускаться по лестнице. Мама, хотелось мне крикнуть, не надо, не ходи! Должно быть, она услыхала эту мольбу, сердцем услыхала, потому что вдруг остановилась и повернула обратно. Ее доверчивое моложавое лицо омрачилось сомнением. Она направилась было ко мне, но, посмотрев на миссис Ривкин, решительно повернулась и пошла выполнять «поручение». И тут женщины, как тигрицы, кинулись на врагов. Они царапались, плевались, рвали ногтями. От неожиданности грузчики опешили, позорно отступили. Но торжество победительниц было недолгим. Послышался тревожный шепот: «Идут, идут!» — и появились полицейские. Мускулистые, с дубинками, которые они держали точно копья, они походили на римских легионеров.

Но не сила усмирила матерей, превратив их снова в обычных женщин. Их усмирило леденящее безразличие, с каким эти стражи порядка и законности взирали на разыгравшуюся трагедию. Нечего и говорить, что ни один из них не проронил ни слезинки. Кровать миссис Ривкин они взяли штурмом, как стратегическую высоту, и вскоре водрузили над тем, что от нее осталось, флаг законности и порядка.

Миссис Ривкин плакала. Она обнимала обломки кровати, гладила их, точно ребенок. В ней плакали память и боль. И каждая мать, каждая жена, которой было что вспомнить, плакали вместе с ней. Полицейские не шелохнулись. Я внимательно вглядывался в их лица — может, и этим людям в синих мундирах не чужда животворная человеческая слабость, именуемая жалостью? Я увидал, что некоторые молодые полицейские от стыда не поднимают глаз. На кровать миссис Ривкин они старались не смотреть. Ободренный этим открытием, я заговорил, хотя дышать мне почему-то было трудно. Я не вполне понимал, что значит для миссис Ривкин ее кровать, и все же чувствовал за этими вывернутыми пружинами подлинную человеческую драму.

— Матери, ведь это же мы с вами! — кричал я, задыхаясь.— Миссис Ривкин — это мы; это наши дети, наш дом! Никто не имеет права топтать нас ногами!

Лица полицейских были непроницаемы. Но лица матерей! То были лица троянских женщин!

Моя сбивчивая речь зажгла в них пламя гнева. Что может быть заразительней, чем правда, высказанная в простых, идущих от сердца словах?

Сержант, очевидно не раз участвовавший в подобных операциях, сразу же понял, что такая речь может вызвать бурю. Жесткая рука стиснула мне плечо. До этой минуты ни один взрослый, кроме отца, не поднимал на меня руки. Но отцовская рука, даже когда отец меня наказывал, не причиняла боли. Я всегда чувствовал, что рядом с отцовской суровостью где-то совсем неподалеку притаилась любовь. Но эта рука! Это была рука бессердечной Америки, погубившей моего бедного, во всем разуверившегося отца!

На секунду я похолодел; лицо человека в полицейском мундире теперь не казалось мне бесстрастным. Он ненавидел меня. Кругом царила ненависть. Ее кольцо сжимало меня со всех сторон. Мне досталось не меньше, чем злополучной кровати миссис Ривкин, только из разорванного матраца посыпалась вата, а из меня потекла кровь — такая алая, что я даже испугался.

В ребячьих драках не обходится без расквашенных носов, хоть, впрочем, ими обычно дело и кончается. Этих же, я понимал, разбитый нос не остановит. Все красивые слова и идеалы вдруг потускнели, стали казаться смехотворными и ничтожными. Я посмотрел вокруг: женщины шли на дюжих полицейских. В уличных стычках, в которых мне уже приходилось участвовать, женщины в расчет не принимались. Но до сих пор я не подозревал, что матери, согревающие мир своей целительной любовью, умеют с такой всепожирающей ненавистью отстаивать эту любовь. Они хорошо понимали разницу между расквашенным носом и кровопролитием.

Тепло их сердец защищало меня словно броней. О матери, родные сестры горьковской героини! Это вы внушили голубю, мечтавшему превратиться в орла, что он не должен уподобляться ястребу!

Толстому бы ярость этих бруклинских женщин!.. И голубь, как орел, бросился в атаку.

Испуганный сержант попятился, но замешательство его длилось недолго. Вскоре моя одежда была изорвана, руки и ноги покрыты кровоподтеками, но я ликовал. В квартирах Д-1, Д-2 и Д-3 меня любят! А ведь их обитателей я едва знал. Я прочел много книг о любви к людям, а у себя под носом ее не заметил!

И все же авторы этих книг, слыхом не слыхавшие о миссис Ривкин, любили ее. Просто они не знали ее адреса. А вы, Лев Николаевич Толстой из Ясной Поляны, хоть Вам и не довелось побывать у нас на Рокуэй авеню в Браунсвилле, Вы всегда были здесь, в американском доме сотен российских евреев, таких же, как мои мама и папа, которые привезли память о Вас с собой в эту бессердечную Америку. Вцепившийся в меня бульдожьей хваткой сержант был кровным братом инспектора Жавера. Я встретил его на страницах «Отверженных» Виктора Гюго и теперь сразу узнал, несмотря на современный мундир американского полицейского. Избитый и окровавленный долговязый подросток стал его добычей. Сержант, чертыхаясь, возился с наручниками — для меня они были слишком велики. Наконец, наручники щелкнули, металл врезался в запястья.

Но матери не желали меня отдавать. И чем крепче они меня держали, тем глубже впивался металл наручников.

— Пустите меня! Пустите! — взмолился я.

— Отпустите его! — подхватили они, еще отчаяннее вцепившись в меня. Наконец, к великому моему облегчению, они отступили.

Но тепло их сердец согревало, утешая меня и в плену. Они толпились вокруг взявших меня в кольцо полицейских, говорили что-то ласковое и ободряющее. Неожиданно я увидел в толпе миссис Ривкин.

— Мишенька! — с материнской нежностью взывала она. Я еще раз взглянул на миссис Ривкин и не узнал ее. Осунувшееся, бледное лицо, только что искаженное стыдом и отчаянием, теперь светилось любовью и горело от гнева.

Еще не осознав чуда, я ощутил его власть. Во мне росла мягкая теплая волна радости, я стал великаном, неуязвимым для страха, боли и даже ненависти моих тюремщиков. Я хотел обнять теперь не одних матерей, но с ними и все человечество.

И вдруг меня оторвали от матерей, словно внезапно весну сменила зима. Солнце померкло. Я был один в полицейском фургоне, в новом, страшном мире, а плачущая миссис Ривкин осталась где-то там, далеко... Я понял, что любовь и ярость матерей бессильны, и меня прошиб холодный пот.

Значит, вот она, реальность? Значит, все идеалы — лишь аккомпанемент? А что же происходит, когда обрывается основная мелодия? Тогда темнота?

Меня охватил ужас одиночества. Питаемый любовью может выстоять. Ну а одинокий? Тут требуется иное, новое мужество. Толстой тут не поможет, а Толстой был тогда единственной моей опорой. Я нетерпеливо ожидал новых пленников, но их не было. Мне захотелось опять увидеть лица наших матерей. Воспоминания мне было мало. Я приник к щелям в задней стенке фургона и в радужном ореоле увидел залитое слезами лицо миссис Ривкин. Но не это лицо хотел я увидеть. В толпе матерей, сгрудившихся вокруг фургона, я искал маму, но ее среди них не было. Затарахтел мотор. Сердце у меня упало. Любовь, тепло — все оставалось снаружи. А меня окружал холод и мрак. Какое-то пророческое тоскливое чувство шептало мне, что такова правда жизни. Но рано еще, рано!

Фургон тронулся. И тут я наконец увидел знакомую мамину фигуру. Мама стремительно бежала за отъезжающим фургоном. Я не слышал ее голоса, но по губам понял, что она кричит «Мишенька!». А позади нее возле пожитков миссис Ривкин стояли наши Робин Гуды — крепкий мрачноватый парень с оттопыренными ушами и решительным подбородком и невысокая девушка в кожаной куртке. Спокойно и безбоязненно глядели они на происходящее. Соорудив шаткую трибуну и не удостоив даже взглядом полицейских, моментально взявших их в кольцо, парень взобрался на трибуну, сжав в твердых губах сигарету, он в последний раз затянулся, затем отшвырнул сигарету и обратился к толпе. Мама стояла теперь рядом с ними, ее добрые глаза искали мой взгляд. Потом фургон прибавил скорость, все замелькало и расплылось, и больше я ничего уже не видел...

Я не решался признаться в этом даже самому себе, но Карл вызывал у меня страх. И, что хуже всего, он знал это и наслаждался этим.

На следующую неделю был намечен рейд в бюро по делам безработных, и Карл излагал план операции.

Он говорил бесстрастно, с четкостью поистине генеральской, но его холодные, серые глаза блестели, он то и дело облизывал потрескавшиеся губы. Сердце страны, которую отец считал «бессердечной», раскрылось мне в эти трагические дни. Я вдруг увидел подлинную Америку — страну несчастливых, но сердечных людей, страну братства. Мне тогда случалось голодать, одевался я во что придется, но никогда в жизни не был так счастлив. Когда Карл рассказывал о предстоящей операции, в его словах мне слышался отголосок той беззаветной отваги, которую я навечно связал с именами моих героев-революционеров. Я жаждал самых опасных поручений, мечтал подвергнуться испытанию. Если Карл и чувствовал, какую бурю поднял он в моей душе, то виду почти не подавал. Поглядывал он на меня с прежней цинической ухмылкой.

— Нам нужен доброволец, который возьмет на себя полицейского у двери,— объявил Карл. Он покосился на завсегдатая бильярдных забияку Джорджи Глейзера, но тот и глазом не моргнул. Полиции он не боялся, просто он усвоил суровую заповедь улицы — «не лезь на рожон». Джорджи ответил Карлу таким же холодным взглядом. Пусть опускают глаза те, кто не уверен в своих силах. Джорджи нашел себе дело куда важнее лихих партизанских вылазок, которыми здешние любители рискованных приключений пугали своих заклятых врагов — рыцарей полицейской дубинки. Полицейских Джорджи всегда ненавидел и теперь понял почему. Они наблюдали за порядком при выселениях, избивали голодных. На юридическом языке это называлось «законность и порядок». Джорджи рано узнал о том, что, оказывается, силу можно купить. С людьми из Совета безработных его, как и многих других, свел случай.

Вернувшись из путешествия по стране в товарном вагоне, он обнаружил большие перемены и на своей улице, и даже дома. Как будто без него тут произошло землетрясение! Прежние домашние неурядицы, погнавшие его на поиски тихой пристани, казались чем-то мелким и незначительным в том бедламе, который он застал дома по возвращении. Впервые вздорный зануда-отец пробудил в нем жалость. Папа стал теперь не просто человеком без родины, каким он представлялся сыну еще со времен погромов и их бегства из Польши. Папа стал человеком без определенных занятий, он был похож на школьника, сбежавшего с уроков. Только ему было не до игр! Попробуй тут поиграй с голодом и домовладельцем, когда на руках семья!

И однажды в доме Глейзеров появился агент бюро по делам безработных — худой, словно вымытый в карболке молодой человек, весьма гордившийся тем, что одолел толстый том уложений и циркуляров. Он изо всех сил старался показать, что пропитание семьи Глейзеров теперь в его холеных руках. Настойчиво и подозрительно расспрашивал он Джорджи о его «турне». Откуда он взял на него деньги? Как распоряжался своими заработками? Объяснять ему что-либо было бессмысленно. Внезапно он прекратил дознание, заявив, что, пока Джорджи не представит ему доказательств отсутствия у него «других источников дохода», дело его рассматриваться не может.

И тогда Джорджи, не удержавшись, размахнулся и... Нет, он не ударил молодого человека — лишь слегка задел его. Но вскоре в дверь уже ломились полицейские. Папа пытался урезонить сына, однако Джорджи разъярился. На этот раз он вложил в свой удар все скопившееся в нем негодование. Чтобы утихомирить его, пришлось вызвать еще двух полицейских. На суде Джорджи и познакомился с Карлом и другими членами Совета безработных.

Про себя я радовался молчанию Джорджи. Оно выгодно оттеняло мою решительность. Я встретился глазами с Карлом и как бы между прочим сказал:

— Я возьму на себя полицейского.

Но мой небрежный тон не ввел Карла в заблуждение. Он презрительно усмехнулся и кивнул. Предложение было принято. Я содрогнулся. Карла я боялся куда больше, чем полицейского. Тогда мне было еще невдомек, что отваги без примеси страха не существует. По наивности я путал страх с трусостью. А я боялся и потому чувствовал себя виноватым. Когда все разошлись, я подошел к Карлу. Наедине со мной Карл держался не так строго, даже по-дружески. Он похвалил меня за храбрость. Я обрадовался, но при виде его усмешки снова приуныл. Я пригласил Карла зайти к нам пообедать. Сделал я это не без некоторого колебания, опасаясь, что знакомство Карла с мамой полностью изобличит меня. И в то же время в глубине

души я хотел этого знакомства. Может быть, такое же любопытство заставило и Карла принять приглашение. Мы пошли ко мне домой. Мой новоявленный судья хранил настороженное молчание. Я тоже молчал, понимая, что любым словом могу себя выдать. Мы промолчали всю дорогу.

Мама встретила нас радушно. Ей нравились выступления Карла на митингах, а еще больше нравилось, как храбро вел он себя в уличных баталиях, сопровождавших выселения. Она распахнула двери для дорогого гостя и опустошила наш «ледник». Когда она смотрела на меня, взгляд ее лучился гордостью, на Карла же она поглядывала ласково и благодарно. Значит, и вы оценили моего мальчика, говорили ее глаза. Мне ли не понять этого маминого гордого взгляда! Я стыдливо краснел. Карл был явно тронут маминым гостеприимством и радушием. Впервые за время нашего знакомства я увидел на его лице не всегдашнюю усмешку, а мягкую, добрую улыбку и приободрился. Впервые Карл немного рассказал о себе. Он обращался больше к маме, чем ко мне. Этот рассказ произвел на маму удручающее впечатление и очень ее расстроил. Я же по простоте своей в исповеди Карла пытался отыскать истоки его хладнокровного мужества и неукротимой отваги. О слабовольном идеалисте-отце он говорил с нескрываемым презрением.

— Мой отец — трус.— Сказано это было тоном холодным и бесстрастным. Мама содрогнулась, но Карл продолжал свое клиническое исследование:— Несправедливость он замечал, да, ее он видел ясно. А как к ней относиться? — Карл сделал паузу и устремил взгляд на меня: — Отец внушал мне, что самое главное — это любой ценой избегать борьбы!

Я с неодобрением вспомнил мамины уроки. Должно быть, мама почувствовала мое настроение. Она попыталась защитить незнакомого нам человека:

— Но он указывал вам на несправедливость. Разве этого мало? — и осеклась, встретив мой пристальный взгляд.

Доброжелательность Карла сразу же как ветром сдуло.

— Да, мало! Надо все или ничего! — почти кричал он.

Мама сердцем потянулась к человеку, чей сын требовал «все или ничего». И впервые она испугалась меня. Мишенька, молили ее глаза, не надо быть таким! Но выражение моего лица сомнений не вызывало. «Все или ничего!» Карл посмотрел на меня и улыбнулся. Но тут же его взгляд опять посуровел.

— Мне дорого обошлась папашина доброта,— продолжал он, сверкнув глазами; слово «доброта» он произнес презрительно, точно выплюнул.— Доброта в джунглях! Он отправил меня на улицу, как овцу на бойню...

Как хорошо знал я эту бойню, куда попадают невинные души!

— ...но меня не зарезали. И знаешь почему? — Карл обращался теперь ко мне.— Да потому, что резал я.

Он коротко и зло рассмеялся. Вот ответ, которого я боялся, но в устах Карла он прозвучал жестокой правдой. Это была правда таких, как мы. Ее высказал человек, которого на моих глазах избили в кровь полицейские, когда он отказался отдать грошовый столик — он хотел вернуть его какому-то незнакомому выселенному семейству.

— Какой прок сейчас от доброты? — Его слова были отголоском моих мучительных сомнений. Мама вздрогнула: — Нужна сила, и только сила! — Слова гремели, как стальной молот по наковальне.— А значит, надо быть твердым! Так называемая доброта — это плащ, под которым прячется трусость!

Из последних сил я удерживал на себе этот плащ. Карл опять вернулся к рассказу об отце:

— Всю жизнь он был социалистом, только социализм его гроша ломаного не стоит. Люди тешат себя красивыми сказками! А знаете, что теперь помогает этому прекраснодушному мечтателю сводить концы с концами? — Он сделал эффектную паузу, и я замер, ожидая ужасного разоблачения...— Жалкие пособия безработных, забредающих в его бакалейную лавочку! — Он горько усмехнулся: — Вот чем кончают эти радетели за человечество!

Я был в замешательстве. С Толстым так легко не расправиться.

Но кто из бродивших по нью-йоркским улицам, похожим на военный лагерь под открытым небом, мог не согласиться с тем, что прежде всего сейчас требуется «сила, и только сила»? А чтобы быть сильным, нужна твердость и злость! Но если не всем это дано? Значит, таким не должно быть места? Казалось, выбора нет. Я пал духом,

но все же решил держаться Карла и переделать себя по образу его и подобию. Впервые на моих глазах мама потерпела поражение. Она знала, как бороться с ястребами, но не с теми из них, кто был на нашей стороне. Моложавое лицо ее словно постарело, и я устыдился своих мыслей. Я хотел сказать ей: «Мама, я случайно!» Но внутренний голос твердил мне: «Нет, не случайно, не случайно...» Я сломил это сопротивление в самом себе. Мама умоляюще смотрела на меня, но я отводил взгляд. Она обезоружила меня и беззащитным отправила в джунгли, как отправил Карла его отец. Сразу припомнились страдания моих детских лет. Я вновь пережил боль и унижение каждой уличной драки. Карл избежал этой участи, раз и навсегда отвергнув отца. Я же обманывался, считая маму бессмертной горьковской Матерью, а на самом-то деле она была покорная мать из толстовских романов. Мама страдала молча. Я переменился не только к ней. Объявив войну мягкости и доброте, я с нарочитой грубостью цедил слова, разговаривая с приятелями; старался не принимать близко к сердцу рассказы о чужих горестях. Даже в уличных моих выступлениях чувствовалась перемена. Если раньше они были прямым и безоглядным выражением боли и протеста, то теперь я говорил резко и властно. Внутри была пустота. Меня словно подменили. Но странное дело — силы не прибавлялось. Я начал ощущать растущее отчуждение товарищей, все чаще ловил недоуменные взгляды Джорджи. Я был совсем не похож на него, но именно это, наверное, и привлекало его ко мне. После каждого уличного митинга он разыскивал меня и рассказывал, какое впечатление на него произвела моя речь.

— Знаешь, старик, я бы и сам в точности так же сказал, да не умею, вот беда! — Загрубевшее лицо его мягчело, глаза увлажнялись, и он не стеснялся этого. Потом продолжал вдруг охрипшим голосом: — Я всегда хотел высказать, что у меня на душе, в самом нутре, чтоб каждый понял... И никогда не умел, а говорил только вот ими... — Он поднимал два тяжелых кулака и смущенно оглядывал их.— И в такие переделки из-за них попадал! — Его детская беспомощность вызывала во мне какое-то отеческое чувство.— Знаешь, старик, ты им скажи за меня! Скажи все как есть!

Неожиданная перемена во мне встревожила Джорджи.

— Что с тобой стряслось, старик? — спрашивал он.— Сегодня ты не то чтоб очень... Вроде меня прямо...— В голосе его звучало разочарование.— Как Джорджи лаяться — это ведь всякий может,— тоскливо говорил он, и я чувствовал себя так, будто обманул его надежды. Преображение не принесло мне успеха. Его не одобрял никто, кроме Карла. А тот был доволен таким «прогрессом».

Утром в день рейда Карл внес последние уточнения в план операции. Задача состояла в том, чтобы заставить местное бюро по делам безработных признать наш Совет. Бюро оставило за собой право рассматривать каждый случай отдельно и «в порядке, предусмотренном законом»; последнее означало — втискивать его в прокрустово ложе до смешного мизерных сумм, выделяемых на помощь безработным, и драконовских правил, в соответствии с которыми она предоставлялась. Надо было во что бы то ни стало проникнуть в это бюро. Организованные группы туда не допускались. Дюжий полицейский, стоя в дверях, осуществлял первую стадию «отсева». Большинство активистов ему примелькались, но я был в Совете человеком сравнительно новым, и потому задача моя была проста. Мне предстояло оттеснить полицейского от дверей и держать его, пока участники рейда не проникнут внутрь. А уж тогда мы не уйдем, не добившись официального признания нашей организации. Добивались мы его ради неимущих. Джорджи, не пожелавший стать добровольцем, теперь не отставал от меня.

— Я буду рядом, старик, слышишь? — Он подмигнул мне, и я почувствовал себя увереннее.

Карл нахмурился — план операции этого не предусматривал,— но промолчал. Я уже не раз принимал участие в столкновениях с полицией, когда кого-нибудь выселяли, но это носило характер стихийный. В таких случаях меня подхватывала волна всеобщего негодования. Теперь же у меня было время поразмыслить, припомнить, как угрожающе выглядит полицейский у двери. Еще больше, чем полицейский, смущала меня усмешка, притаившаяся в уголках глаз Карла. Эта усмешка заслоняла от меня жалкие, изможденные лица соседей. Мне стало стыдно. Рейд я рассматривал как свой дебют — значит, я должен потрясти всех, а в особенности Карла своею храбростью. Опять это «я» вылезает на первый план! Ну куда от него деться? Смутно я чувство-

вал, что мне предстоит не просто испытание. Сумей я преодолеть страх, мне легче было бы ответить на «проклятый», преследующий меня с самого детства вопрос: может ли добро победить зло, не изменяя при этом самому себе? Но сейчас я больше всего боялся струсить. Надо доказать, что я не трус. И ничего не подозревавший полицейский, охранявший врата местного бюро, должен мне в этом помочь.

Бюро по делам безработных помещалось в двухэтажном, складского типа здании из красного кирпича, где раньше располагалась обувная фабрика. Полицейский у дверей помахивал дубинкой злобно и угрожающе, но, когда он вглядывался в лица отчаявшихся людей, в глазах его появлялась неуверенность. Страшнее всего были лица женщин, в особенности черных, многие из этих женщин уже не первый год были для своих голодных, боязливых ребятишек не только мамами, но и папами. Они толпились вокруг участников рейда, смешивались с ними. Излагая «дело», каждая в подтверждение своих слов указывала на бледных и изможденных ребятишек. Мы были уличными «защитниками бедняков». Но суд не признавал таких «защитников». У меня попросила помощи молодая негритянка с двумя перепуганными, цеплявшимися за ее юбку малышками. Она сразу уверовала в магическую силу моего карандаша. Я писал, и она, радостно улыбаясь, подсыпала мне все новые и новые подробности. Дети, учуяв перемену в настроении матери, теперь уже весело играли неподалеку. И полицейский, и насмешка в глазах Карла вдруг показались мне чем-то мелким и незначительным. Я все писал, и каждое движение карандаша было словно удар шпаги. Сейчас я думал только об одном — лишь бы что-нибудь получилось! Она верит в силу моего карандаша, и эту веру я не могу, не имею права предать. Джорджи записывал вместе со мной, а потом читал написанное вслух, с трудом разбирая свои каракули. Меня поразило трогательное, нежно-заботливое выражение его лица. Карл же продолжал руководить всем, сохраняя прежнее хладнокровие. И вдруг мне почудилось, будто маску бесстрастия прорвало, будто он испытывает то же, что и все мы. Но даже если и не почудилось, длилось это только один миг. Карл вернул нас к действительности и посоветовал не тратить времени на выслушивание жалоб.

— К чему вся ваша писанина, если чиновники из бюро нас в упор не видят! Беднягам это невдомек, но мы-то не должны забывать!

Как всегда, он был прав. И опять все заслонила фигура полицейского у двери. Теплая волна уверенности отхлынула. Я был теперь один — и я боялся. Я стоял лицом к лицу с рыцарем дубинки — полицейским. Мы, друг против друга, и Карл. Я бросился к молодой негритянке и двум повеселевшим ее дочуркам, заглянул в волшебную глубину их глаз. Теперь я снова слушал, писал, снова чувствовал себя большим и сильным. Я прочел свою запись. То была скорбная мольба о жизни: «Больше недели Лиза и Лила без молока. Лиза стесняется ходить в школу в рваном платье, а Лила все прячет дырки на башмаках. И скажи там в бюро, что я не могу отыскать своего мужа. Нет, он не бросил меня и детей не бросил. Он ищет работу, а ведь найти ее и белому нелегко». Я покосился на Лизу с Лилой. Они кокетливо улыбались мне. Этот смешной белый, что записывает мамины слова, видно, не только добрый, но и сильный. Мама повеселела, смотри-ка! А белый пишет и пишет, чтобы ничего не забыть, чтобы сделать все как надо, чтобы не ошибиться. Это как письмо Санта Клаусу, даже вернее, потому что пишет его сам Санта Клаус.

Полицейский у дверей словно стал меньше ростом. По знаку Карла я сжал в руках свои записи и двинулся к двери. Джорджи, как и обещал, последовал за мной. Вот он, старший брат, которого мне всегда так не хватало. Полицейский приоткрыл дверь пошире. Тут уж опасаться нечего — какой-то худющий паренек с бумажками... Тяжелая рука легла мне на плечо Я взмахнул исписанными листами и прямо в лицо опешившему полицейскому выкрикнул:

— Лиза и Лила!

Полицейский не слишком встревожился — такие сцены ему здесь приходилось видеть каждый день. Он сунул мне в руку жетон.

— Становись в очередь! — Я чуть было не послушался. Потом окинул взглядом очередь — она извивалась, как змея, огибая квартал. Долго же придется ждать Лизе и Лиле! Я оттолкнул полицейского и стал в дверях.

Полицейский растерялся, но оторопь быстро прошла, и он схватил меня за горло. Однако я не почувствовал ни боли, ни страха. Никакого «я» для меня в ту минуту не существовало, о чем разъяренный человек, словно тисками сдавивший мне горло, и не подозревал. Я не помню, что произошло дальше — об этом я узнал потом

из рассказа Джорджи. Но я, как сейчас, вижу летящего с лестницы полицейского и его изумленное лицо. А потом бюро захватили взбунтовавшиеся безработные. Успех словно прибавил всем силы: ведь если мы смогли ворваться в бюро, значит, можно заставить и равнодушную руку чиновника подписать волшебный клочок бумаги, возобновляющий ведение давно закрытого «дела». А страх на лицах тех, кто привык сам внушать страх, укреплял это чудесное сознание силы. Полицейские ошеломленно молчали, а вечные молчальники выплескивали в лицо перепуганным чиновникам все застарелые свои обиды, все оскорбления, проглоченные, но не забытые. И самое главное — люди говорили друг с другом. Каждый рассказывал историю своего несчастья. О таком размахе мы и мечтать не могли! Джорджи строчил как сумасшедший. Один Карл глядел на происходящее все с той же внешней невозмутимостью. Он одобрительно кивнул мне. Я долго ждал этого одобрения, но теперь, как ни странно, оно мне было уже не нужно.

Карл собрал наш Совет. Мы подошли к растерянному коротышке — заведующему бюро. Тот был удручен, озадачен, совершенно сбит с толку. Он привык заниматься «трудными случаями» — престарелыми, убогими, неприспособленными. Но сегодня вся Америка — сплошной «трудный случай». А он, чиновник социального обеспечения, к смущению своему, вынужден был признаться себе, что превращается в полицейского. Минуту назад капитан полиции сообщил ему, что особый отряд уже в пути и нужно только выиграть время до его прибытия. Однако новость эта не порадовала заведующего. Он знал, как управляться со своими агентами, но отряд полицейских? Он предвидел упреки со стороны коллег. Но им проще. Они работают в частных благотворительных организациях, «одаряют» покорных, преисполненных благодарности бедняков.

Ему оставалось только одно. Городские власти недавно сообразили наконец, что полицейской дубинкой голодных не испугаешь. Создали фонд экстренной помощи и распространили специальный циркуляр, разрешающий в исключительных случаях, во избежание кровопролития, вступать в переговоры с «организованными группами». Первый же беглый взгляд на толпу безработных убедил чиновника, что для переговоров самое время.

Карлу уступки были не нужны. К «легким победам» он относился с недоверием. Они неизменно оказываются ловушками. А подачек надо избегать больше всего — это самые хитрые ловушки. Цель же — добиться официального признания. Он подошел к столу с видом генерала, чья армия во много раз превосходит силы противника. Джорджи, я и другие ждали, что он скажет.

Карл внушал всем уважение. Когда твердость в цене, жесткость нередко принимают за мужество. Сплошь и рядом вместо хлеба голодных кормят благопристойной ложью. И вполне понятно недоверие, с которым они воспринимают все, что нельзя увидеть, взять в руки, попробовать на ощупь или на вкус, унести с собой. До завтра еще надо дожить. А сегодня земля горит под ногами. Переговоры шли прямо на поле боя. Лиза и Лила стояли в печальном ожидании. Джорджи держал свои драгоценные записи, словно срочные векселя. Чиновник понял, что придется выложить все карты. Он и не пытался юлить. Для этого не было времени. Он посмотрел на Карла, затем перевел взгляд на капитана полиции. Чувствовалось, что оба настроены решительно. Назревала стычка, и ему было страшно. Он всмотрелся в лица членов Совета. Я перехватил его умоляющий взгляд и тут же поспешил нахмуриться — сурово, как Карл. Наши лица должны выражать одно.

Чиновник попытался начать беседу. Он потянулся к записям Джорджи. Но Джорджи судорожно прижал их к себе. Коротышка ухмыльнулся:

— Так это и есть дела, которые вы составили? — В его словах я различил снисходительность профессионала, но больше завладеть бумагами он не пытался. Он глянул на ручные часы, и лицо его выразило отчаяние.— Я же не полицейский.

Карл язвительно усмехнулся. Чиновника передернуло, но он продолжал:

— Я не в состоянии выполнить все, о чем вы просите. Многое не в моей компетенции... Но в разумных пределах сделать кое-что я могу.— Говоря это, он понизил голос и внимательно посмотрел на Карла — понял ли тот его намек? Ответом ему было ледяное «принципиальное» молчание. Джорджи напряженно слушал. Почуяв, что запахло уступками, он притиснулся к Карлу и толкнул его локтем. Карл отмахнулся и еще решительнее вздернул подбородок.— Случаи, требующие безотлагательного вмешательства,— продолжал чиновник,— будут рассмотрены со всей доброжелательностью.

Мы выдадим этим людям талоны на получение пособия из фонда экстренной помощи на то время, пока будет проводиться обследование.— Он горделиво улыбнулся.— Не такие мы черствые, как вы думаете.— Он бросил сочувственный взгляд на толпившихся рядом безработных.

— По делам и слава,— заметил Карл.

Его реплика потонула в хоре одобрительных возгласов. Коротышка озабоченно помолчал, собираясь с духом для новой попытки. На лице капитана полиции выразилось нетерпение.

— Не стоит сейчас упрекать друг друга,— заискивающе сказал чиновник,— но если вы готовы внять голосу рассудка,— теперь он чеканил каждое слово,— тогда и я сделаю все, что в моих силах.— Он помолчал.— Повторяю: я согласен выдать всем остро нуждающимся талоны на пособие из фонда экстренной помощи на время проведения обследования.— Он громко сглотнул.— Согласен на еженедельные переговоры с представителями вашего Совета...

Раздались ликующие возгласы, и чиновник радостно улыбнулся. Помолчав, он небрежно добавил:

— Только, как вы хорошо понимаете, ваши представители не должны входить сюда через парадную дверь. Они будут пользоваться задней дверью.

Смысл этого дополнительного условия был совершенно ясен.

Оно должно было помешать массовой регистрации, подобной сегодняшней. Такая регистрация осложнила бы работу бюро, что вызвало бы неудовольствие в центральном бюро. Чиновник сделал все что мог. И, надо отдать ему справедливость, пошел дальше, чем большинство его коллег, окажись они на его месте. Что же до деталей, то в них участники рейда не вникали. Услышав слова «талоны на пособие из фонда экстренной помощи», они радостно зашумели. Признание нашего Совета они сочли само собой разумеющимся — ведь это признание было ими сегодня завоевано. А парадная дверь или задняя — какая разница, если она открыта для наших печалей? Но Карл был явно озабочен. Ловушка оказалась весьма хитрой. А ничего не подозревающая жертва хлопает ушами! Неожиданно он прервал переговоры и отозвал в сторону членов Совета. Мы вышли за ним в пустую приемную. Карл заговорил с вдохновением пророка, которому открылась вся глубина разверзшейся пропасти:

— Кажется, нас ожидает замечательная победа, но она может обернуться ужасным поражением...

Он понизил голос, словно заглянул в пропасть. Мы почтительно слушали, хотя были немало озадачены. Один лишь Джорджи не ведал сомнений. Мы победили, но по какой-то неведомой причине Карл эту победу отрицает. Джорджи были чужды как боязливость, так и доктринерская узость взгляда. Во мне же боязливости было предостаточно, а узость взгляда я в себе успешно развивал. Я научился уже подвергать сомнению разумные доказательства. Нет, все не так просто, в иных случаях и здравый смысл не советчик. Слушая Карла, я подавлял в себе простодушный голос рассудка. Для Карла «парадная дверь» была символом освобождения. Победа входит лишь через парадные двери!

— Вы сами сегодня видели, что произошло, когда мы ворвались в парадную дверь! — торжественно возгласил Карл. Это была бесспорная истина. Довольный произведенным впечатлением, он продолжал: — Вот этого-то как раз они больше всего и опасаются.— Он сделал паузу и убежденно заявил: — Да, предложение выглядит куда как заманчиво...— Он ждал возражений, но даже Джорджи молчал.— Для них это настоящая находка.— Он с отвращением сплюнул.

«Парадная дверь» оказалась новым испытанием на мужество. Жизнь обещала не одно такое испытание.

Решение наше было почти единодушным, но Джорджи уперся и отказался голосовать. Почему? Во всяком случае не из страха — страх ему неведом. Значит, Джорджи не видит ловушки? Угрюмость Карла и мрачное молчание членов Совета были сразу же замечены — гомон ожидания стих. Лиза и Лила мгновенно прекратили игру и испуганно вглядывались в озабоченное лицо матери. Что же это с Санта Клаусом? Во мне заныла совесть, но я ничего не желал слушать. «Парадная дверь» даст им несравненно больше. Но убедить в этом безработных, минуту назад уже торжествовавших победу, оказалось труднее всего. Заявление Карла они встретили недоуменным молчанием. Совсем как Джорджи! Между военачальниками и их

армией внезапно выросла стена. Люди по-прежнему окружали нас, но теперь лишь физически. Вера, доверие были утеряны. Лица стали чужими. Я чувствовал себя Золушкой, услышавшей, как часы пробили полночь. Моя карета опять обернулась тыквой, а белые лошади — мышами. Мне не давало покоя ощущение какой-то ужасной совершенной нами ошибки.

Глаза Карла горели фанатической решимостью. Я припомнил прошлые уроки Карла, он предупреждал меня — вот такие минуты и есть испытание для революционера. Бывает, что приходится «идти наперекор». Надо опасаться «легких путей», которые так прельщают людей политически незрелых. Но для того и существуют вожди, чтобы уберечь их от катастрофы, к которой может привести неопытность. Карл не замечал, что все изменилось. Для него часы так и не пробили полночь. Коротышку чиновника тоже словно подменили: он стал строгим и неприступным. Применение силы теперь вполне оправданно. Пролитая кровь не падет на его голову. Он шепнул что-то капитану полиции, и тот понимающе кивнул. С привычной наглостью и напористостью полицейские вклинились между нашей группой и толпой безработных. Их маневр почти не встретил сопротивления. Безработные медленно и неохотно вернулись на свои места. Часы пробили полночь, и для них тоже. Однако некоторые демонстративно держались поближе к нам и знаками подзывали остальных. Во мне вновь пробудилась надежда. Я вспрыгнул на скамью. Взгляд мой выхватил из толпы молодую негритянку — мать Лизы и Лилы. Я потряс в воздухе исписанными листками бумаги:

— Не разрешайте им обращаться с этим как с бумажным хламом! Мы лишь ведем регистрацию, а само дело — в ваших руках!

Еще несколько человек, встав со своих мест, приблизились к нашей кучке. На скамейках беспокойно заерзали. Люди не сводили глаз с исписанных листов, которые я держал в руке. Я размахивал ими как боевым штандартом. Джорджи тоже поднял свои бумаги. Повсюду вверх взвивались новые бумажные «знамена». Скамейки быстро пустели. Карл торжествовал. Дело оборачивалось в нашу пользу, и быстрее, чем он рассчитывал.

Вдруг раздались угрожающие возгласы — это прибыл особый отряд! Бумажные знамена замерли в воздухе, некоторые безжизненно попáдали на пол, но Джорджи упрямо не опускал своего знамени. Люди отхлынули к скамейкам — на многих лицах читалось теперь не только смущение, но и страх. Джорджи преградил дорогу какому-то невысокому, крепко сбитому парню, пытавшемуся незаметно ускользнуть.

— Испугался? Дохляков этих? — Джорджи презрительно сплюнул.— Чего тебе терять-то? — напрямик спросил он. Парень нерешительно переминался с ноги на ногу. Он чувствовал неловкость, но убедить его Джорджи не мог и бросал умоляющие взгляды на меня.

— Скажи ты им, старик, скажи!

А я, как оратор на трибуне, ощущал одновременно свою силу и беспомощность, смелость и страх, единство со всеми и одиночество, я жаждал найти слова, способные совершить чудо. Но чуда не произошло. Сказать мне ничего не пришлось. В толпу стремительно врезались полицейские. Меня схватили и начали бить дубинками и кулаками, но никто этого не видел, потому что меня со всех сторон окружали полицейские. Когда они расступились, люди ахнули, увидев синяки и кровоподтеки у меня на лице и руках. Теперь новым знаменем сделалось мое окровавленное лицо. Карл, мгновенно почувствовав воинственное настроение толпы, сменившее страх, теперь, как боевым штандартом, «потрясал» мною.

— На помощь! Не давайте им забрать его! В полицейском участке они его прикончат! — предостерегал он. Полицейские, вновь сомкнувшись вокруг меня, приготовились к обороне. Контрнаступление возглавил Карл, сохранивший спокойствие истинного полководца. Он разбросал членов нашей группы среди неорганизованной толпы, словно командиров. Теперь даже Джорджи поглядывал на него хоть и хмуро, но с уважением.

Я же наблюдал за ним благоговейно. Я сравнивал мои метания от страха к безрассудной отваге с неизменным бойцовским хладнокровием Карла. В конечном счете оно ценнее приступов жертвенного восторга. Нет ничего сильнее холодной ненависти, ибо она спокойна, трезва и последовательна. Я был обескуражен, растерян. Я мечтал быть таким, как Карл, но знал, что это невозможно. Неужто я тоже должен стать ястребом? Неужели иначе мне нет места в мире? Всю жизнь я отка-

зывался примириться с этим. Всю жизнь труднее всего мне было оставаться самим собой. Но, притворяясь другим, я неизменно терпел самое постыдное поражение. Карл же верен себе, и в этом источник его силы и спокойного мужества. Таков, мол, я есть! Неужели правда? Нет, не может быть! Мне нужна была хоть крупица надежды. Я обернулся к Джорджи. Объединив вокруг себя самых молодых и крепких, Джорджи сколотил из них как бы ударный отряд. Он сновал, точно капитан футбольной команды на поле, он делал знаки, негромко отдавал распоряжения. Полицейские превратились всего лишь в команду противников. Он ласково заговорил с моей негритянкой, а перепуганные Лиза и Лила не сводили с него глаз. Он хотел отвести ее в безопасный уголок, но та отказалась двинуться с места. Джорджи растерялся. Что это за война, если женщины — старые и молодые, многие из них с ребятишками, цеплявшимися за материнский подол,— наотрез отказываются уйти с переднего края! Но Джорджи видел, что наибольший страх вызывали у полицейских именно эти женщины, в чьих глазах сверкала такая ярость. Он не пытался переубедить негритянку, но распорядился, чтобы наши люди окружили защитным кольцом женщин с малолетними детьми.

Карл озирал поле боя, готовясь отразить нападение. Заработали дубинки. У моей негритянки из раны на голове хлынула кровь. Лиза и Лила отчаянно закричали. Джорджи бережно поднял их и передал грудастой еврейской женщине, потом, разорвав свою рубашку, забинтовал негритянке голову. Молодая итальянка сунула ребенка матери и бросилась помогать Джорджи.

— Ма, следи за Сальваторе! — крикнула она. Ее престарелая мать прижала ребенка к груди.— Сволочи проклятые! — в сердцах воскликнула молодая итальянка.— А мой братец еще хотел в полицейские податься! — Она презрительно плюнула.— Ничего, голубушка, все обойдется,— она гладила по голове негритянку, которая была едва жива от страха. Доктора, ради бога, позовите доктора!

— Доктора! — подхватил Джорджи. Он схватил за грудки полицейского сержанта.— Глядите, что вы наделали! Глядите, черт бы вас побрал!

Сержанта обступили возмущенные женщины.

— Глядите, что вы наделали! — кричали они вслед за Джорджи. Но сержант не хотел глядеть. В панике он звал подмогу. Несколько дюжих полицейских навалились на Джорджи. Тот яростно отбивался, но полицейские в кровь разбили ему голову и поволокли в комнату, где уже находился я. Не прошло и минуты, как сюда же втащили отчаянно брыкавшегося Карла. Джорджи в упор посмотрел на Карла. Взгляд его был вопрошающим и гневным. Он отер кровь с лица и обернулся ко мне.

— Это ты, старик? — Он хотел положить мне руку на плечо, но полицейский ткнул его в лицо, и из рассеченной брови опять потекла кровь.— Ах ты сволочь!

Ему заткнули рот новым ударом.

— Оставьте его в покое, хватит! — взмолился я.

— Хватит? — Полицейский усмехнулся и дал мне зуботычину.— Да я еще и не начинал! Погодите, красные подонки, вот доставим вас в участок...

Карл бросил на меня презрительный взгляд, и этот взгляд был больнее всех тычков полицейского, вместе взятых.

В участке сонный, скучающий полицейский сержант зарегистрировал нас. Дело обычное. Такое уж сейчас время. На все свой порядок. Надо составить протокол, и поаккуратнее. Он занят чистой работой, а что там рядом делают ребята из особого отряда — его не касается. Нас впихнули в холодную пустую комнатушку и поставили к стене. Вошли двое здоровяков в штатском с опухшими лицами, помахивая тяжелыми резиновыми жгутами. Я слыхал уже об особых свойствах этого оружия. Удары им очень болезненны и не оставляют на теле никаких следов. Но, как и все на свете, боль относительна. Она ощущается по-разному в разных обстоятельствах. Эта горькая истина открылась мне еще во время первого столкновения с полицией, когда я оборонял кровать миссис Ривкин. Теперь же в браунсвилльском полицейском участке я окончательно уверился в этом. В разгар битвы плечом к плечу с тобой твои товарищи, и их присутствие умеряет боль; лишь потом, когда остаешься один, раны начинают ныть. Теперь вновь я ощутил боль в полную ее силу. Болью меня не просто наказывали, меня испытывали. Вот оно, мое горчайшее испытание!..

Я не сдержал крика боли и покосился на Карла. Если он и услышал, то не подал виду. Я перехватил взгляд Джорджи. «Молодец, старик! Просто молодец!» — говорил этот взгляд. Мой «старший брат» рядом! Вытерпеть следующий удар было

гораздо легче. Вскоре я перестал считать удары. Но вдруг появился капитан полиции.

— Хватит! А то совсем исколошматим. Ведь им сейчас в суд!

Двое с опухшими лицами опустили свои жгуты. Один принялся оправлять на мне одежду.

— Причеши космы! — приказал он.

Но у меня не было расчески.

— Держи! — рявкнул он и протянул мне черную расческу почти без зубьев.

По пути к полицейскому фургону мы глотнули свежего воздуха, и это нас взбодрило. Но еще больше, чем свежий морозный воздух, ободрили меня лица наших безработных. Среди них я вдруг увидел лицо, которое мечтал увидеть. Опять засияло солнце. Мама изо всех сил крепилась, чтобы не расплакаться. Я слабо улыбнулся и беззвучно, одними губами шепнул: «Мама!»

Судья явно не спешил разбирать наше дело, видя, что для нас самым подходящим местом был бы приемный покой больницы, а не зал суда. Адвокат требовал немедленного разбирательства, но судья отрицательно покачал головой. Слушание было отложено на две недели, и нас отпустили на свободу под поручительство адвоката. У выхода нас встретила толпа, как покрытых шрамами героев войны. К нам тянулись руки друзей — черные и белые. Они нежно сжимали наши ладони, совали нам яблоки, леденцы, домашнее печенье. И мы, довольные, грызли все эти лакомства. Воздух пахнул огуречной свежестью. Солнце тоже улыбалось нам. Женщины окружили меня плотным кольцом. А рядом с ними стояла мама.

— Это мой сын! — повторяла она, и глаза ее блестели. Наконец женщины почтительно расступились, и тогда мама смогла обнять меня. Пальцы ее нежно гладили бинты на моей голове, коснулись покрытой кровоподтеками щеки.

— Мишенька, Мишенька,— шептала она. Солнце слегка потускнело. Его внезапно затянули облачка.

— Мама, не плачь, ну пожалуйста! — взмолился я.

Ее светлое лицо пробудило во мне веру моих детских лет — веру в добро. Мне захотелось обнять не только ее одну, но и всех матерей, всех моих товарищей. И Карла тоже! Мне хотелось сказать ему: «Не надо стыдиться любви, не надо стыдиться быть добрым!»

И вдруг мне стало жаль Карла. Все глядели на него благоговейно, с восхищением. Матери пальцем указывали на него детям и что-то шептали им. Но подходили к нему немногие, да и те, неловко потоптавшись и пробормотав несколько одобрительных слов, спешили присоединиться к толпе, окружившей остальных «героев». Карл не удерживал их. Даже эти робкие проблески чувства смущали его, и лишь когда почитатели разошлись, он вздохнул с облегчением. Но тут к Карлу приблизились тщедушный интеллигентного вида мужчина и смуглая тоненькая женщина с энергичным и выразительным лицом, в котором было что-то знакомое. Увидев окровавленные бинты, мужчина содрогнулся от ужаса и обнял Карла. Женщина тоже бросилась его обнимать. Казалось, в Карле пробудилось какое-то ответное чувство. Он неловко похлопывал по плечу тихо плакавшую женщину, но лицо его оставалось бесстрастным. И все же маска прорвалась, и я увидел под ней искаженное страхом лицо ребенка. «Карл, сдайся, ну сдайся же!» — мысленно молил я его. Но Карл не сдался. Он вырвался из объятий и оттолкнул тщедушного мужчину с такой силой, что тот упал — ошарашенный, испуганный, оскорбленный — и тихо заплакал. Женщина наклонилась и помогла ему подняться. Она ласково поцеловала его и с упреком взглянула на Карла.

— Папа любит тебя, Карл!

Но лицо Карла уже вновь закрывала непроницаемая маска. Слова были бессильны.

Джорджи поглядел на Карла с откровенной ненавистью. Потом подошел к его родителям и крепко их обнял. Моя мама бросилась к Джорджи и поцеловала его.

Этот эпизод омрачил радостную встречу героев. Молча шел я домой вместе с матерью. Я не мог забыть горько плакавшего человечка. Добрые всегда плачут. Все их бьют. Даже хорошие люди и те их бьют. И боль от этих ударов сильнее, чем от ударов злых людей. Мне здорово досталось от полицейских, и своими ранами я гордился. Текла кровь, было больно, но боль умеряли нежность и любовь. Теперь же мои раны опять начали кровоточить, но бальзама нежности для них не находилось. Припомнились все забытые обиды.

Материнские руки обняли меня.

— Мишенька...— шептала мама. Я прижался к ней и заплакал. Я плакал о добрых, плакал о хороших людях, обижающих этих добрых. Нет жестокости горше, непостижимее. Раньше я жаждал невозможного. С самого детства жизнь принуждала меня сделать выбор между двумя человеческими качествами, которые в глубине души я считал нерасторжимыми. Но я не хотел делать этот выбор. А теперь понял, что никогда и не смогу его сделать, как бы властно ни требовала этого жизнь. Но ведь и другие гонялись за призраками невиданных орлоголубей. Даже забияка Джорджи. А почему не Карл?.. Я взглянул на маму. Ее не терзали подобные загадки. И в существовании орлоголубей она не сомневалась. Она сказала, словно цитируя Горького:

— Сын, никогда не стыдись доброты.— В глазах ее мелькнула тревога.— Крепче держись за нее,— продолжала она умоляюще.— Так легко ее потерять, и это так ужасно.— Она помолчала.— Нет, я не понимаю этой страны...— И вдруг голос ее окреп, зазвучал увереннее: — Эта твоя Америка совсем другая, и все-таки она так похожа на мою Россию! — Ее лицо осветилось воспоминаниями юности.— Сильных много. Но надо быть сильным и в то же время добрым. Если б ты только понял, как это прекрасно!

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ГАЛИНЫ БАШКИРОВОЙ «Рай в шалаше». Издательство «Христо Г. Данов».

«Избранное» в двух томах ИВАНА ЕФРЕМОВА. Издательство «Народна младеж».

Повесть ЛЬВА КАССИЛЯ и МАКСА ПОЛЯНСКОГО «Улица младшего сына». То же издательство.

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Петровка, 38». Издательство «Христо Г. Данов».

«Избранное» АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ. То же издательство.

Повести и рассказы ГРИГОРИЯ ТЮТЮННИКА. Издательство «Народна младеж».

ВЕНГРИЯ

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Магветё».

Роман АРКАДИЯ и ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРОВ «Лекарство для Несмеяны». Издательство «Зрини».

Роман ЮРИЯ ДАВЫДОВА «Две связки писем». Издательство «Европа».

«Повесть для детей» ЭНО РАУДА. Издательство «Мора».

Повести РУВИМА ФРАЕРМАНА «Дикая собака Динго» и «Дальнее плавание». То же издательство.

Рассказы РЕГИНЫ ЭЗЕРЫ. Издательство «Европа».

ГДР

«Воспоминания о Булгакове» СЕРГЕЯ ЕРМОЛИНСКОГО. Издательство «Фольк унд вельт».

Романы КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Живые и мертвые» и «Последнее лето». То же издательство.

Повесть-сказка ИРИНЫ ТОКМАКОВОЙ «Счастливо, Ивушкин!». Издательство «Киндербухферлаг».

Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Неоконченный портрет», кн. 1-я. Издательство «Фольк унд вельт».

МЕКСИКА

Сборник избранных трудов МИХАИЛА БАХТИНА «Эстетика словесного творчества». Издательство «Сигло вентиуно».

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ

Победителю достанется все

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО и Н. ФЕДОРОВОЙ

На такси, что дожидалось у подъезда, они проехали три квартала до ресторана, который, по уверениям Урбана, славился своей французской кухней. Внутри, как в пещере, царил полумрак, на столиках, покрытых красными скатертями, тускло горели электрические свечи — словом, Фогтман ждал совсем другого. Он предпочел бы широкий стол, белую скатерть, много света. Здесь же все было приспособлено для укромных свиданий, но отнюдь не для деловых переговоров, когда необходимо хорошо видеть лицо собеседника и требуется чувство известной дистанции. Еда — на закуску артишоки, потом баранина по-прованski,— на его вкус, тоже была самая обыкновенная. Правда, от тщательно скрываемого волнения у него пропал аппетит, ему вообще было трудно как ни в чем не бывало есть и болтать с этими людьми, словно только ради этого он сюда и пришел.

Он твердо решил не заговаривать о деле первым и ждал, что скажет Урбан. Тот, однако, прикинулся страстным гурманом, большим любителем красного вина и никуда не торопился. Прежде чем вышить, он аккуратно отирал губы салфеткой, потом поощрительно поднимал бокал, приглашая Фогтмана присоединиться. В тусклом блике электрической свечи лицо его слегка лоснилось, и когда он обнажал в улыбке свои крупные резцы, в нем проглядывало выражение какого-то первобытного буйства, что, видимо, объяснялось просто физиономической причудой и никак не было связано с его настроением. Подозвав официанта и заказав новую бутылку вина, он принялся рассказывать о своем прошлогоднем отпуске в Провансе, нахваливая густые, терпкие, пурпурные вина ронской долины, потом, как истинный знаток французской лозы, перешел к бургундскому.

Зачем он все это говорит? К чему ломает комедию? Обстоятельное совещание с официантом, придирчивое разглядывание этикетки — для кого, черт возьми, вся эта дешевка, вся эта почти неприкрытая показуха, которая раздражала Фогтмана, подстегивая его нетерпение ничуть не меньше, чем льстивый голос Кирхмайра, ловко вплетавшийся в беседу. Как и утром, он не мог определить, существует ли между ними тайный сговор или каждый преследует свою цель и только соображения субординации соединили их в столь слаженный тандем. Утром Урбан предоставил слово Кирхмайру, теперь, за ужином, вел разговор сам. На правах хозяина застолья, шефа, наконец, просто старшего он во всем блеске показывал себя, свой стиль жизни и, ожидая заслуженного уважения, перелистывал каталог своих впечатлений: римский театр в Оранже, мост Пон-дю-Гар, рынок в Ниме с его роскошными зелеными и рыбными рядами...

— Вам непременно надо туда съездить,— советовал он Кирхмайру,— но по возможности не раньше сентября, когда поток туристов схлынет. Только тогда и можно по достоинству оценить этот край. В эту пору он снова обретает свою первозданность.

Обращаясь к Кирхмайру, Урбан как бы снисходительно преодолевал дистанцию между собой и подчиненным, тем самым лишний раз давая Фогтману, своему гостю

Продолжение. Начало см. в № 6, 1986 г.

и деловому партнеру, эту дистанцию почувствовать. С другой стороны, у Фогтмана сложилось впечатление, что Кирхмайр всячески подлаживается к Урбану, хотя наверняка с не меньшим, чем он, Фогтман, нетерпением ждет, когда же наконец они перейдут к делу. Он пристально взглянул на Кирхмайра, и ему почудилось, что в глазах у того на миг вспыхнула хитринка сообщничества. «Все идет хорошо,— казалось, говорил ему этот взгляд,— рыбка уже на крючке». Но он не подал виду, что понимает этот намек.

Наконец, уже за кофе, Урбан велел принести сигареты, выбрал одну — Фогтман с Кирхмайром отказались — и, смачно попыхивая, сквозь тягучие клубы сизого дыма спросил:

— Так что же вы решили, господин Фогтман?

Он ответил без околичностей:

— Я вынужден настаивать на получении денег.

Урбан кивнул, долго изучал огонек своей сигары, потом поднял глаза. Он не должен почувствовать мою неприязнь, мелькнуло у Фогтмана. Слишком уж высокого он мнения о своей персоне. С тем большим удовольствием он собьет с него эту спесь, дайте только срок...

Неужели сам Урбан этого не понимает? На что он рассчитывает? Ладно Кирхмайр, но уж он-то должен сообразить, что от смены владельца ровным счетом ничего не выгадает. Или дела и впрямь так плохи, что, боясь потерять все, Урбан вынужден ухватиться за подброшенную Кирхмайром соломинку, лишь бы спасти себя и фирму. Или по крайней мере попытаться спасти...

— Вы должны меня понять, господин Урбан,— продолжил он. — Я не на шутку встревожен. Я нисколько не сомневаюсь ни в ваших деловых качествах, ни в способностях господина Кирхмайра. Я вижу: у фирмы превосходные рыночные позиции, неуклонно растущий оборот. Все это и побудило меня в свое время к столь активному сотрудничеству. Тем больше пугает меня неплатежеспособность. Я просто не понимаю, как могли возникнуть такие осложнения.

Это был решающий момент: Урбану следовало окончательно определить тактику. Либо он и дальше будет пытаться делать хорошую мину при плохой игре, либо раскроет карты и расскажет об истинном положении дел. Либо он оплатит все поставки и предъявит новые гарантии... Либо... Голос Кирхмайра по телефону намекал на другую возможность, на конкретное предложение, которое ему будет сделано. Именно этого предложения он теперь и ждал, сгорая от нетерпения, однако Урбан, попыхивая сигарой, все еще колебался или делал вид, что колеблется.

Но тут он наконец ответил, и такого ответа Фогтман ожидал меньше всего:

— Чек вам выписан, господин Фогтман.

Выходит, Кирхмайр, безмолвно застывший на своем стуле, просчитался? Или Урбан в последний момент передумал? А может, это только блеф?

— Я в любом случае немедленно предъявлю его к оплате,— сказал он.

— И правильно сделаете,— отозвался Урбан. — Я даже вынужден просить вас об этом. Хоть это и причинит нам известные затруднения.

— Значит, затруднений вы не отрицаете? — наседал он, решив не отступаться. Но в глубине душе ему было страшно доказывать правоту своих опасений, ибо судьба его теперь накрепко срослась с судьбой этой фирмы и чек Урбана, даже если он не липа, ничуть его не спасет.

— Затруднения, бесспорно, есть,— вымолвил Урбан.

— К сожалению. Несмотря на все наши старания,— поддакнул Кирхмайр.

Урбан никак не отреагировал на это замечание. Он стряхнул пепел с сигары. Было что-то странно торжественное, почти жреческое в этом жесте.

— Вышеупомянутые затруднения,— произнес Урбан загадочно,— кому-то могут повредить, а кому-то и принести пользу. Я вижу только один способ обратить их нам на пользу. Ведь, в сущности, причина бед совсем не в нас...

Три часа спустя Фогтман вернулся в гостиницу — взбудораженный, задыхаясь от волнения. Самообладание, которое он с таким трудом сохранял во время беседы с Урбаном и Кирхмайром, покинуло его уже в вестибюле, и, к изумлению ночного портье, он, минуя лифт, через две ступеньки взбежал по лестнице на третий этаж и с шумом распахнул дверь своего номера. Все произошло именно так, как и предсказывал Кирхмайр.

Урбан рассказал, каким образом намерен вывести из дела Хохстраата и передать фирму в его руки. Первейшее условие Фогтмана — тщательная проверка всей финансовой документации — было принято безоговорочно. Путь был открыт, будущее распласталось перед ним бескрайним простором — входи, завоевывай! Отныне все пойдет по-новому.

И чек ему вручили как бы между делом. Завтра же утром он предъявит его к оплате. Ближе к двенадцати еще раз позвонит Лотару. Уже в конце переговоров, когда они с Урбаном и Кирхмайром зашли вышить в бар, он успел позвонить Лотару и срочно вызвал его в Мюнхен. Лотар ему необходим — ведь решать нужно немедленно, пока Урбан не подыскал других претендентов. Если Хохстраат вдруг выкинет белый флаг, они должны быть во всеоружии.

Лотар сперва было заупрямился, но потом загорелся. Видно, тоже заразился его горячкой. Ему нужно только отложить две деловые встречи. Если это удастся, он обещал быть в Мюнхене завтра к ночи.

Может, позвонить еще раз, объяснить, что дело не терпит? Ведь такая возможность выпадает раз в жизни. У Лотара, правда, нюх на такие вещи, но вдруг он еще ничего не понял? Хотя нет, пожалуй, не стоит. Первый час, Лотар, наверное, уже спит. А вот сам он ни за что не заснет. Надо бы свежим воздухом подышать. Или напиться. В мини-баре есть виски и пиво, но оставаться в номере неохота. Тут как в тюрьме, а ему еще столько ждать, нет, он тут не выдержит. Слишком он возбужден, слишком ему не по себе. Даже чек на такую большую сумму и то как-то беспокоит. Да здесь ли он? Надо проверить. Он сунул чек в бумажник, в потайное отделение, да, вот он. «54 347 м.» и прописью — «пятьдесят четыре тысячи триста сорок семь марок», а ниже размашистая подпись Урбана и печать фирмы. Обычно такие суммы разбивают на несколько чеков, но Урбан предпочел красивый жест. Подумать только: клочок бумаги — а какие таит в себе возможности! Сколько людей убивали из-за куда меньшей суммы, сколько людей с куда меньших денег начинали строить свое счастье. У себя в кабинете он вряд ли стал бы об этом размышлять, но здесь, в гостиничном номере, все видится иначе. Эта бумажка, которую он разглядывает при свете дешевой люстры, столько всего сулит в будущем. Он задумчиво поднес ее к губам и поцеловал. Холодная, гладкая, почти неосязаемая, она, казалось, вот-вот растает в темноте, ибо на какой-то миг он зажмурился.

Он сунул чек обратно в потайное отделение, и тут на глаза ему попалась фотокарточка: темноволосая молодая женщина в купальнике на фоне спокойной глади южной бухты. Йованка, какой она была двадцать три года назад. Он давно уже о ней не вспоминал. Если Йованка вообще жива, она, конечно, давно уже не та, что женщина на фото, чье тело столь обольстительно и нежно купается в игре света и тени. В некотором смысле она ведь лучшее, что было у него в жизни, и когда он женился на Элизабет, она еще долго тревожила его воображение, словно грозный и манящий призрак, но постепенно все это умерло.

Да? Разве? Почему же так забилось сердце? Неужели эта картинка, этот запечатленный миг давно минувших времен все еще струит свое таинственное излучение, которое он прежде всегда ощущал, стоило ему склониться над снимком? Но нет, это уже другое — всего лишь отзвук воспоминаний, оживший фантом.

В последний раз он видел ее, когда она, голая, в дремотном забытьи, лежала на кухонном столе. Для нее это был конец, для него это было начало. Лживыми посулами он вынудил Йованку согласиться. Чтобы удержать его, она убила в себе ребенка.

Нет, он дважды виделся с нею и после. Объяснил ей, что считает продолжение их отношений бессмысленным, что им надо расстаться. От тех встреч сохранились лишь смутные, тягостные воспоминания: ее лицо, вначале растерянное, а потом, что было всего хуже, окаменелое. Теперь ей, должно быть, сорок пять, и она безвозвратно затерялась в другой жизни. Да и зачем бы ему искать ее?

Новый день встретил его ослепительной синевой неба, бездонную высь которого лишь кое-где прочеркнули нежные стрелки перистых облаков. Быть может, они предвещали фен или какой-нибудь другой ветер с альпийских вершин, но дышалось легко, он чувствовал во всем теле приятную легкость и потребность двигаться. Заснул он с трудом, зато спал, судя по всему, сладко и крепко и проснулся от какого-то счастливого сна, тотчас же забытого, но все еще тихо отзывавшегося в каждом движении, когда он последним из постояльцев заканчивал свой завтрак, удивляясь искри-

стой белизне утреннего света, пролившегося на скатерть. Все предметы на столе, казалось, вбирали в себя эту белизну, чтобы, каждый на свой лад, переполниться ею и потом излучать. В этом полнозвучии утра все виделось каким-то более весомым и отчетливым. Белый кубик сахара, извлеченный из обертки, поразил его своим почти сакральным совершенством, а фаянсовая чашка с трещинкой в глазури приятно тяжелила руку, словно воплощение твердой и счастливой уверенности.

Чуть позже, когда он неторопливо шагал по Людвигштрассе к площади Одеонсплац, мимо гордых охряных фасадов, выставлявших напоказ столичный лоск, чистоту, ясность и изысканность своих очертаний, на него вдруг снова нахлынуло то упоительное ощущение восторга, что разбудило его утром. С удивлением созерцал он мир вокруг себя, такой просторный и до невероятия телесный, и ощущал свою слитность с этим миром, а в следующий миг словно испытал вновь сладостный толчок пробуждения, будто все это приснилось ему во второй раз. Прислушиваясь на ходу к замиранию этого толчка, вместе с которым, однако, не исчезло пьянящее чувство легкости, он сказал себе, что все это и вправду почти как сон, и счастье по-прежнему жило в нем ощущением удивительной и благодатной ясности, пронизывая каждое биение пульса и окрыляя его шаги.

Первым делом он зашел в мюнхенское отделение своего банка и предъявил чек. Потом послонялся по оживленным улицам и площадям в центре города, останавливаясь перед витринами антиквариатов и ювелирных магазинов, художественных и модных салонов — он покупал глазами. Вся эта красовавшаяся за стеклами роскошь — инкрустированные столики, шкафчики в стиле барокко, тяжелые серебряные канделябры, редкостный фарфор, старинный хрусталь и драгоценности на подушечках черного бархата — возбуждала его не потому, что он непременно хотел приобрести все эти вещи, а самой своей доступностью, причастностью к иной, высшей жизни, которую вели другие, те, кто добился своего, избранные счастливцы, баловни судьбы, к коим вскоре будет принадлежать и он.

К полудню он возвращался в гостиницу с большим полиэтиленовым пакетом, неся в нем свой старый костюм. В модном салоне мужской одежды он купил себе легкий итальянский блейзер, светлые брюки и после примерки решил не снимать. Хотел немного привыкнуть к обновкам, прежде чем появится в них вечером у Катрин.

Как и было условлено, он позвонил Лотару, который тотчас же снял трубку.

— Я одно хочу от тебя услышать,— сказал он. — Ты едешь?

— Так и быть, эксплуататор. В порядке исключения.

Лотару удалось выкроить три-четыре дня, он приезжал ночным поездом. Еще утром, после завтрака, Фогтман наудачу заказал ему номер, а заодно продлил и свой.

— Я тебе действительно ужасно благодарен,— сказал он. — Вот кончим дело — и устроим в Мюнхене ночной загул.

— Да уж не сомневайся,— буркнул Лотар.

Сегодня все шло как по-писаному. Но то были только маленькие бурунчики удачи в кильватере огромного корабля счастья, который повстречался ему вчера.

В предвечерний час, когда солнце уже окрасило свои лучи теплым золотистым отливом, он неспешно бродил по Английскому парку. Он купил газету, намереваясь почитать на скамейке в парке, но, когда нашел подходящее место, уже забыл о ней и, пребывая в приятной и бездумной рассеянности, просто смотрел на сочную зелень пышных крон и ровных лужаек, на которых, куда ни глянь, мельтешили люди: кто играл в мяч, кто прогуливал собаку. Тут ему вспомнилось, что надо бы позвонить в контору: они ведь с Элизабет условились. Впрочем, в случае чего ей и так дадут его гостиничный телефон. Мысль о предстоящем свидании с Катрин почему-то тяготила его. Слишком уж она взбалмошная, слишком от нее устаешь. Пожалуй, куда лучше провести этот вечер одному. В кино бы сходил. Но она ждет, и он не пойдет на попятный, за ним такого не водится.

Он встал, сунул нечитаную газету в урну и направился к колоннаде ротонды, возвышавшейся на холме. Там расположилась группа молодых парней, они курили, тянули пиво из бутылок, один бренчал на гитаре. Фогтман стал в стороне, они за ним наблюдали. Когда он собрался уходить, от группы отделился широкоплечий верзила и заступил ему дорогу.

— Минуточку, босс. Можно вас на два слова?

— Что такое? — раздраженно спросил Фогтман.

— О, мне так неловко, так неловко,— начал верзила, всем своим видом пока-

зывая, что буквально сгорает от стыда, не решаясь высказать свою просьбу. Парни, для которых он и разыгрывал этот спектакль, дружно рассмеялись. Фогтман оглянулся. Кроме него и парней на холме пока что никого не было. Но кругом столько людей, кто-нибудь наверняка подойдет.

— В чем дело? — спросил он.

Парень смотрел на него с вызывающей ухмылкой.

— Замечательный вопрос. — Снова раздался хохот, и парень с угрожающей фамильярностью тронул его за плечо.— Видите ли, босс, я бежал из заключения. Как насчет небольшого социального пособия?

Сейчас надо повернуться и уйти, подумал Фогтман. Скажу «нет» и пойду. В крайнем случае они крикнут что-нибудь ему вслед, задержать его они не посмеют. Но он слишком долго раздумывал. Лучше не связываться, лучше уступить. Он небрежно достал из кармана десятку.

— Нате, ребята, отдыхайте,— сказал он.

Такого поворота верзила явно не ожидал: он ошарашенно уставился на бумажку у себя в ладони, потом пробормотал: «Большое спасибо, шеф» — и отошел к остальным.

Неужто я испугался? — спрашивал себя Фогтман, спускаясь по дорожке. Да, он сдрейфил в ту секунду, когда этот тип цапнул его за плечо и он почувствовал, что все на него смотрят. Вот тут-то и надо было уйти, спокойно, ни слова не говоря. А давать десятку — это, конечно, жалкий, беспомощный жест. Тогда уж надо было дать гораздо больше, чтобы они и впрямь оторопели. Хотя и это смешно, хорош триумф, нечего сказать. Нет, надо было просто уйти, непременно уйти, но он испугался. Этот отвратительный, подлый страх, в котором пузырится память о прошлом и который всегда изливается потом в приступе ненависти. Надо было пригрозить им полицией! Как же, их бы это только пуще развеселило. А если пойти в полицию сейчас? Пока патруль приедет, их уже и след простыл.

Раздосадованный на себя, он шагал по дорожке. Решил дойти до Китайской башни, выпить там пива, чтобы успокоиться, а уж потом отправиться к сестрам в их «Лисью нору». Что же ты не радуешься? Радуйся! — уговаривал он себя. Вчерашний разговор с Катрин вдруг показался чуть ли не сном. Тут он вспомнил, что надо еще купить цветы, наверное каждой сестре по букету.

— Что же ты не позвонил еще раз?! — упрекнула его Катрин, открывая дверь.— Ну вот, я не успела уложить волосы и теперь похожа на пугало. Дорис, к сожалению, полчаса назад ушла. Просила передать тебе привет. Не смотри на меня, у меня жуткий вид.

Она была в длинном темно-зеленом платье из какой-то мягкой, бархатистой материи, на голове тюрбаном закручено белое махровое полотенце.

— Спасибо,— сказала она, принимая цветы, два пестрых летних букета, он даже не знал толком, из каких цветов.— Прелесть! Для меня и для Дорис, так я понимаю?

— Да, но, может быть, они поместятся и в одной вазе. Наверняка будет еще красивей.

— Я так и сделаю,— сказала она, оглянулась по сторонам, затем подошла к напольной вазе и, поставив в нее цветы, стала расправлять их быстрыми, уверенными движениями.— Вот так мне нравится. А тебе?

— Сперва воды надо налить,— сказал он, любуясь ее склоненной над цветами фигуркой.

— Это и ты можешь сделать.

Она встала и передала ему вазу.

Следуя ее указаниям, он прошел в ванную, аккуратно просунул между стеблей хоботок ручного душа и пустил воду. Потом с любопытством принялся разглядывать флаконы и баночки с кремом на стеклянной полке перед большим зеркалом, стаканчики с зубными щетками, полотенца, накидки и прочие мелочи и только тут вполне осознал то, что и раньше было ему давно известно: сестры живут вместе. Живут вдвоем в этой двухкомнатной квартире с кухней и ванной, и, наверное, у них так заведено: одна уходит к своему кавалеру и ночует у него, другая принимает гостя на дому.

Он вернулся в гостиную и поставил вазу на прежнее место. Из соседней комнаты слышалось жужжание фена, пущенного на полную мощность. Он огляделся.

Обстановка самая заурядная: светлый пушистый ковер, белая книжная стенка с проигрывателем и двумя динамиками, мягкие кресла возле журнального столика, кожаный диванчик, обеденный стол возле окошечка в кухню, на широком низком подоконнике цветы в горшках. За окном — балкон, куда он как раз собирался выйти, когда гул фена оборвался и Катрин, уже без тюрбана, вошла в комнату. Она сказала, что у нее болит голова, и протянула ему руки — пусть сам попробует, какие ледышки. Это все от погоды, уверяла она. Давление падает, а когда погода меняется, она обычно либо зла на весь свет, либо ей просто неможется.

— Тогда уж лучше легкое недомогание,— сказал он, целуя ее руки и прижимая их к щекам. Потом поведал ей об инциденте в парке.

— Мерзость какая! — воскликнула она. — Знаю я этих типов. Они ко всем лезут. Ко мне тоже приставали. И такие нахальные, просто кошмар. Надеюсь, ты ничего им не дал?

— Дал, к сожалению,— признался он.

— Никогда этого больше не делай, слышишь! Господи, неужели совсем перевелись настоящие мужчины, чтобы дать отпор какой-то там шпане? С этим сбродом надо пожестче, они тогда сразу идут на попятный.

— Учту и в следующий раз постараюсь исправиться.

— По-моему, ты недостаточно уверен в себе. В этом все дело.

— Так научи.

— Нет, я серьезно, а тебе бы все шутить.

Он улыбнулся — слишком уж строго она на него смотрела, слишком надменно скрестила руки на груди. Внезапно капризная детская гримаска передернула ее лицо.

— Ну вот, всяким там хулиганам деньги раздаешь, а меня даже не поцелуешь.

Он не знал, как отнестись к ее словам, но снова улыбнулся:

— Это мы сейчас наверстаем.

— Да? А ты сумеешь?

— Сумею.

Он шагнул к ней, она отступила назад, потом еще и еще. Когда она уперлась в стену и дала себя поймать, он невольно подумал, что она, наверное, всегда так делает.

— Осторожно, у меня волосы еще мокрые,— шепнула она, подставляя ему губы, неожиданно мягкие и податливые. Вскоре они уже были в постели, и она, обеими руками прижимая его голову к своей груди, шептала: — Поцелуй вот эту. Это моя любимица. Она меньше. Пожалуйста, поцелуй ее, а то ей будет стыдно.

Одеваясь, он поглядывал на нее. Нагая, она лежала на постели, и пышный ореол распущенных волос придавал ее телу почти бесплотную воздушность, напоминая сказки про эльфов. Он не рискнул бы утверждать, что почувствовал ее до конца. Было что-то озорное и даже строптивое в ее любви, и это сковывало его, мешало забыться. Так что и он ничего особенного не изведал, скорее все было почти привычно. Минутами ему казалось, что она вовсе не хочет замечать, с кем она, и старается забыть об его присутствии. Словно вся ее страсть только к тому и устремлена, чтобы отрешиться от него и остаться одной. Она то вскидывалась, то извивалась, то вцеплялась в него, словно ища защиты, и стесняла его движения. Изменившимся голосом, тоненьким и почти детским, она лепетала что-то жалобное, но потом вдруг с коротким смешком больно куснула его, поощряя на новые ласки. Ишь как выкладывается, подумал он, но с каждой новой переменой все меньше узнавал ее, облик ее как бы дробился на множество разных женщин. И сейчас, когда он склонился к ней, чтобы поцеловать на прощание, в сознании промелькнул смутный и неопределенный образ чьей-то тайной обиды и грусти.

— Не вставай,— сказал он.

В темноте лицо ее казалось очень бледным, а глаза — огромными и почти черными.

— О чем ты думаешь? — тихо спросила она. — Я же вижу, у тебя скверные мысли. У меня интуиция, я знаю, ты подумал о чем-то плохом.

— Да нет, мне было хорошо с тобой,— ответил он вежливо.

— Знаю я вас,— сказала она.— Все вы негодяи.

Не одеваясь, она проводила его до двери и там снова обняла. Прижимая к себе мягкое, нежное тело, он вдыхал теплый аромат ее кожи. Внезапно она два раза пихнула его животом, словно шутливо напоминая об их любовных играх.

— Приходи еще,— сказала она на прощание. — Обязательно приходи, слышишь!

Полчаса спустя — по пути он еще выпил кружку пива — он входил в гостиницу. Портье передал ему ключ от номера, какой-то конверт и, сделав рукой неопределенный жест, сообщил:

— К вам пришли.

В холле сидел Лотар, курил и читал газету. Засовывая конверт в карман, Фогтман направился к нему.

— Эй, дружище! — окликнул он. — Вот это лихо! Ты уже тут как тут.

— Да вот решил разведать, чем ты тут занимаешься.

Лотар встал, и они обнялись, похлопывая друг друга по плечам.

— Я так рад, что ты приехал. Теперь мы это дело мигом провернем.

— Само собой,— ответил Лотар. — Но чур, я буду председателем твоего наблюдательного совета.

— А кто же еще, Лотар? Ты — кандидатура номер один.

Они сели. Всякий раз, когда они с Лотаром не виделись хотя бы несколько дней, Фогтман при встрече с изумлением распознавал в этом тяжелом, багровом лице гипертоника, в этих тонких, обидчивых губах черты молоденького очкарика-блондина, с которым познакомился в парке у Патбергов на вечеринке в честь дня рождения Элизабет. Тогда, без малого девятнадцать лет назад. Лотар считался ее женихом. Но она об этом забыла и всю ночь протанцевала с ним, а Лотар безропотно отступился. С тех пор Лотар вот уже почти два десятилетия его друг и консультант, и, к счастью для себя, он научился следовать его советам.

— Как думаешь,— спросил он,— не выпить ли нам по такому случаю? Тут за углом вполне приличный кабачок.

— Можно,— ответил Лотар,— только недолго. Мне на боковую пора, завтра надо быть в форме. — И как бы в подтверждение плохого самочувствия грузно поднялся с кресла. — Ну что, как там в Дании? — спросил он, когда они вышли на улицу.

— О, прекрасно, отдыхай — не хочу.

— По тебе и видно. Или это уже Мюнхен? Красавиц-то наших уже навестил?

— Как раз оттуда.

— Ну вот видишь. Я же тебя знаю.

Из темноты на них вдруг выплыла странная, нелепая фигура — оборванный одноногий калека на костылях, увешанный набитыми полиэтиленовыми пакетами. Он проковылял мимо, как огромная белая гроздь.

— Лотар, ты видел?

— Барахольщика? Конечно. Очередной псих с манией собирательства. Здесь кого только не встретишь.

Да, верно. Его неудержимо тянуло обернуться.

Вид у калеки был и вправду безумный, он так торопился унести свою добычу, словно за ним гнались. Надо бы рассказать Лотару про встречу с этой шайкой в парке. Да нет, ни к чему, только лишний раз злиться...

— Вот и пришли.

Он пропустил Лотара вперед, тот выбрал столик в нише. Не успели они чокнуться, как он принялся расспрашивать про Элизабет. Все еще к ней неравнодушен. Просто бзик какой-то. А ведь у него за спиной уже два развода. Обе жены от него сбежали. Теперь он пьет, втихую и в открытую, тучнеет и багровеет на глазах. И все же лучшего консультанта в целом свете не сыщешь. Это большая удача — иметь такого друга. Но сегодня Лотар действительно неважно выглядит. Надо его уложить, а то, чего доброго, свалится прямо тут или начнет нюни распускать.

— Ну хорошо, я плачу,— сказал он.

Он полез в карман пиджака, где обычно держал мелкие деньги, и неожиданно нащупал конверт, полученный от портье. Совсем забыл, подумал он, с легкой тревогой вынимая листок. Это была записка с известием от Элизабет, которая звонила вечером, сразу после его ухода,— сообщение было столь неожиданным, что он не сразу уразумел его смысл.

— Что такое? — всполошился Лотар. — Неприятности?

Почему же неприятности, подумал он, поднимая глаза. Это как посмотреть.

— У Патберга удар.

— О господи, старина Патберг! — простонал Лотар. — Какое несчастье для Элизабет!

Для нее — да, думал Фогтман, для нее — несчастье.

Но мысль его уже начала работать — деловито, с холодной сосредоточенностью. Завтра он еще останется в Мюнхене, познакомит Лотара с Урбаном и Кирхмайром, поможет начать проверку документации. К вечеру у них уже будут первые результаты. Ночным рейсом он вылетит в Гамбург, а уж наутро на машине отправится в Орхус, куда Патберга отвезли в больницу. Элизабет просила передать, что остановилась в Орхусе в привокзальной гостинице и очень надеется, что он приедет.

А чего ради, собственно? Ведь Патберг еще не умер. А ухаживать за ним он все равно не сможет. Но видимо, именно сейчас она ждет от него поддержки, а если Патберг не оправится, она будет его единственным финансовым компаньоном, и, насколько он ее знает, ее решения очень во многом будут зависеть от того, как он поведет себя сейчас.

Да, ему надо думать за нее, следуя ее логике, а для нее сейчас важно только одно: семья в беде, и в минуту несчастья все должны быть рядом, а прежде всего он, ее муж.

— Тебе, наверное, надо ехать,— сказал Лотар.

— Да,— кивнул он,— я как раз думал о том же.

Повисшая в воздухе тяжелая кисло-сладкая вонь ударила в нос, когда он, слегка усталый и одеревенелый после долгой езды, вылез из машины у привокзальной гостиницы в Орхусе. Время было обеденное, все вокруг куда-то спешили. Он пристально вглядывался в лица прохожих. Неужели ни один из них не чувствует запаха? Видимо, от фабрики, над которой повисло грязное облако паров и дыма,— милая картина, ничего не скажешь.

Он вошел в гостиницу, осведомился о Элизабет. Ее нет, она оставила ему записку: уехала в больницу, ждет его там.

Опять за руль! — подумал он с досадой. Нет уж, он возьмет такси, а сперва выпьет кофе. У него не было ни малейшего желания ехать в больницу. Если у Патберга и правда удар, значит, все лицо перекошено и говорить он не может. Его, наверное, еще и кормить надо с ложечки, и суп будет течь по подбородку. Элизабет, конечно, себя не жалеет, даже перебралась сюда жить, не то что остальные, эти по-прежнему на отдыхе, и Ютта тоже. Как-то не готов он к встрече с Элизабет, не готов ответить на ее долгий, испытующий, полный надежды взгляд. В Мюнхене у него была передышка. А теперь вот все начнется снова. Ну да как-нибудь, благо что и ситуация не слишком располагающая.

Ладно, поезжай, хватит тянуть резину! — уговаривал он себя. Господи, ну и вонь! Вот наказание... Стараясь не дышать, он дошел до стоянки и сел в такси. Выяснилось, что ехать недалеко. Почему все больницы так похожи? Старые темнокирпичные корпуса и эти современные коробки из стекла и бетона, вопиюще безликие и практичные. Такси въехало в ворота и развернулось у главного входа. Он расплатился и вылез.

Уже здесь ему встретились первые больные, в халатах, надетых поверх пижам, они прощались с родственниками, пришедшими их навестить. Может, легкобольные, а может, и безнадежные, кто их разберет. От здоровых людей их можно было сразу отличить по плавной, медлительной и боязливой экономности движений, придававшей их облику что-то потустороннее. Неприкасаемость и обреченность. Нет, ему здесь не место. Этот вестибюль с коричнево-белой мозанкой паркета, с цветами в горшках и кожаными, со стальными подлокотниками диванчиками, на одном из которых, тихо беседуя, расположились женщина с маленькой девочкой и мужчина с бледным, изможденным лицом,— все это было входом в искусственный мир, таивший фальшь и угрозу. И здесь чем-то пахло, вернее, не пахло ничем, кроме стерильного, безжизненного воздуха, из которого вытравили множество неприятных запахов. За стеклянной перегородкой у пульта сидел дежурный в белом халате. Фогтман не стал его расспрашивать, в записке Элизабет было указано отделение и номер палаты. Ему нужно на третий этаж. Он решительно распахивал стеклянные двери, шел по длинным коридорам мимо шаркающих больных и торопливых медсестер, поглядывая на путеводные буквы и цифры на дверях и стенах.

Последний поворот — да, это здесь. Возле двери, вплотную к стене, каталка. И больше ничего — голый, пустой коридор.

На секунду оробев, он раздумывал — постучать или не надо? — но рука уже сама отворила дверь.

Палата была двухместная. На ближней кровати никого не было, на дальней, наполовину заслоненный Элизабет, которая сидела рядом на стуле, лежал Патберг.

Она сразу обернулась, он увидел ее растерянное лицо, заплаканные глаза, и пока он прикрывал за собой дверь, она вскочила и бросилась к нему, тяжело и беспомощно поникнув у него на руках.

— О, Ульрих! — прошептала она. — Спасибо.

Она всхлипнула, задрожала и еще теснее прильнула к нему, так что ему пришлось сделать усилие, чтобы поддержать ее. Через ее плечо он увидел Патберга — тот лежал на постели неподвижный, с заострившимся, восковым лицом, губы почти бесцветные. Выражение этого лица так не вязалось с трепетными содроганиями тела Элизабет в его руках. Это было выражение полного покоя, холодного и непререкаемого. Патберг был мертв.

7. *Всеми страхами и помыслами*

У кладбищенской стены останавливались машины, подъезжавшие одна за одной. Тихо захлопывались дверцы. За прутьями ограды проплывали аккуратные — только что от парикмахера — прически, скорбно-почтительные лица. Приглушенные приветствия, сдержанные рукопожатия. Они входили — кто через главные ворота, кто в калитку рядом. Те, что прибыли пораньше, теперь размеренным шагом стекались со всех уголков кладбища. Все были в черном. Туфли, перчатки, зонтики — все черное.

В глубине кладбищенской часовни, на фоне венков и букетов, виднелась урна в обрамлении двух зажженных белых свечей.

У нее и у Ютты были в руках цветы, она вспомнила о них, когда пастор встретил ее безмолвным рукопожатием.

Они вошли, расселись на скамьях. Ульрих был рядом, вел ее под руку. И когда они сели, она чувствовала успокоительную близость его тела. Еще не стихло шарканье ног, как вступила фисгармония. Пастор в полном облачении вышел из ризницы и теперь стоял у креста. Он молился — или только делал вид. Он спросил ее, что сказать в память об отце. Папа был добрым человеком, любящим отцом и дедушкой, он любил природу и верил в бога. Все это она сейчас от него и услышит вперемешку с душеспасительными речениями из Библии: «Я есьм путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»[1].

А по мне, думал Фогтман, так все это величайшее и древнейшее из надувательств. Но смотри-ка, в нем еще есть нужда, даже если это всего лишь нужда в торжественном погребении. Ну кто из этих людей, что собрались здесь, всерьез верит обещаниям вечной жизни? Уж не пастор ли? Или, быть может, Элизабет — именно сейчас, в эту минуту?

Какая маленькая урна и, наверное, почти пустая. Хорошо, что Ульрих тронул ее за руку. Он с ней. Ей тоже так хочется прикоснуться к нему, больше чем когда-либо прежде. Надо быть вместе, пока мы живы. Ведь все может так внезапно оборваться.

Где-то позади, совсем рядом, должно быть, сидит Лотар. В том ряду, что предназначен для ближайших друзей семьи. Если, конечно, не предпочел, как обычно, ретироваться на задний план. Вчера они все-таки успели вкратце обсудить результаты мюнхенской проверки. Слова Урбана подтвердились: полное отсутствие средств вследствие безответственного изъятия капитала, но растущий оборот. Теперь надо запросить банковские сводки и осторожно навести справки у других поставщиков фирмы. Как странно, что Патберг умер именно сейчас...

Надписи на лентах, она не хочет их читать, все напыщенно, как реклама. И все эти люди заявятся на виллу, придется их угощать. Когда же кончится этот день? Она так мечтает остаться с Ульрихом наедине. Только не может сейчас сказать ему об этом. Он недосягаем, хотя и ответил на пожатие ее руки. Но что означает его ответ?

Что изведали они в жизни, кроме поддельных чувств, предписанных ложно понятым долгом? Нехорошо превращать людей в лицемеров. Пастору следовало бы

[1] Евангелие от Иоанна, 14, 6.

высыпать урну на пол. Вот, посмотрите, хорошенько посмотрите на эту горстку пепла! Это все, что от вас останется! Патберг наверняка не согласился бы на кремацию. Мысль об исчезновении, столь бесследном, его бы отпугнула. Но там, в Дании, пришлось пойти на это — чтобы выиграть время до похорон и из-за сложностей транспортировки. Да и его ли вообще это прах, там, в урне? Впрочем, так ли уж это важно? Как же ей быть — можно ли петь и молиться вслух вместе со всеми? Она стесняется Ульриха, она ведь знает, что́ он об этом думает. Это мука, через которую надо пройти. Может, Ютта переносит все это легче? Или Рудольф, застывший как истукан? Наверное, опять уже выпил. А Кристоф как? Его она вообще не понимает. Он совершенно безучастен, словно его оглушили. Он очень устает от людей.

Теперь к могиле. Снова заиграла фисгармония, и траурная процессия выстроилась в заранее установленном порядке: впереди служитель с урной, за ним пастор, следом Рудольф, Элизабет и Ютта, за ними Кристоф с кузинами, потом Андреас и он — зятья, а уж после них вереница друзей, соседей, деловых компаньонов, сотрудников фирмы, длинная колонна черных костюмов и платьев. С погодой им еще повезло.

Как непривычно мала эта могилка для урны. Бренные останки уже устранены, дело за пустой формальностью. Она боится вспоминать, как выглядел отец. Этот маленький сосуд возбраняет ей это. Там, внутри, от него ведь ничего не осталось.

— А теперь,— произнес пастор,— помолимся за того, кто первым из нас последует за усопшим.

Фогтман непроизвольно оглянулся на Кристофа и перехватил устремленный на себя взгляд. Это был взгляд исподтишка, упорный, осознанный, высветленный мыслью. Он желает мне смерти, подумал Фогтман. Оба поспешили придать глазам безразличное выражение.

Началось изъявление соболезнований. Рукопожатия. Почтительное бормотание.

Наконец собрались и они. Он проводил их до машины: Ютту с дочерьми, которые в своих черных платьях казались копиями матери, особенно издалека, и Андреаса, взмокшего от жары, с потными залысинами и влажными, распаренными ладонями, липкость которых он успел ощутить при прощальном рукопожатии. Было решено, что после поминального приема на вилле они еще ненадолго заедут выпить к ним в коттедж, и это «ненадолго» растянулось почти на три часа. Хотели побыть в кругу семьи, когда все чужие уйдут, и засиделись — просто от усталости. Слава богу, хоть Рудольф не заявился. Очевидно, не пожелал отнести на свой счет расплывчатое приглашение Элизабет, адресованное всем родственникам. К тому же в этот час, к вечеру, он наверняка уже хорош. Не может без вышивки. Видимо, для него это самый верный способ сдерживать обиду и гнев.

— Ну пока. Счастливо добраться.

Через палисадник Фогтман направился к дому. Анютины глазки, посаженные Элизабет, двумя веселыми, пестрыми рядками бежали вдоль плит дорожки. Недавно подстриженный газон выглядел довольно чахлым. Завтра надо заставить Кристофа его полить.

Почему все это так ему опостылело? Восемь лет назад у коттеджа был вполне современный вид. Теперь же дом казался скучным и мертвым, безликим, как и все прочие по соседству.

Все возможно изменить, но не это. Здесь нет будущего.

Он вошел и на секунду задержался в прихожей. Что-то лишнее на вешалке, чей-то черный шарфик, легкий, почти прозрачный. Он обернулся. За матовым стеклом входной двери темнела чья-то тень. Он открыл. Это был Андреас.

— Извини, Ютта забыла шарф.

— Да вот он. Я как раз собирался вам крикнуть.

Он отдал шарф. Андреас тяжело повернулся, собираясь уходить.

— Надо бы повидаться, и поскорей,— сказал он.— Обсудить кое-что. Может, теперь нам удастся прирезать священную корову. Как считаешь?

— Подумать стоит.

— По-моему, чтобы тихо спиваться в одиночку, нашему дражайшему господину шурину вовсе не обязательно занимать целую виллу.— Андреас улыбнулся, уверенный, что они понимают друг друга.— Ты на следующей неделе здесь?

— В принципе да. Только в Мюнхен съезжу дня на два.

— Хорошо. В конце недели я тебе позвоню,— сказал Андреас, помахав на прощание шарфом.— И поблагодари от нас Элизабет.

Дверь захлопнулась. Его темный, призрачный силуэт растворился за стеклом, будто канул. В доме стояла духота, воздух буквально сочился влагой, а на нем еще этот черный костюм из плотной, тяжелой шерсти, добротный пошив десятилетней давности. Весь день было нечем дышать, низкие облака закупорили небо, парилка, да и только. Все тело казалось скользким и липким. Несколько раз за сегодняшний день его прошибал пот, высыхал на коже, и теперь его преследовал неприятный запах. На ходу он развязал галстук, расстегнул ворот рубашки, стянул ненавистный черный пиджак и бросил в гостиной на спинку кресла.

Тяжело продавив кожаные подушки дивана, за курительным столиком сидел Лотар. Пиджак валялся рядом, лицо пылало. Перед ним стояли пустой пивной стакан и набитая окурками пепельница. Если и дальше так пойдет, именно он будет тем самым следующим мертвецом, за которого сегодня молился пастор.

— Выпить хочешь?

— Давай.

Когда минут через десять он поднялся к Элизабет пожелать спокойной ночи, вид у нее был уже получше. В ночной рубашке она стояла в ванной перед зеркалом, кончиками пальцев массируя уголки век.

— Что такое? — спросила она.

— Просто пришел взглянуть, как ты тут.

— Спасибо, получше,— отозвалась она.— Устала только.— И снова повернулась к зеркалу: — Хорошо, что ты завтра дома. Я думала, ты сразу уедешь.

— Ну что ты.

— Тебе ведь предстоит очень ответственное решение.

— Вообще-то да. Но Лотар проверил, все вроде в полном порядке. Мы делаем большой шаг вперед.

— Для меня это все как-то неожиданно,— призналась она.— Особенно сейчас, сразу после папиной смерти. Я боюсь.

— Почему? Он же давным-давно ничего не решал.

— Да я знаю. Просто так, глупые страхи.

— Завтра мы с Лотаром все тебе объясним. В спокойной обстановке.

Она тщательно втерла остатки крема и оглядела себя.

— Я рада, что вы с Лотаром так поладили. Меня это как-то успокаивает. Само-то я ничем помочь не могу.

— Можешь,— возразил он.— Очень даже можешь.

Она закончила массаж и повернулась к нему:

— Зайдешь ко мне?

— Да, на минутку.

Они прошли в спальню, и она скользнула под одеяло.

— Пойди сюда, сядь ко мне,— попросила она. Рука ее нашла его руку и сильно сжала. Широко раскрытые глаза смотрели на него в упор.— Ты мне так нужен сейчас. Ты ведь не бросишь меня одну? — Неожиданно она обвила руками его шею и притянула к себе.— Пожалуйста, Ульрих, не оставляй меня одну! Ты нужен мне! Всегда нужен, а сейчас особенно, особенно сейчас! Ты же знаешь, все у нас будет хорошо, стоит нам только захотеть. Ты ведь знаешь?

— Конечно,— ответил он.— Только успокойся.— Прижимаясь лицом к ее шее, он почувствовал, как она всхлипнула.— Эй, кто там у нас плачет?

Элизабет покачала головой, но все тело ее сотрясалось в плаче. Ее пальцы зарылись в его волосы.

— Только не лги мне,— прошептала она.

— С какой стати? — услышал он свое бормотание.— О чем ты?

— Не знаю. Извини.

Он отстранился, чтобы посмотреть на нее. Ее взволнованное лицо было мокрым от слез, голос срывался:

— Я не знаю, в чем дело. Просто я выдохлась. Но я так счастлива. Мне горько и радостно вместе. Понимаешь?

— Конечно,— сказал он и погладил ее по щеке, не зная, как быть: ему хотелось лечь с ней рядом, обнять ее. Он чувствовал ее нежность, ее близость, но ведь

Лотар ждет в гостиной, надо бы сказать ему, что он не придет. Нет, чушь, так он сразу все испортит. Он останется здесь с ней и будет ее ласкать. Нельзя сейчас уходить. Эта минута принадлежит им, только им.

Она успокоилась, улыбнулась ему:

— Не дашь мне платок?

Он достал платок и попытался вытереть ей слезы.

— Спасибо, я сама,— сказала она, приводя себя в порядок.— Спасибо.— Она вернула ему смятый мокрый платок, и он сунул его обратно в карман.— Ну, иди к Лотару, он ведь ждет.

— Ну и что? Кровать он и сам отыщет.

— Нет-нет, ему надо дать белье и пижаму. Ты же специально просил его остаться.

Верно. Но теперь, в тот миг, когда она так страстно привлекла его к себе, он сам изумился внезапно вспыхнувшему желанию еще глубже погрузиться в эти мягкие, нежные объятия. Вероятно, она все еще этого ждет. Неосознанно. Ведь сама уговаривала его пойти к Лотару. Но ее мерцающий, истомленный взгляд, полный преданности и боли, удерживал его, притягивал к себе, так что он мог, не обидев ее, встать и уйти к Лотару, а мог и обнять,— и потому, не в силах сделать выбор, все еще сидел рядом и гладил ее, понапрасну разжигая огонь желаний в ее широко распахнутых глазах. Но тут он заметил, какие длинные у нее ресницы, какие ухоженные, наверное даже смазаны чем-то, потому что, несмотря на слезы, сохраняют шелковистый блеск,— и в ту же секунду ему почудилось, что перед ним совсем чужая женщина, насквозь фальшивая и светская, а вдобавок, наверное, еще и истеричка. Он взял ее руку и поцеловал:

— Заснешь?

— Конечно.

Безмолвное ожидание, застывшее в ее глазах, казалось, озаряет все лицо. Он наклонился, поцеловал ее в губы, почувствовал легкий привкус крема, но подавил желание немедленно отереть рот рукой.

— Спокойной ночи,— сказал он, направляясь к двери.

Она провожала его взглядом. Он кивнул ей, выключил свет и прикрыл за собой дверь — осторожно, словно она уже заснула.

В подвале он, не долго думая, извлек из вмурованных в стену глиняных фляг, где хранил свои винные запасы, три бутылки самого хорошего мозельского и вот теперь с изумлением заметил, что уже давно говорит гораздо больше и оживленней обычного. Видимо, взял слишком резвый темп. Голова, правда, была ясная, вот только мысли приходили как бы со стороны. Мысли самостоятельно обособлялись в предложения, скорее даже в слегка напыщенные фразы, но фразы эти все равно ему нравились. И Лотар терпеливо делал вид, что ему они нравятся тоже.

— Так покупать или не покупать? — спросил он, заранее зная, что ответит Лотар.

— Я бы не рискнул. Хотя проверка документации не дает никаких оснований для тревоги.

— Я куплю,— сказал он.— Не могу же я без конца списывать задолженности и отказываться от южнонемецкого рынка? Не для того я расширял дело, чтобы теперь спасовать.— Достав из ведерка со льдом очередную бутылку, он откупорил ее и налил.— Просто я не очень знаю, то ли мне нужно. Знаешь, находит такая полоса, когда все из рук валится, и хватаешься за что попало, лишь бы что-нибудь новое начать.

— Что-нибудь?

— Что-нибудь! Желательно, конечно, что-нибудь стоящее, но как угадать? В будущее ведь не заглянешь, там только наши мечты.— Он сделал глоток, посмотрел на Лотара.— За будущее! — Он приподнял бокал: — Я вот иногда спрашиваю себя: почему мы все время рвемся вперед, дальше, дальше. А ответ один: мы просто не можем иначе.

— Это ты не можешь,— ответил Лотар.

— Думаешь, я один такой?

— Нет, но ты особенно чокнутый.

— Ты тоже. Только на свой манер. Сказать, в чем твоя слабость? Ты хочешь, чтобы тебя любили.

— Верно,— согласился Лотар.— Сколько себя ни оттовариваю, вечно на одном и том же попадаюсь.

— На чем?

— Считаю, что кому-то нравлюсь.

Что он имеет сейчас в виду? Свои неудачные браки? Или же их дружбу?

— Все равно ты хитрая бестия.

— Когда как,— ответил Лотар.

Разговор принимал щекотливый оборот, надо было сменить тему, но он не знал, что сказать. Иногда ему чудится, будто перед ним всегда один и тот же собеседник, одно и то же лицо. Покойный Патберг, Урбан, Лотар — все они, возможно, его враги.

Он уставился прямо перед собой. На столе, словно след, белеют хлебные крошки. Он досадливо их смахнул. Потом поднял глаза и в большом окне, выходящем в сад, увидел отражение ламп — будто огромные светящиеся цветки. Господи, да где это он? Неужели почти двадцать лет миновало? Откуда тогда у него такое чувство, будто все только начинается? Раньше он думал: у меня никогда не будет денег, не будет машины, не будет собственного дома. И вот он сидит здесь и мечтает лишь об одном — прочь отсюда. В данный миг этой мечте не за что уцепиться, кроме бутылки, расплывчатые контуры которой смутно зеленеют перед его застывшим взглядом.

Он взглянул на Лотара: наморщив лоб, тот сосредоточенно зевал. Оплывшее лицо, огромные мешки под глазами.

— Давай выпей-ка еще! — сказал Фогтман.— Не бросай меня в беде.

— Мне на боковую пора.

— Да брось ты, сперва бутылку докончим. Еще только одиннадцать.

— Ну и что? — мрачно заупрямился Лотар.— Я больше не могу.

— А я выпью,— сказал Фогтман настырно, до краев налил свой бокал и, не ставя бутылку, вопросительно глянул на Лотара.

— Ладно,— сдался тот.— Половинку.

Они подняли бокалы и выпили молча, каждый за себя.

Он снабдил Лотара полотенцами, бельем и пижамой, а сам вернулся в гостиную — прибрать немного и проветрить. Надымили они несусветно, да и выпили много. Но если Лотар еле держался на ногах, то он, напротив, чувствовал только возбуждение и какую-то взвинченность. Едва он открыл дверь террасы, из темноты в дом ринулись мелкие зеленые мошки, сотнями облепившие стекла с наружной стороны. Пожалуй, лучше выключить свет и пройтись по саду. Воздух посвежел, небо по-прежнему было пасмурным, без звезд. Из темноты вынырнула Бесси, летом она спала в будке. Он почесал ее за ухом, потеребил пушистую, мягкую шерсть, и собака, выжидательно постояв подле него, побежала к кустам у забора и уселась под ними. В гостевой комнате еще горел свет. Громоздкая неуклюжая тень Лотара приблизилась к окну и задернула шторы. Немного погодя свет погас. Пьяный Лотар вверился ночи и, вероятно, сейчас заснет.

Какой все-таки таинственный процесс — отход из жизни, с которого начинается сон. У него в последнее время это плохо получается. Едва погаснет свет, его начинают одолевать беспокойные мысли о ближайшем и отдаленном будущем, мысли, одновременно заманчивые и тревожные, и он никак не решается отринуть от себя все недоделанное, не решается сомкнуть глаза и отдаться этому темному, засасывающему и парализующему безволию, где он не в силах ничего предпринять — ни подтолкнуть, ни переиначить, ни предотвратить. Может, со временем он успокоится, когда прояснится то, что пока не утряслось и с неотвязной монотонностью мучит его долгими, бессонными ночами. Если он купит мюнхенскую фирму — чем ее финансировать? Вслед за этим вопросом незамедлительно выползал другой, который теперь, после смерти Патберга, тоже надвинулся во всей своей неимоверной, хотя и одолимой сложности: как быть с виллой и парком?

Он еще не говорил об этом с Элизабет, но, видимо, придется сделать это завтра же, до отъезда в Мюнхен. Она тоже предчувствует этот разговор, потому, наверное, и была сегодня так возбуждена. Потому, видимо, так и цеплялась за него, словно надеясь забыть обо всех мучительных вопросах. Ей страшно. Он ей угрожает, и она пыталась укрыться от этой угрозы в его же объятиях. Сейчас, когда он

войдет в спальню, она, уже сонная, все равно протянет к нему руки, и ему ни в коем случае нельзя отстраниться. Конечно, он может прикинуться, что выпил лишнего или очень устал. Тогда она не будет слишком настойчива и удовольствуется тем, что он просто немного ее приласкает. Но лучше, правильней было бы переступить, преодолеть отчужденность. Сегодня вечером это было бы возможно, когда он услышал ее всхлип. Надо постараться вернуть тот миг. До чего же, черт возьми, тяжело, когда дела и секс так тесно переплетаются в браке! Он ненавидит этот порочный круг, сковавший его по рукам и ногам: Элизабет хочет быть любимой, чтобы не чувствовать себя ненужной, он же вынужден любить ее, потому что она нужна ему совсем для другого. Много лет он не видел в этом особой беды, но после Дании все как-то осложнилось. Он все еще был неимущим, приживалой, который не принес в дом ничего, кроме самого себя. Вот и вся сложность их брака. Хорошо, сейчас он залезет к ней в постель и исполнит все, что от него требуется. А послезавтра уже снова будет в Мюнхене. И там встретится с Катрин. Может, они даже уедут куда-нибудь на день-другой.

Вернувшись от телефона, Элизабет уже не застала Кристофа. Он половину не доел, но в знак того, что с обедом покончено, сунул салфетку в кольцо. Зато сладким творогом на десерт не побрезговал. Сейчас, наверное, уже нацепил наушники и слушает музыку у себя в комнате. Она подумала, не заставить ли его вымыть посуду, но куда проще сделать это самой. Хватит с нее сегодня волнений. Ни с кем и ни с чем она не желает связываться.

Вот и сейчас, только что, когда Ульрих позвонил из Мюнхена, она никак не могла сосредоточиться, почти не слушала его, сказала только, что с продажей участка все в порядке. Она и Ютта как наследницы подписали нужные бумаги, не вникая во все эти юридические заковыки, но ведь Лотар был с ними, он за всем проследил. К счастью, Рудольфу по завещанию был отказан лишь охотничий домик под Винтербергом. Уж он-то непременно бы заартачился. Он и в этот раз грозил оспорить завещание. Но, как обычно, дело кончилось лишь очередным запоем. «Ты можешь Лотару позвонить»,— сказала она Ульриху. Хотя была абсолютно уверена, что он и так это сделал, а с ней говорит просто для проформы. Хочет понять, как она все это перенесла, но напрямик спросить не решается. Старательно избегая всего, что может коснуться ее переживаний, он только поинтересовался, чем она думает заняться после обеда.

— В саду побуду,— ответила она.— Пополю немного и кусты подрежу.

На том разговор, можно считать, и кончился, сошел на нет. Ульрих укрылся за дымовой завесой ласковых слов. Она невольно подумала: кто умеет так бесследно скрываться, того считай что вовсе нет. И Кристофа уже не было, когда она вернулась в столовую. Прокрался, должно быть, через кухню и прихожую, лишь бы незаметно улизнуть к себе. От этого ей стало еще горше, будто ее предали.

Она собрала грязную посуду на поднос и отнесла на кухню. Сбрасывая остатки еды в мусорное ведро, услышала, как щелкнул замок входной двери. Потом заскрипела дверь гаража. Наверное, Кристоф выкатывает велосипед. Она не припомнит, говорил ли он, что куда-то поедет, но он и сегодня бормотал так тихо и неразборчиво, что она ничего толком не поняла. Очевидно, в школе опять неприятности, у него был такой понурый вид, когда он пришел. Она разогрела обед, остатки вчерашнего, потому что сегодня, когда она вернулась от нотариуса, у нее не было времени, а главное, охоты стряпать, а потом еще долго звала его, пока он не явился и молча не уселся за стол.

Что-то неладно, подумала она. Опять у него это пустое, безразличное лицо, этот скользкий, уклончивый взгляд. Он ел без всякого удовольствия, уткнувшись глазами в тарелку. Сама она взяла себе только немного творога, аппетита совсем не было. Чтобы хоть как-то расшевелить сына, сказала:

— Я сегодня у нотариуса была. Дальний участок парка продали.

— Знаю,— ответил он.

Он был совершенно безучастен. На расспросы о школе почти не отвечал, лишь «да» и «нет». Почему он ей не поможет? Ведь знает же, что́ ей сегодня пришлось сделать, и она вправе рассчитывать хоть на капельку понимания и сочувствия с его стороны? А ей так нужна толика участия, чтобы вырваться из этого гнетущего оди-

ночества. Но Кристоф еще такой инфантильный, в нем столько детского эгоизма, что он просто не способен видеть тревоги и заботы окружающих, даже самых близких. Долгое время она надеялась, что когда-нибудь он вырастет и будет ей настоящим другом, однако с годами он становится все более ненадежным, все менее родным, и не похоже, чтобы эта отчужденность шла ему на пользу хоть в чем-то другом.

Теперь вот он снова сбежал, захлопнув за собой дверь. Она понятия не имеет, где он околачивается целыми днями после школы. Ни разу она не слышала от него ни слова о друге или о подружке.

Она начала мыть посуду — посудомоечная машина слишком велика для двух тарелок,— и тут ей попалась на глаза сумочка, брошенная на буфете. Разве она там оставляла сумочку? Договор о продаже участка она, придя домой, сразу положила в шкафчик в спальне, это она точно помнит. Значит, и связку ключей вынула, а потом снова положила в сумочку. Видно, она совсем не в себе, иначе непременно убрала бы сумочку на место.

Может, она забыла положить ключи? Да нет, вот они. И удостоверение личности, и кошелек с чековой книжкой. А сколько она вчера сунула денег в кошелек? Сотенную и две бумажки по пятьдесят? Или три? Обычно она не очень за этим следит, но сегодня должна бы помнить. Почему ее преследует чувство, будто она не может сосредоточиться и все время что-то упускает. Весь день она как во сне, но сон какой-то нервный, беспокойный, будто за ней гонятся, вот она в спешке и хватается то за одно, то за другое. Еще с самого утра началось: Лотар за ней заехал с небольшим опозданием и уже в машине, по пути к нотариусу, она спохватилась, что забыла удостоверение. Они вернулись с полдороги, и она, пробегая через прихожую, вдруг услыхала на кухне шум. Оказалось, забыла выключить горячую воду в мойке. Кран был вывернут до упора, в газовой колонке вовсю полыхало голубое пламя.

Такого с ней еще не случалось. Видимо, она хотела поставить в мойку посуду после завтрака, пустила воду, но тут в дверь позвонил Лотар, и она вышла, а потом и суматохе еще и удостоверение забыла, хотя специально выложила его на кухонный стол, чтобы перед отъездом сунуть в сумочку. Наверное, эта внезапная забывчивость как-то связана с тягостным сном, что разбудил ее сегодня рано утром и все еще напоминал о себе тонким отцовским свистом, который доносился откуда-то из-за стены и постепенно стихал, удаляясь, пока не смолк вовсе.

Она в сердцах крутанула кран и выключила воду. Но потом, снова уже в машине рядом с Лотаром, вдруг засомневалась, действительно ли она это сделала, ибо перед глазами все еще хлестала горячая струя, а в ушах стояло яростное шипение пламени в колонке. Ну и пусть, подумала она, плевать. Ничего страшного не случится, во всяком случае, по сравнению с тем, что должно произойти и о чем ей подумать страшно, хотя думать об этом уже необязательно, ведь все давно решено.

У нее были ледяные, влажные ладони, когда они с некоторым опозданием явились в контору нотариуса. Ютта ждала их уже минут десять, натужно поддерживая беседу с двумя представителями строительной компании, которая покупала участок. Она явно нервничала, как и нотариус. Тот уже велел секретарше разыскать Элизабет по телефону. Но теперь, когда она приехала, все трое мужчин рассыпались перед ней в любезностях, усаживая ее в кресло. И Лотар был с ней как-то особенно, бережно предупредителен, точно с пациенткой. Как пациентку, как больную отвез он ее домой по окончании процедуры, которая в основном свелась к тому, что нотариус с ошеломляющей скоростью и абсолютно монотонным голосом зачитал текст документа, а затем Ютта и она, оба прокуриста фирмы и, наконец, сам нотариус этот документ подписали. Все это время ее не покидало чувство, что ее загипнотизировали и обманывают, хотя она, конечно, была прекрасно осведомлена о том, что творит. Ее достаточно долго, вот уже несколько недель, убеждали и уговаривали: Ульрих, которому нужны деньги для его мюнхенских дел, Лотар, который, похоже, с ним заодно, и Андреас, который с этой строительной компанией сотрудничает и немало способствовал тому, что купля-продажа состоялась так скоропалительно.

Когда они вышли из небольшого кабинета, Андреас уже сидел в приемной, ждал Ютту. Как черт из табакерки, подумала она. С одним из представителей фирмы он тут же назначил деловую встречу после обеда. Теперь он сможет заложить на территории парка огромный жилой дом и тешиться иллюзией, будто наконец преодолел творческий кризис. Пока он договаривался, она на прощание обняла Ютту, надеясь найти у нее утешение и поддержку. Но не ощутила в ответном объятии ни

грусти, ни раскаяния, только мимолетную сестринскую нежность и нетерпеливое желание поскорее уйти. Андреас собирался пройтись с Юттой по магазинам, наверное купит ей подарок. Это поспешное бегство было всего ужасней. В нем было признание вины, столь явное, что никаких слов уже не требовалось. Она его чувствовала, это признание, комом застрявшее в горле. Деревья вырубят, парк сровняют с землей. Теперь уже недолго осталось.

Это просто не умещалось в ее сознании: Ульрих, Лотар, Андреас, люди из строительной компании, нотариус, банковские служащие — все они, сами о том не ведая, образовали заговор. И она сегодня тоже к нему примкнула, уступила доводам Ульриха, потому что ничего не может им противопоставить, кроме глупых сантиментов, воспоминаний детства, юности, первых лет замужества, навсегда осененных для нее тенистой зеленью парка и — так она чувствует — укромно и надежно хранимых в уютных комнатах старой виллы, где теперь обитает только ее вечно пьяный брат Рудольф с двумя своими псами, человек, которого никто не принимает всерьез, о котором говорят, неодобрительно покачивая головой, которого и она сама никогда не любила, потому что он такой тяжелый, неуживчивый и заурядный. Ульрих просто выселит его в принудительном порядке, если тот не перестанет дурить и не примирится с его планом поскорее отремонтировать и сдать виллу в аренду. Но и это, наверное, всего лишь временный выход. Вот наберется достаточно денег, виллу снесут, на ее месте построят многоэтажное здание управления фирмы, а остатки парка заасфальтируют под автостоянку. Видно, так и должно быть, и возразить вроде бы нечем. Нечем, кроме безгласного возмущения чувств, которые говорят ей, что все неправильно, что так они только все погубят — и снаружи и изнутри. Ибо не может человек изнутри выглядеть так, а снаружи иначе. Не может в душе творить одно — а в делах другое. Что сталось с Кристофом, с Лотаром? А этот нотариус — ну что он за человек? А Ульрих, да и она сама — куда они идут? Неужели никто не видит, что происходит? Неужели никто? А быть может, даже лучше, что все они ослепли?

Она подняла глаза и снова очутилась на кухне. В этом коттедже она так и не прижилась, хотя живет тут уже девятый год. Здесь даже время движется иначе, будто она приехала сюда в гости и скоро надо уезжать. Три месяца назад умер отец, и с тех пор она не была ни на вилле, ни в парке. Она избегала этой встречи то ли из тайной неприязни, то ли из необъяснимого страха, и, наверное, именно поэтому ей приснился сегодня этот сон — с таким счастливым началом и таким горьким концом. Вместе с ним кончилось что-то очень важное, что-то, что она обязательно хотела удержать.

Снова она окунулась в двойственную атмосферу сна, вспомнила странные, тревожные превращения. Она была на вилле, в комнате, которую все называли библиотекой, хотя не так уж там много книг. Она читала какую-то старую историю, и была счастлива, и, как ребенок, водила пальцем по строчкам, пока не добралась до конца страницы. И тут за стеной, но совсем рядом, прямо в ухе, раздался знакомый свист отца. Свист был веселый, беззаботный и означал, что отец идет домой и хочет, чтобы ему открыли дверь. Так он не умер! Он жив! Просто был в отъезде и вот теперь возвращается, надо впустить его в дом. Изумляясь, она подумала во сне, что вот теперь наконец-то все взаправду, а все прежнее — безжизненное тело, потом урна с пеплом, люди в черном — лишь дурной сон. Но все же что-то не так. Столько книг в этой комнате никогда не было. Они мешают, их до нелепости много. Словно ползучая болезнь, они заполонили стены до самого потолка, и ей не найти дверь. И отец за стеной тоже, видимо, не может найти вход. Его посвистывание удалялось, уплывало куда-то вдоль книжных полок, на которых, как оказалось, полным-полно фальшивых книг, пустых картонок с наклеенными корешками, и вот она уже расшвыривает эти картонки, ищет дверь или хотя бы щелку, чтобы пробиться к отцу. Но под книгами всюду только голые стены, а его свист, стихая, уходил все дальше, хотя звучал по-прежнему весело и беззаботно, только с каждым разом слабей и недостижимей, будто его утягивает куда-то вверх по открывшейся в небе бесконечной спирали, и он весело, теперь, правда, уже совсем неслышно насвистывая, поднимается туда виток за витком, а она остается среди замкнутых стен и только тут окончательно понимает, что отец умер.

Что же дальше? Послезавтра возвращается Ульрих, привезет с собой гостя, какого-то финансового воротилу из Франкфурта, который понадобился ему для мюнхенских дел. Они поужинают, а на следующий день он покажет гостю фабрику.

В субботу вечером ужин в коммерческом клубе, жены тоже приглашены. Но сперва состоится лекция о проблемах энергетики будущего. Об этом сейчас весь мир говорит, так что вряд ли они услышат что-то новое. В воскресенье вечером собирались зайти Ютта и Андреас. Ютте, наверное, не терпится показать новые осенние туалеты, Андреасу — поразглагольствовать о своем проекте злосчастного дома. В понедельник у Кристофа в школе родительский день. Классный руководитель уже прислал ей приглашение на трафаретном бланке, вписав туда ее фамилию, день и час. Ничего хорошего эта беседа не сулит. Во вторник ей к зубному врачу. В среду... что же у нее в среду? Что бы такое пожелать себе на среду? И на последующие дни? Что бы такое вообще пожелать?

Из кухонного окна она смотрела на гладкий асфальт улицы в окаймлении заборов, калиток и ворот. Вторая половина сентября. Время не стоит на месте. Неужели она ничего не ждет от будущего? Хоть что-нибудь, пусть только для себя, пусть не вместе с остальными. Она не нашла ничего. На душе было пусто. Покойно и пусто.

Луч полуденного солнца полоской тепла лег на веки Рудольфа Патберга и на его бледное, опухшее, запойное лицо, содрогнувшееся от глубокого вздоха. Он уже два раза отворачивался от солнца, снова погружаясь в черное, шершавое похмельное забытье. Но теперь вот перед глазами опять поползли багровые блики, а с ними вернулась и колющая боль в висках. Он лежал неподвижно, пытаясь вспомнить свое тело, медленно и смутно выплывавшее из беспамятства тяжелым, бесформенным мешком, набитым осколками, которые свирепо вгрызались друг в друга при малейшем движении.

Только не просыпаться, нашептывал чей-то голос внутри.

Потом он что-то почувствовал на лице, чье-то живое, теплое дыхание и понял, что это Пэрла его обнюхивает. Господи, он же начисто забыл про собак! Надо их выпустить. Сколько они сидят тут с ним взаперти? Он понятия не имеет, который час и долго ли он тут валяется, даже не раздевшись, только ремень, кажется, успел расстегнуть да ботинки скинуть.

— Сейчас, Пэрла, сейчас,— пробормотал он сдавленным голосом, застрявшим где-то глубоко в глотке.— Сейчас иду.— Наверное, это Пэрла. Осса, ее мать, та спокойнее и еще ни разу не пыталась его добудиться, когда он пьян.— Сейчас, Пэрла, сейчас иду.

Он вытянул руку, и собака, сидевшая возле кровати, облизала его ладонь и кончики пальцев. Я знаю, знаю, думал он, чувствуя, как сквозь головную боль пробивается острая, слезливая жалость к себе. А стоит немного оклематься, на смену жалостливости, он знает, придет застарелый гнев. Но пока у него совсем нет сил.

Собака тихо, с подвыванием заскулила. Сколько он тут лежит? И долго ли пил? Три недели капли в рот не брал, и все ради того, чтобы поквитаться с Ульрихом Фогтманом. Но потом сорвался. Сквозь редеющую дымку похмельного угара он, казалось, кожей ощущал беспорядок в комнате, бутылки, грязь, опрокинутые стулья, но глаза никак не открывались.

Воняет мочой. Похоже, это не собаки. Это он сам. Родной запах поражения и позора.

Он опять оплошал. Не сумел опротестовать завещание. Столько недель сидел сложа руки, а теперь все сроки прошли. Вчера или позавчера Элизабет и Ютта были у нотариуса и продали парк. Он к тому времени уже несколько дней не просыхал, пил не переставая, лишь бы не признаться себе, что Ульрих Фогтман снова взял верх.

Он пил методично, не спеша, чтобы не отключиться совсем, пил ровно столько, чтобы удержать вокруг себя ватные стены постоянного опьянения, в котором чувствовал себя как в коконе, время от времени проваливаясь в тяжелое забытье и просыпаясь через час-другой, чтобы покормить собак и немного перекусить самому, хоть ненадолго успокоить взбунтовавшийся желудок, а потом пить дальше и снова тяжело воспарять, как спускающий воздушный шар, который то и дело надо подкачивать, пока вчера, с воем и стонами, в корчах, его окончательно не вывернуло наизнанку. Смутно, словно это было давным-давно, он припоминал боязливое повизгивание собак, жавшихся к двери ванной, куда он, с непослушными, обслюнявленными губами, пошатываясь, словно бесплотная тень, курсировал полночи, а потом плелся обратно до кровати, ложился и, глубоко дыша, тщетно пытался собраться с силами

и хоть немного унять спазмы, сотрясавшие все нутро. Большую часть времени он провел над унитазом, сперва стоя, широко расставив ноги и упершись рукой в кафельную стену, а под конец уже на коленях, весь в поту, изрыгая из себя тягучие нити кисловатой коричневой слизи. Так ведь недолго и умереть, успел подумать он. Или: так недолго умереть. Он теперь уже не помнит точно.

Только после четырех ему удалось окончательно лечь. Собаки тоже уснули. В ушах стоял тихий, писклявый звон, и, уже окунаясь в беспамятство, он успел подумать, что Фогтман за эту ночь поплатится, что когда-нибудь Фогтман точно так же будет елозить на коленях, а еще он подумал, что пристрелит его из своего охотничьего ружья, благо оно уже собраио. И эта картина, смутно расплываясь в серой мгле, умиротворила его душу блаженным покоем.

Собака снова ткнулась в него мокрым носом, и на сей раз он открыл глаза и стал ждать, когда призрачно-знакомые, туманные очертания комнаты прояснятся и обретут устойчивую ясность. Потом рассудил, что ждать не стоит, и с отчаянной решимостью, рывком, приподнялся и сел. В темя молнией саданула боль, где-то в спине, ниже пояса, задергалась и судорожно сжалась мышца. Теперь надо задержать дыхание, чтобы встать, встать осторожно, медленно, без лишних движений, стараясь не потревожить засевшую во всем теле боль, но пока он еще посидит, потому что голова опять кружится, а к горлу подкатывает дурнота. Распрямившись, стараясь не двигаться, сидел он на краю кровати, а псы, нетерпеливо виляя хвостами, носились по комнате от двери к нему и обратно. Сейчас, думал он, сейчас. Вдоль всего позвоночника и где-то в пояснице твердыми, каменными шариками затянулись мускульные узлы, горошины боли, которые он тщетно пытался размять кончиками пальцев. В средней комнате надрывался телефон, но когда он наконец встал, звонки умолкли. Осторожно, держась за перила, он доковылял по лестнице до двери и выпустил собак. Половина первого. Пить хотелось ужасно, в висках волнами стучала боль, застилая взгляд наплывами черноты, между которыми, как в шорах, брезжил узкий коридор обозримого пространства.

Там, впереди, дверь в подвал. Внизу, на полках, ждут зеленые бутылки. Их надо открывать, значит, нужен штопор, а тут, на первом этаже, штопора нет, черт его знает, куда задевался. Он медленно взбирался по лестнице, но теперь уже твердо знал, что вниз, обратно, ему нельзя. Если он сейчас угодит в подвал, наверх ему уже не вылезти. Так и подохнет там в собственной блевотине. И тем самым спасет кое-кому жизнь — совершенно незаслуженно.

Нет, думал он, шалишь...

Что-то его отвлекло. Не мысль о штопоре, ее он легко отбросил, а какой-то зуд, пустое, беспредметное нетерпение. Он поплелся обратно в спальню, где на полу возле кровати валялись пустые бутылки. Пнул их ногой. Одна закатилась под кровать и стукнулась об стену. Другая, из-под виски, повертевшись, уткнулась в ножку кровати, на донышке всколыхнулся коричневатый остаток. Он поднял ее, понюхал — все нутро так и сжалось. Надо сесть, подумал он, чувствуя, как все тело сотрясает дрожь. А почему бы не провалиться, не покончить все разом? — снова прошептал чей-то голос. Беспомощно озираясь, он искал стул. Но искать было некогда, он уже пил, глотал, яростно, с закрытыми глазами, превозмогая колючие спазмы в желудке. Мне уже лучше, успел подумать он. Он цеплялся за эту мысль, ибо она выпорхнув из черных глубин дурноты, стремительно и безнадежно удалялась, и в ту же секунду он почувствовал, что падает. Когда тошнота улеглась, он увидел, что сидит на полу возле кровати.

Из парка донесся лай собак. Низкий, хриплый — Оссы и заливистый, звонкий — Пэрлы. Наверное, подняли кролика и теперь гонят. Ну вот, парка считай что уже нет. Продано! Где-то под столом валяется скомканное письмо от Ульриха Фогтмана, пришедшее четыре-пять дней назад: ему предлагается освободить виллу. Фогтман пишет, что Элизабет, Ютта и Андреас солидарны с ним в этом требовании. Виллу следует как можно скорее отремонтировать, а затем на выгодных условиях сдать внаем. Шурин взывает к его здравому смыслу и советует не чинить препятствий.

А на следующий день пришло письмо от Элизабет, чистый лист бумаги с наклеенной посередке газетной вырезкой. Он прикнопил лист к стене, чтобы всегда был перед глазами, когда он пьет. Стоит слегка повернуть голову, и вот он, тут как тут, болтается сверху: перечеркнутая крест-накрест рюмка, а рядом жирными буквами текст: «Отвыкание от алкоголя в частном санатории. Непринудительные методы ле-

чения под наблюдением квалифицированных специалистов. Успешное завершение курса, как правило, уже через месяц. Конфиденциальность гарантирована».

Речь шла о санатории в Шварцвальде, который именовался «Солнечным домом». Ниже Элизабет приписала: «Может, попробуешь? Если не ради себя, то хотя бы ради нас».

Зачем она это написала? Кого имеет в виду? Семью? Эту кучку дерьма, которую раздавил Фогтман? Только без сантиментов, он этого терпеть не может, даже когда пьян. Кто-кто, а уж она-то не имеет на это права, ведь именно она бросилась Фогтману на шею — еще тогда, когда он был ничтожеством, шоферишкой в услужении у папаши. Здесь, у этого самого окна, он и его друг Дикки стояли и тайком наблюдали, как он ее обжимал, а она висла у него на шее. Они еще отпускали шуточки по этому поводу, но на душе у него было мерзко, мерзко и муторно, словно он присутствует при изнасиловании. И всякий раз, когда Ульрих Фогтман пытался с ним заговорить, перед глазами у него вставала эта картина. Впрочем, не так уж часто он и пытался. Какой прок зятю с ним разговаривать — слишком много чести. Ведь он, Рудольф, с червоточинкой, он падалица, гниль.

Снова послышался азартный лай собак. Они промчались мимо дома к ограде. В один прекрасный день он вот так же выглянет в окно, а в парке не будет ни одного дерева. Но он-то еще будет. И ружье у него наготове.

Обещанный циклон пришел с северо-запада. Сегодня утром в Линце небо еще сияло ослепительной голубизной и листва деревьев полыхала осенним, красно-желтым пожаром. Потом небо потускнело, подернулось дымкой, заволоклось, а на подъезде к Зальцбургу явственно нахмурилось. Облака теперь ползли низко, и громада Альпийского хребта внезапно скрылась из виду. И лесистые предгорья тоже утонули в сероватой мгле. На встречной полосе стали попадаться первые машины с зажженными фарами. Вдалеке, где шоссе разрезало хвойный лес, эти фары сперва возникали двумя крохотными мерцающими точками, но, постепенно приближаясь и вырастая на глазах, все ярче выделялись на сером асфальте шоссе, пока стремительно не проносились мимо.

Он любит этот ландшафт даже в таком сумрачном освещении и езду тоже любит, особенно теперь, в этой просторной, новой машине, которая так неутомимо, без видимых усилий, берет подъем за подъемом и так плотно прижимается к дороге, что он почти все время может править одной рукой, а в другой держать микрофон, по памяти наговаривая на пленку содержание проведенных бесед и совещаний, вкратце подытоживая свои наблюдения и просто излагая любую пришедшую в голову мысль. Нигде ему так хорошо не думается, как за рулем. Иной раз идеи прямо так и кишат в голове, далеко опережая его реальные возможности. Надо себя сдерживать, а то он бог знает куда унесется в мечтах. За три дня, пока он объезжал южнонемецкие и австрийские филиалы, он наговорил уже пять пленок. Теперь надо отдать их перепечатать и слегка систематизировать. Сперва он обсудит с Кирхмайром сектор закупок. Потом некоторые организационные и кадровые вопросы, которые кое-где возникли. Проблему финансирования он должен решить сам, и от этого, в сущности, зависит все остальное. Кирхмайр был явно разочарован и даже обижен, что он, шеф, не взял его с собой в эту поездку. Зато теперь Фогтман его утешит, привлечет в качестве первого советчика. Кирхмайр, конечно, человек дельный и честолюбивый, но выносить его общество в течение всей поездки — сущая мука: подробные и торопливые комментарии подчиненного, постоянная готовность угодить мешали бы Фогтману думать и мечтать. А для него это сейчас главное. Он хочет составить собственное представление о фирме. Хочет сам всесторонне изучить положение дел, а потом поразмыслить на досуге, пока у него не созреет окончательный план управления фирмой.

Он и от Кирхмайра не счел нужным этого скрывать. Объяснил, что хочет нагрянуть без предупреждения, посмотреть, как работают филиалы в будничной обстановке. Похоже, однако, что слухи о его поездке все-таки просочились, ибо торговые залы повсюду сверкали чистотой, на складах царил образцовый порядок, а руководители филиалов были готовы дать любую справку. Но в лицо его никто не знал, поэтому он первым делом совершал обход торгового зала, а уж потом раскрывал свое инкогнито. Поначалу пробовал даже беседовать с покупателями. Но толку от этого было мало — случайные и отрывочные сведения. Однако, судя по всему, большинство покупателей были довольны.

Гораздо важней оказалось проведенное им сопоставление ассортимента и цен. Деликатесные магазины и мелкие лавочки ему не конкурентны, в отличие от продовольственных отделов крупных торговых центров с их богатым, высококачественным ассортиментом и, с другой стороны, магазинов сниженных цен с их стратегией дешевизны, но эти магазины предлагали покупателю максимум пятьсот — шестьсот наименований самых общедоступных товаров, тогда как его супермаркеты, в зависимости от торговой площади, были рассчитаны на 2500—3000 позиций ассортимента, а кое-где больше. В сельской местности кооперативные рынки и магазины самообслуживания торговали бойко. В небольших городах магазины на окраинах, казалось, тоже не испытывали серьезных затруднений. Они были настолько толково привязаны к уличной сети, что притягивали покупателей отовсюду. Правда, уровень предложения здесь существенно уступал его супермаркетам, причем не только количеством, но и качеством. Правильной линией, видимо, будет такая, при которой его супермаркеты могли бы держаться на уровне средних специализированных магазинов — молочного, мясного и так далее. А для этого нужно четко определить основную массу широкодоступных и ходких товаров, обеспечивающих оборот, и с умом подобрать деликатесы, выбрасывая их в продажу время от времени, но уж с помпой. Французские дикие утки — самый подходящий пример. За ними сейчас все гоняются. Но за свою цену Кирхмайр их достать уже не может.

Он поднес ко рту микрофон и медленно, с расстановкой, произнес:

— Проанализировать ассортимент в зависимости от местоположения. Соседство торговых центров с солидными продовольственными отделами требует столь же дифференцированного предложения и по крайней мере равенства цен. Особое внимание уделить уценке и деликатесам. Пример — французские утки. Изыскать возможности более выгодной подачи ассортимента. Не нужны ли фотовитрины в хлебном и сырном отделах? — Он выключил диктофон. Фотовитрины — это, конечно, полная чушь. Стены позади прилавков нужны для товара. Значит, надо подумать, как поэффектнее расположить сам товар. Он снова включил.— Близость магазинов сниженных цен и кооперативных рынков требует расширенного и дифференцированного ассортимента, но в первую очередь броской рекламы. Не ввязываться в конкуренцию цен! В крайнем случае — только по самым общедоступным позициям. Вместо этого брать качеством. Тщательно продуманный, широкий ассортимент и оригинальные, привлекательные рекламные решения, особенно по части сопутствующих товаров. Например, фирменные пакеты.

Он выключил. Так ли он действует? Ведь в начале поездки он мучился вопросом, как снизить расходы, и среди прочего подумывал, не урезать ли непомерно разбухший ассортимент. Но уже на второй день его мысль начала работать в противоположном направлении: увеличить оборот, расширить ассортимент! Еще поднажать! Приманить покупателя новинками! Предприятию, конечно, потребуется финансовый допинг, но об этом он знал и раньше. Для того и назначил назавтра встречу с Оттером в отеле «Вальдмюллер». Предложит ему вексель под фабрику, и Оттер согласится, как пить дать согласится.

На правильном ли он пути? Может, заразился чрезмерным оптимизмом подчиненных? Не слишком ли доверился благополучным отчетам руководителей филиалов, не пошел ли на поводу у собственных желаний? Может, стоит еще раз все тщательно взвесить?

Дождь усилился, настырный и злой, он лил и лил из черной бахромы низких, насупленных туч. Здесь, в Зальцбурге, так и говорят: «про́ливень». Этот, похоже, из самых худших. Все стекла запотели, он включил подогрев. Щетки дворников широкими взмахами разрывали водную пелену на ветровом стекле и, казалось, тут же задергивали ее снова. Видимость становилась все хуже, словно он угодил в серый суп, в котором плавают размытые красные звездочки габаритных огней и бледные, разваренные макаронины прожекторов встречных машин. Справа и слева от шоссе холмистая местность ползла мимо островками хуторов, перелесков, кустарников. Вот промелькнула деревенька, сиротливые домики сгрудились вокруг церквушки, луковица купола на взгорке. Особый, свой мир, безлюдный и смутный, как сновидение, был — и нет.

Он обогнал два медленно тащившихся грузовика и перестроился в правый ряд. Как уверенно вписалась машина в поворот даже на мокром покрытии, как мягко съедает неровности дороги, как приемисто набирает ход! Это, конечно, большая удача, что он сумел получить тестовую модель. Во-первых, не пришлось ждать доставки, а

с «мерседесами» это обычно долгая история, во-вторых, ие нужно мучиться с обкаткой. Главное, чтоб удача была — и большая и по мелочам.

Дождь не унимался, и он решил, что в Розенхайм не поедет. Точка, конечно, важная, но туда и из Мюнхена при случае можно наведаться. Светящиеся зеленые цифры кварцевых часов на панели приборов перескочили с 13.03 на 13.04, и он вдруг понял, что проголодался. В багажничке, где он обычно держал про запас печенье или плитку шоколада, ничего, кроме сигарет, не нашлось. Он закурил. Мимо проползло озеро Кимзе, серая, мглистая гладь, терявшаяся вдали, потом, грозя затопить дорогу и лишь в последнюю секунду поднырнув под нее, промелькнул бурный горный поток, обрушивающийся с Альп. В голове монотонно застучал детский стишок: «Иллер, Лех, Изар, Инн — все к Дунаю как один». И ему сразу вспомнилось далекое детство, еще до войны, солнечное воскресное утро. Отец и мать еще живы. Он идет между ними. Они держат его за руки и время от времени приподнимают над землей. Откуда-то доносится музыка — шарманка? И он слышит свой тоненький, счастливый детский голосок, распевающий: «Иллер, Лех, Изар, Инн...» Отец похвалил его за то, что он так хорошо выучил стишок, хотя еще не ходит в школу. А он снова и снова напевает песенку, даже не подозревая, что речь в ней идет о реках. В их названиях ему чудятся какие-то таинственные существа, быть может, братья и сестры, которые делают что-то одно, что-то очень правильное. И оттого, что он знает эти слова наизусть, может повторять их снова и снова, он испытывает необъяснимую и счастливую уверенность, отголоски которой вдруг ощутил в себе и сейчас.

Неужто это и вправду было с ним? Он ведь почти не помнит своего детства. То время давно стерлось из памяти, вытравилось, словно пустые бредни. И с тех пор ему кажется, будто у него вовсе не было прошлого.

Он смотрел на дорогу, которая снова плавно шла в гору. Дождь лил уже стеной. Вода сплошным потоком покрыла серый бетон шоссе, мощные протекторы грузовиков рассекали ее фонтанами брызг. Казалось, будто едет целая колонна поливальных машин. Когда он обгонял их, вода с силой хлестала по боковому и лобовому стеклу, закладывая уши дробным, шипящим гулом. С пронзительным писком в эфир вышла радиостанция службы движения. В районе Хофольдингского леса в результате тяжелой аварии образовалась пробка километров в шесть длиной. Водителям, следующим в этом направлении из Мюнхена, советовали воспользоваться для объезда автострадой Б-13 через Зауэрлах до Хольцкирхена. Слава богу, это в другую сторону. Может, еще удастся проскочить. На шоссе по крайней мере стало посвободнее, многие грузовики теперь стояли на площадках отдыха. Водители пережидали непогоду, которая, судя по всему, разрасталась до масштабов бедствия. Он по-прежнему шел в крайнем левом ряду и, почти не снижая скорости, обгонял одну машину за другой. Разгул стихий его будоражит, есть в них что-то величественное. Стихии бросают вызов, но и сулят нечто неведомое. В награду тому, кто выстоит, проявит смекалку, волю, умение, стойкость.

Он почувствовал, как азартно, словно перед прыжком, напряглось и подобралось все тело. Включил противотуманные фары, чтобы пробить дымящуюся, мглистую серую кашу за окном. Мечущиеся дворники отчаянно пытались побороть тяжелую, упругую завесу дождя, барабанившего по стеклу. Он старался не упустить из виду пунктирную линию разметки, смутными прочерками мелькавшую где-то возле правого колеса. Редкие, еле ползущие машины в облаках брызг и водяной пыли, казалось, медленно наплывают на него, когда он их обгонял. Иногда он видел только черную полоску гудрона между плитами бетонки, словно тоненькую путеводную нить, протянутую в струистом месиве дождя, потом, слева, неожиданно близко, хотя и размыто, сплошную белую линию осевой — как слабый сигнал тревоги, поднявшийся из неведомых темных глубин. Плавным поворотом руля он выравнивал машину ближе к середине полосы. В снопах фар дождь отсвечивал белизной, будто обнажал бессмысленную ярость своего нескончаемого, неостановимого падения, и это убаюкивало, нагоняло сон. Но нет, он не заснет. Порывы ветра швыряли на него все новые шквалы воды, теперь уже не всегда можно было разобрать, идет ли дорога в гору или катится под уклон, он распознавал это лишь по поведению машины, которая то плотнее прижималась к земле, то будто зависала в воздухе. Он и машина как бы слились в едином порыве, они понимали друг друга с полуслова, они были заодно и знали, что справятся. Он ласково погладил массивное колесо руля, такое надежное и теплое в его руках, краем глаза проводив очередную машину, оставленную позади и мгновенно утонувшую в шлейфе брызг. Служба движения сообщала о новых и новых авариях во всех концах страны, как будто

страна еще существует, как будто она не растворилась в сплошных клубах белесого тумана, не захлебнулась в потоках воды, низвергающейся из небесных хлябей, как будто не остался от нее один мираж, смутно обозначенный полосками дорог да географическими названиями на указателях. Под мостом, тесно прижавшись друг к другу возле своих мотоциклов, укрылись от дождя двое мотоциклистов, двое окруженцев в тисках неукротимых водных толщ. Сумрачный и мглистый, навстречу надвигался Хофольдингский лес, черная, необозримая масса, вплотную подступившая к дороге с обеих сторон, сплошное море темно-зеленой хвои, прорезанное линейками просек, плотно закупоренных сейчас валиками тумана. И тут, далеко впереди, во всполохе молний он увидел аварию. Огромный рефрижератор лежал на боку поперек дороги, перегородив движение, видимо в обе стороны. Рядом тревожно вспыхивали желтые огни техпомощи, синие мигалки полиции и «скорой», виднелись обломки машин, смутные очертания людей, столпившихся за кустарником разделительного заграждения, а дальше — мерцающий подфарниками хвост автомобилей. По его стороне движение открыто, впереди почти никого, зато на встречной полосе, переливаясь в завесе дождя нескончаемой вереницей огней, волнами изгибаясь на подъемах и спусках, тянулась и тянулась пробка вставших и подъезжающих машин.

Он ехал правильно, его путь был свободен. Его не остановят. «Иллер, Лех, Изар, Инн — все к Дунаю как один»,— напевал он. А чем же иным, как не видением бескрайней, неведомой жизни представлялось ему в детстве слово «Дунай», и разве не к этой жизни стремился он всеми усилиями и помыслами, сквозь невзгоды и разочарования. Жизнь. Она отпущена каждому, пусть и разным сроком. Но он имеет в виду совсем не это. Он имеет в виду нечто совсем иное, необъятное, некий бесконечный мир, в который ты врываешься яркой, ослепительной вспышкой. Не по этой ли вспышке тосковала его мать, не ее ли искала в дешевых романах, которые читала запоем, когда заболела, не к этой ли вспышке стремился отец, уходя на войну, где пропал без вести? Быть может, оба они передали ему частицу своей тоски и своих грез? Почему же в других людях нет ни искры этого огня? Почему большинство только коптят небо тусклыми свечками своих жизней да еще зорко следят, чтобы свеча соседа не горела ярче, почему вокруг одни ханжи, обыватели, завистники, которых надо опасаться, пока не пробьешься наверх, откуда на них можно просто плюнуть? Ибо когда ты наверху — они сразу становятся как шелковые. Перед успехом они мгновенно пасуют. Но ничего, он уже почти у цели. Осталось чуть-чуть. Его мечта уже приняла зримые очертания. У нее даже есть имя. Это огромный, ослепительный город Мюнхен, где он уже месяц возглавляет собственную процветающую фирму. Он все еще не мог в это поверить и иногда, когда знал, что за ним не наблюдают, от восторга пристукивал себя по лбу. Или крепко-накрепко сжимал кулак, словно боясь упустить свое счастье. Неужто это все правда?! Он и надеяться не смел, что все преграды устранятся с его пути так легко и просто. Мечта, за которой он столько гонялся, теперь сама накрыла его своей капризной волной.

Через четверть часа он будет в городе. Небо впереди заметно посветлело. Видимо, он проскочил фронт циклона — дождь начал утихать. Внутреннее напряжение отпустило, он понял это потому, что непроизвольно сбросил скорость. Ведь он мчался, как на ралли. Теперь он еще успеет часа два поработать в кабинете. Пленки тем временем застенографируют, так что к завтрашнему совещанию все будет готово. А сегодня он проведет вечер с Катрин, они вчера договорились, когда он позвонил ей вечером из гостиницы. Пойдут поужинать в «Рим» или к Бётнеру на Театинерштрассе, там приятно посидеть, и обслуживают превосходно. Дорис опять укатила со своим антикваром. Мотаются где-то во Франции, ищут редкий товар. Так что, если будет охота, можно у Катрин заночевать. И кстати, отнюдь не на птичьих правах, с тех пор как он выплатил ей трехмесячную квартирную плату и еще кое-что для нее сделал. Это у них само собой получилось, просто в один прекрасный день она без околичностей ему объяснила, что уже давно живет подачками Дорис от щедрот антиквара.

— Я могу, конечно, опять обратиться в агентство переводчиц,— сказала она.— Но ведь ты сам знаешь, что это такое: та же проституция, только поприличней.

На следующий день он послал ей чек, три квартирных платы, да еще округлил сумму сотни на три. Наутро она позвонила ему на службу.

— Привет. Тут что-то по почте пришло. Это мне?

— Конечно,— ответил он.

— Ужасно мило с твоей стороны. Я тебя целую.

Поцелуи он взыскал в тот же вечер, но о деньгах она больше не заговаривала.

Так брать или не брать завтра с собой Катрин в отель «Вальдмюллер», несмотря на то что Оттер был у них в гостях и знаком с Элизабет? Это был тоскливый, ужасный вечер. Ужин Элизабет приготовила без души, держалась натянуто и подчеркнуто скучно. Оттер ей явно не понравился. Но по сути все ее недовольство относилось к нему, потому что он привел этого человека к ним в дом, затевал с ним какие-то дела, зачем-то хотел показать ему фабрику, и виллу, и парк. Она стала болезненно чувствительной и, видимо, недоверчивой, хотя виду не подавала, предоставив ему полную свободу решений. Но был в ее поведении какой-то скрытый и яростный протест, ненависть к себе и острая неприязнь к нему. После кофе она почти демонстративно удалилась, показывая, что ничего не желает знать о делах, которые они с Оттером намерены обсудить. И Оттер не мог этого не почувствовать.

Да, он непременно появится завтра в «Вальдмюллере» вместе с Катрин, хотя бы ради того, чтобы ошеломить Оттера. Тот сразу изменит свое мнение о нем, и уж конечно в лучшую сторону. Если так посмотреть, Катрин ему очень даже пригодится. Да нет, это он просто себе внушает, чтобы оправдать деньги, которые на нее тратит. В этом году придется выписать ей еще один чек, а к рождеству сделать дорогой подарок. Но что для него эти несколько тысяч — сущая ерунда в сравнении хотя бы с теми семьюдесятью, которые он дал Урбану в качестве отступного, чтобы тот освободил пост управляющего? Ох уж этот Урбан, его осклабленная улыбка не идет у него из головы, то и дело напоминая, что есть во всей этой истории какая-то загадка, которую ему непременно надо разгадать. Чего ради Урбан помог ему прибрать фирму к рукам? Неужто не понимал, что сам себя гробит? Или считал, что дело его все равно пропащее, раз Хохстраат выпотрошил фирму до гроша? А может, он ненавидит Хохстраата? Да нет, глупое предположение, ведь оно никак не объясняет последующих поступков Урбана. Слишком он был обязан Урбану, чтобы тут же от него избавиться,— но Урбан сам подал эту мысль, попросив отступного. Он-то скорее рассчитывал на долгосрочную выплату, однако Урбан уже через несколько дней после их первого, осторожного, прощупывающего разговора напрямик заявил, что ему на выгодных условиях предложили поучаствовать в одном горячем дельце, а потому он предпочел бы скорое и полюбовное финансовое соглашение. Однако запросы у него оказались куда выше среднего. Он потребовал сто тысяч, при этом более чем прозрачно намекнув, что речь, конечно же, идет не о юридически обоснованной компенсации, а просто о его доле добычи. Потом тридцать тысяч все же уступил. И тут же исчез, как зловонное облако. Никто в фирме о нем не жалел, ни одна душа. Убрался — и слава богу, подумал он и в тот же день созвал к себе в кабинет всех заведующих и взял бразды правления в свои руки.

Фирма являла собой большой и вполне современный лайнер, но — увы! — с множеством пробоин, которые надо было срочно латать. Он купил ее за 870 тысяч, кроме того, на сегодняшний день обеспечил товарами со своих фабрик ровным счетом на 435 тысяч. Плюс 70 тысяч Урбану. Все это и еще кое-какие расходы обеспечивалось наследством Элизабет. Но большую их часть пришлось финансировать банковскими кредитами. А денег по-прежнему не хватало! Нужно было платить жалованье служащим, рассчитываться с поставщиками, сделать кое-какие небольшие инвестиции, а обращаться в банки он больше не хочет, дабы не возбуждать подозрений, что он испытывает финансовые трудности, что он на мели. Новые партнеры наверняка уже наводят о нем справки, и он должен производить солидное, выгодное впечатление.

Ну а что, собственно, не так? Верно, долгов набежало на два с половиной миллиона. Но из этой суммы можно смело вычесть стоимость товаров в его магазинах, а она, согласно проведенному учету, составляет миллион семьсот тысяч. Выравнивается баланс стоимостью оборудования и автопарка. Может, и есть небольшой зазор, но все будет зависеть от того, насколько быстро пойдет реализация товара. Все ли они правильно закупили? Верно ли оценена недвижимость? Лотар не нашел к чему придраться. Но он ведь изрядно на него давил, подталкивал к желаемому для себя результату. У самого-то у него опыта маловато, он понимает — наверное, потому и хочет на всякий случай застраховаться. Ему нужны краткосрочные кредиты, причем без огласки, и Оттер для этого дела самый подходящий человек, такому вполне можно втихую продать пару векселей. У него обширные связи, он слывет специалистом по быстрым побочным сделкам. Человек-находка, знаток потаенных финансовых троп, ловкий маклер, незаменимый советчик и подсказчик, к которому отовсюду

стекаются секретные сведения, охотник за удачей, вечно в разъездах, вечно в бегах. Уж он-то знает, где запахло жареным, а где дело идет на лад. У Оттера, если с оглядкой, многому можно научиться. И конечно, Оттер может помочь ему поскорее продвинуться в делах. Ведь уже в будущем году он намерен ликвидировать долги мюнхенской фирмы перед своими фабриками, чтобы обе фирмы могли сотрудничать в нормальном режиме. Потом надо выплатить долг за покупку фирмы и за отступные для Урбана. Понемногу, шаг за шагом, он утвердится в Мюнхене, выкупит свое дело, станет самостоятельным. Но шаги непременно должны быть большие и решительные, чтобы в несколько прыжков — прямо к цели. А потом, что потом? Потом будет свобода!

Фрау Эггелинг, секретарша, увидев его, не могла скрыть изумления. Она не ждала его так рано. В такую-то грозу! Как он рискнул ехать?

— Все не так страшно,— улыбнулся он.

— А по-моему, это было настоящее светопреставление. Из окна ничего не было видно, такой был ливень. Я очень за вас беспокоилась.

— Я люблю ездить в грозу.— Он вынул из кармана пленки и передал ей.— Это надо перепечатать. Желательно еще сегодня. Пусть фрау Грютнер и фрау Цайзер вам помогут.

— Я сейчас же им передам.— На ее лице застыла выжидательная улыбка, и она, судя по всему, хотела, чтобы он это заметил.— А в кабинете вас ждет сюрприз.

— О-о, вот это да! — произнес он, остановившись на пороге.

Посреди комнаты, огромный, гораздо больше, чем он ожидал, стоял новый письменный стол, а к нему три рыжеватых кожаных кресла, одно для него, два для посетителей. На столе в круглой стеклянной вазе пылали алые розы.

— Как же это вам удалось так быстро? — спросил он.

— Профессиональная тайна.

Он подошел к столу, зная, что она стоит в дверях и с улыбкой за ним наблюдает. Кончиками пальцев прикоснулся к крышке, чтобы ощутить холодную гладкость полированного дерева. Палисандр «Рио», самое дорогое, что было, с удивительно броским рисунком — словно языки пламени разметались по древесной глади.

— Фантастика, правда? — спросила она.

Он кивнул, ведь не мог же он признаться, что ему страшно. Обогнув стол, подошел к креслу и услышал, как она говорит:

— Я уже все разложила.

Что ж, тогда он сядет.

Новое кресло мягко и надежно приняло Фогтмана в свои объятия. Его обдал приятный запах дерева и кожи. Рядом с ним стоял еще один столик, пониже и поменьше — для клавишного телефона с электронной памятью. Огромная поверхность стола была пуста, если не считать стаканчика для карандашей и вазы с цветами. Осторожно, не торопясь, но уверенно и властно он положил руки на стол.

8. Коммерсанты в отеле

Ведущий, полноватый мужчина в смокинге, жестом певца подносил к губам микрофон, представляя манекенщиц, которые появлялись в просторном зале откуда-то из-за бара, каждый раз в новых туалетах, с новой косметикой и украшениями.

— Перед вами Сюзанна в манто из норки «Сага-жасмин» с песцовой опушкой, подбито натуральным шелком. Последнее слово вечерней моды. Манто двустороннее, можно носить и мехом внутрь.

Мулатка мелкими шажками пошла на зрителей, потом, уже у самого первого ряда, приостановилась и, подчиняясь ритму музыки, медленно и плавно, точно белое облако, скользнула мимо кресел, опять повернулась, распахнула шубку — смотрите, мол, какая широкая! — и возвратилась на середину сцены, а там, стряхнув манто с плеч, вывернула его и надела снова. Одна рука придерживает воротник у шеи, другая исчезла в глубоком кармане. Она была красива и знала об этом. Надменная красавица выставляла себя на обозрение, но чужие взгляды ее не трогали. Вот она уходит, провожаемая аплодисментами, на темном лице играет застенчивая улыбка, поблескивают белые зубы.

С другой стороны показалась рыжая манекенщица в широком с шелковистым отливом черном манто. Ее встретили овацией.

— Снова норковая тема,— провозгласил ведущий.— Барбара демонстрирует вам норковое манто «Блэк-гламер» из отборных, легких как пух шкурок натурального черного цвета. Превосходная работа. Шубка сильно расклешена, не стесняет движений. Особый аксессуар — сумка через плечо, отделанная норочьими хвостами.

Рыжая подняла воротник, утопила руки в карманах. Как и мулатка, медленно, мелкими шажками пошла на зрителей. В ее походке была ленивая вкрадчивость, шелковистые меха играли мягкими переливами. Взгляд безучастно скользил над головами публики. Где она была в эту минуту? На приморском бульваре? У озера? Скругляя углы, она обошла весь периметр сцены и наконец ступила на середину. Там она расстегнула манто и немного подобрала полу, уперпшсь левой рукой в бедро, правой же с непринужденным изяществом придерживая большой воротник.

Фогтман взглянул на часы.

— Тебе пора? — спросила Катрин.

— Да, сейчас пойду. Распорядителя я предупредил, он все запишет в счет.

Она кивнула и снова устремила взгляд на сцену. Ритм музыки убыстрился — две манекенщицы двигались под эту мелодию с неестественной, почти дерганой поспешностью, видимо изображая неуемную энергию и приподнятое настроение. Обе демонстрировали красную канадскую лисицу, только одна была в шубке, а другая — в пончо.

— Тебе нравится? — спросил Фогтман.

— Да, очень. Изумительные меха и красивые женщины.

— Я бы сказал наоборот.

— Ну конечно. А ведь у тебя есть я.

— И я умею это ценить,— сказал он, легонько целуя руку Катрин.— До встречи.

Направляясь мимо киосков и модных магазинчиков в гостиничный холл, Фогтман еще долго слышал за спиной музыку и всплески аплодисментов. Пожалуй, можно подарить Катрин к рождеству одно из этих манто. Ей пойдет лисье, если она не сочтет его чересчур вызывающим. Ну, да это он еще выяснит. Надо надеяться, у нее достанет ума понять, что он не в состоянии исполнить любую ее прихоть, во всяком случае пока.

Любопытно, что дадут переговоры с Оттером. Вчера по телефону он говорил о векселях как о деле в принципе решенном, осталось только уточнить суммы и сроки действия документов. Видимо, банк известил его, что готов немедля учесть эти векселя. Потому он и держался еще любезнее, чем обыкновенно, прямо-таки сердечно, и голос звучал с подкупающим дружелюбием, приятный голос, который неизменно внушал собеседнику мысль, будто обладатель его — этакий вальяжный здоровяк, хотя на самом деле Оттер тщедушен, сухощав и едва дотягивает до среднего роста. По всей видимости, он заинтересован в расширении деловых контактов, так как полушутя обронил: «Не мешало бы как-нибудь устроить маленькую «мозговую атаку», прикинуть, чем мы можем быть друг другу полезны».

Они условились встретиться в семнадцать ноль-ноль. Показ мод продлится еще не меньше часа. Потом Катрин собиралась взглянуть на шубы, выставленные в одном из соседних залов, и прогуляться по берегу озера. Значит, на разговор с Оттером у него есть два часа. Затем они, вероятно, поужинают. Фогтман пока не решил, ему ли пригласить Оттера или же правильней сделать наоборот. Впрочем, все решится само собой.

— Господин Оттер из Кёнигштайна уже прибыл? — спросил он у администратора.

Тот бросил взгляд на доску с ключами.

— Господин Оттер у себя. Вас соединить?

— Да, пожалуйста.

Администратор набрал номер и, дожидаясь ответа, продолжал листать список, лежащий перед ним на столе. Рядом с Фогтманом стояла весьма немолодая блондинка в грубошерстном костюме. Чуть поодаль к стойке подошел мужчина и попросил ключ. Что-то в нем показалось Фогтману знакомым. Может быть, голос? Администратор наконец протянул ему телефонную трубку. Низкий, обволакивающий голос Оттера приветливо поздоровался.

— Поднимайтесь ко мне в номер, здесь и потолкуем,— предложил Оттер.

Фогтман прибавил шагу, чтобы успеть к лифту вместе с тем, другим мужчиной, и, следуя за ним, не мог отделаться от смутного ощущения, что знает этого человека и обязательно должен вспомнить его имя. Может, это один из их поставщиков? Не

узнаешь — стыда не оберешься. Но другие лифты заняты. Мужчина пропустил его вперед, поднес руку к панели с кнопками этажей.

— Вам который?

— Четвертый.

Лифт тронулся, и они, стоя лицом к лицу, разом узнали друг друга. «Незнакомец» был Хорст Райхенбах.

Когда он немногим позже вошел в номер, на лице у него, видимо, блуждала улыбка, потому что Оттер спросил:

— Что, приятное известие получили? Вы так оживлены.

— Только что столкнулся в лифте со старым университетским приятелем.

— Надо же, забавно. И давно вы с ним не виделись?

— Да без малого двадцать лет. Он даже был шафером на моей свадьбе.

— Ну и ну, прямо перст судьбы.

— Н-да, не без того. Он вывел меня на нынешнюю мою стезю.

Оттер снизу вверх посмотрел на него. И чуть заметно улыбнулся.

— Что ж, тогда смею надеяться, что и для нас это будет добрым предзнаменованием.

Жестом он предложил Фогтману кресло, оба сели. Номер был расположен в двух уровнях, этакая небольшая двухэтажная квартира в зелено-коричневых тонах. Деревянная внутренняя лесенка ведет в спальню и ванную. Из гостиной можно попасть на балкон-лоджию, откуда видна свинцово-серая полоска озера. Вообще-то и они с Катрин тоже просили такой номер, но свободных уже не было. Вероятно, постоянные клиенты вроде Оттера пользовались особыми преимуществами.

— Заказать для вас что-нибудь? — спросил Оттер.— Кофе, может быть, или чая?

— Кофе, пожалуйста.

По телефону Оттер заказал два кофейничка, потом с блокнотом и карандашом вернулся к столику.

— Вдруг понадобится что-нибудь записать,— пояснил он.

В его манере говорить и двигаться была какая-то успокоительная изысканность. Казалось, у этого человека полным-полно времени и опрометчивых поступков он не совершает.

— Надеюсь, у вас потом найдется время,— сказал Оттер,— я хотел бы пригласить вас и вашу даму поужинать со мной.

— Откуда вам известно, что я не один? — удивился Фогтман.

— Все очень просто. Я поинтересовался, приехали ли вы, и в ответ услыхал: господа на показе мод. Вот я и заглянул туда, разыскивая вас.

— И что же? Мы ведь были там.

— Да я решил не мешать, мы так и так должны были скоро встретиться.— Он улыбнулся.— Я застенчив. Иногда.

— Трудно поверить, господин Оттер.

— Но это правда. Я, знаете ли, из тех, кому бы только заниматься собственными причудами и фантазиями. Если б дела не сводили меня все время с людьми, я бы давно стал анахоретом. Ведь гостиничная жизнь — штука сложная. Слишком подолгу остаешься наедине с собой. Впрочем, я каждый вечер звоню жене.

Оттер смотрел прямо перед собой. Глаза его потемнели, полные не то жалости к собственной персоне, не то безотчетной, подспудной меланхолии, которая лишь порою на миг прорывалась в таких вот мрачных раздумьях. Но когда он поднял голову, на губах уже вновь играла улыбка.

— В общем, если у вас нет на примете чего-нибудь получше, буду рад. Можем пригласить и вашего университетского коллегу.

— Нет-нет, благодарю, не надо. Мы с ним успеем повидаться попозже, в баре например. Или завтра утром.

Оттер едва заметно кивнул. Его это устраивало.

— Тогда перейдем к делу. Как я понимаю, вам требуются промежуточные кредиты. Инвестировать собираетесь или речь идет о долговых обязательствах?

— И то и другое,— сказал Фогтман.— Правда, скоро у меня высвободятся другие средства. Ведь недвижимость моего тестя уже продана.

— Знаю. Откровенно говоря, жаль. Отдаете парк под застройку?

— Пока только дальний участок. Деваться было некуда.

— Тут я верю вам на слово. Ну а теперь — ваши пожелания.

— Я думал так: четыре векселя по шестьдесят пять тысяч каждый.

— А обеспечение какое? Фабрики?

— Да, для двух. И еще для двух — моя мюнхенская фирма.

Оттер записал и с минуту задумчиво смотрел в блокнот, потом отложил карандаш.

— Я беру бумаги из пятнадцати процентов. Из двенадцати учитывает банк, три — мой гонорар.

— Согласен.

Называя суммы векселей, Фогтман в последнюю секунду приплюсовал еще двадцать тысяч и был теперь весьма доволен собой: Катрин получит меховое манто.

Коридорный принес кофе. Разговор сам собой зашел о гостинице; Оттер с давних пор чувствует себя здесь как дома. Он похвалил кухню, уютные номера и удобное местоположение, добавил, что летом тут и вовсе замечательно, и вдруг сказал:

— На той неделе я опять буду в Киншасе, в отеле «Мемлинг».

— Вот как? — обронил Фогтман.

У него начисто вылетело из головы, где находится Киншаса.

— Да, там работы непочатый край. В принципе Заир — богатейшая из африканских стран. На юге, в провинции Шаба, гигантские запасы меди, кобальта и других ценных металлов. Около пятидесяти процентов всех технических алмазов тоже дает Заир. И конечно, страна фантастически богата лесом, который почти не используется. Вообще говоря, после ухода бельгийцев сельское хозяйство пришло в совершеннейший упадок. Они теперь даже рис ввозят.

Оттер достал из бумажника пачку фотографий.

— Вот это — вид на Киншасу с горы Мон-Леопольд, дальше там Стэнли-Пул: Конго образует этакий громадный разлив, километров шестьдесят в ширину, со множеством островов. А это — допотопный колесный пароходик. Все собираюсь выкроить недельки две и подняться на нем вверх по реке. Первым классом, разумеется. На переднем плане — плавучие островки водяных гиацинтов. Когда-то давно их ненароком занесли сюда, а они в два счета заполонили всю реку.

— Весьма живописно,— сказал Фогтман.

На фотографии были запечатлены несколько негритянок в красочных одеяниях без рукавов и в чем-то вроде тюрбанов. Женщины сидели прямо на земле, расставив перед собой пестрые сосуды.

— Это воскресный базар в Киншасе,— пояснил Оттер.— Женщины продают местную керамику. Роспись ручная, очень яркая, как и одежда. Вот бы вам, для ваших магазинов, а?

— Пожалуй,— сказал Фогтман.

Оттер протянул ему другую фотографию:

— Я и мой переводчик Калимба.

Оттер в светлом пиджаке стоит под пальмами рядом с улыбающимся молодым африканцем.

— Калимба учился в Париже и Лондоне. Он мне очень помог. Знает нужных людей. А вот тут я с двумя важными персонами. Один — импортер, другой — крупная шишка в министерстве сельского хозяйства.

Фогтман бросил взгляд на снимок. Оттер сидел между двумя неграми в европейских костюмах, один из них был в очках.

— Это доктор Матади,— сказал Оттер, очевидно имея в виду чиновника.

— И что же у вас там за дела? — поинтересовался Фогтман.

— Так, друзей приобретаю,— ответил Оттер.— На Черном континенте друзья в цене.

— И обходятся, как я полагаю, недешево.

— Конечно. Иначе дела не пойдут. Взгляните-ка вот на этого человека.

Он положил перед Фогтманом вырезанную из газеты фотографию. На ней был изображен президент, в прошлом генерал Сесе Секо Мобуту в тужурке а-ля Мао и кепи из меха леопарда. За его спиной на стене была растянута шкура зебры.

— Этот человек — единовластный правитель Заира. С его благословения две сотни семей беспардонно разоряют страну. Сам он владеет огромной недвижимостью во Франции, Бельгии и Швейцарии. И, как говорят, много лет состоял на жалованье

у ЦРУ. Впрочем, все это в порядке вещей. По африканским понятиям, Мобуту — талант. Ориентация у него, в сущности, западная, хотя три года назад он решил перевести страну на национальный, строго африканский курс во внутренней политике. У кого были французские имена — заставил поменять на африканские. Европейские фирмы все до одной были экспроприированы и национализированы. Он там своих людей посадил.

— Вы хорошо осведомлены,— заметил Фогтман.

— Стараюсь. Потихоньку-полегоньку. Главное — терпение.

— По всему вижу, планы у вас грандиозные.

— Дорогой мой, если вы прилетите сейчас в Киншасу и зайдете вечерком в бар «Мемлинга», «Регины» или «Паласа», вы снова увидите там множество европейцев и американцев, и все эти люди намерены в ближайшем будущем ворочать большими делами. Обстановка улучшается с каждым днем. Ведь два года национализации совершенно развалили экономику страны. Теперь власти наконец поняли, что к чему, и начинают трезво смотреть на вещи. Собираются отменить национализацию, привлечь иностранный капитал и сделать крупные вложения по крайней мере в две отрасли — в транспорт и сельское хозяйство. Скоро там ой какие дела завертятся.

— У вас уже есть опыт деловых контактов с Заиром?

— Есть, но пока не слишком обширный. Я торговал немного американским армейским имуществом — шерстяными одеялами, башмаками, обмундированием, палатками. Еще грузовики сбывал через бельгийских и французских посредников. Эти люди помогли мне проникнуть на африканский рынок. Зато теперь я пойду напрямик. Для того и ездил в Киншасу.

— Понятно... А как вы достаете товар?

— Связи. Я уже много лет регулярно бываю на распродажах, где американская армия реализует складские запасы. В большинстве случаев эти распродажи обусловлены передислокацией войск. Вдобавок существует какое-то предписание насчет того, что запасы надлежит периодически обновлять — вероятно, из-за договоров с собственной промышленностью: контракты действуют, а значит, и поставки идут. Так вот, если посчастливится, можно закупить хорошие, вполне новые вещи.

— Прежде всего, если подружиться с нужными людьми, как я полагаю.

— Само собой. Меня уже знают, нет-нет да и подскажут кое-что. Ну а я решаю, чего стоит эта подсказка, и при случае не забываю отблагодарить.

— При случае или сразу, не откладывая?

— Очень уж драматично у вас выходит, и напрасно. Друзья нужны каждому, так легче идти по жизни. А когда люди с давних пор дружны, когда между ними доверие, они, конечно, друг другу помогают.

Оттер откинулся в кресле, точно желая повнимательнее рассмотреть Фогтмана.

— Знаете, по-моему, вы мнительный одиночка, такой же, каким был я. Но делать бизнес — значит объединять интересы, и я это понял. Вы чересчур все усложняете, дорогой мой.

— Возможно. Но меня окружали одни только умники-всезнайки да болваны. Кстати, на первых порах недоверие не помешает.

Оттер примирительно улыбнулся. Боже упаси, он и не собирался возражать Вид у него скорее был такой, будто он хочет дать дельный совет и при этом самодовольно думает: уж мне ли не знать!

— Ну а теперь держитесь! Сейчас я вам покажу одну вещицу. Ручаюсь, она вас заинтересует.

Он легко, но со значением коснулся руки Фогтмана, которая лежала на подлокотнике, потом встал, подошел к шкафу и, вынув оттуда черный «дипломат», торжественно, как фокусник, готовящий свой коронный трюк, отнес его на письменный стол, наискось перегородивший комнату. Неторопливая серьезность, с какой он вытащил из кармана связку ключей, пробежал по ней пальцами, затем двумя разными ключами отомкнул сперва сам чемоданчик, а потом секретное внутреннее отделение, была до того демонстративна, что Фогтман даже спросил:

— Что у вас там? Наркотики?

— Нет, не наркотики,— ответил Оттер,— хотя тоже прелюбопытная штучка.

Все с той же торжественной медлительностью он достал из потайного отделения «дипломата» маленькую плоскую коробочку. На ней виднелась красная надпись, но со своего места Фогтман не мог ее разобрать. Оттер отодвинул чемодан в сторону и из-

влек из коробочки белый футляр, точнее, узкий матерчатый мешочек, который он осторожно сдвинул книзу. Внутри оказался какой-то стеклянный предмет — не то палочка, не то баллончик. На миг Оттер поднял его вверх, словно этакий сверкающий ковчежец, потом бережно опустил на белый мешочек.

— Идите-ка сюда, взгляните. Только руками не трогайте.

Фогтман нерешительно приблизился и посмотрел. Предмет, который Оттер с такой важностью показал, а после, как драгоценный выставочный экспонат, уложил на белый мешочек, была обыкновенная стеклянная ампула пятнадцати — двадцати сантиметров длиной, наполненная водянисто-прозрачной, бесцветной жидкостью. Сверху ампулу опоясывала узкая бандеролька с крохотным черно-белым значком, который Фогтман принял было за розочку, но, вглядевшись, сообразил, что это — череп.

— Что это? — спросил он.

— Метилбромид. Яд, вызывающий паралич дыхательных органов.

Фогтман как раз хотел наклониться, чтобы прочесть надпись на бандеролькe, и прямо обмер. По рукам волной пробежала дрожь, словно он едва не совершил что-то непоправимое. Он отдернул руки и даже прижал их к себе.

— И что же вы думаете с этим делать?

Уголки губ Оттера тронула едва заметная улыбка.

— Да мало ли что.— Он помолчал, потом спокойно, с расстановкой добавил: — У меня таких ампул девятьсот шестьдесят тысяч.

Вот теперь Фогтман испугался по-настоящему. Чудовищность этой колоссальной цифры не только придала еще более устрашающий вид ампуле, но изменила и самого Оттера, с него будто сорвали маску, и на секунду Фогтмана взяло сомнение: уж не сумасшедший ли перед ним?

— Господи помилуй,— выдохнул он,— на что вам это зелье?

Оттер не ответил. Осторожно убрал ампулу в коробочку и запер в потайном отделении «дипломата». Потом обошел вокруг письменного стола, подхватил Фогтмана за локоть и отвел назад в кресло.

— Я вам все объясню,— сказал он.

— Метилбромид — яд, вызывающий паралич органов дыхания,— служит американской армии своего рода квартирмейстером. Им очищают казармы от насекомых. Прибыв на новое место дислокации, квартирьерская команда забрасывает стеклянные ампулы с жидким ядом в помещения, предназначенные для личного состава, а затем наглухо закрывает все окна и двери. Вытекающий из разбитых ампул яд, испаряясь, распространяется по всему зданию, и через несколько часов там не остается ничего живого. Вслед за тем окна и двери распахивают настежь и ждут, когда яд выветрится.

В сельском и лесном хозяйстве метилбромид также применяется для уничтожения насекомых. На европейский рынок он поступает в больших стальных баллонах под высоким давлением, которые можно подключать к распылителям. Любая другая форма хранения и использования запрещена. Метилбромид разрешается распылять с вертолетов над обширными площадями монокультур, особенно подверженных нашествиям вредителей. В садоводческих районах трижды в год можно видеть на плантациях поливочные автомобили, орошающие деревья широкими струями воды. Шоферы этих машин работают в противогазах, так как в воду подмешан инсектицид.

В странах третьего мира, главным образом в Африке, обработка открытых площадей оказалась делом сомнительным и слишком дорогостоящим, нет ни обученного персонала, ни технических приспособлений. Вдобавок при малейшем нарушении дозировки яд под воздействием интенсивной солнечной радиации не только убивает насекомых, но и обжигает растения. Поэтому тамошние поля вернули, так сказать, в лоно природы и пока стараются уберечь хотя бы весьма и весьма скромные урожаи в амбарах и хранилищах. И тут непритязательный метод американской армии хорошо себя оправдал: стеклянные ампулы бросают в силосные бункера и складские помещения и запирают их. Ядовитые испарения насквозь пропитывают запасы кукурузы, маниоки, риса и проса, а полузадохшиеся мыши и крысы выползают из своих тайных нор. За несколько часов буйство вредителей в складских камерах полностью замирает. Без такой обработки — иногда многократной — сохранить урожай практически невозможно.

Небольшой доклад Оттера Фогтман выслушал так же завороженно, как более двадцати лет назад слушал лекцию о деньгах, на которую его затащил Хорст Райхенбах,

и, как тогда, очнулся с ощущением, что узнал нечто ошеломляюще новое. Вот, значит, как делают дела — дерзко, изобретательно, с размахом, учитывая самые причудливые хитросплетения интересов и взаимосвязи безмерно далеких друг от друга обстоятельств: здесь, в Европе, американцы с их расточительным изобилием, которое даже армию понуждает ускорять потребление и товарооборот; там, в Центральной Африке, громадная слаборазвитая страна с ее примитивным сельским хозяйством и продажным чиновничеством, которое, прибрав к рукам и без того скудные государственные запасы, спекулирует на черном рынке. И Оттер сумел связать эти два полюса, терпеливо вживаясь в столь различные мироощущения. Оттер завел друзей среди американцев, которые с его помощью полулегально сбывали собственные складские запасы, но вдобавок он ухитрился привлечь на свою сторону и даже превратить в пособников совершенно иных по складу ума чернокожих чинуш и торгашей, засевших в министерствах и отелях Киншасы, людей очень непростых, скрытных, исполненных вежливо-улыбчивого коварства. У этого Оттера нюх на скромно подставленные ладони, он с блеском владеет всевозможными манерами подкупа — держится то фамильярно-грубовато, то церемонно и льстиво, смотря по ситуации,— и куда ветер дует, он наверняка прекрасно чувствует, и обстановку и удобный момент точно оценивает, не упуская из виду ни важнейших экономических процессов, ни политических обстоятельств, чтобы в конце концов привести все к одному-единственному знаменателю, иначе говоря, к сделке или тому, что за нею кроется,— к деньгам, которые стирают любые различия и связывают все и вся так, как ему хочется; дельцы вроде Оттера, по сути, артисты и совершенно затмевают прославленных корифеев театральной сцены своим вдохновением, богатством фантазии, дерзостью, затмевают не только потому, что мыслят куда отважнее и дальновиднее, а потому, что идут на самый настоящий риск и играют подлинными обстоятельствами и живыми людьми, потому, что творят шедевры жизненного искусства, а не инфантильную академическую чушь, которая, между прочим, тоже создается лишь ради денег.

— Великолепно,— сказал он.— Сколько же это вам даст?

— Вдвое-втрое больше того, что поставил,— ответил Оттер и, прежде чем возобновить объяснения, опять благодушно улыбнулся.— В черной Африке людей интересуют не рыночные цены, а сколько денег они положат себе в карман. Там главное — перебить конкуренцию, дать взятку покрупнее, тогда и цену сбивать не понадобится. Девятьсот шестьдесят тысяч ампул можно продать за семь — семь с половиной миллионов марок. То есть по цене гораздо выше рыночной. Из них один-два миллиона марок придется списать. Они уйдут по другим каналам. Издержки на разъезды и гостиницы при всем при том относительно невелики. Куда весомее банковские проценты, дело-то волокитное, трудоемкое, истинная головоломка.

— И какова же ваша первоначальная ставка?

— Миллион двести тысяч. Но зато я вынужден все делать сам.

Опасаясь выдать свое волнение, Фогтман не поднимал глаз от пустой кофейной чашки. Потом, в надежде, что на этот раз Оттер не поднесет ему огня и не станет вглядываться в его лицо, вытащил сигарету и закурил. Оттер сидел, потирая губы согнутым пальцем. По всему видно, человек искушенный и большой дока.

— Зачем вы мне все это рассказываете? — спросил он.

— Ищу партнера на будущее,— ответил Оттер,— человека, который, пока я за рубежом, будет договариваться со здешними банками.

Катрин бесспорно произвела на Оттера впечатление. Он с церемонной учтивостью поцеловал ей руку и сказал:

— Очень рад, что сегодня вечером вы оба мои гости.

— Предупреждаю,— улыбнулась Катрин,— я чудовищно голодна.

— Тем лучше, мадам, любое ваше желание будет исполнено. За это я ручаюсь.

Оттер заказал столик у окна с видом на озеро и прибрежный бульвар с его почти совсем уже голыми деревьями. Видимо, прошел дождь — огромное панорамное стекло как бы воссоздавало снаружи, в сумеречной сырости, зеркальный образ освещенного зала, рождая мерцающий зыбкий мираж. А здесь, внутри, было уютно и спокойно. Они удобно расположились за столом, Фогтман — рядом с Катрин, Оттер — напротив них. Когда подали аперитивы, подошел управляющий, приветствовал их и собственноручно зажег на сервировочном столике серебряный канделябр. Они принялись изучать меню, наперебой читая названия блюд.

— Что бы нам взять на закуску? Семгу домашнего посола? Или копченую волжскую осетрину с севрюжьей икрой?

— Страсбургский паштет из гусиной печенки с желе «мадера»?

— А потом что закажем?

— Как насчет супчика?

— Ну а самое главное — мясо или, может, здешнюю озерную рыбу?

— А может, вам больше по вкусу дичь?

— Ой, дичь! Смотрите: куропатка, фазан — как раз для меня!

— Лично я возьму белые грибы в сметане с зеленью и пряностями, а к ним клецки.

— Превосходно. А пить что будем?

К закуске выбрали терпкое, красное «Траминер». К дичи управляющий порекомендовал «шамбертен». Оттер, которому уже доводилось пить это вино, одобрил совет управляющего, и тот удалился, взглядом отдав распоряжение персоналу.

Фогтман разворачивал крахмальную салфетку, жесткую на ощупь и гладкую, а Катрин рассказывала Оттеру, как она любит читать ресторанные меню. Прием знакомый — один из ее способов начинать разговор. То ли не сообразила, что ему известна эта ее уловка, то ли считает, что они заранее условились развлекать Оттера светской беседой и теперь во всем заодно. И все-таки он не переставал удивляться, слушая, с каким оживлением она щебечет, словно все эти «откровения» пришли ей в голову вот только что.

Фогтман видел, что Оттеру трудно приноровиться к такой манере вести беседу. И с ним на первых порах было то же. Ничего, когда узнаешь ее поближе, она уже так не заводится.

Неожиданно она сказала:

— Вы, мужчины, для меня загадка. Ну какая радость в этих ваших делах, если у вас ни на что другое не остается времени?

— Я будто слышу мою жену,— заметил Оттер.

— А я — мою,— поддакнул Фогтман.

— Вот как? И что же? Разве жены не правы?

— Может, и правы, но сейчас-то мы с вами,— сказал Оттер, поднимая свой бокал.

Катрин тоже подняла свой и улыбнулась, искоса бросив на Фогтмана заговорщицкий взгляд.

— Все вы одинаковы. Вот почему я никогда не выйду замуж.

— Главное, мадам, чтобы вам было с нами хорошо.

— Ко мне в душу никто не заглянет.

— А жаль. Вы ведь совсем нас заинтриговали.

— И поделом. У вас тоже есть свои тайны.

— Тайны? У нас? — Оттер посмотрел на Фогтмана.— Мы скромные коммерсанты.

— А по-моему, вы — международный торговец оружием,— объявила Катрин.

— Что вы, что вы! — усмехнулся Оттер.— Я не настолько опасен.

Но было заметно, что он польщен.

— Ты не так уж далека от истины,— сказал Фогтман.— Насчет международного торговца в самую точку попала.

— Профессии я всегда хорошо угадываю. Осталось угадать товар.

— А вот это пока секрет,— сказал Оттер.

Два часа спустя они сидели в погребке на небольшом возвышении рядом с танцевальной площадкой, на которой теснились пары. Теперь их было четверо — после ужина Фогтман вытащил из бара Хорста Райхенбаха. Гремела музыка, клубился табачный дым. Голоса стали громче, жесты порывистей, лица раскраснелись. Они дискутировали, они спорили. Райхенбаха потянуло на откровенность, и он признался, что перешел в другой лагерь, был теперь заместителем управляющего в одном из благотворительных обществ и попутно издавал бюллетень левого толка, писал для него проблемные статьи и комментарии. Говорил он еще более гладко, чем раньше, хотя проповедовал теперь прямо противоположные взгляды, ибо, как сам он утверждал, все переосмыслил и многому за эти годы научился.

— «Многому научился» — это хорошо,— сказал Фогтман,— в таком случае проводи нас к истокам своей мудрости.

— Ты знаешь стихотворение «Вопросы читающего рабочего»? — и Райхенбах процитировал:

Кто воздвиг семивратные Фивы?
В книгах названы имена повелителей,
Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы?[1]

— Если ты спрашиваешь меня, то нет,— улыбнулся Фогтман.— Только мне это не в новинку. Я, между прочим, сам якалывал у Патберга в цехе автоматов. А чьи это стихи?

— Брехта.

— Ну конечно!

— Знаешь ли, в данном случае ирония не аргумент,— заметил Райхенбах.

— От священной коровы и молочка не попьешь...

— Благодаря этому стихотворению я кое-что для себя уяснил, кое-что принципиальное.

— Что существуют каменотесы? Так это всем давно известно. И если ты с некоторых пор о них печешься, честь тебе и хвала. Но подаваться из-за этого в социалисты отнюдь не обязательно.

— Ты, Ульрих, все еще мыслишь как индивидуалист, как частный предприниматель. А сейчас нужны конструктивные социальные концепции. Одной экономикой ничего не добьешься. Да и сама экономика, по сути, та же идеология, создающая видимость благополучия и процветания. Но мы-то живем не среди беззаботных фантазеров, а в эпоху перманентного кризиса.

— Так ведь именно частная инициатива возродила после войны наше общество. Если ты еще помнишь.

— По-моему, Ульрих, ты заблуждаешься. Дело в том, что совокупная общественная ситуация после войны попросту скрадывала противоречия. Куда ни сунься — всюду огромная, острейшая нужда буквально во всем, она-то и обусловила длительный экономический подъем. Тут каждому что-нибудь да обломилось. Интересы капитала пребывали как будто бы в полной гармонии с интересами общества. Теперь это уже не так. Структурные противоречия растут день ото дня. Нынешнее наше общество не поспевает за прогрессом технологии.

— По милости этих твоих «общественных интересов» нам садятся на шею бюрократы-чиновники и целая шайка бездельников, которым только бы денежки из людей выкачивать.

— Мне тоже непонятно, что вы разумеете под интересами общества,— вмешался Оттер.— У меня свои интересы, у вас свои.

— Но живем-то мы в одном мире.

— Пока что, слава богу, не в однообразном.

— Какая скука,— протянула Катрин,— а танцевать никто из вас не умеет?

Они тотчас спохватились — ну как же, Катрин совсем заскучала. Трое кавалеров увлеклись спором, а с единственной дамой никто даже не потанцует. Славные наступили времена, нечего сказать!

— Потанцуй с господином Оттером,— предложил Фогтман Катрин.— А я тем временем промою мозги старому другу. Так сказать, в порядке дружеского перевоспитания.

Когда они с Райхенбахом остались одни, Фогтман спросил:

— Ну что, социалист, вино-то еще пьешь?

— Признаться, да.

— По крайней мере в честности тебе не откажешь. Помнишь, как совал мне под нос этикетку самой лучшей своей бутылки, а я понятия не имел, чего ты от меня добиваешься?

— Нет, забыл. Но вот что ты был простофиля, помню отлично.

— А ты предатель. Отрекся от нашей давней религии творческого эгоизма. И понес наказание — разжирел.

Фогтман хлопнул Райхенбаха по плечу:

— Социалист! Надо же, именно ты — социалист... Не забыл еще мою свадьбу? Белые экипажи? А старый Патберг умер.

---

[1] Перевод И. Фрадкина.

— Слыхал. Или в газете прочел. Ты все еще с Элизабет?

— Да.

— Как она сейчас?

— Спроси что-нибудь полегче.

К столику вернулись Оттер и Катрин. И всех разом одолела жажда, все признались, что ужасно хотят пить. Ну-ка, чем тут угощают? «Клико» из почтенных подвалов барона Ротшильда, а это отнюдь не располагает к умеренности.

— Будьте здоровы! За дружбу и успех! За всеобщее благоденствие и за всех прилежных работяг, которые воздвигли город Фивы,— а что, почему бы и нет?

— За нашу прелестную даму! — провозгласил Оттер.

— За третий мир,— добавил Фогтман.

По желанию Оттера ансамбль исполнил несколько старых мелодий Луи Армстронга; Оттер их всегда заказывал, бывая здесь.

— Луи Армстронг для меня,— рассуждал Оттер,— символ доброй, старой, милой Америки. С этим я вырос. А кто пришел на смену? Элвис Пресли! Кошмар! Вот вам и прогресс культуры. Но сегодня музыку заказываем мы.

Катрин и Оттер танцевали. Оттер держался чуть скованно. Правда, с ней ему было легко, и он успешно лавировал в толпе танцующих. Следующим номером певец выбрал слоуфокс, сентиментальный и навевающий грезы. Обнаженная рука Катрин обнимала Оттера за шею, его рука лежала у нее между лопатками. Зеленовато-серые глаза Катрин смотрели куда-то в мглистый, мерцающий огнями свечей воздух.

— Куда ушли все эти годы? — проговорил Фогтман.

Фогтман с Катрин вернулись к себе под утро. Райхенбах, который жил в другом крыле, попрощался и ушел. Оттер проводил их до самой двери номера, и Катрин все это время была говорлива и оживлена. Но как только Фогтман запер дверь, она в изнеможении упала в кресло.

— Не могу больше, Ульрих. Я совершенно без сил. Боже, бедные мои волосы! Всю насквозь продымили.

Он снял ботинки, пиджак, галстук и принялся расстегивать рубашку. Катрин не двигалась, лишь тоненько зевнула. Туфли она скинула и от этого казалась беспомощной, постаревшей и даже очень обыкновенной.

— Этот Хорст Райхенбах просто страшный человек,— сказала она.— Но ты как будто бы неплохо провел время в его компании.

— Не так хорошо, как ты.

— Сердишься, что я флиртовала с Оттером? Я думала, ты этого хочешь, он же для тебя важная персона.

— Шутить изволишь! Впрочем, главное — ты получила удовольствие.

— Немножко,— кивнула она,— ведь он такой неловкий, скованный. Не привык к женскому обществу.

Она зевнула, прикрыв рот ладонью, потом обессиленно протянула ему руку:

— Помоги мне встать, иначе я так и засну в кресле.

Катрин первая юркнула в постель, а когда он привлек ее к себе, нерешительно запротестовала:

— Ульрих, ну, пожалуйста, это нечестно.

Но, заметив, как безучастна его рука, она успокоилась и положила на нее голову. Ее собственная рука бессильно, по-детски лежала у него на груди.

— Вот здорово, наверное,— прилетаешь в Киншасу, а там целый легион негров ждет твоих приказаний.

— Наверное,— согласился Фогтман.

— Мы тоже туда слетаем, когда устроятся ваши с Оттером дела?

— Не знаю. Не знаю, устроятся ли.

Катрин со вздохом вытянула ноги. Прошло несколько минут, и Фогтман совсем было решил, что она спит. Но в этот миг она сказала тихим, сонным голосом, как бы выплывшим из забытья:

— Мы сегодня шубки посмотрим?

— Конечно. Но прежде выспимся.

— Угу.— Она опять зевнула и уже в полусне приподняла голову, высвобождая его руку.

Фогтману не спалось. Полежав немного, он откинул одеяло, встал и, подойдя к окну, глянул в щелку между гардинами. Шел дождь. Смутно угадывался впереди темный, влажный отблеск озера. Мокрая чернота, по которой плывут редкие огоньки.

Девятьсот шестьдесят тысяч ампул яда, запакованных в водонепроницаемые ящики,— Оттер где-то их хранит. Интересно, сколько места они занимают? Может, целый складской зал? Он вообще-то объявил, что в ящиках? Едва ли, ведь тогда придется выполнять нуднейшие инструкции по технике безопасности. В преступных руках этот яд может стать чудовищным оружием. Впрочем, его это не касается, во всяком случае пока. Он пристроил свои четыре векселя. Решил сегодняшнюю свою задачу, а участвовать в оттеровских безумствах вовсе не обязательно.

Почему же он так встревожен? До смерти устал и встревожен, даже спать не может. И снотворное не примешь — ведь часа через три-четыре надо вставать, а после таблетки он подняться не сумеет и с Катрин не позавтракает. Лучше уж провести ночь без сна, просто полежать, отдохнуть. Он возвратился к кровати и лег под одеяло. Инстинктивно, как бы защищаясь, Катрин повернулась к нему спиной. Сердце его билось по-прежнему учащенно, дыхание перехватывало. Наверное, шампанское виновато. Или что-то другое? Может быть, непостижимо глубокий, потаенный страх, который одолевает его иногда, страх, что он угодил в фальшивую жизнь, этот страх издавна тлеет в нем, вот и теперь еще временами вспыхивает, в минуты, когда он теряет уверенность в себе. Да нет, всему виной сердце, что-то пошаливать стало, порой будто спотыкается,— именно этот насос и нагоняет на него страх. Он сел, в надежде, что так станет легче дышать. Голова свесилась на грудь, лицо взмокло от пота. Что же это? Может, разбудить Катрин? А чем она ему поможет? Нет, ей лучше не видеть его таким. Если б тут была Элизабет, мелькнула смутная мысль. Элизабет... какая чушь! Ему было стыдно этого крика о помощи, но в глубине души он уцепился за него. Помоги мне, помоги! Ну вот, уже легче, сказал он себе, уже легче. Черт, опять накатило, новая волна страха. И холодный пот течет по лицу. Жалкая, должно быть, картина. Он невольно открыл рот — дышать было нечем. Может, снова лечь, потихонечку, осторожно, ведь он совершенно ослаб, а сердце колотится как безумное. Нет, и это без толку, не помогает. Что же делать? Мрак в комнате стал еще темнее и гуще. Даже рукой не шевельнуть — нет сил.

9. Черные Дыры

Ночь была пасмурная, по небу одна за другой тянулись плотные тучи, из которых беспрерывно сеялся дождь, лишь изредка сплошная завеса облаков разрывалась и в вышине проглядывала россыпь звездных огоньков. Чуть выше верхнего облачного слоя летел самолет с красными сигнальными огнями на крыльях и хвостовом оперении. Он то исчезал в наплывающих громадах туч, то появлялся вновь, и каждый раз над ним и за стеклами пилотской кабины была черная бесконечность неба в огненных брызгах Млечного Пути.

Кристоф все читал, читал. Изредка поднимал голову, щурился, тер глаза и опять склонялся над книгой. Эту книгу о Черных Дырах Вселенной он взял в городской библиотеке после обеда, но открыл только перед сном, хотел немного полистать. И лишь спустя несколько часов до него дошло, что он читает. Книга широко распахнула его разум и врывалась туда новыми и новыми образами, и убежать от этого было невозможно.

Все исчезнет, думал он, все поглотит тьма. Он словно видел фильм, где время текло вспять. И все движение материи тоже повернуло вспять — из невообразимой дали плыли навстречу друг другу звездные облака, спрессовываясь воедино, в зародыш вещества. Было это пятнадцать миллиардов лет назад. А теперь фильм снова шел как обычно. Зародыш взорвался, возникла Вселенная. Облака космического газа медленно сгустились в гигантские звезды, которые по мере сжатия разогрелись и начали светиться. Вокруг них, в плену их мощного тяготения, закружились более мелкие, безжизненные небесные тела — планеты. Некоторые звезды в пятьдесят — сто раз превосходили массой наше Солнце, и вот эти сверхсолнца в мощной вспышке энергии разбухали, многократно увеличиваясь в объеме, и превращались в красные гиганты,

а затем, обессилев, съеживались, опадали. Сила гравитации брала верх над истощенной ядерной энергией, и материя спрессовывалась все плотнее — до такой невообразимой плотности, что даже свет не мог от нее оторваться. В итоге этого процесса возникала Черная Дыра, могила космического вещества, которая засасывала в свой мрак и уничтожала все, что попадало в поле ее тяготения. Порой астрономы с помощью радиотелескопов ловят пришедшее из глубин Вселенной таинственное рентгеновское излучение. Быть может, это предсмертный вопль гибнущей материи, пожираемой Черной Дырою, сигнал, что в мирозданин неумолимо вершится беспрерывная работа смерти. Ведь чем больше вещества поглощают Черные Дыры, тем мощнее становится их сила их притяжения. А поскольку из любой умирающей звезды может возникнуть новая Черная Дыра, невольно напрашивается вывод, что все звездные скопления и галактики уже давно нашпигованы такими незримыми гробницами, пожирающими все больше и больше звездной материи. В конце концов от них, наверное, ничто не убережется, рано или поздно все и вся устремится во мрак абсолютного коллапса.

У Кристофа мороз по коже пробежал от этой мысли. Но чем лучше другая идея о том, что Вселенная извечно и неудержимо расширяется, все сильнее рассеиваясь в пространстве. Может, лучше уж принять гипотезу автора книги, который полагает, что задача Черных Дыр — повернуть процесс бесконечной дисперсии вспять, сконденсировать разбегающуюся материю и вновь спрессовать из нее космический зародыш.

Вдруг это и есть конец — вечный покой и тьма абсолютного сжатия. Но ведь может быть и так: в недрах зародыша под давлением чудовищной массы вновь вспыхнет космический огонь и спрессованная материя, разлетевшись от взрыва, создаст новую Вселенную. В таком случае все — просто-напросто пульсация. Через каждые восемьдесят миллиардов лет — новое начало всего, в том числе и начало жизни. Возможно, где-то в неизмеримых далях новых солнечных систем после долгих странствий по дорогам и бездорожью эволюции на исчезающе малый для мироздания срок вновь возникнут разумные существа, способные постичь гигантский космический фейерверк вокруг себя и осознать свое жалкое и убогое в нем место, чтобы чуть ли не сразу же вновь угаснуть.

Кристоф отложил книгу, голова кружилась, будто он стоял на краю бездны.

Ночь еще не кончилась. Кромка утренних сумерек, первая волна серого света, бегущая с востока на запад, была еще за тысячи километров отсюда. Потоком мрака плыли навстречу свету дождевые тучи. Они не остановят свет, но омрачат его, на целый день подернут унылой серой вуалью.

Кристоф не спал, хотя голова гудела от усталости, а часа через три снова вставать. Книга ошеломила его и взбудоражила, но от сумбура в мыслях он чувствовал уныние и пустоту. С ним часто так бывало. Читает, читает, а потом книга вдруг кончается, и неизвестно, как жить дальше. Другие-то как обходятся? Как терпят эту жизнь? Нет, не хочет он узнавать про других. Он должен попытаться быть самим собой. Он должен, он хочет... В последнее время Кристоф часто твердил себе это. И чем больше твердил, тем больше ощущал собственную неуверенность. Книга открыла ему, сколь безысходна участь тех, кто населяет эту затерянную в безднах пространства пылинку, и он преисполнился холодной гордыни. Однако это чувство тотчас развеялось, ушло без возврата. У каждого была всего-навсего своя маленькая жизнь, такая бессмысленная и безнадежная. И во всем, повсюду — и с ч е з а т е л ь н о с т ь. Да, теперь он нашел имя тому, что смутно ощущал, разговаривая с другими людьми, или подслушивая родительскую ссору за стеной, или, как сейчас, разглаживая рукой складки на одеяле. Исчезательность, неотступное влечение Черной Дыры. И сам он тоже Черная Дыра. Можно ли заснуть, нашептывая себе такое? Чего ему недостает? Что он ищет? Чего боится?

Световой вал нового утра ринулся вперед и вмиг захлестнул землю — звук и тот за ним не угонится. Но еще до его появления — ведь сейчас осень — всюду ненадолго зажглись искусственные огни, которыми люди освещали свои жилища и рабочие места. Филигранный световой узор накрыл страну, ярко и широко разгорелся и вот уже снова начал бледнеть, так как утренние сумерки затопили все своим молочным светом, который был теперь всюду и с каждой минутой набирал силу, раскрывал землю, как бы воссоздавая ее формы и краски, исподволь заливал лучами облачные поля и гасил огни звезд,— наконец освещение в домах, на улицах, в поездах и машинах потухло. Начался день.

Элизабет погасила висячую лампу над круглым столом, собрала на поднос посуду с остатками завтрака и отнесла на кухню. Там еще горел свет, который она погасила, нажав локтем на выключатель, и только после этого опустила поднос на буфет между плитой и мойкой. Привычными скупыми движениями рассовала в холодильник и шкаф масло, молоко, колбасу, сахар, две баночки с джемом, хлебницу и кукурузные хлопья, положила грязные ножи под струю воды, выскребла из тарелки Кристофа в мусорное ведро недоеденные кукурузные хлопья, поставила ее вместе с прочей посудой в моечную машину и, как с ней часто бывало в последнее время, закончив все эти мелкие бездумные дела, на миг замерла в растерянности, будто не зная, за что приняться дальше.

А приниматься было не за что. Через час придет фрау Дран и наведет в доме порядок; фрау Дран уже много лет приходит сюда три раза в неделю, она знает, где что стоит, и никаких указаний ей не требуется — работы и без того немного.

Но если фрау Дран не придет, что тогда? Погибать, что ли, тут от одиночества?

С тех пор как Ульрих начал подолгу пропадать в Мюнхене, у нее по утрам не было иногда ни малейшего желания одеваться. Она слонялась в пеньюаре по комнатам, слушала радио, курила и бездельничала. Лишь перед самым возвращением Кристофа из школы заставляла себя приготовить на скорую руку обед, жарила яичницу, делала салат, открывала какие-нибудь консервы, доставала из холодильника два стакана кефира, а когда наконец садилась с Кристофом за еду, как правило, еще раз выходила из-за стола, так как вечно что-нибудь забывала. Тогда, вот как сейчас, она вдруг обнаруживала, что измучена сверх всякой меры, и некоторое время сидела без движения, точно прилипнув к стулу; лишь немного погодя ей удавалось взять себя в руки и сходить на кухню за солонкой, вилкой или ложкой для салата. Кристоф встает, только если попросишь, а у нее сил не хватало бороться с холодным недовольством сына, пробивать стену его враждебности. Она понятия не имела, что с ним происходит. Ее он все больше чуждался, но и друзей у него тоже не было. Нынче утром она не сразу решилась постучать в дверь его комнаты, хотя он явно проспал. Мрачный, бледный, опухший, Кристоф вскоре явился на кухню, чтобы наспех выхлебать свои кукурузные хлопья. Он явно не выспался и в школу наверняка опоздает. Но она не посмела ничего сказать, а сын внезапно вскочил, едва не опрокинув стул, буркнул: «Ну, я пошел» — и исчез.

Все рушилось, все уплывало сквозь пальцы, близкие — муж, сын, сестра — все больше отдалялись от нее, а главное, она теряла себя. Все в ней закоченело и высохло, истончилось до призрачной бесплотности, все, даже страх. Ибо ее страх перед этим неостановимым разрушением давно уже был опутан коконом равнодушия. И печали своей она толком не чувствовала, потому что равнодушие было сильнее. Лишь по утрам, сразу после пробуждения, ее захлестывали страх и тоска, и тогда губы сами шептали мольбы, правда беззвучные, все равно ведь никто их не слышал: приди же, помоги мне, не бросай меня одну! Но стоило ей подумать, к кому обращены эти мольбы, и она в отчаянии принималась трясти головой, мотала ею из стороны в сторону, стремясь отбросить эту мысль, и в конце концов замирала в полной безнадежности.

Днем было не так худо, как по утрам,— особенно во второй половине дня. Она находила себе какое-нибудь занятие, иногда, составив список, ездила в город за покупками, навещала Ютту, хотя со времени продажи парка между ними выросла незримая стена. Единственным светлым пятном в ее жизни были новые соседи, Фриц и Альмут Вагнер, с которыми она видалась теперь довольно часто. Фриц Вагнер — в прошлом профессор-китаист — потерял зрение в автомобильной катастрофе. С тех пор Альмут, его сестра, поселилась у него в доме и всячески опекала его. Обоим было под шестьдесят. Но Альмут занималась йогой и, несмотря на седину и изрезанное морщинами, пергаментно-смуглое индейское лицо, выглядела много моложе брата, от которого веяло мягким, задумчивым спокойствием. Приятно было сознавать, что они тут, рядом, и Элизабет часто думала, что эти двое, наверное, могли бы дать ей добрый совет, хотя покуда не решалась рассказывать им о себе.

Нет, она не намерена обременять посторонних подробностями своей жизни, этой дикой путаницей, этими противоречиями. Она должна уладить все сама, должна взять себя в руки.

Элизабет вернулась в столовую, смахнула тряпкой со скатерти в ладонь крошки хлеба и сахара и выкинула в ведро. Из щели почтового ящика на двери торчала

газета. Она вытащила ее и пошла в гостиную открыть шторы в сад. Примчалась Бесси, завиляла хвостом. Элизабет впустила ее, потрепала влажную, резко пахнущую шерсть на спине. Соседей не видно. Должно быть, Вагнеры завтракают, Альмут читает брату газеты. Что там сегодня?

Она села, полистала газету, закурила, попробовала придумать дела на сегодняшний день, увидала, как Фриц Вагнер вышел на террасу и снова исчез в доме. Тут в дверь позвонили — это фрау Дран. Элизабет испуганно вздрогнула и быстро пошла открывать.

— Прошу прощения, я не одета.

— Ну что вы, ничего страшного.— Фрау Дран сняла пальто и сапоги, спросила: — А что, собственно, происходит в парке у виллы? Там вроде как деревья пилят...

— Но ты же обо всем знала,— с вымученным терпением сказал Фогтман, слыша в трубке возбужденный голос Элизабет, словно именно там томилась в неволе узница-душа, посылая миру отчаянный и тщетный призыв о помощи.— Ты сама это узаконила, когда подписала у нотариуса бумаги. Тогда все и решилось. Даже раньше, когда мы — ты, я, твой брат, твоя сестра и Андреас — подробно все обсудили. Ты ведь не возражала тогда.

Она заговорила опять, робко, упавшим голосом, как бы вымаливая утешение.

— Я тебя понимаю,— сказал он,— мне тоже очень жаль. Но многие деревья сохранятся. Кедр, например. Это мы с Андреасом особо обговорили. Да-да... Через два дня буду дома и останусь до следующего понедельника. Здесь все в полном порядке. Приеду — расскажу. Жди к обеду, так как вечером я договорился кое с кем встретиться. Поэтому и выезжаю рано утром. И успокойся. А туда лучше не ходи, не стоит.

Он положил трубку, посмотрел на Кирхмайра, который с безучастным лицом сидел в кресле.

— Извините, жена...

Кирхмайр кивнул. Вид у него был выжидающе-настороженный, словно он в любую минуту готов занять круговую оборону. Ну, что прикажете думать об этом Кирхмайре? А вдруг они с Урбаном тогда сговорились заранее и только потом Кирхмайр позвонил ему, Фогтману, в гостиницу, а уже после этого они встретились втроем за ужином? Нет, сказать по правде, он в это не верит. Но в том-то и парадокс, что именно Кирхмайр завел его своим тогдашним звонком и даже если действовал он не по указке Урбана, то в любом случае весьма способствовал успеху урбановских интриг.

Впрочем, это все неважно. Пусть даже Кирхмайр был тогда на его стороне, пусть их обоих обвели вокруг пальца — все равно Кирхмайр невольно сыграл роль подсадной утки, а он с восторгом полез в ловушку. И Лотар виноват, тоже дал себя обмануть, когда проверял бухгалтерские книги, хотя — опять-таки нельзя не признать — то, чего нет в книгах, не проконтролируешь, вот разве только кой-какие отчисления могли бы навести его на подозрение — авансы агентствам, которые сейчас нежданно-негаданно выставили счета.

— Вы можете подтвердить? — спросил он.— Эта колоссальная рекламная компания была проведена?

— Во всех местных газетах регулярно печатались объявления, я хорошо помню.

— Но в книгах ничего не отмечено.

— У меня просто в голове не укладывается,— сказал Кирхмайр.

— Зато у меня укладывается,— сказал Фогтман.

Он набрал телефон Урбана. И снова услыхал голос автоответчика:

— Номер не абонирован.

Фогтман дважды выслушал эту фразу — голос беды, холодный, равнодушный, непреклонный.

Вот уже несколько часов падали деревья в патберговском парке, одно за другим, одно за другим, а из выходящего в сад окна виллы это падение, мало-помалу усти-

лавшее парковую лужайку древесными трупами, казалось призрачной пантомимой, нереальной, как галлюцинация. Однако же здесь просто становился явью давний умысел. Пятью днями раньше два человека, не привлекая к себе внимания, с планом в руках обошли парк и красной краской пометили все назначенные к вырубке деревья. А нынче утром прикатила целая команда палачей — восемь мужиков в серо-зеленых спецовках и резиновых сапогах спрыгнули с грузовика, разобрали инструмент, затем, после недолгого совещания, разошлись по местам и приступили к работе.

Затарахтели мотопилы, хрипло, взахлеб завизжали, с холодным бешенством вгрызаясь в тела буков и дубов, каштанов и кленов, ясеней и японских катальп. Решив, в какую сторону валить дерево, рабочие почти у самых корней делали на стволе зарубку. Потом двое подносили с противоположного бока большущую пилу и спокойно, легко взрезали кору, и плотнеющую ближе к сердцевине заболонь, и темноватые полосы годичных колец. Словно не встречая сопротивления, пила погружалась в дерево. Порой она вязла в твердом ядре, тогда мотор начинал басовито урчать, снижая обороты, но зубастая цепь быстро высвобождалась, и снова от ее сумасшедшего кружения из раны брызгучей струей летели наземь душистые опилки. Еще немного — и разрез дойдет до зарубки, только этого не случалось, пилу вытаскивали. Дерево пока стояло, безмятежное, будто невредимое, оно пока терпело удары топора, расширявшего верхнюю часть пропила и готовившего опору для клина, который мощными ударами обуха загоняли в щель.

И вот тогда дерево принималось скрипеть и покряхтывать. Крона его вздрагивала, трепетала вся, до кончиков ветвей. Оно медленно клонилось набок, но не из смирения перед чужим могуществом, нет, оно будто исподволь покорялось нарастающей в нем усталости, какому-то болезненному сдвигу в мироощущении, неуклонно одолевавшему его, и неожиданно внутри ствола что-то ухало, рвалось, и дерево падало, кроной оземь, с шумом и треском, брызнув в стороны щепками. Сучья, спружинив, поворачивали его — самую малость,— будто дереву хотелось лечь поудобнее. Секунду все было тихо. Там, где раньше устремлялись к небу ветви и листва, зиял теперь серый провал. А на земле громоздилась чащоба сучьев и переломанных тонких веток. Но и поверженное, дерево хранило свое достоинство. Требовало места и в длину, и для пышной кроны, и по-прежнему его стать, его рост вызывали восхищение. По-прежнему, даже смертельно раненное, оно казалось гордым и неприступным.

Тогда двое лесорубов вооружались ручными бензопилами, и свирепые механизмы, коротко взвизгивая, принимались за сучья. Первым делом они срезали наружные ветки, на которых еще трепетали остатки осенней листвы. Это были гибкие, свежие побеги, которыми дерево ловило и разметывало ветер. Они сыпались наземь, будто никчемный мусор, и другие рабочие волокли их прочь, а пилы меж тем надсаживались все более хриплым и долгим воем, потому что добрались до плотной и твердой древесины крупных сучьев. Они быстро меняли облик дерева, превращая его в нечто безжизненное, ощетиненное зубчатыми выростами, похожее сперва на гигантские, замысловатые рога, а потом — на тупые вилы. Под конец оставались одни культяпки — словно дерево в безумном порыве страдания простерло свои руки, а их взяли и ампутировали у самого ствола.

Рабочие вбивали в древесину острые крючья и оттаскивали в сторону отпиленные суки, оставляя на месте итог своих палаческих усилий — голый кругляк. Скоро его опутают цепями, погрузят лебедкой на специальный прицеп и отправят на лесопилку. Там он попадет в пилораму и выйдет из нее пачкой одинаковых досок, а затем будет странствовать в горячих воздушных потоках сушилки; и с каждым часом он будет все неузнаваемее, накапливая в себе сухую материальную вещественность, будто его пропускают сквозь хитроумную, неутомимую машину по уничтожению воспоминаний.

Ласково, как последний, но утешительный и неоспоримый довод, Рудольф погладил ореховое ложе охотничьего ружья, ощупал мелкозернистую, ручной выделки рыбью кожу на шейке приклада и цевье, изящные гравированные арабески на магазинной коробке — «Зауэр-54», любимое охотничье ружье отца. С раннего утра Рудольф сидел здесь, у окна, наблюдая за истреблением парка; словно в поисках поддержки и помощи, он вынул из шкафа это ружье и положил на колени. Временами

он подносил приклад к щеке, брал на мушку кого-нибудь из рабочих, разглядывал в оптический прицел голову этого чужака, а когда в перекрестье попадал его лоб, затылок или висок, легонько касался указательным пальцем курка. Ствол и магазин были пусты, пять патронов лежали рядом, наготове. Кое-кого из лесорубов он бы вполне мог отсюда ухлопать, но это ничегошеньки не изменит, только послужит в оправдание Ульриху, подлинному виновнику, которого здесь нет и который явно не желает видеть происходящее.

От Ульриха он получил письменное напоминание освободить виллу к концу ноября. И приколол это письмо к стене, рядом с письмом Элизабет, в котором она недвусмысленно советовала ему лечь в наркологическую клинику. Иногда он садился перед этими бумажками и напивался.

Наверное, он бы смог оклеить такими бумаженциями целую комнату. Присовокупить сюда метрику, и паршивенькие школьные табели, и лабораторные анализы — свидетельства прогрессирующего цирроза печени, ну и еще конфирмационный девиз, который он, как ни странно, сохранил: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» [1]. А что это — венец жизни? Так вот прямо на его глупую башку и наденут венец — господи боже ты мой! О чем только пастор думал, когда выбрал для него этот девиз? Он понятия не имеет, что такое жизнь, и уж тем более не представляет себе, что следует разуметь под венцом жизни. Одно ясно: ему этого венца не носить.

Впрочем, их отнюдь не много, таких бумажонок, стен ими не оклеишь. Он растратил жизнь на пустяки, не оставил в мире следа, ничего не достиг, ничего не изменил, ничему не воспрепятствовал. С детства слыл за дурачка. В первую очередь с легкой руки Элизабет. И ведь за долгие годы никто так и не догадался, как ясно и отчетливо он все понимает, так ясно, что порой из этой чудовищной ясности есть лишь один-единственный выход — напиться. Отчего он безропотно терпел, что его считают дураком и тупицей? Боялся сделать над собой усилие и взбунтоваться против чужих предрассудков? Да-да, наверное, все дело в этом — в готовности к отступлению, в чувстве безысходности, которое ни на миг не оставляет его. В чем бы они его ни подозревали, какие бы ни навешивали обвинения — все это припечатывал штемпель с надписью, видимой только ему и незримой для других: протест бессмыслен. Вот отчего он впал в апатию и покорность.

Отец тоже считал его пустоцветом. Теперь-то он знает почему: отец тоже был человеком слабохарактерным, и еще более слабохарактерный отпрыск пришелся ему очень кстати — было на кого смотреть свысока, а потом тешиться иллюзией собственного превосходства. Рудольф усвоил, что отец, сестра, а мало-помалу и все окружающие составили себе о нем вполне определенное представление и стремиться быть иным бесполезно. В угоду им он стал рохлей, неудачником, пьяницей, который в самом деле заслуживает презрения. Лишь в последние годы, с той поры как Ульрих и Элизабет уехали из виллы, он почувствовал в отце безмолвное сочувствие, и между ними установилось молчаливое согласие двух единомышленников, двух побежденных, ведь Ульрих прижал к стенке не только его, но и отца.

Протест бессмыслен. Жизнь шла где-то вокруг, мимо, а он был предоставлен самому себе. И конечно, ему давным-давно уже нельзя появляться на людях, он и сам это чувствовал. Готов был даже скрыться с собственных глаз. Был себе противен.

Чем заняты эти люди? Обеденный перерыв у них кончился, и старшой с тремя лесорубами направился к кедру. Они озираются по сторонам, что-то обсуждают. Вот старшой, обернувшись, взмахнул руками. Видимо, показывает, куда валить дерево. Кедр был в парке самым мощным и самым ценным деревом и прожил бы еще не одну сотню лет. Его рубить нельзя, насчет этого все согласились, даже Ульрих и Андреас. Вероятно, ему опять наврали. Все бесстыдно врут, а потом делают по-своему.

А что он мог предпринять? Как он их остановит? Двое работяг приволокли пилу, третий уже делает зарубку. Венец жизни. У дерева он был. А они дерево убивали. Голова и сердце у Рудольфа словно заледенели, он не шевелясь смотрел на происходящее. Это была леденящая судорога неумолимого страха и глубочайшего позора, который вот-вот снова толкнет его к бутылке — ради малой толики поддельного тепла. Да, он будет пить, пока не рухнет, как дерево. Хотя нет, он рухнет иначе, позорней. Упьется до бесчувствия и свалится под стол — и пускай, там ему самое место.

Дерево еще мирно стояло. Но лесорубы уже принесли топор, и с минуты на минуту оно упадет. Только Рудольф увидит это сквозь пелену слез. Слез пьяницы.

[1] Откровение св. Иоанна Богослова, 2, 10.

В последнее время они набегали от каждого пустяка, и он позволял им течь по лицу, холодному на ощупь и окоченелому. Слезы давали некоторое успокоение. Примиряли с миром, когда становилось совсем уж невмоготу. И были ничуть не лучше сентиментальных слюней, которые он распускал во хмелю, сам порой не зная отчего. А кедр — кедр зашатался, упал! Рудольф скорее услышал это, чем увидел. Да и грохот тоже донесся из дальней дали, все это будто не имело уже к нему касательства, и выход у него был лишь один — отвратительные, маразматические рыдания. Ни гроша, ни гроша не стоили эти слезы.

Еще издалека Кристоф заметил на дорожке большой серебристо-серый отцовский «мерседес»; он продолжал мерно крутить педали, а у самого внутри вдруг что-то оборвалось и от испуга сжалось в комочек. Раз машина у ворот, а не в гараже, значит, отец приехал ненадолго. Но в нем все равно проснулась тревога и ожило чувство вины. Неужели его разоблачили? Неужели дознались, что он который день шатается по улицам и в школу не ходит? Неужели дознались о его тайных набегах? Неужели мать за ним шпионила?

Он поставил велосипед у ограды, запер его на цепочку и зашагал было к крыльцу, но потом, уступив внезапному порыву, решительно обогнул дом и через боковую калитку вошел в сад. Тотчас как из-под земли выросла Бесси — поздороваться явилась. Он потрепал ее по загривку, шлепнул по спине и на секунду придержал за ошейник, чтобы проскользнуть за невысокие голубые елки, высаженные вдоль террасы. Укрытый еловыми лапами, Кристоф заглянул в комнату.

У огромного окна, спиной к нему, стоял отец, высокий, с чуть растрепанными волосами. Вот он повернулся, нетерпеливо дернул рукой, как бы отмахиваясь, отбрасывая что-то, и сказал несколько слов. На лице у него читалось волнение. И говорил он, похоже, громко, хоть Кристоф ничего и не слышал. Мать сидела в кресле. Совершенно неподвижно, как прикованная. Выражения ее лица отсюда было не разглядеть. Вот оно, значит, как, мрачно подумал он. Полюбуйтесь на них. Вот оно как. Поглощены собой, а он вне стен — наблюдатель, чужак, невольно подсмотревший, чем они заняты.

Ладно, пусть их. Лишь бы ему-то удрать отсюда. Но денег нет, он здесь как в тюрьме. Сейчас снова придется врать, снова подлаживаться под выдуманный образ, о котором особенно рьяно печется мать: в школе звезд с неба не хватает, испытывает трудности роста, много читает, слишком часто бывает один.

Собака ласково ткнулась мордой ему в бедро. Он взял ее за ошейник, оттащил немного в сторону, юркнул за угол и тихонько отпер дверь. Из гостиной долетали голоса родителей, он остановился. Ссорятся. Отец отбивался от упреков матери и пытался ее успокоить.

— Да нет же,— уверял он,— неправда.

— Я отлично помню: он тебя предостерегал.

— Элизабет, это же нелепость. Когда я купил фирму, его уже не было в живых.

— Он не одобрял эти мюнхенские затеи.

— И без всякого основания. Ты прекрасно знаешь.

— Я тоже была против. Только сказать не посмела.

Отец молчал. Голос матери зазвучал вдруг тревожно и жалобно:

— Что же теперь будет, Ульрих?

— Для начала я отклоню счета.

— Но ты ведь и сам не веришь, что агентства шлют тебе подложные счета?

— Не верю...— Помолчав, отец добавил: — Я на этих прохвостов в суд подам.

Кристофу вдруг почудилось, будто мать плачет. Но может быть, он и ошибся. Теперь она говорила тихо, едва слышно.

— И это чудовищное опустошение,— обронила она, и словно издалека перед глазами у него возник парк. Лишь несколько деревьев выглядывали из-за стены, в которой теперь зиял большущий пролом для вывоза бревен.

Кристоф услыхал, как мать громко, яростно крикнула:

— Да я волосы на себе рвать готова! По щекам себе надавать!

И она в самом деле разрыдалась.

Кристоф испуганно поспешил в свою комнату. Что-то случилось. Мюнхенские дела у отца пошли, как видно, вкривь и вкось. Отца то ли вокруг пальца обвели, то

ли он спасовал, в чем-то просчитался. Эта мысль на миг смутила Кристофа, но он тут же ее отогнал. Ему-то что? Не его это забота. Он все равно скоро исчезнет.

Немного погодя на лестнице послышались шаги матери. Она была бледна и сосредоточена.

— Пойдем обедать,— громко сказала она и быстро, почти шепотом, точно предупреждая, добавила: — Отец приехал.

Кристоф промолчал, даже глаз не поднял, мать так и ушла в одиночестве, и лишь потом он нехотя спустился в столовую.

С рассеянным кивком отец небрежно подал ему руку.

— Как дела?

— Хорошо,— ответил Кристоф, садясь.

Мать неестественно бодрым голосом тотчас подхватила:

— Кристоф в последнее время вечно в разъездах и в раздумьях. Наверное, завел подружку.

— Правда? — спросил отец.

— Нет.

— Да я ведь не против. Ты не думай.

Если она и дальше будет лезть со своими комментариями, я опрокину стол, подумал он. Возможно, она это почувствовала, потому что наступила тишина. Отец ел быстро, как машина, не поднимая глаз. Мать сходила на кухню, принесла масло для салата, извинилась за забывчивость. Отец взял у нее бутылку, капнул в свою тарелку масла, перемешал вилкой салат, стал есть дальше.

— Ты непременно должен познакомиться с нашими новыми соседями,— сказала мать.— Милейшие люди — и он и она.

— Может, недельки через две.

— Если будешь здесь.

— Конечно, буду.

Снова нависло молчание. Все трое безмолвно жевали, будто решили поскорей уничтожить все, что держало их у этого стола.

Досадуя, что не ко времени заговорил с Элизабет о мюнхенских неурядицах, и не просто досадуя, а злясь на нее за столь неприкрытые упреки и несговорчивость и с отвращением вспоминая тягостную атмосферу назревающего семейного скандала, Фогтман сразу после обеда поехал на фабрику. Через два часа в контору зайдет Лотар и пусть-ка попробует оправдаться, хотя сейчас это не имеет уже никакого значения. Пусть-ка объяснит, как это он, потратив целый день на бухгалтерскую ревизию, даже не заподозрил, что нерегулярные мелкие выплаты рекламным агентствам, нет-нет да и попадавшиеся в книгах, могут свидетельствовать о серьезных претензиях обеих этих фирм. Вчера по телефону Лотар заявил, что такая мысль у него мелькала, однако он не нашел ничего подтверждающего эти подозрения: ни счетов, ни письменных контрактов, ни переписки, ни объяснительных записок — ни единого намека на губительное наследство, на эту каверну, финансовую брешь, которая любого покупателя удержала бы от приобретения фирмы и которую неизвестно чем и как прикажете латать. Но как же Лотар истолковал эти платежи? Чем они могли быть, как не мелкими авансами, успокоительными пастилками, с помощью которых Урбан продлевал срок, потребный ему, чтобы продать высосанную, выпотрошенную фирму и затем исчезнуть?

Теперь, когда Урбан исчез, да так ловко и бесследно, как умеют одни только мошенники, все это, конечно, яснее ясного. Бесстрастный, монотонный голос автоответчика будто сорвал шоры с глаз Фогтмана, и где-то в гуще страха даже вспыхнула искорка удовлетворения: наконец-то его смутные подозрения, от которых он так долго отмахивался, подтвердились. Урбан не вызывал у него ни симпатии, ни тем паче доверия, однако он не внял голосу интуиции, пошел на поводу у своих желаний. А Урбан, похоже, прекрасно это знал и использовал в своих интересах. Урбан видел его насквозь, потому и остановил на нем выбор. Знал, чем его взять. Явно специалист, вдобавок работал в паре с другим специалистом, сидевшим в Антверпене.

Фогтман невольно восхитился дерзостью противника. Возможно, контракты с рекламными агентствами предусматривали весьма продолжительные сроки платежа и на первых порах с помощью мелких подачек удалось их отодвинуть. Вероятно — такое тоже не исключено,— агентства пронюхали, как обстоят дела, и выжидали, ког-

да фирма будет продана. Вероятно, Урбан намекнул им, что у них куда больше шансов взыскать денежки с нового владельца, нежели с него, и они помалкивали, чтоб не помешать этому маневру. Только ведь ничего не докажешь. И поймать за руку Хохстраата тоже будет весьма непросто. Урбан-то — главный свидетель — как в воду канул. Процесс против Хохстраата надо возбуждать в Антверпене. Но если Хохстраат и вправду спец по такого рода международным аферам, то ловкачи юристы давно прикрыли его от любых нападок плотным, практически неуязвимым щитом договоров. Подобный процесс будет годами волочиться по инстанциям, а кончится все равно ничем, ибо фирма-истец, понесшая ущерб, не выдержит бремени судебных издержек и разорится.

Час от часу ему все яснее открывалась суть происшедшего, и его уже не утешало, что копии исчезнувших контрактов не поступили пока в мюнхенскую контору. Коммерческие директора рекламных агентств сообщили по телефону, что копии высланы. Эта новая, непредвиденная долговая брешь составляла около миллиона марок. Из них половина — неоплаченные счета, а еще половина — новые расходы, грозящие ему по условиям скидки. Дело вот в чем: если расторгнуть на будущее контракты с рекламщиками, то он лишится скидки и сумма долга удвоится. Но и продлевать контракты нельзя. Положение, того гляди, станет вовсе безвыходным, спасение в одном — надо срочно достать денег.

Разговор с Элизабет не слишком его обнадежил. Она впала в истерику и вообще вела себя не по-деловому. Вероятно, тут есть и доля его вины, потому что он не посмел открыть ей всю правду. Язык не повернулся рассказать, как глупо и как здорово его надули. Вместо этого он начал успокаивать ее и прикинулся более уверенным в себе, чем был на деле. Он не назвал точных сумм и даже не обмолвился о своем опасении, что теперь и от поставщиков могут прийти счета, не зафиксированные в книгах, и станет явью то, о чем он пока лишь смутно догадывался: оценка товарных запасов на складах не соответствует истине. Он не сказал жене, что фабрики испытывают трудности со сбытом, так как в последнее время он их совсем забросил, а ведь крупные конкуренты все больше и все решительнее наводняют рынок дешевой продукцией; он гнал от себя мысль, что волей-неволей придется либо закрыть большинство магазинов, либо частично продать фабрики, он без колебаний подавил страх и надолго забыл о нем, но временами, вот как сейчас, этот страх оживал, сильнее стократ. Все вдруг оборачивалось против него. А он один. И руку помощи никто не протянет. Все, быть может и те двое, с кем он нынче сидел за обедом, втайне ждут его падения.

Только зря ждут. При одной мысли об этом накатывала ярость: зря они ждут, зря. Он такого не допустит, всем назло. Он посмотрел на часы. Лотар придет самое раннее через час. А тем временем не мешает, пожалуй, заглянуть в парк.

И на виллу заодно стоит наведаться, чтобы втолковать Рудольфу, что его терпение иссякло. В письменном столе у него заготовлен проект объявления о сдаче виллы внаем. Но сначала надо сделать ремонт. И если даже продавать ее как есть, без ремонта, все равно сначала необходимо выселить Рудольфа и двух его псов. Там, наверное, целой бригаде уборщиц на несколько дней работы хватит, прежде чем можно будет привести покупателей. Время не ждет, откладывать больше некуда. Фирма требует денег. А сантименты ему не по карману.

— У вас есть ключи от виллы? — спросил он у секретарши.

— Нет, господин Фогтман, скорей всего они у вашей супруги.

— В таком случае будьте добры, позвоните на виллу и скажите моему шурину, что минут через десять я зайду посмотреть дом. Пусть он мне откроет. Не то я отыщу другой способ войти. Ну а до поры до времени прошу вас держаться с ним учтиво.

— Я всегда учтива,— улыбнулась фрау Крюгер.

— Тем лучше. Да и не стоит из-за него волноваться.

На улице шел дождь. Он отпер машину, взял с заднего сиденья плащ и, на ходу застегивая пуговицы, наискось через стоянку двинулся к вилле. Окрестный пейзаж в последние годы неузнаваемо изменился, и с тех пор как по соседству на бывшем пустыре вырос новый жилой массив, сама вилла, казалось, захлопнула все свои окна-двери, притаилась за черной кованой оградой, будто осажденная крепость, господствующая над спорной территорией. Сейчас, в дождливо-серый ноябрьский день, она

выглядела особенно мрачно. Стены облупленные, давно пора красить; наверху, ближе к фризу крыши, даже проступили темные пятна сырости. На подъездной дорожке возле парадного крыльца красовалась большая, осевшая уже куча бурой листвы, а неподалеку кто-то прислонил к дому ржавую тачку.

И все же, точно здесь, в этой вилле, хранилось иное его прошлое, Фогтман, шагая по раскисшей дорожке, которая вела за дом, к террасе и дальше в парк, перенесся в иное время — в тот давний летний вечер, когда Элизабет праздновала день рождения. Патберг пригласил и его скрепя сердце. Он тогда нарочно пришел с опозданием и уже издали услыхал музыку и шум голосов, увидел разрисованные желтые лампионы, выставлявшие свои улыбчивые лунные рожицы из темной листвы парка, а на фоне этого задника в лучах двух прожекторов, укрепленных на стене дома, ярко зеленел газон и мелькали люди в светлых летних нарядах. Как быстролетный, ласковый и теплый мираж, блекнущее воспоминание колыхалось то ли поверх, то ли внутри другой картины, которую он видел в это же самое время, но в полную силу она проявилась лишь мгновение спустя: разоренное, обезображенное следами тягачей голое пространство, а в нем, оторванные друг от друга, сиротливо горюют три островка деревьев. Между ними — не вывезенные еще бревна и выкорчеванные, опрокинутые набок пни с щупальцами корней, в путанице которых чернеют комья земли. Мимоходом он заглядывал в осклизлые ямы, ощетинившиеся по краям обрубками корней, и повсюду среди земляного месива видел искореженные, переломанные ветви, раздавленные колесами тягачей и прицепов.

Огромная яма, мелкие ветки, груды хвои, ошметки коры — вот и все, что осталось от кедра: ни сучьев, ни ствола уже в помине не было. Из телефонного разговора с Андреасом Фогтман знал, что по ошибке срубили и это дерево, однако теперь, бросив взгляд в яму, он был потрясен жестокостью случившегося. Здесь, именно здесь стоял он тогда, чувствуя под пальцами шершавость коры, и освещенный дом и танцующие пары на террасе казались ему видением далекой несбыточной мечты. А ныне в этих стенах обитает всего-навсего жалкий обломок прошлого, опустившийся пьянчуга, которого пора наконец отсюда выдворить. Серые жалюзи закрывали окна — вилла будто изготовилась к обороне. Но оборона утратила смысл. Война отгремела, исход ее уже решен. Между черной ямой, оставшейся после кедра, и истоптанной лужайкой у террасы царил мокрый хаос разорения, на который монотонно сыпался дождь.

Надо смотреть фактам в глаза, если ты намерен действовать и что-то менять. Ведь в конце концов меняется все, ничто не остается таким, каким было когда-то. Вот что говорил себе Фогтман, медленно и осторожно пробираясь по мокрой лужайке, по вздыбленной, скользкой земле, обходя пни, бревна, ямы на пути к дому, ближайшие окрестности которого не были тронуты разрушением, но тоже казались серыми, заброшенными, неживыми: теперь было именно так, и нет причин ворошить минувшее и заново переосмысливать все, что уже стало явью,— ни причин нет, ни времени. Надо заниматься насущными делами, он чувствует, это пойдет ему на пользу. Наверное, правильней было бы даже снести виллу, а на ее месте воздвигнуть еще одну новостройку. Необходимо со всей серьезностью обдумать и такую возможность и — если этот вариант выгодней — обязательно так и сделать.

Фогтман вздрогнул. Неприятный холодок пробежал по спине, подсказывая, что Рудольф наблюдает за ним; а когда он обернулся и посмотрел на окна второго этажа, ему почудилось, словно кто-то тенью метнулся в глубь комнаты. Впрочем, он мог и ошибиться. Но если Рудольф сейчас встретит его у двери, значит, этой мимолетной тенью был именно он. Не исключено, что шурин чуточку повредился в уме.

В задумчивости обогнув дом, Фогтман подошел к парадной двери, позвонил и услыхал, как псы кинулись было с лаем вниз по лестнице, но потом, видимо повинуясь неслышному с улицы повелительному свисту, неожиданно повернули обратно. В тот же самый миг, когда собаки снова помчались на второй этаж, раздалось тихое жужжание и дверь открылась. Фогтман нерешительно ступил в сумеречный холл, вдохнул затхлую, точно в склепе, холодную сырость и услышал, как Рудольф наверху что-то заискивающе бубнит, загоняя собак в комнату. Слов не разобрать, но голос был сильный, как у человека, отвыкшего разговаривать и к тому же, видимо, пьяного.

— Я сейчас поднимусь к тебе,— крикнул Фогтман,— только вот осмотрюсь тут немножко для начала.

Рудольф не ответил, наверное не расслышал.

Фогтману же в этом молчании чудилась враждебность, оно будто вобрало в себя протест всего дома против него, незваного чужака. Потому он, видимо, и окликнул шурина. Из потребности объявить дому и его обитателю, что он здесь.

Мыском ботинка он отодвинул в сторону брошюры и буклеты, пестрые рекламки, которые почтальон опускал в щель на двери. Рудольф, видно, не глядя ходил прямо по ним и растащил ногами по всему холлу. Неподалеку от двери стояли ящики с пустыми пивными бутылками, а между ними валялось грубошерстное пальто с вывернутым рукавом. На сундуке и рядом как попало навалена-набросана одежда, толстый пуловер, перчатка без пары, грязные шерстяные носки, а у лестницы — перепачканные глиной резиновые сапоги. Холл с его огромной фламандской люстрой и черно-белым каменным полом тем не менее дышал благородством и суровым достоинством. У дальней стены темнел шкаф-арсенал из мореного дуба, украшенный четырьмя резными медальонами с изображением животных — кабана, зайца, косули и глухаря. Высоко над шкафом Патберг повесил свой самый ценный охотничий трофей — мощные, развесистые рога карпатского оленя, которого он якобы собственноручно подстрелил в молодости. Эти рога властвовали здесь словно некая костяная угроза, диковинное идолище былых времен.

Зажигая всюду свет, Фогтман обходил комнаты нижнего этажа, в которых стоял пресный запах пыли. Тут и там поскрипывал паркет, а в комнате с эркером, где сырость была, похоже, сильнее всего, над притолокой отстали ветхие шелковые обои. Громадный овальный стол в столовой частично растерял свои стулья, распахнутая настежь дверца буфета открывала глазу пустые полки и ящики. В гостиной тяжелые мягкие кресла, укутанные белыми чехлами, смахивали на сборище неповоротливых привидений.

Ладно. Не долго теперь продлится этот беспробудный сон. А сейчас пора и наверх заглянуть.

— Эй, ты где? — позвал он, шагая длиннющим коридором второго этажа.

В нем закипала злость, потому что Рудольф не то был пьян, не то умышленно шел на провокацию. От него можно ожидать чего угодно, в своей ненависти он любой фортель способен выкинуть. Не стоило идти сюда самому. Такие дела лучше поручать адвокату.

Осторожно, заглушая какое-то тревожное предчувствие, он вошел в комнату, где, по его расчетам, обитал шурин. В нос ударил прокисший, спертый воздух, и хотя в первую минуту Фогтман только и разглядел, что неубранную грязную постель да засаленные, все в пятнах, обои с приколотыми к ним бумажками, его буквально сразило впечатление полнейшего упадка и тоскливой безысходности. Как зачарованный, он стоял на пороге, будто и не слыша звенящего в мозгу сигнала тревоги, который понуждал его сию же секунду повернуться и уйти прочь — из этой комнаты, из этого дома. Дверь в глубине отворилась, причем так, словно появиться оттуда было некому, словно ему хотят показать только лишь пустоту соседней комнаты. А мгновение спустя он как-то вдруг сообразил, что там есть кое-что еще, предназначенное ему, ищущее его. Там чернело дуло ружейного ствола, который выдвигался из-за двери с такой мучительной медлительностью, что можно было бы в два счета выбежать или даже просто выйти в коридор. Но тело отказывалось подчиняться, в этот миг его сковало изумление — как же он не предвидел заранее того, что происходило сейчас и было вполне логично. Вероятно, и Рудольф, стоявший сейчас на пороге, бледный, небритый, с мутными, остекленелыми глазами, был изумлен не меньше его, а чтобы обоим избавиться от наваждения, должно было хоть что-нибудь произойти. Ну что, что, думал он, точно обращаясь к кому-то третьему, который наблюдал за этой сценой и мог дать совет. Что, что мне делать?

И вот тут что-то случилось. Нет, выстрела, которого он ждал, не последовало. Случилось другое: Рудольф заговорил.

— Я тебя прикончу, сволочь! — прохрипел он.

А Фогтман, в мгновенном озарении — не иначе как тот, третий, надоумил! — отозвался:

— Зачем?

И этот вопрос словно подернул взгляд Рудольфа туманом, а в следующий миг он уже подскочил к шурину, отвел в сторону ствол и, почти не встретив сопротивления, забрал у него ружье.

— Даже это тебе не по плечу.

С этими словами Фогтман вышел в коридор и вдруг услыхал за спиной, в комнате, какие-то жуткие звуки: скулящий вой и как бы задушенный крик. Это он душит себя за горло, орет и душит себя за горло, подумал Фогтман.

Он сломя голову сбежал вниз по лестнице, закинул ружье на шкаф-арсенал и поспешил прочь из этого дома.

Кристоф шагал по торговым улочкам городского центра, мимо нарядных витрин с одеждой, украшениями, фарфором, рекламой порнофильмов, мимо вафельных лотков, мимо мак-доналдовского ресторана самообслуживания, мимо бородатого скрипача у дверей шляпного магазина. Едва не налетев на какого-то нищего, увертываясь от нагруженных пакетами и сумками прохожих, он уверенно направлялся к своей цели — большому универсальному магазину; там, за серым потоком пешеходов, замерли в ярко освещенных красочных аквариумах его витрин куклы-манекены.

Он совершит это.

Сначала Кристоф прошел было мимо широких дверей универсального магазина, но чуть поодаль остановился, точно встретив неодолимое препятствие, а когда повернул обратно и шагнул в красочную, полную света сутолоку, им вновь завладело привычное хмельное упоение. Он уже не слышал предостерегающего ропота собственного страха, чувствовал только, как его засасывает огромная сверкающая пещера. Он окунулся в этот неровный, то нарастающий, то затихающий шум, которым полнилось пространство, дал захлестнуть себя витающей в воздухе невнятице голосов и шорохов, похожей на отзвук биения крови, что гудит в поднесенной к уху раковине; и двигался он теперь автоматически, как сомнамбула.

Это не я, думал он. Если меня задержат, это окажусь не я.

Огромная шаровидная люстра заливала отдел косметики искристыми волнами света. Кристоф шел мимо прилавков, мимо сверкающих витрин со множеством золотых и серебряных глянцевых коробок, с шеренгами флаконов. Женщины в розовых и сиреневых халатиках стерегли каждый его шаг, не спуская с него неподвижных подкрашенных глаз, будто их всех сковало оцепенение кукольного сна. На ходу Кристоф развернул большую пластиковую сумку с эмблемой магазина. Ну, сейчас, подумал он, сейчас начнется. Если сию же минуту не повернуть назад, начнется. Вон что-то уже выросло поперек дороги, так и есть — открытый лоток, полный серебряных аэрозольных баллончиков. Лак для волос, цена восемь марок. Он остановился и обвел взглядом нижний этаж, мысленно отмечая все, что видит: ювелирный отдел, секция часов, выходы. Мозг работал, перечисляя названия отделов и секций, а рука меж тем обхватила один из баллончиков и ловко задвинула его в рукав куртки.

Потом напряжение отпустило, он медленно зашагал дальше, заглянул на ходу в пустую сумку, словно что-то искал, уронил туда баллончик с лаком, и все — тот исчез, выпал, и из его сознания тоже.

Эскалаторы несли вверх и вниз свой беспрерывно обновляющийся живой груз. Он стал на ступеньку, выплывшую из-под пола, и поехал вверх. Механизм тихонько и монотонно потрескивал, нижний этаж медленно проваливался в глубину, все четче проступала геометрия его прилавков и переходов. Раздался гулкий, звенящий удар гонга — приятный, вкрадчивый женский голос назвал две цифры, повторил их, а эскалатор тем временем, как бы подтолкнув Кристофа, высадил его на втором этаже.

Здесь было спокойнее, тише, свет под более низким потолком казался ровнее и мягче. Секция тканей. Мужская мода. По упругому ковровому полу он медленно шагал мимо невысоких вешалок — пиджаки, рукав к рукаву, плотно сомкнутый строй без тел и голов, коричневый, серый, темно-синий, черный. Вкрадчивый удар гонга — и женский голос назвал еще какую-то цифру. Туман, замутивший сознание, становился все более непроницаемым. И в гуще его тлела крохотная искорка страха, которая мгновенно вспыхнет жарким пламенем, если кто-нибудь на нее подует, если подойдет к нему, например, один из тех продавцов, что якобы беседуют друг с другом в глубине секции. А видят ли они его вообще? Попадая в их поле зрения, он и сам себе кажется бесплотным. Куда бы это ему направиться? Прямо впереди две женщины самозабвенно рылись в грудах разложенного на прилавке трикотажа. Они даже внимания не обратили, когда он присоединился к ним. В руках у него очутилась желтая майка с надписью. Он свернул ее, но, когда одна из женщин подвинулась ближе,

снова положил на прилавок. Ошибка. Зря он это сделал. Для виду перебирая майки, Кристоф наблюдал за женщинами. Вот одна бросила рыться и ушла. Вторая стоит как раз против него. Он нерешительно зашагал прочь. Походя цапнул с какого-то прилавка темно-синюю вязаную шапку, некоторое время совершенно открыто нес ее в руке и только потом уронил в сумку.

Теперь он поднялся на третий этаж, где торговали музыкальными кассетами. По дороге подвернулся ящик с керамическими, в форме медалек, вешалками для полотенец, он прихватил одну. Кассеты лежали в разделенном на четыре отсека «корыте», а под потолком, должно быть, запрятана телекамера, которая приглядывает за всем этим хозяйством. Возле классической музыки, кроме него, не было ни души; он выбрал себе Пятую симфонию Чайковского и «Времена года» Вивальди — то и другое лежало сверху. Пока что он самый обыкновенный покупатель, в том числе и для служащего, который следит в диспетчерской за экранами и, быть может, ненароком увидел сейчас его пальцы, схватившие еще одну кассету — «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. Пока что вне подозрений, он направился к кассе, где как раз ждали своей очереди два покупателя. Кристоф сунул руку с кассетами в боковой карман куртки и прошел мимо. Неужели продавщица проводила его взглядом? Сделала кому-то знак? Страх разгорался, лишь с большим трудом Кристоф подавил желание обернуться. Уже спускаясь на эскалаторе вниз, он наконец-то почувствовал облегчение, клещи страха разжались, и кассеты скользнули в сумку.

Нет уж, сейчас или никогда, думал он. Пока не сделаю — не уйду! Уйти можно, только заполучив что-нибудь особенное. Я должен, я хочу это сделать! Разживусь чем-нибудь особенным — и все, конец, больше красть не стану. Ни-ни! Он думал об этом как об избавлении, которое совсем близко, твердил в уме будто договор, подписанный не только с собственным его «я», но и с судьбою. Еще разок — и свобода. Сожгу весь хлам или закопаю, никто даже и не узнает.

Никто. Этот тяжкий гнет, страх, стыд — все кончится.

Он кружил по магазину, сердце чуть не выпрыгивало из груди, глаза искали и ничего почти не видели. На полках, прилавках, вешалках громоздились кипы товаров, но не было среди них такого, что принес бы ему избавление. На секунду он закрыл глаза, чувствуя, что безнадежно запутался. Потом велел себе: очнись! Молодая женщина с длинными черными волосами обогнала его и неторопливо пошла дальше. Он тащился за нею до мебельной секции, где она задержалась, рассматривая набор кресел. Рядом, в других креслах, сидела пожилая супружеская чета, продавец оформлял им заказ. Кристоф прошел мимо и очутился среди антикварной мебели; стеклянные горки, серванты, комоды, небольшие секретеры, на которых поблескивает серебро — подсвечники и еще блюдо с пластмассовыми яблоками и гроздью винограда. А что это вон там, на комоде? Миленькая вещица — миниатюрная серебряная чаша, а в нее вставлена еще одна, из кобальтового стекла. Сверкающая безделушка так и просилась в руки. Возьми меня. Это я. Я тебя расколдую. На столе лежал каталог выставленных предметов. Ага, вот: «Сахарница. Англия, ок. 1910 г. Цена — 185 марок». Он здесь один, за шкафами его наверняка не видно. А ведь где-то обязательно прячется телекамера, но где — разве сразу найдешь? Он замер, не в силах шевельнуться, будто прикованный к полу внимательными, настороженными взглядами невидимых наблюдателей. Ну, давай! — скомандовал он себе, стараясь превозмочь оцепенение. Но рука уже сама услужливо подхватила вазочку и отправила ее в сумку, тщательно, без спешки прикрыла вязаной шапкой. Он неторопливо прошел мимо продавца, мимо супружеской четы, мимо женщины с длинными черными волосами, все дальше, дальше, будто сквозь шуршащее, красочное марево. Задел кого-то плечом. Служащий магазина, на лацкане пиджака — плакетка с фамилией. Прошу прощения! Нет, это, конечно, чересчур — просить прощения! Но он нуждался в прощении. Служащий был уже далеко, наверное спешил по важному делу. Мир снова распахнулся перед Кристофом, он снова воспринимал окружающее.

Вот лестница, можно спуститься вниз. Гулкий, мелодичный звук гонга. Приветливый женский голос объявил о новых распродажах. В нижнем этаже мерцали над сонными куклами-женщинами хрустальные люстры, а вон там, за прилавками и стояками, выход на улицу, где все еще как бы в дальней дали, точно призраки, шли люди. Быстрей! Нет, идти спокойно. И быть начеку. Расслабиться можно, когда выйдешь отсюда и затеряешься в толпе, которая так легко, так отрешенно проплывает мимо. Почему люди вокруг двигаются медленно, будто во сне, будто на них наслали чары,

которые мало-помалу заставляют замереть все и вся? Лишь сбоку пробивался сквозь толчею какой-то мужчина, стремясь раньше его добраться до двери. А второй — он чувствовал — был у него за спиной. Спокойно! Спокойно! Как ни в чем не бывало идти дальше! А теперь, быть может, свернуть налево и что-нибудь купить. Расческу! Ему нужна расческа. Да он еще много всего купит, чтоб выиграть время, а потом вдруг раз — и исчезнет. Покупать разрешается. Здесь положено покупать. И мешать человеку при этом нельзя. Пока делаешь покупки, ты в безопасности. А сумку можно где-нибудь «забыть» и тем самым показать, что... Ведь все это ему совершенно без надобности. Он... просто... он скажет им, объяснит...

Они приближались, и на их лицах было написано: мы все знаем, и ничего ты нам не объяснишь; и хотя внешне они были очень разные, но действовали явно сообща. Черноволосый шел за Кристофом по пятам и теперь нагнал его, а второй, крупный блондин, голубоглазый, с узенькой белесой полоской усов на верхней губе, заступил ему дорогу и тихо, с вежливостью, в которой таилась угроза, проговорил:

— А теперь пройдем-ка с нами в контору, покажешь, что у тебя в сумке.

И это, в отчаянии думал он, это, наверное, лишь начало светопреставления. Сейчас он непременно упадет, рухнет, и все исчезнет. Ну, сейчас! Пожалуйста! Помогите! Но мир не шелохнулся. И все вокруг как ни в чем не бывало спешили по своим делам.

Она все еще не поняла. Полицейские? В их доме? Из-за Кристофа? Должно быть, тут какая-то ошибка. Элизабет растерянно улыбнулась Альмут, которая, как и она сама, едва успела снять пальто. Они только что вернулись с кладбища и собирались пить чай. У тротуара на их улице стоял зелено-белый патрульный автомобиль. Она даже внимания на это не обратила. Полиция, конечно, существовала, но где-то там, далеко — на дорогах, в кино, в газетах; в ее жизнь полицейские не вторгались. Но пока она искала в сумочке ключ от входной двери и, как назло, замешкалась, из полицейской машины вылезли двое мужчин и с неторопливой целеустремленностью направились прямо к ней, и у нее сразу же, без всякой причины, екнуло сердце.

Они приехали из-за Кристофа. Нет-нет, он жив-здоров. Они хотели бы побеседовать с нею наедине.

Это явное недоразумение! — вот о чем пыталась сообщить Альмут ее улыбка, и соседка, одобряюще и заговорщицки улыбнувшись в ответ, прошла в гостиную.

Итак, речь шла о Кристофе?

Она вновь повернулась к ожидающим полицейским, чувствуя, что благополучно разыграла умеренное, отчужденное любопытство. Собственная выдержка казалась ей чуть ли не опровержением любых обвинений.

Кристоф? Быть не может! Чтобы Кристоф... ее сын...

Не торопясь, с уверенностью, от которой в ней зашевелилась тревога, полицейский постарше открыл свой блокнот и зачитал дату рождения Кристофа. Потом спрятал блокнот в карман и посмотрел на нее.

— Нам звонили из полицейского управления в Кёльне. Сегодня вечером ваш сын был задержан за кражу в одном из кёльнских универсальных магазинов.

— Что? Как вы сказали?

— Он украл довольно много вещей. В том числе из серебра.

— Простите. Я не понимаю,— сказала она.

— До сих пор у вас не возникало подозрений? Ни разу?

Она покачала головой.

— В таком случае будьте добры, покажите нам комнату вашего сына.

— Зачем? — спросила она.— Зачем вам осматривать его комнату?

— В Кёльне считают, что он занимался этим не впервые. И мы хотели бы проверить. Не исключено, что нам удастся опровергнуть это подозрение.

Что же мне делать? — думала она. Может, заупрямиться и воспрепятствовать обыску? Это, пожалуй, глупо и только усугубит подозрения. Но вдруг, вдруг... Сил нет додумать до конца. И медлить больше нельзя — полицейские ждут.

— Хорошо. Прошу вас.

Покончим и с этим, мелькнуло у нее в голове. Она первая направилась к лестнице и на мгновение даже воспрянула духом. Но когда полицейские, окинув взглядом комнату, с неторопливой методичностью начали потрошить стенной шкаф, копаться

в белье, выдвигать ящики письменного стола, перебирать книги на полках, ею овладел страх, и она вдруг сообразила, что давно знает тайник, ведь фрау Дран как-то посетовала ей на картонную коробку у Кристофа под кроватью, которая мешает при уборке; и вот, как в иных сновидениях, когда неумолимо случается именно то, чего всей душою жаждешь избежать, полицейский помоложе нагнулся и вытащил из-под кровати большую плоскую коробку из серого картона.

— Ну а здесь у нас что? Вам известно, что находится в этой коробке, фрау Фогтман?

— Нет, неизвестно. Ерунда какая-нибудь.

— Что ж, посмотрим.

Теперь уже ничего не сделаешь. Полицейский распутывал тугие узлы, будто преодолевая последнее, отчаянное сопротивление Кристофа. Сейчас оно будет сломлено — и тогда обнаружится такое, чего не вправе видеть никто, в том числе и она.

Осторожно, точно вскрывая подарок, полицейский снял крышку, и все трое воззрились на пестрое, дешевенькое барахлишко, почти до краев заполнившее коробку. Чего там только не было: флаконы с шампунем, магнитофонные кассеты, картонки с пуговицами, отвертки, детские носки, несколько ящичков с красками, линейка, пластиковая роза, очки от солнца, щипчики, две пепельницы, диафильмы, фильмоскоп, расчески, вешалки для полотенец — случайная добыча многих краж. Видимо, Кристоф крал все, что под руку попадается. Зачем, зачем он это делал? Кто его заставлял?

— К сожалению, нам придется забрать это с собой,— сказал старший полицейский.

Она проводила их к выходу, слышала, как отъехал автомобиль. Хлопнула дверца, заработал мотор — эти звуки стерли у нее в мозгу все мысли, и она вновь с изумлением спросила себя, что же вообще произошло, и попыталась навести порядок в голове.

Эти полицейские были местные, зигбургские. А скоро позвонят из Кёльна, из уголовной полиции, где Кристофа до сих пор держат под арестом. Как только получат сообщение о том, что́ обнаружил патруль, так сразу и позвонят. Тогда Кристоф не сможет больше отпираться. Да и зачем? Зачем?

Без единой мысли в голове, с какой-то механической легкостью Элизабет прошла в гостиную. Альмут шагнула навстречу, глядя на нее с преувеличенной тревогой и участием.

— Что случилось? На вас лица нет.

— Ничего,— сказала она.

На нее вдруг накатила дурнота. Окутанная шуршащей черной мглой, она ощупью добралась до кресла. Потом висков коснулись ладони Альмут, из тьмы проступили глаза.

— Что с вами? Вам плохо? Что случилось?

Тусклым голосом, по-прежнему растерянно и недоуменно, она ответила:

— Кристофа арестовали за кражу.

— Право же, не стоит так волноваться,— сказала Альмут.— Подобные истории в жизни не столь уж редки, как кажется. Типичное для молодежи происшествие. Конечно, за этим что-то кроется — может быть, какой-то изъян, а может быть, протест. Надо выяснить, что именно. Это как бы сигнал: мальчик требует внимания.

— Он и меня обкрадывал. Теперь я понимаю,— сказала Элизабет.— В последние месяцы я часто недосчитывалась денег. Но упорно не хотела этого замечать, внушала себе, что сама напутала.

Она встала, сделала несколько шагов в глубь комнаты, круто повернулась и устремила взгляд на чашки с чаем.

— Ложь, все ложь!

Обе услыхали, как машина Фогтмана, урча мотором, въехала в ворота и затормозила.

— Муж,— сказала Элизабет.— Не представляю, что он сделает, если узнает обо всем!

— В таком случае не говорите ему.

— Он упрячет Кристофа в интернат.

— Так не говорите ему. По крайней мере сейчас.

Зазвонил телефон. Она быстро сняла трубку. Звонок был из Кёльна, из полицейского управления. Ее с кем-то там соединяли, а она испуганно косилась то на дверь, то на Альмут. В трубке послышался спокойный мужской голос — полицейский чиновник, утверждавший, что Кристоф сидит перед ним. В Кёльне уже знали о находке зигбургской полиции и теперь интересовались, заедет ли она за сыном.

— Нет, я не могу,— с отчаянием вырвалось у нее.

— Мы, конечно, можем попросту отослать его домой, если вы не возражаете. Хотите с ним поговорить?

— Да, пожалуйста.

Шорох, невнятное бормотание, потом едва уловимый, испугавший ее звук — дыхание Кристофа.

— Кристоф,— сказала она,— что с тобой?

Он не отвечал.

— Кристоф, немедленно приезжай домой! Ты понял меня? Кристоф!

Он молчал и все же был близко, она прямо-таки чувствовала его рядом.

— Слышишь? Приезжай домой. Тогда и поговорим. Слышишь?

— Ладно. Приеду.

Снова шорох в трубке, потом, как и раньше, незнакомый голос:

— Н-да, скуповато... Так если вы не против, мы его сейчас же и отправим. Билет у него есть.

Она поблагодарила, не сразу поверив, что разговор окончен. И странное дело, ее вдруг охватило паническое удивление: почему этот мир не прозрачен, почему ей не дано видеть, где сейчас Кристоф, что он делает, что с ним случилось? И тотчас сквозь удивление молнией полоснула мысль, что этот неодолимый барьер и есть корень всех бед, всякого одиночества и обмана. Но уже в следующий миг убедительность озарения померкла, остался один лишь страх.

Делать нечего — придется ждать. Взять себя в руки и ждать. Обманывать и ждать.

В большой гостиной Ульрих, просматривая газету, с шумом перевернул страницу.

— Есть хочешь? — спросила она.

— Сделай парочку бутербродов. Все равно с чем.

Она взяла чайник и вышла из комнаты. А в кухне, очнувшись от какого-то дурмана, увидела чайник уже на столе. Ишь ты, целехонек! — удивилась она и секунду помедлила, опасаясь что-либо трогать. Потом вновь сидела напротив Ульриха, на столе была и колбаса, и хлеб, и свежий чай. Чтобы не заводить разговора, она ела. Он тоже молча жевал. Совместные их трапезы давно потеряли былую уютную обстоятельность; мимолетные встречи по необходимости — есть-то надо! — вот во что они вылились, и виновата здесь, наверное, она, разучившаяся делиться с другими, она виновата в Кристофовых кражах и в той безмолвной, почти брезгливой решительности, с какой Ульрих резал сейчас на куски свой бутерброд.

— Есть новости из Мюнхена? — спросила она.

— Хороших нет.

Он произнес эти два слова резко, враждебно. Но в ней воспрянула надежда; по крайней мере он не старается ее обмануть. Да, пусть без стеснения выкладывает все начистоту, только бы не отмалчивался.

— Твой братец пытался нынче застрелить меня.— Лицо Фогтмана скривилось в язвительной улыбке.

— Что? Рудольф?

— Других братьев у тебя, по-моему, нет.

Он открыл бутылку пива, аккуратно наполнил стакан и с наслаждением отхлебнул.

— Ружье я у него отнял. Небось, пьянствует теперь.

Элизабет не шевелилась, точно окаменела.

— Не понимаю... Почему он решил застрелить тебя?

— А что тут непонятного? Он меня ненавидит.— Его улыбка стала еще шире. Фальшивая улыбка, деланная, таящая угрозу.— Разве эти его чувства тебе непонятны?

— Отчего же, понятны.

— Твое здоровье! — Он все с той же улыбкой приподнял стакан.— Лучшего ответа я из твоих уст никогда не слыхал.

Элизабет представления не имела, откуда вдруг взялось то спокойствие, с каким она отпарировала:

— Мне кажется, мы могли бы сделать друг другу еще не одно признание.

Его лицо приняло серьезное, внимательное выражение.

— Например?

Вот, подумала она, вот! Пробил час! Вот сию минуту она скажет ему, что их единственный сын Кристоф — вор! И с этого, быть может, они начнут новую жизнь, быть может, тайный смысл Кристофова поступка как раз в том и состоит, чтобы дать им такой шанс.

Но поймет ли Ульрих? Не придется ли ей защищать Кристофа от отцовских нападок? Альмут советовала помалкивать. Наверное, так будет лучше? Или нет?

— Ах, ты прекрасно знаешь, их великое множество,— уклончиво пробормотала она.

Ей хотелось всего лишь выиграть время и хорошенько обдумать случившееся, но Ульрих явно терял интерес к разговору, поэтому она добавила:

— Взять хотя бы Кристофа, у мальчика не ладится в школе, кругом неприятности.

Я прямо как торговка-разносчица, подумала Элизабет, отчаянно тараторю, а дверь неумолимо закрывается, и ждать можно только враждебного отказа.

— По-моему, давно пора поместить его в интернат,— сказал Ульрих.

Наперекор своим страхам она подумала, что, наверное, так и надо, это разумное решение.

Зазвонил телефон. Она мгновенно вскочила. Оказалось — Альмут, спрашивает, не приехал ли Кристоф.

— Нет еще,— глухо ответила она.

— А я думала, он уже дома. Хотя, наверное, поезда ходят довольно редко. У меня нет под рукой расписания.

— У меня тоже.— Элизабет никак не могла стряхнуть мучительное оцепенение — ведь Ульрих был за спиной и слышал каждое ее слово.

Она услыхала, что Ульрих встал, и оглянулась на него. Чуть подавшись вперед, со странной гримасой на лице, не глядя по сторонам, он вышел из комнаты.

— Я понимаю, каково у вас на душе,— сказала Альмут.— Если хотите, я к вам зайду.

— Нет-нет, спасибо,— отозвалась она с растущей тревогой,— мне еще нужно прибрать в доме. Я позвоню, хорошо?

В чем дело? Почему Ульрих так поспешно вышел? И вид у него был какой-то странный. Будто ее общество и этот телефонный звонок стали ему совершенно невмоготу. Или это тоже — следствие их разговора? Сидит теперь, наверное, в своей комнате, недоступный, замкнувшийся.

Господи, что же мы делаем! Зачем так больно раним друг друга!

Что-то вклинилось между ними, какая-то неведомая сила, которая разметывала все и вся; Ульрих, Рудольф, она сама и Кристоф — их дальше и дальше уносило друг от друга, и как она ни старается, ей не остановить это разбегание. А может, все дело в ней одной, в ее скудных силах, в ее ущербной любви, в ее комплексах, нехватке мужества? Иногда ей чудилось, будто она живет на крохотном островке, который становится меньше, меньше, и хотя островок совсем маленький, она бежит, бежит, а ему конца-краю нет. Вдобавок она еще и ослепла и никого больше не видит вокруг.

За окнами уже несколько часов лил дождь. Он начал накрапывать после обеда и мало-помалу разошелся. И все-таки она испуганно вздрагивала, когда порыв ветра швырял в стекло дождевые капли. Где же Кристоф? В смятении блуждает среди тьмы? Что-нибудь над собой сделал? Где он? Где? Почему, собственно, она отказалась ехать за ним? Ведь это было бы более чем естественно.

Если что случится — вина моя. Моя! Моя!

Элизабет закрыла лицо руками; пальцы медленно сползли вниз по щекам, прикрыли рот. Глаза вперились в телефон. Через секунду она схватила трубку и набрала номер полиции.

Ответил ей дежурный, который пребывал в полнейшем неведении. То и дело останавливаясь, чтобы выслушать его вопрос, она подробно объяснила, что произошло, и добавила, что очень беспокоится, так как Кристоф до сих пор не вернулся. Полицейский обещал доложить куда следует и просил известить их, когда Кристоф явится домой. Этот разговор совершенно не ободрил ее. И сделать пока ничего больше не сделаешь. В такие минуты впору молиться. Но она не станет. Кристофу от ее молитв толку чуть, разве что самое себя убаюкаешь. Молиться — значит обманывать себя. И все же в ней никогда не умолкал этот беззвучный шепот, эта страстная мольба перепуганного, отчаянного голоса, просившего о помощи и принимавшего на себя же бремя вины, чтоб некая туманная, но могущественная инстанция даровала взамен прощение и упразднила грозящую кару.

Она медленно собрала со стола, вынесла поднос на кухню, попрятала все с глаз долой. Может быть, разложить пасьянс? Нет, на месте она не усидит. Лучше выйти на улицу, прогуляться под дождем, как Кристоф, когда... когда... А вдруг позвонят — тогда ей надо быть здесь. Остается одно: поговорить с Ульрихом.

Элизабет решительно подошла к его двери и постучала.

— Да,— послышалось из комнаты.

Голос звучал странно. Она вошла и тотчас замерла на пороге. Ульрих пластом лежал на кровати, где теперь обычно спал, наезжая сюда. Ворот рубашки он расстегнул и в падающем сбоку свете настольной лампы выглядел жалким и старым.

— В чем дело? — спросила она.— Что с тобой?

— Да как-то не по себе.— Голос звучал глухо, но она заметила, что Ульриху хочется скрыть свою слабость.— Это из-за погоды. Вдобавок я две ночи не спал.

— Вот как? — Испугавшись, что застала его таким, она подвинула себе стул и села.— Тебе что-нибудь нужно? Вызвать врача?

— Ну что ты, мне уже лучше. Выспаться надо, вот и все.

В полном замешательстве она смотрела на мужа. Он дышал ртом, неглубоко и часто. Не исключено, что он попросту терпит ее присутствие, потому что нет сил отбиваться. В конце концов он хрипло проговорил:

— Завтра мне обязательно нужно в Мюнхен.

— Но это немыслимо! Тебе нельзя ехать!

— Высплюсь — и все будет в порядке.

Я не должна возражать, подумала она, это его нервирует. Увидев, как он пытается запихнуть под голову подушку, она помогла ему, но сразу же отстранилась.

— Спасибо. — Его взгляд был устремлен в пространство, в какую-то точку высоко на стене или на потолке. Потом он повернул голову и спросил:— У тебя найдется таблетка снотворного?

— Да, но стоит ли?..

— Пустяки. Главное — заснуть.

Она вернулась на кухню и немного погодя услыхала, как он прошел в ванную. Встала, настороженно прислушалась, вышла в переднюю. Дождь льет по-прежнему — вот и все, что она услыхала. Потом осторожно отперли входную дверь, и с изумлением, сама себе не веря, она увидела на пороге Кристофа. Он был бледен и вымок до нитки, глаза лихорадочно блестели. Как ни странно, он едва взглянул на мать, словно ее здесь и не было, отвернулся и, тихо затворив дверь, собрался пройти мимо.

— Кристоф!

Она догадалась, что прошептала его имя вслух, и теперь он с равнодушным ожиданием смотрел на нее. В замешательстве она шагнула к сыну, схватила его за руку и, шепотом повторяя «идем, да идем же», потащила мимо ванной в его комнату и закрыла дверь. Они вновь стояли лицом к лицу, он — робея, с искоркой упрямства в глазах, она — на грани изнеможения и вне себя, здесь и не здесь.

— Кристоф...

Когда Элизабет прижала его к себе, он не сопротивлялся, но был точно каменный. Потом судорожную скованность сменил озноб, и она подумала, что надо поддержать его, стиснуть покрепче, поделиться с ним своей силой.

Сомкнув веки, Элизабет пыталась укрыться в темноте и уснуть; будто так можно было раскинуть над собою ночь. В доме было тихо, тьма невесомой маской легла на лицо. Спокойно вытянуться на постели, только дышать, выдыхая тревогу, чувство-

вать, как та махонькими клубами отлетает прочь и долгое возбуждение переходит в апатию. Отмежеваться от себя, чтобы остаться собой, в душе, точно в скорлупке собственного «я». Кожу слегка покалывает, как от мурашек. Сокровенная тайна упокоения, несносная потребность в надежде. Что там послышалось — всхлип, стон? Она опять открыла глаза, чтобы еще раз впихнуть себе под веки утешительницу-темноту, повернулась на бок, а немного спустя вновь легла на спину. Думать не хотелось. Лучше просто лежать и слушать. Дождь-то кончился? Ветер приносил ей невнятные шорохи и шумы, которые словно серые пупырышки облепляли темноту, делали ее шершавой. Самолет пролетел высоко над облаками. Могла ли она доверить ему себя, пройти по ажурным следам его исчезновения — чуточку слушательница, чуточку птица, чуточку никто, чуточку она сама. Нет, не она сама, кто-то другой. И все-таки каждый миг она, она сама. Черная, парящая. И тот, другой, на краю падения. Что ему нужно? Где я? Что произошло, отец? С трудом ворочаясь, будто в вязком иле, и малопомалу утопая в нем, и каждый миг ощущая себя тем, другим, начинающим падать, так тяжело, а все же вверх, вверх и вниз, в пробуждении и опять во сне.

(Окончание следует)

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Рассказы АКРАМА АЙЛИСЛИ. Издательство «ПИВ».

Научно-фантастическая повесть ДМИТРИЯ БИЛЕНКИНА «Марсианский прибой». Издательство «Искры».

Фантастическая повесть КИРА БУЛЫЧЕВА «Чужая память». То же издательство.

Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Наука расставания». Издательство «ПИВ».

Научно-фантастические рассказы ОЛЬГИ ЛАРИОНОВОЙ. Издательство «Искры».

Стихи ЭДУАРДАСА МЕЖЕЛАЙТИСА. Издательство «ПИВ».

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Прощание с Матёрой». То же издательство.

Рассказ МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Судьба человека». Издательство «КиВ».

США

Фантастическая повесть ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ардабиола». Издательство «Мартинс пресс».

ФРАНЦИЯ

Роман ЕЛЕНЫ КАПЛИНСКОЙ «Московская история». Издательство «Тан актюэль».

ФРГ

Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Колхида». Издательство «Юбилеум».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Сборник стихов ЗИНАИДЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ «Мой Мишка», Издательство «Младе лета».

Роман ВЛАДИМИРА БЕШЛЯГЭ «Боль». Издательство «Смена».

«Было. Записки поэта». ЕВГЕНИЯ ДОЛМАТОВСКОГО. Издательство «Панорама».

Повести ЭММАНУИЛА КАЗАКЕВИЧА «Звезда» и «Двое в степи». Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть ИЛЬИ КАШАФУТДИНОВА «Высокая кровь». Издательство «Одеон».

Роман ЯНА КРОССА «Императорский безумец». Издательство «Словенски списователь».

Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Высшая мера». Издательство «Обзор».

Стихи БОРИСА СЛУЦКОГО. Издательство «Словенски списователь».

ШВЕЙЦАРИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Прощай, Гульсары!». Издательство «Унионсферлаг».

ЮГОСЛАВИЯ

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Энергия заблуждения». Издательство «Просвета».

Литературное наследие

Канте хондо, андалусская песенная поэзия

Перевод с испанского и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА

Русскому читателю трудно себе представить ту роль, которую сыграла в испанской поэзии народная лирика, и ощутить, каким излучателем энергии была она для национальной культуры. Больше того, с первых записей испанского фольклора начинается история европейской лирической поэзии. Эти древние песни на староиспанском языке записаны арабской вязью — фольклорные цитаты в мавританских поэмах XI века, они на столетие старше первых трубадуров.

Народная лирика — загадка не только для переводчиков. Как объяснить, даже самому себе, почему звучание немногих и таких немудреных слов русской частушки: «Я иду, иду. Снег осыпается. Он сказал: «Люблю». Сам улыбается»,— разглаживает морщины? Народ — поэт долгой жизни, и в его творчестве участвуют силы, несоизмеримые с отдельным человеком,— земля и время. Дали становятся ритмом, а время, как море, настолько шлифует речь, что каждое слово хочется подержать на ладони. Землю переселить нельзя, и сугубая оседлость народной лирики очевидна — для переводчиков особенно.

Тем не менее в России испанскую поэзию переводить начали именно с народной, и это начало почти двухвековой давности оказалось удивительным. Переведенный в 1792 году Карамзиным романс о графе Гвариносе вошел в устную традицию и спустя полвека был записан (вероятно, П. М. Языковым, братом поэта) от яицких казаков: «Худо, худо нам, ребятам, в Францевале было жить». Вообще судьба эпической испанской поэзии — народных романсов — в России была счастливой: испанскому романсу отдал дань Пушкин, их переводил Жуковский. И наоборот — народная лирика, поэзия испанской песни, неизвестна у нас и по сей день, хотя вот уж почти полтора века в русской музыке живет арагонская хота, и не только она. Благодаря незабвенному Козьме Пруткову мы знаем, как выглядит испанщина и как переводить не надо, но для большего знания — как надо,— видимо, потребуется еще долгая цепь усилий и разочарований.

На закате средневековья, когда испанская «книжная» поэзия только училась говорить, народная традиция была уже давней, зрелой и отточенной. И чем полнокровней становилась национальная культура, тем притягательней делалось народное искусство. «Именно фольклор и был той священной глиной,— сказал Антонио Мачадо,— из которой Сервантес вылепил самобытнейшее из литературных творений». Вскормленный латынью, утонченный Гонгора буквально переплетал свои чеканные строфы песенными — лишь в одном его романсе пять фольклорных цитат. Что говорить о Лопе де Вега! С его появлением народная поэзия хлынула на площадь: романсы становились пьесами песенные строки — их названиями, сами песни звучали с подмостков по всей стране.

Устная и книжная поэзия существовали на равных; наверное, это и было залогом прославленной испанской самобытности. И двадцатый век не стал исключением. Из трех крупнейших поэтов два связаны с фольклором узами крови. Антонио Мачадо — потомок трех поколений фольклористов: имена его отца, вождя испанской фольклористики, и двоюродного деда, собирателя романсов, в испанской культуре стоят рядом и равно ей дороги. А вот двоюродный дед Гарсиа Лорки сам был деревенским поэтом — в том же Пастушьем Ключе, где родился и великий внук. И однаж-

ды Лорка с гордостью напомния землякам, что среди песен, которые они поют, наверняка есть и дедовские.

Третий, Хуан Рамон Хименес, утвердил в испанской поэзии малую форму, и уже само это было данью народной музе. Испанская песенная лирика — тысячелетняя культура малой формы, по своему лаконизму беспримерной в Европе.

Вообще испанская поэзии XX века непредставима без той живой воды, которой омыла ее народная песня. Не случись этого, облик поэзии был бы иным.

«Судьба страны — неизменно в ее народе...— писал в трагическую пору падения республики Хименес, поэт-изгнанник, которому больше не суждено было увидеть родину.— Я жил и умру влюбленным в мой народ» («народ неистребимой культуры» — по определению Лорки). Свою присягу на верность испанские поэты подтвердили судьбой, жизнью, кровью. В те же военные, жестокие годы твердо и благодарно прозвучали слова Мачадо: «Лучшее в Испании — это народ».

По-своему знаменательно, что три великих поэта, отмеченных трагизмом и в конце концов ставших свидетелями и жертвами трагедии всенародной,— андалусцы. И с детства впитали песенную поэзию испанского юга. Ни одна из испанских провинций фольклорно не обделена — напротив, одна богаче другой. И все же андалусский фольклор воспринимается обостренней (не обязательно с любовью) как в Испании, так и вне ее. Причина не в красочности. У андалусской песни есть право на такое внимание, но это выстраданное право.

«Испания — страна резких очертаний...— говорил Гарсиа Лорка.— Сам облик земли здесь так же строг, неприкрашен и неподдельно драматичен, как и рожденные ею песни». Драматична вся песенная поэзия Испании, но самые горькие страницы этой неписаной народной книги — андалусское «канте хондо» («глубокое», или иначе — «большое пение»). Корни его уходят в историю и древность — в землю, пропитанную кровью.

Еще античные авторы засвидетельствовали самобытность иберийского искусства. Среди них — свидетельство Страбона: распятые римскими легионерами мятежные турдетане, умирая, пели. По всему средиземноморью росли кресты, но эти распятые с имперской окраины запомнились ученому греку.

Турдетанией назывался юго-запад нынешней Андалусии — Севилья, Уэльва, Херес, тот самый уголок испанской земли (почти треугольник, опершийся на морское побережье), где родились и звучат песни-плачи андалусского канте хондо. Великие поэты XX века родились на вершинах этого треугольника: в Севилье — Мачадо, близ Уэльвы — Хименес и чуть в стороне от заповедного края «глубоких песен», в отрезанной горами Гранаде — Гарсиа Лорка.

Канте хондо — лишь малая часть андалусского фольклора, но малая, как сердце. Обособленное музыкально, оно едино со всей песенной поэзией Испании в главном — в стремлении поднять житейское на высоту вечных вопросов. Но это усилие отзывается в канте хондо отчаянием и мятежом.

«Глубокое пение» — древнее, восточного склада, одноголосое и обычно без аккомпанемента — трудно не только тем, что долгие, мелодически насыщенные фразы исполняются на одном дыхании и что к тайнам «большого пения» приобщаются с колыбели. Трудна сама сквозная мысль этой песенной поэзии — о неискупимости страдания, о стойкости в страдании. Недаром «глубокие песни» еще в прошлом веке назывались общим именем — п л а й е р а. Плач. Так утверждают андадусские певцы-импровизаторы — те, о ком Гарсиа Лорка сказал: «Это лирические всплески нашего народа. Они необходимы, чтобы дать выход народной боли и подлинной истории».

■ ■ ■

Среди бела дня
плакал ветер, оттого что смерклось
в сердце у меня

■ ■ ■

Ночью месяц ясный
заклинаю в поле,
чтоб отца, забитого в колодки,
вывел из неволи.

■ ■ ■

Отозвался ветер,
улетая прочь:
— Что́ все слезы, если нет ответа
и нельзя помочь?

■ ■ ■

Стыли камни в море,
стыли и молчали,
и ходила к ним моя подруга
поверять печали.

■ ■ ■

Так давно и круто
мы с судьбою спорим,
что в душе, подруга, даже радость
отдается горем.

■ ■ ■

Я сама не знаю,
что случилось, мама,
но в какое зеркало ни гляну —
сходит амальгама.

■ ■ ■

Умирать я буду —
в час последней муки
этой прядью, прядью своей черной
повяжи мне руки.

■ ■ ■

Как волнами камни
бьет на берегу,
били меня беды и теперь добили,
больше не могу.

■ ■ ■

Когда кровь из раны
на земле скипится,
будет вам, солдатам, за меня награда,
бог не поскупится!

■ ■ ■

Сквозь решетку гляну,
и душа мертвеет —
пусто, мама, только пыль под ветром,
да и ту развеет.

■ ■ ■

Бой часов тюремный
в тишине квартала,
ты оповести мою подругу,
что меня не стало.

■ ■ ■

Не наказ, подруга,
просьба в час ухода,
чтоб по мне платок носила черный
хоть не дольше года.

■ ■ ■

Чей там голос кличет
так, что сердце рвется,
то не мать ли ищет меня, ищет
и не дозовется?

■ ■ ■

Палачу сказал я,
как вели на плаху:
— Обряди меня заместо белой
в черную рубаху.

■ ■ ■

Где и как, не знаю,
и с какого зла
захлестнула лямка мое горло
и петлю свила.

Солеарес [1]

■ ■ ■

Двойная стража угрюма:
за мной идет моя тень,
меня ведет моя дума.

■ ■ ■

Такие наши забавы!
Кидал бы камешки в воду,
да что-то брызги кровавы.

■ ■ ■

Уносит ветер во тьму
те слезы, те мои слезы
что не нужны никому.

■ ■ ■

Пришла пора винограда:
зеленый был, как надежда,
и черный стал, как утрата.

■ ■ ■

Доколе искать угла
и встречу ли в мире душу,
которой не жаль тепла?

■ ■ ■

Остаться с тобой вдвоем,
а там угощай хоть ядом,
я выпью в один прием.

■ ■ ■

Пойду по белому свету,
но ты обо мне заплачешь,
и кровь побежит по следу.

■ ■ ■

Я сделал больше, чем бог.
Сам бог тебе не прощает
того, что простить я смог.

■ ■ ■

Забудь, что была со мною,—
скажи, что любила камень
и смыло его волною.

■ ■ ■

Вспомнишь меня ненароком
и, словно конь одичалый,
будешь искать по дорогам.

■ ■ ■

Злей наихудшего зла
знать, что живешь ты на свете,
а для меня умерла.

■ ■ ■

Ты позовешь у окна,
и я дверей не открою
и буду плакать одна.

■ ■ ■

Я тот одинокий ствол,
который в тени сиротской
волков у дороги свел.

■ ■ ■

Оглядываюсь устало
и жду, что настанет завтра.
И вижу, что не настало.

[1] Название (в старинном значении — тоска, сиротство) родственно по складу русским «страданиям». *(Здесь и далее прим. перев.).*

Кантарес [1]

■ ■ ■

Должна терпеть наковальня —
и я терплю неустанно,
но будь и ты наготове,
когда я молотом стану.

■ ■ ■

Я мог бы вырваться в небо,
но бог стоял на своем
и сделал мир моей клеткой,
а море горьким питьем.

■ ■ ■

Ткут это рубище жизни
и подновляют заплаты
долгие нити печали,
редкие нити отрады.

■ ■ ■

Впотьмах выхожу и плачу,
и горше день ото дня,
что так люблю тебя смертно,
а ты не любишь меня.

■ ■ ■

Подруга моя, подруга,
какая злая тоска —
воды касаться губами
и не отпить ни глотка!

■ ■ ■

Я слезы нес на могилу,
чтоб землю выжечь дотла,
но встала смерть и сказала,
что ты другого звала.

■ ■ ■

Когда ты найдешь другую,
прошу тебя, мой родной,
другой не дари те ласки,
что ведомы мне одной.

■ ■ ■

Двум моим давним подругам,
верным по гроб, как и прежде,
только одним я и верю —
боли моей и надежде.

■ ■ ■

Уже не вырастет ворон
еще чернее, чем крылья;
уже не быть моим бедам
еще чернее, чем были.

■ ■ ■

Про́клял я двор тюремный,
голову свесил ниже.
Где ты, моя свобода?
Где ты, что я не вижу?

■ ■ ■

Двадцать и пять казематов
возле Утрерских ворот.
Двадцать четыре прошел я,
самый глухой меня ждет.

■ ■ ■

Я нес мой крест непосильный
и рад был замертво лечь —
и вот донес до Голгофы,
и ноша сброшена с плеч.

[1] Название объединяет такие формы, как старинная крестьянская канья, песни кузнецов — мартинете, тюремные песни.

Серраны [1]

■ ■ ■

Ты у плакучей ивы
по-над водою
спроси про мои слезы
и злую долю.
Весь век ей гнуться,
а до воды ветвями
не дотянуться.

■ ■ ■

Уж лучше быть врагами
от боя к бою,
чем жить в любви и мире,
да не с тобою.

■ ■ ■

Мне от тебя и слезы
что с неба манна;
дари меня чем хочешь,
но без обмана.

■ ■ ■

Я, как ручная птица,
льну без опаски —
и ради перелетной
лишают ласки.

■ ■ ■

Любовь как та тропинка,
что в гору вьется,
и кто спрямит дорогу —
с нее собьется.

■ ■ ■

Мой ненаглядный струсил
по ходу дела
и мне сказать боится,
что надоела.
А я смелее —
сказала, что наскучил,
и не жалею.

■ ■ ■

До смерти обивает
бедняк пороги,
а на одном и том же
протянешь ноги.
И в равной мере
любовь я добываю
у каждой двери.

■ ■ ■

«Приди,— сказал я смерти,—
и дай мне руку,
устал я в этом мире
брести по кругу».
Но ей по вкусу
взамен того, кто кличет,
являться трусу.

■ ■ ■

Кто разорвать веревку
не смог и струсил,
тот не ослабит путы,
а стянет узел.

■ ■ ■

Я и сама не знала,
что так любила,
пока пора прощанья
не наступила.

■ ■ ■

Судьба меня для встречи
хранит живою,
не то давно б я в поле
росла травою.

■ ■ ■

Затем и расставанья
всегда так тяжки,
что смерть с разлукой ходит
в одной упряжке.

[1] Песни погонщиков и пастухов Сьерра-Морены.

■ ■ ■

Одно мне утешенье,
когда печалюсь,—
глядеть на ту тропинку,
где разлучались.

■ ■ ■

Была цветком миндальным
моя отрада
и зацвела так рано
для снегопада.

■ ■ ■

Кто полюбил до гроба,
уйдет до срока,
но для него сто жизней
мгновеньем ока.

В оформлении использованы мотивы испанской народной керамики.

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.)

Советский переводчик. Переводил стихи испанских поэтов — Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др., польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского, французских — П. Верлена, Г. Аполлинера.

Публицистика

АНРИ АЛЛЕГ

SOS, АМЕРИКА!

Главы из книги

Перевод с французского ВАЛЕНТИНЫ ЖУКОВОЙ

Ограбление по-американски

Иногда я задумываюсь, какой смысл ограждать себя от воображаемых внешних угроз, в то время как признаки внутреннего разложения столь очевидны.

Джордж Кеннан, бывший посол Соединенных Штатов в СССР

«Наш автобус следует по маршруту Питтсбург-Детройт-Чикаго. Там можно сделать пересадку на западное направление и доехать до Сан-Франциско. Вы только что пообедали, постарайтесь расслабиться, устраивайтесь поудобнее. Можете разуться (если, конечно, у вас чистые носки). Желающих включить транзистор просим надеть наушники, чтобы не беспокоить соседей. Задние места предназначены для курящих. Напоминаю, что распивать спиртное в автобусе запрещено, не разрешается также курить марихуану и другие штуковины в этом роде. Дождитесь, пока прибудем на место, а там скручивайте себе свой «joint»[1] на здоровье». Шофер наслаждается эффектом, произведенным его короткой речью,— намек на чистые носки вызвал смех,— затем умолкает, сосредоточив все свое внимание на дороге.

Во всех автобусах компании «Грейхаунд», которые днем и ночью с востока на запад и с севера на юг колесят по дорогам Соединенных Штатов, ритуал примерно одинаков. Автобус здесь самое дешевое и самое популярное транспортное средство.

Проезд по железной дороге обходится дороже, но менее практичен и комфортабелен, к тому же железнодорожных линий и вокзалов для такой огромной страны не так уж много. Когда-то между «рельсами и шоссе» полыхали баталии, но уже давным-давно вторые одержали победу. Не потому, что опыт доказал их преимущества, а просто-напросто оттого, что лобби автомобильных и нефтяных магнатов навязало выгодное для себя решение.

Путешественник-иностранец с удивлением обнаруживает в «стране передовой технологии» поезда, которым, судя по всему, никак не менее сорока лет; в них так трясет, что невозможно спать, а попытка выпить чашку кофе напоминает опасный трюк. Точность и надежность тоже не назовешь нынче в числе преимуществ американских железных дорог. Любителям статистики, садящимся в поезд, есть отчего волноваться: по утверждению Брока Адамса, министра транспорта в правительстве Картера, в 1977 году 8000 поездов (включая товарные) сошли с рельсов, причем половина — из-за плохого состояния путей и неправильной эксплуатации. Именно по этим причинам американец со скромными финансовыми возможностями предпочитает услуги компании «Грейхаунд»...

Однако, чтобы по-настоящему понять страну и увидеть масштабы опустошения, поразившего сердце промышленной Америки (треугольник, ограниченный Бостоном, Филадельфией и Чикаго), нужно отвлечься от маршрута «Грейхаунда» и отправиться в рабочие кварталы Детройта, Кливленда, в предместья Питтсбурга (Хомстед, Мак-Киспорт и Аликуиппа), пожить некоторое время в окрестностях Чикаго.

«В прошлом в этом районе южного Чикаго, на берегу озера Мичиган, был свой мэр,— рассказывает Скотт Маршалл, бывший профсоюзный деятель сталелитейного завода «Юнайтед Стейтс

Окончание. Начало см. в № 6, 1986 г.

[1] Сигарета с марихуаной *(англ.)*.

стил саут уоркс»,— но в наши дни подобный муниципалитет сразу же обанкротился бы. Собирать налоги стало невероятно трудно, кругом нищета...».

Нескончаемые серые стены, за которыми вырисовываются крыши умолкнувших цехов. На дверях с заржавевшими решетками еще сохранились теперь уже ненужные, словно в насмешку вывешенные объявления: «Извините. Работы нет». Пустыня. «В 1974 году каждое утро у пяти проходных собиралось 6000 металлургов,— продолжает Маршалл.— Сегодня, десять лет спустя, не наберется и 900, и число их все сокращается. Одной проходной — там, с другой стороны,— вполне достаточно. Когда-то на этой улице бурлил людской поток, по ней трудно было пройти, а тем более найти место для машины».

С тех пор все изменилось. Огромная стоянка по-прежнему существует, но она пуста. Здесь можно провести два футбольных матча одновременно, и игроки не помешают друг другу...

В геометрическом центре стоянки — бутылка из-под пива, пустая, нелепая,— кто-то водрузил ее здесь как некий сигнал бедствия. А вокруг — вдоль и поперек перерытые безлюдные улицы. Они тоже мертвы. Магазины закрыты — так же как и банк,— только за разбитыми стеклами бывших витрин все еще висят блеклые, почти уже стершиеся объявления: «Закрыто окончательно».

Опустело и кафе «Чайка», куда забегали люди после работы. Даже штабквартира местного профсоюзного отделения закрыта и предназначена на продажу. Но кому придет в голову приобретать эти стены?.. Немного подальше — стела, напоминающая о жертвах стачечной борьбы в мае 1937 года: для разгона одной из демонстраций бастующих рабочих с «Рипаблик стил» и других заводов были брошены полицейские, которые открыли огонь, итог — семеро убитых и около ста раненых.

Неподалеку отсюда — одно из предприятий «Висконсин стил», когда-то принадлежавшее компании «Интернэшнл харвестер». Несколько лет назад государство выделило 90 миллионов долларов на его модернизацию. Сейчас оно также сворачивает производство. И это — «несмотря на то, что здесь, в частности в литейном цеху № 6, совсем недавно установлено ультрасовременное оборудование»,— говорит Скотт Маршалл.

У ворот разворачиваются огромные грузовики, одни — чтобы въехать, другие — чтобы выехать.

«Там, внутри, демонтируют оборудование,— объясняет мой собеседник,— его продадут или установят на заводах, построенных на Юге или за границей... Стоит, пожалуй, рассказать, как в марте 1980 года происходило закрытие завода. Компания «Интернэшнл харвестер» продала завод другой фирме — «Энвайордайн холдинг компани», почти не имевшей отношения к металлургии, предоставив ей кредит в 50 миллионов долларов. На самом деле это было нужно для того, чтобы избавиться от контрактов, которые связывали компанию с профсоюзами и предусматривали выплату рабочим неустойки в случае окончательного увольнения. На заводе прошел слух, что хозяева собираются потихоньку убраться, ничего не заплатив рабочим. Чтобы «положить конец слухам», директор собрал 3500 рабочих и объявил: «Не верьте никаким россказням. Я могу вам гарантировать, что дела компании идут хорошо и вы еще долго здесь проработаете. Мы долго трудились вместе и потрудимся еще»... А затем в одно прекрасное утро без всякого предупреждения заводские ворота оказались на запоре.

Рабочие остались ни с чем. Но и это не все. Через несколько дней банки вернули рабочим по почте неоплаченными последние чеки на сумму их двухнедельного заработка. Основание: чеки не обеспечены. Компания объявила о своем банкротстве. Директор хотел усыпить бдительность рабочих, опасаясь, как бы не выплыли наружу настоящие планы компании и рабочие не отреагировали, до того как хозяева окончательно покинут предприятие. Махинация на три миллиона долларов. Лишились рабочие и выходных пособий, и накоплений, которые выплачивали в кассу в течение нескольких лет, чтобы получать пенсию по старости. Потеряли право на оплаченное их же взносами страховое обеспечение по болезни. Все это было отнято у них одновременно. И сделать ничего было нельзя, потому что официально компания обанкротилась.

Государству, которое ее субсидировало и могло хотя бы частично возместить свои убытки за счет суммы, полученной от продажи оборудования, по логике вещей следовало взять на себя ответственность за судьбы рабочих. Именно этого добивались профсоюзы, но безрезультатно...»

Ликвидация предприятия, о которой рассказал Маршалл, и махинации, жертвами которых стали те, кто там работал,— всего лишь один из подобных эпизодов. Отношения между рабочими и предпринимателями складываются по законам бизнеса: последнее слово за теми, кто посильнее и похитрее.

Гарольд Вашингтон, чернокожий мэр Чикаго, избранный в апреле 1983 года, несмотря на чрезвычайно ожесточенную расистскую кампанию, развернутую против него прежней администрацией демократов, связанной с местной мафией, не раз обращался с просьбой о предоставлении государственной помощи уволенным рабочим сталелитейных заводов города, но так и не получил желаемого ответа.

Примерно в 700 километрах отсюда, в Питтсбурге, бывшей мировой «столице» по производству стали, так же как во всех других населенных пунктах долины Мононгахилы — в Кливленде, Лорейне и Янгстауне,— все тот же гнев, та же печаль. Эта «Лотарингия» американских масштабов истерзана кризисом и по-

литикой свертывания предприятий, которую проводят транснациональные корпорации.

В крохотной приемной в Мак-Киспорте (пригород Питтсбурга) президент местного отделения профсоюза работников сталелитейной промышленности Ричард Грейс с горечью рассказывает:

«Мне 54 года, 34 из них я провел на предприятии «Юнайтед Стейтс стил» в Мак-Киспорте. Когда я начинал свою трудовую деятельность, на заводе работало 7000 человек. К маю 1984-го их осталось триста — четыреста. Одновременно сократилось число членов нашего профсоюза. Пока еще 4000 человек платят членские взносы, но их становится все меньше и меньше. Здесь все зависит от сталелитейного производства, и потеря рабочих мест в этой отрасли влечет за собой аналогичные процессы в других отраслях.

О сложившейся в Мак-Киспорте ситуации можно судить по двум цифрам: 21% местного населения — безработные и 17%— пенсионеры, которые, разумеется, не купаются в золоте... Только рядом с моим домом за несколько месяцев произошло четыре самоубийства. Когда нет денег, условия жизни все ухудшаются. Все меньше магазинов — торговцы, чтобы окончательно не разориться, уезжают из этих мест. Видели, в каком состоянии здешнее шоссе? Одни ухабы. Поглядели бы вы на все это зимой. Власти решили ввести налог на бензин, чтобы собрать средства на ремонт дороги. Во всяком случае нам так объяснили. Не знаю, что́ сделали с этими деньгами, но на ремонт они не пошли, за исключением, может быть, кое-каких заплат на асфальте — время от времени их кладут, хотя они и не держатся. Настоящим ремонтом никто не занимается. Плохо обстоит дело и с водой: водопроводы старые, вода загрязненная. В прошлом месяце около сотни человек попало в больницу с острейшим расстройством желудка. К счастью, никто не умер. Но теперь мы пьем только ту воду, которую привозят солдаты в автоцистернах. Я запасаюсь у них водой два раза в неделю. Перебраться в другое место? Во-первых, это не так просто. Для этого надо суметь продать свое имущество. Но кто же купит дом в почти призрачном городе и сколько мне за него дадут? Да и куда? Часть молодежи перекочевала из Питтсбурга на Юг. Они писали тем, кто здесь остался, что все получилось совсем не так, как они ожидали. На Юге тоже не так-то легко найти работу. А если повезет и ты ее все-таки найдешь, заработок будет ничтожным. Вот почему оставшиеся здесь целый день слоняются, ломают голову над тем, что делать дальше...»

Некоторые находят ответ совсем неподалеку от местного отделения профсоюза, всего за несколько домов от него: недавно тут был открыт сияющий новизной призывной пункт. Дядя Сэм раскрывает им свои объятья: «Вступай в армию!» Плакат обещает добровольцам деньги, пальмы, солнце, улыбки таитянок и «славу» в придачу. Столпотворения добровольцев, однако, не наблюдается. Вьетнам еще не забыт.

В ближайшем баре несколько безработных, у которых еще есть чем заплатить за рюмку, убивают время у телевизора. Другие — у табло видеоигр. На стене — реклама, восхваляющая прекрасные качества местного пива. Словно для того, чтобы усилить горечь потери, пиво по-прежнему называется «Iron City Beer» («Пиво Железного города»).

Джон Ингерсолл, вице-президент профсоюзного отделения в Хомстеде, расположенном также неподалеку от Питтсбурга, считает, что в сложившейся ситуации виновны и монополии сталелитейной промышленности, и правительство Вашингтона, и руководители АФТ/КПП[1]. «Вся история существования корпорации «Юнайтед Стейтс стил» отмечена ложью и мошенничеством,— взволнованно говорит он.— Это началось еще с банкира Дж. П. Моргана, который ее основал. В 1865 году, во время Гражданской войны, он разбогател на том, что скупал в армии по доллару за штуку ружья, забракованные военными специалистами, а затем перепродавал их интендантским службам по двадцать долларов. Это исторический факт. Для семейства же Морганов это было только начало. Позднее они творили и не такое. Во время второй мировой войны, чтобы создать новые предприятия и обеспечить страну сталью, правительство потратило около 770 миллионов долларов. После войны все эти принадлежавшие государству заводы были перепроданы «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн» и другим магнатам сталелитейной промышленности по цене, в пять—десять раз уступающей реальной стоимости заводов. Подарок правительства за счет налогоплательщиков».

С 1974 по 1983 год общее число рабочих сталелитейной промышленности в Соединенных Штатах упало с 487 000 до 246 000. Сократилось почти вдвое. Несмотря на «оживление», о котором так часто говорил Рональд Рейган в конце первого президентского срока, три четверти и даже больше трудящихся уже никогда не найдут работу. Ряд крупнейших компаний не замедлил воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на рабочих, предложив им торг, чрезвычайно похожий на шантаж: «Или вы будете сотрудничать с нами и согласитесь на жертвы, что позволит нам преодолеть трудности «модернизации» и стать «конкурентоспособными», или мы ускорим процесс свертывания производства».

В феврале 1983-го руководители общенационального профсоюза «Юнайтед стил уоркерс» согласились подписать с хозяевами сталелитейных предприятий «договор», который нам, европейцам, больше напоминает грабеж средь бела дня. По этому новому договору почасовую оплату уменьшили на 1 доллар и

[1] Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов.

25 центов, на полтора года отменили подвижную шкалу заработной платы в условиях инфляции, на одну неделю был сокращен отпуск у тех, кто имел на него право (а оно существует далеко не для всех работников), и отменены прибавки к зарплате за работу в воскресные и праздничные дни. По подсчетам руководителей профсоюза эти уступки равноценны ассигнованиям в три миллиарда долларов, которые рабочие таким образом предоставили металлургической промышленности. Эти «жертвы» тем не менее не приостановили увольнения рабочих, так же как нисколько не подтолкнули обещанную «модернизацию». Напротив, демонтаж американских сталелитейных заводов продолжился.

Тридцать лет назад американцы были основными экспортерами стали в мире. Сегодня объем их оборота на международном рынке составляет по меньшей мере десятую часть оборота японцев.

«Юнайтед Стейтс стил» начала в широких масштабах «диверсифицировать» свою деятельность, вкладывая капиталы в химическое производство, недвижимость, машиностроение, речной транспорт и т. д. Увеличиваются и капиталовложения в странах с наиболее дешевой рабочей силой, в итоге — прибыли бо́льшие, чем в Соединенных Штатах. Так, например, в 1977—1978 годах американские банки финансировали строительство новых сталелитейных предприятий в Бразилии, Южной Корее, Мексике, Японии и других странах, с тем чтобы впоследствии импортировать в Соединенные Штаты часть их продукции.

Одновременно с закрытием заводов ряд американских монополий подписывает договоры как с давно существующими иностранными фирмами, так и со вновь созданными при их же содействии. «От Южной Кореи до бассейнов Амазонки и Рура,— пишет «Уолл-стрит джорнал»,— производители стали используют все существующие возможности... Плотная сеть их фирм перекинулась через океаны и континенты...» И пользуется — следовало бы добавить — высоким покровительством транснациональных корпораций проамериканской ориентации. В этой игре ни американские металлурги, выброшенные на улицу и ожидающие маловероятной «модернизации» предприятий, ни страны, которые выполняют роль поставщиков дешевой рабочей силы и сырья, не становятся победителями.

Президент «Юнайтед Стейтс стил» однажды сказал, что «первоочередная задача его корпорации — делать деньги, а не сталь».

Было бы идеально, замечают некоторые промышленники, сохранить в Соединенных Штатах лишь то сталелитейное оборудование, которое строго необходимо для удовлетворения военных нужд. В остальном зачем обременять себя «нерентабельным» производством, если импортированная сталь обходится дешевле?

«Такая политика,— говорит Джон Ингерсолл, несомненно выражая точку зрения большинства членов своего профсоюзного объединения,— не учитывает реальных потребностей сегодняшней Америки. Сталелитейным предприятиям хватит работы, если начать перестройку инфраструктуры в стране. Ведь она катастрофически разрушается: тысячи мостов, тысячи километров трубопроводов, железнодорожных рельсов пора выбросить в металлолом. Нужно строить заново или по меньшей мере ремонтировать. Если заняться этим, понадобятся сотни миллионов тонн стали. Это на долгие годы обеспечило бы работой многих американцев...»

Еженедельник «Ньюсуик» (август 1982 года) поместил некоторые данные, касающиеся невероятной деградации американской инфраструктуры:

248 500 мостов в плохом состоянии и опасны для передвижения. Их ремонт и реконструкция обошлись бы более чем в 47 миллиардов долларов.

Еще существуют железнодорожные линии, где используются паровозы выпуска 1923 года. Железнодорожные пути компании «Эмтрэк» и «Конрейл» запущены и изношены до предела.

Во многих городах водохранилища и водопроводы, канализационная сеть сооружены 50—150 лет тому назад. Чтобы отремонтировать их и обеспечить нормальное функционирование, потребуется от 75 до 100 миллиардов долларов.

Общественные здания (полицейские участки, школы, казармы пожарников) разрушаются, потому что их не ремонтируют. «Возраст» водопроводных и газопроводных систем, так же как электросетей, в этих зданиях насчитывает подчас более полувека.

Вопреки всему вышеизложенному, бюджет, выделяемый на коммунальные сооружения, из года в год уменьшается. С 32 миллиардов долларов (1972 год) он сократился до 23 миллиардов в 1982-м.

И дело здесь не только в стали. Кризис и «перестройка» затрагивают почти все промышленные отрасли. Пострадало даже автомобильное производство, долгое время символизировавшее процветание американского экспорта. В 1950 году Соединенные Штаты обеспечивали три четверти мирового выпуска автомобилей. В 1960-м — половину, а в 1970-м — только треть. В 1980 году США впервые оказались позади Японии.

Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию. «три гиганта»—«Форд», «Дженерал моторс» и «Крайслер»,— которые до 1960 года контролировали 95% американского рынка (а «Дженерал моторс»—40—50% всего оборота), прибегли к тем же методам, что и хозяева сталелитейных заводов: закрытию предприятий, увольнению десятков тысяч рабочих, сокращениям заработной платы, установке автоматических линий и роботов, «переселению» предприятий в те районы Соединенных Штатов, где нет профсоюзов, и более того — к «эмиграции» в другие страны, где есть дешевая рабочая сила

(Мексика, Бразилия, Тайвань) и, наконец, частичному вкладу капиталов в предприятия различных иностранных фирм, в частности японских. Так, например, компания «Дженерал моторс» объединилась с фирмами «Тоётой» и «Исудзу», «Крайслер»— с «Мицубиси», «Форд»— с «Тоё когё».

Получив поддержку Картера, а затем Рейгана, эта ориентация вполне удовлетворила аппетиты автомобильных магнатов. «Крайслер корпорейшн», объявившая в 1980 году о дефиците в 1 миллиард 700 миллионов долларов, через четыре года вновь обрела силу. Для чего понадобилась ссуда в полтора миллиарда долларов (об этом, правда, мало - говорят), которую и предоставило американское правительство. Одним из условий ссуды было согласие 110 000 рабочих «Крайслера» на сокращение их заработной платы. Уже в первом квартале 1983 года «три гиганта» публично поздравляли друг друга с прибылями.

Что же касается рабочих автомобильных предприятий — эти заводы в основном находятся в тех же районах, что и сталелитейные,— то у них было мало причин для радости. Конечно, некоторые люди, уволенные на неопределенное время в тяжелейший период спада, вновь получили работу на полный или неполный день. Но очень большое число упраздненных с 1978 года рабочих мест так и осталось невосстановленным. В правительственном докладе, подготовленном министерством торговли, сказано без обиняков: «Вероятность того, что в автомобильной промышленности удастся восстановить все существовавшие в 1978 году рабочие места, ничтожна. К середине 80-х годов на автомобильном производстве будет занято на 200 000 рабочих меньше. И в смежных отраслях уровень занятости снизится на 300—400 тысяч человек по сравнению с 1978 годом».

Нисколько не лучше перспективы на рынке труда в целом. Вопреки тому, что утверждают почитатели рейгановской системы, стремящиеся приукрасить печальную действительность, полная или частичная безработица по-прежнему остается одной из глубоких язв американского общества. И не заметно никаких признаков того, что страна постепенно излечивается от нее, скорее наоборот.

Экономическое «оживление» 1983 года и первых месяцев 1984-го было лишь временным. В 1984-м, самом удачном году экономического «подъема», официально признанный уровень безработицы достигал 7,6%, что составляет 8 миллионов 600 тысяч человек. За первые четыре года пребывания Рейгана на посту президента среднегодовое число безработных возросло до 9 миллионов 600 тысяч (8,6%).

Когда период полной занятости, существовавший на рынке труда в годы войны, миновал, и безработица вновь дала о себе знать, экономисты утверждали, что ее «максимально допустимый» уровень равен 2—3%. Эта цифра осталась теперь далеко позади, и из страха перед тем, что еще может произойти, никто уже не решается устанавливать «потолок».

Однако за сегодняшними показателями, как бы велики они ни были, скрывается еще более мрачная реальность. Министерство труда обнародовало — правда не привлекая к ней особого внимания — более полную статистику, по которой в 1984 году в США насчитывалось 11 миллионов 600 тысяч безработных, а средний показатель за четыре года президентства Рейгана — 13 миллионов 200 тысяч человек. Чтобы картина безработицы была точнее, следовало бы прибавить к ним примерно пять миллионов человек, кои просто-напросто были вычеркнуты из списков безработных. Тех, кто не имеет работы уже более года, относят к «отчаявшимся рабочим» («discouraged workers»), которые не вписываются ни в какие категории. Эти канцелярские трюки, ничего не меняя по сути, позволяют представить статистику безработицы в более презентабельном виде. По утверждению одного из наиболее авторитетных экономистов Виктора Перло, в 1984—1985 годах безрезультатно искали работу 16—17 миллионов американцев.

В то же время прибыли американских компаний и их капиталовложения за границей (возросшие от 7 миллиардов долларов в 1940 году до 183 миллиардов в 1979-м и 227 миллиардов в 1982-м) достигли новых — высочайших — пределов. Означает ли это, о чем ежедневно трубят все те же «оптимисты», что Америка «в великолепной форме» и должна быть — с некоторыми поправками — моделью для подражания? Перед наблюдателем, который не позволяет ввести себя в заблуждение, предстает иной образ — образ больной страны. Болезнь Америки — в ее системе и погоне за прибылями. И это — несмотря на впечатляющие технологические достижения, в частности в освоении космоса и других областях. Чаще же всего ее проявления связаны с созданием устрашающей военной машины.

Долгое время американцы не сомневались, что должны быть первыми во всем или почти во всем. Возникла даже традиция восклицать, подняв большой палец: «We're Number One!» («Мы первые!») Самые богатые, самые энергичные, самые современные, самые предприимчивые. Все это могло быть справедливым для определенного периода, но сегодня таковым уже не является. «Действительность,— отмечает президент профсоюза механиков и рабочих аэрокосмической промышленности Уильям У. Уинписинджер,— не так привлекательна, как ее изображают представители привилегированных кругов с Мэдисон авеню или регулярно преподносят в официальных речах по случаю празднования Дня независимости, а также в выступлениях наших профсоюзных лидеров...» Для пу-

щей убедительности он цитирует двух экономистов Гарвардского университета, которые, сравнивая Соединенные Штаты с другими крупными промышленными странами западного мира, пришли к следующим выводам:

«Соединенные Штаты — на последнем месте по экономическому росту, если учитывать число людей, занятых на производстве.

Соединенные Штаты — на одном из последних мест по числу получающих пособия по безработице, по предоставлению социальных благ населению в сравнении с размерами национального дохода, по средней продолжительности оплаченных отпусков для рабочих, по продолжительности жизни.

По сравнению с восемнадцатью «индустриальными странами» (сюда входят также Гонконг и Сингапур) в Соединенных Штатах самый высокий уровень детской смертности.

Соединенные Штаты оспаривают у Канады первенство по уровню безработицы (имеется в виду средний показатель за двадцатилетний период).

Соединенные Штаты обогнали все эти страны по степени загрязненности окружающей среды.

Оказались далеко впереди всех этих стран и по общему количеству совершенных убийств, и по процентному их соотношению с общей численностью населения...»

Перечислив все это, Уильям У. Уинписинджер — рискуя задеть чувства многих членов собственного профсоюза, с детства уверовавших в то, что «Америка — лучшее место на земле», и цепляющихся за этот миф,— заключил, что, несмотря на свое величие и могущество, Америка вряд ли может выступить на мировой арене под «номером один», как модель лучшей из систем.

Во время предвыборной кампании 1984 года 500 крупных и мелких телекомпаний показывали одну и ту же ленту под названием «Prouder, Stronger, Better» («Америка стала величественнее, сильнее, лучше»). Глубоким, проникновенным голосом диктор произносил: «Над Америкой вновь занимается заря», а на экране происходило переселение в новый дом сияющего от радости семейства белых американцев. В другом «сюжете» на первом плане — молодые новобрачные, нежно взявшиеся за руки, и голос диктора журчит совсем растроганно: «Теперь они могут уверенно смотреть в будущее». Сюжет третий —«Америка возвращается!»: лучащийся счастьем молодой человек усаживается за руль своего нового автомобиля, а на заднем плане — рабочие толпятся у проходной заново пущенного завода.

Идиллическая Америка — Рейгану хотелось, чтобы избиратели представляли ее себе именно такой. И действительно, для некоторых она такой и выглядела. Привилегированным и в самом деле не пришлось жаловаться на первые четыре года пребывания Рейгана у власти. Во втором квартале 1983 года прибыли транснациональных корпораций, возглавляемых американцами, резко возросли по сравнению с прошлым годом. Золотой дождь пролился на голову поставщиков военной техники — ведь именно они в первую очередь наживаются на огромном, стремительно и постоянно растущем военном бюджете.

«Рейганомика» зачастую преподносится как некая революция в капиталистическом способе ведения хозяйства, как образец для подражания. На самом деле речь идет всего лишь о возвращении к архиустаревшим методам так называемой «либеральной» экономики. Одним из наиболее дорогих сердцу президента ее положений был тезис о том, что всеобщее процветание начинается с процветания богатых. Как только-де оно будет обеспечено, жизненные блага автоматически «польются» вниз, на головы самых обездоленных сограждан.

Увы, эта точка зрения, столь удобная для тех, кто стоит на верхней ступеньке общественной лестницы, и столь заманчивая для тех, кто находится у ее подножия, ничем реально не подкрепляется. «На меня никогда ничего не «проливалось»,— говорит безработный из Кливленда,— кроме дождевой воды, которая просачивается сквозь крышу и заливает мою комнату...»

В соответствии с другим тезисом вмешательство государства в сферу экономики должно быть сведено к минимуму, поскольку «лучшим регулирующим фактором являются законы рынка». На практике это правило соблюдается не столь строго, и когда надо спасать оказавшуюся под угрозой транснациональную корпорацию, государство, не колеблясь, «исправляет»— как это произошло с субсидией «Крайслеру»— те же самые «законы рынка».

Наконец, по рецептам «рейганомики», следует максимально сократить размеры налогов, выплачиваемых крупными фирмами и владельцами больших состояний, чтобы «капитал срабатывал». Поэтому сразу после вступления на пост президента Рейган решает заметно сократить налоги, которыми облагались доходы крупных компаний. В 1950 году они составляли примерно треть государственных налоговых поступлений. В 1969-м доля этих налогов упала до 20% от общей суммы, а в 1981 году, с приходом Рейгана к власти, снизилась еще больше — до 13%. Белый дом преподнес эти налоговые изменения как всеобщее и пропорциональное сокращение налогов в 1982 году. За три года налоги генерального директора корпорации «Эксон» сократились на 450 000 долларов, налоги фирмы «Боинг»— на 180 000 долларов...

Монополиям же, поставляющим новейшее оружие и технику американским вооруженным силам, повезло еще больше. «Дженерал электрик», занимающая четвертое место по поставкам Пентагону, получила в 1981—1983 годах прибыль в 6,5 миллиарда, но не заплатила ни цента налогов, более того, ей бы-

ли возмещены 283 миллиона долларов, выплаченных в виде налогов до избрания Рейгана. «Боинг», «Дженерал дайнэмикс», «Локхид» также не были обойдены: налоговое управление возместило им более миллиарда «напрасно выплаченных» долларов.

Организация «Граждане за справедливые налоги», связанная с АФТ/КПП, в докладе, опубликованном за три недели до президентских выборов, огласила результаты проведенного ею анализа, обнаружившего, что из двухсот пятидесяти отобранных для учета крупных американских компаний сто двадцать восемь (51%) не платили государственных налогов в течение первых трех лет президентства Рейгана.

Среди счастливчиков — «Доу кемикал», «Теннеко», железнодорожная компания «Саутерн пасифик рейлроуд», концерн «Дюпон де Немур», автобусная компания «Грейхаунд», компании «Нэшнл корпорейшн», «Ксерокс», «Американ сайэнамайд» и т. д.,— все они чрезвычайно щедро субсидировали вторую избирательную кампанию Рейгана. И позор тому, кто дурно об этом подумает.

Для того чтобы компенсировать эти баснословные суммы, нужно было искать деньги вовне. В значительной мере администрация Рейгана нашла их благодаря режиму экономии, тяжесть которого легла на плечи бедняков. Официально в 1984 году их насчитывалось около 35 миллионов 300 тысяч, то есть 15,2% от всего населения. На шесть миллионов больше, чем в 1980 году, когда Рональд Рейган вступил на свой пост, и на 12 миллионов больше, чем в 1973 году, при Ричарде Никсоне. Это — официальные данные, которые, как всегда, значительно ниже реальных. Говоря о людях, живущих в бедности, следовало бы приводить цифру 45 миллионов (каждый пятый), пишет журналист Роберт Дж. Кайзер в газете «Вашингтон пост», поскольку бедняком считается лицо, не имеющее возможности удовлетворить свои собственные нужды и нужды семьи, прокормить себя, лечиться и жить в приличных условиях.

Такое положение вещей, по-видимому, вовсе не беспокоит президента Соединенных Штатов. После перевыборов он стремится проводить прежнюю политику. О сокращении чудовищного военного бюджета — боже упаси!— не может быть и речи. Как не может быть и речи о посягательстве на прибыли компаний посредством повышения их налогов. Вместо этого Рональд Рейган наметил ряд новых сокращений в программе социального обеспечения. Она и без того была невелика, но все же в течение многих лет выполняла роль клапана, предохраняющего от взрыва недовольства обездоленных.

В 1977 году Джимми Картер уже выдвигал аналогичные предложения по сокращению фондов социального страхования, по его утверждению, слишком обременительных для государства. Рональд Рейган претворил этот план в жизнь и пошел еще дальше. В своем послании о положении страны в январе 1983 года он особенно ополчился против «растранжиривания продуктовых талонов», тех бесплатных талонов на основные пищевые продукты, которыми пользуется каждый десятый американец. Ратуя в той же самой речи за увеличение военных расходов на 14%, президент, нимало не смущаясь, объяснил, что одной из главных причин бюджетного дефицита является не что иное, как предоставление бесплатной пищи беднякам и другие виды «неконтролируемых расходов» на социальные нужды. Он, разумеется, пообещал навести здесь порядок.

Свою политико-экономическую «модель» президент Соединенных Штатов совершенствует, штудируя труд Джорджа Гилдера «Дух предпринимательства», который, по словам самого Рейгана, стал его настольной книгой.

По Гилдеру, у истоков всех зол стоит «государство-покровитель». Оказание материальной помощи слабым и обездоленным, проповедует он, вредно для общества в целом. Напротив, нужно блюсти «естественные законы» конкуренции для того, чтобы бремя нужды заставляло их самих думать об улучшении собственной участи.

Только так, перешагивая с одной ступеньки на другую, они в конце концов сумеют улучшить условия своей жизни и присоединиться к средним слоям населения. Государственная помощь в виде продовольственных талонов, медицинского обслуживания по сниженному тарифу и пособий нуждающимся антиэкономична и одновременно аморальна, ибо создает легкую жизнь для лентяев, поощряя тех, кто предпочитает как можно дольше оставаться на положении бедняков, лишь бы не утруждать себя поисками работы.

К этим, до удивления примитивным, суждениям Рональд Рейган добавил свою «нравственную» идею, которая должна была привлечь на его сторону американцев, особенно чувствительных ко всякого рода этическим и религиозным «проповедям».

«Программы социального обеспечения,— подчеркнул он,— могут с течением времени лишить американцев возможности быть безмерно щедрыми и удовлетворять потребность в благотворительности, которая всегда составляла гордость нации». Иными словами, если государство возьмет на себя заботу обо всех бедняках (до этого, правда, еще далеко), частная благотворительность окажется ненужной, и какая же это будет потеря для сострадательных душ!

В течение первого президентского срока Рейгана социальные расходы были урезаны более чем на 110 миллиардов долларов. Президент хотел довести их до 150 миллиардов, но получить одобрение конгресса ему не удалось.

Драконовские меры вылились в катастрофическое сокращение ассигнований на образование, здравоохранение, помощь ветеранам войны, урезывание пенсионных фондов, пособий по безработице и наиболее явно проявились в новых

ограничениях, связанных с оказанием помощи малоимущим. После того как эти решения были приняты, миллион американцев лишился права вообще получать «продуктовые талоны», а четырем миллионам выдают лишь часть того, что им полагалось прежде. У 725 000 семей, не имеющих средств к существованию, но обремененных детьми (таких семей в США 3,5 миллиона) были отняты пособия, что не могло не отразиться на судьбе по меньшей мере 1,5 миллиона детей.

Во время одной из передач телекомпании Эй-би-си, названной «С добрым утром, Америка!», был затронут вопрос о том, что сотни тысяч американцев вынуждены жить и ночевать на улицах или в парках; журналисту отвечал Рейган.

Ответы его наглядно продемонстрировали, насколько президент уверен, что совесть у него чиста. «Эта проблема,— сказал он,— всегда существовала в нашей стране, даже в самые счастливые времена, но сегодня мы придаем ей больше значения. Люди спят на улице, на решетках метро. Эти люди не имеют крыши над головой потому, что сами сделали такой выбор...» Иначе говоря, люди эти оказались вне общества, и даже то малое, что для них делается,— уже благо, поскольку в большинстве случаев они сами «выбрали» свою судьбу.

Кто же в свободной стране может заставить их жить в комфортабельных квартирах? Это не под силу даже самому президенту Соединенных Штатов!

В действительности же, «старые» и «новые» бедняки — это, как правило, люди, которые так и не сумели найти работу либо потеряли ее. В 1975 году пособие по безработице получали 75% ищущих работу. В 1982 году их было уже 45%.

«До того как в январе 1981 года меня уволили, я работал каменщиком на заводе «Юнайтед Стейтс стил»,— рассказывает Боб Боннер из Клэртона (штат Огайо).— В то время в компании насчитывалось 4900 человек. Сегодня осталось всего 400. Я уже давно потерял право на пособие по безработице, но мне отказывают и в социальной помощи, и в продуктовых талонах. Это из-за того, что у меня есть автомобиль. Чтобы получать социальную помощь, нужно доказать, что ничего на сумму свыше 1000 долларов в личной собственности у тебя нет. Мой «форд» стоит дороже. Следовательно, мне надо было бы продать его, затем истратить вырученные деньги, и тогда я получил бы право на вспомоществование. Но ведь без машины я не смогу выполнять мелкие частные заказы, которые иногда подворачиваются. А для меня это единственная возможность заработать несколько долларов. Без машины я не смог бы даже искать работу. А если бы чудом и нашел где-нибудь место, то как туда добираться?.. Уехать отсюда? Я думал об этом, но у меня жена и двое ребятишек. Мне уже пришлось расстаться со своим жильем. Нечем было платить за квартиру. Мы все вчетвером переселились к моим родителям. Ну, а если бы мне вздумалось попытать счастья и уехать в Техас или Калифорнию — хотя нет никакой уверенности, что там для меня найдется работа,— по крайней мере на первое время нам понадобились бы деньги, которых у меня тоже нет. Только на жилье нужно 300—500 долларов в месяц... Нет, я думал о том, чтобы уехать, но это нереально».

У Боба Боннера есть семья и крыша над головой, и он может изредка «зашибить» несколько долларов. Этот человек не в самом отчаянном положении. Те же, у кого не осталось никаких источников дохода, стоят в очереди за бесплатным супом у пунктов раздачи, организованных по всей стране религиозными общинами, которые собирают для этих целей пожертвования и получают деньги и продукты от государства и различных частных организаций. Оказание помощи через посредничество благотворительных организаций также является для администрации хорошим способом защиты от возможных волнений среди облагодетельствованных. Разве станешь выступать против тех, кто добровольно помогает тебе переносить испытания? Однако в Бруклине, во время распределения порций сыра (те, кто получает этот «товар» бесплатно, с иронией называют его «Reagan cheese» — «рейгановский сыр»), среди сотен ожидавших своей очереди, оказался один безработный, который, видимо не в силах вынести такое унижение, размахивал плакатом, где было написано: «Рейган! Дай мне работу, и я сам куплю себе сыра».

На окраине Вашингтона, неподалеку от Нью-Йорк авеню и О-стрит, начинается неспокойный квартал. Около домов с серыми облупившимися стенами и зарешеченными окнами, придающими им сходство с тюрьмой, топчутся несколько оборванных, грязных бородатых бездельников, подозрительно поглядывающих на прохожего-иностранца. Все здесь выглядит мрачно. Вплоть до «Кентакки фрайд чикен»— приютившейся у бензоколонки одинокой закусочной, которая играет роль крепости, охраняющей ее от грабителей. Повар и кассирша отгорожены от покупателей пуленепробиваемым стеклом. Порцию жареного цыпленка передают клиенту через окошечко, но только после того, как через то же отверстие получили деньги. На улице стоят пять — семь столиков, большая часть — без крышек. Столики деревянные, и крышки, вероятно, были использованы в качестве топлива жильцами, самовольно занявшими многие полуразрушенные дома в округе.

Именно в этом квартале и открыла свое отделение католическая ассоциация «SOME» («So Others Might Eat»)— «Чтобы другие могли поесть».

Брат Джеймс Олбрайт из «Санта-Крус конгрегейшнл чёрч»— тридцати лет, рыжеволосый и светлоглазый, как и подобает ирландцу,— работает здесь вме-

сте с другими священниками и монахинями. Отделение одновременно служит приютом для бездомных (здесь их называют «street people» — «люди, живущие на улице»: с января по март 1984 года на улицах Вашингтона замерзло тридцать человек); диспансером (два врача приходят сюда давать консультации, а студенты-стоматологи удаляют и лечат зубы) и душевой. Но главная функция «SOME» — каждый день раздавать двести завтраков и триста обедов группам по семьдесят — семьдесят пять человек. Различные религиозные (католические и иные) организации по определенным дням привозят сюда уже готовую еду.

«Я работаю в этой ассоциации с 1983 года,— рассказывает Джеймс Олбрайт,— и вижу, что бедняков, которые приходят сюда и просят покормить их, становится все больше, а по возрасту они все моложе. Прежде это были в основном пожилые люди, а еще бродяги. Их всегда было порядочно, но теперь в очередях все больше попадаются сорокапятидесятилетние. Они в самом расцвете сил, но обнищали, видно, потому, что потеряли работу и не могут ее найти. Среди тех, кто к нам приходит, много больных. Нередки инфекционные заболевания, но особенно сильно наши подопечные страдают от язв на ногах. У большинства опухают ноги — оттого, что они все время стоят или ходят.

Многие, кому раньше не приходилось испытывать особых трудностей, скатываются на самое дно. Им уже никогда не выкарабкаться. Когда подходишь к ним, сразу чувствуешь — это люди конченые. С ними даже бесполезно заговаривать. Они и ведут-то себя странно. Получив тарелку, садятся за стол и едят, ни с кем не разговаривают, глядят прямо перед собой. Если рядом что-то происходит, начинается спор или раздаются крики, они даже головы не поднимут — словно находятся за много миль. А внутри у них накипает ярость.

На днях в столовой мы в этом убедились. Вы слышали о советнике Рейгана Эдвине Мизе? Во время одного из своих публичных выступлений в Белом доме он заявил, что Соединенные Штаты — земля, где каждый ест досыта. Неуместное заявление в стране, где миллионы людей страдают именно от голода. В связи с этим высказыванием завязалась полемика, и у одной из вашингтонских телекомпаний возникла идея приехать к нам и спросить у тех, кто приходит сюда поесть, что они об этом думают. Спросили, и пришлось репортеру и оператору убираться отсюда подобру-поздорову. Иначе их, наверное, линчевали бы. Я и не предполагал, что это может настолько разъярить людей, обычно казавшихся такими спокойными. Появление представителей телевидения жестоко задело их человеческое достоинство. Мало того, что никому в высших сферах никогда не было дела до того, что им негде переночевать и нечего есть, нашлись еще и такие, кому пришло в голову запечатлеть их падение — не для того вовсе, чтобы им помочь, а в своих политиканских целях. Они почувствовали себя презираемыми, оскорбленными и не захотели это терпеть...»

В большинстве американских городов сейчас имеются «soup kitchens» (кухни, где раздают суп для бедных). С каждым днем их становится все больше, но все равно не хватает, в частности в районах, которым особенно сильно досталось от закрытия заводов и безработицы.

В Чикаго с 1979 по 1984 год число людей, получающих похлебку для бедных, возросло в пять раз. Сегодня в городе работает более четырехсот пунктов раздачи бесплатного супа. «Такого за последние пятьдесят лет, со времени «Великой депрессии», еще не бывало. Чикаго столкнулся с суровой, непредсказуемой реальностью — безработицей и промышленным спадом,— писал в конце ноября 1984 года корреспондент «Вашингтон пост».— В любое время дня перед «soup kitchens» и у церковных дверей бедно одетые люди выстраиваются в очередь. Работники служб социальной помощи говорят, что потребность в бесплатной еде, особенно после того, как в прошлом месяце заметно похолодало, невероятно возросла».

Специальная комиссия, созданная мэром города Гарольдом Вашингтоном, в докладе, опубликованном в декабре 1984 года, подчеркивает, что «в Чикаго голод угрожает приблизительно 900 тысячам человек», или 30% населения, составляющего 3 миллиона,— то есть почти каждому третьему. «Унизительная, ужасная, бесчеловечная ситуация...— отметили члены муниципальной комиссии.— Как может допускать такое самая богатая страна в мире?..»

В другом своем выступлении перед комиссией конгресса Гарольд Вашингтон обратил внимание на то, что «примерно 25 000 человек в его городе живут подобно неприкасаемым в Калькутте, ночуют на улицах, в переулках, в брошенных автомашинах», и заявил: «Такое положение вещей является обвинительным актом против нас как нации...»

Чикаго в этом отношении не исключение. Подобная ситуация наблюдается в сотнях других более или менее крупных населенных пунктах. «В Филадельфии,— пишет сотрудник вашингтонского Института политических исследований Майкл Пэренти,— по утверждению одного социолога, люди умирают с голоду... В Детройте, по данным муниципалитета, от голода страдают 200 000 человек. В принципе треть жителей города имеет право на продуктовые талоны. Но из-за бюрократической волокиты, с которой они сталкиваются и которая на руку властям, талонами пользуются только 18% горожан. В штате Нью-Йорк миллион человек, крайне нуждающихся все в тех же продуктовых талонах, так и не сумели их получить».

Конечно, голод в американских городах не производит впечатления такого уж душераздирающего бедствия, как в

некоторых районах развивающихся стран. Но тем не менее он существует и в каком-то смысле может быть более мучительным для его жертв именно потому, что свирепствует в «стране изобилия». Голод или хроническое недоедание оставляют свой след, как бы ни сложилась дальнейшая судьба. 50% детей бедняков, например, отстают в учебе, а 5% рождаются умственно отсталыми из-за полуголодного существования матерей. Миллион американских детей страдает также мозговыми заболеваниями, вызванными недоеданием и крайней бедностью их семей.

Помимо детей особенно жестоко страдают в Америке пожилые люди. В результате рейгановской политики их пенсии опять сократились и они лишились ряда социальных благ, которыми раньше пользовались (сокращение на 26 миллиардов во время первого президентского срока). Более половины американцев в возрасте шестидесяти пяти лет и старше живут в крайней нужде и потребляют менее тысячи калорий в день, что приводит к постепенному истощению организма.

Каждой зимой множество больных стариков, не имеющих средств, чтобы заплатить за отопление, погибают от холода в своих промерзших комнатушках. В январе 1982 года в печати было сообщено о 280 таких смертях, но эта цифра, без сомнения, значительно меньше реальной, ибо о том, что голодающий старик замерз в своей комнате, сообщают далеко не всегда: ведь не ради такой информации читатель покупает газету. «Наше торгашеское общество,— писал один вашингтонский журналист,— относится к старикам как к изношенным автомобилям...»

При Рейгане беднякам стало еще труднее лечиться. В течение первых четырех лет его пребывания у власти было закрыто 239 оздоровительных центров, диспансеров и клиник, финансируемых государством, и одновременно толпы душевнобольных, которых до сих пор лечили в психиатрических лечебницах, были возвращены в русло «нормальной жизни». Речь идет, говорили еще во времена Картера, о проверке новых методов лечения, избавляющих больного от окончательного разрыва с обществом. На самом деле целью администрации было не столько поощрение новых методов лечения, сколько стремление любыми путями сократить «бесполезные расходы», невзирая на последствия. В результате тысячи душевнобольных, семьи которых не могут нести это бремя, поскольку не в состоянии обеспечить ни себя, ни их, очутились на улице брошенными на произвол судьбы.

Крупнейшая ассоциация американских психиатров подготовила в этой связи доклад, где категорически высказалась за принятие срочных мер. Ассоциация назвала эту ситуацию «величайшей социальной трагедией» и отметила, что число душевнобольных, которые бродят по городам Соединенных Штатов, достигает почти миллиона: «Практически нет ни одного городского или сельскохозяйственного района в стране, где бы не появлялись эти существа,— больные, в лохмотьях, бродят они по нашим улицам...»

В последнее время появилась новая форма торговли. Те, у кого нет ни работы, ни средств к существованию, могут заработать немного денег, продавая свою кровь в больницах. Но в обществе свободного предпринимательства закон спроса и предложения диктует цены и на этот товар. В больнице Денвера за сдачу крови стали платить семь долларов вместо восьми. «Бедняков теперь так много,— объясняет один «продавец» журналисту из «Нью-Йорк таймс»,— и все хотят продавать свою кровь...»

«Благонравный» фашизм?

Я рад сообщить вам, что только что подписал законодательный акт, который навсегда ставит Россию вне закона. Бомбардировка начинается через пять минут...

«Шутка» Рональда Рейгана перед микрофоном Си-би-эс и Эн-би-си (август 1984 г.).

Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность.

Шекспир. «Гамлет»

«А! Вы разыскиваете школу убийц? Я еду мимо, могу вас подвезти. Садитесь».

Тим Уилер, репортер газеты «Дейли уорлд», не верил собственным ушам. Школа убийц? О ее существовании говорят как о чем-то банальном, даже не заслуживающем особого интереса.

Уилер приехал собирать материал о серии убийств, совершенных в районе Атланты (штат Джорджия): убиты двадцать три чернокожих ребенка, мотивы преступлений так и остались невыясненными. Злодеяние расиста? Маньяка?.. Полиция отработала с десяток версий, но ни одна на след не вывела.

«В Атланте мое внимание привлекли рекламные плакаты каких-то группировок, призывающие каждого индивидуально готовиться к будущей «неизбежной» войне с Советским Союзом и «войне рас» — черные против белых,— которая одновременно начнется внутри страны. Вдохновители — ку-клукс-клан и другие крайне правые группировки,— объясняет мой собеседник.— Один из буклетов приглашает всех, кто с ним ознакомился, без промедления вступать в «группы выживания», где каждый может научиться, как, оставшись один на один с природой, «выходить из затруднительных ситуаций», отражать атаки «советских захватчиков» коммунистов, «черномазых» и других представителей национальных меньшинств, научиться «убивать, чтобы выжить» Все это — элементы подготовки к будущей ядерной войне.

И я подумал, не взбрело ли в голову одному из таких вот бешеных уже сейчас, на свой страх и риск, ввязаться в «войну рас», приступив к уничтожению негритя-

нских детишек. Один из главарей «групп выживания» проживал как раз в этом районе Атланты. Он давал интервью для Си-би-эс, на телевидении, его имя — Митчелл Ливингстон Уэрбел III — известно многим. Когда-то, еще до Октябрьской революции в России, его отец был атташе царского посольства в Вашингтоне, а затем нажил состояние на изобретении и коммерческой реализации английской булавки. Уэрбелу III его дворянское происхождение весьма импонирует, он любит называть себя «русским графом в изгнании». При этом он вовсе не скрывает — хотя это уже из другой области,— что является сотрудником американских секретных служб».

Политический кругозор Уэрбела не настолько широк, чтобы уместить факт прямой принадлежности газеты «Дейли уорлд» к Коммунистической партии США. Для него Тим Уилер был всегонавсего обыкновенным нью-йоркским журналистом, пожелавшим поближе познакомиться с тем, что представляют собой активисты «групп выживания».

«Что ж, приезжайте в таком случае в наш лагерь. Поговорите с моим заместителем, полковником Эдвардом Уэнделом, он будет ждать вас»,— сказал Уэрбел по телефону. Вот каким образом Тим Уилер — ему пришлось добираться туда автостопом — оказался у ворот лагеря «тех, кто желает выжить» (более известного в окрестностях под названием «школы убийц»), в десяти милях от Мариетты, крупнейшего центра военной промышленности и в первую очередь авиационных заводов «Локхид».

«Лагерь расположен прямо в поле. Настоящий военный поселок за решеткой, по которой пропущен электрический ток, и протянутой в несколько рядов оградой из колючей проволоки. Внутри — разнообразные постройки, над которыми развевается прикрепленный к длинному шесту незнакомый флаг,— государственную принадлежность его я установить не мог.

Обо мне докладывают по переговорному устройству, двери автоматически открываются, и я предстаю наконец перед полковником Уэнделом. Он сидит в своем кабинете в форме десантника, настроение у него приподнятое — чрезвычайно рад принять журналиста из Нью-Йорка, охотно расскажет о своей «работе». На стене — фотографии полковника, отснятые в разных «горячих точках» планеты. Самое видное место занимает фото, где «герой» стоит в окружении соратников из «грей скаутс»— группы наемников, завербованных в Африке. Это было, с гордостью повествовал полковник, когда он сражался на стороне родезийцев Яна Смита против «коммунистов «Зимбабве». В сопровождении Уэнделла Тим Уилер осмотрел всевозможные сооружения: гимнастические залы, где «ученики» овладевают приемами каратэ и другими видами спортивной борьбы, тиры, набитые винтовками, револьверами, автоматами, хранящимися в отсеках за металлическими решетками и дверями с электронным устройством. «Мы обучаем также и различным приемам бесшумного убийства,— рассказывал полковник.— С помощью специального оружия или самых простых приспособлений, вроде фортепьянной струны, которая используется для удушения жертвы. Если один из наших парней, уже прошедших подготовку, убьет кого-нибудь, гарантирую вам, что никто никогда не докопается, чья это работа...»

Во время «экскурсии» Тима Уилера ни на минуту не покидала мысль о погибших черных ребятишках, но он был на ложном пути. «Школа убийц» занималась проблемами покрупнее.

«Какая досада, что генерал Уэрбел не смог сам вас принять,— сетовал полковник.

— Генерал? Он — генерал?

— Да, генерал королевской армии Афганистана. А я полковник этой армии. Вы находитесь в лагере афганской королевской армии, а это — видите, вон там?— флаг королевства Афганистан...»

Тим Уилер подумал, не снится ли ему все это, как вдруг из-за поворота показался огромный лимузин и остановился посреди лужайки возле фешенебельной резиденции, воздвигнутой в стороне от военных корпусов.

— О, вам повезло! Вот и он! Позвольте вам представить...— Уэрбел уже вышел из машины.

Ну и персонаж! Маленький, квадратный, на голове ежик коротко остриженных волос, сигара в зубах, монокль и отменной работы трость с резным набалдашником из слоновой кости. Внутри трости — кинжал, который минутой позже, когда знакомство уже состоялось, Уэрбел продемонстрировал посетителю.

И снова — двери с электронным устройством, бесчисленные затворы. Незаметный, почти невидимый персонал.

Бесшумный роскошный дом, богато декорированный восточными коврами, картинами и дорогой мебелью. «Это мой «бункер»,— говорит Уэрбел, пропуская Тима в очередную комнату, оснащенную особыми системами безопасности. Стены комнаты почти доверху увешаны оружием самого разного образца и происхождения.— Вы здесь находитесь на моем командном пункте, специально построенном и оборудованном так, чтобы исключить проникновение тайных советских агентов и коммунистов»,— продолжал Уэрбел.

На одном из стендов, в качестве доказательства прекрасных отношений хозяина дома с «элитой» американской армии,— множество фотографий высших военных чинов с автографами («Моему другу Митчу!»). Чтобы произвести еще большее впечатление на посетителя, Уэрбел, нажав на кнопку, обращается к своей секретарше: «Ева! Соедините меня с генералом Синглаубом...» Этот человек в свое время наделал много шума. Бывший командующий американскими вооруженными силами в Южной Корее Джон А. Синглауб воспротивился принятому Картером решению о выводе оттуда части американских войск. За отказ подчиниться приказам Белого дома

он понес наказание — был отстранен от командования. С той поры генерал Синглауб приобрел заслуженную репутацию «ястреба», решительного противника разрядки, ярого приверженца политики с позиции силы, цель которой — «искоренять коммунизм». Синглауб, не раздумывая, отправился на помощь никарагуанским «контрас», которых ЦРУ оснащает, содержит и обучает для борьбы с сандинистским правительством. Судя по телефонному разговору, Уэрбел был доверенным лицом Синглауба.

«Мне приходится много заниматься Афганистаном,— Уэрбел вновь обращается к Тиму Уилеру.— Собственно говоря, я возглавляю разведывательные службы королевской армии, постоянно поддерживаю контакт с королем...

— С королем?

— Да, с королем, он находится здесь. Хотите повидаться с ним?— спрашивает Уэрбел, нажимая на кнопку, затем кричит в аппарат:— Ева! Поищите королевское высочество и скажите, чтобы он поднялся сюда...» Через несколько минут в «бункер» пропустили высокого смуглого человека с хорошими манерами.

«Высочество, представляю вам нью-йоркского журналиста, интересующегося нашими делами»,— произнес Уэрбел, не выпуская сигары изо рта.

Прибывший счел своим долгом объяснить журналисту, что он еще не коронован. И что только надеется на это. Он всего лишь наследный принц, сын свергнутого в 1973 году короля Мухаммеда Захира. Но, будучи «борцом за свободу», он, когда позволят обстоятельства, готов занять трон, чтобы служить своему народу. А пока вместе со своим хозяином, господином Митчеллом Ливингстоном Уэрбелом, и другими американскими друзьями он чем может помогает своим соотечественникам, афганским «борцам сопротивления». К несчастью, значительная часть того, что им посылают в виде помощи, оседает по пути — в Пакистане. «Этот Зия (президент Пакистана)— просто-напросто вор!— изрекает, побагровев, Уэрбел.— Хорошо еще, что денег нам хватает».

А когда Уилер простодушно спросил, откуда они берутся, Уэрбел ухмыльнулся краешком рта и, подмигнув, ответил: «Наркотики! Они снабжают нас таким количеством денег, какое нам требуется!»

Приключение, приведшее журналиста из «Дейли уорлд» к открытиям, на которые он вовсе не рассчитывал, многое проясняет. Эти страшноватые упыри, эти деятели из «групп выживания» по святившие свою жизнь хлопотам о будущем конце света, обучающие убивать, не оставляя следов, эти генерал и полковник призрачной армии, так же как и претендент на столь же иллюзорный престол, затеяли игру далеко не безобидную. Серьезную угрозу таит не столько то, что какой-то там Митчелл Ливингстон Уэрбел III играет в войну на территории своих владений, сколько то, что он поддерживает постоянные связи с высшими чинами Пентагона и администрацией Рейгана. В их глазах он не опасный «маньяк», за которым нужен глаз да глаз, а «подлинный американский патриот», который в Афганистане и других районах мира вносит свой вклад в крестовый поход против «красных».

Однако правые «ультра» не имели бы особого веса, если бы от их имени выступали только личности вроде Уэрбела и «лидеров», ему подобных, кои, зачастую при содействии агентов ФБР, вдохновляют на подвиги ратные неофашистов — от ку-клукс-клана до нацистской партии,— включая все группировки и ассоциации, выдвигающие на первый план воинствующий антикоммунизм, расизм и психологическую подготовку к ядерной войне. Сеть правых экстремистов значительно шире, они пользуются поддержкой в самых высоких сферах. Лично Рональд Рейган — хотя он и попытался из тактических соображений сохранить определенную дистанцию между собой и некоторыми компрометирующими его сторонниками — демонстрирует им при случае свою симпатию. Например, он не преминул обратиться с теплым приветствием к «весьма представительной» ежегодной конференции «Всемирной антикоммунистической лиги», состоявшейся в Сан-Диего в сентябре 1984 года.

Там присутствовало триста делегатов, прибывших примерно из ста стран, «сливки» фашистских организаций всего мира. Нацисты, уцелевшие после разгрома гитлеровского рейха, неофашисты, воинствующие расисты, «черные» террористы всех мастей собрались, чтобы обсудить, как эффективнее «противостоять распространению коммунистического влияния в мире» В числе иностранных делегатов были Адольфо Кардера, главарь «Демократического фронта Никарагуа»— при поддержке советников, оружия и денег ЦРУ он воюет с сандинистским правительством; Марио Сандоваль Аларкон, главарь эскадрона смерти «Белая рука», действующего в Гватемале, убийца крестьян, пользующийся покровительством ЦРУ, и родственник Роберто д'Обюиссона, прославившегося аналогичными «подвигами» в Сальвадоре. Присутствовали также «делегаты» от Южного Вьетнама, бывшие агенты проамериканских диктатур Нгуен Ван Тхиэу и Нгуен Као Ки, наемники из Мозамбика и Анголы, союзники Южной Африки в борьбе против их собственного народа, афганские «борцы сопротивления», представители антикубинской террористической организации «Альфа-66». Самой многочисленной, разумеется, была делегация Соединенных Штатов. Ее возглавлял генерал-майор Джон А Синглауб (друг «генерала» Уэрбела), президент «Американского совета за свободу в мире», влиятельное лицо в «Американском совете безопасности» который превратился в один из мозговых трестов военно-про-

мышленного комплекса. Среди его членов — немало представителей транснациональных корпораций, агентов ЦРУ и офицерских чинов, оказавшихся не у дел или в отставке. Главной и нескрываемой целью этой основанной в 1955 году маккартистской организации было преследование «прокоммунистически настроенных» или подозреваемых в этом американцев. Организация не пренебрегала никакими средствами и уже с 1962 года давала понять, что в ее картотеке числится миллион человек.

В той же американской делегации — люди из близкого окружения президента, такие как богатейший сенатор-республиканец от штата Северная Каролина и оголтелый глашатай правых экстремистов в Капитолии Джесси Хелмс, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Стром Тэрмонд, бывший министр морского флота Чарльз Эдисон, бывший заместитель директора ЦРУ и личный советник Рональда Рейгана Рей Клайн, другой советник президента и главный редактор «Нэшнл ревью» Уильям Бакли видный деятель организации «Новые правые» Ричард Вайгери, связанный совместными финансовыми операциями с преподобным Муном и руководимой им сектой «Унификационная церковь». И наконец, не менее влиятельный основатель «Американской антикоммунистической еврейской лиги» Марвин Либман, не пренебрегающий сотрудничеством с бывшими нацистами.

Этому-то «достопочтенному ареопагу» и было адресовано встреченное бурными аплодисментами послание президента Соединенных Штатов

Долгое время либералы и левые не принимали всерьез активную деятельность более или менее крупных группировок правых экстремистов фашистского толка. Им казалось, что у правых почти нет шансов на то, чтобы занять видное место на американской политической арене. Сегодня они думают иначе, и многие задаются вопросом, не удалось ли ультраправым группировкам (до последних лет разрозненным и слабым) благодаря поддержке Рональда Рейгана «разложить изнутри» республиканскую партию и в значительной мере навязать ей собственные тезисы. А ведь именно это обнаружилось на съезде республиканской партии в Далласе в июле 1985 года.

Хотя в телевизионных репортажах этот съезд и пытались представить как обычную многолюдную ярмарку с участием делегатов в соломенных шляпах, скандирующих имя своего кандидата на фоне воздушных шаров, конфетти, флагов и хорошеньких участниц парада в военной форме, он оказался сборищем, на котором прозвучали такие реакционные и воинственные речи, каких уже давно не было слышно. Одновременно это был и личный триумф политиканов крайне экстремистской ориентации. Выставляя себя, каждый на свой лад, защитниками Америки и ее «традиционных» — семейных, религиозных и патриотических — ценностей, они размахивали все теми же старыми жупелами «красной опасности» и «советской угрозы».

«Правые экстремисты, во главе которых стоят лица, настроенные профашистски, стремятся внедрить свои концепции в наш политический обиход...— отмечает генеральный секретарь Коммунистической партии США Гэс Холл.— Эта угрожающая нам опасность со всей очевидностью обнаружилась во время съезда республиканской партии. Мы убедились в том, что на политическую сцену выходит разнородная, но сплоченная и дисциплинированная коалиция крайне правых сил. Она уже почти узаконена, хорошо организована и пользуется солидной поддержкой. Эта прослойка в сущности подмяла под себя республиканскую партию...»

В период президентства Рональда Рейгана составляющие ее организации — «институты», «комитеты политического действия», «дискуссионные клубы» и всякого рода лобби — размножились и разрослись, как грибы. Иные группировки приобрели такое влияние, что могут прямо воздействовать на правящие круги и официальный политический курс. Все они сходны в одном: их щедро финансируют транснациональные корпорации и заправилы «большого бизнеса», которые даже в своем кругу заслужили репутацию «душителей профсоюзов» внутри страны и «ястребов» — во внешней политике. Можно себе представить, сколь щедрые подношения достаются этим организациям от подобного рода покровителей, если, к примеру, один лишь «Американский предпринимательский институт» располагает бюджетом порядка нескольких миллиардов долларов.

Финансовые магнаты, поддерживающие группировки «ультра», долго прятались в тени, избегая афишировать связи, разоблачение которых могло повредить «бизнесу». С приходом в Белый дом Рональда Рейгана правые экстремисты снова стали «респектабельными» и прежнюю «застенчивость» сегодня почитают уже излишней.

Самое красноречивое свидетельство произошедших перемен — ошеломляющий взлет организации «Херитидж фаундейшн» («Фонд наследия»), созданной в 1973 году миллиардером Джозефом Курсом (фирма «Пиво и другие напитки») и его другом Полом Уайричем

До 1980 года «Фонд» в основном разрабатывал «классические» сюжеты — защита Америки от «советской угрозы» и «подрывная деятельность коммунистов»,— и считался группировкой, не имеющей реального политического веса. При Рейгане «Фонд наследия» утвердил себя в общенациональном масштабе, особенно после опубликования внушительной политической программы, состоящей из двадцати томов — три тысячи страниц текста, разработанного «мозговым трестом» из двухсот пятидесяти человек! (Текста, скромно озаглавленного: «Ман-

дат на власть — политика управления в консервативном правительстве»).

Во внешнеполитической области авторы программы выдвигают на первый план необходимость проведения политики с позиции силы, которая обеспечила бы Соединенным Штатам мировое господство и — благодаря созданию мощной военной машины — превосходство над СССР. Во внутренней политике они рекомендуют отменить постановления и законы, ограничивающие права и полномочия политической полиции и специальных служб, занятых сбором информации о гражданах страны. Помимо прочих мер они предлагают возродить при конгрессе «комитеты по обеспечению внутренней безопасности», наподобие существовавших в эпоху маккартизма недоброй памяти «комиссий по расследованию антиамериканской деятельности».

«Когда речь идет о нуждах национальной безопасности и поддержании порядка, заботы о свободе личности отступают на второй план»,— гласит текст программы. Авторы предлагают Рональду Рейгану констатировать наличие в США подрывной деятельности и указать на «антиамериканский» характер всякого инакомыслия.

Эту программу сразу после ее появления приветствовал близкий друг и советник Рональда Рейгана, министр юстиции США Эдвин Миз. Тем самым «Фонд наследия» как бы получил определенный официальный статус. Закрытый, предназначенный только для узкого круга, этот клуб миллиардеров таким образом превратился в могущественный и активный аппарат политического давления; его связи с Белым домом, Пентагоном и республиканской партией сегодня уже ни для кого не секрет. В 1984 году на счет «Фонда» поступили денежные вклады от 122 000 разных лиц и компаний. В числе последних: «Чейз Манхэттен банк», нефтяные компании — «Мобил ойл», «Сан ойл», «Галф ойл»; «Банк Меллон», «Флюор корпорейшн», «Ридерс дайджест» и восемьдесят других фирм, которые фигурируют среди пятисот самых крупных американских предприятий, если судить по справочной таблице, составленной журналом «Форчун».

«Обращать в свою веру» Рональда Рейгана не понадобилось — все его поведение показывает, что установки «Фонда наследия» уже давно соответствуют его собственным. В числе «перлов» президента — из тех, что, несомненно, сохранятся в анналах истории,— высказанное им сожаление по поводу того, что американские добровольцы из «бригады Линкольна», во время гражданской войны в Испании сражавшиеся на стороне республиканцев, оказались-де «не на той стороне», или такая акция, как поклон могилам эсэсовцев на кладбище в Битбурге в день сорокалетия победы над гитлеровской Германией. Такие «жесты» не назовешь досадными промахами государственного деятеля, введенного в заблуждение, как это пытались представить для оправдания президента его защитники во Франции и других странах. Речь идет о поступках рассчитанных ..

Верховный суд с поразительной готовностью предоставил в распоряжение администрации Рейгана легальные средства для наступления на социальные права. В результате под угрозой оказались не только завоевания борцов за гражданские права, выступавших против различных форм сегрегации, но и прежние достижения профсоюзных активистов, так же как и некоторые из считавшихся незыблемыми правовых принципов. Верховный суд постановил, в частности, что добытые не по форме свидетельские показания (иначе говоря — без оформленного по закону документа, с применением угроз или силы), которые до сих пор нельзя было использовать против обвиняемого, впредь разрешается официально принимать к рассмотрению на судебных процессах, «если они могут способствовать выяснению истины». Рональд Рейган одобрил это решение как «особенно своевременную и полезную законодательную акцию». Шефы различных полицейских ведомств со своей стороны восторгались сим постановлением, которое, признавались они в интервью журналистам, позволит им «работать свободнее».

По закону, принятому в 1972 году, школы и университеты, допускающие какую-либо форму дискриминации по отношению к представителям национальных меньшинств, ни при каких условиях не могли рассчитывать на государственную помощь. Верховный суд, с одобрения президента, пересмотрел этот установленный порядок. С января 1985 года эти учебные заведения вновь стали получать государственные ассигнования. Иначе говоря, курс на скрытую «десегрегацию», которую проводят правые экстремисты, получил полную поддержку.

Тот же смысл имеет и другое постановление, принятое в июне 1984 года: в случае сокращения штатов, указано в нем,— программы «положительного действия» (то есть обязательного приема на работу определенного числа рабочих, представляющих национальные меньшинства) могут быть отменены, а предприниматели освобождены от их выполнения. Это означает, что на любом предприятии, испытывающем затруднения или по какой-то иной причине сокращающем штаты, чернокожие, принятые на работу позже других, могут быть, как в самые суровые времена узаконенного расизма, уволены первыми.

Чрезвычайно реакционную позицию администрация Рейгана заняла также по отношению к женщинам, чье положение в американском обществе — вопреки расхожему мнению — совсем незавидно. По данным министерства труда на 1980 год, при равной квалификации и служебных обязанностях заработок белых женщин составляет лишь 60% жалованья мужчин, у негритянок — 54%, у латиноамериканок — 49%. Неравенство

в сфере образования, при найме на работу или продвижении по службе проявляется и во многих других формах. Женские прогрессивные организации постоянно разоблачают подобную дискриминацию. В ноябре 1983 года под их давлением в палате представителей в очередной раз рассматривался проект закона об уравнении женщин в правах с мужчинами. Под давлением Рейгана и его сторонников проект был отклонен 278 голосами против 147. Следовательно, хозяева, как и прежде, будут платить своему женскому персоналу заниженное жалованье.

Даже не дожидаясь официального вступления в должность президента на второй срок, Рональд Рейган поставил на голосование в конгрессе ряд репрессивных законов. Под удобным предлогом борьбы с терроризмом эти законы позволяли ограничить основные свободы всех граждан и предоставляли властям новые возможности для наступления на тех, кто частично или полностью не согласен с их политикой. Эти шесть законопроектов («биллей») во время их обсуждения в конгрессе вызвали немало нареканий. В ходе дискуссий (сентябрь — октябрь 1984 года) сенатор-демократ от штата Огайо Говард Метценбаум, критикуя один из «биллей», предоставлявший государственному секретарю право решать, кто «террорист», а кто нет, указывал, что подобный проект закона «возвращает назад, в эпоху маккартизма». Тексты всех этих законов, с их намеренно расплывчатыми формулировками могут в случае необходимости послужить основанием для новой «охоты на ведьм». «Понятия национальной безопасности и национальных интересов сформулированы в них крайне туманно,— отмечает один из руководителей «Национального союза борьбы против расистских и политических репрессий». Настолько туманно, что любое публичное проявление солидарности с теми, кто борется против вмешательства Вашингтона в Чили, Никарагуа, Южной Африке или на Ближнем Востоке, может квалифицироваться как террористическая акция. Дополнительный «билль» предусматривает выдачу вознаграждения (его размеры достигают 500 000 долларов) информатору, помогающему аресту «террористов» и «заговорщиков». Легко можно представить, какую обстановку доносов и ложных обвинений способно породить введение подобных законов.

Один из «биллей» предлагал поправку к закону о свободе информации. В соответствии с новым текстом закона цензуре может быть подвергнута любая информация, касающаяся терроризма и расследований террористических акций. В действительности ограничения свободы прессы и информации, которые Белый дом оправдывает стремлением обеспечить национальную безопасность, распространились на чрезвычайно широкую сферу. «Правительство Рейгана обещало ограничить государственное вмешательство в область информации и средств связи, но с тех пор как в 1981 году Рональд Рейган стал президентом, давление властей становится все ощутимее,— отмечает Мари-Франс Туане, научный сотрудник «Американского политического фонда».— Так... сократились встречи журналистов с правительственными чиновниками; ограничен доступ к официальным документам; ужесточилась процедура засекречивания (top-secret), шире практикуется использование детекторов лжи, подвергаются цензуре выступления нынешних и бывших государственных служащих; органы безопасности все тщательнее проверяют анкетные данные на крупных государственных деятелей...»

Наступление реакции «по всем направлениям» получило поддержку со стороны наиболее фанатичных религиозных сект и групп, в первую очередь — так называемых «фундаменталистов», кои неукоснительно придерживаются буквы Священного писания. Одной из наиболее заметных фигур здесь является Джерри Фолуэлл (группа «Моральное большинство»), которому ничего не стоит, положив руку на библию, во всеуслышание объявить, что американское общество и система свободного предпринимательства божественны по своей природе: «Честолюбие и успех в делах ясно определены (согласно библии) как элементы плана, разработанного богом для своего народа...»

Однако более опасным является, пожалуй, тезис Фолуэлла и его последователей о том, что ядерная война предсказана в Священном писании и потому неизбежна. Речь идет (Апокалипсис, глава 16) о «семи чашах гнева Божия», вылитых семью ангелами для того, чтобы, когда придет время, посеять болезни, огонь, смерть и тьму на воде и на суше и собрать на брань с одной стороны Вавилон и его союзников, нечистых царей всей вселенной, с другой — воинство небесное в месте, называемом по-еврейски Армагеддон. Апостол Иоанн увидел, как «жег людей сильный зной... и сделалось царство его мрачно... и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле...»

Своим последователям Фолуэлл объясняет, что «придет время» (и придет скоро, судя по тому, как он интерпретирует другие места Священного писания), когда «чистые», где бы они ни находились — дома ли, в рабочем ли кабинете, на заводе, на улице, в машине, в самолете или в поездке,— подхваченные вдруг какой-то волшебной силой, воспарят в небо, а «нечистые» и злые (для тех, кто не понял, поясним: это Советы и их союзники, коммунисты и неверующие) погибнут во вселенской катастрофе. Зато после наступит тысячелетнее царство божие на земле.

Подобным бредням не стоило бы уделять внимания, если бы сам Рональд Рейган в некоторых своих высказываниях не намекал, что отнюдь не счи-

тает абсурдными эти нагнетающие страх пророчества. Он даже ссылался на них в своих публичных выступлениях и частных беседах. Журналисты Ронни Даггер и Джо Куомо подсчитали, что президент США одиннадцать раз в разных обстоятельствах упомянул о том, что «битва при Армагеддоне» не за горами «Видите ли,— признавался, например, Рональд Рейган в интервью корреспонденту «Джерузалем пост»,— я все чаще думаю о библейских пророках и о знамениях, предвещающих Армагеддон; может быть, именно нашему поколению суждено увидеть воочию, как сбываются эти пророчества».

Отсюда всего один шаг до рассуждений о том, что, коль скоро катастрофа «предначертана», лучше уж покончить со всем этим как можно скорее, тем более что «после победы» наступит эра «тысячелетнего блаженства».

В ноябре 1984 года, за несколько дней до завершения предвыборной президентской кампании, около ста религиозных деятелей — среди которых был католический епископ Томас Гамблтон,— собравшись в Вашингтоне, заявили на пресс-конференции о своей глубокой тревоге: высокопоставленные политические деятели «уподобляются экстремистам, считающим, что ядерная война неизбежна и неотвратима» и «замирение с противниками Америки, по сути, пустая затея».

Высмеивая «фундаменталистскую» трактовку Священного писания и разоблачая бред Джерри Фолуэлла, А. Беркли Микелсен, профессор теологии из Миннесоты, подчеркнул, что не следует отождествлять «апокалипсические пророчества и научные предвидения», и закончил свое выступление шуткой: когда «Христос окончательно вернется на землю, он может обнаружить немало людей, застигнутых врасплох...»

«Какая глупость! Несусветная глупость! У нас такое никогда не случится. Это невозможно. Мы — свободная страна!» — восклицает один из героев романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно». Обсуждался вопрос, может ли фашизм победить в США. Шел 1936 год.

Тот же вопрос задают сегодня левые и либерально мыслящие американские интеллектуалы. Один из них, бывший советник президента Рузвельта и профессор политических наук Нью-Йоркского университета Бертрам Гросс, в книге «Добродушный фашизм» тоже отмечает, что этого еще не произошло, но опасный процесс уже начался и к победе фашизма может привести

Во Франции, где, по крайней мере сейчас, большинство политических деятелей и правого и левого толка воспевают добродетели рейгановской Америки — этой «модели для просвещенных наций», «западного бастиона защиты прав человека и свободы»,— один лишь намек на то, что такое может случиться, воспринимается как чудовищное святотатство. И все же...

И все же черные тучи, которые все сильнее сгущаются на американском небосклоне, заставляют задуматься о будущем этой «демократии для немногих», где богатые с каждым днем становятся богаче, а бедные — беднее. По сей день эта демократия наилучшим образом служила интересам господствующих слоев.

Новые репрессивные законы, которые изобретает администрация Рейгана, заранее предусмотревшая даже строительство десятка концентрационных лагерей для «иностранцев» и «подрывных элементов», о чем в апреле 1984 года рассказала одна вашингтонская газета (речь идет о проекте «Rex 84»), и растущее влияние правых экстремистов, носителей фашистствующих идей, свидетельствуют о том, что времена меняются, хотя инициаторы этих перемен по-прежнему продолжают разглагольствовать о «демократических ценностях» и «американском идеале»: поистине этому «фашизму по-американски» нет нужды копировать прежние модели.

При этом самыми опасными врагами американских свобод являются вовсе не те маленькие группировки, что открыто признаются в своей приверженности фашизму. «Видеть в них главную опасность,— пишет Бертрам Гросс,— то же самое, что верить, будто история может повториться, даже не меняя своего обличия... Настоящая опасность — в глухих раскатах грома, который, явно приближаясь, доносится со стороны сплоченных рядов изысканно одетых активистов, выпускников высших школ, прячущих свой правый экстремизм под маской респектабельности и хорошего воспитания».

Эту опасность разглядели и американские коммунисты, весьма жестоко пострадавшие во времена «охоты на ведьм». «Когда говорят о фашизме, то чаще всего имеют в виду систему, напоминающую режимы Гитлера и Муссолини. Тогда как в Соединенных Штатах фашизм может обрести специфически американские черты,— отмечает генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл.— Правые экстремисты очень внимательно следят за тем, чтобы их антидемократические убеждения не бросались в глаза. Их заявления, действия, лозунги глубоко антидемократичны, но тщательно запрятаны в «упаковку» рассуждений об американских традициях и исторических параллелях. Псевдопатриотизм, постоянные призывы защищать и чтить национальное знамя — вот основные опоры этой демагогии. Именно такими средствами пользуются крайне правые круги, чтобы в обстановке созданного ими же шовинистического угара не допустить подлинного осмысления происходящего».

Зловещие толчки сотрясают здание американской экономики, обнажая глубокие провалы. Еще до того, как Рональд Рейган стал во второй раз президентом, большая группа специалистов, руководителей предприятий и политических деятелей во весь голос — увы, им

никто не внял — заявили об опасности, которой грозит огромный дефицит государственного бюджета и внешний долг, достигший к концу 1984 года астрономической цифры 1 600 миллиардов долларов. И этот долг растет с невероятной скоростью, а ежегодный дефицит теперь неизменно приближается к 200 миллиардам долларов. Только выплаты процентов по внешним долгам в 1984 году достигли более 110 миллиардов. Что превышает сумму национального бюджета Франции (995 миллиардов франков в 1985 году, или около 106 миллиардов долларов).

Оценивая сложившееся положение, президент Совета Федеральной резервной системы Пол Фолкер забил тревогу: «Мы оказались в невыносимой ситуации. Из крупнейшего в мире кредитора, каковым они были прежде, Соединенные Штаты превращаются в крупнейшего должника. Еще до конца 1985 года американский внешний долг превысит размеры долга Бразилии».

Довольно странное «оживление», основанное не на «внутренней жизнеспособности американского капитализма» и рейгановских гарантиях, а на миллиардных займах. Признание этого факта и позволило бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту заявить, что «оживление американской экономики в значительной мере оплачено другими народами», а генеральный директор Международного валютного фонда Жак де Ла Розьер заметил по тому же поводу: «Интересно, долго ли еще Соединенные Штаты при нынешних темпах развития смогут рассчитывать на иностранные капиталы».

В какие же сферы экономики вкладываются эти взятые в долг миллиарды долларов? Ответ прост: их поглощают фантастические военные расходы.

В течение трех последних десятилетий на эти чудовищные затраты уходит около 30 процентов государственного бюджета. Они являются основной причиной дефицита и перманентной потребности в новых займах. С 1946 по 1980 год общая сумма военного бюджета США достигла 5000 миллиардов долларов, что в три с половиной раза превышает расходы Соединенных Штатов во второй мировой войне.

«Маркс отмечал, что страна, расходующая деньги на войну — а сюда следует отнести все военные расходы,— просто-напросто выбрасывает часть своих богатств на ветер,— пишет американский экономист Эдвард Бурстайн — Стоимость богатств, выброшенных Соединенными Штатами на ветер после второй мировой войны, равна общей стоимости их основного капитала в объеме 1980 года. Таким образом, Соединенные Штаты выбросили на ветер все свои заводы, все шахты, железные дороги, жилые дома и служебные сооружения, все запасы товаров... На эти деньги можно было бы построить для каждой американской семьи дом стоимостью в 90 000 долларов. Можно было бы заново отстроить всю страну — от подвалов до чердаков...»

Хотя многие американцы готовы приветствовать военные операции, не требующие особого риска и больших затрат и не чреватые серьезными потерями в живой силе (такие, например, как высадка на Гренаде, представленная в виде «крупной победы» над коммунизмом), их не слишком воодушевляет участие США в авантюрах, которые могут породить новый Вьетнам. Еще большую сдержанность проявляют они в отношении глобальной политики с позиции силы, которая может привести к прямой конфронтации и ядерной пропасти.

Следуя рекомендациям штата советников, прекрасно осведомленных обо всех течениях в американских общественных кругах, Рональд Рейган, с момента прихода к власти не прекращавший ратовать за «жесткий» политический курс и многократно демонстрировавший свою приверженность духу «холодной войны» в отношениях с Советским Союзом, за несколько недель до голосования на выборах вдруг заговорил на другом языке. И человек, которого карикатуристы изображали в виде ковбоя с револьвером в руке и пальцем на взведенном курке, неожиданно превратился в «добряка—дедушку — который — думает — о — своих — внучатах — и — хочет — чтобы — они — жили — под — мирным — небом». Именно за такого Рейгана — перекрашенного и подлакированного лучшими специалистами «политической рекламы» — и проголосовали избиратели. За того Рейгана, у которого на самом деле совсем мало общего с подлинным Рейганом и «рейганомикой», какими они были во время первого его президентского срока.

Слова о мире — до и после выборов — не изменили основного направления американской политики: по-прежнему речь идет о достижении военного превосходства над Советским Союзом, в частности путем разработки и создания системы так называемой «стратегической оборонной инициативы» (то, что теперь именуют «звездными войнами»), которая обеспечит Соединенным Штатам преимущество первого удара и откроет дорогу для нового витка гонки вооружений.

Как видно, американское правительство не торопится перекрывать поток миллиардов, предназначенный на военные расходы. Не торопится прежде всего потому, что те, кто больше всего наживается на контрактах, заключенных с Пентагоном, оказывают все более заметное влияние на политические и военные решения.

Золотому дождю, который льется на транснациональные корпорации, занимающиеся производством военной техники, сопутствуют неслыханные масштабы разграбления государственных средств. Расследование, проведенное службами американских военно-воздушных сил, показало, в частности, что шесть из десяти главных поставщиков военной техники Пентагону получали за каждый рабочий час в 15—20 раз больше, чем полагается по среднему тарифу. При

этом разница — надо ли это уточнять? — в карман рабочих не попадала. Компании — подкомиссия сената, расследовавшая злоупотребления, не предала гласности их названий — продавали военно-воздушным силам США электрические кофеварки по 7622 доллара за штуку, а простые карманные фонарики — по 180 долларов. Рекорд побила компания «Дженерал дайнэмикс», продавшая партию плоских ключей, названных для такого случая «специальными», по 9606 долларов за штуку, хотя точно такие же образцы ключей в скобяных лавках стоят не дороже 12 центов. Еженедельник «Ньюсуик» подсчитал, что из 1600 миллиардов долларов, которые государство израсходует на военные нужды в ближайшие пять лет, 50 миллиардов будут «разбазарены». Но, как видите, набивать ими свои карманы будут далеко не все!

Чтобы выдержать бремя этих беспрецедентных расходов, Америка не прекращает делать займы за границей. В начале 1985 года «Интернэшнл геральд трибюн» писала: «Хотя за четыре года курс доллара повысился на 50 процентов, американские производители не могут поддерживать экспорт товаров на определенном уровне...»

Действительно, с конца 1980-го (когда заканчивался срок пребывания Картера на посту президента) до конца 1984 года дефицит американского торгового баланса увеличился в пять раз — с 24 миллиардов 300 миллионов до 125 миллиардов долларов. «Не только традиционные отрасли промышленности (сталелитейная, угледобывающая, автомобильная) приходят в упадок,— пишет Мари-Франс Туане,— весь основной промышленный комплекс США не смог преодолеть кризиса и перестроиться; исключение составляют лишь отрасли, напрямую связанные с выпуском военной продукции... В настоящее время американцы, вероятно, уже не смогут удерживать первое место в мире в сфере промышленности и выстоять в конкурентной борьбе... За последнее десятилетие Соединенные Штаты уступили позиции во всех отраслях, за исключением электроники, и их промышленный комплекс начинает отставать. Куда ни посмотришь, всюду — в деревообрабатывающей и строительной областях, сельхозтехнике, нефтепереработке, выпуске бытовых приборов, роботов, телевизоров, видеомагнитофонов и т. д. — страна снижает темпы». За этим упадком, вероятно, последуют новые, жестокие испытания для американского рабочего класса, и без того тяжело пострадавшего в последнее время.

Не удается удерживать экспорт в прежнем объеме и сельскохозяйственному сектору, также сбавляющему темпы: с 1982 по 1984 год продажа зерна и сои за границу снизилась на 20%, кукурузы на 23%. Самым ярким свидетельством этого спада является разорение сотен тысяч мелких и средних фермерских хозяйств. Большинство фермеров доверились Рейгану и голосовали за него. Но в тот момент, когда им понадобилась помощь, государство от них отвернулось и стало оказывать поддержку тем, кто посильнее, кто и сам смог бы переждать «бурю». Так же повело оно себя и в отношении банков, очутившихся в затруднении и разоряющихся один за другим.

Правительство позволяет гибнуть слабым и оказывает помощь сильнейшим, таким как банк «Континентл Иллинойс», который, будучи на грани краха в апреле — мае 1984 года, получил от государства «помощь» в размере четырех с половиной миллиардов долларов. Такая перекачка государственных средств, отвечающая интересам транснациональных корпораций, не мешает Рональду Рейгану и его «команде» выступать в роли сторонников «отделения экономики от государства» и «невмешательства государства» в экономику.

Однако этот принцип, по всей видимости, срабатывает только тогда, когда речь идет о мелких предприятиях и маленьких людях — разоренных фермерах, безработных, стариках, больных, отчаявшихся. Такова логика: пусть выживают сильные — они заслуживают помощи, что же до слабых — сами виноваты. Таков закон природы, и грешно было бы восставать против него, утверждают «социальный дарвинизм» и вдохновленная им «рейганомика».

«Соединенные Штаты так богаты, так могущественны, обладают столь мощными ресурсами, что, несмотря на все трудности, которые другим кажутся непреодолимыми, они найдут выход из сложной ситуации...» Таков вывод иных наблюдателей, не отрицающих серьезности экономического положения, сложившегося в рейгановской Америке, но не способных представить себе, что в один прекрасный день оно может оказаться за гранью допустимого.

Действительно, инерция может еще долгое время поддерживать на уровне тления сложившийся порядок вещей. Но в то же время совершенно очевидно, что трудности могут лишь нарастать — и в самой Америке, и как следствие в странах, которые продолжают на нее уповать.

Незадолго до того, как разразился кризис 1929 года, все американские экономисты и политические лидеры — за исключением нескольких «кассандр», которых никто и слушать-то не хотел,— излучали оптимизм. «В 1929 году, в начале своего президентского срока, Герберт Гувер заявил, так же как Рональд Рейган сегодня, что Америка устремилась вперед,— пишет политический обозреватель «Интернэшнл геральд трибюн» Уильям Стафф.— Новый президент говорил даже, что «видит время, когда с божьей помощью Соединенные Штаты полностью избавятся от бедности... Но,— иронизирует Уильям Стафф,— бог отказался с ним сотрудничать, и через полгода после того, как новый президент поселился в Белом доме, разразился кризис. В 1933 году, передавая свои

полномочия Рузвельту, Гувер сказал: «Мы исчерпали все средства». Свободный рынок продемонстрировал, насколько он может быть коварен... До тех пор пока необходимость выполнять военные заказы не обеспечила частичного процветания экономики в стране, попытки Рузвельта исправить положение ни к чему не приводили».

Америка и мир 80-х годов — не те, что в 30-х, а Рональд Рейган — не Герберт Гувер. Однако новый серьезный экономический спад вполне возможен. Если исключить вероятность ядерной войны, самоубийственной и для Соединенных Штатов, и для всего человечества, какой «новый курс» сможет в этом случае предложить американскому народу «Новый Рузвельт»? Не поддадутся ли в период острого кризиса искушению иные представители правящей олигархии — в частности те, кто связаны с военно-промышленным комплексом,— и не прибегнут ли во имя «спасения порядка» к тем «решительным действиям», к коим призывают воинственные, фашиствующие правые экстремисты? И как отреагирует тогда американский народ, который так долго обманывали и которым пренебрегали?

Ничто не предопределено заранее, и все пророчества бессмысленны. Однако вывод напрашивается сам собой: Америка, сверхвооруженная ядерными бомбами, присутствующая на всех континентах и на всех морях, Америка, поглощающая капиталы Запада и значительную часть богатств «третьего мира»,— эта Америка больна, и никакие, самые пышные, тирады Рональда Рейгана не в состоянии ее вылечить. И каково бы ни было имя президента, который поселится в Белом доме, вашингтонским правителям будет все труднее и труднее скрывать эту суровую правду.

Заключение

Другая Америка

> Спокойствие — лишь видимость. В глубине продолжают нарастать толчки — противоречия, чреватые потрясениями. Они несомненно вырвутся на поверхность в обозримом будущем.
>
> *Пол М. Суизи, американский экономист*

Восьмидесятилетний Дж. Уильям Фулбрайт по-прежнему занимает кабинет юридического консультанта фирмы «Хоган и Харстон» на Коннектикут авеню в Вашингтоне. И хотя он не является сенатором штата Арканзас с 1974 года, когда на выборах победил другой кандидат от демократической партии, его все еще величают этим титулом. И точно так же, как в те времена, когда он еще был председателем сенатской комиссии по иностранным делам, он продолжает выступать с речами, в которых высказывает свое мнение о политике страны.

Его высказывания блистательны по мысли, полны тонкой иронии и демонстративного безразличия к тому, что могут подумать о них люди, сидящие в Белом доме или же в Пентагоне. Этот невысокий скромный человек с живыми, молодыми глазами еще сохраняет облик профессора университета, которым он некогда был.

Сенатор, не похожий на других, не любимый, но уважаемый большинством конгрессменов. Во времена «охоты за ведьмами» он был единственным в сенате, кто решительно выступил против Джозефа Маккарти и проголосовал против выделения специальных ассигнований пресловутым «комиссиям по расследованию антиамериканской деятельности».

Возглавляя в сенате комиссию по иностранным делам, Фулбрайт выступал за мир во Вьетнаме, за международную разрядку, против поддержки, оказываемой правительством Соединенных Штатов экспансионистской политике Израиля. Поскольку он разоблачал засевшее в Капитолии могущественное произраильское лобби, его обвиняли в антисемитизме, а он лишь пожимал плечами. Позднее он высказывал свое глубокое несогласие с американским вмешательством в Центральной Америке, в Ливане и осудил вторжение на Гренаду. «Подумать только, после оккупации этого крохотного острова они роздали восемь тысяч медалей. Часть наград досталась людям, находившимся все это время в Пентагоне! Курам на смех! Если настоящий герой получит теперь медаль, он будет вправе не принимать это всерьез...»

Фулбрайт осуждает внешнюю политику Рональда Рейгана, так же как осуждал курс Джимми Картера, и удивляется, что Франция не играет той роли, какую могла бы сыграть, выступив против тех направлений в политике, которые опасны не только для Америки, но и для нее самой, равно как и для всего мира. «Это высокомерная политика»,— пишет он (одна из его книг так и называется: «Высокомерие силы»). Высокомерие, считает Фулбрайт, проявляется и в ежегодных затратах почти трехсот миллиардов долларов на гонку ядерных вооружений, и в грубом вмешательстве в дела других народов.

«Римляне веками кичились своим господством над миром и пыжились от гордости, но в конце концов их империя распалась и рухнула... В течение многих десятилетий англичане также не могли объять мысленным взором свою империю, над которой никогда не заходило солнце. Но это не способствовало превращению Ливерпуля в более пригодный для жизни город. И не прибавило здоровья и сил детям валлийских шахтеров. А в результате несмотря ни на что, солнце закатилось».

Уильяма Фулбрайта беспокоят вульгарные, примитивные концепции, представляющие Советский Союз как некую «империю зла»,— тем более беспокоят, что пропагандистом их выступает сам Рейган.

«Почему,— пишет Фулбрайт;— мы не можем воспринимать существование России как данность? Она существует, и мы ничего не можем с этим поделать. Это что-то вроде родинки на моей щеке. Мне она не нравится, но пришлось смириться. Мы упорно повторяем, что русские — чудовища, добиваясь, чтобы люди в это поверили, и это отвратительно. Нужно быть бдительными — некоторые пророчества в конце концов сбываются сами по себе: стоит лишь начать говорить, что война неизбежна, и уже приходится предпринимать акции, вызывающие ответную реакцию, что и ведет к войне...»

Такой политике противостоит разрядка. «Это правильный путь».

Позиция одиночки? Старый политик так не считает. Напротив, он уверен, что лучше многих других выражает подлинные чувства десятков миллионов американцев. Он полагает также, что вопреки Рональду Рейгану и всем тем политикам, кто исходят из перспективы неизбежной «конфронтации», здравый смысл «народа-прагматика, которому нет дела до идеологии», в итоге восторжествует, как восторжествовал в прошлом над истерией «охотников за ведьмами» и «ястребов».

В подтверждение правоты сенатора Фулбрайта можно напомнить еще о том, что, несмотря на непрекращающуюся кампанию по разжиганию ненависти и страха, в которую вкладываются огромные средства, американский народ по-своему и довольно успешно сопротивляется попыткам наиболее воинственных лидеров привлечь его на свою сторону, ибо американцы прекрасно понимают, что принесет им ядерная война. И прагматизм в чем-то бывает полезен. «Мы не любим коммунистов. Они не любят нас, но мы живем на одной планете»,— говорит Роберт Дж. Каласки, главный редактор газеты, которую издает профсоюз механиков и рабочих аэрокосмической промышленности (570 000 членов).— У нас есть средства, чтобы уничтожить Советский Союз, и Советский Союз тоже может уничтожить Соединенные Штаты. Из этого и должны исходить в своих рассуждениях и русские и американцы. Не думаю, что русские настолько безумны и больше, чем мы, стремятся к самоуничтожению. На том этапе, к которому мы пришли, есть только одно решение: надо вместе сесть за стол переговоров. От этого нам никуда не уйти. Я не люблю коммунизм, но при этом не считаю, что нужно,— как мне говорят,— наводить порядок в Никарагуа, потому что там коммунисты наступают и угрожают нам. Я с этим не согласен. Мне кажется, что тем ребятам просто надоело жить в нищете, надоело, что их эксплуатирует американский «большой бизнес».

Не все профсоюзные лидеры высказываются столь однозначно. Президент АФТ/КПП Лейн Кэркленд, например, отправился вместе с Генри Киссинджером в Центральную Америку выступать в поддержку политики Рейгана. Однако, столкнувшись с реакцией первичных профсоюзных организаций — а тех, кто настроен против американского вмешательства в Никарагуа и Сальвадоре, за замораживание ядерного оружия и сокращение военного бюджета, становится все больше,— он был вынужден кое в чем пересмотреть свои позиции. «Мы по-прежнему выступаем за сильную оборону,— заявил он в феврале 1985 года, когда начиналось обсуждение бюджета,— но в то же время мы являемся сторонниками сильной экономики и социальной справедливости. Поэтому мы не поддерживаем увеличение военного бюджета за счет сокращения жизненно необходимых для страны ассигнований на социальные нужды».

Руководители АФТ/КПП, всегда занимавшие крайне антисоветские позиции, за что в США их вполне обоснованно называют «ястребами», до сих пор неизменно одобряли увеличение военного бюджета. Видимо, несмотря на упоминание о «сильной обороне», в их позициях произошел некоторый «сдвиг».

Незадолго до президентских выборов 1984 года «Фонд информатики» и «Институт анализа внешней политики» провели опрос общественного мнения (этот опрос очень широко освещался газетой «Нью-Йорк таймс»), который продемонстрировал новые взгляды американской общественности на основные вопросы войны и мира. По данным этого исследования, 83% американцев (против 13%) считают, что «ограниченный ядерный конфликт между великими державами перерастет в мировую войну»; 89% (против 9%) убеждены, что в такой войне не может быть победителей; 96% (против 3%) считают, что в «мире, располагающем ядерным оружием, ввязываться в войну с Советским Союзом слишком опасно»; 92% (против 5%) уверены, что, «если Соединенные Штаты создадут более мощный ядерный арсенал, чем у Советского Союза, русские просто-напросто будут наращивать военную мощь до тех пор, пока не догонят США». Наконец, 69% американцев убеждены, что «русские попытаются распространить коммунизм на другие страны», и если 62% верят, что «они понимают только язык силы», 70% (и 80% — среди тех, у кого есть среднее образование) считают «крайним упрощением утверждать, будто во всем, что не ладится в мире, виноваты русские».

В то же время 81% американцев не подозревают (но кто же им об этом скажет?), что официальная, ясно выраженная доктрина их правительства предусматривает необходимость первыми применить ядерное оружие. «В безвыходных обстоятельствах», добавляют, правда, выступающие от его имени, чтобы выглядеть поприличнее.

В США практически повсюду существует движение борцов за мир, но оно разрозненно и представлено бесчислен-

ными течениями, группами, партиями, клубами, различными религиозными и общественными деятелями; ему не хватает единства и сплоченности. В этом ансамбле относительно сплоченной силой выступает лишь католическая церковь, которая насчитывает пятьдесят миллионов верующих.

Позиция католических епископов, ратующих за запрещение ядерного оружия, которое при любых обстоятельствах рассматривается как смертный грех, неприятие ими рейгановской политики в Центральной Америке становятся важными факторами американской политической жизни.

«Несмотря на угрозы и отповеди со стороны администрации Рейгана, мы имеем полное право заявить: да, то что мы говорили и делали, имеет политический резонанс,— объясняет преподобный Рейд Майо, пастор прихода Святой Моники в Барре (штат Вермонт); в его маленькой приходской церкви проводятся также собрания местного профсоюза.— Долгие годы католическая церковь была в Америке церковью иммигрантов, «закомплексованной» церковью, которая опасалась высказывать свою точку зрения из страха показаться «неамериканской». Нынче — другие времена. Многие наши епископы принадлежат к тому поколению, которое боролось против войны во Вьетнаме. Это позволяет им поддерживать с миром иные, по сравнению с прошлым, связи.

Католическая церковь безусловно пользуется в США бо́льшим влиянием, чем во многих других промышленных странах, и может играть важную роль. Она и должна ее играть. Ведь речь идет о самой жизни, о будущем человека, и церковь должна здесь сказать свое слово. Например, как помешать агрессии против народа Никарагуа, которая совершается якобы от нашего имени и в наших интересах; как донести до всех наше постоянное стремление к тому, чтобы на человечество не обрушилась ядерная война».

Центр оборонной информации — он создан в Вашингтоне офицерами в отставке, причем многие из них, как и его директор контр-адмирал Джин Ларок[1], имеют высокий ранг,— выступает за ядерное замораживание и последовательно борется с дезинформацией по всем проблемам, касающимся военного бюджета Пентагона и взаимоотношений между СССР и США в военной области. Существование такой организации, активными членами которой являются бывшие генералы, служившие в военно-морских и военно-воздушных силах и знающие, что такое ядерное оружие, также свидетельствует об эволюции взглядов в различных слоях общества.

Редкий день на улицах американских городов не увидишь демонстрантов, и почти совсем не бывает такого, чтобы десятки или сотни активистов одного из многочисленных комитетов сторонников мира, борьбы за гражданские права, солидарности с Никарагуа и т. д. не подошли со своими плакатами к Белому дому. Изредка они собираются все вместе и проводят демонстрацию, как это было в июне 1982 года в Нью-Йорке, где 800 000 человек выступили за ядерное разоружение и мир. А в марте 1983 года по случаю двадцатой годовщины марша в защиту гражданских прав их собралось в Вашингтоне 500 000.

«Движение — широкое, как река, но глубиной — в палец»,— пожалуй, слишком резко писал один журналист. Стремление к миру и к справедливости — широко и глубоко одновременно; однако носители этих идей становятся жертвами расколов и предрассудков, культивируемых властями, и они еще не знают, как объединиться, чтобы голоса их звучали в унисон.

«Сегодня антикоммунизм отступает в Соединенных Штатах, и коммунистам легче добиться, чтобы их услышали...» Фраза, произнесенная Генри Уинстоном (один из ветеранов борьбы за равноправие негров, секретарь ЦК Компартии США, не один год провел в тюрьмах, где из-за отсутствия лечения потерял зрение), настолько удивительна, что, услышав ее впервые, начинаешь сомневаться, правильно ли ты понял собеседника. Услышав ее во второй раз, начинаешь думать, что слова эти определяют не столько реальное положение вещей, сколько «неизлечимый оптимизм коммунистов», и что американские товарищи обладают им в большей мере, чем коммунисты других стран, хотя бы потому, что нужно же чем-то компенсировать неприглядный политический пейзаж, их окружающий.

Однако нельзя не признать, что мнение Генри Уинстона разделяют все американские коммунисты, с кем мне приходилось встречаться. Атмосфера, в которой протекает их борьба, уже не та, что во времена «охоты на ведьм». И хотя антикоммунизм по-прежнему разжигают изо всех сил, сфера деятельности коммунистов расширилась, несмотря на малочисленность их партии, состоящей всего из 25 000 человек. Полмиллиона собранных за несколько недель подписей в поддержку права выдвигать своих кандидатов на президентских выборах почти в половине штатов (что предусмотрено законом) свидетельствуют не только о смелости и энтузиазме коммунистов, но и о явной «восприимчивости» со стороны тех, к кому они обращаются.

«Десять лет назад было значительно труднее,— рассказывает молодая негритянка из Кливленда, собирающая подписи у большого магазина.— Прохожие нас часто оскорбляли, угрожали: «Почему же вы не едете в Москву, если считаете, что там так хорошо?» Сегодня такое услышишь довольно редко. Правда, иллюзий я не строю. Те, кто ставит подписи, не всегда согласны с коммунистами, но той прежней, откровенной и всеобщей агрессивности уже нет, можно поговорить с людьми, особенно с рабочими, наиболее сильно пострадавшими от экономических трудностей.

[1] См. «ИЛ», 1985, № 5, с. 219.

Многие говорят так: «Я ставлю свою подпись потому, что у вас тоже есть право защищать свои убеждения». Идея терпимости очень популярна среди американцев. Во всяком случае, даже у тех, кто против нас (а таких, конечно, больше), не наблюдается прежней истерии. Более того, они согласны на дискуссии. Особенно по негритянской проблеме. Практически никто из них никогда от дискуссий не уклонялся, и все знают Анджелу Дэвис...»

Во время президентской кампании 1984 года кандидаты от коммунистов (Гэс Холл и Анджела Дэвис) впервые получили доступ на многие местные радиостанции и смогли обратиться к десяткам миллионов людей. «В прошлом,— говорит Гэс Холл,— на радиостанции нас не допускали. На этот раз приглашений было даже слишком много, и мы не смогли удовлетворить все просьбы. Почему нас приглашают? Я думаю, потому, что мы высказываемся наиболее откровенно и безо всякого снисхождения критикуем рейгановский курс во всех его проявлениях. Это, видимо, «тонизирует» передачи. Несколько лет назад двери университетов также были перед нами закрыты. Когда профессора и студенты хотели организовать лекцию на тему, что такое коммунизм или что думают коммунисты по тому или иному конкретному поводу, они обращались к специалистам по антикоммунизму. Сегодня университеты приглашают самих коммунистов. Ни шума, ни враждебных выпадов. Напротив, нас внимательно слушают и задают серьезные вопросы».

Гэс Холл, Анджела Дэвис и другие лидеры компартии побывали таким образом в студенческих аудиториях Йельского университета, Бостонского, Стэнфордского, Колумбийского и других. Анджела Дэвис выступала даже перед преподавателями и студентами в ультрареакционном Далласе. Новое отношение и новый интерес налицо, хотя утробный антикоммунизм еще не изжит, возврат к маккартизму не исключен.

Один язвительный журналист отмечал, что «успех Рейгана зиждется на том, что на очень сложные вопросы он дает простые ответы, а именно это и нужно американцам». Но оказывается, напротив, это уже не удовлетворяет десятки миллионов американцев — тех, кто задумался, словно впервые, что же представляет собой общество, которое, утопая в богатстве, терпит и усугубляет бедность, социальную несправедливость, преступность и обрекает на отчаяние миллионы и миллионы людей. Не только отдельные маленькие группировки или же отвергнутые обществом парии осмеливаются усомниться в самой системе — задумываются и более широкие общественные круги, до сих пор дружно воспевавшие счастье жить под знаменами свободного предпринимательства. Даже католическая церковь, хотя в системе не разуверилась, ощутила это нарастающее разочарование. В ноябре 1984 года американские епископы опубликовали большое заявление, где нищета, в которой живут миллионы их соотечественников, была названа «морально неприемлемой».

Такие деятели, как Джесси Джексон и другие представители негритянских, латиноамериканских, индейских общин, осуждают систему еще более сурово. Так же как простые члены профсоюзов, как рабочие, принесенные в жертву модернизации и обреченные на безработицу, они испытывают — пусть им и трудно пока это выразить — потребность в коренных переменах, которые ни республиканцы, ни демократы, наиболее надежные пружины истеблишмента, не способны осуществить. И наряду со всеми этими вопросами, которыми задаются американцы, все чаще возникает тот, что до сих пор считался кощунственным: «А что, если в этом ужасном хаосе в конечном счете повинно само капиталистическое устройство?» Как отмечал один профсоюзный лидер, «в среде рабочих зреет нечто новое; «социализм» теперь уже не бранное слово».

«Я родился в Филадельфии в очень бедной семье. Ни работы, ни профессии. В такой ситуации Вьетнам был не самым плохим выходом. Мне было двадцать четыре года. В голове — ни одной собственной мысли, только те, что мне вбили: еду туда, чтобы принести свободу, буду бороться за самые прекрасные в мире американские идеалы и защищать там свою страну. За один месяц — этого оказалось достаточно — я понял, что́ на самом деле представляла собой эта война. Она означала народные бедствия, повсеместную коррупцию и бессмысленные смерти. Очень скоро во мне поселился «антивоенный дух». Сначала я отказался носить оружие. Меня, как санитара, к этому не принуждали, но стали посылать туда, где шли особенно жаркие бои. Иногда, глядя на тяжело раненного парня, которого надо было тащить, я думал: «Вот буду за ним ухаживать, он выздоровеет и его снова отправят на эту проклятую войну, а если не буду ухаживать, он умрет...» Через какое-то время я приехал на побывку. Моя жена — она из квакеров — приготовила все, чтобы я дезертировал. Я не возражал. Согласился уехать за границу. Она нашла какие-то ходы и отложила необходимую сумму денег. В последний момент я отказался. Сказал себе, что не могу бросить товарищей, многие из них были еще моложе меня, и они доверяли мне. Они остались там, их бросили в этот ад, лишив всякой надежды. И я вернулся, опять пошел в санитары...»

Джек Макклоски еще довольно молод, но уже поседел, у него печальная улыбка. Макклоски — один из основателей «Ассоциации ветеранов Вьетнама за мир», ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. За это ему пришлось — когда еще шла война — несколько раз отсидеть в тюрьме. Сегодня ассоциация на-

зывается иначе. Ее теперешнее название «Мечи на орала» заимствовано из библии: и перекуют мечи на орала, а копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меч и не будет более учиться воевать.

Вернувшись из Вьетнама с наградами и ранениями, Джек Макклоски остался без работы. Однажды, будучи еще в военной форме, он случайно затесался в Сан-Франциско в ряды демонстрантов, выступающих против войны. Молодые участники демонстрации заметили военного и, указывая на него толпе, скандировали: «Убийца! Убийца!» «Это меня потрясло,— рассказывает Макклоски.— Я вернулся домой подавленный, мне ни до чего не было дела, все опротивело. Я видел, как мои товарищи становятся алкоголиками, наркоманами, порывают с семьями, где их не понимают. Я был таким же, как они. Уезжая, я твердо верил в «американскую мечту». Когда вернулся, разуверился. «Мечта» обернулась кошмаром... Но я сказал себе: если ничего не сделаю, чтобы помешать новым Вьетнамам в Центральной Америке или где-то еще, если не расскажу другим о том, что мы видели и узнали, значит, товарищи мои дважды умерли понапрасну... Вот почему я стал бороться, и не только за мир, но и против всех разновидностей лжи, с которой столкнулся. Не против моей страны и моего народа, а против политиканов и тех генералов, которые все это знают, против правителей, которые втянули нас в грязную войну, против тех, для кого она была выгодным бизнесом, против того общества, в котором мы живем и которое такое допускает. Я люблю свою страну и хочу поэтому, чтобы она явилась миру не такой, какой выглядела во время войны во Вьетнаме, чтобы не была больше державой, защищающей во всех уголках земли неправое дело. Я хотел бы, чтобы моя страна все свои силы и все богатства отдавала на борьбу с голодом в мире, на то, чтобы помочь народам лучше жить...

Если вы напишете книгу, скажите в ней, что не все американцы «ужасные люди», что миллионы таких, как я, не хотят выступать в роли жестокой силы, а стремятся к дружбе и миру...»

Когда я воскрешаю в памяти свою поездку по Америке, то не величественные профили небоскребов, не ослепительный залив Сан-Франциско, не разоренный Южный Бронкс, не кактусы Аризоны и даже не пленница строительных лесов — статуя Свободы — возникают у меня перед глазами; я вспоминаю американских борцов за мир, прогресс и братство, их героизм, доброту и искреннее стремление к дружбе со всеми народами мира. И вместе с тем не могу забыть встревоженный взгляд Джека Макклоски, обращенный к Америке, с которой он связывает свои надежды.

◆

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ИСПАНСКИЙ ЗАКАЛ

Публикация и комментарии В. ПОПОВА и Б. ФРЕЗИНСКОГО

18 июля 1936 года — в этот день начался военно-фашистский мятеж против Испанской республики — по прошествии пятидесяти лет воспринимается как рубеж, обусловивший существенные перемены в жизни Европы, в жизни миллионов ее граждан. Раздумывая над судьбами своих современников, Илья Эренбург назвал три таких рубежа. «Для одних,— писал он в книге «Люди, годы жизнь»,— жизнь раскололась надвое 22 июня 1941 года, для других — 3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936».

С конца августа 1936 года — Эренбург корреспондент «Известий» в Мадриде. К тому времени исполнилось десять лет, как он впервые побывал в Испании (о той контрабандной — без виз — поездке Эренбург рассказал в очерке 1926 года «Сео-де-Урхель»). Пять лет спустя, осенью 1931 года — уже после провозглашения республики,— он основательно объездил Испанию, многое увидел и многое понял — об этом говорит его книга «Испания», за короткое время трижды изданная по-русски, переведенная на многие языки и в самой Испании вызвавшая бурную полемику [1]. Весной 1936 года Эренбург вновь встретился с Испанией — теперь уже Испанией Народного фронта. Эта встреча оказалась не столько радостной, сколько тревожной — потенциальную силу тех опасностей, что нависли над республикой, Эренбург оценил сразу и точно [2]. Став военным корреспондентом в Мадриде, он уже хорошо знал страну и ее людей. Вместе с Испанской республикой он прошел до конца весь ее героический и трагический путь.

В ту «дотелевизионную» эпоху статьи и репортажи М. Кольцова в «Правде», И. Эренбурга в «Известиях», О. Савича в «Комсомольской правде» были главным источником информации об испанских событиях и в памяти предвоенного поколения их авторы неотделимы от Испании. «В мою жизнь,— писал Константин Симонов в воспоминаниях об Эренбурге,—он вошел вместе с Испанией, вместе с первыми корреспонденциями оттуда, из Мадрида... Голос Эренбурга был для меня тогда, в юности, голосом человека, стоявшего где-то там, на самом краю войны с фашизмом».

С тех военных лет Испания вошла в жизнь Эренбурга навсегда. И дело не в том, что Испании посвящена немалая часть его литературного наследия (около 350 статей, очерков и репортажей [3], два фотоальбома, повесть «Что человеку надо», стихи в книге «Верность», переводы, 17 глав в книге «Люди, годы, жизнь»). Испания затронула какие-то очень сокровенные струны в душе Эренбурга и, несмотря на трагический исход событий, укрепила его веру в человека и в человечество. Эренбург говорил об этом не раз. В его архиве сохранился черновик очень характерного в этом смысле письма собранию ветеранов испанской войны в Москве в начале шестидесятых годов: «Мне очень обидно и горько, что я не могу присутствовать среди вас. Испания — это не только огромное событие в моей маленькой жизни, это веха в истории нашей эпохи. Я пишу в моей книге [4], что если человеческое достоинство не стало для людей моего поколения абстрактным понятием, то только благодаря испанскому народу, который решился в дни презрения сказать «нет», благодаря благородным людям, пришедшим из различных стран, чтобы поддержать его в неравной борьбе. Есть поражения, которыми можно гордиться больше, чем иной победой. Я по-испански обнимаю всех участников встречи, которые мне дороги, потому что они были в

[1] См. об этом «Интернациональная литература», 1933, № 1.

[2] См. об этом воспоминания А. Эйснера в сборнике «Воспоминания об Илье Эренбурге». М., «Советский писатель», 1975.

[3] Примерно треть этих материалов войдет в готовящийся к изданию сборник испанской публицистики И. Эренбурга.

[4] Имеется в виду четвертая книга «Люди, годы, жизнь».

Испании, и желаю всем встретиться в гордом, милом Мадриде в тот час, когда знамя свободы взовьется над Пуэрта-дель-Соль, над Университетским городком, над всеми городами и селами нашей любимой Испании».

В августе 1954 года в Буэнос-Айресе, куда Эренбург прилетел, направляясь в Чили, чтобы вручить Пабло Неруде премию Мира, Рафаэль Альберти написал стихи, в которых сказал то, что можно выразить только стихами:

Илье Эренбургу в Буэнос-Айресе

Увидеться нам — это значит
опять нас увидеть вдвоем
в Мадриде, горячем от зноя,
в Мадриде, горящем от боя...
Быль перерастает в былое,
но не порастает быльем.

Увидеть тебя — это значит
опять нам изведать с тобой
всю ту незабытую радость
и ту незабвенную боль.

Пришел, и уже «до свиданья».
Но разве прервется свиданье,
когда ты уйдешь? Потому
увидеться нам — это значит
опять нас увидеть вдвоем
в Мадриде, горящем от боя...
Быль перерастает в былое,
но не порастает быльем.

(Перевод С. Гончаренко)

Письма из Испании

В конце августа 1936 года Илья Эренбург наконец смог отправиться в Испанию; он приехал в Барселону поездом из Парижа вместе с кинооператорами Р. Карменом и Б. Макасеевым. Стать военным корреспондентом ему пришлось не впервой, но опыт работы на франко-германском фронте 1915 — 1916 годов мало что значил для работы в Испании — у гражданской войны совсем другое лицо. Еще в Париже Эренбург пытался продумать специфику предстоящей работы. Сохранилась запись его телефонограммы в «Известия» от 21 августа: «Как вы полагаете быть с информацией в дальнейшем? Должен ли я посылать телеграммы из Испании? Должен ли стараться приезжать на французскую границу и оттуда передавать сообщения по телефону? Прибавьте к этому цензуру, проверяющую телеграммы, и затруднительное сообщение из Мадрида».

Первая (и очень короткая) телеграмма Эренбурга из Испании появилась в «Известиях» 5 сентября под редакционным заголовком «Германские самолеты бомбардируют испанские деревни». «Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег,— вспоминал Эренбург.— Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета: крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут...»

19 сентября Эренбург на короткое время вернулся в Париж; оттуда он отправил в «Известия» два десятка коротких корреспонденций, написанных урывками, в перерывах между боями. Это были беглые зарисовки увиденного в Испании; Эренбург писал о летчиках эскадрильи «Красные крылья» и о детях Мадрида, о первых интербригадах и о крейсере «Хайме I», оставшемся верным республике. Первая из этих заметок («Ночью на дороге») появилась в «Известиях» 23 сентября 1936 года, и затем газета печатала их систематически под рубрикой «Письма из Испании».

И. Г. Эренбург и командир эскадрильи «Красные крылья» А. Рейес. 1936 г.

В октябре Эренбург вернулся в Барселону окрыленный — его идея организовать агитфургон с типографией и кинопередвижкой и на нем ездить по фронтам Испании была одобрена, грузовик и оборудование закуплены, из Москвы присланы фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». Особое значение работа эренбурговского агитфургона имела для подразделений анархистов, где автор «Хулио Хуренито» был частым гостем. 17 ноября Эренбург сообщал советскому консулу в Барселоне В. А. Антонову-Овсеенко: «Несмотря на плохой состав, нам удалось в течение 4-х дней выпустить 7 газет, которые мы напечатали на позициях или в ближайшем тылу... и устроить 7 киносеансов с показом «Чапаева» и с небольшими митингами... Почти никакой пропаганды на Арагонском фронте и в ты-

Штаб XII интербригады во главе с генералом Лукачем (Мате Залка). 1937 г. (фото из архива И. Г. Эренбурга).

лу не ведется. Нет партийной газеты на испанском языке, а каталонский язык понимают примерно 60% бойцов... Мы ввели в наши газеты «красную доску» с описанием воинских подвигов отдельных дружинников... После «Чапаева» дружинники постановили выставлять ночные дозоры...»

Три-четыре месяца продолжалась работа агитгрузовика, и все это время «Известия» регулярно получали «Письма из Испании». Многие из них Эренбург включил во второй испанский фотоальбом, вышедший в Москве в 1937 году. Три «Письма» перепечатываются из «Известий» впервые; статья «Седьмая дорога» печатается по тексту последней публикации 1938 года.

«Интернационал»

Я приехал с фронта в Барселону. На террасах кафе люди беспечно смеялись. Краснело полотнище: «Они не пройдут!» Под ним черноглазая веселая девушка торговала цветами. Чайные розы казались мне выдуманными. Выдуманными казались пестрые бонбоньерки в витринах, малиновые губы женщин, дрожь Рамбле[1], нежившейся на солнце. Я глядел на солнечные пятна под деревьями, они взволнованно перемещались. Я еще видел окопы, холод сьерры, ногу дружинника, тронутую гангреной.

«Ты не знаешь Фернандеса? Он был под Уэской, в Гранхе. Ты с ним не разговаривай — он оглох. Осколком снаряда...» Я пошел рядом. Маленький Диего болтал без умолку. Я его не слушал. Я глядел на Фернандеса: единственный человек, с которым мне хотелось говорить, не мог меня услышать. У него было узкое бледное лицо. Он рассеянно улыбался. На Рамбле было людно. Продавцы расхваливали свой товар: бумажники с инициалами «FAI»[1], галстуки с серпом и молотом, литографии, на которых Ларго Кабальеро обнимал румяную Свободу. Фернандес подошел к торговке певчими птицами. Здесь были канарейки, яркие попугайчики, скромные чижи. Птичий гам покрывал голоса людей. Фернандес глядел на птиц, чуть наклонив голову. Мне показалось, что он прислушивается к их пенью. Потом он раздраженно качнул головой. Мы пошли дальше.

На углу уличный певец исполнял древний романс: о лодке, о лепете волн, о любви. Зеваки подтягивали. Тогда Фернандес вдруг запел «Интернационал». У него оказался сильный голос. «El género humano es la Internacional». Может быть, он принял глупый романс за песню боя? Все замолкли. Потом какой-то старик, сурово сжав руку в кулак, подхватил: «El género humano...» За ним запели другие. Певец, забыв и про лодку, и про несобранные медяки, пел теперь о мире, который будет иным. Я снова был на фронте.

Ноябрь 1936

«Центурия Тельмана»

Дружинник показал мне ружье, отобранное у фашиста. На ружье была марка: «Deutsche Waffen- und Munitionfabrik, Berlin». Дружинник сказал: «Вот что Германия шлет нам». Он тоскливо выругался. Я ответил: «Нет». Я показал ему на высокого русого человека. Рука у него была на перевязи.

Я помню, как уходила на фронт «Центурия Тельмана». В тот день было много

[1] Центральная улица Барселоны.

[1] Федерация анархистов Иберии.

Поэт Эмилио Прадос, О. Г. Савич, И. Г. Эренбург, поэт Хосе Эррера Петере. Балкон корреспондентского пункта ТАСС в Барселоне. 1938 г.

красных роз и веселых криков. Я снова видел дружинников «Центурии Тельмана»: им вручали почетное знамя. Из ста сорока человек пятнадцать остались возле Тардиенты. Сорок пять лежат в полевых госпиталях. Четыре дня и четыре ночи подряд центурия сражалась среди камней Алькубьерской сьерры.

«Нас бомбили «Капрони». У них были броневики. Мы два дня ничего не брали в рот. Был приказ: «Держаться». У нас не было носилок, раненых тащили на себе. Мало было патронов. Мы продержались»...

«Откуда ты?» — «Из Эссена». «Ты?» — «Из Саарбрюкена». «Ты?» — «Из Берлина». Они рассказали мне о годах борьбы, о выстрелах из-за угла, о разгроме, о концлагерях, о каком-то Мюллере, который бил коммунистов мокрым полотенцем. Один из них сказал: «Хороший народ испанцы! Крестьянин принес нам барашка, он руками показывал, что любит, понимает»... Дружинник улыбнулся и добавил: «Теперь пополним центурию и назад — на фронт».

Эти люди приехали сюда издалека. Позади у них были потерянная родина и горечь поражения. Они приехали сюда, чтобы сражаться за счастье чужого народа. Со штыками наперевес они шли по камням Алькубьеррской сьерры. Половина не вернулась. Они знали, что такое фашизм. Они шли на смерть, чтобы испанский народ не узнал судьбы их родного народа.

Ноябрь 1936

Испанская девушка

Мы хлюпали по лужам. В темноте я не мог разглядеть товарищей. Грузовик показался мне уютным, как дом. Наборщик жевал колбасу. Вдруг громкоговоритель заворчал по-звериному: «Внимание! На фронте Тахо наши части перешли в наступление. «Интернационал», как буря, пронесся над вражескими окопами».

Рассерженный, затрещал пулемет. Наборщик выругался — колбасы мало. Полчаса спустя раздался свисток. Дружинники продвигались цепью. Пронесли раненого. Приподнявшись, он сказал: «Передайте Мануло, что...». Голова его свесилась вниз. Фашисты были отброшены на три километра.

Показалась луна, а под ней камни и пустыня. Комиссар подвел ко мне красивую девушку. У нее на шапке было три звездочки. Он сказал: «лейтенант Пепита Урдэ». Пепита застенчиво улыбнулась. Ей было девятнадцать лет.

Я узнал историю ее жизни. Дочь мадридского каменщика, она провела детство в зловонном дворе рабочего квартала Делисиас. В одиннадцать лет она начала работать. Она разносила картонки с платьем. Когда ей было тринадцать лет, она взяла в руки иголку. Когда ей исполнилось пятнадцать, она вступила в комсомол. Маленькая, худенькая швейка с чересчур большими печальными глазами, она выступала на собраниях, раскидывала листовки, звала на борьбу каменщиков и литейщиков. Ей было семнадцать лет, когда ее посадили в тюрьму. Она просидела полтора года в темной камере старого острога Вьентас. Она говорила об этих месяцах как о школе, как о молодости, о счастье: она сидела в тюрьме вместе с Пасионарией.

В первый день фашистского мятежа Пепита Урдэ взяла в руки винтовку. Она шла впереди рабочих, которые приступом взяли казармы Монтанья. Потом ее отправили на гвадаррамский фронт. При боях возле горного перевала Альто-де-Леон Пепита получила первую нашивку. Она стала капралом. После Перигинос она повела пять дружинников в разведку. Они напали на отряд фашистов. Пепита вернулась с шестью ма-

рокканцами, двумя пулеметами и мортирой.

Фашисты наступали. После Талаверы Пепита оказалась одна в поле, ее товарищи убежали. Она сутки отстреливалась, лежа в ложбине. Потом республиканцы перешли в наступление и спасли Пепиту. Командир произвел ее в чин сержанта. Несколько дней спустя Пепита была ранена в плечо. Ее послали в лазарет. Она пролежала одиннадцать дней, думая об одном — вернуться в строй. С незалеченной раной она убежала из лазарета. Это было горячее время. Враги, взяв Толедо, шли на Аранхуэс. Дружинники, охваченные паникой, бежали. Топот марокканской конницы решал исход боя. В Торехос-де-Веласкес стояли республиканцы. Показались танки фашистов. Дружинники бросились назад. Тогда Пепита с револьвером в руке остановила убегавших. Она кричала: «Вы не испанцы, вы трусы!» Она сорвала погоны с плеч растерявшегося офицера, она заставила дружинников остановиться и огнем остановить противника. Командующий армией произвел девятнадцатилетнюю девушку в лейтенанты. Она командовала четвертым батальоном восемнадцатой бригады. Она защищала предместье Мадрида — Вильяверду.

Дружинники, небритые, залитые рыжей глиной, с глазами, красными от бессонных ночей, нежно повторяли: «наша Пепита». Беспрекословно выполняли они все ее приказания. Они стыдились показать свою слабость перед этой крохотной девушкой, которая, улыбаясь, вынесла пять месяцев непрерывных боев.

Она сказала мне: «Когда кончится война, я поеду в Россию. Я должна много учиться, я еще ничего не знаю. Но ты скажи русским девушкам, что мы, испанки, тоже умеем сражаться».

Потом снова была глина, ночь, свистки и короткие вскрики раненых.

Декабрь 1936. (Передано с фронта по телефону через Валенсию.)

Седьмая дорога

Пять месяцев, как Мадрид держится. Это обыкновенный большой город, и это самый фантастичный из когда-либо бывших фронтов,— так снилась жизнь Гойе. Трамвай, кондуктор, номер, даже мальчишки на буфере. Трамвай доходит до окопов. Мебельный магазин, какие-то молодожены прицениваются к зеркальному шкафу. Сотни разрушенных домов. Весна, солнце, флаги, шумная толпа на улицах. Бродячие фотографы, чистильщики сапог, коляски с детьми. Перед почтамтом ручные голуби, как всегда клюют крошки. Длинные очереди, длинные и страстные разговоры о фунте картошки и о бутыли масла. Никто больше не смотрит на небо, где звезды и самолеты. Солдат из окопа идет в кафе. В театрах андалусские танцовщицы трещат кастаньетами. Шарманка на улице выводит «Красное знамя». Ночью различаешь человека только по золотой точке папиросы. Порой карманный фонарик освещает влюбленных; им незачем теперь искать темноты — город черен, как лес в детских сказках. Влюбленные, прощаясь, нерешительно говорят: «До свиданья!» Он идет «домой»: в окопы Университетского городка. Ночью, когда голуби прячутся под карнизы, город заполняют голоса смерти: грохот бомб, четкта пулеметов, несвязная перебранка ружей.

Карта в штабе кажется снимком кровеносных сосудов. Дороги, дороги... Мадрид поздно опомнился: до ноября он потерял шесть главных дорог. Но напрасно фашисты пытаются овладеть последней, седьмой. Осенью они полушутя захватывали сотни километров, теперь они не могут продвинуться и на сто метров. По последней — седьмой — дороге идут в Мадрид пополнения и апельсины, снаряды и рис.

На двадцать первом километре от Мадрида фашисты укрепились возле Валенсианского шоссе. Кровь растекается по десятку мелких сосудов и потом снова переходит в большую артерию Арагонского шоссе. Здесь каждая пядь земли — форт. Я прошел несколько километров по передовым окопам — враг рядом, слышны его мышиная суетня, гортанные крики марокканцев, брань, песни. Часовые с перископами следят за каждым движением противника. Бои идут за разрушенный дом, за крохотную ложбинку, за клочок поля, взрытого снарядами. «Дом паромщика» — хорошо памятный современникам мировой войны — воскрес на берегах Харама. В окопах — обстрелянные бойцы. Они смеются над огнем фашистских минометов. Окопы глубоки, ходы сообщений тщательно обдуманы, пулеметные гнезда неуязвимы. Генерал Кейпо де Льяно[1] как-то сказал: «Кто командует красными? Какие-то рабочие...» Что же, каменщики, углекопы и батраки оказались неплохими стратегами.

Все знают, какая нужна была отвага, чтобы взять приступом казармы Ла-Монтанья. Но еще большая отвага нужна для этой слепой, изнурительной, неблагодарной войны. Мяукают снаряды противника. Столб пыли, крики раненых. Вода заливает окопы — здесь люди едят, спят, читают газеты, пишут письма. Пристрелявшись к дороге, противник вчера отрезал передовые линии от штаба. Сегодня республиканская артиллерия заставила его замолчать. Под вечер вдруг вступают в спор пулеметы. Санитары несут раненого. Он пытается улыбнуться. Это пустой день, завтра в сводке будет сказано: «sin novedad» («ничего нового»).

Но нужны большая воля, большое мужество, чтобы между двумя атаками спать на мокрой глине, лениво отругиваться, когда над головой пролетают снаряды, и при первой тревоге кидаться к боевым постам.

Ракета — это республиканцы раскидывают по вражеским окопам листовки. Они написаны на арабском языке: здесь стоит «табор» марокканцев. Дня три назад один араб, прочтя листок, пополз к республиканцам. Его застрелил фашистский офицер. Каждую ночь приходят перебежчики — солдаты Франко. Их погнали на войну. Они сидят в окопах и ждут ночи потемней. Иду дальше. Напротив португальцы, изголодавшиеся люди, которых соблазнили краюхой хлеба. Еще дальше — арестанты.

[1] Гонсало Кейпо де Льяно (1875—1951) — один из руководителей мятежа, всю войну выступал по радио

Э. Хемингуэй и адъютант генерала Лукача писатель Алексей Эйснер. Испания, 1937 г.

Два месяца назад они сидели в тюрьмах. Им сказали: либо фронт, либо расстрел. Они называются «добровольцами» — воры, громилы, убийцы, призванные защищать итало-германскую Испанию.

Республиканцы знают, за что они идут на смерть. У батальона «Пасионария» был свой любимец — смуглый, красивый паренек из Гранады. Его прозвали «девушка» — у него был тонкий голос и, смущаясь, он краснел. Три вражеских танка попытались дойти до республиканских окопов. Артиллерийский огонь заставил два танка повернуть назад. Третий продолжал двигаться вперед. «Девушка» выполз из окопа и ручной гранатой повредил танк. Его застрелили фашисты, когда он полз назад. Ночью командир батальона сказал: «Ребята, помните «девушку»?»... Солдаты вышли из окопов, захватили поврежденный танк и, дойдя до укреплений неприятеля, очистили гранатами первую линию.

Я вернулся из Мораты-де-Тахунья в яркий, весенний Мадрид. В парке играли дети. Женщина продавала фиалки. Сердце города билось твердо и уверенно: седьмая дорога, оплаченная кровью героев, была дорогой жизни.

Апрель 1937

Московские выступления и интервью

24 декабря 1937 года Илья Эренбург приехал в Москву, чтобы участвовать в работе юбилейного пленума Союза писателей, посвященного Руставели (пленум созывался в Тбилиси), и немного отдохнуть от непрерывной работы — в Испании он отдыха не знал. После пленума Эренбург вернулся в Москву. Рассказывая о его выступлении в Доме печати, «Вечерняя Москва» писала 9 января 1938 года: «Переполненная аудитория с большим вниманием выслушала простой и убедительный рассказ писателя о героизме бойцов и командиров испанской республиканской армии, о героических буднях населения республиканской Испании».

Эренбург возвращался в Испанию из Москвы с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака, вооруженный сочувствием москвичей к республиканской Испании,— возвращался, чтобы снова броситься в работу.

В Москве он очень много выступал — в клубах, институтах, на заводах, давал интервью московским газетам и журналам. Интерес к этим выступлениям Эренбурга, интерес, питаемый горячим сочувствием к республиканской Испании, был огромен. («В тысячах комнат, в коридорах общежитий, в кухнях коммунальных квартир,— вспоминал В. А. Каверин годы испанской войны,— появились карты с воткнутыми флажками, которыми отмечалась линия фронта». Испанские события для советских граждан стали той частью предвоенного быта, которую обсуждали вслух.)

Во время выступлений Эренбурга слушатели засыпали его вопросами. Только в январе 1938 года московские газеты поместили четыре отчета о его выступлениях. 20 января в Доме актера, говоря о том, как воюют в Испании писатели, Эренбург рассказывал об участии Андре Мальро в семидесяти боевых вылетах, о том, как тяжело переживали бойцы интербригад гибель Мате Залки — легендарного генерала Лукача.

«И. Эренбург говорил о необычайной тяге бойцов республиканской Испании к искусству,— писала 25 января об этом выступлении газета «Советское искусство».— Он видел, как испачканные окопной грязью бойцы покупали в книжных магазинах художественные монографии... Бойцы республиканской Испании, охраняя замечательные культурные ценности от налетов фашистских варваров, перевезли большинство художественных полотен в Валенсию. И. Эренбург присутствовал при том, как распаковывали ящики с картинами. Когда раскрыли великолепное полотно Гойи «Расстрел крестьян», один из бойцов, не сводя горящего взгляда с картины, медленно и гневно поднял кверху сжатый кулак. Он салютовал настоящему искусству».

Большинство тогдашних выступлений Эренбурга не было записано, немногие сохранились в газетном изложении; только одно выступление было напечатано по авторской рукописи — 15 апреля 1938 года в Центральной библиотеке иностранной литературы в Москве Эренбург выступил с речью «Дух испанской литературы» на общественном просмотре книг, принесенных в дар советскому народу правительством республиканской Испании (эту речь напечатал журнал «Литературный критик»).

Интервью Ильи Эренбурга 1938 года перепечатываются из московских газет и журналов впервые.

«Учительской газете» 7 февраля 1938:

...Я хотел бы поделиться впечатлениями об исключительном энтузиазме учителей

Испанской республики. Я видел, как на расстоянии пятисот метров от линии боя учитель с винтовкой на плече вел занятия с бойцами.

...Министерство народного просвещения роздало бойцам буквари с карандашом и открыткой. В перерыве между сражениями учителя ликвидировали неграмотность среди бойцов. Большинство педагогов были добровольцами.

Я видел сотни этих открыток, адресованных министерству просвещения. Научившись писать, вынимали открытку и самостоятельно выражали в ней благодарность министру за оказанную им помощь. В Испании я бывал и раньше — до войны. Тогда в немногих деревнях были школы, а сейчас в республике есть деревни, где существует по нескольку школ. Республиканское правительство, несмотря на трудные условия войны, провело большую работу по организации школ. Строятся новые школы, под них отдаются также духовные семинарии. Даже в Мадриде, который почти ежедневно, а иногда и несколько раз в день подвергается бомбардировке, школы работают бесперебойно.

Я привез с собой изданную в Каталонии книгу с диаграммой роста просвещения молодежи. Поразительные результаты. Эта культурная победа ничуть не легче и не менее важна, чем взятие Теруэля...

Газете «Медицинский работник» 10 февраля 1938:

...Мне пришлось видеть, как изумительно четко и быстро работают испанские хирурги. Быстрота выполнения сложнейших операций, образцовая организация работы заслуживают самого глубокого уважения. Я наблюдал работу передвижного полевого госпиталя, оборудованного на средства швейцарских рабочих. Санитарами в госпитале работали швейцарские рабочие-коммунисты, а врачами — испанцы. Этот госпиталь передвигался вместе с интернациональной бригадой. Когда был убит командир этой бригады генерал Лукач, одновременно был тяжело ранен и немецкий революционный писатель Густав Реглер. И именно благодаря четкой работе врачей этого госпиталя, сумевших быстро организовать переливание крови, удалось спасти Густава Реглера.

В народной революционной армии имеются госпитали, организованные французами, англичанами, бельгийцами, шведами. В этих госпиталях много врачей, добровольно приехавших в республиканскую армию. Они оставили на родине научную работу, обеспеченное материальное положение и поехали помогать испанскому народу защищать свою независимость.

Количество госпиталей удовлетворяет потребности армии. Замечательные дворцы всего Левантского побережья превращены в госпитали и санатории для раненых и выздоравливающих бойцов. В тыловых госпиталях много коек занято гражданским населением, пострадавшим от бомбежки беззащитных городов.

В госпиталях — образцовый порядок и чистота. Больные снабжаются молоком и яйцами — продуктами, которых уже нельзя встретить в продаже.

В армии широко проведены предупредительные прививки против брюшного тифа и паратифа. Испытывается нужда в перевязочном материале, но «Международная рабочая помощь» дает много, и положение нельзя считать критическим...

Журналу «Советское фото» № 5—6 1938:

Героическая борьба испанского народа за свою свободу отражена в многочисленных фотоснимках, сделанных непосредственно на полях сражений. Человек с «лейкой» повсеместно фиксирует в фотодокументах подвиги республиканских бойцов, героизм и страдания испанского народа, зверства фашистов.

Война, отображенная в фотографии,— это неопровержимый обвинительный акт, пригвождающий к позорному столбу фашистов и интервентов, пытающихся поработить испанский народ.

Фоторепортеру приходится работать на фронтах Испании и в тылу, и на передовых позициях, где он разделяет опасность с бойцами. В числе убитых и раненых на фронтах есть и фотографы: двадцатичетырехлетняя Герта Таро, работавшая для левой печати Франции, погибла во время наступления фашистов на Брунете. Я хорошо знал эту смелую, мужественную девушку, польскую эмигрантку, с воодушевлением делавшую свои снимки во время боев в самых опасных местах.

При выполнении своих обязанностей был ранен один из лучших фоторепортеров испанской газеты «Мундо обреро» т. Майо. Сейчас он продолжает работать на фронте.

Прекрасно работает фотограф Оплес, обслуживающий коммунистическую печать Испании. Он все время находится на южном фронте.

В Каталонии и Мадриде создано несколько фотобаз, снабжающих снимками газеты и журналы.

Иностранные фотографы, работающие в республиканской Испании, обслуживают левую и коммунистическую печать Европы и Америки. Из них следует упомянуть коммуниста Шима, польского эмигранта. В его работах великолепно показана испанская деревня. Венгерский эмигрант-фотограф Капа напечатал ряд прекрасных снимков во французских газетах «Регар» и «Се суар». Он дал серию чудесных фотографий Мадрида и интернациональной бригады.

Следует отметить оперативность фотографов, работающих на фронтах Испании. В ноябре минувшего года во время бомбардировки Лериды было убито 100 человек мирного населения, в том числе 55 детей. Фотографу тут же удалось запечатлеть матерей около убитых. А на следующий день готово десять тысяч фото, которыми комиссариат пропаганды снабдил всю мировую прессу.

Что сказать о моей фотоработе? Я фотографирую очень много. Но писатель и журналист часто вытесняли фотографа — вот почему мне не всегда удавалось снимать во время боев. Меня захватывал ход операции, и я не мог сосредоточиться на фо-

тографировании. Я люблю ходить с «лейкой», когда меня не отвлекает литературная работа, и тогда стараюсь фотографировать строго документальные кадры. Считаю особенно важным и нужным фиксировать на пленке действия интервентов. В «Известиях» были помещены мои фотографии с южного и арагонского фронтов. Сейчас выходит моя книжка «Испанский закал», иллюстрированная моими фотоснимками; двухтомный альбом — война в снимках — состоит из фоторабот, сделанных мной и профессиональными фотографами в первые четыре месяца войны (по январь 1937 г.).

Должен сказать, что на фронте трудно заниматься фотографией, но это очень нужное дело.

Слово в наступлении

Из обширного наследия Эренбурга, посвященного Испании, мы выбрали здесь несколько его статей о литераторах — прозаиках, поэтах, журналистах,— чье слово об испанской войне помогало биться с фашизмом.

Дух испанской литературы

Была такая детская игра — говорили: «Барыня прислала сто рублей. Что угодно покупайте, белого и черного не называйте, «да» и «нет» не говорите». Для иных эпох, для иных народов эта заповедь не говорить ни «да», ни «нет», не называть ни белого, ни черного являлась эстетической или этической заповедью. От человеческих тем они отделывались серыми тонами и тем молчанием, которое на обывательском языке называется «дипломатическим». Испанская литература никогда не боялась крайностей. Всю правду о человеке она искала не в промежуточных тонах, но в изумительном соседстве черного и белого, «да» и «нет». Конечно, «Дон Кихот» — и пародия на литературные вкусы эпохи, и сатирическое отображение нравов, но он больше этого, он — правда о человеке, великом и ничтожном, достойном и смешном.

Глубокий, подчас жестокий реализм присущ испанской литературе; она чуждается абстракции и неопределенного лиризма. Даже святая Тереса стремится передать свои экстатические чувства инвентарем хозяйства и описаниями огорода. За сто лет до Франсуа Вийона, в XIV веке, когда Западная Европа еще тешилась ле и триолетами, этими механизированными вздохами эпигонов рыцарской поэзии, в Испании была написана гениальная «Книга о доброй любви» Арсипресте де Ита. С реализмом большого мастера Арсипресте де Ита описал людей своего времени: сластолюбивых монахов, придворных, пастухов, обманутых девушек, забулдыг, нищих. Как всякий подлинный реалист, он вышел из рамок эпохи, он показал страсть, страх, срам, смерть. Мы видим здесь первую европейскую сатиру большого размаха.

Испанской литературе присуща ирония, ирония неотделима от нее, это не шутливость французов, это и не «смех сквозь слезы», это ирония жестокая, каленое железо, за которым чувствуется сосредоточенная, мужественная любовь к человеку. Эта ирония дала нам блестящую поэзию Кеведо, она осенила творчество Сервантеса и Лопе де Вега, она звучала в сотнях народных песен, так называемых «романсеро».

Испанская литература неизменно возвращалась к теме смерти, но не для смирения — для поединка. Она воспитывала в людях мужество. Испанские писатели не отшучивались от смерти, они ее разбивали в открытом бою. Знаменитые строфы поэта XV века Хорхе Манрике на смерть своего отца звучат как металл, но это не медь колокола, а сталь клинка. Начиная с эпопеи «Сида», с полных горечью народных «романсес» о короле Родриго, до стихов, которые складывают теперь между двумя боями под Мадридом или в Каталонии наши современники, сила, но не бахвальство, мужество, но не озорство вдохновляет поэтов Испании.

Богатство воображения, присущее этому прекрасному народу, делает литературу не потугами, но даром, освобождает ее от ломового пота. С какой легкостью писал Лопе де Вега свои комедии! Ее можно понять, только услышав, как рассказывает удивительные истории пастух где-нибудь в Сьерре Морена, истории, в которых вымысел достовернее действительности, в которых грусть неотделимо связана с блистательным весельем. Я вспоминаю здесь рассказы писателя Валье Инклана о том, как он потерял свою руку. Он много раз рассказывал мне об этом и всегда по-иному, он сочинял в мадридском кафе «Гранха» сотни не написанных им книг.

Чувство прекрасного свойственно испанскому народу. С врожденным осязанием формы лепит андалусский крестьянин глиняные кувшины, и плохие картины, похожие на раскрашенные фотографии, вызывают смех у чистильщиков сапог. Огромная забота о форме была повседневной заботой испанской литературы: в ней нет хороших книг, которые плохо написаны. Однако внутренний пафос оберегал ее от разъединения с жизнью, и величайший искусник поэт Гонгора никогда не был ни Марино, ни Малларме. Гонгора мог написать «романсес», который распевали на базарах слепцы. Здесь мы соприкасаемся с жизненной тайной испанской литературы: она всегда была глубоко народной, в ней не было того разрыва между литературой для избранных и макулатурой для народа, который метил, как проказа, лица других европейских литератур.

Теперь молодые поэты Испании пишут «романсес»; но это не искусственное возрождение мертвой формы, это и не подлаживание под чуждую письменности народную форму, это только продолжение живых традиций, и трудно найти за семь веков испанской литературы поэта, который не попробовал бы, хотя бы раз в жизни, написать «романсес». То же самое можно сказать и о содержании литературы. Я видел батраков на спектаклях: ставили Лопе де Вегу, Кальдерона, Сервантеса. Они глядели на это не как на красивое зрелище, не как на историческую панораму, но как

на выражение их собственных страстей,— это были их трагедии или их комедии.

Первое знакомство с испанской литературой сыграло огромную роль в борьбе европейских романтиков за новое понятие человека. Это было время, когда молодая литература XIX века, откликаясь на грохот баррикадных боев, сбрасывала с себя тоги и парики лжеклассицизма. Романтики взяли от Испании ее легко воспринимаемые внешние достоинства: отвагу, скрещенные шпаги, усмешку. Теперь новое человечество, восхищенное борьбой испанского народа за свою независимость, тянется ко всему, что идет из Иберии. Гранаты защитников Мадрида обратили снова глаза европейских художников к Гойе, и это они заставили писателей перечесть тома испанских авторов. В 1938 году урок будет глубже, он обойдет эффектную и поверхностную «эспаньяляду», то есть «испанщину», он сведется к тому реализму, глубине, неистовству, к иронии, полной любви, к отстаиванию человека, которые нам особенно необходимы в тридцатые годы нашего столетия, когда фашизм начал борьбу против человеческого начала в человеке.

Вчера ночью я слушал радиопередачу Саламанки. Испанские фашисты сообщали, что 1500 испанских книг, подаренных Республикой советскому народу, прибыли в Москву. Они говорили об этом не только с привычной бранью, но и с глубоким прискорбием. По примеру своих германских наставников фалангисты любят жечь на площадях книги. Им обидно: этих 1500 книг они не сожгут. Конечно, им не уничтожить ни духа испанского народа, ни его великолепного литературного наследства. Они уничтожили деревню Ита, где родился Арсипресте де Ита, они уничтожили сотни памятников старины, но живы книги Арсипресте, живы книги Сервантеса: они борются против иноземных захватчиков, они тоже — оружие.

С любовью, с благодарностью, с благоговением мы принимаем в дар книги великих писателей Испании. В них мы находим новое объяснение мужеству защитников Мадрида и бойцов Тортосы. Перечитывая в эти тяжелые для Испании дни страницы старых испанских писателей, мы с уверенностью повторяем: «Этот народ непобедим, и не шутам Муссолини зачеркнуть такую культуру».

Невольно сейчас мы думаем о судьбе живых писателей Испании, наших современников и сверстников. Многие из них променяли перо на штык. В горах вокруг Тортосы и Лериды сражаются поэты Прадос, Альтолагирре, Эрнандес, двадцатилетний Апарисио, который был ранен в шею навылет и снова вернулся в строй, поэт прекрасных лирических строф и комиссар неустрашимого Кампесино. Старый Антонио Мачадо, гордость так называемого «поколения 1898 года», последний лирик XIX века, не хотел променять Валенсию, на которую чуть ли не ежедневно итальянцы и немцы скидывают десятки тонн взрывчатых веществ, на Париж или Лондон. Неутомим Хосе Бергамин, все свои силы этот поэт отдал защите республики. В Мадриде на боевом посту Альберти. В этих людях, в их личной судьбе теперь будущее не только испанской литературы, но и испанского народа. Бригады вокруг Тортосы защищают теперь новые, еще не написанные книги, не только государственный строй — всю испанскую культуру.

Мы глубоко верим в ее будущее. Недавно одна дивизия после поражения, которое интервенты нанесли в Арагоне республиканцам, была отрезана от всей испанской армии и прижата к Пиренеям. Этой дивизии пришлось перейти через хребет, переступить через границу Франции. Придерживаясь комедийного ритуала «невмешательства», французские власти разоружили бойцов и стали опрашивать одного за другим, куда они теперь хотят ехать — в Барселону или в Бургос. Французские фашисты услужливо шептали, что Франко обещал помиловать всех, кто поедет в Бургос. Они уверяли бойцов, что война проиграна и что в Каталонии их ждет верная смерть. Один за другим бойцы разбитой дивизии подымали кулак и отвечали: «В Барселону — за честь родины». С ними вместе пришли крестьяне, женщины, дети, старики. Французский реакционный писатель Пьер Милль в удивлении пишет, что горный хребет, который казался в апреле непереходимым из-за снегов даже для армии, не остановил женщин с детьми. Да, они страшились одного — остаться под игом фашистов, и женщина с пятью детьми, перевалившая в полотняных туфлях через снежные Пиренеи, гордо крикнула французскому пограничнику: «В Барселону! И скорее!..» Эти сцены кажутся нам прочитанными в старой испанской эпопее, но это сцены сегодняшнего дня. Наравне с книгами, которые здесь, перед нами, они свидетельствуют, что испанский народ неустрашим, непобедим, бессмертен.

Предисловие к книге Луи Делапре «Героический Мадрид»

31 декабря 1936 года Илья Эренбург передал по телефону из Валенсии для «Известий» статью «Мы пройдем»; в ней он писал: «Правда — чистый разряженный воздух горных вершин. Люди, пораженные склерозом, от него умирают. Они клянутся правдой — дружные эквилибристы и построчные предатели. Они сериями создают дешевые мифы, и они готовы объявить таблицу умножения марксистской выдумкой. Они говорят: «Мы расскажем правду об Испании». Они не скупятся на кипы ассигнаций, которыми покупается болтовня одних, молчание других» В этой статье Эренбург рассказал о судьбе корреспондента газеты «Пари суар» в Мадриде Луи Делапре, правдивые статьи которого уродовала французская цензура. Эренбург привел в статье телеграмму, отправленную Делапре в редакцию газеты перед отлетом в Париж: «Вы напечатали всего половину моих корреспонденций. Я это знаю. Это ваше право. Но я полагаю, что вы могли бы избавить меня от ненужной работы. В течение трех недель я каждый день вставал в пять ча-

сов утра, чтобы вы получили вовремя информацию. Вы заставляли меня работать для мусорного ящика. Спасибо. Я вылечу в воскресенье, если только меня не постигнет судьба Гюи де Траверсе[1]*. Для вас это будет хорошо. Не правда ли? У вашей газеты окажется тоже «собственный мертвец». До моего отъезда я не буду ничего вам передавать. Зачем? Для вас зверское убийство ста испанских детей менее интересно, нежели вздох мистрис Симпсон». Самолет французского посольства, на котором летел в Париж Луи Делапре, был обстрелян фашистами. Смертельно раненный, Делапре скончался в Мадриде. Книга его корреспонденций «Героический Мадрид» вышла в Испании посмертно. Летом 1937 года русский перевод этой книги выпустил Соцэкгиз; он давно уже стал библиографической редкостью.*

Предисловие Ильи Эренбурга к этому изданию перепечатывается впервые.

— Вы опишете зверское убийство в Гренобле.

— Вы поедете в Канн: интервью с невестой английского короля мистрис Симпсон

— А вы... Что же, вас мы отправим в Мадрид. Вы расскажете читателям о вандализме красных.

Редакция газеты «Пари суар» отправила в Мадрид молодого журналиста Луи Делапре. Владелец газеты, крупный текстильный фабрикант, вздохнул — как-никак у этого Делапре четверо ребят!.. Однако у каждой большой газеты должен быть собственный корреспондент, убитый в Испании. Вот у «Энтрансижан» — Гюи де Траверсе, его расстреляли фашисты. А у «Пари суар»?..

Луи Делапре считался опытным журналистом. Он описывал и сенсационные происшествия, и трудные экспедиции. Он любил кино. Он был весел и беспечен. Не задумываясь, он поехал в Мадрид: ремесло давно приучило его к поездам, пароходам и самолетам.

Грозен, труден, живителен воздух борьбы. Увидав улицы Мадрида, Луи Делапре забыл о своем прошлом. Репортер бульварной газеты превратился в наследника Жюля Валлеса. Кровь на мостовых Карабанчеля требовала слов простых и тяжелых. Рано утром Делапре взбирался на десятый этаж мадридского небоскреба, там помещалась телефонная станция. Он передавал в Париж отчет о пережитом дне. Он скромно говорил: «Я только свидетель, я составляю протокол событий». Он рассказывал о германских самолетах, которые убивают детей, о героизме женщин, о человеческом достоинстве. Редактор говорил: «Вы расскажете о вандализме красных». Делапре увидел рабочих, которые под огнем спасали полотна Веласкеса, Греко и Гойи. Делапре увидел мальчика, который сказал ему: «Это первое издание «Дон Кихота»...»

Свидетель стал судьей: Делапре негодовал, клеймил, требовал справедливости.

Он не знал одного: когда стенографистка расшифровывала свои записи, редактор пожимал плечами: «Этот бедняга Делапре рехнулся...»

Каждое утро Делапре спешил на телефонную станцию. Он шел под бомбами, под снарядами: он выполнял свой долг. Из гула раздавалось: «Париж»... Делапре говорил беспечному Парижу о высоком мученичестве Мадрида. Он не знал, что говорит в пустоту.

Летчик привез в Мадрид пачку французских газет.

Делапре узнал о заговоре молчания: ни слова об убитых детях! Мистрис Симпсон! Ревнивец стреляет в неверную; и снова мистрис Симпсон. Незачем было кричать о справедливости в телефонную трубку. Делапре решил пробраться в Париж: там он расскажет всю правду о Мадриде.

Поздно началась вторая, подлинная жизнь Луи Делапре. Самолет, на котором он летел, был сбит фашистским истребителем. Тело Делапре привезли в Париж. Владелец газеты устроил пышные похороны. Над гробом говорили о храбрости, о правде: мертвый Делапре больше не был опасен. Он стал рекламой газеты: у «Пари суар» наконец-то оказался «свой собственный мертвец».

Когда газета «Юманите» осмелилась напечатать одну из статей Делапре, владелец «Пари суар» привлек ее к суду «за личное оскорбление». Правда о Мадриде оказалась личным оскорблением текстильного фабриканта. Маленькая книжка вышла в Мадриде. Ее набрали и напечатали испанские рабочие. Они знали, за что боролся и умер французский журналист Луи Делапре.

Предисловие к книге «Я свидетельствую»

Среди книг, написанных об испанской войне в 1937 — 1938 годы, особый общественный интерес вызывали документальные произведения бывших франкистов. К их числу относится и книга Антонио Руиса Вилапланы «Я свидетельствую», рассказывающая о терроре и жестокости мятежников в захваченных ими районах Испании. Эта книга стала одним из обвинительных заключений против франкизма.

В архивном фонде Государственного издательства художественной литературы, находящемся в ЦГАЛИ, сохранилась рукопись перевода книги Вилапланы на русский язык (в 1938 г. она готовилась к печати, но издана не была). Предисловие к русскому переводу написал Илья Эренбург. Оно публикуется впервые (текст печатается по рукописи).

Антонио Руис Вилаплана не коммунист, не анархист, не социалист. Это человек, никогда прежде не задумывавшийся над социальными проблемами. Он готов был поверить в демагогию испанских фашистов. Он задушевно вспоминает основателя «фаланги» Антонио Примо де Риверу. Он рассказывает, как он аплодировал генералу Мола. Он хотел порядка и той ограниченной дозы справедливости, которая позволяет людям читать стихи, играть в картишки и спокойно засыпать, не чувствуя на себе кровь близких. Он мог бы стать честным верноподданным генерала Франко.

[1] Корреспондент «Энтрансижан», расстрелянный франкистами.

Вместо этого Антонио Руис Вилаплана бросил свою службу и убежал во Францию. В декабре 1937 года я встретил его — между двумя бомбардировками — в Барселоне. Застенчиво улыбаясь, он сказал: «Я счастлив, что я здесь».

Книга Антонио Руиса Вилапланы объясняет нам, почему даже умеренные буржуазные интеллигенты не могут принять фашистского ига. Испанский фашизм не только туп и жесток, он антинационален. Он требует от своих адептов измены народу, и только кучка развращенных бездельем «сеньоритосов» согласилась пойти на службу Италии и Германии. Испанская буржуазия издавна славилась невежественностью и ленью. При монархии она занималась предпочтительно ростовщичеством. Железные дороги, копи, телефон, заводы — все сдавалось на откуп иностранным капиталистам. Несколько тысяч помещиков, проживавших по большей части за границей, владели половиной Испании. Диктатура Примо де Риверы была попыткой национального испанского фашизма, попыткой жалкой и сбивавшейся на оперетку.

Мы знаем, как живет республиканская Испания, какими надеждами полон ее народ, несмотря на поражения, на голод, на уничтожение городов чужеземной авиацией. Книга Антонио Руиса Вилапланы — первое показание о жизни другой Испании, захваченной интервентами. Это книга не писателя, но судьи, и она напоминает обвинительное заключение. Она написана сухо, сдержанно, без громких фраз и без восклицательных знаков. В сухости ее сила, и вряд ли кто-нибудь сможет спокойно читать о пытках, об убийствах, о надругательствах, которые царят в фашистской Испании.

В апреле 1937 года республиканская армия в Арагоне вынуждена была отступить под натиском интервентов. Одна из республиканских дивизий, лишившись артиллерии, отрезанная от других частей, десять дней бродила в Пиренеях. Ее бомбили восемьдесят германских самолетов. Командир дивизии, желая спасти бойцов, дал приказ отступить во Францию. Вместе с бойцами шли жители деревень, не захотевшие остаться под пятой фашистов: женщины, старики, дети. Они перевалили через горный хребет, покрытый снегами. Многие погибли при этом переходе. Одна женщина, дойдя до шалаша на границе, родила ребенка.

Французские власти, озабоченные лицемерным «невмешательством», стали опрашивать бойцов, одного за другим: «Куда вы хотите ехать — в Барселону или в Бургос?» Французские друзья генерала Франко шептали: «В Барселоне вас ждет смерть. В Бургосе вас ждет жизнь; генерал Франко прощает всех, кто сейчас перейдет к нему». Один за другим бойцы разбитой дивизии в страшные дни апрельского наступления фашистов отвечали: «В Барселону — за честь родины» Женщины кричали: «В Барселону!» — женщины, старики, дети, весь испанский народ. Что мог выбрать испанец Руис Вилаплана? Одно: «В Барселону».

Эта книга придает нам бодрость. Она показывает, что фашисты могут завоевать десятки городов, но они не могут сломить душу испанского народа.

Апрель 1938

Свидетель защиты

Романы французского католического писателя Жоржа Бернаноса (1888 — 1948) переведены на русский язык сравнительно недавно. В июле 1938 года его имя ничего не говорило читателям «Известий», и, отдавая целый подвал публикации фрагментов из публицистической книги Бернаноса «Большие кладбища под луной», газета даже не поставила под ним имени автора. Но читатели, надо думать, запомнили имя Бернаноса (названное в предисловии), так впечатляюща была картина кошмарного террора франкистов, изображенная им,— вакханалия расстрелов, массовые аресты, забитые до отказа тюрьмы и концлагеря (людей брали по самым нелепым доносам), эйфория палачей и растление церкви, покрывавшей убийства. Никто не чувствовал себя в безопасности — ни мэр города, ни безземельный крестьянин, ни рабочий, ни буржуа. За семь месяцев на острове Майорка, который можно объехать за два часа,— три тысячи расстрелянных...

Материал Бернаноса был озаглавлен «Свидетель защиты» — это название дал ему Илья Эренбург. Один из организаторов парижского и мадридского конгрессов писателей в защиту культуры, отдавший много сил объединению антифашистов различных политических ориентаций, он сразу оценил значение свидетельских показаний Бернаноса и, несмотря на отчаянную занятость (в июне 1938 года Эренбург написал для «Известий» восемь больших статей), перевел их для газеты и написал предисловие к публикации.

Предисловие Эренбурга к книге Бернаноса перепечатывается впервые.

Мы мало знаем о жизни в районах Испании, захваченных фашистами. Газеты, которые выходят в Саламанке, Севилье или в Сарагосе, печатают предпочтительно отчеты о торжественных похоронах и патриотические вирши. Показания испанских перебежчиков могут быть отведены как лицеприятные: человек, который чудом спасся от смерти, склонен к преувеличениям.

Перед нами документ исключительной важности: книга Жоржа Бернаноса. Бернанос известен как один из крупнейших писателей современной Франции. Его роман «Радость» был увенчан жюри «Фемина»; другой его роман «Дневник деревенского священника» получил в 1936 году премию Французской Академии. Тираж его книг доходит до ста тысяч. Жорж Бернанос не марксист, не еврей, не масон, даже не либерал. Он страстный католик, автор канонической книги «Жизнь святого Доминика».

В начале фашистского мятежа Бернанос находился на острове Майорке. Он рассказывает:

«Скажу прямо, я встретил первые итальянские самолеты без неприязни. Узнав от одного общего друга об опасности, которая угрожает моей семье, если каталонские дружинники, высадившиеся в Порто Кристо, продвинутся дальше, итальянский консул явился ко мне и заверил меня, что его правительство позаботится обо мне».

Итак, перед нами не только французский католик, но и человек, находившийся в тесной связи с испанскими мятежниками. Его сын был фалангистом, лейтенантом армии Франко. На судебном разбирательстве Жорж Бернанос мог бы предстать как свидетель защиты. Тем ценнее его книга «Большие кладбища под луной». В ней много любви к людям, много отчаяния. Бернанос обличает лицемерие духовенства, предательство французских фашистов, низость чернорубашечников. Его голос достигает пафоса одного из самых ярких памфлетистов довоенной Франции — Леона Блуа. События, имевшие место на Майорке,— не тема этой книги, они только ключ к ней. Увидав, что сделали фашисты с мирной Майоркой, Бернанос во многом усомнился. У меня нет возможности остановиться здесь на самой книге, чрезвычайно интересной. Я перевел несколько отрывков, посвященных деятельности фашистов, которых Бернанос насмешливо называет «крестоносцами», на злосчастном острове.

Антонио Мачадо

В феврале 1939 года испанские события близились к трагической развязке. Республиканской армии, перешедшей с оружием французскую границу, было отказано в праве сражаться с фашизмом на мадридском фронте, она была разоружена и интернирована. Французские концлагеря в Аржелесе переполнились испанскими беженцами. Бойцы-республиканцы, жители каталонских деревень, интербригадовцы, поэты республиканской Испании содержались там в чудовищных условиях — без бараков, без воды и горячей пищи.

22 февраля 1939 года Илья Эренбург писал в «Известиях»: «Я понимаю, как трудно приютить 300 тысяч беженцев. Я не хочу из великодушия и низости делать политические выводы. Мне просто стыдно за страну, которую я люблю... Гарибальди в 1870 году спешил, чтобы спасти Париж. Рудин умер на французской земле. Я еще помню эту Францию, и мне стыдно за холодный песок Аржелеса, смоченный слезами испанских женщин».

22 февраля 1939 года в изгнании возле Аржелеса умер испанский поэт Антонио Мачадо. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели...» Эренбург ценил не только высокий дар поэта, но и подлинную человечность Мачадо, недаром он сравнивал его одновременно и с Чеховым и с Блоком.

23 февраля 1939 года Эренбург передал в «Известия» текст некролога о Мачадо (он перепечатывается впервые) и сообщил, что на могилу испанского поэта был возложен венок от советских писателей.

В дни горя Испании еще одно горе, еще одна потеря: умер большой поэт Антонио Мачадо. Я познакомился с ним перед войной в Мадриде. Он писал стихи, легкие и прозрачные. Он был окружен любовью молодых поэтов — Гарсиа Лорки, Неруды, Альберти. Сухая сьерра Кастилии, когда он глядел на нее, убиралась цветами, как в старых «серанильях» испанских пастухов.

Под бомбами в Мадриде Мачадо писал стихи, и я думаю об этом как о большой победе человека в наши бесчеловечные дни. Его насильно увезли в Валенсию, потом в Барселону. Он часто вспоминал любимый Мадрид. В шестьдесят три года он жил жизнью бойца. Работая, он не знал передышки. Он писал стихи, он писал статьи, он писал листовки. Он говорил о прекрасных камнях Испании и о мужестве бойцов Эрбо, о Дон Кихоте и о сердце комиссара. Он жил в Барселоне в промерзшей комнате. Он работал ночью. Друзья иногда приносили ему папиросы, кофе. Он никогда не жаловался. У него были молодые глаза, а он едва ходил. Он написал бойцам Эбро: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей»,— и я видел, как, волнуясь, командир Тагуэнья читал эти строки бойцам.

В последний раз я был у Мачадо незадолго до падения Барселоны. Мы говорили о поэзии. Мачадо повторял любимые стихи испанского поэта XV века Хорхе Манрике:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море.
Берет оно столько рек!
Туда уходят навек
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек.

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть».

Он не был моралистом. Он был поэтом, и он был испанцем — он был бойцом.

Он увидел перед смертью самое страшное — исход народа. Он увидел, как бездушные люди оскорбляли его братьев. Он умер в деревушке Кольюр, близ испанской границы. Из последних домов Кольюра виден пляж Аржелеса. Антонио Мачадо перед смертью видел муки своего народа: на песке Аржелеса пытали голодом и обидой бойцов Эбро, молодых поэтов Испании, друзей и учеников Мачадо.

Когда фашисты убили в Гранаде Гарсиа Лорку, Мачадо написал: «Преступление свершилось в Гранаде!»... Может быть, перед смертью он еще повторял: «Преступление свершилось в Аржелесе!»...

Потомкам достанутся стихи Мачадо, чистые, как вода Мадрида. Друзья Мачадо не забудут человека — детская улыбка, горячие глаза, жизнь в звуках, смерть в походе.

Моряк на земле

Илья Эренбург так описал первую встречу с Рафаэлем Альберти в Мадриде весной 1936 года после победы Народного фронта в Испании: «Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского: у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читал романсеро современности; стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржуа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон». С той растревоженной весны началась их дружба. Они встречались в «горящем от боя» Мадриде, в Барселоне, Париже, Буэнос-Айресе, в Москве и в Риме. Самой горькой была парижская встреча 1939 года — Эренбург говорит об этом в речи, которой завершается эта публикация.

19 декабря 1962 года в Москве в Центральном Доме литераторов был большой вечер, посвященный шестидесятилетию Альберти. Эренбург на нем председательствовал. В его архиве сохранилась рукопись речи, которую он тогда произнес. Эта речь печатается впервые.

В 1924 году самый большой поэт Испании Антонио Мачадо, председатель Комитета национальных премий по литературе, вручил награду никому не известному красивому худому юноше, андалусцу Рафаэлю Альберти. Поэт получил столь высокую награду за первую свою книгу «Моряк на земле», и было ему двадцать два года. 16 декабря 1962 года Рафаэлю Альберти исполнилось шестьдесят лет. Его чествуют далеко от родины — в Монтевидео, в Буэнос-Айресе: для поэта нет места в фашистской Испании. Я сказал неточно — для него там нашлось место — в сердце испанского народа. Как это ни удивительно, об Альберти пишут в газетах и журналах, выходящих в Мадриде, в Севилье, в Барселоне, его стихи включают в антологии. молодые писатели этой побежденной и непобедимой страны называют его самым крупным из живых испанских поэтов. Можно изгнать человека, нельзя изгнать стихи, можно подменить живую плоть общества фалангами на руке робота, скрепами или винтами, но подлинного искусства ничем не заменить.

Какое необычайное зрелище: во главе Испании стоит призрак давно мертвого мира — маленький генерал, а самый большой ее художник — Пабло Пикассо и самый большой ее поэт — Рафаэль Альберти — коммунисты! Это не случайность, это правда истории.

«Моряк на земле» — название может показаться романтическим трафаретом, но в нем необычайно точное определение и Рафаэля Альберти, и природы поэзии. Моряки на земле были и бывают и отважными солдатами, и мудрыми географами, описывавшими открытые ими острова, и учеными, и философами. Их походка выдает привычку к штормам — они ступают по суше несколько неуклюже, как они ступали по борту корабля. Они могут жить на земле, любить, сражаться, строить дома, писать поэмы, но у них про запас есть море, его даль, его бури, его синева. Так и поэт, готовый идти в ногу с народом, прокладывать пути по целине, восхищаться городом или нивой, неизбежно помнит ветер и соль, он не умнее других, но у него есть нечто, его отличающее,— море, стихия искусства.

Путь Рафаэля Альберти был, говоря языком критиков, сложным, извилистым: никогда поэты не катят по прямым автострадам, на то они и поэты. Как Маяковский, Альберти был в ранней молодости художником, впервые он выставил свои полотна в Мадриде, когда ему было шестнадцать лет, и его полотна (вспомним время) были кубистическими. Любовь к живописи он сохранил на всю жизнь. В 1949 году он выпустил сборник стихов, посвященный Пикассо, в нем стихи о разных мастерах — о Леонардо и о Тинторетто, о Рембрандте и об Эль Греко, о Веласкесе и о Гойе, о Делакруа и Ван-Гоге, о Сезанне и о Пикассо. Когда в 1954 году я был в Буэнос-Айресе, я видел новые рисунки, акварели Альберти и вспомнил его слова: «Меня охватывает безумье — я кистью пишу стихи».

Прибегая к образу Жан-Ришара Блока, Альберти не был пилотом на пассажирских самолетах, он был летчиком-испытателем. В свое время многие читатели находили непонятными стихи Альберти (как у нас в 1918 году считали заумным бредом поэмы Маяковского), а теперь Альберти — классик. Следует сказать, что, будучи новатором, часто соприкасаясь в своих путях с Элюаром, Альберти всегда любил старых испанских поэтов, самых разных — и Кеведо и Гонгору, много у них взял.

В бурную весну 1936 года я видел, как Рафаэль Альберти читал стихи на многочисленных митингах — на аренах, где обычно происходит коррида — бой быков. Его слова проходили по толпе, как ветер, подымали, вели в бой.

Можно ли себе представить оборону Мадрида, годы войны без Рафаэля Альберти и его жены — писательницы Марии Тересы Леон? Я видел их возле Талаверы под бомбежкой, в Гвадарраме среди дружинников, в окопах Университетского городка. В годы войны он писал и «романсес» (традиционные народные песни), и лирические стихи. Вот строки из стихотворения, посвященного крестьянам в республиканской армии,— перевел его Борис Пастернак, любивший поэзию Альберти:

Все те ж они на мостовых столицы,
Что на полях в страду у шалашей.
Им кажется, как семенной пшеницы,
Их ждут в глубоких бороздах траншей.
Никто не отдает себе отчета.
Куда спешит а подоспевший близь
Находит ток, где до седьмого пота
Молотят смерть, чтоб заработать жизнь

Сейчас я вспоминаю горькие дни начала 1939 года. Последние бойцы-республиканцы перешли французскую границу. Умер Мачадо. Рафаэль и Мария Тереса пришли ко мне в парижскую квартиру, мы сидели и печально молчали.

Вдруг Альберти вынул детскую губную гармошку и заиграл — раздалась печальная мелодия Андалусии, и поэт, как ребенок, застенчиво улыбнулся. Все у него отняли — осталась только песня — поэзия.

С тех пор прошло двадцать четыре года, почти четверть века, половина жизни — в изгнании. Разве может жить испанец без Испании, да еще такой испанец, как Альберти, влюбленный в свою родину до слепоты, до немоты? Он не дрогнул, не согнулся, ни к чему и ни к кому не приспособился. В изгнании он написал об Испании самые чистые, самые пронзительные стихи. Он не изменил ни искусству, ни народу — остался поэтом, защищающим красоту, сложность, трудность искусства, и остался борцом-коммунистом, готовым отдать и годы и жизнь за торжество справедливости.

Встретившись со мной в Буэнос-Айресе, он ночью написал стихотворение, посвятил его мне — встреча, общие воспоминания о годах войны заставили его еще раз прошептать или пропеть: «Вернуться...»

В 1956 году в Москве он писал, обращаясь к советскому народу:

Твое сердце открыто и нежно.
Чего б я ему не принес?
И реку Гуадалквивир,
от цветения лимонов бледную,
и рощи кордовских олив,
и дрожь тополей у Дуэро...

(Перевод О. Савича)

В своей книге «Возвращения» он написал так об Испании, что нельзя раскрыть эту книгу без муки и без упования. Он возвращается на родину. Я видел молодых испанцев в Париже, они мне рассказывали, что стихи Альберти стали присягой и молитвой, исповедью и рожком горниста — их читают в студенческих комнатках, их переписывают старики и подростки, их повторяют любимым, их декламируют на собраниях, их шепчут в тюрьмах. Поэту достался тягчайший крест — верность, судьба изгнанника. А победила поэзия.

Альберти впервые приехал к нам в 1934 году — на съезд писателей. Он вернулся много времени спустя, он говорил: «Не узнаю улицу, не узнаю разговоров — все стало крупнее, смелее. А сердца узнаю...» Он не только был предан идее, он полюбил ее носителей, не только радовался нашим успехам, он и болел с нами нашими горестями. Обидно, что он сегодня не в Москве. Но мы умеем помнить и любить — мы обнимаем поэта. Однажды он сказал: «Бывают очень длинные дороги, но любовь всегда длиннее»...

Суперобложка книги И. Г. Эренбурга «Испания». Художник Джон Хартфилд.

САНДИНО В СОЗНАНИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Портрет Аугусто Сесара Сандино (журнал «Никарауак»)

В последние годы в странах западного полушария началась подготовка к 500-летию открытия Америки, которое будет отмечаться в 1992 году. По-разному готовятся к этой дате в странах континента. В США планируются грандиозные праздничные мероприятия, проникнутые идеей «единой Америки», которую, по их представлениям, именно они и олицетворяют. Иное отношение к юбилею существует в странах Латинской Америки, для которых, по словам известного мексиканского философа Леопольда Сеа, имело место и «сокрытие» Америки, американского мира под навязанными концепциями и представлениями, привнесенными из Европы. Древняя, а нередко и более богатая культура коренного населения континента подверглась жестокому уничтожению, что, по мнению американского историка У. З. Фостера,

«было одной из самых тяжелых катастроф в культурной истории человечества»

Попытки возродить национальные культуры в ходе борьбы за независимость стран латиноамериканского континента явились как бы новым открытием Америки. Примечательно, что, как утверждают некоторые латиноамериканские ученые, и само название Нового Света произошло даже не от имени знаменитого путешественника Америго Веспуччи, а от названия отвесной скалы на территории современной Никарагуа, которая еще с доколумбовых времен индейцами называется Америкка.

В ситуации острой борьбы идей особый интерес представляет опубликованная в конце 1985 года статья никарагуанского философа Алехандро Серрано Кальдеры «Сандино в сознании Латинской Америки».

Ни один народ не может существовать оторгнутым от своего культурно-исторического прошлого, его традиции помогают противостоять силам, заинтересованным в разрушении его духовной опоры. Эту истину подтверждает процесс укрепления сознания единства культурно-исторической основы этого региона. Во многом здесь оказывается подспорьем наследие прославленных борцов за свободу народов континента — Боливара, Марти, Сандино и других. Сегодня оно обретает новую жизнь.

Характерную примету формирования этого сознания являет собой и деятельность журнала, на страницах которого появилась статья А. Серрано Кальдеры. Вот уже шесть лет министерство культуры Никара-

гуа издает «Никарауак», название которого восходит к слову «арауак» (или «аравак») — от индейского племени араваки, что значит также и «человек». Само название журнала подчеркивает, что борьба за независимость одновременно является и борьбой за нового человека. Существенное место в этой борьбе принадлежит культуре. Член руководства Сандинистского фронта Национального освобождения писатель Томас Борхе в статье, опубликованной в этом же выпуске «Никарауака», пишет о себе как о революционере

«страны, гордой тем, что ее территория несопоставимо меньше ее поэзии, ее великодушия, ее революции».

Место «новой народной поэзии» в жизни Никарагуа, где пост министра культуры занимает известный во всем мире поэт Эрнесто Карденаль[1],— вопрос особый и самостоятельный. (Кстати, в номере опубликована рецензия на антологию «новой народной поэзии», предисловие к которой написано Карденалем.)

Выпуск «Никарауак», о котором идет речь, можно назвать специальным: большая его часть посвящена Аугусто Сесару Сандино, его борьбе и его «живой мысли». Именно так — El pensamiento vivo — названо двухтомное издание наследия Сандино, вышедшее в 1981 году с предисловием Серхио Рамиреса, писателя и вице-президента Никарагуа. В журнале помещены два киносценария о жизни Сандино — Серхио Рамиреса и новеллиста Лисандро Чавеса Альфаро. Здесь же читатель найдет поэму Хулио Валье Кастильо о сподвижниках Сандино.

Журнал прежде всего обращается к участникам никарагуанской революции и «всех революций нашей Америки», которые являются «одной единой революцией», в силу чего дело Никарагуа становится делом всех латиноамериканцев. Уместно привести здесь строки из письма Сандино, направленного главам правительств стран Латинской Америки 4 августа 1928 года:

«Ради пятнадцати народов, населяющих континент, интересы которых весьма пострадают,— писал «генерал свободных людей» (напомним, что так назвал его Анри Барбюс),— если Никарагуа станет колонией Дяди Сэма, я беру на себя смелость обратиться к вам не на ханжеском языке дипломатической вежливости, а на грубом и откровенном языке солдата...

Нас — латиноамериканцев — 90 миллионов; мы должны помнить о нашем единстве, должны понять, что империализм янки — наш злейший враг, который стремится покончить захватническим путем с нашей национальной честью и свободой наших народов...»

Автор статьи — Кальдера — рассматривает Сандино как прямого наследника идей Боливара («Освободителя»), Сан-Мартина, Сукре, Идальго-и-Костильи, Хосе Марти.

Напоминая о заветах Боливара, Кальдера приводит его слова:

«Законы должны быть рождены тем народом, который им подчиняется... Вот каким кодексом нам следует руководствоваться, а не кодексом Вашингтона!»—писал он, подразумевая конституцию США 1787 года.

Сходные мысли высказывал и Хосе Марти в иных условиях конца XIX века, когда он говорил:

«Время покажет, сколь глубоки были корни этого цветущего древа и что прочнее связует народ воедино — общее горе и совместно принесенные жертвы или одинаковое для всех стремление к наживе. Только время покажет, не зреют ли в недрах этой гигантской, поразительной страны силы чудовищного зла и разрушения».

Поэтому он энергично вел борьбу против тех, кто намеревался править народами Латинской Америки,

«не считаясь с их национальными особенностями, своеобразным этническим составом и неукротимой силой; управлять при помощи законов унаследованных от четырех веков свободного предпринимательства в Соединенных Штатах или девятнадцати веков монархии во Франции».

Проблема отношений с северным соседом, таким образом, не нова; она возникла и обострялась по мере того, как США вырастали в великую империю: в Никарагуа, как отмечает А. Серрано Кальдера, результаты эволюции этих отношений ощущались уже со второй половины XIX века. Без осмысления ее нельзя понять того, что происходит в настоящее время на латиноамериканском континенте, нельзя понять ни характера революционного процесса в Центральной Америке, ни надежд, питающих сандинистскую революцию.

«Тому, кто ищет корни революций и народных восстаний, потрясающих Латинскую Америку, в конфликте между Запа-

[1] Стихи см. в «ИЛ», 1969, № 6 и 1982. № 8, фрагмент из поэмы «Час 0» см. в «ИЛ», 1970, № 3.

дом и Востоком,— пишет он,— не понять подлинной природы этих конфликтов».

Идея общей борьбы Латинской Америки поддерживалась и поддерживается многими представителями латиноамериканской культуры. Достаточно напомнить, что в состав первого комитета «Руки прочь от Никарагуа» входили Хосе Антонио Мелья (Куба), Диего Ривера и Давид Альфаро Сикейрос (Мексика), Фарабундо Марти (Сальвадор) и другие. Фернандо Кармон (Мексика), являющийся в настоящее время председателем этого комитета, пишет:

«Сегодня на земле маленькой и великой родины Рубена Дарио, Аугусто Сесара Сандино и Карлоса Фонсеки поставлены на карту судьбы «нашей Америки».

Заметим, что и Грэм Грин свою книгу «Мое знакомство с генералом...»[1] посвящает друзьям в Никарагуа, Сальвадоре и Панаме, подчеркивая таким образом единство судеб этих стран.

«Соединенные Штаты должны будут понять,— пишет Кальдера,— что неотъемлемым правом наших народов является полное завоевание свободы, той самой свободы, за которую они боролись в своей войне за независимость Если это не будет понято, никогда не будет мира, ибо неукротимый дух Боливара, Марти и Сандино все еще проносится по равнинам и горным хребтам нашей Америки вновь борясь и вновь погибая за то, чтобы завоевать свободу навсегда».

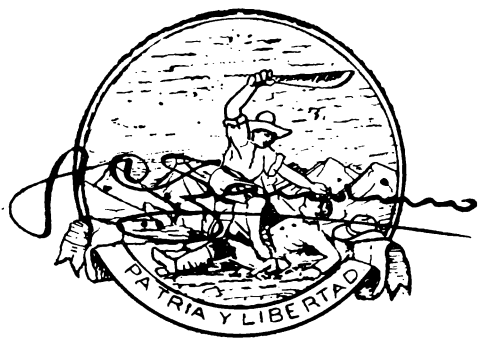
Когда мы говорим о том, что идеи Сандино живы и по сей день, что они крепнут и развиваются, мы имеем в виду не только революционные преобразования в политике и экономике сандинистской Никарагуа, которыми восхищена вся прогрессивная латиноамериканская общественность. Мы имеем в виду и культуру никарагуанского народа, которой была дарована новая жизнь после победы революции 1979 года.

Идеи Сандино питают и нынешнюю никарагуанскую литературу. Тот, кто пишет о современной литературе Никарагуа, непременно отмечает удивительный феномен: все известные писатели сражались в сельве под флагом Сандино, теперь они активно строят новую жизнь в Никарагуа. Писатели, делающие революцию, революционеры, делающие литературу.

Взять, к примеру, жизнь и творчество Серхио Рамиреса — вице-президента Никарагуа, известного писателя, автора четырех книг. Последнее его произведение «Ты боишься крови?» охватывает период истории Никарагуа от 30-х до 60-х годов XX века. Это не случайно. Начальный этап никарагуанской революции открылся именно героическим вооруженным восстанием под руководством легендарного «генерала свободных людей» Аугусто Сесара Сандино. Идеи Сандино, сандинизма — можно сказать, все его стороны и грани — ощутимы в романе Рамиреса.

Рамирес, как и многие его соратники-революционеры — Даниэль Ортега, Умберто Ортега, Омар Кабесас, Томас Борхе, Хайме Уилок, Карлос Нуньес,— тоже пишущие о революции, в наследии Сандино черпают духовные силы. К сандинизму его, как и его друзей, привели годы революционной деятельности. Сандинизм для них всех стал идеологией освободительной борьбы, борьбы за независимость и социальный прогресс. Недаром многие революционные документы нынешней Никарагуа заканчиваются так, как заканчивал свои послания сам Сандино: «Свободная Родина или смерть!»

А. З.



Личная печать Аугусто Сесара Сандино (журнал «Никарауак»)

[1] Фрагменты публиковались в «ИЛ», 1986, № 4—5.

Антирубрика

МИКЛОШ ТОТ-МАТЭ

РАССКАЗЫ

Перевод с венгерского ПАВЛА БОНДАРОВСКОГО

Фокус и Покус

Цирк был переполнен. На арене показывал свои трюки знаменитый иллюзионист Фокус. Вот он извлек из цилиндра зайца и тут же вслед за ним второго. Публика зааплодировала. Маэстро Фокус элегантно раскланялся, улыбнулся и принялся готовиться к следующему номеру. И тогда длинноволосый молодой человек с бакенбардами, сидевший в первом ряду, выкрикнул:

— Да разве это фокусы?!

Все посмотрели в его сторону, а зрители в задних рядах даже привстали, только маэстро Фокус не обратил на реплику никакого внимания. Он стал доставать из цилиндра голубей, затем вытащил и целую голубятню с птицами, которые весело проворковали известную народную песенку.

Аплодировали теперь сдержаннее, поскольку все наблюдали за молодым человеком с бакенбардами и ждали, что он скажет. Обладатель бакенбардов махнул рукой, затем, полуобернувшись назад, чтобы и далеко сидевшим было слышно, громко заявил:

— С бородой фокусы! Нахальство сегодня с такими выступать!

© Tóth-Máthé Miklós, 1980.

Этого уж маэстро Фокус вынести не мог. Гневно сверкая глазами, но продолжая вежливо улыбаться, он ткнул волшебной палочкой в направлении молодого человека:

— Если, по-вашему, мои фокусы с бородой, идите сюда и сделайте то же самое. Дамы и господа, за этого самозванца я не отвечаю!

Молодой человек кивнул. Сопровождаемый аплодисментами и одобрительными возгласами, он вышел на арену. Большинство зрителей приняли все это за клоунскую шутку, предусмотренную программой.

— Мерзавец! — прошипел маэстро Фокус, когда молодой человек подошел.— Кончится представление — шкуру с тебя сдеру! Ты мне испортил номер.

Директор в это время уже беспокойно топтался у выхода на манеж, не зная, что предпринять. В его цирке еще не бывало, чтобы кто-нибудь попросился на арену и устроил скандал. Он во всем винил Фокуса, который позвал к себе этого крикуна. В театрах в подобных случаях опускают занавес, но в цирке-то что опустишь? Не купол же!

Затаив дыхание, он наблюдал за молодым человеком, который уже возился с реквизитом Фокуса и затем — директор не верил своим глазам — один за другим повторил все те трюки, которые до него проделал иллюзионист.

Публика неистовствовала, но молодой человек жестом попросил тишины и сказал:

МИКЛОШ ТОТ-МАТЭ — TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS (род. в 1936 г.)

Венгерский писатель, драматург. Автор повестей, рассказов, пьес «Два дня в роще акаций» («Két nap az akácosban», 1977), «Черный человек» («A fekete ember», 1984). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Мужчина в галстуке бабочкой» («A csokornyakkendős». Budapest, Magvetö könyvkiadó, 1980).

— Дамы и господа, как я уже говорил, эти фокусы устарели. Считайте их просто разминкой. А теперь позвольте развлечь вас трюками поновее.

— Проваливай отсюда! — Не переставая улыбаться, Фокус пнул его в лодыжку.— Львами затравлю, ты, дохляк! Если уберешься сию минуту, может, еще отделаешься полсотней оплеух.

— Дамы и господа! — ничуть не смутившись, продолжал молодой человек, отойдя от Фокуса на несколько шагов.— Как вы видите, весь первый ряд, за исключением моего места, заполнен. Сейчас я взмахну рукой, и все оттуда исчезнут.

И в самом деле, после взмаха его руки целый ряд опустел.

— А теперь я верну ту полную женщину в большой шляпе, что сидела рядом со мной.

Полная дама в большой шляпе вновь оказалась на своем месте. Она была такая же полная и в такой же большой шляпе, разве что чуть более взволнованна. За ней последовали остальные, пока первый ряд снова не заполнился.

Публика ликовала, однако это были еще цветочки. Молодой человек заставил исчезнуть оркестр, и на его месте появился ансамбль «Битлз». Затем рядом с квартетом англичан он поместил их королеву вместе с троном. Чуть позднее на арене выросли всемирно известные сооружения — Эйфелева башня, собор святого Петра, Нотр-Дам... За ними последовали дремучий лес, море, скалистые горы. Потом настала очередь самого большого аттракциона. По просьбе молодого человека оркестр заиграл туш, и на манеж опустились луна и дюжина звезд.

Аплодировать публика уже не могла. Она не выходила из полуобморочного состояния, а несколько старушек принялись, перебирая четки, молиться на молодого человека.

Придя в себя, директор счел своевременным вмешаться.

— Дамы и господа, объявляется антракт! — прокричал он, и грянул марш.

Пока публика пробивалась наружу к буфету, директор бросился к молодому человеку.

— Вы за это ответите! Вы сорвали представление! — заорал он.

— Но ведь я имел успех...

— Все равно!.. Как вы посмели выйти на манеж? Кто вы такой?

— Меня зовут Покус,— представился молодой человек.— По образованию я иллюзионист, но в настоящее время работаю в хлебопекарной промышленности пекарем...

Лицо директора окаменело. Сейчас этот субъект станет выпрашивать ангажемент! Так оно и случилось.

— Примите меня на работу господин директор,— попросил молодой человек.— Я всю жизнь мечтал выступать в цирке.

Фокус стоял вплотную к директору и взглядом готов был разорвать молодого человека на мелкие кусочки.

— Что вы сказали? — поразился директор.— После всего, что произошло, у вас еще хватает наглости клянчить ангажемент?! Радуйтесь, что я не передал вас полиции!

— А мои номера? Они вам понравились?

— Да ну что вы...— директор махнул рукой.— Смехотворные трюки, сплошной примитив. И исполняете вы их на совершенно любительском уровне. Но оставим эту тему, друг мой, потому что если бы я даже и хотел, то все равно не смог бы вас ангажировать. Кроме маэстро Фокуса у нас еще четыре замечательных фокусника. Короче говоря, нет штатных единиц. Понятно?

— Но ведь талант...— Молодой человек отчаянно ухватился было за это слово, но затем, возмущенный презрительным хмыканьем маэстро Фокуса, сказал: — Если понадобится, я заставлю исчезнуть весь этот город вместе с цирком, не говоря уже о пяти фокусниках. Тогда у вас сразу появятся штатные единицы!

— Убью! — прохрипел маэстро.

— Да перестаньте вы...— успокоил Фокуса директор.— У вас странные представления о жизни, мой юный друг. Маэстро Фокус состоит на службе в нашем цирке уже двадцать лет, остальные тоже не вчера пришли... А вы только выбрались на манеж и тут же требуете ангажемент. Что было бы, если бы мы принимали всех, кто к нам просится? Как вы думаете, к чему бы это привело?

— Но я... я ведь потому...

— Вы еще новичок,— директор смерил его взглядом.— Не стану отрицать, кое-какое понятие об искусстве фокусника у вас есть. Но, поверьте, эти трюки только раз вскружат голову публике, а потом надоедят. Море да Эйфелева башня, луна да звезды, такие аттракционы не для цирковой арены, все это можно увидеть и по телевизору.

— Извольте, я любые фокусы могу,— защищался молодой человек.— Эти я делал только из-за отсутствия реквизита. Пламя могу изрыгать и, если захотите, поджарю на нем омлет из ста яиц.

— Сын мой,— директор перешел на отеческий тон,— у вас замечательная профессия. Хороший пекарь сегодня — большая редкость. Что сказала бы хлебопекарная

Давайте смелее опираться на молодые таланты.
Рисунок Андраша Месароша.

промышленность, если бы мы переманили у нее молодого работника? Поймите, я не имею права так поступить. Может быть, через несколько лет, а сейчас ни за что. Публика и так довольна нашими фокусниками, и когда маэстро Фокус достает из цилиндра голубя или зайца, это всегда вызывает бурный восторг. У искусства фокусника есть свои традиции, их нельзя попирать каждый день!

Молодой человек с грустью посмотрел на директора и на ухмыляющегося маэстро Фокуса. Он почувствовал огромное желание заставить их исчезнуть, но признался себе, что это не лучший способ мести. А потому удалился из цирка сам. В тот день он работал в ночную смену, и надо было спешить в пекарню.

После антракта маэстро Фокус мог без помех продолжать выступление. Он достал из цилиндра забавного пингвина и тюленя. Пингвин пустился в пляс, а тюлень скакал вокруг него и гортанным голосом выкрикивал: «Ух, ух, ух!».

Публика была в восторге.

Этажи

Директор жил на четвертом этаже, подчиненный — на пятом. Это обстоятельство долгое время было им неизвестно, в своем одиннадцатиэтажном доме они почему-то ни разу не встретились. Но однажды случай свел их на площадке перед лифтом.

— Что такое? — брови директора от удивления поползли вверх.— Я же много раз говорил, чтобы за пределами учреждения меня не беспокоили! Если у вас какое-то дело, приходите завтра!

Подчиненный открыл перед ним дверь лифта и поспешил заверить, что вовсе не хотел его беспокоить, но он тоже живет здесь, в этом же доме.

— Да ну! — взгляд директора смягчился.— Видите ли, мне это как-то сразу в голову не пришло. И давно мы с вами соседи?

— Три недели, коллега директор. С тех пор, как я обменял квартиру.

— Хорошо,— рассеянно пробормотал директор.— Очень хорошо... На каком этаже живете?

И тут выяснилось, что его подчиненный живет как раз над ним, на пятом этаже. Узнал и подчиненный, что его начальник живет как раз под ним, на четвертом.

— Надо же,— сказал директор жене,— какое странное совпадение! Знаешь, кто живет над нами?.. Один из моих подчиненных... как его... погоди-ка...

Он долго напрягал память и уже за ужином вдруг вспомнил:

— Карой Гершли!

— Кто это, дорогой? — удивилась жена.

— А... да тот мой подчиненный, который живет над нами. Насколько я помню, работает в бухгалтерии, завтра проверю. Недавно заходил ко мне по какому-то делу, вот фамилия и запомнилась.

Подчиненный тоже сообщил за ужином, что под ними живет его директор. Пятерым своим детям он велел потише бегать по квартире, потому что дядя директор человек занятой и беспокоить его нельзя. Пока длился ужин, дети вели себя смирно, но скоро забыли отцовские наставления, стали опять резвиться, опрокинули три стула да еще сдвинули буфет. Большая цветочная ваза грохнулась на паркет и разбилась вдребезги.

— Что это у них? Гулянка?! — директор поднял глаза к потолку.— Завтра же поговорю с этим Гершли, чтобы не забывал, кто под ним живет!

На другой день в учреждении он совсем упустил из виду Гершли, но дома ему опять напомнили о нем шлепки, удары и топот. Директор очень рассердился и хотел было пойти наверх, чтобы принять меры, но жена его отговорила.

— Не устраивай скандала,— сказала она.— Ведь дома ты частное лицо, и Гершли только на работе твой подчиненный.

— А хоть бы и так! Пусть уважают нормы социалистического общежития! В конце концов, не в конюшне живут, человеку и отдыхать надо.

В ту ночь директор спал беспокойно. Ему мерещилась злорадная физиономия Гершли, который откровенно наслаждался тем, что расхаживает, принимает ванну, кувыркается с детьми и, что особенно возмутительно, даже нужду справляет у директора над головой.

«Такому субъекту,— думал директор,— наверняка доставляет удовольствие мысль о том, что он может скакать надо мной сколько заблагорассудится. Потому что сейчас он сверху».

Утром в учреждении, даже не выпив обычную чашечку кофе, директор вызвал Гершли.

— Я вас пригласил по частному делу.— Он протянул сигареты.— Хочу поговорить с вами по душам.

— Слушаю вас, товарищ директор.

— Видите ли, друг мой,— начал он озабоченно,— дома вы живете надо мной, но это, разумеется, не означает, что вы занимаете более высокое положение. Это, надеюсь, достаточно ясно! Так вот, я вас очень прошу впредь вести себя в квартире тихо. До сих пор, как я мог убедиться на опыте, у вас это не получалось.

— Дети, коллега директор,— стал оправдываться подчиненный.— С ними, знаете ли, нелегко справиться!

— Так накажите их! — строго распорядился директор.— В конце концов, вы им отец или нет? Если бы у меня были дети, уж не беспокойтесь, я бы справился со своими родительскими обязанностями. И вы, надеюсь, справитесь со своими. Ведь отнюдь не все равно, в каком настроении приходит утром на работу руководитель учреждения, где трудятся две тысячи человек. У вас дома есть телефон?

— Есть, коллега директор!

— Напишите-ка здесь его номер, будьте любезны!

Подчиненный написал.

Дома он осуществил некоторые нововведения: подвесил гамаки и строго-настрого наказал детям по вечерам возиться только в них, да и ужинать тоже.

— Ты должна понять,— успокаивал он жену, смотревшую на все это в крайнем изумлении,— под нами живет мой директор,

и тебе тоже не должно быть безразлично, какое у него сложится обо мне мнение.

Гамакам малыши обрадовались, но время от времени оттуда все равно вываливались на пол то кубик, то мячик, а то случайно и кто-нибудь из детей.

Тогда звонил телефон.

— Коллега Гершли, что это за грохот? Вы что, купили танк? Было бы неплохо, если бы вы наконец стали меня уважать!

Подчиненный, покрывшись холодным потом, бормотал, что сделает все возможное. На следующий день он застелил паркет огромным толстым ковром, а под гамаки подложил еще и матрацы. Детям эта идея очень понравилась. Из матрацев они соорудили хижину, а на ковре кувыркались, как на лесной лужайке, и Гершли понапрасну заталкивал их обратно в гамаки, кто-нибудь из пятерых постоянно барахтался на полу.

Зазвонил телефон. Директор говорил долго, а утром снова вызвал к себе подчиненного.

— Так дело не пойдет, коллега Гершли.— Он укоризненно покачал головой.— Необходимы какие-то радикальные меры, поскольку иначе обстановка только обострятся. Я думаю, мы можем покончить с этими неприятностями лишь в том случае, если обменяемся квартирами! Насколько мне известно, ваша, как и моя, трехкомнатная, со всеми удобствами. В этих новых домах абсолютно все равно, в какой квартире жить, все они одинаковые. Надеюсь, вы согласны?

Гершли с радостью согласился. Он и так уже подумывал о переезде в квартиру на первом этаже, под которой только подвал.

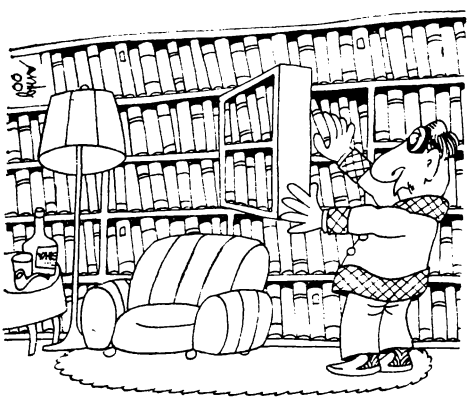
Переселившись, директор удовлетворенно сказал жене:

— В сущности, этот Гершли порядочный человек, знает свои обязанности перед начальством. Главный бухгалтер скоро уйдет на пенсию, и я подумываю назначить на его место Гершли. По-моему, он хороший работник. И детей у него пятеро!

Он помолчал и после короткого размышления добавил:

— Да и мне приятнее сознавать, что подо мной живет довольный человек.

Рисунок Балажа Балаж-Пири.



Ужин в «Четырех рыбаках»

С шотландской супружеской парой Ковачи познакомились на Балатоне. Большой красный мяч в белых горошинах отскочил в ноги Ковачу, тот бросил его обратно, шотландец поблагодарил, и вскоре они уже играли вчетвером. Время от времени мужчины обменивались фразами по-английски. Ковач был рад случаю попрактиковаться в языке. Поначалу он принял супругов за англичан, и лишь позднее выяснилось, что они из Шотландии.

После купания шотландец предложил поужинать вечером в «Четырех рыбаках». Ему хотелось отведать знаменитого венгерского «халасле»[1] и выпить хорошего венгерского вина. Лицо Ковача на мгновение помрачнело, но затем он согласно кивнул. Встретиться договорились в ресторанчике в восемь часов вечера.

— Ну и влипли же мы,— вздохнул Ковач, когда они с женой остались одни.— На такие затраты я не рассчитывал. Это ведь минимум пятьсот форинтов.

— Не валяй дурака,— жена испуганно посмотрела на него.— Уж не собираешься ли ты платить? Пригласили-то они!..

— Шотландцы! — Ковач махнул рукой.— Эти всегда рады полакомиться на дармовщинку. Помнишь тот анекдот, где один шотландец...

Он рассказал, но супруга даже не улыбнулась. Она думала о предстоящих вечерних расходах и с превеликим удовольствием села бы сейчас в первый же поезд на Будапешт.

— Ты обратил внимание на его лицо? — спросила шотландка мужа, когда они отошли от Ковачей на приличное расстояние, и украдкой обернулась.— Когда ты предложил им поужинать, он посмотрел на тебя так, словно хотел убить. Все они такие — дикие. Я слышала, что они и ножи с собой всегда носят, а как напьются, так и давай колоть друг друга!

— Ну что ты, он ведь инженер...

— А хоть бы и так! Это у них в крови! Он и на службу-то наверняка верхом на лошади ездит, и палинку хлещет как воду. Я слышала, как однажды венгр...

Она рассказала историю, от которой на лбу у шотландца выступил холодный пот. И что за нелегкая дернула его за язык с этим приглашением?..

Вечером все четверо в напряженных позах сидели за столиком в ресторане. Мужчины беседовали по-английски о красотах Балатона.

Принесли ужин. Шотландцы ели «халасле» и лапшу с творогом и шкварками, после чего выпили бадачоньского «харшлевелю»[2] Ковачи ограничились фаршированным яйцом с майонезом и пепси-колой.

— Желудок...— сказал в оправдание Ковач, быстро подсчитывая в уме возможную стоимость ужина.

Жена его, немного говорившая по-французски, попыталась об'яснить, что уже

[1] Национальное блюдо: уха с красным перцем *(Здесь и далее прим. перев.)*.

[2] Сорт венгерского белого вина.

две недели как сидит на диете и за сегодняшний день съела всего два персика.

В «Четырех рыбаках» звучала прекрасная музыка, и настроение у Ковача понемногу улучшилось. Из второй бутылки «харшлевелю», заказанной шотландцами, уже налил себе и он. Шотландка вздрогнула, увидев, как Ковач залпом осушил стакан, а когда вдруг полез в карман за сигаретами, брови шотландца напряженно сдвинулись.

В дальнейшем ничего особенного не произошло. Разве что выпили и третью бутылку «харшлевелю», после чего общее настроение поднялось настолько, что Ковач, которому уже море было по колено, напрочь забыл о своем «желудке» и заказал жареную печень с салатом из огурцов, а его жена попросила принести карпа, зажаренного в сухарях, заявив на ломаном французском, что это блюдо можно есть и во время диеты.

Около полуночи стали собираться домой, и тут всю веселость с Ковача как рукой сняло. Одного только «харшлевелю» было выпито пять бутылок, за которыми тянулся длинный перечень яств. С угрюмой досадой на лице он потянулся за кошельком, но шотландец быстрым движением перехватил его руку:

— Не надо... Прошу вас!.. Что вы хотите делать?!

— Платить.— Ковач удивленно уставился на него.— Если позволите, хозяин здесь я. В конце концов, мы в Венгрии!

— И речи быть не может,— с облегчением, но не без заминки произнес шотландец.— Я вас пригласил, так позвольте мне и платить.

Он жестом подозвал официанта и элегантно расплатился, дав не меньше сотни «на чай». Потом обнял первого скрипача и затолкал ему в руку пятьсот форинтов.

— Король чардаша! — Он потрепал музыканта по плечу.— Великолепно! Браво! Большое спасибо!

Прощаясь, шотландец долго тряс Ковача за руку и просил, чтобы тот, если будет с супругой в Шотландии, непременно к нему заглянул. Ковач с улыбкой кивал, уж он-то знал, что до этого дело не дойдет. Но все же, разумеется, пообещал.

Дома, перед тем как лечь спать, он сказал жене:

— Чтоб мне провалиться, если в жилах этого шотландца не течет венгерская кровь! Прадед или прапрадед у него наверняка был венгр. Видела, как он первому скрипачу сунул пятисотенную?! Прямо сорит деньгами!

Перед гостиницей шотландка вдруг остановилась и сказала мужу:

— Ну вот, настоящего венгра мы так и не встретили! У этого Ковача кто-то из предков наверняка был шотландец. Позволил тебе оплатить весь счет и даже глазом не моргнул!

— Но я же сам ему не дал...

— Он мог быть и понастойчивее! Я слышала, что венгры готовы последнюю рубашку гостю отдать. А этот... только рад был, что задарма повеселился. И ножа у него определенно не было, а на службу он скорее всего пешком ходит. Чтобы на автобус не тратиться!..

Обе супружеские пары уснули разочарованными. Во сне им встретились «настоящий» шотландец и «настоящий» венгр.

Рисунок Дёрдя Варнаи.

Визит

На звонок из квартиры осторожно выглянул сильно лысеющий круглолицый мужчина средних лет в полосатом махровом купальном халате и тапочках. Своими маленькими глазками он недоверчиво уставился на незнакомца в летнем костюме сизого цвета и белоснежной сорочке с отложным воротником, который, улыбаясь, стоял перед дверью с тремя белыми гвоздиками и бутылкой токайского «самородни» в руках.

— Это вы звонили? — спросил мужчина в тапочках и на всякий случай посмотрел по сторонам, но никого, кроме незнакомца, на галерее не было. Даже соседка Рузичка, чьи серые навыкате глаза вечно горели любопытством, из-за нестерпимой жары покинула привычный наблюдательный пост. Или, точнее, заняла позицию в укрытии, поскольку занавеска ее чуть заметно шевельнулась.

— Добрый день,— сказал незнакомец, после чего кивком подтвердил, что звонил он.— Имею удовольствие видеть доктора Хуго Бача?

Мужчина в тапочках пробурчал что-то в ответ на приветствие и на Хуго Бача, глаза же его сузились еще более подозрительно, но вместе с тем и задумчиво, будто он копался в памяти.

— Извините,— рассеянно пробормотал он,— но мы ведь...

— Правильно,— не дожидаясь окончания фразы, согласился незнакомец,— мы с вами незнакомы. В этом вы можете быть совершенно уверены. В школе я вам не подсказывал, в армии мы вместе в карауле не стояли, свидетелем на вашей свадьбе я не был, и в одном коллективе мы никогда не работали. Речь совсем о другом.

— О другом?.. О чем же?..

— Значит, так,— начал объяснять незнакомец.— Сегодня я тут обедал поблизости, в «Масленичном пончике». Очень приятное местечко, и готовят превосходно. Давненько я не ел такого вкусного «перкельта»[1] из птичьих желудков, а перед теми, кто готовит здесь картофельные клецки с овечьим творогом, просто хочется снять шляпу. После обеда, когда я, прогуливаясь, наблюдал за людьми, меня неотступно преследовала мысль, что нехорошо так: живем в одном городе, в Будапеште, и даже не здороваемся друг с другом, за исключением тех немногих, с кем связаны непосредственно. А между тем все мы — знакомые. Ведь говорим на одном языке, вдыхаем один воздух, часто столь смрадный и пропитанный копотью. Поразмыслив над всем этим, я и принял решение со своей стороны положить этому конец.

— Как-как? Не понимаю, о чем вы. Вначале сказали, что мы незнакомы... Или, может, все-таки... Память, знаете ли, с годами...

— Успокойтесь,— незнакомец снисходительно улыбнулся,— в обычном смысле слова мы действительно незнакомы, но в более широком — да! Ну вот, смотрите! Вы ведь делали покупки в универмаге «Корвин»?

— Да, но это...

— Малиновый крем в кафе «Пальма» на кольце Ленина ели?

— Наверное, ел, но позвольте...

— В сентябре около шести часов вечера гуляли по проспекту Ракоци между капеллой Рокуша и кинотеатром «Урания»?

— В сентябре? Капелла Рокуша? Очень может быть, но я что-то никак не пойму...

— А все очень просто. Недавно в «Корвине» я купил пять носовых платков. У прилавка мы могли стоять рядом. Не исключено, что и в кафе «Пальма» малиновый крем мне принесли в вымытом после вас стаканчике. А проспект Ракоци в сентябре! Сколько раз мы, быть может, разглядывали одни и те же афиши перед кинотеатром «Урания» или, прогуливаясь, ступали друг за другом след в след в одном и том же темпе! И даже пульс у нас мог биться в одном ритме. У вас обычно сколько?

— Пульс? Восемьдесят... да, кажется, восемьдесят...

— Ну вот, видите! И у меня ровно столько же. Затем есть еще автобусы, трамваи. Сколько раз мы могли держаться за один поручень в одном и том же месте. Или приведу крайний пример — Веселый парк. Мы могли там стрелять по мишеням из одного и того же пневматического ружья, и вы точно так же промахивались, как я. Дальше перечислять? Не нужно, правда? И этого достаточно, чтобы убедиться: знакомство наше очень давнее. Поэтому я и решил нанести визит вам, и хоть мы незнакомы в обычном смысле слова, возможности для этого представлялись нам каждый день. А сегодня такое прекрасное летнее воскресенье! Я хорошо пообедал, отлично себя чувствую, так почему же мне не поделиться своим настроением с вами?

— Однако,— удивился мужчина в тапочках,— почему именно я... мы... То есть почему именно с нами?

— Законный вопрос, мне ведь действительно пришлось выбирать из тысяч незнакомых знакомцев. Ну, понравился мне необарочный фасад вашего дома. Дело в том, что когда-то я собирался стать архитектором, с тех пор и осталось восхищение красивыми зданиями. И даже усилилось. Вошел, остановился в подворотне перед списком жильцов, зажмурил глаза и ткнул наугад пальцем. Попал в вашу фамилию! Уважаемый Хуго Бач, подумал я, определенно будет рад, что мы наконец-то познакомимся! А теперь позвольте и мне представиться: Келемен Кёмень, дипломированный экономист...

За спиной мужчины в тапочках, сонно щуря глаза, показалась его жена. В ее блеклых волосах, будто скопище насекомых, колыхалось множество заколок, а цветастый халат едва сходился на барабанообразном животе.

— Что-нибудь случилось, Хуго?

— Целую ручки.— Келемен Кёмень поклонился и элегантно протянул женщине гвоздики.— Примите в знак моего уважения...

Женщина удивленно потянулась за цветами, но Хуго Бач перехватил ее руку.

— Не бери,— прошипел он, и его большое круглое лицо побагровело от ярости.— Этот человек или сумасшедший, или жулик, или, как я полагаю, и то и другое! А теперь, уважаемый, будьте любезны удалиться, пока я не вызвал полицию! Думаете, я поверил вашим россказням? Мне хорошо известно, что жулики пользуются разными ухищрениями и утонченными методами, но ни одному еще не удавалось перехитрить меня! Такой визит с цветов начнется, а продолжится твоими драгоценностями и завершится в суде!

— Но, господин Хуго...

— Я вам не господин Хуго! Я для вас посторонний, ясно?! Сейчас же убирайтесь, или я за себя не ручаюсь! Я каждое утро занимаюсь со штангой и эспандером и могу так ударить, что вас на «скорой» увезут!

— Хотя бы вино...

Дверь захлопнулась, и Келемен Кёмень полез в карман за сигаретой. Так вот он каков, этот Хуго Бач! Патологически недоверчивый, старозаветный упрямец! Как панически он боится всего, что хоть немного отличается от привычного! Вот уж никогда бы не подумал!

Одну из гвоздик он вдел в петлицу, две другие возложил у подножия какой-то абстрактной скульптуры на площади, а вино выпил на скамейке. После этого он

[1] Кусочки мяса, тушенные в соусе с красным перцем и луком.

снова почувствовал себя превосходно и решил, что в будущее воскресенье опять отправится к кому-нибудь с таким же необычным визитом.

Тем временем д-р Хуго Бач атаковал супругу:

— А теперь скажи, кто это был!

— Откуда мне знать? Ты же с ним разговаривал.

— Не строй из себя невинность! Совершенно посторонние типы не являются с цветами и вином. У него была какая-то цель. Он чего-то хотел!.. Он с тобой знаком и намеревался к нам втереться, чтобы со временем стать другом дома!

— Ну, Хуго, не говори глупостей! Я этого человека в жизни не видала... Клянусь всем святым...

— Не клянись, а выкладывай наконец, кто он! Товарищ по работе? Ухажер? Любовник?

— Но, Хуго...

— Никаких Хуго, признавайся!.. Впрочем, слова тебе не помогут! Теперь мне все ясно! Ты ошибалась, если думала, что меня можно так легко провести! Этот негодяй с гвоздиками — твой любовник, и вы с ним сговорились, что в одно из воскресений он нахально заявится к нам со сладенькой сказочкой, от которой я расчувствуюсь, обниму его как друга, и тогда он тут может делать что хочет, приходить в любое время! Главным образом когда я в командировке!

Женщина плакала. Заколки звенели в ее волосах. Она клялась, что все это неправда и она не заслуживает таких подозрений. Затем, отчаявшись, разразилась проклятиями, осыпая ими в равной степени и незнакомца и мужа, который все с большей яростью хрипел:

— Думали, я кретин?! Идиот?! Баран?! Нет, деточка, Хуго Бача на мякине не проведешь! Для этого вам надо было подготовиться получше! А может, вы и подготовились? В вине был цианистый калий? Говори, а то задушу: в вине был цианистый калий? Или просто полгорсти снотворного, чтобы, пока я буду спать да посапывать, вы тут могли поваляться в свое удовольствие?! Подлая... Ты, ты... даже с детьми не посчиталась?! Ну, ничего, я этого так не оставлю... С этой минуты буду следить за каждым твоим шагом и, если застану вас, разделаюсь с обоими!... А пока вот тебе аванс!

От неожиданной пощечины женщина повалилась на софу, увлекая за собой напольную вазу и телефон. Несколько минут она лежала, отдуваясь, затем вскочила и, схватив самую тяжелую декоративную свечу, изо всех сил запустила ею в мужа, который от этого совершенно взбесился, вцепился ей в волосы и начал по одной выдергивать заколки, на что женщина ответила серией уколов вязальным крючком, после чего мужчина...

— Да,— чистя перед сном зубы, размышлял Келемен Кёмень,— а все же в следующее воскресенье опять попробую.

Отчуждение. Рисунок Балажа Балаж-Пири.

Тайна

Бывший архивариус, а ныне пенсионер Винце Кишш прогуливался в Городской роще, и вдруг за какую-то секунду, показавшуюся ему бесконечной, сознанию его открылась тайна возникновения Вселенной. Это грандиозное открытие пронзило его словно молния, и он подумал, что сию же минуту рухнет замертво. Ведь то, над чем многие столетия тщетно ломали голову ученые, он разгадал в одно мгновенье — что спичкой чиркнул.

— Невероятно,— пробормотал он.— Просто уму непостижимо, как я мог до этого додуматься. Не иначе как я — избранный!

Запыхавшись, прибежал он домой. Размотавшийся шарф, как праздничный флаг, развевался, плыл за ним следом, когда он ворвался в комнату.

— Дорогая, что я тебе скажу! Это колоссально!..— воскликнул он и тут только заметил соседку Рузичку, скрючившуюся в кресле и напоминавшую старую сонную курицу. Ну конечно, кто же другой мог рассесться здесь именно теперь, как не эта хитрая ведьма! Раскрыть тайну при ней? Она все равно не поймет, только ухмыльнется своим беззубым ртом, а потом растрезвонит повсюду, что ее уважаемый сосед умом тронулся.

— Так я пойду, Илонка.— Рузичка поднялась, искоса бросив на Винце Кишша любопытный взгляд.— Спасибо за яйцо, завтра отдам.

— Врываешься, как мальчишка,— укоризненно проворчала жена, когда Рузичка удалилась.— И ботинки все в грязи, а я только вчера убиралась! Но это тебя, конечно, не волнует.

— Илонка, сейчас речь совсем о другом.— Винце Кишш схватил ее за руку.— Сядь, я тебе расскажу...

— А руки-то как ледышки! Почему ты перчатки не носишь? Или уже потерял? Купили такие дорогие, на подкладке, а ты потерял!

— Да вот они, эти паршивые перчатки! — Винце Кишш бросил перчатки на стол.— Умоляю, выслушай же меня!

— Ты что кричишь? Привык во всем глоткой брать? Ввалился с грязными ногами, Рузичку обидел, и кто-то еще перед ним виноват! Уж не знаю, что там у тебя за неотложное дело, но вот наколоть чуть побольше лучин для печки тебе вечно недосуг, а я ее еле растопила.

Винце Кишш с яростным негодованием уставился на жену. И с этой женщиной он прожил сорок лет? С этой мегерой? С этой черепахой, не отрывающей глаз от земли? И это ей он собирался поведать великую и святейшую тайну?! Смешно!

Поужинав, Винце Кишш ушел из дому. С Белой Кардошем они дружат со студенческих лет, вот ему первому он и расскажет о своем открытии.

— Заходи, заходи,— открыв дверь, пригласил Кардош.— Мы как раз о тебе говорили. Тони Надь тоже здесь. Речь о том, старина, что неплохо бы нам устроить коллективное «тото» [1]. Что ты на это скажешь?

— Ну что ж, давайте,— покорно вздохнул Винце Кишш, видя, что с признанием пока придется повременить.— Раз вы так считаете, я не возражаю...

Потом сели играть в «ульти» [2], и, поскольку карта ему шла довольно приличная, Винце Кишш совсем забыл о своей тайне и вновь вспомнил о ней только перед уходом.

— Послушай, Бела,— сказал он, отведя Кардоша в сторонку. Посвящать в это дело Тони Надя он не хотел, тем более что последний дважды сжульничал во время игры.— Бела, дружище, мне надо сказать тебе кое-что... Очень важное..

— А завтра нельзя? — сощурив глаза, спросил Кардош.— Сегодня я уже не гожусь ни на что серьезное.

— Нет! Это не терпит отлагательств! Знаешь...

— О чем шепчетесь? — К ним подошел Тони Надь.— Мне нельзя послушать?

Винце Кишш пристально посмотрел на обоих стариков. Их давно знакомые лица вдруг показались ему далекими и чужими, словно на фотографиях прошлого века, запрятанных в конце старинного альбома с застежками. Поведать им тайну мироздания? Этому сонно моргающему Кардошу, который, быть может, за всю жизнь так ни разу и не взглянул на звезды и превыше всего ставит хорошо приготовленный перкельт из свиных ножек? Или Тони Надю, который из своего окна подглядывает в бинокль, как раздеваются женщины в доме напротив? Нет, невозможно! Как это, право, вообще могло прийти ему в голову!

— Ну, так что ты хотел рассказать? — зевая, спросил Кардош.— Я сегодня встал с петухами, старина, ездил посмотреть, как дела на земельном участке... Слива, похоже, уродится знатная, летом увидите.

Шли дни. Винце Кишш становился все более молчаливым. Он принял решение терпеливо дожидаться подходящего человека, такого, с каким можно будет от чистого сердца поделиться — как ребенок делится бутербродом — открывшимся ему знанием. Но кто бы это мог быть? Он мысленно перебрал всех знакомых и с горечью признал, что нет среди них никого, кому бы он захотел поверить свою тайну. Рассказать Молнару, этому напыщенному невежде, который воображает, будто он эрудит и все на свете знает? Да он бы только махнул рукой и еще нахально соврал, что это ему давно известно! Сказать Сабо, этому жирному нуворишу, хапающему все подряд, обзаведшемуся даже музыкальным смывным бачком? Как бы не так! Чтобы он завладел еще и тайной? Обойдется! Довериться Ковачу, который только ржет надо всем и интересуется исключительно скабрезными анекдотами? А может, противному Фекете или Сючу, от которого всегда коробит? Нет! Нет и нет!

Не раз ему приходило в голову изложить все на бумаге, но он гнал от себя эту мысль: боялся, что открытие украдут. Ведь случалось же такое с другими. Да и поверят ли, что открытие в самом деле совершил он? Кругом столько известных астрономов, философов, и вдруг какой-то Винце Кишш, бывший архивариус, а ныне пенсионер... Нет, уж лучше хранить тайну в себе, так будет безопаснее.

Из дому он выходил все реже, друзей избегал, с женой говорил лишь о самом необходимом, благо, привыкнуть к этому было совсем не трудно.

— Что с тобой происходит? — время от времени принималась допытываться супруга.— Заплесневеешь, если будешь целыми днями дома киснуть. Мог бы иногда и в магазин сходить. Ты у меня, правда, недотепа: что в руки сунут, то и возьмешь. Ну так по крайней мере хоть воздухом подышишь.

Винце Кишш не стал спорить и каждый день ходил в магазин за продуктами. Безмолвно и угрюмо он складывал покупки в корзину, задумчиво поглядывая на снующих вокруг людей.

«Букашечки,— думал он про себя.— Ладно, ладно, набивайте свои животики, толстейте, богатейте. Ничего-то вы еще, бедняжки мои, не знаете!»

Временами ему казалось, что он взвалил на себя огромную тяжесть, которая гнет его, прижимает к земле. «Главное, не думать об этом, не размышлять»,— внушал он себе, но в то же время чувствовал, что долго так не протянет, что непременно должен с кем-то поделиться, иначе невысказанная тайна разорвет его.

Однажды, возвращаясь в очередной раз из магазина, он в глубокой задумчивости шагнул с тротуара на мостовую. Кто-то схватил его за рукав и втащил обратно.

— Поберегись!

Мимо промчался автомобиль.

— Спасибо.— Он с благодарностью посмотрел на старого подметальщика.— Вы спасли мне жизнь.

— Да что там, может быть, ничего бы и не случилось.— Старик махнул рукой.— Но все же, извольте знать, беду лучше предупредить

Из кармана брезентовой куртки он вынул измятую пачку сигарет и предложил Винце Кишшу:

— Закуривайте. С испугу-то в самый раз.

---

[1] Вид спортлото, когда угадываются результаты футбольных матчей.

[2] Венгерская карточная игра с тремя участвующими.

Винце Кишш закурил и после первой же затяжки решил, что поведает тайну этому славному подметальщику, этому старику с изборожденным морщинами лицом и на вид своему ровеснику. Вот кому он подарит открытие, владея которым какой-нибудь чванливый профессор счастливо почивал бы на лаврах.

— Друг мой,— сказал он,— я сообщу вам нечто очень важное. Из человечности и во имя человечества. Ибо речь идет об открытии, которое я сделал, но о котором еще никому не рассказывал. Сейчас я решил, что расскажу о нем вам.

Старик кивнул, как человек, ко всему привычный и ничему не удивляющийся. Он оперся на свою широкую лопату и приготовился слушать.

— Суть дела в том, друг мой,— продолжал Винце Кишш,— что эта Земля, на которой мы обитаем...

— Пепел-то на лопату стряхивайте,— перебил его подметальщик.— Я тоже всегда так делаю.

— Хорошо,— сказал Винце Кишш и стряхнул пепел на лопату.— Итак, мы остановились на том, что Земля, на которой мы обитаем, лишь пылинка или даже еще более мелкая частичка мироздания. Вы наверняка смотрели летом на усыпанное звездами небо и размышляли над тем, до чего оно беспредельно. Так вот, я на днях неожиданно понял, как, из чего зародилась Вселенная. Проще говоря, суть в том, что все это... такое... Ну, как вам сказать?.. Одним словом...

В ужасе и отчаянии он впился взглядом в опершегося на лопату подметальщика, словно ждал от него подсказки, и лишь спустя несколько минут неуверенно проговорил:

— Забыл... Забыл, дружище... Не обессудьте...

— Бывает.— Подметальщик понимающе кивнул.— Я тоже намедни хотел жене что-то сказать, а пока шел домой, из головы-то и вылетело.

— Забыл! — счастливо воскликнул Винце Кишш.— Понимаете, дружище, я забыл!.. Хранил, хранил, а оно возьми да и выпади из памяти, как форинт из дырявого кошелька.

— Если не очень переживаете,— заметил старик,— то оно, может, и лучше. Бывает, приятней о чем-то забыть, чем терзаться попусту. Ну, закуривайте еще! Теперь уж и я заодно подымлю. Я, знаете ли, в последнее время поменьше курить-то стал. Доктор говорит — вредно.

Они стояли по обе стороны большой широкой лопаты и дымили.

— Весна скоро,— сказал немного погодя Винце Кишш.— Я на рассвете слышал, дрозды пели.

— И я слышал.— Лицо подметальщика просветлело.— И я жене сказал: слышь, говорю, рулады-то выводят, точь-в-точь как в наши детские годы... Вот вы скажите-ка, только по всей правде, разве не так выводят?

— Как не так? — Винце Кишш стряхнул пепел, следя, чтобы тот упал на лопату.— Верно вы говорите, дружище, в точности так и выводят...

Власть природы. Рисунок Дёрдя Варнаи.

◆

УИЛЬЯМ СТАЙРОН

БЕЗМОЛВНЫЙ ПРАХ

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление А. ЗВЕРЕВА

Публикуемые эссе и статьи написаны Стайроном (род. в 1925 году) в разное время и составили книгу, изданную в 1982 году. Книга названа по строке Эмили Дикинсон, выдающейся американской поэтессы прошлого века; стихотворение, откуда Стайрон взял заглавие сборника, говорит о том, как скоротечна жизнь и непрочна память. И темой своей, и тональностью оно очень созвучно прозе самого Уильяма Стайрона. В последние годы явилась возможность познакомиться с ней довольно близко. Начало положила «Иностранная литература», напечатав антивоенную стайроновскую повесть «Долгий марш»[1]. Потом, правда, был длительный перерыв, но вслед за ним появились главы из последнего по времени и лучшего по художественному качеству романа Стайрона «Выбор Софи»[2]. Наконец, мы прочли роман «И поджег этот дом»[3], книгу, опубликованную четверть века назад, но тем не менее ничего, пожалуй, не утратившую от густой насыщенности проблемами чрезвычайно сложными и злободневными, от той бескомпромиссности и остроты коллизий, которая поразила ее первых читателей.

Никто не назовет Стайрона плодовитым прозаиком. За те без малого сорок лет, что работает он в литературе, сделано им количественно совсем немного: четыре романа, повесть, пьеса, несколько новелл и вот теперь — «Безмолвный прах». Пишет он, по собственному признанию, в тяжких муках, и дело у него продвигается медленно. О том, как он бился над первой книгой, рассказано в этой подборке. «Исповедь Ната Тернера» (1967, в 1968 году роман удостоен Пулитцеровской премии) Стайрон обдумывал много лет, изучив все — впрочем весьма скудные — материалы, относящиеся к избранному им сюжету, который связан с восстанием рабов в штате Виргиния летом 1831 года. Для «Выбора Софи» (1979) были собраны бесчисленные свидетельства узников гитлеровских концлагерей, предпринята поездка в Освенцим, ставший теперь музеем, и проштудирована необозримая историко-философская литература, где делается попытка объяснить феномен фашизма. Два материала нашей публикации — заглавная статья и эссе «Думая об аде» — являются как бы автокомментариями к этим романам, каждый из которых был определенной вехой в творчестве Стайрона.

Никто не назовет его и фигурой бесспорной. Как раз напротив. Не вызывает сомнения, наверное, лишь одно: перед нами писатель, без которого, как бы ни относиться к им созданному, нельзя представить послевоенную американскую литературу. Все прочее — предмет дискуссий самых непримиримых. Настолько жарких, что именно со стайроновским произведением сопряжена история из тех, что остаются в литературных анналах как редкие казусы: после выхода «Исповеди Ната Тернера» десять негритянских авторов опубликовали совместно подготовленную книгу, которая была предназначена служить ниспровержению предложенных в романе концепций духовной сущности черной Америки и трактовки проблем насилия.

Многое тут объяснялось накалом расовых антагонизмов в Америке 60-х годов. Восемнадцать лет спустя спор о «Нате Тернере» воспринимается как столкновение позиций, принявшее в тех условиях характер чрезмерно острый. Оппоненты Стайрона упрекали его в том, что не сумел — или не захотел — показать Ната как героя, столь много значившего в судьбах негритянского народа США. И эти упреки были обоснованы в той мере, насколько точно указывали они на основную слабость книги. Под

© 1982 by William Styron

[1] «ИЛ», 1967, № 7; она вошла в антологию «Современная американская повесть». М., «Прогресс» 1980

[2] «ИЛ», 1981, № 1, в журнальной публикации «Софи делает выбор»; фильм А. Пакулы, снятый по этому роману, и, надо сказать, довольно слабый, видели зрители прошлогоднего Московского кинофестиваля.

[3] «Новый мир», 1985, № 1—6.

пером ее автора сама обрисованная ситуация должна была внушать ужас перед насилием как средством разрешения социальных проблем. Такая трактовка восстания, конечно, не могла не оказаться внеисторической по сути. Но, с другой стороны, Стайрон сказал о реальных опасностях, выявленных всем ходом событий в 60-е годы, и их реальной подоплеке: о расизме, отвергаемом писателем в любых его проявлениях, о неотвратимости расплаты за все те преступления, которые веками совершались над черными американцами с твердой убежденностью, будто эти преступления ненаказуемы. Стайрон затронул проблематику крайне актуальную и болезненную для американского общества, и только закономерно, что предложенное им осмысление этих проблем — и глубокое, и очень спорное — должно было вызвать в той обстановке бурную полемику. А все же сам факт, что она приняла такие формы, достаточно красноречив.

Свидетельствует он прежде всего о том, что, соглашаясь ли с идеями Стайрона или их отвергая, игнорировать его книги попросту невозможно. Они этого не позволяют. В них всегда есть прикосновение к конфликтам и актуальным, и непростым, есть прямой отзвук забот и болей нашего времени. Не упустим: нашего времени — хотя «Исповедь Ната Тернера» по видимости роман исторический, да и события, описанные на страницах «Выбора Софи», отделены от нас не одним десятком лет [4]. Может показаться, что к дню сегодняшнему обе книги имеют отношение лишь опосредованное — в той мере, насколько затронули вопросы, которые принято называть «вечными». В каком-то смысле они и на самом деле были попыткой истолкования категорий социальной и нравственной жизни, не исчезающих со сменой эпох,— идет ли речь о гнете над личностью и ее сопротивлении этой несвободе, о несправедливости, почитаемой нормальным положением вещей, о конформизме, оборачивающемся преступлением перед гуманностью, о безоглядном разрушительном бунте или об иных явлениях, чью типичность для определенной духовной атмосферы, определенного уклада бытия, создаваемого буржуазным социумом, вряд ли потребуется доказывать.

Но самое существенное в том, что отнюдь не изолированы от движущейся истории и подобная атмосфера, и сам уклад бытия, порождающий стайроновских героев с их напряженными этическими противоборствами, с их тяжелыми душевными травмами, с их почти обязательной трагической обреченностью. Под пером американского прозаика и герои эти, и ситуации приобретают черты, либо впервые в буржуазном мире выявленные, либо с необыкновенной резкостью заостренные опытом XX века, который любую «вечную» проблему наполнил совершенно новым смыслом и значением. Американская критика привычно ставит Стайрона в ряд последователей то Достоевского, то Фолкнера, и писатель не только не отрицает этого родства — он им гордится. Тут и впрямь много отголосков, то явственных, то приглушенных. Как не вспомнить философию Ивана Карамазова, читая в романе «И поджег этот дом» яростные филиппики невезучего художника Кинсолвинга, адресованные не меньше как всему мирозданию, поскольку оно допускает столько жестокостей и уродств. Как не вспомнить фолкнеровский «Свет в августе», читая в «Исповеди Ната Тернера» описания бесчинств на расовой почве, когда пролитая кровь мутит рассудок и человек утрачивает право называть себя существом, которое наделено этическим сознанием.

Да, переклички опознаваемы, и они естественны — не оттого лишь, что имена предшественников говорят сами за себя. Есть и более непосредственная причина: Стайрона связывает с его великими учителями очевидная родственность проблематики. Подыскивать этой проблематике какое-то исчерпывающее афористическое определение было бы занятием бесплодным. И все же несомненно, что она сопричастна очень ответственным, очень непростым понятиям.

Два из них являются для Стайрона центральными. Это насилие — его истоки и обоснования, если они имеются, и границы, которые можно было бы считать оправданными, а также убийственные последствия, когда границы эти не признаются вообще. И еще — угнетение, создающее известного рода систему общественной организации, при которой оно становится фундаментальным принципом человеческих отношений, моделью миропорядка, выстроенного соответственно расистской или фашистской идее.

Понятия эти у Стайрона теснейшим образом переплетены.

Сама их сопряженность, открывающаяся каждому, кто читал «И поджег этот дом» или «Долгий марш»,— обстоятельство немаловажное и в том смысле, что сразу дает почувствовать идейную и духовную почву, на которой только и могло возникнуть такое явление, как Стайрон.

Он виргинец, южанин, то есть человек, чье историческое наследие — это два с лишним века рабства. Вспоминая свое детство, Стайрон пишет, до чего старательно пытались либерально настроенные родители, а потом и школьные педагоги привить ему некий расовый иммунитет, невосприимчивость к самому факту существования — рядом, в ближайшем соседстве — целого народа, у которого собственные представления о жизни и об этике, собственная историческая судьба, собственный круг бытия с его обездоленностью и навязанной униженностью, с его несломленной гордостью. Южан воспитывали так, словно не было этих столетий бесправия и гнета. Но прошлое, и по сей день далеко не преодоленное, напоминало о себе наглядными или незримы-

[4] «Выбор Софи» — книга, отмеченная не меньшей чем «Нат Тернер», злободневностью и, пожалуй, даже еще большей сложностью, спорностью авторских идей. Об этом у нас немало писалось: см. вступление Г. Злобина к публикации глав из романа («ИЛ», 1981, № 1), а также статью Т. Мотылевой («ИЛ», 1981, № 8).

ми барьерами между черными и белыми, расовым антагонизмом, заряженным насилием, которое в любую минуту могло взорваться вспышками на вид беспричинными, но неизбежными, яростными и страшными.

Не суть важно, что непосредственно испытать на себе резкость этого противостояния Стайрону не довелось. Важно то, что озлоблением, чреватым постоянной угрозой бунтов и расправ, был напитан воздух Юга, где Стайрон сложился как личность, как художник. Особый этот воздух мы обязательно почувствуем в книгах Фолкнера, Роберта Пенна Уоррена, Кэтрин Энн Портер и других крупных американских писателей, в большей или меньшей мере с Югом связанных. У Стайрона — быть может, даже отчетливее. Потому что после войны, а тем более к 60-м годам, когда он достиг творческой зрелости, «расовое проклятье», которое уже романтики осознавали как тяжкий удел Америки, перестало быть метафизической отвлеченностью, сделавшись острейшей и предельно насущной социальной проблемой. «Исповедь Ната Тернера» создавалась в ту пору, когда по всей стране поднялась мощная волна возглавленной Мартином Лютером Кингом «ненасильственной революции»; мирной эта революция оставалась не всегда — баррикадные бои шли в негритянских кварталах Вашингтона, в черных предместьях Лос-Анджелеса... Роман Стайрона, повествующий о далекой истории, оказался впрямую причастен к самым драматическим явлениям американской жизни того времени, когда написана эта книга.

В тогдашних условиях трудно было оценить ее с необходимой объективностью. Многие, особенно из среды негритянских писателей и культурологов, не чуждых левого экстремизма, называли роман грубой фальсификацией, имеющей целью скомпрометировать героя, чье имя дорого черной Америке, и поставить под сомнение саму идею борьбы с оружием в руках. Говорилось даже об инстинктивном, а то и осознанном расизме автора.

Это глубоко несправедливо уже и оттого, что Нат у Стайрона — фигура менее всего одиозная, как бы ни шокировали те или иные его поступки. Он трагический персонаж в полном значении слова, а стало быть, в нем нерасторжимо срастаются самоотверженная героика и ложный образ действий, высокий идеал, бескомпромиссность выбора и предопределенность жестокого итога. Стайрон оставался верен фактам, сохраненным скупыми историческими источниками, его книга максимально насыщена документами, которыми нельзя пренебрегать, размышляя о восстании. Стремление Стайрона к объективности напрасно подвергали сомнению. Но странно было бы заключить, что он довольствовался ролью бесстрастного хроникера.

Понятно, что книга о Нате Тернере была не летописью былого, а предупреждением современникам, и требовалось отнестись к этому предостережению со всей серьезностью. Потому что оно было адресовано всему американскому обществу. И смысл, вложенный в него Стайроном, состоял прежде всего в том, что расизм, какие бы он ни приобретал обличья, неприемлем, недопустим, и не только с моральной точки зрения, а оттого, что он-то и создает взрывоопасную ситуацию, когда спасение — духовное и физическое — не гарантировано никому.

С дистанции почти в двадцать лет, что прошли после публикации «Исповеди Ната Тернера», эта главная мысль романа просматривается гораздо яснее, чем обнаруживалась она в атмосфере конца 60-х. Вместе с тем время и последующее творчество Стайрона лишь еще более отчетливо выявили уязвимость того представления об истории, которое раскрылось в «Исповеди Ната Тернера». Потом оно наложит свой отпечаток и на «Выбор Софи», и на стайроновскую публицистику, где за многообразием «сюжетов» проступает целостная идея, стайроновское понимание человека, и общества, и переживаемой нами эпохи.

Как публицист Стайрон касается самых разных тем, но за всеми ними открывается этот единый взгляд, и мы лишь выбрали для публикации те статьи и эссе, где он воплощен всего последовательнее. Те, где Стайрон более всего откровенен в своих суждениях.

Противоречивость их, впрочем, не укроется от читателя. И в этой противоречивости тоже есть своя логика, знакомая хотя бы по «Нату Тернеру». Возвращаясь сегодня к этому роману, убеждаешься, что Стайрон стремился сохранить строгую непредвзятость в отношении героя и побудительных мотивов, двигавших восставшими. Но, как ни доказателен был он в своем анализе причин, приведших к взрыву летом 1831 года, картина все же оказалась несколько однолинейной, а иной раз выглядела заданной. Не могут не обратить на себя внимание жестокость кульминационных сцен и настойчиво повторяющаяся мысль о гибельности насилия, пусть оно является закономерным, неотвратимым возмездием за унижения и жестокости, чинимые над рабами, и некий — художественно не слишком убедительный — «гамлетизм» центрального персонажа, под конец словно бы раздавленного яростью беспощадного бунта, который он сам же и проповедовал.

Суть здесь даже не в том, что подобные мотивы едва ли прочно обоснованы в свете исторической истины. Скорее суть в убеждениях Стайрона, определяющих особый его подход к действительности. Убеждения эти непременно скажутся, каким бы ни был у Стайрона конкретный материал: восстание Ната Тернера, или «обыкновенное убийство», ставшее в романе «И поджег этот дом» неизбежной развязкой долгого процесса расчеловечивания, которым охвачено американское общество на самых разных своих «этажах», или ужас Освенцима, ставшего судьбой Софи Завистовской.

В интервью, которое Стайрон дал по выходе «Безмолвного праха», содержится емкое определение главной темы его творчества. Как считает он сам, все его книги говорят о «гибельных попытках одних людей осуществлять диктат над другими». И

Стайрон продолжает: «Мне представляется, что люди всегда на краю катастрофы — и в индивидуальном бытии, и в историческом смысле; наверное, поэтому я написал те книги, какие мною написаны. Я не был рабом и не пережил Освенцим, но каким-то образом и то и другое захватило меня, словно бы став метафорой жизни, как я ее постигаю»[5].

Обобщенность подобных высказываний читателей Стайрона не поразит. Но в объяснении она все-таки нуждается. Отчего явления совершенно конкретные, будь то рабство негров в Америке или машинерия геноцида, созданная в гитлеровской Германии, воспринимаются Стайроном именно в качестве метафор всей современной действительности и, более того, в качестве указаний на жребий, который уготован человечеству в сегодняшнем мире? Отчего социальная причинность, столь глубоко понятая и выявленная Стайроном на многих страницах той же «Исповеди Ната Тернера», того же «Выбора Софи», неизбежно затемняется или просто исчезает из его поля зрения, как только действие из плана реальной истории переводится в план философский? Откуда эта метафизичность конечных выводов, подчас резко дисгармоничная всей логике актуальных и сложных конфликтов, которые Стайрон исследует с бесстрашием, внушающим уважение?

Заметим, что непоследовательность такого рода у Стайрона особенно чувствуется в публицистике и высказываниях на темы, обладающие прямым политическим значением. Он, скажем, вполне бескомпромиссен в своих оценках такой «особенности американского мировосприятия», как «страх перед коммунизмом», который «ставил нас в совершенно недопустимые ситуации: во Вьетнаме, а отчасти уже в Корее. Этот страх тяготеет над нашим будущим, он набухает опасностью ядерной войны... Он ведет пасторов на церковные амвоны, откуда они проклинают коммунизм как порождение дьявола; он движет Рональдом Рейганом, когда тот называет Советский Союз империей зла. Это какая-то массовая паранойя... которая уходит корнями в область абсурдного»[6]. Очень точное понимание механизмов психологической войны, отравляющей отношения между двумя великими народами! Но тут же, в том же самом абзаце, говоря о собственном решительном неприятии социалистического мира и призывая соотечественников проникнуться подобным же предубеждением, Стайрон, словно сам того не замечая, оказывается в союзе с теми, кто нагнетает «глупый страх», способный завести в «страшные кровавые тупики». И ведь это вовсе не единичный пример, когда Стайрон как бы опровергает самого себя.

Причем тут не одни лишь противоречия, до какой-то степени естественные, когда писатель, мучающийся тревогами сегодняшней действительности, стремится, по слову Бориса Пастернака, «дойти до самой сути». Тут определенное отношение к миру, которое типично для многих западных интеллигентов. У Стайрона оно лишь выразилось особенно четко. И не могло быть иначе, потому что это художник, которого влечет к раздумью не над частностями, а над некоторыми болезненными сторонами исторического опыта XX века.

Не так уж сложно различить истоки того сумрачного, глубоко пессимистического настроения, которое Стайрон выразил и талантливее и ярче, чем многие его литературные сверстники. «Наш век насилий и безумств»,— так заканчивает он авторское предисловие к норвежскому изданию «Долгого марша». Если угодно, это исходная формула всего им написанного. Вряд ли есть надобность пояснять, что такой взгляд на XX столетие по меньшей мере односторонен и несправедлив. Но точку здесь не поставишь. Нельзя не задуматься, почему взгляд этот стал на Западе столь распространенным.

Причина — в том шоке, той травмированности подлинными драмами нашей эпохи, в том страхе, который стал хотя бы отчасти неизбежным следствием Освенцима, Хиросимы и других потрясений, чрезвычайно болезненно пережитых людьми стайроновского поколения и схожей судьбы. Постичь истинную природу таких «вывертов истории», усвоить истинный смысл горьких уроков, которые она преподала человечеству, узнавшему, что такое фашистский «новый порядок» и чем грозит милитаризм, упивающийся собственным могуществом,— для этого, вероятно, нужен совсем иной, чем у Стайрона, горизонт идей, совсем иная школа жизни. Стайрона взрастил американский Юг, где насилие на расовой почве было едва замечаемой обыденностью. А довершили его воспитание американская казарма и армия, эти безотказные орудия «надругательства над нашими телами, над нашими душами».

Путь, который он прошел, в известной мере можно назвать дорогой целого поколения. И тональность, доминирующая у Стайрона,— это не просто индивидуальное его восприятие вещей. Очень во многом это взгляд, предопределенный временем, как должны были его понять, как его почувствовали и осознали тысячи американцев той же духовной биографии.

Пожалуй, самое характерное в таком мироощущении — неспособность, а часто и нежелание считаться с тем, что пути истории различны и что нельзя из фактов, обладающих достаточно ясной социальной генеалогией, делать обобщения, касающиеся всего человечества. Ведь это приводит не только к искажениям истины в тех или иных конкретных ситуациях, но и к сомнению в самих возможностях человека, самих перспективах, открытых людскому сообществу. Меркнет свет надежды, и сгущаются тени, отбрасываемые из недавнего прошлого, в котором были — летопись нашего века никто от этого не очистит — и Хиросима, и Освенцим, и преступная

[5] «New York Times Book Review», 21 November, 1982.
[6] «Lire», 1984, Novembre.

война в Корее, и еще одна — во Вьетнаме, ужасающая Стайрона даже по чужим свидетельствам.

Весь мир начинает восприниматься как царство безликих, антигуманных сил, а личность выглядит лишь их беспомощной игрушкой, лишь объектом все более страшных, все более бесчеловечных социальных экспериментов.

Так, действительно драматические события хроники XX столетия, постигнутые и показанные Стайроном без малейшей ретуши или сглаженности, в какой-то трудно уловимый момент приобретают у него чрезмерно универсальный смысл, который перестает соответствовать правде истории.

Очень характерно в этом отношении его эссе об Освенциме. В нем высказаны мысли проникновенные и убедительные, в нем содержится резкая отповедь постыдным попыткам спекуляции на трагедии еврейского народа, попавшего под пресс фашистского геноцида, в нем доказано, что нацизм был преступлением, совершенным против всех народов, и что он нес угрозу буквально для каждого человека. «Выбор Софи», самое сильное антифашистское произведение, каким располагает американская литература, вобрал в себя все эти идеи. Он претворил их в художественную проблематику, отмеченную и глубиной, и актуальностью поистине обжигающей (хотя ему и не удалось до конца освободиться от штампов и банальностей массовой культуры, им самим с такой непримиримостью осужденных в статье, где говорится о Фицджеральде, о человеческой и творческой драме этого безмерно одаренного писателя, в чем-то очень родственного Стайрону,— такое же обостренное ощущение реальных драм времени, такой же густой налет безнадежности, особенно под конец пути).

Но и в эссе «Думая об аде», и в романе, к которому он может служить введением, конечный итог свидетельствует об отношении к истории как к лабиринту, а еще точнее — как к летописи чудовищных заблуждений, повторяющихся снова и снова, так что становится невозможным проникнуть в их логику, сделав осмысленным искание выхода. «Освенцим нельзя понять» — последняя фраза «Выбора Софи». Но сделать это можно и необходимо, чтобы исключить повторение.

Читая Стайрона, мы будем часто сталкиваться с такими вот парадоксами мысли. Для него самого это, разумеется, никак не противоречия, лишь движение к сути вещей. Спор со Стайроном во многих случаях неизбежен, он не может не приобретать характера принципиального, мировоззренческого. Но, думается, даже не испытывая доверия к тем или иным суждениям Стайрона о действительности, мы и в прозе его, и в эссеистике ощутим нечто близкое, важное нам всем.

Ибо не найти здесь и следа того усталого равнодушия, того дешевого цинизма, который для некоторых западных писателей давно стал удобным способом отделаться от трудных размышлений над конфликтами, имеющими самую непосредственную причастность к судьбам мира на исходе XX века. С нашей точки зрения, Стайрон нередко пристрастен, еще чаще — слишком пессимистичен в силу своего видения жизни и понимания человеческой природы, хотя, конечно, действительность, о которой он пишет, просто не способна поддерживать в художнике иное умонастроение. Так или иначе, самое важное в том, что сознание собственной ответственности перед временем у Стайрона не притупляется.

И есть в этой окутанной тенями художественной реальности негаснущий луч света, есть в ней не декларативное, а уж действительно выстраданное понятие «неистребимости» человека, способного и в предельно жестоких обстоятельствах остаться достойным своего высокого назначения на земле. Этот свет гуманистической веры согревает даже самые мрачные страницы, вышедшие из-под стайроновского пера.

Река Джеймс [1]

В школе — это была Крайст-черч-скул — я учился посредственно, и тем не менее году примерно в 1940-м отец начал задумываться о том, где я продолжу образование. Не могло быть и речи, чтобы получить его бесплатно, у меня ведь были слишком плохие отметки, а по тригонометрии я, помнится, проваливался четыре раза подряд; расходы предстояло взять на себя отцу, и оттого он — как я теперь понимаю, с превеликим наслаждением — почел себя обязанным самому выбрать для меня колледж. Сразу же исключались все, располагавшиеся севернее Потомака: хотя отца моего никто бы не причислил к твердолобым южанам, да и женой его была уроженка Пенсильвании, моя мать, все-таки родился он не где-нибудь, а в Северной Каролине, и всего двадцать с чем-то лет спустя после Гражданской войны, на которой мой дед, то есть его отец, был под Чанселорсвиллем ранен в колено, отчего хромал до конца дней своих,— ясно, что такой человек должен был с нескрываемой настороженностью относиться к этим янки и к их университетам. Было решено, что для меня подойдет колледж либо в его родном штате, либо в Виргинии, где родился я сам. Те, которые существовали южнее от нас, отец находил слишком отсталыми, решительно не годящимися для юноши, происходившего от столь достой-

[1] Выступление перед студентами колледжа Хамден-Сидни (Виргиния). *(Здесь и далее прим. перев.)*

ных предков и так превосходно воспитанного.

Выбор оказался не слишком широк. Виргинский университет вроде бы напрашивался, но был без колебаний отвергнут, поскольку в те дни снискал даже более зловещую, чем теперь, славу разгульной жизнью студентов — некто, внушавший отцу полное доверие, рассказывал, что собственными глазами видел на улицах Шарлотсвилла первокурсников, которых трясла delirium tremens [2], а поскольку родитель чутко уловил мою предрасположенность к рюмке, в геенну эту он меня собственной рукой не бросил бы. Был еще колледж Уильяма и Мэри. Он находился совсем неподалеку от родного моего городка и тоже напрашивался сам собой. Однако он не подходил из-за своей, по выражению отца, интеллектуальной нищеты, причем только усиливавшейся с той самой поры, как в 1776 году учредили всю систему научных отличий. Точно так же не годился колледж Вашингтона и Ли. Там все слишком поверхностно, заявил отец, слишком фривольно, не хватает серьезного отношения к жизни, и привел доказательство: побывав недавно в Лексингтоне, он был глубоко шокирован тем, что все поголовно щеголяют в полосатых костюмах и белых кожаных туфлях. «Прощелыги!» — таков был его приговор. Наконец добрались до этого колледжа, до Хамден-Сидни, где нравы были пресвитерианские, а по части спиртного строгости крайние — отца это очень устраивало. Надеюсь, вы не сочтете меня обыкновенным льстецом, если я признаюсь, что был просто очарован живописными, незатейливыми зданиями вашего колледжа (они, к счастью, такими и остались) и царившей в нем атмосферой непринужденности, и еще очень многим по-человечески необычайно притягательным; тутто мне и нужно быть, сказал я себе. И на отца, насколько могу судить, подействовало обаяние этого колледжа, прелесть обстановки и прочее; правда, он вдохновлялся скорее соображениями честолюбия — слабость простительная,— а когда ему сказали, что почтенное это заведение воспитало, если судить по количеству статей в американском биографическом справочнике, больше знаменитостей, чем любой университет страны, он чуть ли не тут же поспешил внести меня в список кандидатов. Но учиться здесь мне помешала судьба в облике школьного аттестата, где было четыре низких оценки. К крайнему моему разочарованию, меня не приняли и пришлось мне довольствоваться другим пресвитерианским колледжем — я попал в Дейвидсон, штат Северная Каролина; по непонятным причинам там смотрели сквозь пальцы на мои академические провалы и в результате приобрели слабенького студента, какого благоразумно отвергли в Хамден-Сидни. По части наук я не блистал и в Дейвидсоне.

Готовясь рассказать вам эту невеселую повесть, я, естественно, снова и снова возвращался мыслями к Виргинии. Хотя много лет я живу на Севере, родной мой штат все так же обладает надо мной особой властью. Если справедливо, что круг интересов художника в большой мере определяется тем, что он пережил в первые два десятилетия своего пребывания на земле — а так полагают Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй, да и я тоже,— то Виргиния, которую я так живо и остро помню с самых ранних своих лет, оставила во мне глубокий отпечаток, во многом сделав тем писателем, каким я стал. Думая, о чем же мне с вами говорить, я не без колебаний сделал выбор, потому что поразившая меня мысль проста и, как все простое, может показаться неуместной. Но ведь она касается вещей весьма серьезных и важных, может быть даже самых важных, и по отношению не только к Виргинии, но и к тому, как мы живем, как будем жить.

Говорить я намерен о реке, о той, что всего в сорока милях к северу отсюда. Неподалеку проложил русло Аппоматтокс, ее приток, который каждому из вас известен [3]. Вы уже поняли, что я имею в виду реку Джеймс. Севернее, где она течет через округ Бакингем, а потом через Албемарл, мимо старой плантации Бремо под Флюванной, это скромная красивая речка, так себе, неокрепший ручеек, который петляет по Пидмонту. Но на восточной оконечности нижнего виргинского полуострова, где я родился и рос, ручей этот становится рекой, в самом широком месте достигающей шести миль,— бесконечной пустынной водной гладью, самым широким речным устьем во всей Америке. В годы моего детства, в начальную пору юности река Джеймс больше, чем все другое на свете, была для меня абсолютным, подавляющим явлением природы. Наверное, вот так ребенок, выросший поблизости от Скалистых гор или от Сьерра-Невады, должен на целую жизнь сохранить нестирающуюся память о снежных пиках; так писательница Уилла Кэсер, воспитывавшаяся в Небраске с ее прериями, навсегда была зачарована этим величественным, нескончаемым «океаном травы»; ну, а для меня самым главным была просто географическая близость реки Джеймс, и река эта настолько глубоко в меня вошла, что мне иной раз подумается: а не примешалась ли к моей крови ее сладковатая, чуть подсоленная вода. Тут многое, конечно, определено неодолимой притягательностью той богатейшей истории, которая с рекой Джеймс связана. Нет в Америке другой реки, чьи воды несли бы столько воспоминаний, и нам, когда мы были маленькими сорванцами, об этом без конца говорили наши учительницы, указывая на могучий поток, прекрасно видный из окон класса, и объясняя, что отсюда — вон там, чуть левее! — отправился в свое прославленное плаванье капитан Джон Смит [4], а здесь в 1619 году прошел вверх от устья другой корабль, и груз на нем был совсем другой, потому что в трюмах сидели невольники, а река наша стала купелью рабства для всего Но-

[2] Белая горячка (*лат.*).

[3] На реке Аппоматтокс 9 апреля 1865 года капитулировала армия южан; так закончилась Гражданская война в США.

[4] Английский колонист (1580—1631), губернатор Джеймстауна, совершивший экспедицию по Миссисипи.

вого Совета. И стояли тогда по берегам знаменитые поместья — Картерова роща, Вестовер, Шерли,— а по ним бродили тени давно минувших столетий.

Но пусть река хранила память о прошлом — прошлое это было нераздельно с днем настоящим, и до чего увлекательным днем! В любое время года река почти всегда оставалась у меня перед глазами, я знал, что она рядом, и это окрашивало все иные мои переживания. Пробудившись весенним утром, я сразу ощущал доносимый ветерком соленый запах реки, терпкий этот аромат соли, и водорослей, и прибрежной тины, и здорового брожения, которое в ней совершалось. А еще была музыка реки, вечно повторяющиеся звуки, которые прочно вошли в повседневность нашего городка: крики чаек, всплеск сталкивающихся волн, потрескиванье натянутых и приведенных к ветру парусов у пирса, гудки моторок и — непременно — певучие голоса негров, которые ловили устриц, перебрасываясь словцом-другим, пока ставилась или извлекалась верша. С апреля до октября мы не вылезали из воды, наполовину пресной, наполовину океанской, и солоноватый ее привкус долго сохранялся во рту, а к июлю, прогревшись, она становилась вроде материнского молока и сил придавала не меньше. Оттого, что река встречалась тут с морем, устрицы ловились особенные, похожие на линхэвенских, но величиной с небольшое блюдечко и буквально таявшие на языке; ловились кроме них и крабы. Их была пропасть, и обилие это поражало, чуть ли не устрашало. Летом с легкостью почти абсурдной можно было набрать целые ведра, устроившись на городском причале и пуская на приманку кусочки припахивающего мяса. Лет одиннадцати или двенадцати я сделался крабовым бизнесменом; мне и часа оказывалось много, чтобы битком набить восхитительной этой гастрономией большую рыночную корзину, потому что в отлив крабы кишмя кишели в любой впадине, и, прикрыв свою добычу пахучими водорослями, я обходил двор за двором на окраине, а хозяйки ворчали из-за моих непомерных цен: три цента, на пенни больше, чем в прошлый год, этак и до инфляции недалеко. Я любил эту реку, громадную, изобильную, беспечную, прекрасную, соединившуюся со мной интимной связью. Да, наша связь была интимной, и я это постиг с предельной ясностью, когда чуть не утонул на тринадцатом году, потому что, опрокинувшись, пошла ко дну лодка, на которой я учился управляться с парусами. Но все равно я любил реку Джеймс, и в памяти осталось лето на ее берегах, расцвеченное всей беспримесной и сладкой романтикой юности, остались лунные ночи, и эти большие серебряные диски на темных водах, и аптечный запах цветущей гардении, и перекликающиеся молодые голоса. И меня уже давно не удивляет, отчего река столько значила и значит для моей души, отчего она стала для меня почти не нуждающимся в совершенствовании образом ранящей красоты и тайны жизни.

1980

Безмолвный прах

Можешь брюхо бобами и салом набить
И коляску из золота можешь купить,
Все равно тебе мира не остановить,
Ната Тернера дух не убить.

Можешь Цезарем зваться и войско
водить,
Можешь наши деревни из пушки
спалить,
Все равно тебе мира не остановить,
Ната Тернера дух не убить.

Старинная негритянская песня

I

Что и толковать, мой родной штат Виргиния относится к своему прошлому с вниманием, необычным даже для Юга. В середине 30-х годов, когда я ходил в школу, стоявшую у реки Джеймс, одним из обязательных предметов была история Виргинии, и книжку, по которой мы учились, я помню куда лучше, чем все пособия по истории Соединенных Штатов или Европы, прочитанные мною позже. Вот в той книжке мне впервые и попалось имя Ната Тернера. Говорилось о нем кратко; не исключаю, что именно эта краткость, создававшая такое чувство, что автору не терпится поскорее отделаться от затронутой темы, всего более обратила на себя внимание, распаляя мое любопытство. В точности воспроизвести тот абзац я теперь не смогу, но сказано там было примерно следующее: «В 1831 году Нат Тернер, негр-фанатик из числа рабов, поднял ужасный бунт в округе Саутгемптон, истребив много белых людей. Бунт сразу подавили, а Ната Тернера и большинство других негров, которые в нем участвовали, повесили за их жестокие дела». Устрашающих эпитетов могло быть чуть больше или чуть меньше, но точно знаю, что безвестный автор учебника на этом и обрывал свой рассказ о Нате Тернере, спеша перейти к более важным материям.

Когда я это читал, мне, должно быть, было лет десять-одиннадцать. Жил я в ту пору неподалеку от округа Саутгемптон, где происходило восстание,— в том краю на виргинском побережье, который обычно включают в черный пояс, потому что население тут преимущественно негритянское. (Упоминая в дальнейшем о Юге и южанах, я буду иметь в виду именно этот Юг, где преобладают отношения, типичные для штатов, лежащих вниз по Миссисипи; типичны они и для Мериленда, и для восточного Техаса.) Ребенком я испытывал к неграм двойственное чувство, какое испытывают почти все, кто родом с Юга, негр для них и нечто вполне естественное, и повод для всегдашней тревоги. С одной стороны, чернокожие — это необходимая особенность местной природы, просто часть окружающего пейзажа, причем не менее характерная, чем сосновые боры, ветряные мельницы, упряжки мулов и устья сонных рек, придающие южным ландшафтам такую красочность и своеобычность. Белые словно не замечают негров, которые для них неотделимы от земли и как-то с ней сливаются, поглощаются ею настолько, что, лишь вообразив, что они вдруг, словно в сказке, исчезнут без следа, понимаешь, до

чего это было бы дико: легче представить себе Юг, на котором не осталось бы ни одного дерева и в о о б щ е нет людей, нет никакой жизни. А вместе с тем негры, не замечаемые белыми, постоянно вторгаются в их коллективное бессознательное — так настойчиво, что без преувеличения можно назвать это их присутствие предметом неотступного беспокойства, какое способен доставлять часто повторяющийся скверный сон, когда мелькают одни и те же лица, на которых можно прочитать озабоченность и неясный упрек. «На Юге белые не могут сделать шагу, не могут ни о чем говорить, не могут ни петь, ни рассуждать о справедливости и законах, ни отдаваться радостям любви и семьи, ни наслаждаться свободой, при этом хоть на миг позабыв, что рядом с ними живут негры». Слова эти принадлежат Ральфу Эллисону [5], и он, безусловно, прав.

Но есть разный Юг, и то, что испытывает каждый южанин, определяется всевозможными, подчас почти незаметными особенностями его личности, и семьи, и окружения, и бог весть чего еще, а оттого поневоле задумаешься: достаточно ли мы все это учитываем, достаточно ли постигаем, что совершенно разным может оказаться отношение к неграм с этой их постоянной близостью к нам самим. Не берусь судить, например, типичным ли оставалось мое собственное к ним отношение, когда в детстве я жил по соседству с теми местами, где родился,— в маленьком приморском городке, где белых и черных было примерно поровну. Чувства мои были сбивчивыми и смутными не без оттенка сентиментальности, а еще более не без воздействия банальных формул, созданных фольклором, и тут снисходительное высокомерие филантропа, поощряемое взрослыми, смешивалось с вполне откровенной враждебностью. А самое существенное то, что эти чувства и в малой степени не направлялись непосредственным знанием жизни черных, хотя южане вечно этим похваляются как своей особой добродетелью; я во всяком случае этой жизни почти совсем не знал.

Вообще говоря, в том, что относится к расовым отношениям, меня воспитывали точно так же, как всех, то есть внушали мне стандартное представление, согласно которому негры по всем статьям уступают белым и должны занимать свое низшее положение в существующем порядке вещей. Но с другой стороны, по южным меркам наша семья принадлежала к числу высокопросвещенных: моя мать, к примеру, твердила мне, что неприлично называть негритянку «леди», надо сказать «женщина», но при всем том ее угнетала крайняя нищета, царившая в негритянских домах, а если бы она от меня хоть раз услышала про «черномазых», мне бы задали трепку. Впрочем, день за днем я проводил в другом мирке, в обыкновенной школе для ребят, чьи родители ничего особенного не достигли, и здесь словцо это было вполне ходовым. Сегрегация в школах, которую я считал делом совершенно естественным, исключительно эффективное средство достижения того прискорбного положения, которое в общем-то даже не являлось основной целью, когда устанавливали этот принцип обучения: она приглушает самое сознание, что у нас в стране живут две расы. И оттого моя неприязнь к неграм, как бы она ни проявлялась, почти полностью проистекала из расхожих понятий, а не из непосредственного опыта.

Так что и словечко «черномазый», которое я, подобно всем моим сверстникам, с полнейшей беззаботностью то и дело пускал в оборот, даже в ту пору оставалось для меня просто словечком, не содержащим ничего злого и обидного. Да и как стершееся это понятие могло бы приобрести в моих устах значение определенной характеристики, основывающейся на некой идее, если с его помощью мы лишь обозначили особую группу людей, столь тщательно от нас обособленную, что ее представители были чем-то вроде теней, пусть каждый день мы их видели воочию, потому что они работали на кухне, убирали мусор, сгребали опавшие листья в саду. Мало кем замеченный парадокс жизни на Юге заключается в том, что свойственная ей расовая враждебность основывается не столько на непосредственных соприкосновениях и столкновениях, сколько на почти полном отсутствии каких бы то ни было контактов. Вокруг были сплошь негры, но мне вспоминается единственный случай, когда, лет пяти или шести от роду, я несколько минут играл с чернокожим ребенком, а разговоров с черными у меня вообще не бывало, если не считать, что порой доводилось перекинуться фразой-другой с нашей кухаркой или с выжившим из ума стариком, который ловил крабов на берегу, куда в одинокие свои воскресенья я тоже выбирался много-много лет тому назад. И ведь никто меня специально от негров не изолировал, да и не было в такой ситуации ничего необычного. Все, что мне было известно о неграх в годы моего детства, я узнавал, наблюдая издалека, словно был зрителем в театре марионеток, где играют одни черные актеры.

Оттого я и не доверяю никаким обобщающим суждениям о Юге, исходят ли они от белых социологов или от негритянских драматургов, от политических деятелей-южан или от северян-газетчиков. Сам пожив на Севере, я наконец кое-что уразумел относительно негров. Один из вопиющих самообманов Юга — и этот миф стараются насаждать одни южане — состоит в претензии тамошних белых, что уж они-то знают негра «по-настоящему». Не спорю, часто можно встретить в южной сельской местности такие уголки, где культурный климат не препятствует взаимному пониманию, даже своеобразной расовой близости — хотя бы в отдельных случаях. Но я рос в среде наполовину деревенской, наполовину городской (теперь бы сказали — в пригороде, хотя наш крохотный зеленый квартал на окраине вряд ли напоминал новоявленные города левитов), в среде, с детства знакомой стольким южанам, а такая среда едва ли не полностью исключала общение между черными и белыми, благо и закон его ограничивал столь старательно.

[5] Современный негритянский писатель США.

А поскольку белые южане «по-настоящему» знать негра не могут, надо разобраться во всей той сексуальной мифологии, которая властвует над ними. Да, конечно, в межрасовых отношениях и по сей день сохраняется некоторая напряженность по этой части, а страх южанина перед эротической агрессивностью черного самца по-прежнему слишком явен, чтобы на него не обращать внимания. Но сегодняшний урбанизированный Юг развивался так, что между расами возникали лишь новые, еще более прочные перегородки. Хотя нельзя отрицать, что во времена рабства (являясь орудием подавления, оно при всем том питало и определенную беспечность касательно плотских связей, в этом смысле сильно отличаясь от категорически их запрещавшей эпохи, когда были введены дискриминационные расовые законы) то и дело происходило смешение двух рас, хотя известно, что оно спорадически продолжается, особенно в деревнях, где всегда проще смотрели на такие вещи, все-таки сегрегация, осуществлявшаяся решительно в любой сфере жизни, создала чрезвычайно прочный барьер между белыми и черными, и вряд ли лишь выдумкой на пустом месте можно назвать доктрину, которая настаивает на непреодолимости «напряжения», имеющего эротическую подоплеку. И жажда запретного плода, вернее всего, этого барьера не разрушит. Что касается негров, они этого плода не хотят либо из-за безразличия, либо из-за безотчетного страха; белым не дано его вкусить, оттого что существуют сегрегация и закон, да в конечном счете им он ведь тоже безразличен. Помню, ребята постарше подзуживали друг друга прогуляться по улице, где располагались негритянские бордели (позднее выяснилось, что главными клиентами там были сами негры да еще несколько моряков-скандинавов), но, насколько могу судить, в дома эти никто из них не заходил. Девушки-негритянки оставались для белых фантомами, призраками, как все негры. Отрицать, что на современном Юге между черными и белыми не было никаких отношений, кроме крайне редких контактов и разного рода случайных встреч, значит лишь, попирая всякую логику, отрицать чудовищную действенность того апартеида, который был основой южного образа жизни без малого восемьдесят лет.

Задержался я на этом лишь с целью сказать о Юге нечто почитаемое само собой разумеющимся, по этой причине не придавая должного значения таким истинам или неверно их истолковывая. В большинстве своем белые южане н е с п о с о б н ы ни что бы то ни было доподлинно знать о черных, ни даже соприкасаться с ними, потому что есть непререкаемый закон, который обладает подавляющей властью. Между двумя расами образуется пропасть, и это можно ощутить даже в книгах такого великого знатока Юга, каким был Уильям Фолкнер, сам признававшийся, до чего неуверенно он себя чувствовал, когда пытался «мыслить по-негритянски»; его персонажи-негры, сколь ни превосходно они обрисованы, все же воспринимаются как плод долгого внимательного н а б л ю д е н и я, а не как итог в ж и в а н и я. Вот хотя бы Дилси из «Шума и ярости», замечательный, бесконечно живой характер, и все же, поразмыслив, приходишь к выводу, что получился он у Фолкнера не оттого, что ему удалось преобразиться в эту старую служанку, а оттого, что он провел бесчисленные часы и дни, изучая таких, как она, прислушиваясь к их речи; не зря же Фолкнер был вынужден отступить в данном случае от собственного принципа повествования, и если прежде три других главных героя сами рассказывали историю, если преобладала форма внутреннего монолога с ее предельно интенсивным «погружением» в мир персонажа, то, как только появилась Дилси, события показываются извне, а не изнутри.

Не счесть белых южан, которые так и выросли, имея о негритянской душе, личности, характерности представление ничуть не более ясное, чем какой-нибудь фермер, всю жизнь проживший в глухих углах Висконсина или Мэна. Есть тут, правда, разница, и существенная, поскольку ею-то и определяется строй понятий белого южанина, как бы к ним ни относиться: для него негр р я д о м. Он рядом, и это чувствуется так, как никогда не может чувствоваться на Севере, сколько бы негров туда ни перебралось. Ибо южанин осознает негра как вечную, непреложную часть самой истории, как компонент самой ткани бытия, и настолько естественный, настолько необходимый, что, убери его, вся эта ткань расползется; она все это в себя вобрала, и этот негритянский акцент, и эти черные или бронзовые лица, какие поминутно встречаешь на улице, и выкрики торговца цветами, взгромоздившегося на тележку, и бесконечные процессии на пыльных деревенских дорогах, и опрятные негритянские церкви, что белеют посреди сосен, притягивая своей поэтичностью, непорочностью, тишиной, и видную издали на пустынном весеннем поле темную фигуру, идущую вслед за упряжкой мулов, и тоску блюзов, которые доносятся из окон какой-нибудь жалкой харчевни, где крутят и крутят патефон, и печальные, вымокшие лица этих нянюшек, этих кухарок, под проливным дождем дожидающихся вечернего автобуса к себе в деревню,— о да, негр все время рядом, он з д е с ь.

Так удивительно ли, что белый южанин, по слову Эллисона, шагу не ступит без ощущения этого негритянского присутствия. Удивительно ли, что раз за разом белые испытывают то безумие, то истому, и страх, и настороженность, и ярость,— как же иначе могут воспринимать они, пусть со всех сторон оберегаемые законом, тот парадокс, что им приходится ставить под сомнение даже реальность существования людей, которых хотя бы численно не меньше, если не больше, и отрицать, что в самом деле есть эти люди, чье соседство о себе напомнит на любом клочке земли, на любом перекрестке, в любой деревушке, городе или поселке, и что надо не признавать в них человеческую природу, пусть она проявляется каждодневно и естественно, словно сердцебиение, давая себя почувствовать поступками высокими или злыми, и грустью, сводящей с ума, и безудержным весельем, и драками, и местью за обиду,

и бескорыстием любви. Негры, вероятно, сочтут, что слишком поздно пришло к нам желание узнать их жизнь и что отдает оно снисходительностью, которая возмутительна. Однако теперь время покончить с былыми порядками, действительно поняв, что такое негр, и для каждого белого южанина это стало моральным императивом.

II

Думаю, хотя бы отчасти я повиновался этому императиву, предпринимая свои разыскания, касающиеся Ната Тернера, удивительного, мало кому известного черного человека, который по-писательски так меня притягивал, что я решил его воссоздать, а тогда сразу же все связанное с ним, естественно, стало проблемой художественной. В конце 40-х годов, когда я закончил колледж в Северной Каролине и жил в Нью-Йорке, имя это, которое я впервые узнал из учебника виргинской истории, все время мне вспоминалось и не давало покоя. С тех пор я немало прочел об истории Юга, и меня захватило в ней все то, что относится к рабству и рабам. Едва ли не самое удивительное вот в чем: рабство сохранялось два с половиной столетия, и все эти годы почти не было попыток организовать восстание против него, не было заговоров и бунтов. (Отмечу, что еще и в конце 40-х годов историки никак этого не объясняли, и я мог лишь догадываться о том, что впоследствии убедительно объяснили такие исследователи, как Фрэнк Танненбаум и Стэнли Элкинс[6],— рабство негров в Америке, являясь системой психологического гнета, хуже которой не знает история, было слишком деспотичным и подавляющим, чтобы всерьез допускать возможности организованного противоборства.) Лишь три события являются тут исключением из общего правила: мятеж, который вместе со своими сторонниками намеревался в 1800 году поднять возле Ричмонда раб Габриэль Проссер, — нашелся предатель, и заговорщиков повесили; такой же мятеж в 1822 году под Чарльстоном в Южной Каролине, возглавленный свободным негром по имени Денмарк Вези,— его тоже выдали еще до того, как он начал приводить в исполнение намеченный им план, и тоже казнили вместе с другими участниками заговора.

Третье исключение, разумеется, Нат Тернер, и он единственный в анналах американского рабства — единственный среди «многих тысяч погибших»,— кто вкусил момент торжества.

Даже и сегодня есть немало людей, достаточно хорошо образованных, но никогда не слыхавших имени Ната Тернера, и причины такого неведения разнообразны. Одна из них, понятно, в том, что изучение истории, и не только южной, у нас всегда было крайне тенденциозным; старались избежать пусть и косвенного упоминания о таких фигурах, как Нат, ведь иначе подрывалось бы бытующее удобное представление, будто система рабства при всех ее моральных изъянах все же насаждала слишком снисходительное, даже заботливое отношение к невольникам, чтобы возникла у них хотя бы мысль о каком-то организованном противодействии или насильственном отпоре. Еще важнее, что о Нате Тернере сохранилось совсем мало свидетельств. Округ Саутгемптон, который и сегодня лежит в стороне от проторенных дорог, в ту пору был самым что ни на есть глухим углом. Относительность времени дает повод для расплывчатых утверждений вроде того, что 1831 год — это чуть ли не вчерашний день. Но на самом деле 1831 год, время президентства Эндрю Джексона, был ранней зарей нашей современной истории, и пройдет еще три года, прежде чем по виргинской земле проложат первую железнодорожную колею, и целых пятнадцать — прежде чем появится в этих местах телеграф. Сам бунт носил столь неожиданный и устрашающий характер, что с неизбежностью должен был породить множество слухов, россказней, диких фантазий, грубых искажений истины, наконец, совершенное молчание или запрещение каких бы то ни было упоминаний о многом, что ему сопутствовало, и все это, конечно, сказалось на последующей безвестности Ната.

Что касается документов того времени, связанных с восстанием, сохранился лишь один — «Исповедь Ната Тернера», тощий памфлет в полтора десятка страниц, написанный неким стряпчим, которого звали Томас Грей; он записал в тюрьме рассказ Ната, ожидавшего судебного слушания, и, тиснув в Балтиморе свою брошюрку, исчез без следа. В памфлете попадаются некоторые несообразности, но ведь Грей готовил его в спешке, и есть причины считать эту книжку достоверным источником в том, что касается главного ее содержания. Сообщения в тогдашних газетах разных городов от Ричмонда до Норфолка отрывочны, далеки от действительного положения дела, полны домыслов и, в общем, не представляют никакой ценности. Уцелевшие судебные архивы Саутгемптона разрозненны и скудны, в них только ничего не говорящие перечисления имен бесстрастные списки, сделанные давно выцветшими чернилами: такие-то белые, погибшие во время мятежа, такие-то негры, подвергнутые допросам и после этого либо отправленные невольничьими транспортами на Юг, либо оправданные, либо осужденные и повешенные.

Почти через семьдесят лет после восстания (в 1900 году, волей случая именно в то время, когда Виргиния официально санкционировала введение на своей территории первых законов о расовой дискриминации) был опубликован единственный исторический труд, посвященный этой теме,— «Саутгемптонское возмущение» Уильяма С. Друри, питомца университета Джона Хопкинса и бакалавра; он был типичнейшим виргинцем старой закваски, держался прорабовладельческих взглядов и до такой степени боготворил былые порядки, что, описывая самые гнетущие эпизоды восстания, мог тут же добавить несколько слов о «виргинском рабовладении, не могущем

[6] Ф. Танненбаум — автор книги «Раб и гражданин» (1963); см. ниже рецензию Стайрона на эту работу; С. Элкинс — ученый, много занимавшийся в 60-е годы историей рабовладельческих штатов США.

создать почвы для бунта, ибо сей институт основывался на самых дружественных отношениях между невольником и его владельцем, а также на моральных добродетелях, какие способны украсить цивилизацию в ее высшем цветении». На взгляд Друри, Нат Тернер являет собой необъяснимую аберрацию, словно он был пришельцем с иных планет. Надо отдать должное Друри: времени прошло еще не так много, и он сумел разыскать нескольких доживавших свой век свидетелей мятежа, а поскольку автор просто-таки одержим точностью деталей, ему удалось восстановить хронику событий с последовательностью, которая представляется вполне убедительной. И его книжка, которую теперь, конечно, нигде не найти, а также «Исповедь» Ната остаются единственными надежными источниками для тех, кто обращается к этой странице нашего прошлого. О самом Нате, о вырастившей его среде, его детских годах мы не знаем почти ничего. Для романиста это даже хорошо, потому что он, в отличие от историка, обладает свободой по собственному разумению объяснять все те переплетающиеся мотивы — чувство обездоленности, обостренное честолюбие, подавленность, замерцавшие надежды, ярость, неудовлетворенные желания,— все те побуждения, которые заставили необыкновенного этого черного человека в те скрытые от нас дымкой полутора столетий времена нашей истории подняться на угнетателей, обрушив на них свой удар с такой страстью возмездия, какой не видели ни прежде, ни потом.

Он родился в 1800 году и, стало быть, к моменту восстания достиг тридцати одного года, то есть именно того возраста, какого достигли к решающему моменту своей революционной деятельности столь многие великие бунтари: Мартин Лютер, Робеспьер, Дантон, Фидель Кастро. В своих заметках, приложенных к «Исповеди», Томас Грей пишет, что у него было «истинно негритянское лицо» (то есть обинякóм дает понять, что беспочвенны разговоры о белой крови, примешивавшейся в жилах Ната к негритянской), и добавляет: «Я редко встречал людей, наделенных таким живым умом и сообразительностью»,— комплимент щедрый, тем более в ту пору, когда расизм, остававшийся до Гражданской войны нормой вещей, благодаря всему происшедшему принял форму какой-то неистовой истерики. Хотя о детстве и юности Ната почти ничего достоверного неизвестно, можно не сомневаться, что это был не по годам развитый подросток, который не только с легкостью выучился читать и писать — вещь сама по себе нешуточная во времена, когда это было запрещено неграм по закону,— но уже сызмальства кое-что смыслил по части астрономии, а потом пробовал собственноручно изготовлять бумагу и порох. (В этом отношении он напоминает древних китайцев, и пусть сходство в высшей степени странно, оно тем не менее бросается мне в глаза.)

Начало девятнадцатого века было для виргинского побережья временем постепенного упадка благосостояния, чему причиной послужила порча земли неумеренным возделыванием табака,— постепенно эта культура начала исчезать с местных плантаций, что приносило разорение былым богачам, которых начали вытеснять мелкие фермеры. Вот в этих-то краях, где сплошь поля да поля, а среди них порой попадаются скромные выселки и еще более непритязательные крестьянские хутора, где нечасто встретишь белых, которым достанет средств завести хоть с десяток рабов, и обычно у семьи было всего двагри негра, не больше,— здесь и родился Нат, здесь он вырос и готовил себя к той апокалипсической роли, которую ему предстояло сыграть на сцене истории. Дела в экономике шли неважно, и не приходилось удивляться, что Ната несколько раз перепродавали, так что он переходил от владельца к владельцу (ему в каком-то отношении повезло, он не попал в Северную Каролину или в Джорджию, на гибельные рисовые и хлопковые плантации, где в ту пору находили свой конец многие виргинские негры); о его хозяевах мы мало что знаем, но нет фактов, говорящих, что с Натом плохо обращались, а некто Сэмюэл Тернер (брат того плантатора, которому Нат принадлежал от рождения) проникся к мальчику настолько теплым отцовским чувством и так восторгался его одаренностью, что сделал роковой шаг, помогши ему выучиться грамоте.

В тех местах Библию почитали тогда незыблемой основой всех человеческих деяний и отличались особым благочестием, так что годам к двадцати Нат, неизменно добродетельный в обыденной жизни,— «никогда и доллара никому не задолжал, никогда бранного слова не вымолвил, никогда не прикасался к напиткам возбуждающим, никогда не украл у ближнего своего»,— становится проповедником-баптистом. По сравнению с теми штатами, которые лежат дальше на Юг, порядки Виргинии оставались более или менее либеральными; к проповéдничеству Ната, видимо, относились терпимо и не мешали ему подстрекать рабов к возмущению. Его ораторский дар, его речи прорицателя, магнетическая его притягательность, надо думать, оказались столь велики, что среди невольников округа он быстро прославился и оказывал на них куда большее влияние, чем белые, одного из которых — это был бедняк по имени Брэнтли, полупомешанный надсмотрщик,— он при стечении зевак, включая и белых и черных, обратил на путь истинный и окрестил в мельничном пруду. (По этому случаю Брэнтли подвергся всеобщему остракизму и вынужден был с позором покинуть родные места.)

Примерно в то время Нат начал все более замыкаться в себе, отдавшись посту и молитве; долгие часы проводил он в уединении, уходя на лесные поляны или на болота, где общался со Святым Духом, проникаясь, день ото дня настоятельнее, убежденностью, что предназначен он для дела великого. Фанатичная эта уверенность становилась все более непоколебимой, и вот в одинокие свои бдения среди лесов стал он видеть призраков во плоти: «Видел я духов, белых и черных духов, и шла меж ними битва, и солнце затмилось; гром раздавался в небесах, и кровь

струилась ручьями... Глубоко поразили меня чудеса сии, и молился я, чтоб явлено мне было значенье их; а вскоре затем работал я в поле и узрел капли крови на листьях маиса, точно кровавая роса пала с небес. Ибо кровь Христова пролита была на земле и вознеслась на небо во спасение грешников, а ныне снова на землю она вернулась, обернувшись росой... В двенадцатый день мая года 1828-го услышал я громкий шум середь неба, и Дух явился мне, и рек, что Змий сбросил путы свои, и сложил Спаситель ярмо, что нес он за грехи людские, и что мне надлежит ярмо то принять и биться со Змием, ибо близко то время, когда последние станут первыми, а первые последними».

Как все мятежи, тот, что задумал Нат Тернер, не вспыхнул искрой, а долго не начинался из-за мучительных колебаний, неудачно складывавшихся обстоятельств, промедлений, задержек (одним из поначалу намеченных Натом дней был, по иронии судьбы, День независимости в 1830 году, но сам он заболел, и момент был упущен); наконец, воскресным вечером 21 августа 1831 года Нат и пять негров, которых он, выказав доверие, вдохновил своей надеждой, собрались в лесу неподалеку от дома тогдашнего его хозяина, каретного мастера Джозефа Тревиса, чтобы приступить к осуществлению плана, который предполагал поголовное убийство белых. Главная цель состояла в захвате окружного центра, называвшегося тогда Иерусалимом (совпадение, конечно, не ускользнувшее от Ната, который, выражая собственные мысли исключительно языком пророков, должно быть, видел себя не меньше как Гедеоном, карающим мадианитян); в Иерусалиме были винтовки и патроны; если бы удалось овладеть арсеналом, Нат намечал пройти миль тридцать в восточном направлении, вербуя себе по пути сторонников из числа рабов, и добраться до Большой топи — вьющихся, как змея, болотистых пустошей, где, по его разумному предположению, выжить могли одни негры, а никакая белая армия не продвинется и на полшага. Однако пока следовало заняться другим: на пути к Иерусалиму, находившемуся в десяти милях, уничтожить всех белых мужчин, женщин и детей, не щадя никого: что младенцы, что дряхлые старики — все обрекалось топору и ножам. Само собой, такова была воля Всемогущего, ибо не сказал ли Он устами пророка Иезекииля: «Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог; скажи: меч, меч наострен и вычищен; Наострен для того, чтобы больше заколать... Старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти...» Замысел настолько страшный и бескомпромиссный, что родиться он мог лишь от самого крайнего отчаяния и полной безнадежности, воцарившейся в душе; и разумеется, он должен был привести к катастрофе не только белых, но и черных, причем черных к такой катастрофе, которая теперь, по прошествии стольких лет, представляется почти невероятной.

Свое дело они делали без промедлений, не ведая жалости, проявляя решительность и последовательность. Начали с дома Тревиса, где в постелях убили пятерых, в том числе полугодовалого ребенка, и потом шли на Восток, от дома к дому — грабя, убивая, не щадя никого. Ружей не было — во всяком случае поначалу, и в ход пускали топоры, ножи, косы; обычно жертве отрубали голову. (Заметим, что обреченных не подвергали пыткам и не было случаев изнасилования. Нат в таких делах оставался строго добродетельным христианином, заявив: «Мы не будем творить над их женщинами то, что они творят над нашими».)

Так шли они весь первый день полями, сожженными августовским солнцем, везде искали ружья и пули, угоняя с собой лошадей и вербуя сторонников, которых нашлось достаточно. О том, что это была не вспышка расового гнева, а некий прообраз классовой борьбы, говорит то обстоятельство, что усадьбы многих белых бедняков они специально обходили стороной. К полудню в понедельник силы отряда более чем утроились, теперь в нем насчитывалось девятнадцать человек, а убито было уже около тридцати белых. Слух о происшествии успел прокатиться по всему округу, и поскольку мятежники продвигались весьма быстро, многие белые, охваченные паникой, бежали в леса, а некоторые фермеры решили оказать сопротивление и возводили баррикады, чтобы, укрывшись за ними, стрелять по людям Ната. Нашлось в отряде немало таких, кто разбивали погреба захваченных домов, напиваясь в стельку,— Нат это предвидел и предупреждал, что подобное недопустимо. Впрочем, его силы, которые теперь возросли еще на сорок человек, по-прежнему двигались к Иерусалиму, продолжая свои бесчинства всю ночь и весь следующий день, пока, наконец, решительный отпор поднявшихся по тревоге белых и появление конницы ополченцев (да к тому же, вероятно, и воздействие яблочного бренди, поглощаемого в огромных количествах) не заставили мятежников рассеяться, хотя до городка оставалась только миля или чуть больше.

Почти всех их скоро схватили и отдали под суд — забота о законности, характерная для той эпохи, когда прежде всего требовалось установить, действительно ли виновен, а значит, отправится на виселицу именно м о й раб, который, в конце концов, был собственностью и стоил восемьсот — девятьсот долларов. Как только мятежники разбежались, Нат исчез и два месяца прятался в лесах, пока голод и осенние холода не выгнали его из убежища, заставив сдаться первому же встречному фермеру с дробовиком в руках. Было это в ноябре 1831 года; Ната привезли в Иерусалим и принялись судить за подстрекательство к бунту, жертвами которого стали шестьдесят белых людей.

Прямые последствия всего случившегося были крайне прискорбными. Истребление стольких белых само по себе явилось актом совершенно ненужным. Так и не удастся установить, сколько негров, непричастных к мятежу, погибло от рук захлебы-

вавшихся яростью белых, которые, создав патрули, целую неделю после бунта обшаривали округ уголок за уголком, добиваясь отмщения и устрашения. Ричмондская газета, сожалеющая об этом разгуле, полагает, что убили около двухсот чернокожих, среди которых было много свободных людей; нередко пленников пытали и мучили немыслимо жестокими способами. Но еще существеннее те последствия, которые восстание Ната Тернера имело для института рабства. О случившемся быстро узнали во многих штатах Юга; то, что казалось невероятным и о чем никогда даже не заговаривали вдруг произошло — и это после двухсот лет безропотного послушания, после привычных «да, масса хозяин», какие только и слышали от заботливых нянюшек и слуг; понятно, что по всему Югу пробежала шоковая волна встревоженности и страха. Раз этот чудовищный кошмар оказался возможен в Виргинии, кто поручится, что он невозможен з д е с ь у н а с, в Теннесси, или в Огасте, или в Виксберге, или в пустынных уголках Луизианы? Проживи Нат еще немного, увидь он, к чему привело поднятое им восстание, он удостоверился бы в жестокой иронии, распорядившейся так, что смелый, отчаянный его порыв к свободе увенчался лишь самыми ужасающими формами тирании, которые теперь повсюду практиковали в отношении негров,— устанавливая патрулирование, еще больше ограничивая возможности передвижения и сходок, не допуская, чтобы дети учились, вводя прочие жестокие и уродливые постановления, в рабовладельческих штатах сохранившие силу вплоть до Гражданской войны. В Виргинии дело шло к эмансипации, и, вероятно, как раз восстание Ната Тернера напугало многих умеренных законодателей, внушив им мысль, что освобождать негров опасно, а это и стало решающим обстоятельством, обеспечившим победу сил, стоявших за сохранение рабства. Меж тем Виргиния ведь обладала огромным престижем и освободи она тогда своих рабов, трудно даже представить себе, какое это имело бы историческое значение.

Нат породил на Юге беспредельный парализующий страх, который так никогда и не был преодолен. Белые насадили семена рабства, а когда явился Нат Тернер, горькую жатву пришлось собирать и белым и черным.

Его казнили вместе с шестнадцатью другими неграми, которые особенно отличились во время восстания. Большинство других участников были отправлены на Юг, на дымящиеся от жары плантации риса и хлопка. 11 ноября 1831 года Ната повесили, выбрав для этой цели дуб, росший на центральной площади Иерусалима. Смерть он встретил с большим мужеством и достоинством. «Казненные,— пишет Дрюри,— после отправления подобающего ритуала были преданы земле, кроме Ната Тернера. Тело его отдали лекарям, которые, сняв кожу, извлекли все нужное для изготовления мазей».

III

Недавней весной я навещал в Виргинии свою родню и решил заглянуть на денек в округ Саутгемптон, до которого всего час езды автомобилем от городка, где я родился и вырос. Естественно, побудил меня к этой поездке Нат Тернер, хотя никаких конкретных и безотлагательных нужд у меня не было. Все, что можно было разузнать о его мятеже, было мне уже известно. Из надежных источников я был осведомлен, что рыться в саутгемптонском судебном архиве бесполезно. Так что отправился я не с тем, чтобы отыскать новые факты, просто захотелось проникнуться настроением и подышать воздухом тех мест, где я не бывал уже давно, с тех пор как мальчиком проезжал Саутгемптон по пути к родственникам отца, жившим в Северной Каролине. И еще подумалось: а вдруг доведется увидеть кое-что связанное с восстанием или даже пройти часть той дороги, которой двигался отряд Тернера, благо я вооружился одним из превосходных путеводителей, прославивших выпускающее их Общество охраны памятников виргинской старины,— они необходимы любому, кто вознамерится совершить паломничество к святыням Старого Юга, будь то Джеймстаун, Аппоматтокс или Монтиселло[7]. Особенно разгорелся у меня аппетит после того, как мой свойственник позвонил своему двоюродному брату, чтобы рассказать обо мне. Человек этот, которого я здесь назову Дэном Сьюэрдом, жил неподалеку от Франклина, нынешнего окружного центра; в трубке раздался добродушный голос с тягучим южным акцентом,— даже столько лет прожив на неприветливом Севере, я немедленно узнаю его, и он пробуждает во мне столько воспоминаний, так притягивает и волнует,— и я услышал, что мне будут рады оказать всемерное содействие в моих трудах...

...Вероятно, не следовало удивляться, что мистер Сьюэрд, по всей очевидности, очень слабо себе представлял, кто такой Нат Тернер. Когда мы об этом заговорили, выяснилось, что, по его понятиям, восстание произошло еще в восемнадцатом столетии. Он охотно описал мне виденный в детстве «висельный дуб» — тот, на котором Нат был повешен в Кортленде, как после Гражданской войны стал зваться бывший Иерусалим; лет тридцать назад дерево засохло и его спилили; ну, а что до прочих памятников восстания, он, к сожалению, не может рассказать мне ничего. Да ничего, если он не ошибается, и не сохранилось.

Так начались для меня разочарования, которых час от часу становилось все больше. Боже, неужто я и впрямь надеялся узреть реликвии, оберегаемые не менее заботливо, чем памятники колониального времени в Уильямсберге, этакий музей, где при входе меня встретит дама в кринолине и шелковом лифе и, после того как я заплачу свои пятьдесят центов за билет, проведет по залам, неспешно рассказывая, как на этом вот самом месте хозяйка дома — о ее доброте все знали — пала от рук кровожадного дикаря. Настоящий виргинец, хочет он того или нет, всегда находится под бременем остро им ощущаемой исто-

[7] Поместье Т. Джефферсона, видного деятеля американской революции. Памятник архитектуры классицизма, возведенный рабами.

рии, и поэтому не могу исключить, что такого рода мысль где-то во мне таилась. Как бы то ни было, я не сомневался: найдется на что посмотреть — и еще сильнее в том уверился, когда после ленча мистер Сьюэрд предложил поехать в Кортленд, до которого было десять миль к западу. Он успел переговорить со своим приятелем, шерифом округа, которому в Саутгемптоне были знакомы все потайные укрытия и медвежьи углы, главным образом оттого, что все время приходилось разыскивать самогонщиков; и уж если кто из ныне живущих мог бы указать какие-то следы Ната Тернера, восстановив его путь, так только шериф. Я окрылился надеждой. Ведь я прихватил с собой книжку Друри с приложенной к ней картой, на которой обозначалось движение отряда и были поименованы захваченные им дома. Книжка, правда, вышла шестьдесят с лишним лет назад, местность за это время должна была заметно измениться. Зато у шерифа была подробная карта округа, и вместе с моей картой являлась возможность проделать весь маршрут, пройденный восставшими за сто тридцать четыре года до этой моей поездки, и хоть на минуту представить себе, какой тогда лился свет, какие тени лежали на этой сцене, где разыгрывалась драма убийства и возмездия.

Но выглядело все так, как будто Нат Тернер никогда и не существовал, и пока мы, впятером набившись в машину шерифа с намалеванной на борту огромной звездой, до самого вечера колесили по шоссе, слушали перебивающие друг друга голоса по включенному полицейскому радио и посматривали на торчащий сзади пулемет, предназначенный на случай беспорядков, у меня росло чувство, точно этот негр, так давно меня занимавший и овладевший моим воображением настолько, что духовно и во плоти стал реальнее большинства людей, с которыми я изо дня в день общался,— точно он просто моя выдумка, фантом, столь же безжизненный, как какой-нибудь персонаж из полузабытой сказки. Ведь здесь, в глубинке, среди плоских полей, перемежаемых лесами, по которым он некогда бродил, лишь немногие слышали про Ната, но даже и они, эти белые и черные, с которыми мы разговаривали, специально останавливаясь у ферм, заправочных станций, лавок, расположившихся на перекрестке пыльных дорог, большей частью путали его с кем-то другим и представляли неким призраком, мифом, каким-то черным Полем Баньяном[8], который сотни лет тому назад вершил дела неясные и таинственные. И не то чтобы они над нами посмеивались или не хотели говорить, нет, они просто ничего не знали. Один из них был уверен, что речь идет о герое Гражданской войны, негритянском командире. Молодой негр из сельскохозяйственных рабочих — он околачивался на автостанции — сказал, что Нат вроде как был белый. А туго соображавший клиент лавки, где торговали подержанной мебелью,— белый человек с тяжелым взглядом и торчащим животом,— подумавши, заявил, что так звали знаменитую в старину беговую лошадь.

Сам шериф, немногословный, с вкрадчивым голосом мужчина низкого роста, на чьем лице застыла усмешка, словно он все время вспоминает забавную шутку, очень хорошо знал, кем был Нат Тернер, и я побьюсь об заклад, что наши мученья доставляли ему удовольствие. Человек он был сметливый, отмеченный особой деревенской способностью на лету все схватывать, и вскоре не меньше меня увлекся мыслью отыскать хоть какие-то следы восстания (он, правда, сразу же мне разъяснил, что карта в книжке Друри совсем устарела и те дороги давно заброшены, заросли травой и деревьями, а дома либо сгорели, либо развалились); невежество этих вахлаков его забавляло, и, похоже, он от души веселился, видя, как глупеют их лица, когда и белым и черным задавался один и тот же вопрос: «Ну что, слыхал про старика Ната Тернера?» Но слыхал далеко не каждый из них, хоть я не сомневался, что распахивали они поля, по которым двигался Нат, потому что жили на земле, где и он жил; что же до старых построек, которые, кто знает, могли помнить те далекие времена, никто из опрошенных не смог нам сказать о них решительно ничего вразумительного. Память о Тернере сумели до конца изгладить, его стремились позабыть как можно старательнее, точно чудовищный, непереносимый сон.

День угасал, и, испытывая усталость, смешанную с глубоким унынием, я предложил возвратиться в Кортленд, удовольствовавшись тем, что мы выслушали. Шериф и мистер Сьюэрд тут же согласились, их, видимо, утомили эти докучливые и бесплодные разыскания; мы повернули назад по прямой немощеной дороге, и пошел обрывочный, беспорядочный разговор. Говорили о Севере. Шерифу было любопытно узнать, что я часто бываю в Нью-Йорке. Он туда, случается, тоже заезжает, вот был там всего месяц назад, надо было «взять черномазого», который совершил побег из тюрьмы, где ждал суда за убийство жены. В Нью-Йорке, сказал шериф, иной раз недурно провести ночку, но жить — нет, ни за что на свете.

Он говорил и говорил, а я смотрел в окно, и вдруг мой взгляд что-то привлекло, что-то знакомое, какой-то мерцающий на горизонте отблеск или силуэт, возникший на фоне осыпанного солнечными лучами леса; я попросил остановить машину. Мы дали задний ход, и сквозь облако пыли я увидел дом, стоящий примерно в четверти мили от шоссе,— с такого расстояния он казался покосившимся прямоугольником, прячущимся за ветвями гигантского дуба, и все равно весь этот вид — и дом, и склонившаяся над ним могучая крона, и привольно разросшийся лес — так был мне привычен, словно я каждый день проезжаю по этой дороге. И едва накатилось это чувство узнавания, я сразу понял, чей дом разглядываю. Добросовестный Друри в своем «Саутгемптонском возмущении» поместил множество фотографий — конечно, любительских, сделанных им самим, к тому же сильно попорченных несовершенной

[8] Персонаж американского фольклора, богатырь-лесоруб.

типографской техникой начала века. Все же и по ним можно было опознать изображенные строения, и, открыв книжку, я обнаружил снимок именно этого дома,— за шестьдесят лет нависший над ним исполинский дуб вырос разве что на несколько дюймов,— а подпись говорила, что принадлежал он миссис Кэтрин Уайтхед. Издалека, окутанный весенним светом, он казался воплощенной безмятежностью, но не много найдется домов, в чьих стенах происходили такие взрывы насилия. Нат Тернер и его отряд пришли сюда к вечеру в понедельник, 22 августа, и, ворвавшись в дом, «убили миссис Кэтрин Уайтхед, и сына ее Ричарда, и четырех дочерей, и внука».

К дому вел узкий проселок, давным-давно заброшенный, поросший буйно цветущими сорняками, издававшими слабое шуршанье под колесами машины. По обе стороны цвел розовым и белым кизил, совсем одичалый, расползшийся красивыми пятнами, словно на рисунке пастелью. Поблизости от дома путь нам перерезала ограда из жердей; шериф притормозил, мы вышли и с минуту постояли, оглядываясь по сторонам. Было вокруг спокойно, тихо, так тихо, что донесшаяся из леса трель пересмешника нас чуть не испугала,— в доме, разумеется, никто не жил. Потрепанный непогодой, облупившийся, с давно облетевшей старой штукатуркой, похожий на обглоданную кость, которая сереет в сугробе, он одиноко, мрачно высился над провисающим, шатким крыльцом, а дверь стояла нараспашку и казалась незаросшей раной. Настоящей усадьбой он никогда и не выглядел, но все же стоял удобный, просторный деревенский дом, от которого теперь остались развалины один скелет, лишь отдаленно напоминавший, как все здесь было когда-то. Подойдя поближе, мы увидели, что дом до самого чердака завален початками сухой кукурузы — кормом для свиней; и вдруг свиньи выбежали прямо из-за угла, злобно на нас уставившись, похрюкивая и напрягая спины, похожие на раскрытую бритву. Мистер Сьюэрд замахнулся палкой, резким окриком разогнав стадо. А я все глядел на дом, стараясь припомнить, что тут произошло в дни бунта. И припомнил.

Есть что-то странное, таинственное, иррациональное в том, как вел себя сам Нат Тернер, когда закипел мятеж. Он не мог убивать. В его исповеди раз за разом попадаются признания такого рода (он их делает мимоходом, и надо читать внимательно, чтобы не ускользнул смысл): «Мне не удалось прикончить этого человека, потому что удар пришелся мимо головы»; или: «Я нанес ей несколько ран в голову, но убить не смог, нож оказался тупой»... И так все время: тупой нож, бьющий мимо топор — верить этому перестаешь. Скорей уж подумаешь, что на твоих глазах разыгрывается «Гамлет» — та же самая рассудочность, и смертельный страх, и чувство вины, и попытки уклониться от насилия, и фатальная нерешительность. И лишь в этом вот доме, теперь превращенном в амбар под кукурузу и угрюмо молчащем в весенний вечер, когда одни свиньи, рывшиеся на дворе, нарушали тишину, лишь здесь Нат наконец выказал способность (или, может, его заставили?) совершить кровопролитие, а жертвой оказалась восемнадцатилетняя Маргарет Уайтхед, которую Друри именует «первой красавицей во всем округе»,— кому-то это покажется натянутым и шаблонно романтичным, но он, наверное, писал искренне. Вообразите себе этот апокалипсис, это безумие, которое полыхает под нестерпимо резким солнцем жаркого августовского дня.

«Я вернулся в дом, чтобы свершить работу смерти, но те, кто там уже находился, не сидели сложа руки, и всю семью они перебили, кроме миссис Уайтхед и ее дочери Маргарет. В прихожей я столкнулся с Уиллом, который тащил миссис Уайтхед на крыльцо, где нанес ей удар топором, отсекши голову от шеи. Мисс Маргарет я обнаружил там, где она пряталась,— за крышкой погреба, который был рядом с домом; и заметив меня, она кинулась бежать в поле, но я ее тотчас нагнал и несколько раз ударил своим ножом, а потом убил, ударив по голове жердью».

Больше Нат никого не убивал. И отчего вслед за разгромом поместья Уайтхедов ярость восстания начинает слабеть, отчего спадает его накал, его непримиримость? Отчего и в исповеди Ната, после того как он рассказал про Маргарет, чувствуешь подавленность, какое-то безволие, словно исчезло все его былое воодушевление, и так решительно, что до самого конца мятежа мы больше ни разу не увидим его самого, когда чинится насилие? Может, тут его озарило, что ведь в конце концов он человек, а может, наоборот, это чувство тут и покинуло его насовсем?

Я проник в дом, кое-как добравшись до двери по крыльцу без ступенек и цепляясь за источенную временем оконную раму. В доме пахло дрожжами, как от прокисшего пива. В комнатах, где никто не жил, было не продохнуть из-за пыли от початков; пыль скапливалась годами, десятилетиями, местами она лежала плотным слоем толщиной в полпальца, и всюду был серый этот тончайший прах, который напоминал городской снег, выпавший порядочное время тому назад и уже закоптившийся. Кое-где из-под наваленной кукурузы доносилась чуть слышная возня и мышиное жалобное попискиванье. И царил глубокий покой, и громадный тот дуб отбрасывал тень своей листвы, шашечками ложившуюся на пол вперемешку с яркими отблесками солнца, льющегося через распахнутую дверь. Даже этот ослепительный, сверкающий золотом день тут отзывался только глухим напоминаньем, а может, предчувствием смерти, и мне вспомнились леденящие душу строки Эмили Дикинсон:

Безмолвный прах, он был когда-то
плотью
Живых людей,
Их локонами, платьями, страстями
И светом их очей.

Шериф кого-то вызывал по своему радио, до меня долетали отрывочные, неясные слова; из центра округа ответили, громко прозвучало несколько непонятных мне фраз, и все утонуло в треске и шипенье. А вслед за тем опять безмолвие, и

слышится только мягкий голос моего отца, беседующего с мистером Сьюэрдом.

Я прислонился к сгнившему косяку и смотрел на могучее дерево, на ту заслоняемую им лужайку, где Нат догнал и умертвил мисс Маргарет Уайтхед. Среди недвижной тишины мне на миг почудилось, будто я слышу, как с оглушительным звуком рвется тафта ее лифа, слышу топот бегущих и пронзительный крик ужаса, и тот день словно наложился на день сегодняшний, сливаясь с ним, так что они стали одним целым и еще долго текли нераздельно.

1965

Из рецензии на книгу Ф. Танненбаума «Раб и гражданин»

...Мы лишь теперь начинаем постигать, до какой степени опустошительными оказались психологические и моральные последствия рабства для нас всех. В отличие от испанцев и португальцев англичане, как и те их потомки, которые в Америке сделались рабовладельцами, исторически не были подготовлены к системе рабства; ни протестантская церковь, ни английские или американские законы не указывали, кем считать невольника-негра, хоть это очень сложная проблема, так как требовалось либо признать его человеком, обладающим гуманной природой, либо же рассматривать как собственность,— и предпочли второе. Итогом стала очевидная деградация целого народа. Делалось все для того, чтобы рабов не освобождали. Невольник превратился всего лишь в товар, которым можно торговать; его лишили собственности на то, что он сам же и производил, он не мог вступать в брак по собственному выбору, не обладал даже правами в отношении потомства, появившегося от несанкционированных связей, рожденных безнадежностью,— на фоне столь вопиющих нарушений христианской морали странно и полемизировать о том, преобладали на белом Юге терпимые, человечные хозяева или садисты, масса Бобс или Саймон Легри[9]. Рассказывают о дикостях (даже теперь нельзя с определенностью сказать, проявлялась ли жестокость систематически или лишь в редких, нетипичных случаях,— недаром же из-за этих пустяков яростно друг с другом спорят историки, выступающие как апологеты рабства, и современные аболиционисты); но любые рассказы в таком роде меркнут, когда подумаешь, что вся черная раса постоянно подвергалась сплошной дегуманизации и что последовательно, не без успеха негритянский народ старались удержать на том уровне развития, какой естествен только для детей. То был гнет, какого еще не знало человечество за свою историю. Понадобилась Гражданская война, чтобы как-то выправить этот дикий вывих, но война слишком запоздала.

«В Латинской Америке,— пишет Танненбаум,— на протяжении столетий хозяева освобождали своих рабов, и те, обретая человеческое достоинство и чувство морали, постепенно обрели и равенство в правах. В Соединенных Штатах негр получил свободу, к которой его не подготовили, и до того, как белое сообщество признало за ним этический статус».

Вот проблема, которая стоит перед нами по сей день, ибо по-прежнему многие белые американцы отказывают негру в моральности и в человечности.

Как ни грустно, история не содержит в себе ответов на те вопросы, какие она нам оставила в наследство. Профессор Танненбаум завершает свою прекрасную книгу справедливой мыслью о том, что пройдет еще очень много времени, прежде чем моральный статус негра перестанут оспаривать. Но не ясно ли, что время это может оказаться слишком долгим для того, чтобы спаслись мы сами.

1963

Думая об аде[10]

Не так уж часты книги, оставляющие в читателе столь сильное чувство причастности, что мы говорим об откровении. Мне кажется, «Узлы истории» Ричарда Рубенстайна — одна из них. Это небольшая книга, в сущности, лишь пространное эссе, но мыслей здесь так много и так много точных, просто-таки на удивленье глубоких обобщений, что невольно поразишься почти полному молчанию, каким встретили труд Рубенстайна, когда он был напечатан в 1975 году. Читая у Рубенстайна об Освенциме, я испытывал то же самое чувство прикосновения к истине, которое запомнилось со времен «Исповеди Ната Тернера», когда роман был едва начат и мне попалась работа Стэнли Элкинса «Рабство», до того смело и так по-новому толковавшая прошлое американских негров, что, несмотря на вызванные ею споры, аргументирует ее стал безусловным. Между прочим, Рубенстайн тоже касается идей Элкинса — возможно, лишь по чистой случайности, но все же надо заметить, что их обоих привлекает та тема, которую я считаю самой интригующей из всех, какие подсказывает история, включая историю нашего времени: фатальное стремление одной группы людей подавлять и подчинять своей воле другие.

Рабство было опухолью, которая отравляла существование западного мира в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, а продолжением рабства стал тот кошмар, который известен нам под именем Освенцима; это раковая опухоль нашего века. Освенцим, это средоточие ада, становится сердцевиной повествования в «Узлах истории», от этого центра далеко протягиваются размышления и теологического, и политического толка, но, хотя они и заключают в себе немало идей, относящихся к

[9] Масса Бобс — персонаж сказок Дж. Харриса, основанных на негритянском фольклоре и очень популярных в XIX в., добродушный белый фермер. Саймон Легри — жестокий работорговец из «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу.

[10] Статья написана в связи с выходом книги историка Р. Рубенстайна «Узлы истории» (1975).

числу самых глубоких у Рубенстайна, главным предметом для него все равно остается Освенцим сам по себе. Время нас еще не отдалило от Освенцима, и его чудовищность, для которой нет слов, его, так и хочется сказать, невероятность нас все еще травмируют и лишают способности постичь; для нас он по-прежнему мука, по-прежнему свежая утрата. А чувствуя, что мало-помалу Освенцим начинает отодвигаться в область минувшего, мы точно бы отказываемся в него поверить, и нам приходится убеждать себя, что это действительно было Сама мысль о нем, самый образ его пугают нас. словно он воплощенное проклятье. «Пасха и рождество способны вдохновлять поэзию,— писал У. Х. Оден [1],— но не страстная пятница и не Освенцим. Такая реальность слишком ужасающа».

Он мог бы добавить, что проза, пусть всего лишь описательная, тут тоже выглядит невозможной. О том, что подобные предметы не доступны языку средств массовой коммуникации, ясно сказал неуспех недавнего телесериала «Геноцид», где выявилась очевидная неспособность понять явление столь сложное, каким был Освенцим,— дальше я коснусь этого подробнее. Критик Джордж Стайнер предложил решение наиболее радикальное: молчать. Но писатели молчать не могут, и тем более такой пытливый автор, как Рубенстайн, взявшийся за дело необходимое, однако страшно тяжелое, и решивший анатомировать тот кошмар, хотя он все еще воспринимается как скверный сон, а не как действительность.

Да, во времени Освенцим к нам близок, и все-таки он явление историческое, как его и воспринимает Рубенстайн, чьим достоинством я бы назвал и смелость, и своеобразие подхода, который позволяет за кажущейся непостижимостью этого явления обнаружить присущий ему глубокий и многое обнимающий смысл. Свершение незаурядное, коли вспомнить, как часто интерпретация истории почти целиком сводится к тенденциозным выкладкам, говорящим лишь об авторских пристрастиях, которые в свою очередь могут кое-что прояснить насчет преобладающих мнений эпохи. Мы хорошо знаем, что вместо доподлинной истории нам обычно преподносят такую, какой ей бы следовало быть соответственно желаниям историка, о том одном и хлопочущего, чтобы укоренить предвзятость своих современников, откликаясь на их сокровенные чаяния.

Легко это доказать, в двух словах коснувшись меняющегося понимания истории американских негров во времена рабовладения. Примерно лет восемьдесят — от официального запрета рабства до второй мировой войны — все, что по этому поводу писалось, было пропитано понятиями общества, по сути своей остававшегося расистским, убежденного в неполноценности черных и безусловной необходимости сегрегации. Вплоть до войны историки рабства на разные лады повторяли суждения ученого из Джорджии, Филлипса, чьи работы, при всех их профессиональных достоинствах, пропитаны заданной идеей, согласно которой эпоха рабовладения была чуть ли не идиллическим временем, когда всем на свете удовлетворенного невольника и его снисходительного хозяина соединяли прочные узы, завязавшиеся в атмосфере радостного, щедро вознаграждающегося труда и домашнего спокойствия.

Однако к началу 40-х годов социальные встряски только что завершившегося десятилетия всерьез поколебали основы национального сознания, среди прочего побудив признать, что в отношении негров всегда существовали бесправие и беззаконность, которые чинятся по сей день. Одновременно стали по-новому, не без изощренности трактовать психологию страдания. И в такой атмосфере, способствовавшей пробуждению чувства вины и жажды нового понимания нашей сущности, оказался неизбежным решительный пересмотр всей картины рабства, а образ действительности в годы перед Гражданской войной не мог не оказаться прямой антитезой той благостной утопии, какую рисовал Филлипс; появившиеся новые историки (прежде всего Кеннет Стэмп в своем «Самобытном установлении») изображали рабовладельческую эпоху как олицетворение жестокости, дикости и деградации, не находя или почти не находя в ней ничего привлекательного. Особой заслугой Элкинса, чье «Рабство» вышло несколько лет спустя, было опровержение тех легенд и однобоких крайностей, которые вызвали к жизни не лишенные своекорыстия идеи как апологетов рабства, так и его хулителей; требовался взгляд на это явление с новой, нетрадиционной стороны, потому что требовалось постичь всю его противоречивую сложность.

В отличие от рабства, у которого нашлись свои паладины, Освенцим не мог породить собственных защитников. И я вовсе не хочу сказать, что в «Узлах истории» Рубенстайн выступает в качестве посредника между спорящими или пытается согласовать точки зрения, которые противоположны. Сказать нужно лишь о том, что, подобно Элкинсу, Рубенстайн заставляет нас взглянуть на Освенцим по-особому — прежде всего (хотя к этому дело не сводится) как на новую форму рабства, которое столетиями укоренялось в теле западной цивилизации. Отвергая мифы, отбрасывая готовые объяснения, он доказывает нам, что Освенцим, ставший олицетворением страданий и смерти, быть может, был еще ужаснее, чем мы полагали. Был рабством, доведенным до крайнего своего предела. А этиология Освенцима, который кому-то представляется ухищрением самого дьявола, а кому-то безумным вывертом, ликвидированным вместе с концлагерями в 1945 году, на самом деле оказывается прочно укорененной в культурной традиции, восходящей к тем временам, когда из Африки плыли через океан невольничьи корабли, и еще дальше, к Древней Греции и Риму с их рабовладельческой системой. Рубенстайн утверждает: игнорируя эту связь, не замечая, что она, подобно вирусу, притаилась в организме нашей цивилизации, мы ставим под угрозу свое же будущее.

[1] Английский поэт, с 1939 года жил в США.

Потребовалось целое столетие, чтобы развеять легенды, окутывающие рабовладельческую эпоху в истории Америки, и трудно даже предполагать, сколько понадобится времени, чтобы мы проникли в истинный смысл Освенцима, пусть он всем нам так памятен. Уже несколько лет я занят книгой — отчасти беллетристической, отчасти документальной,— которая прямо касается Освенцима, и меня не перестает поражать, до чего ложные представления о нем обнаруживаются у весьма просвещенных людей, едва разговор коснется этой темы. Самое из них распространенное состоит в том, что в освенцимских газовых камерах уничтожили миллионы евреев — только это, не больше. Кто же не знает, что нацистский геноцид означал массовое истребление евреев, производившееся не только в Освенциме, где погибли два с половиной миллиона, но и в других лагерях смерти, созданных на польской территории,— в Берген-Бельзене, Треблинке, Майданеке, Хелмно. И в тех лагерях, которые функционировали на территории самой Германии, тоже погибло множество людей. Директива рейхсфюрера СС Гиммлера, помеченная 1943 годом, ясно указывала, что должно быть умерщвлено все еврейское население Европы, без каких бы то ни было исключений; мы знаем, как последовательно и деловито выполнялся этот приказ.

Однако в Освенциме, этом законченном образце мира «тотального подчинения», который Рубенстайн считает сутью нацистской идеи, систематически осуществлялось не только массовое убийство в масштабах, каких прежде немыслимо было и представить, здесь столь же систематически насаждалось массовое рабство, причем с жестокостью поистине бесчеловечной. Это рабство основывалось на принуждении к работе в течение точно исчисленного срока (обычно не более трех месяцев), после чего жертва посредством не менее тщательно продуманной системы лишений оказывалась обречена на гибель. Рабский труд на близлежащей фабрике концерна «И. Г. Фарбен» или на фарбеновских же угольных копях (а также любой иной вид труда, который были способны изобрести эсэсовцы) — для тысяч заключенных он служил отсрочкой перед газовой камерой, и, может быть, немедленная отправка в камеру была даже лучше, чем эта прижизненная смерть, ибо лишь от воли случая зависело, кто из обреченных протянет чуть дольше.

Как сказано у Рубенстайна, подобная система рабства могла оказаться практически действенной только при условии легкой заменяемости рабов, которых всегда было достаточно; нацисты, считавшие себя лучшими в мире специалистами по эффективности, не испытывали в этом отношении никаких трудностей, ибо в их распоряжении находились все евреи Европы, да еще многие тысячи поляков, русских военнопленных и так далее. И хотя нельзя утверждать, что эта система беспрецедентна за долгую историю рабства (мы помним время, когда англичане в Вест-Индии, где рабочей силы тоже было с избытком, заставляли невольников трудиться, пока те не умирали прямо на плантациях), все-таки никто из рабовладельцев не применял так последовательно и не довел до такой абсолютной логичности принцип, согласно которому человеческая жизнь важна лишь настолько, насколько индивид *способен что-то производить*. Критерий пригодности к труду и заменяемости, когда человек больше не в состоянии работать,— вот, вероятно, один из самых необходимых ключей для всякого, кто стремится открыть двери, ведущие в непостижимый ад Освенцима; Рубенстайн об этом подробно пишет в первой главе, связывая этот критерий с преобладающим в современном обществе отношением к людям без подданства, не имеющим или лишившимся корней, обездоленным, обойденным удачей. Он снова и снова касается темы избыточного населения (как это понималось в нацистской Германии и других сверхдержавах прошлого или будущего), и через всю книгу она тянется, словно сгущающаяся туча по небу перед грозой.

Впрочем, рабский труд бесцелен, если он ничего не создает, а что создавал он в Освенциме? Разумеется, рабы — евреи и неевреи — занимались тем, что осуществляли убийство других рабов. 4 апреля 1943 года было решено, что освенцимские газовые камеры, где раньше сжигали всех без различия национальности, отныне предназначаются исключительно для евреев. Тем самым энергия способных к труду, кому пока было предоставлено жить, оказалась либо главным образом, либо частично подчинена выполнению основной цели нацистской программы геноцида: поголовному истреблению евреев в Европе.

Но это еще не все. Те, с кем мне довелось разговаривать об Освенциме, многого не знали, в частности и того, что одной из его основных функций была производственная, связанная с изготовлением синтетического каучука по заказам немецких корпораций. Изучавших нацизм, особенно все связанное с концлагерями, обычно и поражают и озадачивают его на вид необъяснимые противоречия, вздорность или полная иррациональность тех или иных его порядков и директив, доведенный до совершенства Ordnung в одних сферах, полнейший хаос в других. СС, о чьей дисциплине и методичности столько говорено, гораздо чаще отличается как раз редкостной неразберихой, от которой голова идет кругом. Взять хотя бы гиммлеровский приказ о сплошном уничтожении евреев, изданный в начале 1943 года,— кажется, яснее и категоричнее сказано быть не может. Однако это безоговорочное распоряжение, принадлежащее к числу самых невероятных и чудовищных за всю историю человечества, было очень быстро пересмотрено и фактически изъято, а вместо него явилась директива, повелевающая начальству Освенцима направлять всех взрослых узников еврейской национальности, годных к труду, не в крематории, а на работу.

Можно лишь строить догадки о причинах этой перемены, но вряд ли мы ошибемся, предположив, что дело не обошлось без давления со стороны концерна «Фарбен-Аушвиц», которому принадлежала фаб-

рика по производству резины, и что оно явилось решающим соображением для Гиммлера, так что заботами директоров компании (совсем недавно обеспечивавшей мирную Европу шинами, кушетками, дверными ковриками и пепельницами) тысячи евреев получили возможность день за днем радоваться выпавшей им «отсрочке» от печей Биркенау только для того, чтобы уразуметь под конец свой жребий ходячих мертвецов, затерянных среди легиона им подобных.

Есть злая ирония в том, что насилие над всеми этими обреченными (а среди них, считаю нужным подчеркнуть, были и сотни тысяч людей нееврейского происхождения) не принесло никаких практических выгод; мы знаем, что по многим причинам продукция освенцимской фабрики оказалась мизерной, ничуть не удовлетворяя потребности вермахта по части синтетического каучука, хотя в лености не заподозрить ни концерн «И. Г. Фарбен», ни СС; между руководителями СС постоянно шла грызня: одни считали, что надо заставить заключенных работать, другие — что надо их уничтожать, а в результате на фабрику обычно отправляли полуживых, обессиленных людей, которых вскоре ожидал крематорий. Но слабая производительность объяснялась скорее даже не тем, что обеспечивать ее должны были физически слабые и неумелые работники, а грубыми технологическими просчетами, наглядно свидетельствующими, до чего эфемерными были претензии нацистов, будто они всех на свете превзошли в умении добиваться максимальной эффективности. На самом деле опыт этот показал только одно: предельно бюрократизированная власть, направляющая бесчеловечное рабство, способна лишь доводить угнетение до предельной стадии, по сравнению с которой старомодные формы рабства, имеющие свои традиции на Западе и не лишенные хотя бы заботы о приличии и каких-то черт христианского сострадания, воспринимаются чуть ли не как благо.

Вот одна из важных мыслей, высказанных Рубенстайном. «Система лагерей смерти становилась обществом, построенным на принципе тотального подавления, только при том условии, что физически крепким узникам сохраняли жизнь, превращая их в рабов, вместо того чтобы сразу убить... Если бы лагеря были предназначены исключительно для убийства людей, они оставались бы центрами массового уничтожения, не сделавшись образом общества особого типа. Пишущие о лагерях обычно видят в них лишь фабрики смерти. К сожалению, лишь немногие из этических и религиозных мыслителей сумели оценить тот чрезвычайно важный факт, что лагеря реально воплощали новую форму общественных отношений».

А дальше Рубенстайн приходит к выводу мрачному, но неопровержимому и глубокому: «Лагеря создавали куда большую угрозу будущему людского рода, чем мы полагаем, придавая их деятельности только функцию массового истребления заключенных. Фабрика смерти способна производить только трупы, тогда как общество тотального подавления производит модель мира, населенного живыми мертвецами».

Не так давно я смотрел вечернюю телепрограмму: передавали дискуссию, которую вел Дэвид Саскинд. Темой дискуссии были нацизм и его история, а также сегодняшние разновидности люмпенского подполья в Америке, имеющие с нацизмом определенное сходство; участвовало несколько писателей. Они в основном были не из еврейской среды. Передача мне почти не запомнилась, если не считать заданного под конец Саскиндом вопроса, который меня поразил своей грубой прямолинейностью: «А собственно, почему вас интересует нацизм? Что вам за дело до геноцида, ведь вы-то не еврей».

Один из участников попытался возразить, промямлив несколько слов насчет того, что фашисты уничтожали не одних евреев, а, к примеру, еще и славян, но никто не обратил внимания на это высказывание, я же испытывал стыд за тех, кто был на экране,— никому и в голову не пришло, что вопрос ведущего поразительно глуп, а ответ постыдно слаб и неуверен. Я едва удержался, чтобы не одернуть Саскинда, сказав, что уж ему бы следовало знать, сколько людей других национальностей сполна разделили судьбу, уготованную нацизмом евреям, сколько таких людей погибло и в Равенсбрюке, и в Дахау, и в освенцимских бараках для рабов. Если Саскинд этого не знает, такое невежество, по-моему, непростительно.

Тут я хочу вспомнить зловещую дату — 4 апреля 1943 года. В этот день машине геноцида придали максимальную мощность, чтобы обеспечить быстрое окончательное решение еврейского вопроса, но в тот же день было с наглядностью выявлено, что программа массового истребления никогда не ограничивала своего действия только еврейским народом. И новый приказ отнюдь не означал, что нацисты переходят к политике охраны поляков или иных нежелательных для рейха наций, он означал совсем другое: уничтожение таких наций, очутившихся на положении рабов, должно производиться не столь методично, как уничтожение евреев, которым в программе убийства посредством газовых камер отводилось первое место.

Статистические свидетельства неполны, так что мы никогда не узнаем точное число нееврев, умерщвленных в крематориях до этой важной даты; несомненно, их были десятки тысяч, хотя и меньше, чем евреев. Но дело в том, что избежать печей означало получить лишь очень призрачный шанс на выживание. Столь же неполны свидетельства о том, сколько нееврев за четыре года существования Освенцима погибло в результате болезней и голода, но все же эти цифры несколько точнее. И они говорят, что из четырех миллионов жертв Освенцима примерно пятая часть — около семисот пятидесяти тысяч — относится к категории арийцев, как это называлось на языке нацизма. Причем это данные только по Освенциму. Множество гражданских лиц было убито в других лагерях.

Цифры эти, возможно, не показались бы столь значимыми, если бы речь шла о неизбежных на войне жертвах среди невоюющих, о людях, погибших случайно или случайно попавших под пресс политики геноцида, однако тут совсем другое дело, и теперь можно с уверенностью говорить, что нацистский план разрешения национальных проблем распространялся на многие народы. Рубенстайн приводит письмо немецкого министра юстиции Отто Тирака, который осенью 1942 года предоставил Гиммлеру «юридическое обоснование» для геноцида в отношении не только евреев, но поляков, русских и цыган, и в этом письме со всей недвусмысленностью употреблен термин «экстерминация». И по моему представлению, глубоко, зловеще символичен малоизвестный факт, который красноречиво характеризует нацистский план относительно «неполноценных» наций Восточной Европы: первыми жертвами примененного в Освенциме отравляющего газа «циклон-Б» стали не евреи, а русские военнопленные, которых было почти тысяча человек.

Памятуя о судьбе европейских евреев, чье полное уничтожение нацизм осуществлял с такой целеустремленностью, памятуя об этом зле, которое выходит за пределы человеческого понимания, не так-то легко говорить о страданиях, причиненных нацистами другим народам. И тем не менее разум не могут не возмущать перенесенные ими бескрайние унижения, тот ужас и та смертельная угроза, которую разделяли они с евреями, не могут не возмущать еще и по той причине, что судьба этих народов обычно никем не принимается в расчет. Общественное сознание очень слабо себе представляет, какие бедствия они претерпели. Приходится напомнить, что их истребление производилось не от случая к случаю, а тоже по системе и в масштабах, которые потрясают. Приведу свидетельство человека, который может тут считаться самым беспристрастным судьей,— Симона Визенталя, главы еврейского Центра документации в Вене.

Вот что говорит он в недавнем своем интервью: «Я всегда считал, что нельзя разделять жертв на евреев и неевреев. Моими стараниями перед судом в различных странах предстало более тысячи нацистов, которые убивали и евреев, и сербов, и цыган, и еще многих, и я менее всего размышлял о том, кем по национальности были их жертвы. Годами я боролся с теми еврейскими организациями, которые не хотят задуматься ни о чем, кроме шести миллионов евреев, погибших от геноцида. Надо говорить не о шести, а об одиннадцати миллионах жертв, включая и шесть миллионов евреев. Это наша, еврейская вина, что во мнении мира геноцид был делом, касающимся лишь нацистов и евреев; на самом деле он касается всех. И евреям необходима помощь всех, чтобы геноцид не повторился».

Но в тот вечер, глядя на телеэкран и про себя осыпая Саскинда проклятьями, я думал и о том, что, если бы даже ненависть и кара гитлеровцев обрушились исключительно на евреев, все равно вопрос, им заданный, прозвучал бы возмутительно. Я не мог отделаться от мысли, что есть нечто сугубо американское (во всяком случае нееврейское) в этой формулировке и что говорит она о полном непонимании истории, о полной невосприимчивости к злу.

И напротив, до чего безошибочно ощущает зло Рубенстайн, который не допускает и тени сомнения в том, что потребность осмыслить дьявольскую машинерию геноцида в равной мере остра для всех, будь они евреями или нет. Мы все по сей день находимся под гнетом этой памяти. «Узлы истории» написаны теологом-иудаистом, и для него само собой разумеется, что нацистский геноцид был самой страшной из трагедий, выпавших на долю еврейского народа, как несомненен для него тот факт, что истребление евреев было центральным пунктом всей чудовищной программы нацистского нового порядка. Восстанавливая историю антисемитизма, Рубенстайн во многом объясняет, отчего дело обстояло именно так.

Но, несмотря на все это, отличие книги Рубенстайна от того, что обычно пишется об Освенциме, и ее сильная сторона заключаются, на мой взгляд, как раз в способности автора понять истинное историческое и общее значение событий, о которых он говорит, в его способности постичь Освенцим как средоточие сатанинских разрушительных сил, проявляющих себя и в истории, и в сегодняшней жизни и создающих угрозу не только для еврейской нации, а для всех нас. Менее всего я хотел бы ущемить национальное чувство евреев, утверждая это как собственный ответ Саскинду; и меня радует, что нашелся человек, рассматривающий тоталитаризм как опасность для всего людского общества. Рубенстайн, как и Ханна Арендт [12], бесстрастен, словно олимпиец, когда анализирует механизм зла,— возможно, поэтому книга его, насколько мне известно, в некоторых кругах была встречена враждебно.

В прошлогоднем телесериале «Геноцид» эти мысли об опасности нацизма для всех, как и высказанное Визенталем убеждение, что нацистское зло должно быть осознано каждым, почти не нашли отзвука. Теперь вряд ли кому придется доказывать, что американское телевидение, даже если оно руководствуется добрыми намерениями, попросту не способно показать важное историческое событие в его подлинной неупрощенности, в его тонких и неоднозначных нюансах. «Геноцид» при всей его бросающейся в глаза вульгарности все-таки мог бы стать одной из самых серьезных передач на нашем телеэкране. Он напоминает другой знаменитый сериал — «Корни» [13], где со всеми обычными для телевидения нелепостями пытались показать историю

[12] Современный американский философ-культуролог.

[13] Сериал сделан по одноименной документальной книге негритянского автора Алекса Хейли (см. рецензию К. Чугунова в «ИЛ», 1977, № 6).

рабства в Америке; для обеих передач была осуществлена «тщательная научная подготовка», и за девять с половиной часов экранного времени можно было помимо обычной невыразительной гладкости ощутить и некоторое присутствие истины, которая, кажется, должна была исключить слишком резкие отступления от исторической достоверности. И, как первые серии передачи «Корни», с впечатляющей достоверностью доносившие отдельные подробности работорговли, «Геноцид» поначалу привлек выразительными, о многом заставляющими задуматься эпизодами, в которых было показано, как нацистский яд проникает и в повседневную жизнь еврейских кварталов, и в сознание обывателей, потом ставших фашистами. Что ж, тем грустнее было убедиться, что, не говоря уже о явной безвкусице и особенно о перебивавших передачу рекламных объявлениях, на фоне такого материала выглядевших просто кощунством, сериал в целом оказался пустой и слащавой мелодрамой.

Безошибочная примета, что трагедию превращают в слезливую банальность,— появление на экране этаких олицетворяющих фигур. «Корни», обманувшие вызванные ими ожидания уже тем, что история рабства в них выглядела как конфликт сплошной добродетельности черных и сплошной злонравности белых, тоже не обошлись без подобной фигуры, какую представлял единственный во всем сериале белый человек, который не лишен порядочности; в «Геноциде» столь же условные фигуры антифашистски настроенного прелата и «доброго по природе» нацистского чиновника (а кроме них еще два-три лагерных осведомителя и надзирателя из числа заключенных-евреев) призваны были придать некое искусственное правдоподобие скверной театральщине, как ни искусно ее аранжировали не сумев, однако, скрыть полного отсутствия какой бы то ни было мысли. И менее всего убеждали в этом сериале освенцимские сцены, хотя им придавалось значение кульминации и некий обобщающий смысл.

Слишком чувствовался нажим в этих кадрах, показывающих вереницу раздетых евре́ев перед дверями крематория, пусть сняты они были весьма искусно. И хотя по ходу дела прозвучало нечто маловразумительное относительно концерна «И. Г. Фарбен», хотя кратко было упомянуто о поляках, чей жребий, впрочем,— так следовало из контекста — якобы был куда более легким, чем судьба еврейских узников, сериал не дает ни малейшего представления о том, какие размеры приняла и как реально выглядела царствовавшая в Освенциме система рабского труда. Не было даже косвенных указаний, что в немыслимо разросшейся этой империи тотального подчинения (где лица еврейской национальности составляли большинство) находились многие тысячи поляков, русских, чехов, югославов, обреченных на насильственную смерть, и что среди заключенных были терпевшие те же муки католические священники и монахини, над которыми тоже производились преступные медицинские эксперименты, и что ад Освенцима узнали участники польских и иных групп Сопротивления (о чьей борьбе, о чьем героизме сериал не обмолвился ни словом), и что многие из них шли в газовые камеры, как и евреи. Короче говоря, их мученичество, их страдания попросту игнорировались — в нарушение исторической истины и, полагаю, нравственной ответственности. Наверное, нам не дано и приблизиться к пониманию того, чем был геноцид, пока мы не обретем способности различать за тем гигантским злом, о котором давно знаем, отсвет другого, еще более громадного зла.

1978

«Прощай, оружие!»

Недавно я беседовал со студентами в одном виргинском колледже, и меня охватило чувство не радостное, но не обманывающее. Заговорили о литературе, описывающей войну; и тут мне вдруг подумалось, что, прожив всего пятьдесят один год,— достигнув возраста зрелого, но не такого, чтобы ощущать себя почтенным старцем,— я оказался свидетелем трех войн, в двух из которых сам был непосредственным участником как офицер и рядовой морской пехоты. Войны вспоминаются мне в обратном хронологическом порядке. Та, которую мы вели во Вьетнаме, по счастью, миновала меня, оставив лишь наблюдателем — угнетенным и негодующим; но я воевал в Корее, а во вторую мировую воевал с японцами (у нас морские пехотинцы последнее время специализировались по Востоку); а еще — факт по-своему любопытный — стоит упомянуть и о том, что первая мировая война, эта бессмысленная и ужасающая бойня, закончилась всего за семь лет до моего появления на свет.

В Виргинии стояла весна, мирно светило солнце, а я не мог отделаться от мрачных своих мыслей и говорил, что мир этот так непрочен. Долго ли он продержится? Да и вправду ли так бестревожен? Вот это, кажется, удивило студентов, им, похоже, стало со мной скучно. Я размышлял с ними о том, что в наш век страшные эти вооруженные конфликты повторяются почти с циклической регулярностью, и сама их повторяемость начинает выглядеть неотвратимой, а раз так, какой прорицатель — пусть в умении все рассчитывать он понаторел не хуже злодея из комиксов,— какой здравый ум (сколь он ни искушен в статистических выкладках) возьмется доказывать, будто лишь при самом немыслимом стечении обстоятельств возможна еще одна крупномасштабная война, в которую будет втянута Америка. И закончил я ту свою речь уверениями, что такая война может начаться даже очень скоро, быть может еще при жизни тех, кто меня сейчас слушает,— а вслед за тем перешел к другим темам, потому что на юных лицах читал одно только недоумение. Я чувствовал, что для них сражения во Вьетнаме — что-то наподобие Шайло или леса Белло [14].

[14] Под Шайло, в штате Теннесси, произошло одно из самых кровопролитных сражений Гражданской войны в США (1862); в лесу Белло, неподалеку от Парижа, американские дивизии приняли в 1918 году первый бой с немцами.

Та встреча припомнилась мне, когда я читал превосходную по искренности книгу Филипа Капуто «Слухи о войне», с первой же страницы этого вьетнамского дневника испытывая тягостное ощущение, будто это все приключилось со мной самим. Капуто моложе меня лет на двадцать, и хотя есть большая разница между тем, что он и я пережили, служа в морской пехоте, меня сразу же поразило, что и сходства тут немало. Оба мы по рождению принадлежим к средним классам, и, как я во время второй мировой, Капуто в 1960 году записался в морские пехотинцы, потому что тоже искал приключений и славы, хотел «что-то доказать себе и другим — и смелость, и собранность, и мужество». О себе могу сказать, что к тому времени японцы сделались нашими заклятыми врагами, так что мною руководил еще и патриотизм,— надо было дать отпор тем, кого иначе не называли, как агрессорами, а дожидаться, пока меня просто призовут, да еще в армейские части, казалось немыслимым.

Капуто сделал то же самое, когда номинально мы ни с кем не воевали, он признает, что морскую пехоту выбрал, движимый «патриотическим подъемом времен Кеннеди» (а начиная книгу, с горечью, но точно характеризует Кеннеди как «самого красноречивого и элегантного из мифотворцев», не меньше любого другого несущего ответственность и за Вьетнам, и за то разочарование, которое для таких, как Капуто, стало конечным итогом). Тем не менее общее у нас с Капуто, мне кажется, то, что нам обоим кружила головы героика войны, этого «великого приключения и самого прекрасного шанса для обычного человека, желающего избежать заурядности».

В первых главах книги Капуто описывает чувство юного выпускника, очутившегося прямиком на базе морских пехотинцев в Куантико и вместо английской литературы обучающегося теперь искусству убивать людей пулями и гранатами, кромсать ножом, ракетами рвать в клочья живую плоть. За вычетом двух-трех мелких деталей, это вполне достоверное изображение того, что в свою военную юность выпало пережить и мне. И нам довелось пройти эту подготовку, которая в морской пехоте по сей день остается в общем-то той же самой, и нам это было так хорошо знакомо — долгие часы на полигоне под палящим солнцем, когда повторяешь одни и те же действия со всем тщанием, соблюдая заведенный порядок, и надругательство над нашими телами, над нашими душами, и унижения, и привычный садизм сержантов, которые нас обучали, и травмы покалеченного духа, что превращают места вроде Куантико или Пэррис-Айленда в самое близкое подобие концлагерей, какое только можно сыскать на земле. (Мне говорили, что немало теперь переменилось, но ведь лишь в самые последние месяцы.) И такая-то подготовка, такой вот способ обработки мяса, по-моему, без преувеличения достойный названия дьявольского (между прочим, многие на этих учениях действительно погибали или калечились), вот это все имеет целью привить чувство избранничества, насаждая коллективизм, дисциплину, а в первую очередь ощущение твоей неуязвимости, пока ты вместе с другими, то ощущение, которое выделяет морскую пехоту среди всех прочих армейских подразделений. В конце концов добиться этого удается, не зря же особенный честолюбивый отпечаток ложится на тех, кто выживает.

Для меня знаком роковой самовлюбленности морских пехотинцев и плодом этого кошмара учебных баз стало то, что среди моих знакомых, пошедших такой дорогой,— как бы ни менялась она и в политическом, и в духовном смысле, когда далеко позади остается та молодая и глупая бравада,— не нашлось ни одного, кто не вспоминал бы базу как время решающего жизненного испытания, которое его сделало и более стойким, и более крепким, и вообще лучше приспособленным к любой передряге. А вот и еще свидетельство, что подготовка попусту не пропала,— ведь сумела она превратить Филипа Капуто из смышленого, но не сознававшего собственных целей паренька, довольно бесцветного обитателя пригородной зоны Уэст-Честера, штат Иллинойс, в высокопрофессионального специалиста по убийствам, овладевшего всей этой наукой и в марте 1965 года, когда война еще оставалась вполне «оборонительной», а наши силы только «экспедиционными», высадившегося в Дананге преисполненным жажды немедленно драться, пережить опьянение боем, добиться наград и сгорающим от нетерпения показать себя настоящим морским пехотинцем, которого война захватывает как некое «кощунственное наслаждение», обладающее необоримой притягательностью. В повествовании Капуто особенно привлекает его честность во всем, иной раз даже беспощадная, когда он рассказывает о своем упоении войной, о сладкой отраве боя. Так он это чувствовал, по крайней мере вначале, пока не пришло сознание безумия. Шестнадцать месяцев продолжались эти кровавые стычки с противником, это погружение во враждебную среду, сопровождаемое болезнями и эпидемиями, а затем наступил миг изможденности эмоциональной и психической; Капуто, начинавший свою «блистательную военную прогулку» с беззаботным воодушевлением, достойным принца Хэла[15], оказался на самом краю душевного и физического краха, стал «морально погибшим» и уверился — подумайте, уже в 1966 году! — что войну эту выиграть нельзя и что она позорит флаг, под которым он сражался, дойдя до предела отпущенных ему сил.

Есть свое безоговорочное оправдание в этой ненависти к войне, когда ее пробуждает в нас человек, сам переживший разгул всего того чудовищного, что ей сопутствует. Но по той же причине нам следует с не меньшим доверием отнестись к свидетельству Капуто, что у многих, включая его самого, война, прямой контакт со смертью способны возбудить чувство особого рода — тут соединяются восторженность и обостренность переживания, а вместе они создают состояние едва ли не блаженства.

[15] Персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV».

Война оказывается чем-то вроде сильного наркотика, она вне всяких сомнений порождает ощущение трансцендентного. Закончив армейскую службу, Капуто примкнул к антивоенному движению и долго был его активистом. Но вот что он пишет: «Я никогда не смогу питать к войне ту беспримесную ненависть, какую вызывает она у моих товарищей по движению». Им, говорит Капуто, просто не дано понять, что для него-то война «была опытом и зачаровывающим, и омерзительным, и было в ней нечто возбуждающее, хотя так много мрачного, была и своя трогательность, а не сплошь жестокость». Те страницы, на которых Капуто пытливо и обеспокоенно размышляет о войне как комплексе любви и ненависти, о порождаемом ею страхе, о внутреннем разладе, создаваемом ею в душе каждого порядочного человека, по-моему, одни из наиболее глубоких в сегодняшней литературе. И когда он с резкой прямотой утверждает, что «всякий воевавший во Вьетнаме, если только ему достанет честности перед собой, должен признать пережитое им властное влечение боя»,— очень важно к этому отнестись со всей серьезностью, потому что вот оно, пусть хотя бы частичное, объяснение, отчего существуют представляющие сущий ад учебные базы наподобие Куантико и Пэррис-Айленда и, может быть, отчего существует сама война.

Разумеется, не бывает войн, которые надо благословлять. И тем не менее. Оставим в стороне тот факт, что во вторую мировую пехотинцы на Тихом океане, во всяком случае, дрались против агрессора, тогда как во Вьетнаме безнравственную, своекорыстную агрессию осуществляли мы сами,— что, кроме этого, в конечном счете отличает одну войну от другой, коли на них взглянуть глазами рядового солдата, который месит своими сапогами фронтовую грязь? Что отличает войну, через которую прошел Капуто от той, что пережил я? Та, моя война, уходит все дальше в прошлое, и тихоокеанские островки, где мы дрались, превращаются в поросшие пальмами музейные площадки, затерявшиеся среди водных пустынь, а с ходом времени все больше чувствуется желание придать этой войне что-то романтическое, исказив то, что в самом деле было, или просто о ней забыть. Мы-то знаем, сколько тогда пролилось крови, но в памяти война выглядит и чище и пристойней, оказывается схожей с не допускающими почти ничего жестокого фильмами Джона Уэйна[16], которые рекомендуются и подросткам при условии, что сначала картину посмотрят родители. Морская пехота, сражающаяся в той войне, кажется невообразимо благовоспитанной — просто компания бойскаутов. Может, все дело в том, что мы еще не отдалились от ужасов Вьетнама, и это заставляет нас видеть в той, другой войне больше достоинства? Но варварства хватало и на ней. Юным лейтенантиком морской пехоты я знал кадровика сержанта, специалиста по минометам, который носил в кармане два сросшихся комочка величиной с косточку персика. Я спросил, что это у него, и услышал в ответ: «Япошкины мозги». От ужаса и отвращения я просто онемел и, едва подобрав слова, спросил его, как он раздобыл эти необычные сувениры. Очень просто, выковырял штыком из японского солдата на Тараве, где разыгралось одно из самых жестоких сражений, а потом на палубе оставил лежать под жгущим солнцем, так что они вмиг затвердели, как чернослив. И ведь этого сержанта товарищи по взводу любили, да вскоре я тоже привык к нему, не обращая внимания на его игрушки, которые он доставал каждый раз, как нервничал или злился, перебирая, словно четки.

Я вспомнил об этом, потому что у Капуто нашел сценку почти аналогичную: во Вьетнаме молодой офицер, еще не нюхавший пороху, переживает, как и я когда-то, точно такой же ужас, видя, как австралиец из числа союзников показывает свои трофеи, захваченные у врага,— «два человеческих уха, высохших, со следами запекшейся крови». Капуто старается быть неукоснительно справедливым, оттого по другому случаю упоминает, что тем же самым занималась и другая сторона; ну, а жестокости французов, воевавших здесь до нас, слишком известны, чтобы на них останавливаться. Я только хочу сказать, что подобные вещи одна с другой связаны, и что есть цепочка насилий, тянущаяся от войны к войне, и что в отношении противников-азиатов мы особенно жестоки, поскольку от многого наверняка удержались бы, имей дело с теми, кто не настолько резко от нас отличается, не настолько провоцирует уподобление бесчувственным тварям, а проще сказать, не настолько черен или желт.

Расизм важен в идеологическом смысле, чтобы понять ту тихоокеанскую войну, и для понимания войны во Вьетнаме он тоже важен. В психологии морских пехотинцев моего поколения он значил даже больше; ведь в ту пору пропаганда не могла прибегать к антикоммунистическим штампам, и ничем иным нельзя было заставить розовощеких мальчишек с яростью подниматься на врага, которым владели националистические чувства, дошедшие до фанатичности, граничащей с самоубийством. Пёрл-Харбор, конечно, сильно нас всех воспламенил, как и жестокости, чинимые японцами в боях на Батане, но этого было еще недостаточно. В качестве военного средства расизм уже начали использовать немцы, истреблявшие сотни тысяч русских военнопленных, которых считали недочеловеками (многие погибли в Освенциме), тогда как с пленными-англичанами они обращались более или менее пристойно. Что же касается японцев, для многих из нас довольно было удостовериться в их особой антропологической природе, признав их просто обезьянами, и тогда мы недрогнувшей рукой сжигали их заживо, направляя на блиндажи и бункеры свои переносные огнеметы — мерзкий прообраз напалмовых бомб, которые пошли в ход во Вьетнаме. (Помню одного капрала, которому огнемет очень нравился,— «поджариваются там, скворчат, ну точно тараканы в щелях».) Гибель людей из-за неразберихи, пытки

[16] Звезда американского экрана, снимался в нескольких фильмах, имеющих милитаристскую направленность.

пленных, прочие преступления — всего этого тоже вполне хватало. (Один мой знакомый рассказывал, как на Гуаме, сержантом разведки, он лично перерезал горло двум пленным, хотя потом об этом жалел. Он теперь отставной полковник, живет в местечке Ла Джолла и выращивает далии, получающие призы на выставках садоводства.)

И все же со стороны психологической это была другая война, потому что тогда у морских пехотинцев были не только четкая цель и сознание своего долга, но и понимание направляющей (при всех ее изъянах) стратегии войны, а это почти исключало для них чувство, что они очутились в передряге бессмысленной и безысходной. Пехотинцы были слишком поглощены прямым своим делом и слишком отдавались суровой своей задаче, чтобы изощряться в жестокости После Гуадалканала морская пехота все время вела наступление, а для солдата наступать — это и значит пережить особое состояние подъема, которое описывает Капуто), она теперь дралась не с разрозненными отрядами ожесточенного противника, скрывающимися на громадном пространстве в джунглях, а с врагом, большей частью занимавшим хорошо просматривающиеся позиции на небольших островах, где почти или вовсе не было гражданского населения.

И кроме того, мы на фронте все время ощущали, как нами гордятся дома. То была безумно популярная война. Морская пехота успешно выполняла в ней свое историческое назначение: враг был уничтожен ею почти полностью — как это прекрасно! Ведь армия и существует, чтобы убивать, но убивать во имя ясной цели, которая имеет свое разумное обоснование,— не то что Вьетнам, где убивали для того, чтобы росли цифры на экранах компьютеров, установленных в штабе генерала Уэстморленда. Уж о том, чтобы намеренно убивать мирное население, тогда речи не было.

Оттого с дистанции времени можно судить о тихоокеанской войне в моральном отношении двойственно. Это была ужасная война, одна из худших в истории: прошедшие ее изведали отупение от боев, необъяснимые приступы тоски и боли, безотчетный страх, лишения, отвратительные болезни, гнетущую скуку, они погибали, получали увечья в местах вроде Таравы, Пелелиу, Иво Джимы,— быть может, с тех самых пор, как люди стали воевать друг с другом, еще не бывало сражений настолько чудовищных по своему характеру. Но участникам тихоокеанской войны, с какими бы ранами или травмами они ни вернулись, была оставлена возможность не чувствовать себя запятнанными. Беспощадное свидетельство Филипа Капуто убеждает как раз в обратном: война во Вьетнаме запятнала даже тех солдат, которые стремились избежать чрезмерного озлобления и удержаться в рамках человечности. Он рассказывает о людях, дравшихся с отменной храбростью, но незаметно для себя все глубже увязавших в странной апатии и безразличии, слишком поздно осознавших, что их затягивает моральная трясина.

Я уже говорил, что в «Слухах о войне» замечателен сам факт полного разочарования Капуто, очутившегося во Вьетнаме, когда все только что начиналось и шел 1966 год. Да, эта война изначально была преступной, и только; а все же есть нечто почти феноменальное в описанной Капуто обычной солдатской одиссее, продолжавшейся для него шестнадцать месяцев,— она как будто вобрала в себя всю постыдность, весь позор драмы, длившейся потом еще много лет.

Ну, разумеется, и для Капуто война исходно была чем угодно, но не позором. «Вперед!» — и вот, зажав в зубах нож, он безоглядно бросается на врага, чтобы изведать возбуждение, испытать себя, прославиться; все это ему отпущено сполна. В томительном ожидании проторчав какое-то время под Данангом, Капуто со своей ротой принимает участие в наступлении, том самом, с которого, кажется, и началось прямое американское вторжение. Это лишь мелкая стычка с партизанами, но все напряжены, вокруг стреляют, витает настоящая опасность, и крещение огнем дает Капуто испытать «счастье... самое большое счастье, какое я до тех пор пережил». Читая эту страницу теперь, когда мы знаем, сколько за тем эпизодом последует тяжкого опыта и чем все завершится, невольно содрогаешься от мальчишеской кровожадности и брутальности, таких здесь явственных: вот она, типичная для американского духа незрелость, безответственность, глупая романтика.

А ведь Соединенные Штаты, которых томит нерастраченная сила и раздражает бездействие оружия, лежащего на складах, потихоньку, но необратимо уже втягиваются в агрессию, которой стараниями генералов и политиков стали «оборонительные меры», уже переходит от «экспедиционной акции» к полномасштабной войне со всеми ее колоссальными последствиями. Подумаешь: до чего тогда было просто приказать морской пехоте, сложив вещмешки, отправиться домой и предоставить нашим азиатским братьям самостоятельно разобраться в своих спорах, как уж там разрешит их судьба. Но фатально для самих себя мы в эти споры вмешались, мы предприняли интервенцию, а обеспечить ее должны были вот такие горячие мальчишки, как лейтенант Филип Капуто, которого, напомню, вряд ли кто особенно принуждал лезть в чужую свару. Он-то и был человеком, без которого (как и без его товарищей по оружию — упрямых и решительных парней) война ни на дюйм не продвинулась бы, не запылала бы в коварных джунглях, под конец поглотивших тех, кого туда послали.

Капуто превосходно описывает дни ожидания под Данангом, когда все жаждали дела, а ужасы еще не начинались, и война не стала еще чем-то неотступным и тошнотворным, как привкус, который чувствует во рту отравившийся. Даже и в ту пору настороженного предчувствия — война пока чисто позиционная, стычки, патрулирование, нервные перестрелки с партизанами — приятного в такой жизни мало,

но в конце концов Капуто к ней и стремился, ее и хотел: этой невыносимой жары, когда все тонет в пыли, а от москитов никуда не укрыться, этой монотонности, этих путаных распоряжений начальства (нередко излагаемых с тем свирепым юмором, который напомнит о Хеллере в его «Пункте 22»), этих тоскливых ночей, этих увольнительных, когда не знаешь куда себя деть в паршивом городишке, прилепившемся к горам, поросшим непролазными буйными лесами, и шатаешься по грязным унылым улицам, уже заваленным всяким мусором с американскими этикетками.

«Идем через Собачий лаз, патруль вынужден двигаться ползком. В этой деревне прямо средневековая грязь и нищета. У водоразборных колонок лужи зеленоватой гнили, вонь смешивается с острым запахом навоза и соуса, который готовят из тухлой рыбы. В перемазанных грязью загонах под банановыми деревьями, покрывшимися белесой пылью, ревут буйволы. Домишки все больше из тростника, но уже чувствуется присутствие американцев — есть хижины, целиком построенные из расплющенных пивных банок: красно-белые — пиво «Бадвайзер», золотистые — «Миллер», цвета кофе с молоком — «Шлиц», желтые с синевой — пиво «Хэмм», лучшее, что создано страной, где реки голубые, как небо».

Тоска, одурь, лагерное сидение; пьяные дебоши в Дананге, проститутки, приказы еще нелепее прежних, испепеляющая жажда действий. Все это Капуто описывает с выразительными подробностями — и вот для его роты совсем внезапно наступает время бурной активности. Бои становятся кровавыми. Первые карательные операции на территории противника, первые обстрелы деревень с вертолетов, первые настоящие сражения, когда все перепахано минами, и первые — как это непривычно — погибшие товарищи. Капуто узнает, что такое война, и она перестает напоминать кинобоевик типа «Дворцов Монтесумы»; противник то появляется, то исчезает, местность необычная и резко меняющаяся, тут надо воевать не так, как учили,— в Сайпане, даже в Корее было по-другому, а ведь инструкторы исходили из того опыта; все это Капуто сумел выразить и сильно и тонко, дав почувствовать, как начинают расшатываться опоры, на которых держался его боевой дух, как у него зарождается глубокий цинизм — чтобы потом только углубляться Впоследствии он прорастает отвращением и неверием ни во что, и не какое-то конкретное событие тут было причиной, а просто все происходившее, вся эта амальгама: что бы ни случалось, Капуто испытывал одно лишь ощущение пакостности, и мы с ним вместе постигаем что повинна здесь сама эта война, сама ее особенная гнусность.

Удручающая ее бессмысленность — вот она, должно быть, более всего способствовала тому, что зло творилось поминутно. Девятнадцатилетний солдат останавливается над мертвым вьетнамцем, чтобы надругаться над телом, отрезав уши. Целый батальон усердно палит из орудий и автоматов, а в итоге оказывается, что убито только четыре партизана. (Потом будет случай, когда трехтысячное американское соединение, поддерживаемое огнем с моря, три дня обстреливало позиции противника, а заняв их, обнаружило всего два десятка тел.) Преследуя партизан и опасаясь засады, целый взвод утрачивает контроль над собой и поджигает деревню, чтобы оставить на ее месте мертвую пустошь. В тот раз никто из жителей особенно не пострадал, но в изображении Капуто сцена эта внушает какой-то неодолимый, животный страх — написано так, что даже нет нужды пояснять вещи слишком очевидные: бушующий огонь, вопли женщин — вот вам прямое предвестие расправы над Май Лай, которая свершится несколько лет спустя.

Среди воевавших во Вьетнаме было немало смельчаков, были такие, кто показал себя героями, но сама эта война обесчестила понятие героизма. «Безупречная отвага», которой вправе гордиться морская пехота (оттого и сегодня испытываешь особый трепет, когда при тебе упоминают о лесе Белло, о Гуадалканале и Пелелиу),— она доказывалась и на берегах Меконга, на зеленых склонах Аннамских гор, в сражениях, описанных Капуто с такой проникновенностью и выразительностью, да уже и в первых боях. Только чьи же имена эта война покрыла славой? Храбрость — человеческое свойство, передающееся от поколения к поколению, оно вечно; но ведь, как бы мы ни пытались, невозможно чтить храбрость, если она служит неправому делу, и разве не ужасен сам факт, что во Вьетнаме было именно так?

В своей прекрасной книге Филип Капуто честен, когда рассказывает и о примерах отваги, и о свидетельствах трусости, когда повествует, как люди погибали и что испытывали, подойдя к самому краю пропасти,— ему не занимать точности, какая доступна лишь посвященному; мы ни на минуту не усомнимся, что перед нами мужественный человек, который старательно выполнял свои солдатские обязанности даже долгое время после того, как «чудесная маленькая война» сделалась сплошным непристойным кошмаром, едва не погубившим его самого. Но хоть этого не произошло, кошмар тем не менее его порабощал все больше, и самые потрясающие страницы книги даже не те, где бои и смерти описаны так, что запоминаются надолго, а другие — где Капуто признается, что пришел к необходимости дать выход всему в нем скопившемуся, и сделал это способом диким, граничащим с безумием, означающим, что безрассудная ярость овладевает человеком, превращая его в чудовище, которому нетрудно совершить едва ли не мистическое преступление, ставшее во Вьетнаме обычным: позволить подчиненным убийство мирных жителей. Пусть в конечном счете Капуто многое искупил, все равно тот приказ останется раной, которая никогда не зарастет в его душе. Но подобную развязку приходится воспринимать только как неизбежный исход для неплохого человека, порабощенного мерзким временем, оказывающегося в местах, где оказаться он бы не должен, и участвующего в войне, лишенной оправданий.

Где-то в самом начале книги мы видим Капуто, который со своего наблюдательно-

го поста разглядывает рисовые поля, сверкающие под солнцем, и зеленые холмы, и величественные старые горы Аннамского хребта. Он преисполнен радости и оптимизма, он рвется в бой; ему не дано и представить тех ужасов, которые ждут его впереди. В руках у него книжка Киплинга, и открыта она на строках, быть может, самых верных из всего, что сказано об искателях захватывающих, кажется, нескончаемых приключений, о таких, как он сам, ясноглазых парнях из Иллинойса и о том, что им сулят властно к себе приманивающие, солнечные, прекрасные дали:

И возьмут высоту, и поставят плиту там, где
кровью ты истек.
И напишут на ней: «Здесь лежит дуралей.
Он мечтал покорить Восток».

1977

Элегия памяти Фицджеральда[17]

Наверное, по-другому быть и не может — все действительно хорошие писатели всегда провоцируют страстное и глубоко личное отношение к себе. Пусть их самих давно уже нет на свете, все равно их тени остаются рядом с нами, словно этим людям суждено самое реальное бессмертие, и мы говорим о них так, как будто они наши давние друзья или, наоборот, презираемые нами соседи, которые, к счастью, слишком далеко, чтобы нас услышать.

Порой в таких случаях мы словно попадаем под власть колдовских чар. Недавно один консервативно настроенный адвокат, который балуется стишками, толковал при мне о том, что, преклоняясь перед поэзией Дилана Томаса[18], он никогда не открыл бы для этого похабника двери своего дома.

Страсти вокруг таких писателей, понятно, становятся особенно неумеренными, когда речь идет, скажем, не о Фолкнере, позаботившемся оградить от посторонних свою частную жизнь, а о Скотте Фицджеральде, чья биография настолько переплелась с легендой, что нередко и не вспомнят о его таланте — неподражаемом и прекрасном, если брать лучшие его страницы. Уж так заведено, что судят да рядят неизменно о темных сторонах жизни писателя, они-то и вызывают то вопли возмущения, то сентиментальные вздохи. На долю Фицджеральда и того и другого выпало с явным избытком. Ну вот хотя бы недавнее высказывание Кэтрин Энн Портер в «Пэрис ревью»: «Еще и теперь, оглядываясь на двадцатые годы и на те легенды, которыми они овеяны, я остро ощущаю, до чего это было ужасное время: мелочное, ничтожное... Удивительно, что как-то можно было существовать в такой атмосфере, в стране, где выдающегося писателя видели в Скотте Фицджеральде!.. Я и в ту пору не могла его читать, как не могу и сегодня... Мало того, что он мне не нравился как писатель, мне не нравились и люди, о которых он писал. По-моему, они просто не заслуживают внимания». Как тут не почувствовать оттенка непроизвольного раздражения, и причина его не столько дарование Фицджеральда, сколько фицджеральдовская легенда. Ведь не верится, чтобы Портер, сама достигшая в литературе столь многого, так низко ставила созданное Фицджеральдом,— скорее, он как личность решительно ей неприятен. Так миф о Фицджеральде порождает злословие, хотя, впрочем, он способен порождать и безвкусную лесть — послушаем, к примеру, профессора Артура Майзенера, специалиста по творчеству этого писателя, и попробуем уловить смысл, скрытый за его восторженным заиканием: «Фицджеральд бесконечно дорог нам тем, что он стал едва ли не символом, своей жизнью, своими книгами отразив сокровенную сущность всех нас, американцев, и не только нас, а за небольшими исключениями, пожалуй, и всех людей западного мира» Подобным образом объясняются лишь прирожденные ораторы на погребальных церемониях.

Что ж, в судьбе Фицджеральда легенда и истина перемешаны действительно до неразличимости, и оттого большая книга его писем, подготовленная Эндрю Тернбуллом, обладает особой притягательностью: ведь в каком-то отношении она дает писателю возможность самому объяснить возникший вокруг него миф. Эти письма, в частности Зельде и Скотти, Эдмунду Уилсону, Хемингуэю, Максуэллу Перкинсу, Джеральду и Саре Мерфи[19], настолько содержательны и красноречивы, что возникает чувство, будто после них добавить к биографии писателя нечего Говоря о книге, можно, разумеется, вслед за Малькольмом Каули усомниться в обоснованности предложенного Тернбуллом расположения писем по адресатам, а не по хронологии — тогда бы хроника жизни Фицджеральда раскрывалась перед нами последовательно и сама собой,— но это не так уж и важно. Все равно это удивительная книга.

Читая ее, с самого начала проникаешься сознанием неподдельной честности этих писем; даже в самых ранних, где проскальзывает студенческое ерничество, правда, совсем невинное, почти нет позерства. Не в пример тем писателям, чьи письма преисполнены ощущения безусловной значимости для потомков, словно бы уже сейчас с замиранием сердца следящих за каждым движением авторского пера (вспомним переписку Томаса Вулфа), Фицджеральд пишет с той свойственной ему беззаботной непосредственностью, которая, скорее всего, особенно усиливала обаяние, исходившее от этого человека. Да и в самом деле, кому из писателей, умеющих взвешивать и рассчитывать, пришло бы в голову высказаться с такой откровенностью, как это делает Фицджеральд в письме 1920 года, адресованном своему литературному агенту Хэролду Оберу: «Посылаю новый вариант «Барбары», которая те-

[17] Статья написана в связи с публикацией тома избранных писем Фицджеральда.

[18] Один из крупнейших послевоенных английских поэтов.

[19] Зельда — жена Фицджеральда, Скотти — его дочь; супруги Мерфи, критик Э. Уилсон, редактор М. Перкинс — ближайшие друзья писателя.

перь называется «Волосы Вероники», чтобы ее, часом, не спутали с рассказиками про Барбару, которые Мэри Райнхарт печатает в «Пост». Кажется, я ловко все перекроил, сделав недурную кульминацию». Одной этой цитаты, думаю, довольно, чтобы понять, отчего ранние письма выглядят в книге самыми неинтересными и шаблонными. Спору нет, для Фицджеральда это было время несравненного «Гэтсби» и нескольких его лучших рассказов — таких как «Отпущение грехов», «Молодой богач», «Вечеринка для подростков»,— но, с другой стороны, и время, когда из-под его пера вышло немыслимое количество всякой чепухи: беспорядочная, опустошающая и требовавшая огромных денег жизнь, которую вели Фицджеральды, заставляла писать и писать — наспех, небрежно. Вот и письма того периода с их вечными сетованиями и жалобами («если к среде у меня на счете не будет 650 долларов, придется везти в ломбард мебель») скучны: в конце концов, перед нами не какой-нибудь преследуемый бедствиями гений, не Моцарт, не Франц Шуберт, перед нами всего только сбившийся с пути молодой писатель, который живет не по средствам, и вполне естественно то чувство досады, которое по большей части оставляют эти укоры жестокой судьбе. И все-таки, как ни изводит нас Фицджеральд своими назойливыми рассуждениями о «качестве жизни», своими сомнительными всплесками остроумия и по-юношески преувеличенными суждениями о собственных, пока еще не слишком удачных вещах, в тот самый момент, когда мы чуть ли не выходим из себя, наслушавшись этой трескотни, вдруг нам предстает художник, мастер, которому не занимать ни творческой дисциплины, ни понимания собственных устремлений, и мы с удивлением читаем отправленное в 1924 году письмо Перкинсу, где речь идет о почти завершенном «Гэтсби»: «В своем новом романе я полностью отдался настоящему творчеству — здесь нет дешевых выдумок, как в рассказах, здесь важны воображение и последовательность, с какой воссоздается мир искренний, но многосложный. Я продвигаюсь неспешно и осторожно, иногда переживая настоящие муки. Книга явится осознанно художественным свершением». Да, в двадцатые годы он казался — а во многих отношениях и был — писателем поверхностным, и только, но и тогда ему ни разу не изменила ни эта упрямая, целительная честность, ни этот трезвый взгляд на самого себя

В биографии Фицджеральда Тернбулл цитирует признание Ребекки Уэст [20]: «Я знала, что Зельда очень умна, но с первой же нашей встречи мне стало ясно, что она невменяема» Встреча произошла в 1923 году, через три года после свадьбы Зельды и Фицджеральда. А к 1930 году, когда Зельда сделалась пациенткой швейцарской клиники для душевнобольных, «веселый карнавал», как назвал уходящее десятилетие Фицджеральд, завершился, а с ним затихло, исчезло то allegro vivace [21], в котором шла его жизнь, и на смену явилась другая музыка, поначалу лишь чуточку грустная, затем окрашенная все более глубокой меланхолией — она отныне уже не исчезнет до самого конца. В 1932 году Фицджеральд пишет Перкинсу из Балтимора, где он с натугой работает над романом «Ночь нежна» и пьет все больше и больше: «Пять лет пронеслись, точно бы их в моей жизни и не было, и я затрудняюсь сказать, что я теперь собой представляю, да и представляю ли хоть что-то». В этих письмах начала и середины тридцатых годов то и дело попадаются блестки юмора и светится мягкая улыбка. здесь множество свидетельств острого интереса к книгам, к настоящей литературе, а не к поделкам — Фицджеральд, кажется, читал все, и не назвать писателя, который был бы так доброжелателен и щедр к своим литературным современникам, умея без малейшей ревности оценить по-настоящему талантливое и очень тонко отличая подлинность от фальши,— но тяжелая тоска, предчувствие близкой опасности повсюду бросают свой сумрачный отсвет на эти страницы, как будто все они написаны в промозглый и давящий осенний вечер. Вот еще письмо Перкинсу, написанное в 1934 году: «Эта ужасная подавленность, это отчаяние не должны стать и не станут моим обычным состоянием, и когда они отступают, я испытываю стыд и отвращение к себе. Но что толку бодриться, притворяясь, будто такие настроения не приходят все чаще и чаще». В Швейцарии Зельда вроде бы явно пошла на поправку, но затем последовало два новых срыва. «Ночь нежна» не имела успеха ни у критиков, ни у публики и не принесла денег. Хемингуэй, которого он разве что не боготворил, отвернулся от Фицджеральда, жестоко его высмеяв в «Снегах Килиманджаро», где, толкуя об «очень богатых», поминает и «беднягу Скотта Фицджеральда». («Дорогой Эрнест,— тут же откликается он письмом,— при перепечатке, пожалуйста, убери мое имя». А дальше пишет: «Это прекрасный рассказ — один из лучших у тебя».) Великодушие Фицджеральда поистине не знало границ. Правда, через несколько лет он приоткроет в письме Перкинсу всю горечь, которой в нем отозвалось это предательство: «Прежде я верил в дружбу, верил, что на самом деле могу делать людей счастливыми, и ничто на свете не приносило мне столько радости. Но выяснилось, что и это лишь пустая греза, вроде райского уголка, изображаемого в водевилях, которые разыгрывают гримирующиеся под негров уличные актеры, а самому мне в этом водевиле отведена роль доверчивого простачка». И Фицджеральду оставалось лишь изо всех сил удерживать себя от пьянства, переживая то вспышки раздражения, то приступы тоски, когда все усиливалось и усиливалось сознание неотвратимой и близкой трагической развязки. Как тут не вспомнить чеканные строки Иова: «Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма».

И тьма приходит. Есть в биографии Тернбулла глава, производящая тягостное впечатление,— рассказано в ней о тех нескольких месяцах, которые, вероятно, были самыми страшными в жизни Фицджеральд-

[20] Популярная английская писательница 20-х годов.

[21] Очень живо *(итал.)*.

да. 1936 год, Эшвилл — в этом городе Фицджеральд, увязший в долгах и почти нищий, страдающий от туберкулеза и спивающийся, как будто ему доставляло какое-то мазохистское наслаждение ощущать себя законченным неудачником, поселился, чтобы быть поблизости от санатория, где содержалась Зельда. К тому времени ее положение безнадежно; у нее выработалась привычка повсюду таскать за собою Библию и время от времени принародно молиться, опускаясь на колени в своем давно вышедшем из моды наряде эмансипированной девицы двадцатых годов. Однажды эта жалкая пара появляется на вечеринке, устроенной соседями: в руках у Зельды букет лилий, собранных по дороге, и одному из гостей она напоминает Офелию, а чуть позднее на террасе Фицджеральд, усадив ее на каменные перила, провозглашает: «Ты принцесса, а я твой принц»,— и все продолжается и продолжается эта игра, и сияют прекрасные, совершенно безумные глаза Зельды, и смотрит на нее, не отрываясь, Фицджеральд, чье лицо искажено болью. Вся эта сцена, особенно грустная еще и оттого, что хотя бы отчасти она разыгрывалась на публику (до самого конца Фицджеральды оставались среди тех, о ком говорят в обществе), выглядит только искаженным отголоском тех изысканно-забавных затей десятилетней давности, когда на очередной раут Фицджеральды отправлялись в такси, расположившись он на крыше, она на капоте, а в театре хранили ледяное молчание среди общего хохота или принимались безудержно смеяться при полной тишине зала. Какая невеселая картинка!

А вскоре произойдет событие, еще глубже повергнувшее Фицджеральда в бездны мрака и безумия, так что он едва не перестанет осознавать и самого себя, и истинную реальность. Неизменно доверчивый и открытый, он, однако, не лишен был свойственного каждому писателю тщеславия и оттого согласился дать интервью нью-йоркской «Пост», чей редактор счел сорокалетие Фицджеральда удобным поводом для того, чтобы окончательно сокрушить и мифы двадцатых годов, и самый прославленный из их все еще не угасших образов-символов — с этой целью в Ашвилл был послан умный репортер Майкл Мок, умевший вкрасться в доверие и полностью оправдывающий свою фамилию [22]. Не ждавший подвоха Фицджеральд был, насколько ему позволяло скверное самочувствие, и обходителен и словоохотлив; и вот что написал Мок в своей статье, помещенной на первой полосе и представлявшей собой редкостно подлую даже для газетчика попытку обессмертить собственное имя:

«Наш поэт-пророк послевоенной психопатии отпраздновал вчера свое сорокалетие у себя в номере здешней гостиницы «Гроув парк» День для него прошел, как и все другие его дни,— в попытках вернуться на землю после очередной экскурсии на ту сторону рая, в состоянии мрачности, из которого он не выходит последние два года. Ему все еще досаждают последствия травмы, полученной восемь недель назад, когда он сломал правое предплечье, прыгнув в воду с пятиметровой вышки. Перелом, должно быть, и впрямь болезненный, но им одним не объяснить, отчего он то и дело вскакивает с постели и нервно носится по комнате, размахивая дрожащими руками и строя жалобные гримасы, словно ребенок после хорошей взбучки. И уж не из-за перелома он поминутно подбегает к шкафчику, где спрятана бутылка. В укромном местечке хранится мензурка с делениями, и, наливая, он каждый раз обращает к медицинской сестре умоляющий взор и уговаривает ее: «Ну, самую капельку!»

Тернбулл свидетельствует, что, прочитав статью, Фицджеральд хотел покончить с собой и проглотил содержимое целого пузырька с морфином, но доза оказалась слишком большой — его вырвало, и это спасло ему жизнь. А потом «мало-помалу гнев и отчаяние сменились чувством стыда. Статья побудила его вспомнить о собственном достоинстве и хотя бы отчасти стала стимулом для возрождения». Это «возрождение» продолжается последние четыре года жизни Фицджеральда, отданные главным образом Голливуду; то была пора изнурительной болезни и почти что крайней нищеты, когда в банке у него оставалось одиннадцать долларов, а жить приходилось в убогих клетушках, то было время унизительной поденщины в кинематографе и предельных усилий мобилизовать талант («до чего это тонкая материя, талант,— мой вот настолько травмирован и изуродован, что меня самого удивляет, как это он еще способен оставаться незамутненным»), чтобы написать последнюю свою хорошую книгу, которая спасет его от забвения, уже ему уготованного. Читая об этом ужасающем времени, когда он испытал столько невзгод, проявив такое мужество, вновь поражаешься парадоксу, заключенному в фицджеральдовской легенде. Словно бы какой-то обезумевший киномеханик решил прокрутить с конца романтический фильм о Судьбе Художника: ошеломляющий успех, слава, богатство — все это не итог, а самое начало, ну, а в финале, вопреки романтическим стандартам, герой завершает свой путь таким же неустроенным и столь же полным надежд, как юный и непризнанный поэт, делающий первые шаги, и Голливуд — вроде того знакомого чердака, где вечно холодно и неуютно. Так и ждешь, что Фицджеральд примется оплакивать себя, да это было бы и естественно для человека, которого жизнь ударила столь жестоко. И конечно, ему очень грустно — да как же иначе может себя чувствовать писатель, видящий, что и его книги, и сама память о нем стираются навек в общественном сознании. «Боже мой, я же всеми позабыт,— вырывается у него, когда он хлопочет о переиздании давно исчезнувшего с прилавков «Гэтсби», заботясь о своем наследии, как поступил бы на его месте всякий писатель.— Погибнуть так бесповоротно, так несправедливо, а я же кое-что сделал, и немало!» И дальше он пишет Перкинсу с этой своей удивительной, такой для него характерной интонацией, в которой есть и гордость и скромность: «Даже и сейчас не так уж часто встретишь в американской прозе вещи, на кото-

[22] Mock *(англ.)*. — насмешничать.

рых вовсе нет моего отблеска,— пусть совсем немножко, но я ведь был своеобразен». Но хотя тон последних писем нередко элегичен, грустен, а порой не лишен горечи, в них почти не найти нот жалости к самому себе. Это и придает им особое достоинство, а учитывая, насколько тягостными и мерзкими были обстоятельства, в которых они писались, их воспринимаешь как чудо. Фицджеральд не мог оставаться равнодушным, даже когда ему приходилось работать над ничтожными фильмами. Взять хотя бы письмо Джозефу Манкевичу [23], которого Фицджеральд и улещивает, и умасливает, и умоляет восстановить в сценарии места, где чувствуется его рука,— прямо больно видеть подобное самоизничтожение. «Ах, Джо, и продюсеры тоже ошибаются!» — пишет он, и вдруг пробивается сознание тщетности всех его усилий, пугающее, словно вой пса в запертом доме: «Ведь я же хороший писатель, честное слово!»

Все эти последние тяжкие годы его поддерживала необычайная забота о Скотти, учившейся тогда в Вассаре, и всегдашняя преданность Зельде; письма жене и дочери — лучшее в книге, а переписка со Скотти, напечатанная отдельно, стала бы литературным шедевром. Не думаю, чтобы кто-нибудь еще в Америке писал своему ребенку такие пленительные письма. Да, они подчас назидательны — затянувшаяся болезнь Зельды и чувство своей двойной ответственности заставляли Фицджеральда прямо-таки яростно оберегать благополучие дочери,— но прежде всего они полны нежности, строги и остроумны, шутливы и забавны и при всем том отмечены настоящей мудростью. Когда их читаешь, трудно не проникнуться безоговорочным уважением к этому больному, бедствующему, мучительно переживающему выпавшее ему забвение человеку, который, однако, смог сохранить восхитительное спокойствие души, юмор, способность сострадания и чувство любви, распознаваемое на этих страницах так же отчетливо, как биение сердца. И разве можно с презрением отнестись к тому, кто среди тягот, преодолевая болезнь и всеобщее пренебрежение, имел мужество попытаться создать «большую книгу»? Это был человек, который умел любить и терпеть, и то, что сам признавал своей неудачей, он выдержал как победитель.

Фицджеральд иногда становился мелочен, а самым его губительным недостатком, наверное, было слишком небрежное отношение к самому себе. Но сутью его характера оставалось неподдельное милосердие, которое в этих письмах ощущается повсюду,— оттого книга и делает свое дело, развеивая миф и высвечивая за ним то, что было подлинным и прекрасным. В 1937 году Джеральд и Сара Мерфи, друзья Фицджеральда со времен Ривьеры, потеряли одного за другим двух из трех своих детей. Когда умер второй их сын, Фицджеральд написал письмо, которое стоит привести целиком, хотя бы по той причине, что это одно из самых замечательных писем такого рода:

«Дорогие мои Джеральд и Сара! Сегодня пришла ваша телеграмма, и весь день бесконечно печален от мыслей о вас и о тех счастливых временах, которые мы когда-то знали. Вот и еще одна ниточка, привязывавшая вас к жизни, оборвалась, и столько во всем этом бесчувственной жестокости, что и не сказать, в каком из двух обрушившихся на вас ударов было больше злобы. Я словно бы сам чувствую ту гнетущую тишину, которая теперь настала для вас после семи лет отчаянной борьбы, и нужны бы слова вроде тех, какие нашел Линкольн в своем письме матери, потерявшей в Гражданскую войну четырех сыновей, чтобы выразить вам то, что сейчас требуется выразить.

Хочется сказать о том, как я вам сочувствую, но сочувствием вы и сами поддерживаете друг друга, и еще долго, долго вы будете безутешны.

И все же я вижу, вижу новое поколение, которое придет, и предчувствую, что ждет нас всех минута покоя, и знаю, что будет еще какая-то тихая гавань на нашем пути к небытию. В колчане судьбы не осталось для вас стрел, способных ранить так глубоко, как те, что уже выпущены. Не помню, кто это сказал, что не перестает поражать, как безмерная печаль со временем переходит в иное, в какую-то радость. Что поделать, золотая чаша разбилась, но ведь она была, в самом деле была золотой, и ничто, ничто больше не отнимет у вас ваших двух мальчиков.

Скотт».

1968

«Сникаю во мраке»

Когда осенью 1947 года меня выгнали с единственной за всю мою жизнь службы, мне хотелось только одного: стать писателем. Я был штатным рецензентом рукописей в «Макгроу-Хилл» и со своей должностью распрощался без сожалений — работа эта была однообразной и нудной. Тогда мне и в голову не приходило, что путь к намеченной цели окажется нелегким; лишь бы избавиться от сидения в конторе, оно-то меня и угнетало. Я чувствовал, до чего не терпится мне приняться за роман, а что на моем банковском счете не осталось почти ничего и поступлений не предвидится — на это мне было решительно наплевать. В свои двадцать два года я был полон уверенности, что смогу написать не просто хороший роман, а такой, который будет на порядок выше, чем обычно бывают книги дебютантов, и, захлопнув за собой двери издательства, ликовал, словно раб, только что получивший свободу и готовый перевернуть вверх дном весь мир.

Жил я тогда в плохонькой квартирке, которую снимал пополам с земляком-южанином, недавно закончившим университет в Северной Каролине. Располагалась она в полуподвале довольно обшарпанного дома у перекрестка Девяносто четвертой улицы и Лексингтон авеню. В те дни я жадно и беспорядочно читал: романы, стихи (и старые и современные), пьесы, книги по исто-

[23] Голливудский продюсер, занимавший ключевые посты на студии «Метро-Голдвин-Майер».

рии, все, что подвернется, но и писать тоже пробовал — неуверенной, дрожащей рукой. Воображение мое еще не было захвачено романом, и почти вся энергия уходила на рассказы. Тогда рассказы ценились намного больше, чем нынче, выходило немало журналов, у рассказа читателей было не то что сегодня, и я решил составить себе имя на этом поприще, благо оно вроде бы полегче, а роман пусть себе неспешно вызревает. Нечего и говорить, что это была глупость. Рассказ при всех его изъянах — такая литературная форма, где требуется очень многое, а мои тогдашние писания оказались неинтересными и рыхлыми. С удручающей регулярностью я доставал из почтового ящика письма от редакторов, которые отказывались меня печатать.

Но все равно я ощущал в себе дарование, нуждающееся в том, чтобы его заметили, и оно наконец было замечено. Я записался в литературный кружок при Новой школе социальных исследований; его вел Хайрам Хайдан, исключительно одаренный педагог. Да, он был педагогом в старом, отнюдь не ироничном значении этого понятия, то есть человеком, умевшим находить живой контакт со своими питомцами. Он тонко чувствовал слово, и в моих опытах, хоть были они такими неуверенными и бесформенными, что-то его привлекло, побудило их поддержать, а я был и рад и смущен.

Хайдан работал в одном издательстве и, полагая, что мне стоило бы взяться за роман, предложил, чтобы я с этим не тянул, добавив: его фирма готова для поощрения выплатить аванс — ровно сто долларов. Не сказать чтоб то была манна с небес, но и не такая уж ничтожная сумма, как теперь покажется. В ту пору ста долларов надолго хватало бережливым молодым людям, которые пока не обзавелись семьей. Еще важней, что то был знак веры в меня, и мое жадное честолюбие заполыхало, погоняя вперед — к славе, а там, глядишь, и к богатству. Одно было плохо и действительно меня мучило: я понятия не имел, как это вдруг начну писать роман, и одолеть первую страницу казалось мне не легче, чем забраться на высочайшую вершину Гималаев. О чем, нет, в самом деле, о чем же мне рассказать? — думал я, расхаживая из угла в угол по своему сырому полуподвалу на Лексингтон авеню. Нет мук горше, чем муки молодого писателя, сознающего, какая пропасть лежит между его устремлениями и настоящими возможностями, и поминутно чувствующего, что над ним витают тени Толстого, Мелвилла, Готорна, Джойса, Фолкнера, тесным кругом сомкнувшихся вокруг его рабочего стола.

Той зимой, сразу после рождества, на Нью-Йорк обрушился снежный шквал и не утихал до Нового года. Такого снега не видели добрых шестьдесят лет. И пока бушевала непогода, произошло два события, заставивших меня сесть за роман, покончив с колебаниями. Доставили письмо из Виргинии, из родных моих мест (почта, три дня бездействовавшая, заработала, хотя и с перебоями); отец писал мне о самоубийстве девушки, моей ровесницы, которая была первой и самой мучительной моей любовью. Была она очень красивой, очень нежной и глубоко больной; в ее семействе все друг с другом грызлись и препирались. Меня поразила и травмировала эта новость. Я даже за руку ее ни разу не взял, но, следуя за ней на почтительном расстоянии, пережил ощущения на грани бреда, какие способна пробудить лишь страсть, когда она овладевает подростком. И все те холодные рождественские дни во мне не притуплялась боль, вызываемая самой мыслью о ее короткой и несчастной жизни.

Она, впрочем, не мешала мне по-прежнему проглатывать том за томом, и, еще не зная, что книге этой суждено дать решающий первотолчок моему роману, я тогда набросился на «Всю королевскую рать» Уоррена. Это было столь талантливо, что я просто онемел от восторга. Ни один роман после фолкнеровских так меня не поразил — и настоящей магией языка, и правдивостью характеров, и мастерством повествования, и всей атмосферой точно понятой и запечатленной жизни. Книга меня просто потрясла, она словно дразнила своим совершенством, внушая особое чувство: я тоже должен доказать, что чего-то стою как писатель. Вот так получилось, что, закончив «Всю королевскую рать», я вскоре наметил первый, еще очень смутный план романа, пока не имевшего заглавия, а в конце концов названного «Сникаю во мраке». Я решил, что напишу о двадцатидвухлетней девушке, которая покончила с собой. И начну рассказ с того, как ее родственники собираются на похороны в виргинском городке, съезжаются на вокзал и ждут поезда с ее гробом, который должны привезти из Нью-Йорка, где все произошло. Городок на побережье Виргинии, который я опишу, был моим родным городом, тамошнюю жизнь я знал так, что она для меня стала собственной моей плотью и кровью.

И по мере того как очертания книги делались мне яснее и яснее, я все больше загорался богатыми возможностями, которые она открывала, и думал о том, как по-разному можно передать природу, пейзаж побережья, а на этом фоне отчетливее рисовались будущие мои герои: отец, и мать, и сестра, и сама девушка, люди, роковым образом неспособные преодолеть взаимное непонимание, порождающее враждебность, и беспомощные все до одного. Рассказывая о них, как это сделал Флобер в страстно мною обожаемой «Госпоже Бовари», я смогу показать жизнь буржуазной семьи из тех, что принадлежали к белой протестантской элите в городах современного Юга, к среде, отлично мне известной. Для автора, настолько молодого и неопытного, задача эта была из труднейших, но я чувствовал, что она по мне, и в самом приподнятом настроении принялся писать, сразу же взяв за образец — как вы думаете что? — ну разумеется, начальную главу «Всей королевской рати». Каждый, кому вздумается перечесть длинный пассаж, которым открывается «Сникаю во мраке», и сравнить его с первыми страницами романа Уор-

рена, найдет ту же самую ритмику и въедливую наблюдательность, тот же самый угол зрения и легко уличит меня в подражательстве, хотя это всего лишь доказывает, что начинающим совсем не грех оглядываться на мастеров, даже не скрывая их влияния.

В этом романе я чрезвычайно многим обязан еще и Фолкнеру, этому непререкаемому божеству и демону всех южных прозаиков, пришедших после него. Такие несхожие писатели, как Фланнери О'Коннор и Уокер Перси, признавались, что испытывают отчаяние от необходимости творить в тени этого колосса, и мне подобное чувство знакомо ничуть не меньше. Но с самого начала чувствуя, что не сумею полностью преодолеть воздействие Фолкнера, я знал, что труд мой пойдет прахом и книга, вопреки моим устремлениям, не получится ни подлинно значительной, ни выразительной, если я не смогу рассказать всю историю по-своему, ни на кого не похоже, так, как ее должен рассказать только я сам. Так вот, когда были готовы первые сорок страниц (меня они удовлетворили и в окончательный текст вошли без правки), началась изнурительная борьба с собственным моим демоном, то есть с тем во мне, что слишком часто толкало к имитации и подделке, заставляя жертвовать действительно моим, незаемным пониманием жизни и склоняя прислушиваться к отзвукам чужого, а не к моему внутреннему голосу.

Писателю, которому чуть за двадцать, трудно, а может, и совсем не по силам достичь полной самостоятельности и добиться, чтобы от начала и до конца не ощущалось у него ничьих отголосков, но мне хватило разумения постичь, что стремиться к этому я должен. Подавлять в себе приходилось не одного Фолкнера, еще и Скотта Фицджеральда, имитировать которого так легко и соблазнительно, еще и Конрада, Томаса Вулфа, отзывавшихся в моем синтаксисе, еще и Хемингуэя с этими его четко выписанными изолированными мгновеньями,— словом, многих, кто мешал мне стать самим собой. Я не хочу сказать, что сознательно изгонял решительно все созвучия с другими писателями, оберегая свой стиль, как запретную зону; Т. С. Элиот, в то время тоже очень влиятельный, убедил, что достоинством художника способна стать и его близость другим художникам; говорю только о том, что книга была для меня началом исканья литературной необщности и оригинальности. Выяснилось, что это дело немыслимо трудное, и оно меня вымотало без остатка,— написав те сорок страниц, я чуть было не отказался от продолжения. Пришло такое чувство, что мне, не напечатавшему и рассказика, никогда не удастся сбалансировать самые разнообразные и весьма сложные компоненты собственного замысла, привести в единство свои образы, свои повествовательные ритмы, свои диалоги, сочетать все это так, чтобы возникло чудо, сотворенное человеком,— роман. В общем, я лихо начал — и застрял.

Я уехал в Северную Каролину, в Дарем, где учился в колледже, и снял там на боковой улочке крохотную квартиру, которую делил с моим склонным к истеричности псом из породы кокер-спаниелей. Там я попробовал писать дальше. Подступался к роману и с той и с этой стороны, но он просто не желал сдвинуться с мертвой точки; Хайраму Хайдану я посылал мрачные письма, сообщая ему, что та сотня долларов, видно, пропала попусту. Но его это, надо думать, не смутило, и через год он написал мне из Нью-Йорка, что пора бы мне опять приехать на Север и тогда силы ко мне вернутся. Совет показался разумным, и осенью 1949 года, подарив спаниеля профессору местного университета, я направился обратно в столицы без гроша в кармане, так что пришлось, позабыв о шумном великолепии Манхэттена, устроиться в дешевой комнатушке у черта на рогах. (Там я прожил только месяц, но дал мне тот месяц бесконечно много, подтвердив, что жизнь самыми невообразимыми способами помогает писателю,— ведь тогда со мной и произошло все то, что я через много лет опишу в романе «Выбор Софи».) Впрочем, бруклинское житье не продвинуло мою книгу ни на полстраницы вперед.

Исцеление от ступора и причиняемых им мук пришло в образе двух моих знакомых, которых я встретил, выбравшись в город. Сигрид да Лима, которую я знал по кружку Хайдана, и ее мать Агнес посочувствовали моим бедам и предложили перебраться к ним за город, в старый, полуразрушенный дом среди холмов, у самого берега Гудзона. Там меня окружили добротой, заботой, верой, и в этой атмосфере, которая была всего нужнее, чувствуя поддержку, за которую мне никогда не отблагодарить как следовало бы, я собрался с духом, решившись загнать и прикончить зверя, так долго от меня ускользавшего.

Я научился дисциплине и холодной сдержанности, я впервые попытался со всем благоразумием, со всей бесстрастностью, на какие был способен, подвергнуть трезвому анализу проблемы, от которых до этого просто увиливал, и тут меня осенило. Я понял, чего действительно недостает в моем романе — в нем не было ощущения архитектурной выстроенности, не было симметрии, пусть незаметной, но необходимой, потому что без нее книга начинает расползаться, словно осьминог, растущий во все стороны. Все дело в том, чтобы найти форму, от чего я увертывался не то по лености, не то из опасения неудачи, а может, и от того и от другого сразу. Не требовалось ни вычерчивать схем, ни придумывать «сюжета», я этого никогда не делал. Надо было только все время сознавать, что, давая наплыв за наплывом (а похороны у меня оставались рамкой, в которую заключен весь рассказ), я показываю свою героиню Пейтон Лофтис исключительно так, как ее могли воспринять другие персонажи, сам же я ни в коем случае не должен рассказывать о пережитом ею впрямую, от автора.

И еще надо было показать ее в разные времена, начиная с детства, непременно

на фоне какого-нибудь будничного события — пусть это будут танцы в загородном клубе, или рождественский обед, или футбольный матч, или свадьба,— причем такое событие не просто обнаружит раздоры и конфликты между Пейтон и ее родными, но создаст необходимую атмосферу, чтобы достоверной, реальной выглядела у меня жизнь тех благоденствующих виргинских семей, которую я взялся описывать. Сам я появлюсь в книге только под самый конец, к которому должны стягиваться все нити,— там, где Пейтон произносит свой длинный монолог, как Молли Блум в «Улиссе» Джойса,— и этот монолог я напишу по-авторски, сделав его подчеркнуто «внутренним», индивидуально окрашенным, так что он станет для читателя неожиданностью и произведет особенно большой эффект. Такой вот план я придумал, и после этого писать сделалось не скажу легче (писать всегда трудно), но, по крайней мере, возможно; слова приходили сами и вели за собой другие слова, и мне удавалось как-то справляться со всеми сложностями, даже испытывая удовлетворение от собственных описаний, диалогов и стилистических тонкостей.

Я дописал «Сникаю во мраке» весенним вечером 1951 года, в Манхэттене, на западной Восемьдесят восьмой улице, куда переехал, вернувшись в город после того прекрасного года, что провел на Гудзоне, под Роклендом. Последним шел у меня монолог Пейтон (ключевые сцены были уже готовы), и если сегодняшний читатель ощутит в нем слишком много безнадежности и отчаяния, причина в том, что за несколько месяцев до того, как завершить книгу, я снова был призван в морскую пехоту, чтобы воевать в Корее. Чувство было такое, что шансов выжить мне дано не больше, чем моей героине. В свои двадцать пять лет я, подобно Пейтон, был слишком молод, чтобы подводить итог жизни. Но оказалось, что этого и не потребуется, и я был счастлив сверх всех ожиданий, когда читал в общем-то неплохие отзывы о своей книге, которая даже попала в список бестселлеров. Было в том списке еще два первых романа, о которых «Тайм» написал, что они знаменуют в американской прозе новую волну подавленности и отрицания: «Отныне и во веки веков» и «Над пропастью во ржи»[24].
1973

«Долгий марш»

Хотя по сравнению с другими моими книгами «Долгий марш» — всего лишь небольшая и в общем-то непритязательная повесть, в пределах, поставленных самим жанром, здесь удалось, мне кажется, достичь единства и ощущения художественной точности, так что и теперь, десять лет спустя, я вспоминаю об этой повести с любовью и некоторой завистью к самому себе. Не сочтите меня нескромным; спешу пояснить, что вовсе не считаю свою книжку совершенством, и тем не менее у каждого писателя есть среди им созданного что-то особенно получившееся, когда все идет безошибочно; какое-то везение сопутствует ему в этих случаях изначально, и мысль облекается в полностью для нее органичную форму, и пишется с неправдоподобной легкостью. Вот так у меня было с «Долгим маршем», а поскольку и до него и после я всегда писал в жестоких муках, мне дорога память о маленькой этой книге, и, думая о ней, я пытаюсь понять, отчего большей частью никак не возвращается чувство обязательности, необходимости вот именно такого решения, то сознание, которое мною тогда руководило.

Наверное, объяснить это нужно обстоятельствами, главным образом сугубо личными. Как под конец догадывается, должно быть, каждый читатель, история эта автобиографична. Ну разумеется, в той или иной мере автобиографична любая книга, но «Долгий марш» — и больше и последовательнее, чем бывает обыкновенно. Не поймите так, что с натуры списаны все основные персонажи,— нет, они, кто более, кто менее, остаются вымышленными; но взрыв мины и сам марш из-под палки, то есть главные события повести,— они были реальными, и пережил это я сам, поскольку на время очутился в той удушающей атмосфере, которая царит на военной базе в разгар изнурительно-знойного американского лета. И если рассказ сохраняет правдивость и живое сходство с реальностью, так оттого, что я, описывая все это — и страшный взрыв, и летнюю жару, и тяготы самого марша,— еще оставался там, на базе, и она продолжала во мне сидеть кошмаром, которого никак не стряхнешь.

В своей книге я, вероятно, хотел показать даже еще более гнетущий кошмар, и лишь благодаря этому ей, по счастью, присуща некая символическая обобщенность. Ведь для меня (и полагаю, для большинства думающих людей не только в Америке, а повсюду, где ценят мир) сама идея новой войны — теперь в далекой, непонятной нам Корее и всего-то через пять лет после самой жестокой бойни, какую знало человечество,— заключала в себе полубезумное, дикое, недопустимое издевательство над реальностью, какое, не происходя, слава богу, наяву, иной раз привидится в страшных снах. Тем более должны были так чувствовать люди, которые, подобно мне, сняв шинель лишь пять лет тому назад, упивались верой, что безобразная оргия войны теперь позади и останется лишь скверным воспоминанием; когда нас заставляли опять надеть шинель и отдаться ритуальной пляске смерти, последствия могли оказаться только травмирующими. Вторая мировая война тоже была ужасна, но тогда были хотя бы цели, поддающиеся разумному объяснению. Теперь же совершенно неожиданно нас вновь гнали на войну, и такую, цели которой оставались смутными и двусмысленными, если не сказать опре-

[24] Романы Джеймса Джонса Дж. Д. Сэлинджера, вышедшие в 1951 году и явившиеся литературным дебютом их авторов.

деленнее — ложными, на войну, «выиграть» которую нельзя, на бессмысленную войну, столь непопулярную, что и самый кровожадный политик, самый крикливый милитарист не решился бы разжигать патриотические истерики, на войну, не знавшую ни своих лозунгов, ни своих сказаний, ни героев,— и для нас, для большинства тех, кто оказался с нею как-то связан, участвовать в этой войне было выше сил. Мы перестали относиться к войне как к временному сумасшествию, которому люди время от времени предаются, находя в этом какое-то удовольствие. Для нас война стала самим человеческим уделом.

Такие вот переживания я, видимо, и стремился запечатлеть, когда позднее, тем же летом 1952 года, приехал в Париж, все еще не в состоянии освободиться от чувства, что лишь минуту назад проснулся после кошмара. Для меня и для моих друзей по морской пехоте (включая двух-трех, погибших в Корее) мука эта закончилась, но все стояли перед глазами восемь парней, убитых случайным взрывом мины, и тот долгий, бесчеловечный марш. Глупая гибель этих ребят и казавшийся нескончаемым марш, когда вместо людей шли лишенные лица боевые единицы,— вот все, что для меня означала та война без героев, война, где не было и следа человеческой причастности, война, ставшая зловещим предзнаменованием безликих, бездушных войн будущего, когда станет достаточно просто нажать на кнопку. Ну что ж, я напишу об этом безликом, бездушном марше. Но, принявшись за рассказ, я, вопреки всем своим намерениям, быстро постиг, что и среди принявшей крайние формы дегуманизации дух человеческий до конца не исчезает и не смиряется: пусть это казалось невероятным, но тем не менее из череды безликих цифр возникали живые лица, а рядом с солдатами шел капитан Мэннике, и обливался потом, и еле переставлял ноги, и мучился физически, и терпел унижения, но оставался несломленным. В противоречии с собственной природой и моим замыслом, он был героем, он все вынес и, погружаясь в бесчеловечность, сохранил все, что заставляет с уважением говорить о человеке. Не берусь утверждать уверенно, но, быть может, надежда, которую скрывает в себе таинственная неизносимость человека, и послужит художнику единственной, пусть не слишком прочной, опорой в его стараниях постичь боли нашего века насилий и безумств.

1962

◆

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.)

Советский литературный критик; доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985) и многих статей по проблемам современной зарубежной литературы.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПЬЕСА ГУСТАВА ЭРНСТА

В венском театре «Группа 80» состоялась премьера пьесы молодого австрийского драматурга Густава Эрнста «Майорка». Она представляет собой, в сущности, сплошной монолог, который произносит перед молчаливым соседом по больничной палате профсоюзный деятель, социал-демократ Вилли, ожидающий операции (эту роль в спектакле исполняет актер Эрхард Пауэр). Героя мучают не только боль и страх перед исходом операции. Размышляя о своей жизни и своей деятельности, он терзается сомнениями, муками нечистой совести. В его речах много обычной «левой» риторики, но в душе он сознает, что далеко не всегда защищал интересы рабочих, и ищет себе оправдания. В каком-то смысле символично, что безмолвный его слушатель, по замыслу драматурга,— автор научного исследования «Психопатология политических деятелей».

Критик Эрвин Киссер в органе КП Австрии газете «Фольксштимме» называет пьесу «блестящим разоблачением социал-демократической риторики». «Пьеса несет в себе взрывчатый политический заряд,— отмечает Э. Киссер,— и может дать толчок дальнейшему развитию народного политического театра. Несмотря на подзаголовок «фарс», эта пьеса на самом деле — трагедия... Душевный и телесный недуг Вилли — символ специфически австрийской, характерной для нашего времени болезни».

«Фольксштимме» опубликовала интервью с автором пьесы. На вопрос о том, кто был прототипом героя, Густав Эрнст ответил: «Их много... Я хотел показать человека в переломный момент его жизни, когда он чувствует: так больше нельзя жить...»

АНГОЛА

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Национальная премия 1985 года по литературе присуждена известному ангольскому поэту, одному из основателей литературного движения «За открытие Анголы», члену Политбюро ЦК МПЛА-ПТ Антониу Жасинту ду Амаралу Мартиншу за книгу стихов «Выжить в Таррафале на Сантьягу».

Таррафал — печально известная в бывших португальских колониях тюрьма на острове Сантьягу, место заключения африканских борцов за независимость, символ колониального угнетения и унижения. Книга А. Ж. ду Амаралу Мартиншу посвящена недавней истории антиколониальной борьбы народов Анголы, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса за свободу и счастливое будущее своих стран. Произведения, вошедшие в сборник, пишет «Жорнал де Ангола», отличает острая политическая и социальная направленность, самобытность, близость к народным традициям.

БОЛГАРИЯ

В последнее время болгарская печать уделяет много внимания проблеме чистоты родного языка, сохранения народных традиций и обычаев. Журнал «Родопи», возглавляемый известным писателем Николаем Хайтовым, среди других материалов публикует и записи устных рассказов родопчан, передающие обаяние живой, разговорной речи, своеобразие мироощущения жителей Родопского края. Рассказы, ранее напечатанные в журнале «Родопи», уже составили два сборника: один из них — «Бегом в прошлое» — вышел несколько лет назад и пользовался в стране большим успехом, другой — «Кизиловые ноженьки» — опубликован в конце прошлого года. «Истории эти непритязательны, — пишет Н. Хайтов в предисловии к «Кизиловым ноженькам», — но они дают возможность заглянуть в тайники болгарского языка и увидеть скрытые в них богатства».

На снимке: иллюстрации художника Бориса Димовского к книге «Кизиловые ноженьки».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ МАЙКЛА КАЛЛЕНА

Книга английского прозаика Алана Силлитоу «Жизнь продолжается» — второй роман о Майкле Каллене, знакомом советским читателям по роману «Начало пути» («ИЛ», 1973, № 8—11). В этом произведении, как и в первой книге о Майкле Каллене, Силлитоу сохранил дух и атмосферу плутовского романа: здесь и очередные приключения самого героя, и множество вставных эпизодов, знакомящих нас с бродягами, поэтами, хулиганами, контрабандистами, каждый из которых, по словам рецензента «Таймс литерари сапплмент», «рассказывает свою историю, остроумием и общим стилем напоминающую лучшие образцы чосеровских новелл». Органически вплетенные в ткань повествования, эти рассказы придают ему особенную живость и своеобразие.

«В предыдущем романе мы оставили Майкла Каллена на заброшенной железнодорожной станции, где он поселяется, решив отдохнуть от своих невероятных похождений.— напоминает рецензент. Но этой оседлой жизни приходит конец, когда Каллен встречает своего давнего знакомого — Клода Моггерхэнгера, гангстера и вымогателя, преуспевающего мошенника, получившего недавно титул пэра. Банда Моггерхэнгера борется с другой гангстерской бандой; перипетии этой борьбы, в которой принимает деятельное участие Каллен, и составляют событийную канву романа.

Важный композиционный прием — «роман в романе», который пишет сам герой. Отец Каллена, «серьезный» писатель Джилберт Блескин, запутавшийся в долгах, вынужден подрабатывать сочинением «триллеров», сенсационных приключенческих романов, которые он издает под псевдонимом Сидни Блад. Каллен, презрительно относящийся к подобного рода халтуре, вдруг вызывается сам написать книгу по одному из контрактов. Каллен не имеет образования, но он человек сообразительный и наблюдательный. Ему удается написать остросюжетный роман, который становится бестселлером и даже выдвигается на литературную премию.

Рецензент «Таймс литерари сапплмент» назвал новую книгу Силлитоу «долгой, неспешно развивающейся сагой», но сожалеет о том, что, по его мнению, Силлитоу «не смог до конца выдержать взятый им «эпический» темп.

ГДР

ПОКАЗЫВАЕТ ЛЕЙПЦИГ

Более 6500 книг представили на традиционной весенней книжной ярмарке 78 издательств Германской Демократической Республики.

Столетию со дня рождения Эрнста Тельмана посвящен сборник «Эрнст Тельман. Документы, тексты, фотографии», выпущенный издательством «Диц». В книгу вошли воспоминания современников, письма, высказывания деятелей культуры.

Пятидесятилетие национально-освободительной войны в Испании отметило издательство «Ауфбау», опубликовав сборник повестей и рассказов о борьбе испанского народа против фашизма, книгу Хорста Кюне «Война в Испании» (1936—1939) и книгу Жан-Ришара Блока «Испания. 1936—1939». К этой дате приурочен и выход «Испанского дневника» Михаила Кольцова в издательстве «Милитерферлаг».

Издательство «Нойес лебен» совместно с Союзом писателей ГДР выпустило сборник «Современники», включающий новые произведения, посвященные XI съезду Социалистической единой партии Германии.

В издательстве «Ауфбау» вышла иллюстрированная хрестоматия «Писатели — делу мира», где представлены 100 писателей ГДР.

Издательство «Рюттен унд Лёнинг» выпустило к шестидесятилетию Германа Канта новое издание романа «Актовый зал» и сборник рассказов «Бронзовый век». К семидесятилетию Юрия Брезана в издательстве «Нойес лебен» вышло «Избранное» писателя.

На книжной ярмарке были также представлены новые произведения Кристы Вольф, Эвы Штриттматтер, Гюнтера де Бройна, Эльфриды Брюнинг, Яна Копловица.

На стендах издательства «Фольк унд вельт», выпускающего переводную литературу, было выставлено 146 книг зарубежных авторов из 38 стран (в том числе 35 новых переводов). Среди них видное место принадлежит произведениям советских авторов.

ЕГИПЕТ

АЛЬФРЕД ФАРАГ О ПРОБЛЕМАХ АРАБСКОГО ТЕАТРА

Журнал «Аль-араби» опубликовал интервью выдающегося египетского драматурга Альфреда Фарага, данное кувейтскому драматургу Абд аль-Азизу ас-Сария.

Альфред Фараг — один из драматургов, с именами которых связан расцвет египетского театра в 60-е годы. Тогда появились замеча-

---

Театральные коллективы ГДР в последнее время все чаще обращаются к раннему творчеству Брехта, пишет журнал «Театер дер цайт». С большим успехом идут его пьесы «Ваал», «Барабаны в ночи», а также «Трехгрошовая опера» и «Возвышение и падение города Махагонни».

Театральный критик Йохен Циллер отмечает в еженедельнике «Зонntаг»: «Брехтовский метод, присущая ему «социальная наивность» необходимы современному политическому театру».

На снимке: сцена из «Трехгрошовой оперы», поставленной в Потсдаме режиссером Экхардом Беккером. В роли Мэкхита — Бернхард Гефке.

(Журнал «Театер дер цайт»)

тельные пьесы Фарага «Багдадский цирюльник», «Солдаты и разбойники», «Подвиги Аз-Зейра Салима», «Али Джаннах ат-Табризи и его слуга Куффа». За драму «Сулейман аль-Халаби» (она рассказывает о борьбе египтян и сирийцев против оккупационной армии Бонапарта в 1800 г.) Фараг был удостоен государственной премии.

Писателю принадлежит также книга очерков о театре и драматургии, книга о жизни и творчестве А. М. Горького, ряд публицистических произведений. В середине семидесятых годов Фараг был вынужден эмигрировать в Западную Европу и в настоящее время живет в Лондоне. Однако он не порывает связей с театральной жизнью арабских стран.

Отвечая на вопрос кувейтского драматурга о главной проблеме, стоящей сегодня перед арабским театром, Фараг сказал: «Это — проблема отношения к тексту драматургического произведения. Текст — основа театрального действия, но в современной практике арабского театра нарушена пропорция между значимостью самого драматургического текста и мерой вмешательства в него режиссера».

Говоря о новых постановках пьесы «Али Джаннах ат-Табрчзи и его слуга Куффа», А. Фараг отметил, что эта пьеса, созданная по мотивам арабского фольклора, занимает среди его произведений особое место. Последняя ее постановка была осуществлена в западноберлинском театре имени Баха режиссером Петером Крёйсеном летом 1985 года.

Существует множество толкований этой пьесы. Как считает сам драматург, «Али Джаннах ат-Табризи» — это пьеса о том, что люди не могут жить без надежды: «Человек может лишиться всего — денег, положения в обществе, может потерять друзей, но для него непереносимо потерять надежду».

Отвечая на вопрос ас-Сария о молодой театральной смене, Фараг сказал: «Новые поколения богаты актерскими дарованиями, не уступающими прежним, однако артисту не уделяют ныне столько внимания, как в шестидесятые годы. Острая конкуренция между телевидением и театром не позволяет театру успешно решать свои задачи и сохранять при себе своих авторов, актеров и режиссеров... Сейчас больше артистов и драматургов, чем в шестидесятые годы, но телевидение поглощает эти таланты, не давая им раскрыться во всей полноте, рано их сжигая».

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ-ГУМАНИСТА

Прогрессивная индийская общественность широко отметила юбилей Мулк Радж Ананда (род. в 1905 г.) — одного из крупнейших мастеров слова современной Индии, автора многих романов, ставших классикой индийской литературы.

Большую статью под заголовком «В 80 лет — юный» посвятил его творчеству еженедельник «Линк».

Мулк Радж Ананд вошел в индийскую литературу как продолжатель ее великих гуманистических традиций. Недаром в литературных кругах его называют «индийским Горьким», пишет «Линк». Произведения выдающегося романиста — «Кули», «Неприкасаемый», «Два листа и почка» и ряд других — переведены на многие языки, в том числе и на русский.

Герои Ананда — представители всех слоев индийского общества: деревенские изгои, городские люмпены — и утопающие в роскоши раджи и махараджи. Симпатии писателя неизменно на стороне тружеников, в поте лица добывающих свою горстку риса, на стороне униженных и бесправных, продолжает рецензент еженедельника «Линк».

Индия отметила 80-летие романиста в канун важного события в общественно-политической и культурной жизни страны — «золотого юбилея» Ассоциации прогрессивных писателей Индии, одним из создателей которой был Мулк Радж Ананд.

ИРАК

ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ТАБЛИЧЕК

Долгожданным событием для ученых всего мира станет намеченный на конец года выход трехтомного исследования клинописных текстов Шумера — древнейшего очага возникновения письменности на нашей планете. Раскопки руин шумерского города Урука (юг современного Ирака) были начаты немецкими археологами еще в 1913 году. В 1936 году профессор Фалькенштейн опубликовал начертанные на шестистах глиняных табличках знаки, высказав предположение об их связи с хозяйственной деятельностью шумеров. Дело Фалькенштейна продолжил его ученик, ныне профессор Западноберлинского университета Ганс Ниссен, отдавший более трех десятилетий археологическим работам и расшифровке 4000 табличек, которые стали достоянием музеев Багдада, Гейдельберга и Западного Берлина.

Изыскания Ниссена, пишет итальянский еженедельник «Панорама», утвердили его во мнении, что в Шумере создание письменности было обусловлено не стремлением запечатлеть для потомков исторические события, легенды и ритуалы (как это происходило, по мнению ряда ученых, в древнем Китае и Египте), а проблемами чисто практическими. Около 3300 года до н. э. с изменением климата на юге Месопотамии возникли условия, чрезвычайно благоприятные для земледелия, что и явилось причиной массовой миграции населения с севера в этот район, находившийся к тому же на пересечении торговых путей. Необходимость упорядочить торговлю, управлять большим числом людей (в Шумере вскоре начинают складываться раннеклассовые государства) приводит к появлению жетонов для счета, личных печатей, цилиндрических печатей, позволяющих равномерно покрывать значками большую поверхность. Правда, подчеркивает Г. Ниссен, промежуточного звена между этими значками и идеограммами (знаками, соответствующими целому слову или морфеме) обнаружить пока не удалось. «Ключ» же к текстам дали перечни животных, растений, профессий, которые переписывались с таблички на табличку в течение столетий. Сравнивая варианты написания одних и тех же знаков, можно проследить, как сформировалась система клинописи, сотни лет служившая народам всего Ближнего Востока.

«Но «белых пятен» в исследуемых материалах осталось немало, — говорит Ниссен в интервью корреспонденту «Панорамы». — Расшифровав 70% текстов, мы не всегда еще представляем себе, что стоит за тем или иным знаком, не всегда можем соотнести их с известными нам реалиями».

ИТАЛИЯ

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Ученый и писатель Умберто Эко — один из немногих представителей итальянской интеллектуальной элиты, пользующихся действительно общенациональной популярностью. Эко-журналист широко известен своим соотечественникам по статьям о культуре и искусстве современной Италии, он много занимался социологией искусства, проблемами средств массовой коммуникации.

Выпущенный издательством «Бомпиани» сборник его эссе «О зеркалах» адресован тем, кто не может осилить его научные труды, но хочет познакомиться с Эко-ученым, отмечает журнал «Эуропео». Читателю суждено узнать немало интересного: например, знак ли зеркало и зеркало ли знак. И как можно снискать себе славу, всего лишь правдиво излагая факты (в чем преуспел Плиний Младший), а также увидеть то, чего на самом деле не было, но о существовании чего всем было доподлинно известно (сие удалось Марко Поло). Есть тут эссе и о плохо написанных превосходных книгах — ирония в том, что именно так оценили некоторые критики единственное

Парижский журнал «Лир» сопроводил рекламную информацию о романе Умберто Эко «Имя розы» шутливым рисунком художницы Софи Пьер.
На снимке: портрет У. Эко — «деталь средневековой миниатюры».

(Журнал «Лир»)

художественное произведение Эко — знаменитый роман об эпохе средневековья «Имя розы» (см. «ИЛ», 1986, № 2), и эссе о физиогномике, и о театре (ранее ученый исследовал изобразительное искусство, архитектуру и кинематограф как семиотические системы), и о времени в искусстве, и о фантастических «параллельных мирах», на которых, по мнению исследователя, зиждется в значительной мере литература вообще.

Поражает широта интересов ученого, смотрящего на мир как на свод бесчисленных проблем и головоломок и равно сведущего в далеких друг от друга областях знаний, продолжает «Эуропео», а также редкая у современных философов ясность изложения, непременная системность мышления, о которой свидетельствует и дробная, «иерархическая» организация эссе.

Разлагая любую проблему на ее элементарные составляющие, отмечает в «Эуропео» критик Уго Волли, Эко не боится, что те или иные положения и доводы покажутся читателю тривиальными,— в этом-то он и видит залог доступности своих теорий,— и, выдвигая самые дерзкие идеи, старается найти прецеденты, сослаться на авторитеты.

КАНАДА

ПОРТРЕТ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ПЛУТА

Новый роман известного англоканадского прозаика Робертсона Дэвиса «Горбатого могила исправит» — жизнеописание вымышленного героя. По мнению рецензента журнала «Тайм», Робертсон Дэвис с успехом справился с трудностями, которые ждут любого писателя в этом жанре: центральный персонаж романа, отмечает рецензент, «обрисован в своей «биографии» столь живо и правдоподобно, что, кажется, природа допустила непростительную ошибку, не дав такому человеку родиться на свет».

Некий канадский искусствовед, от лица которого ведется повествование, собрался написать историю жизни своего друга, покойного Фрэнсиса Корниша — выходца из канадской провинции, ставшего крупным коллекционером произведений живописи. Нередко Фрэнсис и сам брал в руки кисть и палитру. Работа с архивными материалами приводит искусствоведа к неожиданному открытию: оказывается, что почтенный Ф. Корниш иногда «путал» подлинники с искусными подделками. Биограф коллекционера попадает в довольно щекотливое положение: публично изобличить Корниша в плутовстве — значит не только сбросить с пьедестала кумира великосветской публики, но еще и погубить репутацию влиятельнейшего семейства Корнишей и его солидной финансовой компании «Корниш траст»...

Разобраться в хитросплетениях жизненного пути Ф. Корниша его биографу помогают... два духа, направляющие его перо: Малый Задкиэль, «покровитель» биографического жанра, и демон Мэймес, олицетворяющий духовный облик Фрэнсиса Корниша. Эти два фантастических существа проливают свет на многие поступки и движения души канадского коллекционера.

Как отмечает канадский еженедельник «Маклинз», Р. Дэвис написал не просто историю нувориша из провинции (это тема достаточно традиционная для классического западного романа): писатель затронул глубинные проблемы национального самосознания канадцев. Странствующий по свету Фрэнсис Корниш, обуянный жаждой богатства, не брезгующий никакими средствами ради того, чтобы пробиться в высшее общество, как бы воплощает метания «канадского духа» XX века, стремящегося избавиться от своего провинциализма.

КУВЕЙТ

КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Аль-араби» сообщает о результатах конкурса среди начинающих новеллистов из арабских стран, объявленного редакцией в январе 1985 года.

Конкурс проходил в два этапа. Вначале специальная комиссия отобрала из 2985 рассказов, поступивших в редакцию из всех арабских стран, 118 лучших произведений. Затем жюри конкурса, куда вошли известные арабские писатели (Абу-ль-Муати Абу-н-Нага, Исмаил Фахд Исмаил, Лейла аль-Осман и другие), определило

Молодая новеллистка из Сирии Сихаб Мухаммед Нури ас-Самсам, завоевавшая первую премию на конкурсе, организованном редакцией журнала «Аль-араби».

(Журнал «Аль-араби»)

«лучшие из лучших» рассказов и присудило премию одиннадцати участникам литературного состязания. Рассказы, завоевавшие первые места, были опубликованы на страницах «Аль-араби».

МЕКСИКА

МАСТЕРА МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Французский искусствовед Серж Фошеро выпустил книгу «Революционные мексиканские художники» — монографию о мастерах монументальной живописи Диего Ривере, Давиде Альфаро Сикейросе, Хосе Клементе Ороско, украсивших своими творениями города Мексики. Эпиграфом к своему исследованию Серж Фошеро взял слова Х. К. Ороско: «Для того чтобы понять произведение живописи, вовсе не обязательно быть специалистом. Красота в любом ее воплощении способна привлечь самых неискушенных и необразованных людей».

По мнению рецензента французского журнала «Кензен литтерер» Жоржа Райяра, «Сержу Фошеро удалось показать особенности творческого метода мексиканских муралистов, сформировавшегося под влиянием народного лубка (калаверас) с его «черным юмором», разряженными скелетами и танцующей смертью, и новаторских тенденций в мировом искусстве XX века». Фошеро, пишет Ж. Райяр, справедливо придает большое значение встрече Д. Риверы и Д. А. Сикейроса в Париже в 1919 году, их совместному путешествию по Италии, знакомству там с фресками мастеров Возрождения, созданию ими в 1922 году на родине совместно с Х. К. Ороско Синдиката революционных скульпторов, живописцев и графиков. Творчество мексиканских муралистов, пишет рецензент «Кензен литтерер», как и всякое новаторское явление, не сразу встретило понимание у публики и у некоторых художников и даже сегодня не вызывает однозначных реакций. В связи с этим, по мнению Ж. Райяра, до сих пор не утратили актуальности слова, сказанные в 1928 году Алехо Карпентьером, защищавшим от нападок фрески Диего Риверы: «Трудно поверить, что творчество, столь духовно здоровое и сильное, может иметь недоброжелателей и противников... С Риверой — интеллектуальная элита и молодые художники, но средний класс, «умеренные люди», ведут с ним глухую войну. Зато истинная аудитория Риверы — народ. Для него он и работает».

Деталь фрески Диего Риверы. На первом плане — Диего Ривера (об руку со Смертью), его жена, художница Фрида Кало, и знаменитый мексиканский график Хосе Гваделупе Посада.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

НОРВЕГИЯ

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ НА НОРВЕЖСКОМ

В издательстве «Экслибрис» вышла в свет повесть Чингиза Айтматова «Джамиля», переведенная на норвежский язык Петером Норманном Воге и иллюстрированная двадцатью четырьмя графическими работами талантливого художника Танг Ван Тюа, вьетнамца по происхождению.

Книгу предваряет предисловие французского писателя Луи Арагона, отозвавшегося о повести так: «Это самое прекрасное произведение о любви, которое я когда-либо читал».

Норвежская критика полностью разделяет мнение французского писателя, отмечая глубокий психологизм айтматовской прозы, поэтическое видение мира, и высоко оценивает это издание «Джамили» на норвежском языке.

ПОЛЬША

II СЪЕЗД СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В феврале 1986 года состоялся II съезд Союза польских писателей. Польская печать широко освещала работу съезда, где наряду с

программой деятельности Союза обсуждались насущные профессиональные, социальные и бытовые проблемы, волнующие писательскую организацию. Главной темой дискуссий стала общественная функция литературы, роль писателя в жизни страны, пополнение рядов Союза. Во многих выступлениях подчеркивалось, что основное положение его устава остается неизменным: организация открыта для всех писателей, которые признают принципы социалистического строя в Польской Народной Республике, являются ее гражданами и авторами оригинальных произведений литературы. На съезде была принята поправка к уставу, позволяющая вступать в Союз переводчикам художественной литературы.

Делегаты съезда избрали новые руководящие органы Союза: Главное правление, Главный товарищеский суд и Центральную ревизионную комиссию. Председателем Главного правления Союза польских писателей избран Войцех Жукровский. Почетным председателем — Галина Аудерская. Войцех Жукровский (р. в 1916 г.) как прозаик дебютировал в 1936 году, участвовал в сентябрьской кампании 1939 года, в период оккупации участвовал в антигитлеровском Сопротивлении, после освобождения был офицером Народного Войска Польского. Он автор многих романов, повестей, рассказов и киносценариев, лауреат литературных премий. Несколько его книг переведено на русский язык (в том числе повесть «Крещенные огнем» — о польско-советском братстве по оружию). Является председателем Всепольского совета Общества польско-советской дружбы.

В президиум Главного правления кроме В. Жукровского вошли Зигмунт Вуйчик, Ежи Есёновский, Зигмунт Лихняк — заместители председателя, а также Александр Навроцкий, Анджей К. Васькевич, Юзеф Шчавинский, Вацлав Садковский, Феликс Форнальчик, Миколай Меланович, Александр Ровиньский и Ян Копровский. Председателем Главного товарищеского суда избран Юлиуш Гомулицкий, а председателем Центральной ревизионной комиссии — Здислав Моравский.

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОВ АНЫ БЛАНДИАНЫ

Вышел в свет новый сборник стихотворений Аны Бландианы «Хищная звезда». По мнению румынской критики, книга знаменует собой новый этап в творчестве этого признанного мастера поэтического слова. «Обычно трудно определить тему стихотворений А. Бландианы,— пишет видный литературный критик Зуджен Симион в еженедельнике «Ромыния литерарэ».— Ее стихи часто неоднозначны, это — «открытый текст», который читатель толкует сам. Для творчества Аны Бландианы характерны пастельные импрессионистические краски, неуловимое ощущение тревоги, нежная зыбкость образов». Такие стихотворения есть и в новом ее сборнике — это своего рода наброски пером, попытки очертить то, что по сути своей не имеет ясных очертаний.

Но в отличие от прежних сборников, для которых характерно гармоничное мироощущение, в новой книге А. Бландианы ясно слышны мотивы тоски, негодования, гнева; она пронизана чувством причастности к важнейшим проблемам жизни, к происходящим в мире событиям. Глазами поэтессы читатель взглянул на трагические стороны бытия.

«Настало время изменить прежнее мнение о творчестве А. Бландианы,— пишет Э. Симион.— От изысканных, «импрессионистических» стихотворений Ана Бландиана уверенно перешла к философской и социальной лирике».

СЕНЕГАЛ

ВСЕАФРИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Правительство Сенегала приняло решение о проведении в Дакаре в 1987 году второго Всеафриканского фестиваля искусства и культуры. Как заявил президент международного подготовительного комитета Пате Диань, фестиваль призван способствовать укреплению взаимопонимания между народами, содействовать развитию культуры африканских государств.

Первый Всеафриканский фестиваль состоялся в 1969 году в Алжире. Художественные коллективы тогда впервые получили возможность представить на таком крупном форуме традиционное искусство своих народов и современное художественное творчество. Дакарский фестиваль, считают его организаторы, привлечет около 60 тысяч участников и зрителей. Ему будут предшествовать различные организационные, научные и культурные мероприятия во многих странах континента. Начиная с 1987 года, подобные фестивали будут проводиться регулярно — раз в четыре года.

США

«МЫ НУЖДАЕМСЯ ДРУГ В ДРУГЕ»

В университете штата Миссисипи, пишет американский журнал «Сазерн реджистер», состоялся симпозиум, посвященный жизни и творчеству негритянского писателя Ричарда Райта (1908—1960), автора романов «Сын Америки» и «Долгий сон», сборников рассказов и нескольких публицистических книг. В симпозиуме приняли участие как соотечественники видного художника слова, так и его зарубежные единомышленники и последователи. Выступавшие говорили о влиянии творчества этого писателя - интернационалиста, коммуниста, борца за социальную справедливость на литературу США и литературу африканских стран во второй половине нашего столетия.

Ричард Райт.
Журнал («Сазерн реджистер»)

Основной доклад сделала известная американская писательница Маргарет Уокер, друг и коллега Райта, недавно опубликовавшая книгу «Демонический гений Ричарда Райта». Уокер рассказала о том, как Райт, выходец из негритянских низов, самоучка, стал убежденным марксистом. духовным вождем литераторов «новой волны» — Ральфа Эллисона и других писателей. «Условия роста каждого художника слова, — писал Райт в статье «Программа для негритянской литературы», — во многом зависят от удачной работы его коллег. Появление талантливого романа, поэмы или пьесы поднимает общий уровень... Каждый наш успех удобряет ту общую почву, на которой произрастаем мы, писатели. Мы нуждаемся друг в друге».

Участники симпозиума, лично знавшие Райта, делились своими воспоминаниями о годах учебы писателя в Джексоне, о чикагском периоде его жизни: именно тогда он вступил в «Клуб Джона Рида», стал коммунистом, принял активное участие в левом литературном движении «красных тридцатых». Интересными были сообщения литературоведов. Как отметила координатор симпозиума Мэриемма Грэхем, «представители разных поколений, разных национальностей, разных школ и направлений внесли свою лепту в понимание личности

этого крупного писателя, в понимание социального и эстетического контекста его творчества». О влиянии произведений Ричарда Райта на творчество зарубежных писателей говорили гости из Китайской Народной Республики, Берега Слоновой Кости, Турции, ФРГ.

КНИГИ ИЗ ШТАТА МИССИСИПИ В МОСКВЕ

Хантер Коул, представитель издательства «Миссисипи пресс юниверсити» на Международной Московской книжной ярмарке 1985 года, остался чрезвычайно доволен результатами ярмарки: все 54 книги с его стенда были закуплены Всесоюзной Государственной библиотекой иностранной литературы. Одно из самых ярких впечатлений Х. Коула — «любовь, буквально преклонение советского человека перед книгой». «К стендам США и Великобритании, а также Индии, Италии, Японии, Китая тянулись длинные очереди... Наш стенд был самым маленьким по сравнению с другими американскими стендами, — сказал Хантер Коул в интервью журналу «Сазерн реджистер», — но посетители проявили к нашим изданиям не меньший интерес, чем к книгам «Рэндом хаус» или «Фабер энд Фабер». Мы приняли участие в ярмарке по личному приглашению директората Института мировой литературы имени А. М. Горького, выполняя план сотрудничества между ИМЛИ и университетом Миссисипи».

СПЕКТАКЛЬ-МОНОЛОГ

В вашингтонском «Террастиэтр» Центра Кеннеди поставлен новый спектакль «Лилиан», посвященный Лилиан Хеллман. Пьеса написана известным драматургом Уильямом Люсом, перу которого принадлежит и сходное по стилю сценическое воспроизведение жизни поэтессы Эмили Дикинсон «Красавица из Амхерста».

«Лилиан» — своеобразный спектакль-монолог, поставленный режиссером Робертом Уайтхедом. Роль писательницы играет его жена, известная театральная актриса Зоя Колдуэлл. Время действия пьесы охватывает всего несколько часов одного вечера в 1961 году: Лилиан Хеллман сидит в больничном покое, а в соседней палате умирает писатель Дэшиелл Хэммет, которого она любила долгие годы, вместе с которым выступала против маккартизма, с которым много раз бурно ссорилась и мирилась вновь.

Драматизм ситуации, эмоциональный накал пьесы требуют от актрисы полной отдачи, подлинного проникновения в духовный мир автора «Лисичек», «Стражи на Рейне», «Осеннего сада», пишет о спектакле в «Интернэшнл геральд трибюн» Дэвид Ричардс. Зое Колдуэлл это далось нелегко: она несколько месяцев читала и перечитывала произведения и письма Хеллман, смотрела кадры кинохроники, расспрашивала тех, кто близко знал Лилиан. Она даже снова начала курить, потому что и Лилиан, по словам актрисы, «всегда была окутана облаком табачного дыма». Но главное — то, что дало Зое Колдуэлл ключ к пониманию личности писательницы, — она нашла в строках знаменитого письма Хеллман, адресованного Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности: «Ни теперь, ни когда-либо в будущем я не стану подводить других людей». В интервью корреспонденту «Интернэшнл геральд трибюн» Колдуэлл говорит: «Эти слова открыли мне настоящую Лилиан. Ее считали женщиной резкой и прямой, но всегда и во всем она вела себя так, чтобы «не подводить других людей», не причинять им зла... Она была глубоко порядочным человеком».

Зоя Колдуэлл в спектакле «Лилиан».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Зоя Колдуэлл недаром считается одной из лучших актрис сегодняшнего американского театра, ее даже шутливо называют «сушим хамелеоном» за умение органично вживаться в сценический образ. Австралийка по происхождению, Колдуэлл играет на профессиональной сцене с 9 лет. Без малого за полвека она сменила не один десяток театров в Англии, США, Канаде, ее актерские работы трижды отмечались театральной премией «Тони». «И все же, — говорит Зоя Колдуэлл, — Лилиан — поистине самая сложная из сыгранных мною ролей. Это, наверное, отдает мистикой, но Лилиан буквально вселилась в меня, и такое слияние временами становилось мучительным».

ТУНИС

«ДИВАН АХМАДА БЕН МУСЫ»

Поэт Ахмад Бен Муса — одна из самых загадочных фигур в тунисской литературе. Хотя он жил в сравнительно недалекое от нас время — в XIX веке, о его жизни практически ничего не известно: мы не знаем ни места, ни года его рождения, ни даты смерти, ни его профессии (хотя есть предположение, что он был ткачом). Достоверно, однако, что Бен Муса часто посещал дворец тунисского правителя Ахмад-бея, где участвовал в поэтических состязаниях с Мансуром аль-Алляки, и что Ахмад-бей присвоил Бен Мусе звание «придворного стихотворца».

Бен Муса слагал свои стихи на тунисском разговорном диалекте. Местные рапсоды — равии — декламировали его произведения перед народом, часто изменяя

текст по своему усмотрению. Стихотворения Бен Мусы вплоть до последнего времени не были собраны воедино. Только недавно поэт Мухи эд-Дин Хрейф издал стихи своего соотечественника в трех томах, напечатанных на ротапринте. Всего в «Диване Ахмада Бен Мусы» около ста пятидесяти стихотворений.

Отмечая ценность издания, обозреватель журнала «ИБЛА» сожалеет, что составитель «Дивана» не указывает во введении, где и каким образом он собрал эти стихи.

ФРАНЦИЯ

ЖАН ЖЕНЕ В «ДОМЕ МОЛЬЕРА»

«Жорж Лаводан, один из самых интересных театральных режиссеров последнего десятилетия, поставил в «Комеди Франсез» пьесу Жана Жене «Балкон», — сообщает журнал «Нувель обсерватёр».

Своим первым сценическим воплощением (1960) это произведение «антиклассика» французской драматургии было обязано Питеру Бруку, главную роль тогда с блеском сыграла известная актриса Мари Белль.

И вот через четверть века — новая интерпретация. Действие пьесы происходит в доме терпимости, за стенами которого бушует мятеж. А скучающие обитательницы роскошного «дома иллюзий» и его хозяйка мадам Ирма в это время развлекаются странной игрой — беседой с воображаемыми «клиентами»: епископом, судьей, генералом. «Сюжетные линии запутаны до пределов возможного — они переплетаются, обрываются, возникают вновь, — пишет критик журнала «Нувель обсерватёр» Ги Дюмюр. — Текст Жене вспыхивает на сцене блестящим фейерверком, его броская образность подкреплена музыкальным коллажем из песен, исполняемых Эдит Пиаф, Тино Росси, группой «Роллинг стоунз», а также великолепной игрой актеров «Дома Мольера».

«По моему мнению, эта пьеса — развернутая метафора театрального искусства, — сказал в интервью журналу «Нувель обсерватёр» Жорж Лаводан. — Где же ее ставить, как не в «театре театров» — «Комеди Франсез»? В моем спектакле заняты прекрасные актеры — Кристина Ферсен, Женевьева Казиль, Ролан Бертен, Марсель Бозонне... Кажется, нам удалось избежать пародийной, фарсовой окраски текста Жене. За стенами «дома иллюзий» должна угадываться бурная атмосфера 50-х годов — времена войны в Индокитае, в Алжире. Спектакль, в соответствии с моим замыслом, перенесет зрителя в царство ошеломляющих фантазий и покажет их гибель в столкновении с реальностью...» И в соответствии с замыслом режиссера в финале пьесы потолок с лепными фигурками ангелочков дает трещину, украшенные зеркалами стены «дома иллюзий» рушатся, уступая место декорации в духе Жарри — пальмовой роще на фоне отвесных скал...

Жорж Лаводан свел в этом спектакле воедино множество стилей, приемов, находок. Его сложную, многоплановую постановку критик Ги Дюмюр назвал «своеобразной антологией современной драматургии на сцене «Комеди Франсез».

Сцена из спектакля по пьесе Ж. Жене «Балкон».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

«ЗОЛОТАЯ КАПЛЯ»

Мишель Турнье — один из немногих французских писателей, к которому на протяжении вот уже двадцати лет одинаково благосклонны и критики, и дипломированные литературоведы, и широкая публика. Но в 1986 году слава его, можно сказать, достигла апогея. В первые дни этого года вышел в свет роман Турнье «Золотая капля», высоко оцененный рецензентами практически всех крупных газет и литературных журналов Франции. А вскоре появились две книги, посвященные творчеству писателя (их авторы — С. Костер и С. Жей).

«Когда я пишу роман, — сказал Турнье в одном из выступлений по французскому радио, — то читаю все, что можно, на интересующую меня тему, «добывая», а затем используя «добытые» сведения по истории, географии и прочим наукам. По-моему, это и право, и долг романиста». Материал для своего последнего романа писатель черпал не только из книг. Он изучал фольклор, культуру мусульманских народов, быт рабочих-иммигрантов, деля с ними кров и работая с ними вместе. «Я единственный французский писатель, умеющий обращаться с отбойным молотком!» — с гордостью заявил он в интервью, опубликованном парижским журналом «Нувель обсерватёр». Но описывая во всех подробностях быт своих героев (главный герой «Золотой капли» — берберский юноша Идрисс, очутившийся в Париже), Турнье затрагивает и сложные социальные, нравственные, культурные проблемы современности. Многозначно и само название книги. «Золотая капля» — реально существующий квартал иммигрантов в Париже, но это и талисман, который Идрисс теряет в начале и находит в конце романа, точнее, крадет из витрины ювелирного магазина. Это и bulla aurea — золотой шарик, который носили на шее дети свободных римских граждан, иными словами — символ свободы вообще.

В первой главе романа арабского мальчика фото-

Мишель Турнье с золотой каплей.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

графирует французская туристка, отнимая тем самым, согласно местным поверьям, у него часть души. С тех пор Идрисса не оставляет желание завладеть снимком, вернуть утраченную частицу своего «я». Повзрослев, он покидает родные места и после долгих скитаний добирается наконец до Парижа. Западная цивилизация кажется ему миром поклонения «призракам»: фотографиям, манекенам, кино, телевидению. Случайно получив небольшую роль в рекламном фильме Идрисс и вовсе теряется среди обступивших его двойников-фантомов. Рассеять «чары зла» помогает ему старик каллиграф Абд-аль-Гафари, который научил его искусству письма и открыл ему доступ к духовным ценностям. «В «Золотой капле», — отмечает критик журнала «Магазин литтерер» Жан Монтальбетти, — Турнье-историк рассматривает проблемы столкновения двух культур. Турнье-философ толкует мифы и символы, Турнье-писатель изображает путь человека, ищущего духовного освобождения».

ФРГ

РЕЖИССЕР О РЕЖИССЕРЕ

Западногерманский режиссер Вим Вендерс, чьи последние картины «Положение вещей» и «Париж, Техас» были отмечены высшими наградами крупнейших международных кинофестивалей в Венеции (1982) и Канне (1984), выпустил новый фильм «Токио!», пишет журнал «Фильм-эхо».

Это уже третий фильм Вендерса в жанре «путевых заметок», проникнутый размышлениями о людях кино, о судьбах киноискусства. На этот раз в центре повествования — фигура японского кинорежиссера Ясудзиро Одзу (1903—1963). Чем же привлекло виднейшего представителя западногерманской «молодой волны» творчество одного из наиболее традиционных мастеров японского реалистического кинематографа?

Слава Ясудзиро Одзу, отмечает «Фильм-эхо», достигла зенита в послевоенное время, когда режиссер после творческого простоя, вызванного нежеланием снимать фильмы, воспевающие войну и самурайские доблести, вновь приступил к активной работе. Особенно прославил Одзу фильм «Поздняя весна» (1949), рассказавший о разочаровании молодого поколения японцев в идеалах жизни, навязываемых милитаристским государством. Но уже с начала 50-х годов в критике поднялась волна нападок на Одзу, его обвиняли в консервативности, приверженности реалистическим догмам неумении приспосабливаться к новым требованиям времени. Правда, несмотря на это, и поклонники, и противники Одзу всегда признавали, что он «самый японский режиссер в Японии». Сам Вендерс в интервью журналу «Фильм-эхо» говорит о нем так: «Если в наш век сохранились еще святыни, если есть святыни в кинематографии, то для меня это — творчество японского режиссера Ясудзиро Одзу».

Но «путешествие» Вендерса в Токио — не просто паломничество. «Мне было любопытно, — продолжает режиссер, — смогу ли я вообще что-нибудь разузнать о том времени и о творчестве Одзу. Может быть, найдутся кадры тех лет и удастся разыскать современников режиссера, или же за 20 лет, прошедших со дня смерти Одзу, в Токио и в Японии все вообще так изменилось, что ничего найти уже нельзя?»

Камера в фильме Вима Вендерса пристально фиксирует черты этих изменений, приметы вульгаризации, «американизации» японской жизни, созерцая площадки для гольфа на крышах трехэтажных домов, сооруженные по типу площадок на вершинах американских небоскребов, заглядывая в залы с игральными автоматами, рассматривая громадные восковые муляжи пищевых продуктов. Создатели фильма беседуют с членами съемочной группы Одзу, узнают, как складывалась его самобытная творческая манера.

Заслугой фильма, по мнению рецензента журнала «Фильм-эхо» К. Хоффмана, является жизненное, достоверное и красочное впечатление о работе знаменитого японского режиссера.

ПРОЗА ДРАМАТУРГА

В издательстве «Ровольт» вышел сборник рассказов известного западногерманского драматурга Рольфа Хохгута «Новелла Атлантики».

Книгу составляют самые разные истории. Здесь и рассказ о девушке, которая стала проституткой «из протеста» против лжи, царящей в доме, и о супругах, которые пытаются наладить совместную жизнь после разрыва, и о начальнике полиции из маленького немецкого городка, который в годы нацизма помог бежать в Швейцарию тысячам евреев, был за это уволен со службы и потому никогда не получал пенсии...

«У Хохгута редкое чутье на тихие «чудовищности», — пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Герт Юдинг. — Тем большее впечатление производят его истории, чем безыскуснее они их рассказывает. Такая простота требует особого писательского мастерства, здесь нужно чувствовать внутреннюю драматургию происходящего».

Несомненно, считает критик, Хохгуту весьма помогает его опыт драматурга: его рассказы строятся на диалогах и монологах, читатель «втягивается» в действие, становясь как бы свидетелем событий. Но главное для автора, как всегда, — размышления о современности и истории, о повседневной жизни и политике: «Он и в рассказах остается тем же просветителем - моралистом, каким мы его знаем по пьесам», — заключает статью Герт Юдинг.

ШВЕЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ЛАРСОМ ГУСТАФССОНОМ

Ларс Густафссон (род. в 1936 г.) — известный шведский поэт, драматург, автор романов «Последние дни и смерть поэта Брумберга» «Братья», «Подлинная история господина Аренандера» и других. Месту скандинавских литератур в истории мировой литературы, современному «литературному климату» Швеции посвящено интервью, данное им корреспонденту французского журнала «Магазин литтерер» Алену Гаррику:

— Как вы считаете, существует ли разница между понятиями «северная литература» и «скандинавская литература»?

— Здесь есть некоторая путаница, поскольку страны северных языков — Исландия, Норвегия, Дания, Швеция. Но часто в «северные страны» включают также Финляндию, хотя там язык — совершенно иной. Правда, Финляндия — родина шведского поэтического модернизма, там издавна живет и шведское население. Так или иначе, все наши страны и литературы тесно связаны и испытывают взаимное влияние. Были периоды, когда скандинавская литература представляла собой единое целое — например, в 1880-е годы, когда в лице Ибсена и Стриндберга она обрела своих великих драматургов.

— Как охарактеризовать скандинавский дух?

— Скандинавская литература часто обращается к теме одиночества. «Ад» Стриндберга — роман о бесконечном человеческом одиночестве. Об этом пишет и Гамсун.

— Какой, на ваш взгляд, путь прошла шведская литература с конца прошлого века?

— В конце XIX века скандинавская литература, становясь более «буржуазной», склонялась к жанру семейного романа. В период между первой и второй мировыми войнами существовало множество разных школ. Наиболее интересная из них — школа пролетарского романа. Двое из ее представителей — Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон — получили Нобелевские премии. Юнсон — автор аллегорического романа «Крилон», который, к сожалению, никогда не переводился.

— Начиная с 50-х годов вы находитесь в гуще литературной жизни Швеции. Вы возглавляли крупный литературный журнал «Бонньерс литтерера магазин». Каков современный литературный «пейзаж»?

— Для литературы 50-х годов было характерно своеобразное сочетание оптимизма и пессимизма, в литературе чувствовалось дыхание «холодной войны», ужас перед мировой атомной катастрофой. 60-е годы были периодом экспериментов. Разгорались теоретические споры. В это время дебютировало поколение романистов, к которому принадлежу и я. Оле Хёгстранд, очень ироничный, тяготеющий к мифу, действительно доказал своим творчеством, что роман не умер. Свен Дельбланк, Пер Улаф Энквист также укрепили позиции романа

На литературе отразились студенческие волнения, протест против войны во Вьетнаме. Шведская проза, поэзия, драматургия последних лет, на мой взгляд, переходят на позиции социальной критики, документализма.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

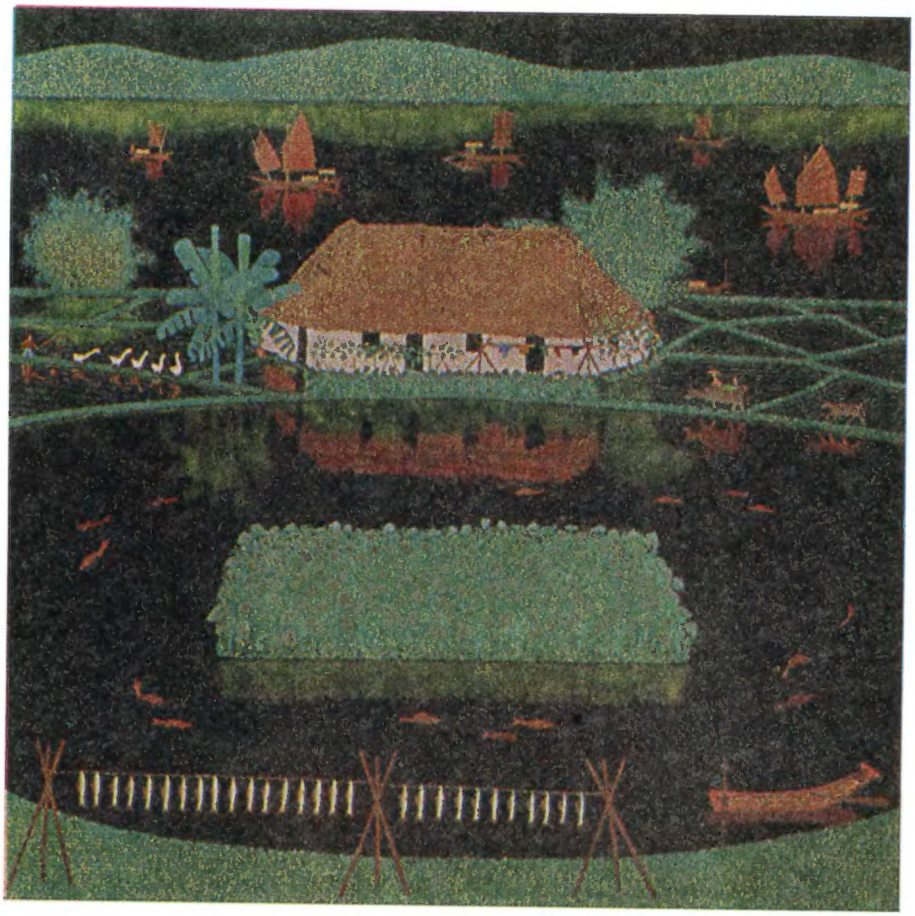
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.04.86. Подписано в печать 10.06.86. А 05285. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 29,34.

Тираж 479 000 экз. (1-й завод: 1—429 000 экз.)

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Пейзаж (лак, инкрустация).

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394